



**Рауль
Мир-Хайдаров**

Том шестой



Рауль Мир-Хайдаров

Том шестой

Ранняя печаль

Казань
Kazan-Kazanь
2011

УДК 82
ББК 84-4
М-63

Мир-Хайдаров, Р. М.

Том шестой. Ранняя печаль.

М-63 Собрание сочинений. В 6 т. Том VI. Ранняя печаль / Рауль Мир-Хайдаров.— Казань: Kazan-Казань, 2011.— 552 с.

ISBN 978-5-85903-076-7 (6)

ISBN 978-5-85903-070-5

«Ранняя печаль» — пронзительно грустный ретро-роман Рауля Мир-Хайдарова о жизни, о любви, о том, что сбылось и не сбылось. О тех, чья молодость выпала на шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы. Нескольким поколениям читателей роман напомнит о первой любви, друзьях, родных, близких, верности и предательстве, о канувших навсегда в прошлое юности, молодости...

ISBN 978-5-85903-076-7 (6)

ISBN 978-5-85903-070-5

© Мир-Хайдаров Р. М., 2011
© Изд-во «Kazan-Казань», 2011

ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ

МИР-ХАЙДАРОВ РАУЛЬ МИРСАИДОВИЧ — писатель, заслуженный деятель искусств (1999), лауреат премии МВД СССР (1989), родился 17 ноября 1941 года в поселке Мартук, Актюбинской области, в семье оренбургских татар.

По образованию — инженер-строитель. Он много лет проработал в строительстве, и работа позволила ему изъездить страну вдоль и поперек. В молодые годы увлекался боксом, имел первый спортивный разряд. В партии никогда не состоял, большим начальником не был. В возрасте тридцати лет на спор с известным кинорежиссером написал рассказ «Полустанок Самсона», опубликованный в московском альманахе «Родники» и записанный на Всесоюзном радио. В 1975 году был участником VI Всесоюзного съезда молодых писателей.

В сорок лет Рауль Мир-Хайдаров оставляет строительство и становится профессиональным писателем. Он издал более трех десятков книг в главных издательствах СССР: «Молодая гвардия», «Советский писатель», «Художественная литература». Его книги переводились на многие иностранные языки и языки народов СССР. Есть книги, изданные на грузинском, каракалпакском, узбекском. Вся проза Р. Мир-Хайдарова переведена на татарский язык. Почти все его произведения имели журнальные публикации и записаны на Всесоюзном радио. У него пять раз выходили собрания сочинений.

Широкую известность писателю принесла серия «Черная знать», в которую входят тетралогия романов: «Пешие прогулки», «Двойник китайского императора», «Масть пиковая», «Судить буду я» и тематически примыкающий к ним роман «За всё — наличными». Книги из серии «Черная знать» имели по десять-пятнадцать изданий каждая. Это остро сюжетные политические романы с детективной интригой, написанные на огромном фактическом материале. В них впервые в нашей истории дан анализ теневой экономики, впервые показана коррупция в самых верхних эшелонах власти, включая кремлевскую. Показано сращивание криминала со всеми ветвями государственной власти. Первый роман из тетралогии — «Пешие прогулки» — вышел в 1988 году в «Молодой гвардии» с предисловием известного критика и редактора журнала «Континент» Игоря Виноградова. Этот роман на сегодняшний день выпущен двадцатью изданиями (из них четыре раза по 250 тысяч экземпляров) и продолжает издаваться. После выхода романа на автора было совершено покушение, и он чудом остался жив, проведя двадцать восемь дней в реанимации и долгие месяцы в больницах. Ныне писатель — инвалид второй группы.

Американская газета «Филадельфия инкуайер» прислала специального корреспондента Стива Голдстайна в связи с покушением на Р. Мир-Хайдарова и посвятила этому событию целую полосу под заголовком: «Исследователь мафии». Позже писатель выступал во многих европейских газетах по проблемам преступности, давал интервью. Это о Р. Мир-Хайдарове сказал в своей книге «На должности Керенского в кабинете Сталина» бывший и. о. Генерального прокурора России Олег Иванович Гайданов: «Ничего подобного я до сих пор не читал и не встречал писателя, более осведомленного о работе силовых структур, государственного аппарата, спецслужб, прокуратуры, суда и ...криминального мира, чем автор тетралогии «Черная знать».

В своих романах автор зафиксировал хронику смутного времени. После покушения и выхода новых романов жизнь в Ташкенте стала для него невозможной: постоянные угрозы и шантаж, угнали машину, рассыпали набор романа «Судить буду я», запретили постановку пьесы, написанной драматургом В. Баграмовым по роману «Пешие прогулки». И Мир-Хайдаров переезжает в Москву и, конечно, пишет. Уже в России дописывается последняя книга тетралогии «Судить буду я», написан пронзительно грустный ретро-роман о жизни, о любви — «Ранняя печаль». В 1997 году вышел роман о российской мафии, о жизни «новых русских», о крупных аферах в России — «За все — наличными».

В молодые годы известный романист страстно увлекался футболом, дружил со знаменитыми футболистами своего времени: Михаилом Месхи, Славой Метревели, Гурамом Цховребовым, Геннадием Красницким, Станиславом Стадником, Берадором Абдураимовым... Любил и знал балет, дружил с народным артистом СССР Ибрагимом Юсуповым, учеником Юрия Григоровича. Поклонник джаза — был знаком со многими джазменами из оркестров Орбеляна, Кролла, Вайнштейна, Гаджиева, Гобискери. Специально брал отпуск зимой, чтобы побывать в московских театрах, общался с Олегом Далем, Валентином Никулиным. Смотрел все знаменитые спектакли театра «Современник» конца 60-х — начала 70-х.

Ныне остались увлечение живописью и, конечно, писательский труд, любовь к которым оказалась сильнее и футбола, и джаза, и театра. Он — обладатель одной из самых больших частных коллекций современной живописи в России.

В 2001 году в Казахстане, на родине писателя, на государственном уровне был отмечен его юбилей. В дни 60-летия в областном историко-краеведческом музее Актюбинска был открыт зал, посвященный знаменитому земляку, в нем выставлены шестьдесят картин, подаренных им городу из его частной коллекции. Одна из улиц его родного Мартука названа именем Рауля Мир-Хайдарова. Там же, в Мартуке, открыт литературный музей писателя и действуют два школьных музея. Р. Мир-Хайдаров — почетный гражданин Казахстана.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Романы:

- «Пешие прогулки» (1988). 20 изданий
- «Двойник китайского императора». 16 изданий
- «Масль пиковая» (1990). 15 изданий
- «Судить буду я» (1992). 10 изданий
- «Ранняя печаль» (1996). 6 изданий
- «За всё — наличными» (1997). 8 изданий

Книги повестей и рассказов:

1. «Полустанок Самсона» (1975) — рассказы
2. «Оренбургский платок» (1978) — рассказы
3. «Такая долгая зима» (1978) — рассказы
4. «Путь в три версты» (1979) — рассказы
5. «Знакомство по брачному объявлению» (1980) — повести
6. «Жар-птица» (1981) — рассказы
7. «Дамба» (1984) — повести и рассказы
8. «Чти отца своего» (1987) — повести и рассказы
9. «Из Касабланки морем» (1987) — повести и рассказы
10. «Седовласый с розой в петлице» (1988) — романы и повести
11. «Налево пойдешь — коня потеряешь» (1990) — романы и повести

Собрания сочинений:

1. Изд-во «Художественная литература» (Москва, 1990) — однотомник
2. Изд-во «Голос» (Москва, 1992-1993) — собрание сочинений в 4-х томах
3. Изд-во «Грампус Эйт» (Харьков, 1995) — собрание сочинений в 3-х томах
4. Изд-во «Южная Пальмира» (Днепропетровск, 1996) — собрание сочинений в 4-х томах
5. Изд-во «Идел-Пресс» (Казань, 2006) — собрание сочинений в 5-ти томах

Романы «Ранняя печаль», «За всё — наличными» и «Масль пиковая» записаны на аудиокассетах на 87 часов звучания.

Общий тираж книг превышает 5 миллионов экземпляров.

e-mail: mraul61@hotmail.com
сайт: www.mraul.ru

О ПРОЗЕ И РАННЕЙ ПЕЧАЛИ ПИСАТЕЛЯ РАУЛЯ МИР-ХАЙДАРОВА

Сергей АЛИХАНОВ
академик

Мне, в силу личных симпатий к прозе писателя и дружеских отношений с автором (к тому же я оказался биографом Рауля Мир-Хайдарова), известны все его литературные пристрастия, его любимые поэты и прозаики. Он еще не ступил на литературную стезю, когда его кумиром стал И. А. Бунин, и прочитал прозу мастера в юные годы, когда все ложится на сердце крепко и навсегда. Переболел он и западной литературой, что было характерно для молодежи шестидесятых-семидесятых годов — Фицджеральдом, Томасом Вулфом, Голсуорси, Дзюмпеем Гомикавой — романистами, тяготевшими к социальным проблемам, а главное, к емкой, образной фразе.

Позже, уже сложившимся писателем, издавшим десятки книг, Рауль Мир-Хайдаров открыл для себя Валентина Катаева, обязательно надо добавить, позднего Катаева. И Катаев, лично знавший Бунина с юных лет и всю жизнь считавший его учителем, стал для Рауля Мир-Хайдарова вровень с великим Буниным.

Поздний Катаев, на взгляд писателя, никак не уступает по музыкальности фразы, стилистике, ярчайшим, неожиданным эпитетам и сравнениям кудеснику слова — Бунину. А по форме, построению сюжета дает большую фору традиционалисту Бунину. Впрочем, как считает Рауль Мир-Хайдаров, и в мировой литературе не очень много писателей, так виртуозно владеющих формой, как Катаев.

Такое трепетное отношение к своим кумирам, глубокое знакомство с их творчеством не могли не сказаться на манере, стилистике писателя. Он так же, как и его кумиры, тяготеет к предложениям на треть и полстраницы, умеет так описать вещь, обстановку, интерьер, застолье, что невольно видишь описываемое перед собою как на экране.

Писатель всегда сетовал, что поздно открыл для себя Катаева, хотя понимал, что лучшие свои произведения тот написал на излете жизни. Рауль Мир-Хайдаров завидовал молодым, идущим вслед ему писателям, для которых был уже написан и издан весь поздний Катаев. Еще больше жалел он, что Катаев не успел показать Бунину свои лучшие вещи, настоящего Катаева, оправдавшего, да что оправдавшего, далеко превзошедшего ожидания своего учителя. Иван Алексеевич оценил бы и форму, и содержание книг

юноши, когда-то, в далеком 1918 году, пришедшего к нему на дачу с первыми своими стихами. До слез обидно, что Бунину не удалось прочитать «Траву забвения» — воспоминания о нем самом. Новая форма и новое содержание пришли к Катаеву через пятнадцать лет после смерти кумира юности.

Катаев повлиял на Рауля Мир-Хайдарова, повлиял на его главный роман «Ранняя печаль», хотя автор, может быть, пришел к такой форме неосознанно, интуитивно. Недавно, перечитывая, по настоянию Рауля Мир-Хайдарова, произведения Катаева, в «Траве забвения» я наткнулся на авторское рассуждение. Привожу текст дословно: «...я ищу... чего-то, что не походило бы на роман. Отсутствие интриги для меня недостаточно. Я хотел бы, чтобы сама структура была другой, чтобы эта книга носила характер мемуаров одного лица, написанного другим...»

И меня тут же пронзила мысль, что именно по этому «рецепту» скроен роман «Ранняя печаль». Автобиографическая книга Рауля Мир-Хайдарова, написанная от имени вымышленного Рушана Дасаева. Я тут же связался с автором и зачитал катаевские строки, высказал свои соображения. Странно, не единожды читавший «Траву забвения» Мир-Хайдаров не помнил этих строк и бросился листать томик Катаева, который у него всегда на письменном столе. Через минуту он радостно сообщил мне, что только теперь разгадал мучившую его тайну: откуда родилась блестящая форма самой любимой его катаевской вещи «Юношеский роман». Еще одного мгновения ему оказалось достаточным, чтобы соотнести «рецепт» Катаева с «Ранней печалью» — и он с грустью сказал: «Как жаль, что Валентина Петровича нет уже почти двадцать лет, а то я сейчас бы поставил эти слова эпиграфом и отнес любимому писателю».

Вот так: Катаев не успел к Бунину, Мир-Хайдаров — к Катаеву. В таких горестных утратах, когда ученик не успевает отчитаться перед учителем, и рождается литература, и что-то по-настоящему стоящее создается только на излете жизни.

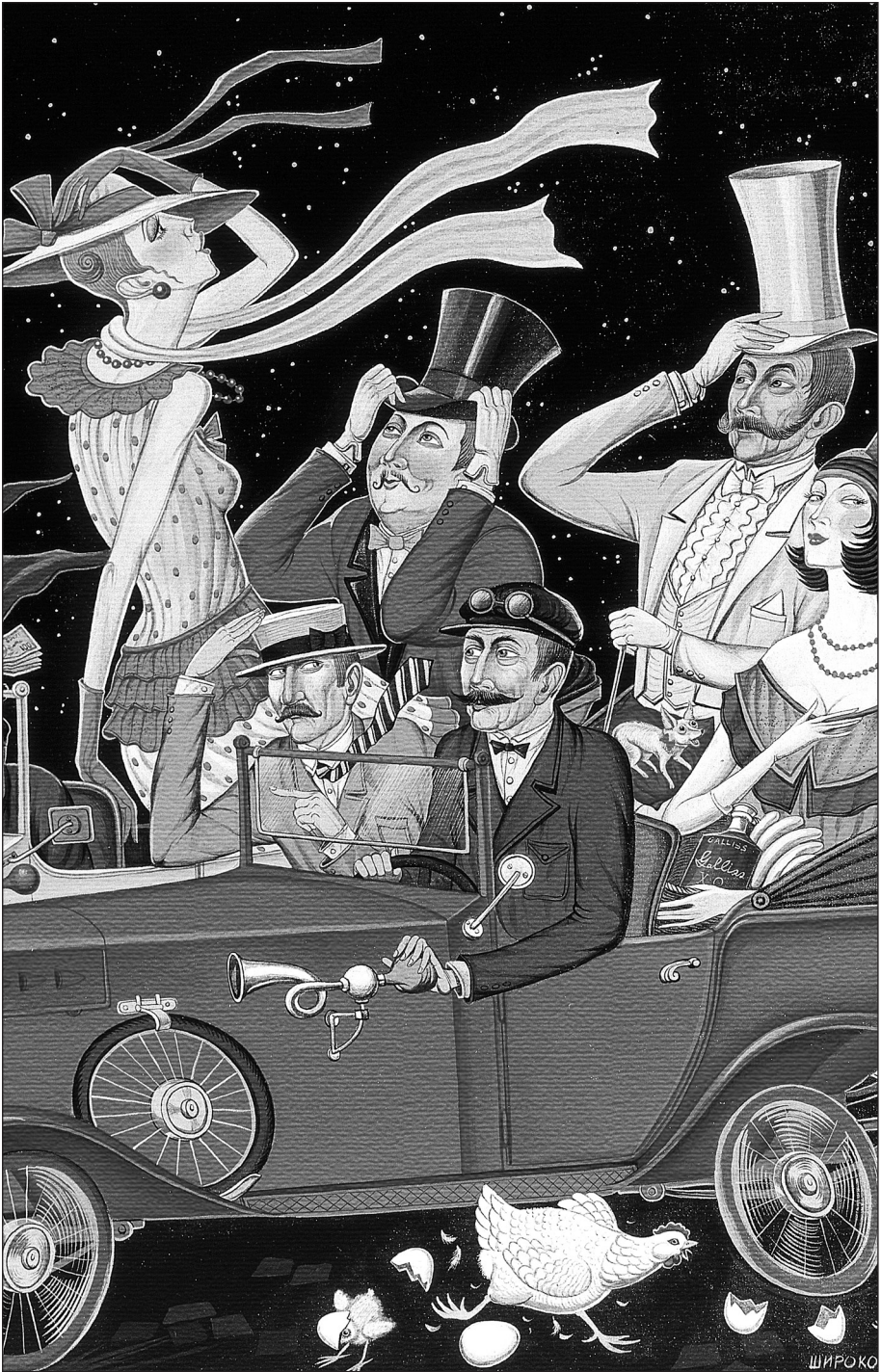
Рауля Мир-Хайдарова роднит с любимым писателем еще одно качество — сила воображения. Эта грань таланта Рауля Мир-Хайдарова наиболее очевидна.

Рауль Мир-Хайдаров добился заслуженного признания у себя на родине и далеко за ее пределами. Литературное имя он приобрел, создав серию социально-политических романов, в которых современный мир предстает перед читателями в правдивом и даже шокирующем отображении.



РОМАН





Ранняя печаль

Роман

Посвящается Ирине Варламовой

Так мы и пытаемся плыть
вперед, борясь с течением,
а оно все сносит и сносит
наши суденышки обратно,
в прошлое...

Ф. С. Фицджеральд

Кафе «Лотос» — большой приземистый стеклянный гриб, непонятно почему названный именем нежного цветка,— пользовался в городе дурной славой. Ни внутри, ни снаружи — ни столов, ни стульев, ни стоек. Более того, внутрь посетителям доступа не было, там властвовала хозяйка заведения, и все вокруг нее было заставлено ящиками, коробками, металлическими «сигарами» с колотым льдом. Общалась хозяйка с посетителями через узкое оконце с пожелтевшим стеклом. Так что вряд ли «Лотос» мог притягивать посетителей своим комфортом или интерьером.

Дасаев приходил сюда прямо с работы и внешне мало чем отличался от здешних завсегдатаев: у многих в руках портфели, дипломаты, видно было, что большинство из них направлялось в кафе напрямик со службы, так что он со своим кейсом не выделялся среди посетителей забегаловки. Обслуживали тут молниеносно... В первый



раз не успел он, протягивая рубль, сказать, чтобы ему дали бутылку минеральной воды, как хозяйка в сбившемся набок парике отточенным движением опрокинула в стоявший наготове тяжелый граненый стакан содержимое початой бутылки вина и наполнила его до краев, не пролив на влажную стойку ни единой капли. Этот ловкий, натренированный жест так восхитил Рушана, что он безропотно взял стакан, забыв о минеральной воде. Скорее всего, из-за этого привычного для всех стакана вина никто и не обратил на него внимания. И хотя он знал, что это за заведение, любопытство не покидало его: здесь было на что посмотреть.

Вокруг «Лотоса» текла, кипела, бурлила совершенно не знакомая для него жизнь, но сказать, что тут толкуются одни пьяницы или люди, мучающиеся с похмелья, — значило сделать поспешный вывод, хотя, скорее всего, были здесь и те, и другие.

А народ вокруг собирался прелюбопытный, и какие разговоры велись: о нефтедолларах, об «Уотергейте» и еврокоммунизме, об экстраенсах и тамильской хирургии, об агропромышленных комплексах и компьютерах! Дасаев однажды услышал даже чье-то высказывание о балете Мориса Бежара, которому оппонент противопоставлял штутгартский балет Джона Кранко, но затем оба пришли к согласию и перескочили на разговор о симфоническом оркестре Герберта фон Караяна, от Караяна перешли к ежегодному эдинбургскому фестивалю современных искусств, причем вскользь упомянули композитора Бенджамина Бриттена и дирижера Зубина Мету, от фестиваля — к Фонду Гуггенхайма в Америке и к Рокфеллер-центру... Действительно, джентльменский клуб, и беседы куда интеллектуальнее, чем у них в прорабской или в тресте — там страсти разгорались все больше вокруг быта.

Дасаев с интересом разглядывал завсегдатаев, которых видел раньше лишь издали. У всех этих людей имелась общая примета — ни на ком не было ни одной новой вещи, словно все они дали зарок, что с определенного дня не потратят на подобную чепуху ни копейки. А если присмотреться более внимательно, то по одежде можно было приблизительно установить и время, когда был дан такой «зарок».

Например, вон тот человек в однобортном костюме с высокой застежкой на четыре пуговицы и в коротеньком, смахивавшем на детский, галстуке, «зарекся» уже давно, — в те годы Дасаев еще учился в институте. Рядом с ним — мужчина в пиджаке с непомерно широкими бортами и в расклешенных брюках, — так одевались щеголи лет

десять-двенадцать назад. Были тут и мужчины в дакроновых костюмах, столь модных в шестидесятые годы, но давным-давно потерявших свой блеск и былой шик.

Нейлоновые рубашки, твидовые тройки, пиджаки первой вельветовой волны, китайские пуховые пуловеры, остроносые мокасины, туфли на высокой и тяжелой «платформе», запонки и галстучные булавки, всевозможные шляпы, не знающие износа габардиновые и бостоновые костюмы говорили внимательному человеку о многом — о судьбе владельца. Ведь каждая ныне затрепанная, изношенная, лоснившаяся вещь некогда была не просто одеждой или обувью, а модной, изысканной для своего времени, и это свидетельствовало о том, что хозяин ее знал куда лучшие времена и когда-то чутко улавливал пульс моды.

Продолжая этот своеобразный экскурс в прошлое, Дасаев не без удивления отметил, что всех этих разномастно, разностильно одетых людей отличала странная и, на первый взгляд, непонятная особенность: одежду свою каждый старался поддерживать в чистоте и аккуратности, можно даже сказать, относился к ней с тщательностью, недостойной всех этих давно устаревших вещей. Галстук, как он заметил, был здесь необходимым аксессуаром и словно утверждал некий статус владельца, держал того на плаву. Неважно какой: мятый, засаленный, капроновый, шерстяной, атласный, шелковый, кожаный, самовяз или на резиновом шнуре, узкий, широкий, длинный, короткий — все равно, лишь бы быть при галстуке.

Обратил внимание Рушан и на то, что из верхнего кармашка пиджака у многих виднеется свежий платочек; бросалось в глаза, что и обувь у большинства надраена до блеска. Но самое удивительное, что отметил бы даже человек невнимательный, — среди посетителей не было ни одного небритого, и волосы у всех, особенно у тех, кто носил пробор, были тщательно расчесаны, волосок к волоску. Видимо, существовал в этой среде свой неписанный закон, тот эталон или порог, ниже которого опускаться считалось неприличным.

К «Лотосу» Дасаева влекло нечто большее, чем праздное любопытство, и он частенько приходил сюда с заранее заготовленным рублем, так как почувствовал, что более крупная купюра может вызвать недоверие к нему.

Когда он подходил к «стекляшке», с ним молча, но учтиво, а некоторые, можно даже сказать, нарочито изысканно раскланивались, а обладатели шляп — люди, как правило, постарше Дасаева, — джентльменским



жестом приподнимали над изрядно полысевшими затылками головные уборы, давно потерявшие цвет и форму,— подобная галантность вызвала улыбку, которую он с трудом скрывал.

Но высшая почесть, оказанная ему,— а может, это было всего лишь традиционным вниманием к новичку, Рушан не успел разобратсья до конца,— заключалась в другом. Он уже обратил внимание на то, что у окошка, где так быстро и ловко разливали вино, никогда не было суеты и толчеи, никто не пытался пролезть без очереди — наверное, здесь это считалось дурным тоном, хотя очередь выстраивалась почти всегда немаленькая. Так вот, завсегдагаи почему-то выделили Дасаева: стоило ему подойти к последнему, как тот оборачивался к нему и великодушным жестом приглашал вперед. Так же поступал и каждый следующий, пока Дасаев, благодарно кивая головой, не оказывался у вожделенного окошечка.

Удивительно, но общение, ради которого эти немолодые мужики стекались сюда, наверное, со всего города, не было, на взгляд Рушана, навязчивым, бесцеремонным,— большей частью они держались небольшими группами, но компании эти тасовались чуть ли не каждые полчаса: одни уходили, приходили другие, опять сбиваясь по непонятным для него интересам. Немало было и таких, как он, кто молча, в одиночку коротал время за стаканом вина, и право всякого на подобную свободу тоже уважалось здесь,— по крайней мере, в напарники к нему никто не набивался, хотя он чувствовал: подай он только знак, изъяви желание — собеседники или компаньоны вмиг найдутся. Здесь никто никого не торопил, как никто и не удерживал, каждый «созревал» сам, в одиночку, чтобы в итоге стать частью целого и уже до конца дней своих застыть навсегда, как в музее восковых фигур, в том одеянии, в котором появился у «Лотоса» в первый раз...

Не все вокруг «стекляшки» и не сразу стало понятным Дасаеву, но открытия, сделанные путем личных наблюдений, иногда поражали его. Так, он заметил, что у «Лотоса» никто не просил и не занимал денег — по крайней мере открыто. О том, чтобы кто-то сшибал копейки, как случалось у многих питейных заведений, здесь не могло быть и речи. С рубля за стакан портвейна полагалась на сдачу даже серебряная монетка, о которой наверняка знал каждый, но никто эту монетку не требовал,— это был, как им, наверное, казалось, щедрый жест «на чай», привычка еще из той, оставшейся позади, безбедной жизни.

Однажды Рушан заметил, как по соседней аллее тоскливо, с завистью посматривая в сторону «Лотоса», прошел вконец опустившийся

пьяница, но подойти не решился — сработало, видимо, некое табу, тоже поначалу непонятное Дасаеву. Но как-то, когда он дома размышлял о завсегдатаях «стекляшки», его осенило: «Лотос» — последняя черта, рубеж для катящихся вниз, и пока они в состоянии приходить сюда, поддерживая выработанный ими же статус, они числят себя еще достойными уважения людьми. А может быть, еще проще, — они считают себя элитой среди пьющих? Ну, конечно, элитой, как ни смешно и грустно это звучит в приложении ко всем этим людям. Отсюда и галстуки, и учтивые разговоры, и комичная галантность, давно ушедшая из общения нормальных людей, и тщательные проборы в давно не мытых, посеченных, редких волосах, и кокетливый платочек в кармашке затертого пиджака. И для них единственное место на свете, где есть возможность, хоть и призрачная, поддержать давно утраченное достоинство — это «Лотос»: он как соломинка для утопающего. Здесь, приобретая на свой мятый рубль — может быть, заработанный в унижениях, — стакан вина, пьющий как бы говорил своим многочисленным недоброжелателям: «Видите, я не бегу в магазин за бутылкой за тот же рубль и не скидываюсь на троих в подворотне. Для меня главное не выпить, я пришел в кафе пообщаться с интересными людьми — посмотрите, кого здесь только нет!»

Что и говорить, контингент у «Лотоса» действительно собирался не только живописный, но и разношерстный. Многие забегали сюда после службы, о чем свидетельствовали потрепанные, под стать хозяевам, портфели, хотя чаще в ходу у завсегдатаев были давно вышедшие из моды и обихода кожаные папки. Порою Дасаеву казалось, что здесь собрались последние владельцы подобного антиквариата. Вероятно, наличие портфеля и папки, так же как и галстука, вселяло в их хозяев некую уверенность в своих силах, а может быть, по их шаткому убеждению, являлось атрибутом связи с тем ушедшим вперед миром, в котором они, считай, уже и не жили, а так, заглядывали иногда. То были специалисты разного уровня, опускающиеся все ниже и ниже по служебной лестнице. Служили они, скорее всего, в каких-то несчетно расплодившихся в последние годы конторах, обществах, товариществах, потому что трудно было представить их работающими в серьезных, солидных учреждениях, где требовалась полная отдача.

Первое впечатление о широте тем и интеллектуальности бесед, ведущихся возле «Лотоса», у Дасаева вскоре развеялось, и вовсе не потому, что приверженцы портвейна вдруг перестали вещать о еврокоммунизме или тибетской медицине. Тематика разговоров по-прежнему



удивляла его, но он понял и другое: беседы носили случайный, поверхностный характер, они, так же как портфель или галстук, помогали этим людям ощущать себя все еще причастными к другой, настоящей духовной жизни.

Желание узнавать новое, сопереживание, осуждение или одобрение — эти простые человеческие чувства для них уже перестали быть жизненной необходимостью. Да и на работе, если она у них действительно была — ведь наличие портфеля не обязательная тому гарантия, — их уже вряд ли кто воспринимал всерьез, равно как и дома, в семье. А им всем ох как нужно было внимание, — ведь это настоящая потребность человека — чтобы его кто-то слушал и, самое главное, понимал. Гайд-парка у нас нет и не предвидится, а «Лотос» — вот он, рядом, здесь тебя выслушают с вниманием, возразят тебе или поддадут, здесь ты не один, здесь ты свой. Вот и приходили они в свой собственный «Гайд-парк», нашпигованные обрывочными эффектными сообщениями из газет и журналов — благо, информации в наш век хватает с избытком, а времени свободного у них было хоть отбавляй.

Большинство посетителей «Лотоса» держались тихо, мирно, неслучливо, некоторые даже с осторожностью, с какой-то опаской, — видимо, не раз их была жизнь и приходилось обжигаться. Таких выдавали глаза: затравленные, жалкие, в них не читалось ни силы, ни желания вступать в какую бы то ни было борьбу, даже за себя.

Вольнее, свободнее чувствовали себя люди творческих профессий или выдававшие себя за таковых. Один — очень шумный потрепанный блондин в сандалиях на босу ногу и в легкой курточке из синтетической ткани, прожженной кое-где сигаретой, — представлялся всем журналистом. Он направо и налево сыпал именами известных корреспондентов, заговорщицки сообщал о каких-то грядущих переменах и перемещениях, известных пока лишь в узких и привилегированных кругах. Уверял, что его наперебой зазывают то в одну, то в другую солидную газету, но он не желает продавать в рабство свое золотое перо, поскольку в штате там сидят одни подхалимы и бездари, а он не намерен своим талантом способствовать их успеху. Одного трезвого взгляда было достаточно, чтобы понять, что не только в газету, но и в любое мало-мальски порядочное учреждение путь этому еще не старому человеку уже заказан — слишком долго пришлось бы думать, прежде чем решиться доверить ему хоть какое-то дело.

Особое оживление вызывало у посетителей кафе появление некоего поэта, чувствовалось — здесь его любили. Периодически, словно

уверяя других — а прежде всего, наверное, себя, — что он действительно поэт, тот вынимал из своего постоянно разбухшего портфеля потрепанные газеты и какой-то журнал без обложки — судя по объему и формату, явно не литературный, — где была опубликована подборка его стихов. Видно было, как он дорожит этим журналом, на страничке которого со стихами соседствовала фотография автора. Ходили слухи, что журнал не однажды сослужил поэту неоценимую услугу в вытрезвителях, где он требовал к себе особого отношения как к творческой личности.

Внешне поэт ничем не отличался от завсегдатаев «Лотоса»: та же классическая прическа с безукоризненным пробором, лоснящийся костюм, в любое время года — неснашиваемые зимние ботинки на каучуке и непрменный атрибут, выделявший его даже из этой живописной толпы — ярко-красный платок на тонкой морщинистой шее. Он тоже никогда не стоял в очереди за портвейном — толпа почтительно уступала кумиру место у стойки. Выпив, поэт быстро озлоблялся, что невыгодно выделяло его среди обычно мирных посетителей «Лотоса», и начинал крикливо читать свои стихи, комментируя их непечатным текстом, — подобная вольность разрешалась ему одному. Наверное, когда-то он был не без искры божьей, но злоба, душившая его изнутри, не позволила ему стать настоящим поэтом, — так, по крайней мере, казалось Дасаеву. Жестокими, недобрыми были его стихи. Частенько Серж, как звали поэта, уходил, позабыв свой портфель, который бережно передавали внутрь «стекляшки», где он день-другой, а иногда и неделю дожидался хозяина, воевавшего, очевидно, в газетах и журналах с редакторами-чинушами.

Поэтов, кроме Сержа, приходило несколько, но всем им было далеко до популярности мэтра с эффектным шейным платком, и в очереди за портвейном они стояли на общих основаниях. Поэтому, наверное, испытывая нескрываемую зависть к удачливому «собрату по перу», его популярности в «Лотосе», молодые коллеги демонстративно игнорировали Сержа, зато между собой держались подчеркнуто дружелюбно и вели сугубо светские разговоры, — именно от них Рушан услышал о балете Мориса Бежара. Они распространяли слухи, что Серж безнадежно старомоден и на его затасканных рифмах далеко не уедешь, но все это ничуть не вредило славе первого поэта «Лотоса», скорее наоборот. И, как ни крути, никто из них не печатался в журнале с подборкой стихов и портретом. Да и смелости им, пожалуй, не хватало — никто ни разу не рискнул почитать свои стихи



вслух, хотя общество иногда, в отсутствие Сержа, разумеется, просило об этом, вероятно, ощущая эстетический голод. Но стихи друг друга они читали,— Рушан не раз был тому свидетелем. Допускали они порою в свое общество и нескольких музыкантов, которых, к его удивлению, оказалось здесь больше всего. Находились тут даже свои непризнанные композиторы, не было, пожалуй, только дирижера, но за это Дасаев поручиться не мог, ведь заглядывал же в «стекляшку» человек с брюшком, к которому на полном серьезе обращались: «Товарищ прокурор...»

За то время, что Рушан захаживал в «Лотос», он повидал многих посетителей странного заведения. Видел, как пропадали одни примелькавшиеся лица или даже целые компании, как их место занимали другие, не знакомые ему, но явно свои люди в «стекляшке». И Дасаев мысленно вычислял, куда пропадали, где проводили время те, кто периодически исчезал из «Лотоса». Он не был равнодушным, по-человечески ему было жаль их, особенно некоторых, безвольных, но еще не потерявших до конца человеческий облик, из последних сил цеплявшихся за нормальную жизнь, которым «Лотос», как ни иронично это звучит, казался спасительным островком, где они еще чувствовали себя людьми.

Родилась подобная мысль не случайно. Как-то Рушан обратил внимание на человека средних лет по прозвищу Инженер, о котором говорили, что он мужик головастый и некогда вроде был большим начальником. Сейчас, глядя на Инженера, вряд ли можно было предположить, что у него есть постоянная работа, хотя порою казалось, что он чем-то занят, при деле. Поразительно менялся человек, когда он был занят,— это улавливал не только Дасаев, но и многие посетители «Лотоса». В такие дни вокруг Инженера становилось особенно многолюдно, оживленно, и не только потому, что он был при деньгах, скорее оттого, что Инженер увлеченно говорил о своей службе, планах, громко объяснял, какие реформы он проведет на предприятии, где так безобразно запущено хозяйство. Дасаев порадовался тогда, что человек встал на ноги, порадовался и за других, с загоревшимися глазами глядящих на Инженера, по-хорошему завидующих ему.

Потом Инженер вдруг перестал появляться, и Рушану казалось, что хоть один на его глазах сумел вырваться из винных пут. Но прошло немного времени, и Инженер тихо, незаметно, как-то бочком, словно чувствуя вину, что не оправдал своих и чужих надежд, снова объявился в «Лотосе». Весь его помятый вид красноречиво говорил

о том, что он уже давно забыл о работе и планах, ночевал где попало, а в последние дни, вероятно, пропадал на рынках и вокзалах.

Возвращение к «стекляшке» завсегда и восприняли как крушение надежд не только Инженера, но и своих тоже. Однако оценили главное — что и на сей раз ему удалось найти силы не скатиться на самое дно, привести себя в относительный порядок и вернуться к «Лотосу». В том, что этот страшный путь время от времени проделывал почти каждый из завсегда кафе, Дасаев уже не сомневался.

Незаурядных людей, некогда подававших большие надежды, тут отиралось немало. Частенько Дасаев видел здесь жалкого человечка, бывшего пианиста, который уже в восемнадцать лет концертировал с симфоническим оркестром. Какое ему прочили блистательное будущее! А теперь, глядя на спившегося маэстро, Дасаев при всем желании не мог представить его громкого прошлого.

В часто меняющемся калейдоскопе выпивох Рушан однажды углядел человека, бывшего в свое время известным футболистом, кумиром сотен тысяч болельщиков, которого восторженные поклонники и местная пресса порою сравнивали с Пеле и Беккенбауэром. То, во что превратился энергичный молодой красавец, некогда покорявший сердца сотен людей талантом и филигранной техникой, заставило Дасаева задуматься. Во все времена врачи и знахари бились в поисках средств омоложения человека, продления его жизни. И, хоть достигло человечество на этом тернистом пути каких-то успехов, все же результаты эти так ничтожны, что обнадеживает лишь тот факт, что шанс, надежда все же существуют. Зато каких грандиозных результатов достиг, и без помощи науки, человек в разрушении своего организма! Рушан ведь помнил, какой подвижностью, быстротой мышления, реакцией, силой, даже внешней красотой обладал этот еще относительно молодой мужчина, медленно тонущий в вине сегодня...

II

Рушану почти пятьдесят. Немало... Помнится, у Фадеева в «Разгрома» он вычитал фразу: «В бане мылся старик сорока с лишним лет». Тогда, в молодости, это определение не задело его ничуть. А сейчас казалось просто дикостью. Если уж в сорок лет — старик...

Вроде рано ему подводить итоги, но слишком часто одолевает душу грусть, и все чаще долгие вечера дома, в Ташкенте,



он простаивает у давно не мытого окна, и странные картины видятся ему в грязном дворе. Иногда кажется, что он одновременно пишет, читает и экранизирует какую-то книгу, роман без начала и конца, где мелькают множество героев, но чаще почему-то вспоминается мальчик в кузове полуторки...

Год 1949-й, Рушану восемь лет... Он хорошо помнит тот празднично-кумачовый день с транспарантами повсюду, видит полуторку местной артели, где работает его отчим-фронтвик. Вот машина уже собралась отъезжать на парад, на соседнюю улицу захолустного райцентра, но в последний момент через борт кузова, забитого стоящими со знаменами людьми, подняли мальчика. Удивительного мальчика — на нем застегнутый по горло китель цвета хаки и аккуратные брючки, только без лампасов.

Мысль о лампасах возникает сразу, потому что кругом, куда ни глянь, цветные портреты вождя — отпечатанные на прекрасной мелованной бумаге, они тщательно наклеены на фанерные листы, а то и взяты в рамки под стеклом, их несут во главе каждой колонны, как прежде в церковные праздники носили иконы с изображением святых и Иисуса Христа. У мальчика такой же парадный костюм, как и у вождя, слева же, над кармашком, сияет чужеземный орден, должно быть, отцовский. Грудь мужчины, передавшего белобрысого мальчишку в машину, увешана орденами и медалями, которые при ходьбе чудесно позванивают, сверкают серебром, золотом и медью.

Мальчишки, собравшиеся у артели, где на утреннике вручали подарки, поглядывают на машину с завистью. Им-то придется идти пешком на «Красную площадь» — закуток у райкома партии, где в пыльном скверике стоят напротив друг друга два гипсовых коротконогих вождя, подновленных к празднику золотой краской.

Мальчик, одетый под генералиссимуса, Рушану не знаком, не было его и на утреннике в артели, и он спрашивает у своего товарища, кто этот счастливчик. Кто-то сзади подсказывает: «Женя Дудченко», — но фамилия Рушану ничего не говорит, у них в школе нет такого ученика.

Мартук — степной поселок, расположенный почти у самой границы между Европой и Азией — не велик, но и не мал, главное его достоинство в том, что раскинулся он при железной дороге, и здесь останавливаются все поезда, спешащие в далекие сказочные города: Ташкент, Алма-Ату, Сталинабад, и даже в какой-то Курган-Тюбе или Джалал-Абад.

После войны поселок стал бурно строиться, в райцентр потянулись люди из глухих степных аулов и дальних казацких станиц Зауралья, но больше всего было беженцев с Запада. Рушан живет в старинной части Мартука, мусульманской, так называемой Татарке, где селились преимущественно татары, казахи, башкиры, а в последние годы и чеченцы.

Наверное, белоголовый мальчик был из новых переселенцев и жил на другом краю села, но в память почему-то западает — «Женя Дудченко». Так случилось, что Рушан столкнулся с ним в жизни еще один раз, когда перед отъездом в Ташкент недолго работал в том же поселке прорабом на строительстве крупного элеватора. Женя тогда только вернулся из армии и искал работу, с чем всегда в райцентре были проблемы. Рушан, конечно, помог ему устроиться. Был Женя в то время рослым, статным, удивительно обаятельным парнем, таким и остался в памяти...

Вскоре Рушан уехал из родных мест и лишь изредка, наездами, бывал в гостях у родителей. Помнится, в один из таких дней поехали на речку Илек, тогда еще полноводную, не загаженную сбросами заводов. Братва в основном подобралась шоферская, и когда стали вспоминать давние годы, вдруг всплыла фамилия того мальчика, — оказывается, он работал в городском ГАИ.

Они никогда не были ни друзьями, ни врагами. Их жизни, интересы не пересекались, если не считать, что оба были земляками, выходцами из бедного пристанционного поселка, который и для Рушана, и для Жени — та самая малая родина, куда их иногда тянет с неодолимой силой и тоской.

Наверное, порой вспоминаются ему летние ночи в сонном поселке, когда высокий лунный свет скрадывает убожество запущенных улиц, и пыльные, сомлевшие от азиатской жары палисадники с завядшей сиренью и отцветшей акацией кажутся прекрасной декорацией к какой-то другой, нездешней жизни. А, быть может, видится зима с ее снегопадами, улицами в сугробах, и теплые огоньки за стеклами прихваченных морозом окон, и как тянутся к стылому небу синие струйки дыма. И, наверно, хоть раз в жизни да пришло на ум, что определение из пушкинской строки — «дым Отечества» — и есть эта хилая струйка дыма из обвалившейся печной трубы отчего дома.

А впрочем, может, все совсем и не так, и ничего такого ему не видится и не слышится, и не тянет его в поселок у железной дороги, где за прошедшие годы мало что изменилось, и все, как и повсюду, медленно приходит в упадок...



Рушан ведь совсем не знает этого парня, никогда не разговаривал с ним по душам, не сидел рядом в шумном застолье, не знает, кто стал его женой, есть ли у него дети. А может быть, жена Дудченко — бывшая одноклассница Рушана или девушка с Украинской улицы, какая-нибудь очаровательная хохотушка, которую он легкомысленно целовал темной ночью, провожая с танцев? Наивный юношеский поцелуй, не обязывавший ни к чему ни его, ни ее... Оборвалась связь времен, истлели нити, соединявшие с отчим домом...

Молодые так спешат вырваться из родного гнезда — непонятно куда и зачем. Торопливо женятся, бывает, даже по любви, на девушках из далеких мест, или выходят замуж за пришлых «принцев», и поездка к ее или его родным превращается в пытку для одного из новоиспеченных супругов, ведь каждый тоскует о своем доме, каждому снится своя река, родная улица, верные друзья. С годами, чтобы не обижать друг друга, перестают навещать и тех, и других родителей, ездят в переполненный ад — Сочи или Ялту, и корни обрываются вовсе. Вот только когда незаметно подкрадутся сумерки жизни, истает ясный день молодости, который и не заметил в вечном круговороте бытия, вспомнишь вдруг, до спазма в горле, мальчика в полutorке, и пожалеешь о том времени, когда можно было перейти улицу, распахнуть соседскую калитку и сказать загадочному дружку:

— Здравствуй! А помнишь?..

Может, оттого иногда часами невозможно отойти от давно не мытого окна на четвертом этаже, откуда взгляд упирается в унылый двор, но видит совсем иное, и душа порой так поздно созревает... И до боли хочется узнать, что же стало с теми, с кем ты делил свои первые радости, ходил в одну школу, сидел за партой, жил на соседних улицах, в одном квартале, с кем с неподдельным волнением и радостью вступал в пионеры, грелся у костров бедных летних лагерей первых послевоенных пятилеток. Где они все, что случилось с ними?

Где затерялся след учившейся вместе с ним всего две зимы рыжеволосой Валечки Велигдановой, похожей на белочку? — ее отец служил милиционером на станции. Где ныне Диночка Могилева, дочь секретаря райкома? А мальчик Вилли, появившийся в поселке в конце войны и живший с отцом на соседней улице в землянке, которую даже в бедном поселке язык не поворачивался назвать домом, избой и вообще человеческим жильем? В слове «землянка» для тех, кто не изведал, что это такое, слышится нечто теплое, удобное, — наверное, этот самообман породила знаменитая песня. Что стало с Вилли, вспоминает ли

он в своем сытом Гамбурге о степном поселке, где так отчаянно защищал футбольные ворота и уже бойко говорил и по-казахски, и по-татарски? О Вилли и его отце вспоминали в поселке долго, потому что они уехали в Западную Германию в начале пятидесятых. Ходили слухи, что у них отыскался весьма влиятельный родственник, не то генерал, не то банкир. Тянется ли человек в богатой Германии хоть мысленно к степному поселку, где прошли его невозвратные детские годы, или же он постарался поскорее забыть обо всем — голоде, холоде, вшах, унижениях и оскорблениях, земляной конуре, где ему пришлось жить? Никогда не получить ответа, — след Вилли затерялся навсегда... И оттого изредка так сожмет тоской сердце...

Почему-то вспоминается второгодник Коля Верноквас. Лет двадцать назад Вернокваса расстреляли, — оказывается, вечный двоечник, не одолевший школу дальше пятого класса, стал главарем банды в Ростове, занимавшейся разбоем, и за ним числилось не одно убийство...

Двоечник Верноквас напомнил ему и другой любопытный случай. Год 1964-й — Рушан уже живет в Ташкенте. Перед матчами любимого «Пахтакора» они с друзьями собираются по традиции в баре ресторана «Ташкент», от которого до стадиона десять минут хода, мимо прекрасного сквера Гагарина, раскинувшегося вдоль текущей с ледниковых гор реки Анхор.

Бар в отеле не имеет свободного доступа, проход через гостиницу, где дежурят вальжные швейцары в шитых золотом мундирах, и через ресторан, где на входе стоят бесцеремонные вышибалы. Но Ибрагим-балетмейстер и Нариман-аптекарь, о которых, в свой черед, еще много будет сказано, тут свои люди, завсегдатаи. Для них любезно распахиваются в Ташкенте любые двери. За столом они вчетвером, перед ними изящная хрустальная ваза с фисташками и две охлажденные бутылки белого сухого вина «Баян-Ширей», вино только пригубили, ждут запаздывающих друзей. Ибрагим, как всегда жестикуюлируя, азартно рассказывает о предстоящей премьере балета композитора Кара-Караева «Тропюю грома». В это время со стороны ресторана в зал вбегает высокий юноша лет восемнадцати, в кепи-аэродроме, ярких голубых брюках и пестрой, навывпуск, рубашке и плюхается в глубокое кожаное кресло у них за столом. Одним движением руки он срывает с головы свое модное кепи и бросает его под стол, и тут же, без суеты, берет бутылку и наполняет стоящий перед ним чужой пустой бокал, разворачивается к говорящему лицом — весь внимание,



уважение. Все это незванный юный гость проделал за секунды, с блеском, артистично, никто со стороны, даже если бы и видел, не подумал, что за столом появился чужак. Ибрагим, не изменяя тональности, продолжает рассказывать о грядущей премьере. Не прошло и пяти минут, как юноша встал, поблагодарил за вино и, очень галантно раскланявшись, не спеша покинул ресторан, но уже через гостиницу.

Рушан спросил: кто это? Ибрагим, не желая отвлекаться от любимой темы, обронил: Ромка-Курятник, у него сестра такая красавица! Но тут подошли запоздавшие друзья, и продолжения разговора о Ромке-Курятнике и балете Кара-Караева не получилось — футбол торопил.

Чуть позже, до землетрясения, Рушан несколько раз встречал этого юношу из известной еврейской семьи с набриолиненным коком у кинотеатров «Искра» и «Молодая гвардия», украшавших ташкентский «Бродвей», там всегда тусовалась «золотая молодежь» столицы. Но даже среди элитной толпы он выделялся — рослый не по годам, одетый с вызывающей яркостью, с нескрываемой на лице надменностью к окружающим.

После печального землетрясения в Ташкенте не стало ни «Бродвея», ни «Искры», и Рушан никогда больше не встречал Ромку-Курятника и даже не слышал о нем... Что бы это означало? И почему он тогда бесцеремонно ввалился к ним, взрослым, авторитетным молодым людям, в баре за стол? От кого, почему убежал? Это осталось для тайной. Но... забытая тайна откроется спустя сорок лет.

Наткнувшись случайно в газете на сообщение о Ромке-Курятнике, Рушан, конечно, вспомнил далекие шестидесятые годы, Ташкент, футбольный день в баре знаменитого ресторана и юношу-стилягу с надменным выражением лица, вечно торчавшего на «Бродвее» у рекламных афиш сгинувшей навсегда «Искры». Он с грустью подумал, что есть сотни достойных людей, близких его сердцу, но о них никогда не появится печатная строка, даже некролог. А о смерти Ромки-Курятника написали все центральные газеты России, о бульварной прессе и говорить не приходится. Сообщение гласило: «Сегодня, на рассвете, в Москве, рядом со своим домом убит известный в криминальном мире 55-летний Роман Александрович Беренштейн, по кличке Ромка-Курятник. Убитый возвращался из казино, где всю ночь играл по-крупному в карты, и уехал под утро на своем «Мерседесе» с солидным выигрышем.». Дальше в статье с фотографией рассказывалось о жизненном пути выдающегося картежного игрока, начинавшего свой путь

в жарком Ташкенте. Курятник, оказывается, рано перебрался в Москву и быстро стал в столице известным «каталой», авторитетным человеком в уголовном мире. В статье говорилось, что последние годы он часто выступал в роли третейского судьи, разводил конфликтующие стороны, где спор шел на миллионы долларов. А такое доверяется только очень авторитетным людям. Намекалось, что и смерть его связана с каким-то судебным решением, а не с картами. Картежный выигрыш и пистолет, который Ромка-Курятник успел все-таки достать, остались при нем, что подтверждало версию милицейских экспертов.

Вот так, запоздало, открылась Рушану еще одна не нужная ему тайна чужой жизни.

Дасаеву нет и пятидесяти, но до пенсии ему осталось немного — прорабская работа тяжелая, а он почти тридцать лет отдал стройке. Тягу к размышлениям он обнаружил в себе поздновато и ни с кем не делился своими взглядами на жизнь, открывал новые истины для себя, и откровения эти прежде всего касались его самого.

Все то, к чему он приходил неожиданно для себя, давно было отражено в мудрых трактатах, и об этом не одно поколение писателей и философов создало горы книг, но ведь то был опыт чужой жизни, чужие открытия, а тут он до всего доходил сам, спонтанно, устремив невидящий взгляд в окно. Хотя сложно сказать, невидящим был этот взгляд или, наоборот, видящим чересчур много, особенно в прошлом...

Возможно, попытайся Рушан изложить свои мысли на бумаге, они превратились бы в банальность, а потому и не заслуживали бы внимания. Но в том-то и дело, что он не умел, да и не хотел философствовать абстрактно, а все переводил на себя или на тех, кого знал, кого любил, с кем общался. Потому и всплыли в памяти мальчик Вилли и хрупкая девочка Роза Хамидуллина, учившаяся в соседнем классе. Рушан помнит ее на новогодней елке, в костюме «Ночи». Обыкновенная марля, выкрашенная в черный цвет, вся была расшита звездочками из серебристой фольги — обертки дешевого плиточного чая, — бедность всегда неистощима на выдумки и фантазию. А на голове у девочки, как у настоящей царицы, сияла корона из все той же фольги; на короне уже другой, золотистой фольгой из-под шоколадных конфет, было написано — «1951-й год».

Теперь трудно докопаться, почему он так часто стал вспоминать прошлое и как назвать эти его почти каждодневные экскурсии в детство и юность. Что это было? Только ли воспоминания? Но воспоминания возникают случайно, по настроению, они наплывают сами



собой, помимо твоей воли, сознания. Нет, определение «воспоминания» не отражало его душевного состояния: он «писал» и одновременно «перелистывал» книгу о самом себе, своих друзьях, любимых, о времени, годах, так быстро отшумевших.

Занятый долгие годы каждодневным изнурительным трудом, он не успел их толком прочувствовать, а теперь запоздало вглядывался в давно забытые лица, события, пытаясь осмыслить их заново, с высоты житейского, что ли, опыта. Казалось, он читал вечную книгу, без конца и начала, и в нее постоянно вписывались все новые и новые главы: некоторые события время от времени переосмысливались, представляли в ином ракурсе, и оттого менялся изначальный смысл происшедшего или сложившийся образ.

Он, конечно, знал, что сейчас выпускается изрядное количество книг, так хитроумно закрученных авторами, что зачастую там не найдешь ни начала, ни конца, а порой даже сюжета и героя,— понимай как заблагорассудится. Такие книги доставляют немало радости ретивным критикам — вот где есть возможность развернуться! Можно говорить о чем угодно и даже путаннее, чем сам писатель, можно гордо, претенциозно называть такой подход «моим прочтением» и давать тому или иному литературному течению свои хлесткие, заумные определения: «параболическая, интеллектуальная, спиральная, синусоидальная проза, поток сознания, мироощущения». Но все это от лукавого, от скрещивания чужих идей, чужих мыслей, опыта чужой жизни,— так сложилось, так и есть. Он и над своей-то судьбой не был толком властен, а что уж говорить о чужих,— не бог и не судья. Однако Рушану все чаще казалось, что он не только читает, но и пишет эту книгу, хотя, кроме огромных ежемесячных и материальных отчетов, никогда и ничего не писал, и лавры писателя его нисколько не прельщали, Дасаев знал свой удел и не слишком возносился в мечтах, да и вообще уважал людей, знающих свое место и свое дело.

Почувствовав, что пройдена значительная часть пути, подрастеряв друзей и близких, он ощутил, что уходят не просто время, поколение, близкие люди,— вместе с ними навсегда исчезают правила, привычки, стиль, манеры, традиции, лексика, юмор, песни, даже пейзаж, атмосфера и быт, и этот скорбный список прораб Дасаев мог бы продолжать бесконечно, слишком многое неразумно и торопливо вытеснялось из жизни. И никогда,— казалось ему в грустные минуты раздумий,— другие, идущие следом поколения, уже не узнают, как они жили, о чем мечтали — тысячи и тысячи людей...

Ему было жаль своего уходящего не обласканного судьбой поколения, но еще больше тяготило сознание, что уходят они, почти не оставив заметного следа в духовной жизни страны или в истории. Ведь об интеллигенции, даже самых непутевых ее представителей, написано столько книг — как они любили, страдали, как они несчастны и как жизнь зачастую несправедлива к умным и талантливым! В такие минуты ему хотелось во весь голос спросить: «А мы счастливы? К нам жизнь была милостива? Разве мы не любили, не мечтали?»

Когда накатывало такое настроение, его так и подмывало сесть за стол и написать большую книгу, где он обязательно проследил бы жизнь своей одноклассницы Верочки Пайзюк, которую никогда не встречал после окончания школы, и Толика Чипигина, любившего эту Верочку, хотя Чипигина давно уже нет — умер от обычной ангины. Написал бы, наверное, и о зеленоглазой Томочке Солохо (это ее старший брат Толик утонул в озере, спасая незнакомую девушку), и о своей соседке красавице Вале Панченко, из-за которой однажды состоялось настоящее побоище между ребятами из ремеслухи, проходившими на станции практику, и местными парнями во главе с Аликом Штайгером.

Помнится, на следующее утро они бегали из школы в больницу, где делали перевязки местным парням, а Толик Крицкий, с перебинтованной головой и огромным фингалом под глазом, говорил кому-то в сердцах: «Да на черта мне сдалась эта Панчуха!..» Тут же, в приемной, уже маячили два следователя из города, и эта история для многих кончилась плачевно. Да разве кто напишет об этом книгу, и будут ли там очаровательная Панчуха и ладный парень из ремеслухи, фиксатый, с челкой, даже на суде улыбавшийся мартукским девушкам, потому что чувствовал себя героем? В это Рушан мало верил, особенно когда мысленно перебирал своих ребят-односельчан. И, наверное, поэтому, натолкнувшись в памяти на чей-то образ, он старался проследить его судьбу и непременно занести этот путь в «вечную книгу жизни», которую ему так хотелось написать.

Однажды Рушан вспомнил себя четырнадцатилетним мальчишкой на крыше пассажирского поезда «Москва — Ташкент», когда с небольшим узелком в руках ехал в город сдавать документы в техникум. Стоял прекрасный летний день, и как только миновали Каратугайский мост, на котором совсем недавно снесло голову старшему брату его одноклассника Алешки Верещака, он побежал по крышам в конец поезда. Каким ловким, сильным, счастливым ощущал он себя тогда — не передать словами! Предстояло целых четыре года жизни



в городе, а город, в котором он до сих пор никогда не бывал, казался ему таким заманчивым, виделся тем самым сказочным местом, где сбываются все желания и мечты, надо только очень захотеть.

Это радостное ощущение, близость счастья распирали мальчика так, что он вдруг остановился посреди состава, бросил узелок у дымовой трубы и, задрвав руки навстречу полуденному солнцу, от избытка нахлынувших чувств закричал: «Я еду в город!..» И встречный ветер срывал с его горячих губ счастливый крик, а скорый продолжал свой стремительный бег по бескрайним казахским степям, уже золотившимся спелым колосом озимых, и легкий ветерок волной катился по пшеничным полям. Казалось, от счастья и волнения у него выскочит бешено колотившееся сердце. И вдруг его прожгла неожиданная мысль: «А кем я стану в жизни? Где будет мой дом? Какая у меня будет жена — красивая, добрая, умная, а может — хитрая, злая? Высокая, хрупкая, голубоглазая, а может, сероглазая? Будет ли у меня сын? И кем станет он?..»

Этот внезапно налетевший и затуманивший голову рой вопросов заставил его присесть на разогретую солнцем крышу вагона, и дальше он ехал, размышляя о своем будущем. Оно казалось ему таким далеким и туманным, а сама жизнь — бескрайней, как необозримая казахская степь, по которой грохотал на стыках поезд «Москва — Ташкент».

А необъятное для молодого ума безбрежное жизненное поле зачастую оказывалось оптическим обманом — оно могло сузиться до размера дачного участка, где обязательно уткнешься взглядом в забор. Такое произошло со многими его сверстниками. И хоть ответы на главные вопросы жизни, возникшие тогда на крыше скорого поезда, уже известны Рушану, жизнь ничуть не стала понятнее и проще.

Годы идут, но вопросов не становится меньше. А тогда казалось, что вот он, самый главный час озарения и провидения — лето 1956 года, когда счастливый Рушан ехал в город, в новую, неизведанную жизнь. А дома оставались любимые люди, и с ними связаны были светлое детство, первые радости и разочарования, первая любовь...

III

Было ему лет семь или восемь, когда выходила замуж их дальняя родственница Сафия. Воспитывали ее мать и слепая бабушка — они родственники Рушана по отцу, который погиб под Москвой.

В бедном поселке эта семья заметно выделялась: большой дом под железной крышей, горки с невиданной в здешних местах фарфоровой посудой кузнецовских заводов, диковинные вазы из венецианского стекла, столовое серебро и висевшая под высоким потолком в зале настоящая хрустальная люстра с потемневшей позолотой обводов. Вообще, семья эта была известная. Слепая бабушка происходила из древнего и богатого татарского рода Мамлеевых, и оказались они тут, в захолустье, после революции, потеряв доходные дома и магазины в недалеком от этих мест Оренбурге.

По традиции, когда жених приходит за невестой, его не пускают в дом, требуя выкуп — такой обычай есть почти у всех народов, у татар он называется «ишык-бау», что дословно означает «дверная веревка». Как самым близким родственникам, Рушану и другому мальчику чуть постарше, Мелису, пришлось держать эту самую веревку перед женихом. Жених, крепкий коренастый парень по имени Гали, подарил им за право войти в дом невесты по перочинному ножичку дивной перламутровой расцветки — одному красного оттенка, другому зеленого.

То была первая в жизни Рушана свадьба, и она запомнилась ему на всю жизнь — в мелочах, деталях: и музыка, и угощение, и гости... Помнил он и пожелания молодым, они следовали с каждым тостом, а особенно много их звучало, когда вручали подарки. На свадьбе наступил момент, когда в зале появился человек с большим подносом, а рядом с ним женщина, у нее на меньшем подносе стояли бутылка вина и аккуратно нарезанные кубики медового чак-чака. Гость, опускающая подарок на серебряный поднос, высказывал пожелания новобрачным, а в ответ, вместе с благодарностью, получал рюмку особого вина и сладкий чак-чак.

Какие только не звучали здесь пожелания, какие только слова не произносились! И о жизни обоих супругов до ста лет, и о золотой свадьбе, и о доме, что должен стать полной чашей, и о любви и согласии до гроба, и что такой пары не сыскать вовек, и о детях, которые непременно вырастут умными и счастливыми, не только на радость родителям, Мартуку, всем гостям, но даже всему свету.

Рушан, стоявший за спиной новобрачных, внимал, раскрыв рот, подвыпившим гостям и искренне верил, что Сафия-апа и Гали-абы проживут в любви и согласии до глубокой старости, и что у них будут необыкновенной красоты и способностей дети, и что они выстроят дом во много раз краше, чем тот, где проходило торжество. Он так радовался их будущему счастью, что в какой-то момент



даже почувствовал зависть, ведь до его свадьбы еще очень далеко, и вряд ли к тому времени найдется ему в невесты такая красивая девушка, как Сафия-апа, у которой, оказывается, столько достоинств... Он даже немного ревновал Сафию к ее жениху...

Возможно, Рушан никогда бы не вспомнил об этой семье, потому что рано покинул отчий дом и редко бывал в родном Мартуке, если бы на какой-то свадьбе не услышал подобные, почти слово в слово, пожелания молодым. Он, конечно, и до этого бывал на свадьбах, но никогда прежде не возникало такое недоброе ощущение. К тому времени он как раз пристрастился проводить одинокие вечера у окна и уже листал первые страницы вечной книги, которую, казалось, и читал, и писал одновременно. В какие-то минуты отчетливо высветилась в памяти давняя свадьба, когда властная слепая старуха выдавала замуж свою единственную внучку, и вся жизнь Сафии-апа и Гали-абы прошла у него перед глазами.

Не было там ни золотой, ни даже серебряной свадьбы, не вышло любви и согласия до гроба, нет в живых давно и самого жениха, крепкого и кряжистого, как дуб, ушел из жизни и их первенец Халил, до армии сотрясавший буйным нравом Мартук, захирел некогда богатый дом. В пьяных дебошах и ссорах вымелись из дома и венецианское стекло, и кузнецовский фарфор, растерялось, исчезло куда-то столовое серебро с монограммой Мамлеевых, осталась лишь хрустальная люстра, донельзя засиженная мухами. А ведь когда-то ему казалось: как неоглядна жизнь у зарождавшейся на его глазах семьи, сколько тайн, непредсказуемости в судьбе каждого живущего за стенами крепкого краснокирпичного особняка в купеческом стиле, с аляповатой лепниной, в солнечный день слепящего прохожих своей цинковой крышей. И как скоро, прямо-таки на глазах, раскрылись все их тайны, прогляделись все их пути, как быстро прочиталась от корки до корки книга чужой жизни, хотя и по сей день живет в осевшем доме с перекошенными окнами в заглохший сад седая неопрятная старуха по имени Сафия, и в пустых запущенных комнатах с истершимся паркетом ничто не напоминает о прежнем отлаженном быте и порядке, а хозяйку просто невозможно представить молодой, красивой, завидной невестой с богатым приданым. А ведь Рушан знал великолепие и роскошь этого дома, видел Сафию в белоснежном подвенечном платье!

Все пошло прахом... А какой прекрасной виделась жизнь молодых мальчику, невольно причастному к их судьбе! Разве это не роман?

Но кто напишет трагедию той счастливо зарождавшейся семьи, когда дождется бедный Мартук своего летописца?

Рушан не мог пройти равнодушно мимо судьбы своих родственников из рода Мамлеевых и, конечно, в своей книге, которую читал и писал одновременно, отвел и им страницы. Пусть останется от них хоть что-нибудь в памяти людей, пусть удивятся, узнав, что громадный полуразвалившийся краснокирпичный дом с прогнившей от кислотных дождей крышей на Украинской улице, в самом центре Татарки, некогда знал более счастливые дни, а жившая в нем слепая старуха строго блюла нравственность односельчан-единоверцев.

Отсюда, из покосившейся калитки, ранним утром выскочил бравый десантник Халил, еще не облачившийся в гражданскую одежду, и направился напрямик на станцию. Рассказывали, он почти полчаса спокойно прогуливался по пустынному перрону, и никто не заметил, что парень задумал страшное. Когда алма-атинский экспресс «Казахстан», не сбавляя хода, без остановки проходил через Мартук, Халил вдруг рванулся с перрона и успел вбежать в колею перед мощным локомотивом. Наверное, точно так же, одним рывком, его сверстники в войну кидались на амбразуры дзотов.

О чем он думал в эти последние полчаса? С кем мысленно прощался? Почему так легко и страшно, казалось бы, беспричинно, расстался с жизнью? А ведь он был парень с характером, сильный, из тех, кто своего в жизни не упустит. Видимо, все известное о нем оказалось обманом, в нем теплилась нежная и легкоранимая душа, не принимавшая ни лжи, ни жестокости мира. Но об этом теперь остается лишь догадываться, все тайны Халил унес с собой, и вряд ли кто когда его вспомнит, кроме ссохшейся от горя старушки Сафии, что сдает внаем дальним аульным казахам свой двор, свои просторные, давно не беленые комнаты, медный самовар и последнюю на всю округу изгрызенную степными аргамками коновязь, когда те наезжают в район на базар — продать годовалую телушку или пяток баранов, а то мешок шерсти или килограмм козьего пуха, или когда отправляются цыганским табором на грязи в соседний Соль-Илецк.

А может, толчком к чтению и написанию вечной книги послужил совсем другой случай, ведь в его воспоминаниях, как и в книге, нет хронологической последовательности, память избирательна, неизвестно, кого выудит из тьмы канувшего и куда занесет, и, что удивительно, этот пестрый калейдоскоп разрозненных событий, лиц и составлял реальную, без прикрас, жизнь, которая текла по своим законам.



IV

...Ему одиннадцать лет, он уже давно пионер, отличник. И еще жив Иосиф Виссарионович Сталин. Кажется, в ту весну началась его грандиозная программа насаждения лесополос и озеленения городов и поселков — великая и благородная идея, воплощенная в жизнь, о которой сейчас так редко вспоминают, не то чтобы повторить. До сих пор шумят в Мартуке, на Татарке, возле отчего дома, могучие карагачи и необхватные тополя и клены, высаженные Рушаном в ту весну, — саженцы давали им в школе, бесплатно. Сейчас вокруг степного Мартука поднялся настоящий лес, со зверьем, птицами, с грибами и смородиной, и уже мало кто помнит, что он рукотворный и появился по указу вождя.

Но Рушан вспоминал ту весну вовсе не из-за лесополос или вождя, хотя тот прошел через всю его жизнь, с ним вольно или невольно соприкасалась жизнь каждого, и если в воспоминаниях и дальше где-нибудь всплывет имя Сталина, которого иные теперь фамильярно величают Сосо, то это совсем не дань моде, просто тень генералиссимуса накрывала даже далекий от Москвы Мартук. В ту весну прибыл к ним на побывку со службы в далеком Ужгороде младший брат матери Рашид.

Рашида забрали в солдаты поздновато: он работал на железной дороге — сначала кочегаром, а потом, после курсов, машинистом паровоза, и на него распространялась какая-то бронь. До армии дядя казался Рушану человеком бывалым и значительным, особенно когда надевал полувоенный железнодорожный китель с серебристыми нашивками и галунами. В краткосрочный отпуск он заявился в звании старшего сержанта, а посему ходил в щегольских хромовых сапогах со скрипом, сшитых на заказ в сапожной артели лучшим сапожником Петерсом. Из неуставной одежды на нем еще бросались в глаза шарф и белые перчатки из козьего пуха. Прибыл он в Мартук в середине марта, когда зима еще раздумывала, стоит ли ей сдавать свои полномочия, но в воздухе уже носились весенние запахи, и появились талые лужи на людных перекрестках, и оседали на глазах сугробы, и падала с низких крыш капель — все говорило о близости весны...

Март в те годы был месяцем особенным: на него почему-то обязательно приходились выборы. Были выборы и в тот год, намеченные на последнее воскресенье марта, а это означало, что за месяц до них в поселке начнут работать агитпункты.

Ах, агитпункты послевоенных лет, в местечках, подобных Мартуку, как, наверное, вы врезались в память своих избирателей! Каждый день в здании агитпункта допоздна горел свет, работал выездной буфет, а в большом зале — непременно танцы под аккордеон, так что бравый сержант с отпуском попал в самую точку, а может, даже специально так подгадал, ведь о выборах знали загодя.

Каждый вечер, надушившись «Шипром» и надраив до блеска скрипучие сапоги, Рашид, к огорчению родни, исчезал из дома и возвращался глубоко за полночь, поднимая всех собак в округе. В поселке, где мужчин изрядно выкосила война, приезд солдата на побывку не остался незамеченным, и прекрасная половина Мартука, конечно, не дремала...

Но Рашид хлопотал об отпуске не только из-за выборов, а еще и потому, что на март приходился его день рождения. Отмечал он его не дома у сестры, что, помнится, вызвало раздоры в семье, а у какой-то молодой вдовы на станции, где собиралась молодежь его возраста.

Хотя между матерью и дядей Рашидом возникли разногласия по поводу того, где отмечать день рождения, это не помешало ей напечь пирогов, приготовить большую кастрюлю винегрета и сварить холодец из огромной бычьей головы, добытой с немалым трудом. А Рушану доверили сбежать в магазин, купить вина и консервов. Из консервов в сельмаге оказались только крабы, и продавщица посоветовала ему покупать их — видимо, была уверена, что мальчика с покупкой отошлют обратно. По случаю дня рождения накрыли стол и в доме, но дядя недолго побыл с родственниками — выпив рюмку-другую вина с отчимом Рушана, он заторопился на станцию, и торжество продолжалось уже без него.

Видимо, тот отпуск и день рождения что-то значили для Рашида, и он, по словам матери, необдуманно сорил деньгами, которые сумел скопить до армии, работая на железной дороге. Тогда работа в МПС считалась престижной и хорошо оплачивалась, не говоря уже о множестве льгот, начиная с бесплатного проезда в любой конец страны и кончая бесплатно выдававшимся углем. И вообще, дядя Рашид казался Рушану щедрым, веселым, обаятельным, на него так хотелось походить, возможно, и он сыграл какую-то роль в жизни племянника.

А какие подарки он привез из армии! Матери — яркую цыганскую шаль, которая чуть позже войдет в моду не только у сельских, но и городских красавиц, отчиму — настоящую золинговскую бритву, которую купил за бесценок на львовском базаре, а ему,



Рушану,— дивной красоты электрический фонарик, работавший на кислоте. Подарок вызывал зависть не только у ребят, но и у взрослых, вот уж порадовался и погордился тогда Рушан! Позже, сразу после демобилизации, дядя Рашид подарил ему и взрослый велосипед горьковского завода, с хромированными ободьями, ручным тормозом, изящной фарой, кожаным сидением, звонком, багажником, ярким стоп-сигналом на заднем крыле и даже щитком над цепью. Особенно выделялась красочная эмблема завода на раме — изящная голова гордого оленя, означавшая, видимо, элегантность и скорость...

Рушан так подробно, в деталях, вспоминал вещи, быт, незначительные предметы того времени потому, что все это тоже безвозвратно ушло или уходит вместе со своими владельцами, и хочется о многом рассказать, чтобы вновь не изобретать велосипед, и понять, как долго мы толчемся на одном месте. Если бы сегодня на показушной ВДНХ выставить велосипед и тот фонарик, что имел Рушан сорок лет назад, да в придачу еще и перочинный ножик некогда известного на всю Европу завода, они оказались бы эталонными экземплярами, чудом дизайна, не говоря уже о качестве и цене.

И как тут не вспомнить слова одного известного сатирика: время было мерзопакостное, но рыба в Волге водилась. А ведь тогда отпускник привез еще и банку халвы, несколько коробок клюквы в сахаре и мармелада в лимонных дольках, и индийский чай — товары дешевые и доступные даже для солдатского кошелька. Сегодня, в плохом настроении, Рушан все чаще думает, как у нас все вокруг упрощается, деградирует, дичает...

Впервые такая мысль пришла ему лет десять назад, когда он побывал в турецком городе Эфесе, на развалинах древнего храма Артемиды, в свое время называвшегося одним из семи чудес света. Даже полуразвалившийся, он поражал воображение изяществом, легкостью конструкции. Обращенный фасадом к морю, он словно летел над волнами или парил в воздухе, такова была магия его пропорций, выверенная древними зодчими до миллиметра.

И хотя вблизи храм поражал гигантскими размерами, но внутри него ощущение легкости, изящности не покидало Рушана. Поистине чудо света! Он мог подтвердить это и как строитель, и как дотошный многолетний читатель журнала «Архитектура СССР», мог сказать, что все престижные здания, возведенные в Союзе за пятьдесят лет, вместе взятые, не стоят даже развалин публичного дома в том же городе Эфесе, от которого осталась прекрасно сохранившаяся вывеска:

в мраморе высечена нагая женщина удивительной красоты и грации, а внизу изображены крупная мужская ступня и стрелка, указывающая направление, с надписью: «Если вы свернете за угол, вас встретят нежные и страстные женщины». Наверное, как шутят турецкие гиды, это и было первое в мире рекламное объявление.

Из города к храму Артемиды вела удивительно хорошо сохранившаяся дорога, выложенная крупными белыми мраморными плитами, спроектированная до нашей эры архитекторами без диплома, без современных знаний, которыми ныне многие так кичатся. Дорога вконец добила советских туристов, ибо каждый из них знал не понаслышке: не успеют у нас построить магистраль, она уже через год задыхается от пробок, не говоря о том, что через месяц после ввода требует капитального ремонта. Вот тогда впервые у Рушана мелькнула скептическая мысль относительно нашей цивилизации, хотя в современной цивилизации Стране Советов принадлежала особая роль...

Усилием воли из древнего Эфеса, от прекрасного храма Артемиды, куда внезапно перенесла его неуправляемая память, Рушан вернулся ко дню рождения дяди-сержанта, находившегося на побывке.

Впрочем, о самом дне рождения Рушан ничего сказать не мог — вечер у вдовы на станции остался для него тайной. Но наутро, когда он проснулся, увидел на столе незатейливые подарки имениннику: портсигар, янтарный мундштук, белый узкий атласный шарф, пуховые перчатки, но не белые, в каких любил пофорсить бывший кочегар, а коричневые. Здесь же лежала книга в темно-синем переплете...

К книге прежде всего и потянулся взгляд мальчика. «Л. Н. Толстой. Воскресение», — прочитал он и распахнул обложку. На титульном листе красивым женским почерком было выведено: «Дорогому Рашиду в день двадцатипятилетия. Будь счастлив. Раиля».

Оказывается, его дяде Рашиду исполнилось двадцать пять лет, и Рушану этот возраст показался таким несбыточно далеким, неподъемным, что еще много лет служил точкой отсчета в собственной судьбе. И эта книга в темно-синей обложке, которую он после отъезда солдата все-таки прочитал, долго будоражила его воображение, так как он был уверен, что в подарке красивой бухгалтерши из райпотребсоюза сокрыт какой-то глубинный смысл.

Тогда, мальчишкой, Рушан пытался разобраться, почему двадцатипятилетнему мужчине подарили именно «Воскресение», хотя в те годы полки в магазинах ломались от книг. А может, «Воскресение» было связано не с тем, кому адресовался подарок, а с той, кто дарил?..



В общем, Рушан запутался в своих фантазиях окончательно и, встречая Раиллю-апа на улице, жадно вглядывался в ее нежное лицо, но ничто не могло пролить свет на эту загадку. В те мальчишеские годы ему очень хотелось, чтобы и ему на двадцатипятилетие подарили именно этот роман: возможно, тогда он разгадает тайну бухгалтерши из Мартука. Но страстная детская мечта не сбылась — Толстого не дарили ему ни в детстве, ни позже.

Тогда, в марте, возвращаясь из школы, он не обращал внимания ни на лужи, ни на весеннюю капель, ни на шумных грачей, облепивших старые клены у сельсовета, он думал об одном: женится ли дядя на бухгалтерше из райпотребсоюза? Он был убежден, что томик Толстого, не в пример пижонскому атласному шарфу, обязывал Рашида к ответственному шагу.

Были минуты, когда Рушан не сомневался, что они поженятся, и гадал, кто же из мальчишек Сиражетдиновых будет держать дверную веревку перед его дядей-машинистом. И вот теперь, спустя годы, он знал все и о своем дяде, и даже о судьбе бухгалтерши с нежно-персиковым лицом и миндалевидными глазами, отчего он однажды назвал ее «мадам Баттерфляй». Разумеется, он не следил специально за их жизнью, как и ни за чьей другой, но сведения как-то стекались к нему, словно кто-то свыше ведал, что некогда он надумает написать вечную книгу о людях, которых любил и знал.

V

Рашид женился на Розе Гумеровой. И в этом не было ничего удивительного — их матери были добрыми приятельницами.

Семья Гумеровых недолгое время жила в Мартуке, потом неожиданно переехала в город. И хотя Рушан нередко бывал у них в доме, он мало что знал об этой семье — над нею витала какая-то тайна, точнее, они жили какой-то скрытой, непонятной для окружающих жизнью.

Помнится, еще до женитьбы Рашида, даже до его побывки и дня рождения, который он отметил у вдовы на станции, недели две прятался у них в доме младший брат Розы — Исмаил. Тот хорошо играл на гитаре, лихо отбивал чечетку, и мать, пользуясь случаем, полмесяца мучила Рушана, чтобы он научился и тому, и другому, в полном убеждении, что без подобных навыков ее сын никогда не станет счастливым.

Но, видимо, не дано было Рушану ни «сбацать», как говорил ленивый учитель, чечетку, ни играть на гитаре и петь душещипательные блатные песни о несправедливости жизни к «сильным и благородным». Позже, когда Рушан будет учиться в соседнем городе, в техникуме, перед ним чуть-чуть приоткроется тайна семьи Гумеровых.

Братья Розы — и Шамиль, и Исмаил — имели большой авторитет в уголовном мире. Когда Рушан начнет ходить на танцы в «Железку» — Дворец железнодорожников, или на летнюю танцплощадку в парке Пушкина, или в особенно модный зимой ОДК — областной Дом культуры, где играл знаменитый джаз-оркестр саксофониста Эдди Костаки, он даже в какой-то момент возгордится «именитой» родней. Исмаил-бек, как называли щеголя Исмаила в городе, увидев парня, которого некогда безуспешно учил плясать чечетку и играть на гитаре и в чьем доме нашел надежный приют от какой-то очередной опасности, веско сказал: «Этот студент — мой родственник», и его слова послужили не только охранной грамотой, но и сделали Рушана в некотором роде знаменитым, иначе как родственником Исмаил-бека его и не представляли. Но не часто удавалось отплясывать и Шамилю, и Исмаилу на танцах, их, словно магнитом, вновь и вновь затягивало в тюрьму. Жизнь на воле, наверное, была им в тягость.

В такую семью и попал его любимый дядя. Став взрослым, Рушан часто задумывался о жизни Рашида, которая теперь переплелась с семейством Гумеровых, и поражался он даже не блатным братьям, а их матери — Минсулу-апа. Вот кого природа наделила поистине невероятной стойкостью, изворотливостью, хваткой! На этой невзрачной, с маловыразительным лицом в крупных оспинах, худенькой, малограмотной женщине и держалось грозное семейство. Кажется, она знала в республике всех судей, прокуроров, адвокатов, нотариусов, судебных исполнителей, начальников тюрем и следственных изоляторов, начальников уголовных розысков и просто следователей, не говоря об участковых, знала даже врачей в лазаретах и психушках. Она знала все этапы, пересыльные лагеря, тюрьмы в Караганде, Акмолинске, Чимкенте, а также прокуроров, ведущих надзор за исправительно-трудовыми учреждениями. Она могла проконсультировать по любому уголовному делу не хуже, а порой даже лучше, чем в адвокатской конторе, ибо знала несовершенство законов. Если один ее сын уже сидел в тюрьме, то второй в это время привлекался к суду, и она металась между лесоповалом в Сибири или рудником в Кумертау и каким-то районным или городским судом в родном городе.



По случаю очередного возвращения сына из тюрьмы в семье всегда закатывался пир горой. И будь то Шамиль или Исмаил-бек, он тут же объявлялся в парке или на танцах в коверкотовом костюме, новых скрипучих хромочах, за голенищем которых часто оказывалась финка, и в шуршащих прохладных шелковых рубашках, о существовании которых ныне и не ведают. Тогда уже вовсю продавались китайские вещи, и братья летом щеголяли в кремовых габардиновых брюках и вишневых узконосых туфлях на кожаной подошве с эмблемой «Дружба», привлекая взгляды не слишком разборчивых девушек. Не раз и не два затевались шумные свадьбы то у одного, то у другого, на которых, на правах родственника, бывал и Рушан, но браки оказывались недолговечными, как и само пребывание братьев на свободе.

Рушан, хоть убей, не помнит, работали или нет хотя бы один день разбитные братья, ежедневно бывавшие в летнем ресторане парка, где гремел джаз-оркестр Костаки. Он не мог сказать, и чем занималась единственная добытчица в доме — Минсулу-апа. Наверное, как теперь говорят, крутилась — что-то доставала, перепродавала. А может, была посредницей между своими многочисленными друзьями и знакомыми в правоохранительных органах и теми, кто жил не в ладах с законом? Теперь-то ни для кого не секрет, что там, в «храмах правосудия», брали сверху донизу, и тут без шустрых посредников было не обойтись, но это, так сказать, его домыслы, запоздалое прозрение. Хотя уж слишком часто попадались и слишком быстро оказывались на свободе братья Гумеровы, с чего бы это?

Роза выросла среди «знаменитых» братьев. Вот она-то умела и на гитаре играть, и чечетку сбачать, и петь песни, от которых у чувствительных слушателей наворачивались слезы на глаза.

Братья не одобрили выбора своей сестры — по их словам, она вышла замуж за «лоха», «кочегара», — но никак не могли помешать этому браку, поскольку отбывали очередной срок.

Блатной мир связан между собой тысячами уз, в том числе и родственных, и, возможно, братья Гумеровы через сестру хотели породниться с кем-нибудь из своего круга. Роза была девушка не только видная, но и знавшая законы блатной жизни, выросшая на ее романтике, в общем, оказалась бы человеком не со стороны, что редкость, когда дело касается женщины.

Когда братья гуляли на воле, у них частенько бывали залетные гости — кто после отсидки, кто перед ней, а кто прилетал или приезжал специально покутить после шальной удачи. Некоторые попросту

скрывались у них, зная, что в этой семье своих не выдадут и не оставят в беде. И среди этих парней, наверное, было немало тех, кому приглянулась озорная деваха по прозвищу Кармен,— про нее говорили, что родилась она с гитарой в руках. Но что делать, зацепил сердце Кармен бывший кочегар, которого она потом в семейных скандалах, как и братья, стала презрительно называть лохом...

Одна история семейки Гумеровых, не говоря уже о судьбе дяди Рашида, жизнь которого теперь была накрепко связана с Кармен и ее родственниками, казалось, скрывала в себе столько тайн, неожиданных, невероятных приключений, что могла послужить материалом не для одного романа. Покажи тогда, во второй половине пятидесятых, эту семью какому-нибудь писателю, обожавшему острые сюжеты, он бы растерялся от обилия материала: и Минсулу-апа, и языкастая Кармен с ее вздорным характером, не говоря уже о картежном шулере и воре Шамиле и просто бандите Исмаиле,— каждый мог стать героем отдельного произведения.

А разве не заслуживала внимания судьба Рашида, попавшего в столь необычное семейство?

Прошел-пролетел какой-то отрезок времени — четверть века,— и перед глазами Рушана однажды перелистнулась вся жизнь этих людей. Многие из этой семьи исчерпали свой лимит жизни до срока.

При побеге из тюрьмы погиб Исмаил. Непонятно почему он оказался замешан в этой истории, ведь до освобождения ему оставалось всего три месяца. Иногда Рушану мерещились плавни какой-то далекой сибирской реки, в которых скрывался раненный в глаз Исмаил-бек. Рассказывали, что нашли его мертвым у потухшего костра местные жители.

Где-то на бедном погосте далекого таежного села в Сибири стоит солидный гранитный памятник. С фотографии в бронзовой рамке под небьющимся стеклом смотрит молодой человек приятной внешности в темном бостоновом костюме и белой рубашке апаш с воротником, выпущенным поверх лацканов пиджака. Что и говорить, Гумеров-младший не чурался моды, но строго придерживался ее бластного направления.

Однако Минсулу-апа не была бы Минсулу-апа, если бы даже по-смертно не попыталась обелить сына в глазах людей. На памятнике, под скорбными датами рождения и смерти, спившийся скульптор выбил крупными буквами: «инженер». Когда приезжали устанавливать памятник, мать рассказывала местным жителям, что ее сын, инженер,



якобы осужденный за какие-то просчеты в грандиозном проекте, бежал из тюрьмы, чтобы явиться на свадьбу своей возлюбленной в самый разгар торжества. Непонятно, что хотел сказать своим неожиданным появлением на свадьбе «инженер» — на большее фантазии Минсулу-апа, видимо, не хватило, — но слезливая, сентиментальная байка прижилась в селе, и, говорят, молодожены теперь приходят из загса возложить на эту могилу цветы, ибо она, на их взгляд, олицетворяет глубокую верность любви.

Да, посмертной славе Исмаила позавидовал бы не один отпетый уголовник. Помнится, кто-то на его поминках сказал цветисто, что очень ценится в среде блатных: «Он, как песня, пронесся через жизнь, и, как песня, в ней останется...» Что ж, неудивительно: когда кругом живут по лжи, тогда и появляются памятники бандитам, к которым обыкновенные граждане носят цветы. Старая Минсулу-апа это хорошо знала, чувствовала и прекрасно ориентировалась в своем сумасшедшем времени.

Через год, прямо на своей очередной свадьбе, был убит глуховатый Шамиль, но с памятником тут хитрить не стали, ибо «инженеров» Гумеровых в городе хорошо знали.

Смерть одного сына за другим заметно погасила энергию Минсулу-апа, да и возраст брал свое, и весь оставшийся пыл она перенесла на дочь и зятя, которого знала чуть ли не с пеленок.

Рашид на железную дорогу не вернулся — за три года службы в армии паровозы сменились электровозами, а чтобы переучиваться, нужно было иметь среднее образование и вновь тратить годы, к тому же работа в МПС на глазах теряла свою престижность. Теща определила его на мясокомбинат, в какой-то тяжелый и грязный цех, где он имел возможность собственноручно оттяпать самый лакомый шматок, за дальнейший путь которого мог не волноваться — на проходной вахтерами служили дружки Шамиля и Исмаила, а также люди, которым Минсулу-апа, пользуясь своими связями в органах, не раз помогала. Вскоре Рашид оставил убойный цех и перешел мастером в колбасный.

К тому времени Кармен родила одного за другим двух мальчиков, но дети не принесли покоя и мира в семью. Нервно, скандально, с бранью, битьем посуды и гитар жили они, и Рушан не любил ходить к ним в гости, хотя его и зазывали. Рашид не раз уходил из дома. Однажды даже на полгода вернулся в Мартук к сестре. Эти полгода, наверное, запомнились в поселке не только Рушану. Дело в том,

что Рашид открыл при местном ресторане колбасный цех. И чудесных колбас, сосисок, сарделек, что он делал, хватало всем!

Вот уже два десятка лет талдычат о продовольственной программе, а колбаса стала едва ли не деликатесом. Рушана просто трясет, когда он слышит болтовню о сложностях ее изготовления. Он-то хорошо знал, как его дядя один, всего за два месяца, построил цех и копильню, и сам же, в одиночку, выпускал колбасу. И это не миф, Рушан ведь бывал в цехе, ел эту колбасу, видел ее в магазине. А запах от нее в дни копчения разносился за два квартала от ресторана. Но не долго побаловались собственной колбаской в Мартуке — Кармен вновь вернула мужа в дом, и запах копченых сосисок и сарделек навсегда выветрился из поселка.

Уходил из семьи Рашид и позже, и уезжал подальше, аж в Ташкент,— там он прожил больше года у другой своей сестры, старшей. Человек со светлой головой и умелыми руками, он там сразу стал на ноги, приделся, вставил золотые зубы, купил новомодные тогда плоские часы «Полет», тоже золотые и даже с золотым браслетом. На ташкентской «бирже труда», которая существует давно, если не сказать всегда, его заметили сразу: он клал утермарки — круглые печи в железных коробах под газ. На «биржу» он ходил только первую неделю, позже за ним уже приезжали домой на частных машинах, а вечером, сытого и навеселе, доставляли обратно. Ташкент никогда не переставал строиться, и мастеровой человек там высоко ценится и поныне.

Рушан провел свой первый трудовой отпуск в Ташкенте, где в тот год так удачно «калымил» его дядя. По воскресеньям они ходили в летний ресторан на Комсомольском озере. Дядя еще был молод, хорош собой, прекрасно одевался, и на него заглядывались женщины. Но Кармен сумела вырвать его и из Ташкента,— наверное, в ней все же что-то было, если дядя неизменно возвращался в свой дом.

В то лето на оплетенной густым виноградом и цветущей лонicerой прохладной веранде когда-то знаменитого ресторана «Регина» Рушан не раз порывался спросить дядю, почему он не женился на «мадам Баттерфляй», но так и не посмел. Возможно, тогда бы он узнал и тайну давнего подарка к двадцатипятилетию, и почему Толстой, и почему «Воскресение»... Но тайна осталась тайной и по сей день.

Рушан вновь увидел Рашида через много лет, на похоронах своего отчима, да и то мельком. Дядя уже тогда выглядел как старик, со впалым беззубым ртом, отчего лицо заметно деформировалось,



и уже ничто не напоминало о его былой привлекательности. Плохо одетый и скверно выбритый, в худой обуви, а ведь был щеголем в молодости, да и позже, когда стал заведующим колбасным цехом в ресторане. Голос, улыбка, потухшие глаза — ничто не напоминало прежнего Рашида, крепко укатали его годы...

После возвращения из Ташкента Рашид устроился на химзавод, в самый вредный цех. Туда и за высокую плату никто не шел, и, чтобы приманить людей, работникам выделяли участки и выдавали большие кредиты под строительство дома, вот на это он и клюнул. К тому времени уже умерла его властная теща, ушли из жизни непутевые братья Кармен, казалось, что судьба дала возможность и ему пожить по-людски. Но счастливая семейная жизнь у него так и не заладилась.

Выстроил Рашид самый большой и затейливый дом в поселке химиков, на окраине города, обставил его богато импортными гарнитурами, и даже хрустальными люстрами обзавелся, как некогда слепая старуха Мамлеева, но счастье в дом так и не пришло. Правда, больше хрусталь и фарфор не крушили дружно в четыре руки, но все равно... Быстро поднялись сыновья Рашида и друг за другом выпорхнули из дома. Один ловил где-то на Камчатке рыбу, другой гонял дальнобойщиком по Чуйскому тракту, доставляя в самые глухие аймаки Монголии грузы, и теперь уже поседевшая Кармен моталась между Сибирью и Камчаткой. В одной из таких поездок она простудилась и умерла в Петропавловске, там ее и похоронили чужие люди на больничном кладбище. Сын вернулся с моря через тридцать шесть дней, а Рашид из-за непогоды и пограничных формальностей добирался туда три недели, хотя выехал из дома в тот же час, как получил телеграмму-похоронку на жену. Так и размотало всю семью по белу свету...

Рашид не надолго пережил любимую Кармен. Неожиданно открывшийся туберкулез, из-за тяжелой и грязной работы во вредных цехах химии, быстро сжег его. Странно, он умер ровно через месяц после того, как погасил взятый под строительство дома кредит. Мудрое государство знало, чем соблазнять своих самых ответственных граждан. Выиграла казна еще в одном, дядя Рашид не дожил до выхода на пенсию, о которой страстно мечтал, полгода. В общем, «кочегар» рассчитался с государством сполна.

Рушан часто бывает в Актюбинске, иногда проезжает на шальных маршрутках мимо дома любимого дяди, где уже давно живут чужие люди. Навсегда закрылись страницы буйной жизни семьи

Гумеровых, в которую из-за любви к Кармен попал его дядя Рашид. Время на всем ставит свой крест.

История жизни дяди, чье двадцатипятилетие когда-то показалось мальчишке возрастом недостижимым, а вместе с тем и вся жизнь семьи Гумеровых, в которой растворился дядя, промелькнула перед Рушаном печальной повестью.

Не хотелось отделять от дяди и судьбу Раили-апа, которую он когда-то с восхищением назвал «мадам Баттерфляй», ведь тогда он был уверен, что Рашид женится на красивой бухгалтерше из райпотребсоюза. И в ее жизни не осталось особых тайн, и та книга судьбы уже почти прочитана, но там как будто сложилось все гораздо спокойнее и удачливее.

Раиля-апа вышла замуж за шофера автолавки — парня веселого, бесшабашного, после армии узнавшего в Караганде, что такое шахтерский труд. Он долго, почти до сорока лет, играл в футбол за «Кооператор». Наверное, «мадам Баттерфляй» прожила хорошую жизнь с мужем — Милижан был работящим, бесхитростным, добрым, — но кто знает, с кем счастливы красивые женщины? Одно жаль, умер он рано, в одночасье, от инфаркта. Рушан знал, что у них есть дочь — работает врачом в Ташкенте.

Такие вот нити протянулись от томика Толстого в темно-синем переплете с трогательной надписью «Рашиду в день двадцатипятилетия...»

VI

Ташкент шестидесятых годов пришелся Рушану по душе, и он быстро вписался в его жизнь.

В сентябре начинался театральный сезон, и он часто пропадал в концертных залах. Гастролеры любили Ташкент за мягкую, теплую осень, обилие фруктов, гостеприимство и любезность местных жителей, несуетливость горожан, за южную привлекательность и восточное лукавство, и Рушан почти каждую неделю видел воочию тех, о ком раньше только читал в газетах или слышал по радио. Баснословная дешевизна тех лет позволяла ему бывать с друзьями в ресторанах, и он открыл для себя интересные заведения с таинственными названиями — «Бахор», «Шарк» и особенно «Зеравшан», мало что утративший от своего дореволюционного великолепия.



Завсегдатаи по старинке называли его «Региной», а кинорежиссеры любили за то, что здесь можно было показать, как прожигали жизнь «осколки старого мира».

Те далекие годы стали расцветом джаза, и в «Регину» Рушан зачастил не только потому, что ему нравилась роскошь просторных зеркальных залов и пышных палм в огромных кадках, не из-за голубого хрусталя и тяжелого серебра на столах,— там играл лучший в Ташкенте джаз-секстет, а еще точнее — ходил слушать саксофониста Халила, смуглого до черноты высокого парня-узбека с нервным, подвижным лицом.

Что-то жуткое и одновременно прекрасное было в игре Халила, завораживавшей зал. Когда приходил черед его соло-импровизации, все стихало. Играл он стоя, с закрытыми глазами, раскачиваясь, словно в трансе, играл до изнеможения. Бронзовое аскетическое лицо его преобразилось, ворот красной рубашки распахивался, и видно было, как вздувались вены на шее. Каждый раз Халил солировал будто в последний раз. Наверное, предчувствовал, как мало ему отпущено жизни. Через год, в расцвете ресторанной славы, после шумного вечера, где играл до полуночи, Халил отравился, оставив после себя разбитый вдребезги саксофон и лаконичную записку: «Ухожу, никому не желаю зла».

В молодости легко сходятся, заводят знакомства, доверяют друг другу не просто секреты, а тайны души. В «Регине», опять же на почве любви к джазу, Рушан познакомился с Камилем, тоже строителем, парнем видным, самоуверенным, крепко стоявшим на ногах,— он был года на четыре старше Дасаева. Оказалось, они чуть ли не земляки: Рушан не раз бывал в Акбулаке, где родился Камил, и Оренбурге, где тот учился.

Впрочем, их биографии, жизненные пристрастия во многом совпадали. Однажды глубокой ночью они возвращались со свадьбы на Лабзаке, шли на Урду, где на берегу Анхора в живописном районе Камил снимал комнату (теперь построек вдоль реки давно уже нет, снесли после землетрясения), и Рушан задал ему вполне естественный для того вечера вопрос: «Когда же мы на твоей свадьбе гулять будем?»

В ответ он услышал историю, в чем-то схожую со своей. Все рассказы о любви примерно одинаковы, но Рушана поразила заключительная фраза: большая любовь не только счастье, но и страдание.

Казалось бы, какая тут новизна, открытие? Банальщина на уровне девичьих альбомов. Но признание, подытоженное выстраданной фразой, заставило осмыслить все по-иному, глубже. Возможно, это

запало ему в память потому, что он симпатизировал Камилу и никогда не предполагал, что у его самоуверенного приятеля такая ранимая душа. Может, история безответной любви земляка всплыла в памяти потому, что конец Камила оказался грустным, и в той книге, которую Рушан читал и писал одновременно, нашлись страницы и для него только оттого, что тот тоже раньше времени исчерпал свой жизненный путь.

Рассказ Камила был печален, как почти всегда бывает печален рассказ о первой любви.

В Оренбурге, студентом, он, выходец из маленького пристаничного поселка Акбулак, на первом же курсе влюбился в городскую девушку. «Представляешь, у нее были живы оба дедушки и обе бабушки. Такое в жизни редко бывает...» Этим он подчеркивал, какой опекаемой и домашней была его симпатия. За все пять лет студенчества он не сумел добиться ее расположения, хотя она прекрасно знала, что он есть, что он влюблен в нее и предан до глубины души.

Приехав по направлению в Ташкент после института, Камил неожиданно хорошо устроился и в течение года от рядового мастера поднялся до прораба, а потом до начальника участка строительного управления и чувствовал, что через год-два может стать даже и главным инженером. Ташкент широко размахнулся в те годы и в гражданском, и в промышленном строительстве, и высококвалифицированных кадров не хватало.

Жил он в ту пору на Урде, хозяева и квартира его вполне устраивали, зарплата после студенческих лет казалась огромной, перспективы — радужными, и, окрыленный успехами, он решился вдруг сделать письменное предложение своей возлюбленной в Оренбурге. В глубине души он смутно догадывался, что ухаживать — это одно, а сделать предложение — совсем другое.

Ответ пришел на удивление скоро. Сказать по правде, отправив письмо, Камил порядком перетрусил. Нет, не потому, что вдруг разлюбил ее и испугался трудностей семейной жизни, тут были другие причины.

Он не мог, например, вообразить, как привез бы ее к своим близким и многочисленным родственникам в Акбулак, людям невежественным, плохо воспитанным, крикливым, несдержанным на язык... А его друзья?! Мог ли он оставить ее наедине с ними хоть на минуту, не рискуя, чтобы она не услышала глупость, пошлость или мат? Нет, этого гарантировать он не мог.



Да что там родня или друзья, вся поездка в Акбулак, без которой никак не обойтись, оказалась бы для нее сплошным унижением: и грязный вокзал, и пыльные разъезженные улицы, на которые за долгую зиму сыплют тонны золы, и дом, в котором он вырос, — маленький, неказистый, безо всяких удобств и, наверное, по ее меркам не очень чистый. Все это приводило его в отчаяние. О чем бы она разговаривала с его родными и близкими? О выкопанной картошке или надоях молока от козы?

Зато он уже представлял, как, похихикивая, судачат родственники, что невеста слишком тонка, а руки у нее чересчур изящны, чтобы вести хозяйство, тетя уж непременно бы отметила, что с такой фигурой на детей особенно рассчитывать не приходится, а может, сказала бы шепотом, слышным на весь квартал, еще какую-нибудь гадость...

А свадьба? Мысли о ней ввергали Камилу в полное отчаяние. Он помнил ее родителей — старомодных, чопорных интеллигентов. А его отец, у которого вряд ли нашлись бы приличный пиджак и брюки? (Будь это единственная проблема, Камил решил бы ее просто.) Утирая отекшее лицо алкоголика, отец уже после первой рюмки мог разразиться матом на весь дом, а к середине свадьбы непременно сцепился бы с кем-нибудь, поскольку гулянье всегда заканчивал дракой и битьем посуды, отчего уже десять лет его не приглашали в гости. Эти и множество других проблем, которые Камил ясно себе представлял и о которых и упоминать-то стыдно, лишали его душевного покоя.

Однажды, когда он только отправил письмо, ему приснилась собственная свадьба. К тому времени из-за саксофониста Халила он уже стал завсегдатаем «Регины» и видел там немало подобных торжеств. Почему-то гостями на свадьбе оказались постоянные клиенты «Регины» — люди разные, но публика солидная, хорошо одетая, умевшая держаться с достоинством, даже с некоторой манерностью, что тогда особенно нравилось ему.

Но самое удивительное: за столом, там, где должны были сидеть его родители, он увидел Софи — певицу из оркестра, высокую изящную женщину с разбросанными по плечам длинными густыми каштановыми волосами, и Марика Розенберга — ее любовника, крупного импозантного мужчину, который каждый вечер появлялся за небольшим столиком у оркестра. Софи и Марик, одетые по такому случаю с особой изысканностью и являвшие собой голливудскую пару родителей, произносили прекрасные тосты и так трогательно-нежно опекали молодых, что никто бы не усомнился в счастье прелестной пары...

Камил не был настолько глуп и бездушен, чтобы не устыдиться сна, он понимал, что даже «свадебный генерал» — уже пошло и безнравственно, а тут — подменить собственных родителей на подставных — более изысканных и вальяжных! Ему сразу припомнилось — где-то он читал, — что человек, устыдившийся своих близких, порочен, имеет червоточинку в душе. Но, как ни мучительно было это осознавать, он все же решил, что по такому случаю лучше уж опереточный Марик — картежный шулер, чем пьяный отец, при одном взгляде на которого все гости тотчас же начнут шушукаться о наследственности. Соглашаясь в душе на такую подмену, а проще сказать — подлог, он признавал за собой некую порочность, раздвоенность души...

Все эти годы он так усердно пестовал свою любовь к девушке своей мечты, создал такой утонченный и изнеженный образ, что не мог представить, как она, его любимая, сможет стирать его грязные рубашки, умываться по утрам у колонки, как все его соседи, укладываться рядом с ним на скрипучий хозяйский диван. Ему казалось, что она, конечно же, должна жить в каких-то невысказанных-прекрасных условиях, о которых он мог только догадываться.

При всем воображении он не мог представить ее занятой будничными делами на кухне или едущей в переполненном трамвае. Ясно ощущал лишь одно: всю жизнь будет чувствовать себя виноватым, что не сумел воздать должное ее красоте. И молодым умом в те же дни отметил для себя, что большая любовь — не только счастье, но и страдание. И потому, когда получил от нее отказ, даже вздохнул облегченно, будто камень с души скинул. С этого дня девушка, ничуть не потускнев в его глазах, стала для него близкой как-то иначе, уже не мешая ему жить...

Потом пути друзей разошлись — Камила неожиданно перевели в Наманган главным инженером нового управления. Уезжая, он приглашал Дасаева к себе на работу, но Рушану не хотелось расставаться с Ташкентом — в ту пору он очень его любил.

В Намангане Камил женился, и Рушан был на свадьбе шафером. Жена Камила, миловидная девушка из крымских татар по имени Замира, врач, понравилась Рушану. По душе пришлась ему и семья, в которую попал его друг. Бывая в Ташкенте по делам или по дороге в отпуск, Камил всегда отыскивал Рушана, и сначала они виделись регулярно, потом связи как-то оборвались. Дасаев слышал от знакомых, что у Камила появились дети, мальчик и девочка, и был рад за друга, устроившего свою личную жизнь...



Год назад кто-то из старых приятелей, с которыми он часто бывал в молодые годы, до землетрясения, в «Регине», сказал, что видел несколько раз Камилу в Ташкенте у кафе «Лотос». Известие вызвало массу воспоминаний о молодости, о давней свадьбе на Лабзаке, когда Камил рассказал ему о своей безответной любви. Имело оно и грустную сторону — «Лотос» пользовался в городе дурной славой.

В тот день, когда Рушан увидел у «Лотоса» бывшего знаменитого форварда «Пахтакора», состоялась, наконец, и встреча с Камиллом, который появился перед самым закрытием кафе, когда Дасаев уже собирался уходить.

Если бы Рушан не поджидал его специально, изо дня в день, у «стекляшки», мог бы и не узнать, на улице уж точно бы разминулись. Прежнего Камилла, самоуверенного и элегантного, трудно было узнать. Бросился в глаза его костюм, тот самый, свадебный, что добыли они некогда с большим трудом. Английская двубортная тройка с высокими шлицами-разрезами на приталенном пиджаке, из плотной шерсти, с темно-сажевой полосой на сером фоне, казалось, не знала износа.

Рушан надеялся хотя бы полчаса издали понаблюдать за ним. Не удалось: Камил увидел или ощутил его взгляд мгновенно. Много позже, раздумывая об этой встрече возле «стекляшки», Рушан предположил: может быть, неожиданное свидание и послужило отправной точкой происшедшей затем трагедии? При расшатанной от пьянства психике такое вполне было возможно.

Видимо, Камил не рассчитывал встретить у «Лотоса» людей, когда-то знавших его молодым, преуспевающим, наверное, он мечтал раствориться в большом двухмиллионном Ташкенте, возможно, оттого и сразу увидел Рушана и понял, что тот явился за ним.

Нет, Камил не стал делать вид, что не узнал давнего друга, не попытался уйти незаметно. И, подойдя с виноватой улыбкой, не стал ни оправдываться, ни дерзить, ни хамить, как часто бывает в таких случаях, а лишь развел дрожащими руками, пробормотав:

— Вот так, брат, вышло, ты уж извини...

Рушан хотел в тот вечер сразу же увести бывшего приятеля с собой, но тот упрямылся, говорил: в любой другой день, только не сегодня.

Расставаясь, Камил вдруг сказал:

— Ты помнишь, мы когда-то возвращались с тобой, молодыми, со свадьбы на Лабзаке, шли ко мне на Анхор, где у меня была

комната, выходящая окнами на речку. И я рассказывал тебе о девушке из Оренбурга, которую любил в юности, и очень обрадовался, когда она отказалась выйти за меня замуж?

— Помню,— ответил Рушан.— Почему-то твоя история запала мне в душу, и я не однажды повторял твою фразу: большая любовь не только счастье, но и страдание.

Камил вдруг протер грязным рукавом заслезившиеся глаза и произнес убежденно, как давно выстраданное:

— Какое счастье, что она не вышла за меня замуж! Этому я радуюсь каждый день. Понимаешь, радуюсь...

— Почему? — опешил Рушан.— Возможно, с нею ты был бы счастлив, и у тебя по-иному сложилась бы жизнь.

— Нет,— с удивительной твердостью ответил Камил.— Все, что случилось со мной, должно было случиться. От пьяницы рождается только пьяница, и наука должна говорить об этом громко и настойчиво, хотя многим это будет не по нутру.

— Ну, это спорное утверждение,— не согласился Рушан, не надеясь, однако, разубедить друга.

Они расстались уже затемно у метро и уговорились обязательно встретиться тут же, в сквере, через день. Идя домой, Рушан все время мысленно возвращался к Камилу и девушке из Оренбурга, которая наверняка уже давно забыла о бедном студенте из Акбулака. В прекрасную пору молодости и удач влюбленный Камил инстинктивно почувствовал, что принесет девушке беду,— поистине, в большой любви столько тайн...

В назначенный день Камил в парк не пришел, и, ощущая смутную тревогу в душе, Рушан поехал на Куйлук, где тот приютился у какой-то бывшей буфетчицы. Здесь ожидала его еще более страшная картина, чем спившийся парень, бывший некогда таким щеголем: за два часа до его прихода Камил повесился.

Рушан понял, что неведомая всевышняя сила привела его в чужой неопрятный дом, чтобы по-человечески схоронить старого друга. Он чувствовал, что в гибели Камила есть и его косвенная вина: кто знает, не появился он в «Лотосе», не напомни о прежней жизни, возможно, тот продолжал бы жить, если, конечно, это можно назвать жизнью.

Смерть Камила долго не шла у него из головы. Он пытался навести справки о его жизни в Намангане: может, парню не повезло с женой? Может, корни этой трагедии кроются в семье? Люди, хорошо знавшие семью Камила, говорили, что дело вовсе не в Замире



и не в семье, и что спился бывший прораб незаметно, не сразу, и пить начал на работе, как многие строители...

Вот так судьба милостиво отвела беду от девушки из Оренбурга, но задела страшным крылом ни в чем не повинную Замиру. Грустная история, так счастливо начинавшаяся на глазах у Рушана. И для Дасаева остается по сей день загадкой, почему Камил на краю жизни думал о девушке, не ответившей на его любовь, и ни слова не сказал о бедной Замире, матери его детей.

VII

Теперь трудно сказать, кто или что из прожитой жизни натолкнуло Рушана на мысль о «вечной книге», что заставляло простаивать вечера у окна. Несомненно одно: судьбы близких людей, друзей, так тесно переплетенные с его собственной, и явились причиной каждодневных экскурсов в прошлое. Он поражался возможностям памяти, ее способности хранить в своих кладовых события, которые впрямую не касались его, о которых знал понаслышке, и которые спустя столько лет вдруг освещались ярким и ясным светом.

Разменяв пятый десяток, он узнал, что любимый вождь не только насаждал лесополосы, но и пересажал целые народы, и деяния генералиссимуса коснулись даже такого захолустного уголка, как степной Мартук...

Чеченцев выселяли осенью сорок четвертого года, значит, в Мартуке они появились в октябре-ноябре, когда в степные края приходит зима. Рушану было чуть больше трех лет.

В памяти всплывали, как размытые кадры фильма или фотографии, фигуры женщин в черных платках, с высокими кувшинами из красной меди, и стариков в необычных для этих мест кудлатых папахах, очень напоминавших силуэт всадника, что изображен на коробке папирос «Казбек». Бабушка говорила, что чеченцы вымерли бы в ту лютую зиму, если бы не оказались одной веры с казахами и татарами, старожилками степного полустанка — те, сами голодные и замерзшие, по велению властной слепой старухи Мамлеевой разобрали слабых и немощных по домам, помогли выжить в трудную первую зиму. А весной пришлые взялись за обустройство, насадили в пустых полях вокруг степного Мартука неведомую доселе тут кукурузу, дружно ставили всем миром дома — работающими и крепкими на удивление оказались горцы.

Отправляя на зиму в степь голых и босых людей из теплых краев, вождь, видимо, не рассчитывал, что народ, всегда носивший на Кавказе самую высокую папаху, выживет. Не учел, что сохранились еще в сердцах людей сострадание и милосердие, как жива была и вера, безуспешно вытравлявшаяся маузерами и тюрьмами...

Такой вот осколочек жизненного калейдоскопа вдруг осветился в памяти Рушана. Позже к нему добавился другой, более существенный, также касавшийся «чехов», как иногда называли чеченцев.

У них в классе с самого начала учились несколько чеченцев, с одним из них, Гани Цуцаевым, они вместе сидели за партой. Как-то Рушан пришел к приятелю домой договориться насчет воскресной рыбалки. Входные двери оказались распахнутыми, и он вошел в низкую избу без стука. В передней комнате, служившей и кухней, и прихожей, сидел отец товарища Махмуд-ага, фронтовик, пулеметчик, отыскавший в Мартуке свою семью после войны.

Вот этот человек, с впалой грудью и печальными глазами, сидел за грубо сколоченным столом, и перед ним высилась груда денег — такого количества их Рушан представить себе не мог. В ту пору мальцы не были столь инфантильными, как нынче, и знали, что за 250–350 рублей отцы и матери гнулись от зари до зари, а о пятнадцатке тогда и не помышляли.

На миг оторвавшись от денег, хозяин дома увидел остолбеневшего Рушана и кликнул из соседней комнаты сына. Вдвоем они как ошпаренные выскочили на улицу. Во дворе Рушан, еще не совладав с волнением, спросил:

— Откуда у вас столько денег?

Гани как-то взросло глянул на него и сказал:

— Это не наши деньги, и тебе лучше забыть о них, иначе у нас будут крупные неприятности, — и ничего больше, как отрезал.

Рушан понял, что стал свидетелем какой-то тайны, и никогда никому не обмолвился об этом случае, хотя тему о Павлике Морозове они с Гани в школе уже проходили...

Ворох денег в бедном чеченском доме однажды всплыл в памяти, и Дасаев, кажется, сумел, хоть и запоздало, разгадать их тайну. Но в ту пору он не мог поделиться ни с кем своим открытием, да и вряд ли кто понял бы его или придал этому факту такое значение, какое придал Рушан. Сегодня, когда открываются и не такие секреты, можно говорить и об этой тайне, тем более что за эти деньги молодые чеченцы заплатили сполна, и вряд ли кому-нибудь



можно теперь предъявить счет, разве что товарищу Сталину. А отгадка пришла случайно...

В семидесятые годы советская пресса и телевидение уделяли много внимания всяким национально-освободительным движениям и левым партиям и, как героические страницы борьбы, преподносили экспроприацию денег и ценностей в пользу той или иной партии. Тактика, в общем-то, не новая, она использовалась и анархистами, и большевиками, были в ней и свои герои, вошедшие в историю: Кропоткин, Камо, Савинков.

Когда в очередной раз по телевидению показывали молодых латиноамериканцев, рисковавших жизнью из-за денег для повстанческого движения, Дасаев припомнил частые суды у них в Мартуке, да и по всей области — то банк очистят, то сберкассу, то ограбят ювелирный магазин подчистую, до последней серебряной ложки. Почти каждый раз грабителей задерживали, и ими оказывались молодые чеченцы. Но вот что странно: ни деньги, ни ценности никогда не находились, и шли юнцы на долгие годы в тюрьму — меньше десяти лет никому не давали, не смотря на малолетство. Некоторых из этих ребят Рушан хорошо знал...

После телепередачи он понял, откуда такая гора денег и драгоценностей оказалась некогда в доме Цуцаевых. Тогда он уже знал, что в Москву от чеченцев постоянно направлялись ходоки, добывавшиеся возвращения на родину переселенцев, а любая политическая борьба требует денег. Ценой собственной свободы добывали их молодые чеченцы. Как живет им теперь, уцелевшим в сибирских тюрьмах, куда они отправлялись безусыми юнцами и откуда возвращались седыми мужчинами?

В техникуме в одной группе с Рушаном учился чеченец из-под Алги Лом-Али Хакимов — умный, способный, крайне рассудительный парень, увлекавшийся политикой. Его постоянно можно было видеть с кипой газет в руках, ему поручались разные политинформации. Все, кто его знал, не сомневались, что быть Хакимову когда-нибудь дипломатом или крупным политическим деятелем. Воспитывал Лом-Али дядя, частенько наезжавший в общежитие, — видимо, с этим парнем и родня связывала большие надежды.

Было время, когда Рушан, листая газеты, ожидал наткнуться на знакомую фамилию этого талантливого парня, он тоже верил, что Хакимов поднимется или по дипломатической лестнице, или по партийной — наблюдалась склонность у него к тому и другому. Но тот неожиданно пропал из виду, как и многие другие, подававшие надежды.

Помнится, гуляя однажды по двору общежития на Деповской, Хакимов сказал ему:

— А знаешь, в чеченском языке нет слова «господин». Значит, и нет понятия «раб». Вот так-то...

Похоже, так оно и есть — среди чеченцев Рушан не встречал ни трусливых, ни малодушных. Когда они в последний раз стояли на перроне вокзала Актюбинска и станционный колокол по старинной традиции отбивал последние пять минут до отхода проходящего скорого, увозившего Хакимова в Грозный, тот сказал на прощание:

— Я желаю, чтобы среди твоих друзей хоть один был чеченец. Ты знаешь, на нас можно положиться...

Жизнь проходит, но больше у Рушана чеченцев в друзьях не было, а с Лом-Али он прожил в одной комнате почти четыре прекрасных года, о которых страстно мечтал, сидя на крыше скорого поезда «Москва — Ташкент».

А еще, когда он слышит слово «кукуруза», оно ассоциируется у него не с Хрущевым, как у большинства, а с чеченцами, как у всех в Мартуке, ведь это они завезли в степные края удивительный злак, широко привили его на казахской земле. Двухметровая росла у чеченцев кукуруза, и все шло в дело: початки на зерно, а стебли на корм скоту, ими же отапливались дома, и даже использовали их как строительный материал, когда крыли крыши.

Мартук не знал вавилонского смешения языков, но в те давние годы звучала в нем и калмыцкая, и ногайская, и ингушская, и еврейская, и немецкая речь...

Немцы появились в поселке раньше всех других приезжих, их ссылали сюда из разных мест: Поволжья, где у них некогда была своя республика, о которой с похвалой отзывался еще Ленин, а также Кубани, Краснодара и Ставрополя... Немцев вывезли много, гораздо больше, чем чеченцев, и они очень быстро прижились — в ту пору ни о какой эмиграции, возвращении на историческую Родину не могло быть и речи. Они обустроивались основательно, всерьез и надолго. Их, наверное, тоже снимали с мест за двадцать четыре часа, и потому людям приходилось начинать на новом месте буквально с нуля.

Семьи российских немцев многодетны, но они, несмотря на бедность, жадно тянулись к образованию, хотя им всячески преграждали путь в высшие учебные заведения, не говоря уже о науке. И сегодня, когда идет мощный отток советских немцев в Германию, к сожалению, приходится признать, что Россия, в которую некогда позвали их предков,



за двести с лишним лет так и не стала им родиной, хотя их заслуги перед новым отечеством преогромны. Оставили они свой благодатный след и в далеком степном поселке, где жил Рушан.

Это нынешние пятилетки были одна безрадостней другой, особенно три самые последние, когда стали исчезать элементарные предметы быта и товары первой необходимости, не говоря уже о скудном ассортименте питания, а тогда, после войны, каждая пятилетка поднимала страну на определенную высоту.

Уже в начале пятидесятых годов Мартук начал расстраиваться. Какие интересные дома стали возводить немцы! С просторными застекленными верандами, большими окнами, с приусадебными пристройками, банями — их сразу окрестили «немецкими» домами, и ни один не повторял другой, каждый хозяин находил для своего жилища что-то особенное. Глядя на пришлых, и местные начали перенимать новый архитектурный стиль.

До немцев существовало твердое убеждение, что тут ни деревья, ни цветы толком не растут, а с ними, как только наладилась жизнь, появились и цветники в каждом дворе, и даже яблони зацвели, а позже и собственный виноград поднялся. А уж помидоры, огурцы, болгарский перец, ранняя капуста и лучок — считай, были в каждом дворе, где жили толковые хозяева.

Никто не стал бы отрицать, что немцы преобразили неказистый степной Мартук. Это с их приездом появились в округе коровы голландской породы и беконные свиньи. И до этого в каждом русском подворье держали поросят, но только с немцами появились копильни и люди узнали вкус и запах колбасы. РТС — самое крупное предприятие поселка, где ремонтировали сельхозтехнику всего района, — на долгие годы стала одним из передовых хозяйств республики. Там трудились в основном немцы — люди, склонные к технике и не привыкшие работать спустя рукава.

Очередной строительный бум охватил Мартук в самом начале шестидесятых, когда там начали строить крупнейший в области элеватор. Народ дружно потянулся на стройку — платили там хорошо, а главное, появилась возможность разжиться строительными материалами. Единственным прорабом из местных на стройке оказался Рушан, это у него на участке трудились две комплексные бригады из немцев — отцы и старшие братья тех ребят, с которыми он учился в школе. Так что понятие «немецкий труд», утвердившееся во всем мире, Рушан было известно не понаслышке.

В ту пору в ходу был монолитный бетон, который отливали на месте в деревянных опалубках. По техническим условиям отработанная опалубка должна идти на списание, сжигаться, а если распорядиться по-хозяйски, ее можно было использовать еще на что угодно, только приложи руки. Рушан на свой страх и риск разрешил забирать доски из-под опалубки на домашнее строительство. Помнится, он и себе во двор завез машину такого материала — нужно было перекрыть крышу сарая и заменить давно сгнивший забор. Эти два куба списанного пиломатериала запомнились Рушану на всю жизнь.

Как только бортовая трехтонка, свалив груз, уехала со двора, его тихая мать закатила неожиданный скандал — требовала сейчас же, немедленно, отвезти все обратно на стройку. Поначалу Рушан не понял, отчего мать так всполошилась, но когда она упомянула фамилию немцев Грабовских с соседней улицы, почувствовал тревогу и обещал больше никогда ничего не привозить с объекта. Рушан ощутил засевавший в ней на всю жизнь страх, который нельзя было вытравить ничем, и даже время тут оказалось бессильным.

В одном классе с ним учился Коля Грабовский, тихий, прилежный немецкий мальчик. Были у него старший брат Юра, погибший чуть позже странным образом на Чудном озере, и младшая сестра Ольга. Сейчас Рушан знает, что тысячи советских немцев умерли или погибли под бомбежками, в трудовых лагерях, а в то время безотцовщина являлась как бы нормой, и он никогда не интересовался, где Колин отец. И вот теперь, запоздало, узнал историю отца одноклассника.

В войну, когда немцев привезли в Мартук, Грабовский-старший работал грузчиком на элеваторе, — годы были холодные, голодные, трое детей на руках, такую ораву и в мирное время прокормить не просто. И вот однажды вечером мать Рушана с еще одной соседкой вызывают в землянку к Грабовским «понятыми» — малограмотная женщина на всю жизнь запомнила это слово. Как только Грабовский-старший вернулся с работы, за ним следом в дом вошли двое из НКВД с понятыми и заставили хозяина вывернуть карманы прямо в руки свидетелей...

Мать со слезами на глазах рассказывала, что в обоих карманах ватной фуфайки не набралось даже полной горсти пшеницы. За эту неполную горсть, что она держала в собственных ладонях, соседу-немцу дали пятнадцать лет, и он отбыл их в тюрьме день в день, как говорят, от звонка до звонка.



Рушана потрясла та давняя история — пятнадцать лет за горсть пшеницы! — и он сразу понял и оценил страхи матери.

Случай этот долго не шел у него из головы. Ну ладно, война, сгоряча дали на всю катушку, но почему же сразу после войны, хотя бы в честь Победы, не пересмотрели подобные дела? Ведь дома осталось трое детей! Поистине, низвели человеческую жизнь до жизни раба, от которого требовалось одно — дармовая работа. Грабовского, наверное, и выпускать из тюрьмы не хотели, уж слишком честны и безотказны немцы в работе...

Грабовский-старший вернулся домой из Сибири в ноябре 1959 года и работал плотником в одной из бригад Рушана. Прораб всегда чувствовал перед этим безотказным мужиком, у которого от немца осталось лишь одно — трудолюбие (у него даже фамилию давно переделали на русский лад), какую-то вину за жестокость государства, и никогда не загонял его ни в ночные смены, ни на разгрузку цемента и вагонов с лесом: понимал, что тот свое отработал сполна...

От родных Рушан слышал, что семейство Грабовских с престарелым отцом уехало на жительство в ФРГ, и часто думал: «Пусть Родина, которую они так трудно и запоздало обрели, будет к ним добра и милостива, не в пример нашей, — слишком мало хорошего они видели в жизни по эту сторону границы. Пусть никто и нигде не заплатит больше за горсть сорной пшеницы такую цену, какую заплатил некогда Гюнтер Грабовский...»

VIII

С чеченцами часто случались какие-то шумные и скандальные истории — этих не могли запугать ни работники спецкомендатуры, ни люди из НКВД. Они не позволяли унижать собственное достоинство, и ни один чин при нагане не рисковал принимать чеченца в кабинете один на один, хотя тех на входе обыскивали самым тщательным образом. Говорят, в ту пору со стола начальства исчезли все тяжелые предметы: бюсты генералиссимуса из бронзы или мрамора, а также и бюсты железного Феликса, тяжелые письменные приборы каслинского литья из чугуна, особо модные в те годы, и даже графины с водой. Другое дело немцы — тихий, законопослушный народ, они не доставляли особых хлопот спецкомендатуре.

Но однажды произошло ЧП, перед которым померкли все лихие выходы горцев. Говорят, историей немецкого парня по имени Рубин занимались в Москве высшие чины НКВД и военной разведки. Рубин в ту пору учился не то в восьмом, не то в девятом классе и жил на другом краю села, поэтому Рушану не приходилось сталкиваться с ним, знал только, что тот жил с матерью, и мать его работала в школе истопницей и уборщицей...

Перебирая в памяти те далекие детские годы, Дасаев не мог не вспомнить добрым словом немок-уборщиц, что работали у них в школе. Каждый класс просторной и добротной школы отапливался тогда углем — а учились в две смены, была и третья, вечерняя, для взрослых, — это значит, больше двадцати печей топились с раннего утра и до поздней ночи. И бойкие уборщицы не только топили эти прожорливые печи, но еще в течение урока, к каждой перемене, успевали вымыть длинные коридоры школы. Сегодня, став взрослым, он понимал, что трудолюбие этих женщин спасло сотни ребят от туберкулеза.

О тех давних уборщицах в родной школе Рушан вспоминал не только из-за Рубина. Однажды в Нукусе он случайно по строительным делам оказался в школе. Войдя в современное здание с центральным отоплением, Рушан начал задыхаться и вскоре понял, что школа не знала влажной уборки даже раз в месяц, — ребята изо дня в день дышали мельчайшей пылью, взбитой в три смены тысячами детских ног.

Может, потому в Каракалпакии почти нет здоровых людей, они уже из школы выходят с ослабленными легкими. Жаль, местные врачи и местное начальство не понимали того, что знали малограмотные немецкие женщины...

Отдав должное в памяти школьным уборщицам, про которых вряд ли найдешь упоминание в каком-нибудь романе, он мысленно вернулся к Рубину...

Немцы в те годы не имели права без разрешения комендатуры покидать место жительства, не имели они и документов, что также лишало их возможности передвижения. Тем удивительнее оказался слух, что пропавший два месяца назад немецкий мальчик — школьник по имени Рубин, задержан на западной границе при попытке ее перейти. Его вернули домой, к матери, что с него взять — несовершеннолетний мальчуган.

На все вопросы учителей на педсовете он упрямо твердил, что хотел вернуться на свою Родину, хотя те дружно уверяли, что его Родина — СССР: здесь родился он, родились его родители и даже прадеды,



только здесь ему гарантированы великой сталинской Конституцией право на труд, свободу, бесплатное образование, здравоохранение, жилье и прочие блага. Но, видимо, он уже тогда понимал, какие свободы ждут его в родном отечестве.

Рушан, как и другие одноклассники, бегал в соседний коридор, где учились старшеклассники, взглянуть на парня, без документов, без денег одолевшего путь через всю всю страну и задержанного настоящими пограничниками. Оказывается, обыкновенный худенький мальчик-подросток с грустными глазами, отличник, прекрасно знавший математику и на контрольных решавший все четыре варианта задач. Были у него и приятели, с которыми он дружил и которых уже кое-куда вызывали, но никто из них даже предположить не мог, что Рубин затеет такое — отправится к дяде и родственникам во Франкфурт-на-Майне, откуда раз или два приходили письма и перепотрошенная посылка с вещами.

Окончив школу, Рубин снова бежал, но на этот раз его застрелили при переходе границы, и мать ездила на похороны, а чуть позже вовсе переехала в те края присматривать за могилой единственного сына, больше у нее никого не было — муж погиб в Челябинске в трудовых лагерях.

В школе провели собрание, где гневно осудили поступок бывшего ученика, — видимо, откуда-то поступило такое указание. Но между собой ребята говорили другое: жаль Рубина, он же школьник, а не шпион, и какие тайны он мог вывезти из Мартука — о нищем колхозе «Третий Интернационал», что ли? И пусть бы он жил там, где хотел, мы ведь граждане самой свободной страны...

Так просто и ясно — задолго до Хельсинкского совещания, — без знания о существовании Декларации прав человека, еще сорок лет назад мыслили мартукские мальчишки.

Сегодня ясно, что Рубин поспешил. Он был молод, не чувствовал время, а поговорить, посоветоваться ему было не с кем — наверняка даже мать не знала о его планах. А времена меняются, даже самые тяжелые в конце концов проходят, только никто не знает, сколько надо ждать, потому и торопятся, ошибаются и погибают...

В мартукской парикмахерской работали две очаровательные сестрички, Марта и Магда. Рушан не раз стригся у них под нулевку — другая стрижка в те годы младшеклассникам не разрешалась.

Вот эту семью Тиссенов разыскала какая-то родня из ФРГ, и опять поползли слухи, что родственник не то банкир, не то генерал. Тиссенy стали собираться в дорогу...

У Марты к тому времени уже был жених, Вольдемар, старший брат товарища Рушана — Сагизмунда Вуккерта (которого друзья на русский манер звали Саня), так что отъезд происходил у Рушана на глазах. Сыграли скорую свадьбу: иначе Вольдемар-Володя остался бы без невесты, а уж там, в ФРГ, такую красавицу, наверное, сразу перехватил бы какой-нибудь бюргер,— так рассуждали Рушан с Вуккертом-младшим.

Честно говоря, Володя на Запад не рвался, можно сказать, чашу весов перетянула боязнь потерять любимую. Уезжал он из Мартука со слезами на глазах, Рушан это мог подтвердить, и первые письма его были полны печали и тоски по России,— Рушан читал их сам. У людей в ту пору не было особых тайн, и письма брата из ФРГ Саня всегда приносил в школу.

Потрясло их одно письмо, которое земляк прислал, когда устроился на работу. У Володи не было какой-то конкретной специальности, вкалывал, где появлялась работа, а с ней всегда было трудно в селе. И вот он нашел себе место в маленькой столярной мастерской, где делали обыкновенные табуретки для кухни, пивных баров, дешевых столовых. Показав, что и как, дали инструмент и благословили на работу — долго говорить с каждым у хозяина времени не было. Удивило Володю план-задание — две табуретки в день. И он решил отличиться: показать хозяину, что и российские немцы не лыком шиты. В общем, сделал к вечеру восемь табуреток, даже на обед не ходил.

Каково же было его огорчение, когда вместо ожидаемой похвалы увидел недоумение и растерянность на лице владельца мастерской. Тот, конечно, оценил «старание» нового работника, которого принял по рекомендации одного из влиятельных заказчиков, однако предупредил, что впредь нужно делать только две табуретки — и ни одной больше, но делать так, чтобы они не скрипели, не рассохлись ни через год, ни через два, ни через десять лет. Может, потому, несмотря на семьдесят с лишним лет новой жизни, в наших домах кое-где до сих пор сохранились простые гнутые венские стулья со спинкой без обивки — их во множестве выпускали в России совместные предприятия. Действительно ведь, не скрипят, не рассыхаются.

О «старании» наших бывших граждан, желающих отличиться перед новыми хозяевами, ходит немало историй, но Рушана поразила одна, услышанная не так давно — из новейшей, так сказать, эмиграции в Израиль.



Некий ташкентский мясник из бухарских евреев, осевший в Тель-Авиве, устроился по специальности и так же, как Володя, старался в поте лица, ежедневно сдавая хорошую выручку приказчику. Когда хозяин через какое-то время лично посетил лавку, наш мясник, выбрав момент, заманил его в подсобку и, воровато достав припрятанный сверток, протянул значительную сумму денег.

Владелец магазина, опешив, спросил: откуда это? Мясник гордо признался, что недоवेशивал, недодавал сдачу, делал пересортицу, словом, работал, как привык и как от него требовали прежде, вот, мол, за месяц и набежало. «Неблагодарный» хозяин тут же уволил удивленного работника. Тот долго не понимал — почему? Ведь из тех «левых» он не взял себе ни гроша, хотел выслужиться перед работодателем. А там, оказывается, выслуживаться не нужно — нужно работать честно, добросовестно, качественно. Другая работа там просто не нужна.

Какой еще долгий путь нам следует проделать, чтобы усвоить простые истины: не убий, не укради, — нам все надо начинать сначала...

Если бы Рубин не спешил, ему, наверное, тоже открылась бы дорога, и он мог бы найти достойное применение своим математическим способностям. И если бы дождался сегодняшних дней, то уехал без особых хлопот, как уезжают сотни тысяч немцев.

Жаль, хорошие люди уезжают, надежные, трудолюбивые, и как хорошо, что хоть из них за семьдесят с лишним лет не удалось выковать нового советского человека. Пусть люди впишутся в новую семью народов мира, и не надо на их пути ставить препятствия и давать лживые обещания, за которые никто не несет ответственности. Слишком долго они ждали, надеялись, что своим трудом, умом, талантом завоюют подобающее место в обществе, но если честно, они так и не нашли своего места в новой России. Пусть хоть историческая родина оценит их терпение и труд, пусть они будут счастливы...

В старинном квартале, где жил Дасаев, традиционно мусульманском, обитала лишь одна русская семья — Козловы, а точнее, дед Козлов с бабкой Августиной. Как величали хозяина подворья на углу Украинской улицы, где всегда росли подсолнухи со сковородку и сохли на плетнях глиняные горшки, Рушан никогда не знал, и стар и млад называли его просто — дед Козлов. Появился дед Козлов, говорят, в Мартуке почти в один и тот же год, что и известная слепая старуха Мамлеева, с которой он и был дружен до последних дней. В войну

оказалось, что едва ли не единственным мужчиной на Татарке остался дед Козлов, всех мужиков отправили на фронт.

Отвоевался дед Козлов давно, еще в Первую мировую войну — попал в германский плен, оттуда трижды бежал, а последний раз, чтобы не пускаться в бега, зашибли ему ногу, и он заметно хромал.

Многое он повидал на своем веку и многое умел, даже по-немецки лопотать научился в плену и позже в охотку поучал поволжских немцев их языку и обычаям, за что особо почитался среди новых переселенцев и многие звали его в крестные отцы.

Что бы ни случилось на Татарке, все бежали к деду Козлову: помощи, подскажи, как быть, что делать? И для всякого у него находилось и доброе слово, и умелые руки, а бывало, и делился последним. С каждым треугольником, полученным с фронта, шли к нему женщины: фронтовик, орденоносец, два Георгия за войну с немцами имел, жил в Неметчине, батрачил в имении у какого-то бюргера, — уж он подскажет, как там на войне в самом деле, скоро ли конец проклятой. Но писем с фронта поубавилось в первую же зиму: большинство маргучан из Туркестанской дивизии — в их числе и отец Рушана, Мирсаид, — полегло зимой сорок первого года под Москвой (среди знаменитых панфиловцев есть и два их земляка, сейчас их имена носят пыльные, в колдобинах, улицы за базаром).

Всю войну в степных краях стояли лютые зимы, и Козлов, бесплатно подшивавший всей Татарке валенки, сокрушался, что не смогли они с мужиками перед самой войной выкопать колодец в квартале, хотя место ему успели определить. За водой ходили на станцию, не близко, да и там, среди обозленных станционных баб, чувствовали себя неуютно, вроде как на чужое зарились... И с очередной похоронкой, приходившей на Татарку, становилось все более ясно, что копать колодец теперь будет некому — придется нанимать людей.

Дольше всех с фронта шли письма от соседа — казаха Сулеймана. Тот помнил о колодце, который не успели вырыть летом сорок первого, и все сокрушался в каждом послании, как они маются там в грязь и холод. Обещал обязательно захватить из Германии метров двадцать цепи для колодца — знал, что по тем временам дома и ржавого гвоздя не найти. Но в сорок четвертом году погиб под Будапештом и Сулейман.

Дед Козлов понял, что кроме него бедным бабам рассчитывать больше не на кого — те несколько мужиков, которых ожидали из госпиталей, тоже в счет не шли: кто без руки, кто без ноги,



а кто и вовсе ослеп. И вот летом в год победы дед Козлов продал на базаре свою единственную корову редкой голландской породы и на вырученные деньги выкопал колодец.

Колодец служил людям долгие годы, много воды попил из него и Рушан. Теперь уже лет пятнадцать, как его нет, — засыпали, отпала в нем нужда, у каждого во дворе персональная колонка на электричестве.

Нынешним людям, даже деревенским, трудно представить, что означал колодец вблизи дома, какую роль играл в судьбе каждого, и как он объединял, воспитывал, сплачивал жителей, ведь его надо ежегодно чистить, каждые два-три года менять деревянный сруб, ворот и даже цепь, отполированную до зеркального блеска.

Живущие теперь на Татарке вряд ли помнят и о колодце, и о том, какой ценой он был построен, да и самого Козлова тоже забыли. Страшно, если в удручающем беспамятстве, даже в запальчивости, внук Сулеймана крикнет внуку или правнуку деда Козлова: «Убирайся в свою Россию!» Единственная отрада, что ни Сулейман, ни дед Козлов этого уже не услышат.

IX

Предаваясь экскурсам в прошлое, Рушан обнаружил, что жизнь современного человека, даже обыкновенного, не особенно преуспевающего, вбирает в себя много событий. А какие расстояния ему приходится преодолевать! Еще совсем недавно о подобных стремительных перемещениях по стране человек из маленького местечка и помыслить не мог. Поистине — космический век, космические расстояния...

Под настроение Рушан довольно часто перечитывал старые письма, подолгу рассматривал пожелтевшие фотографии, которых, к удивлению, за жизнь скопилось немало. Они были словно иллюстрации к прожитым годам, но чаще всего старые любительские снимки служили толчком к новым воспоминаниям, из глубины сознания возникали давно забытые случаи.

Сегодня, на исходе двадцатого столетия, возник невиданный интерес к оккультным наукам, ко всяким предсказателям, экстрасенсам, шаманам, гороскопам. Окажись у кого карты в руках — тут же станут выяснять ваше прошлое и предсказывать будущее. Как-то,

перебирая пачку фотографий, он обнаружил два снимка рядом, они-то и навели его на мысль о расстояниях, да и о судьбе тоже. Он мысленно провел между ними линию, получилось — из континента на континент.

Один снимок был сделан в самой восточной точке Азии, в порту Находка, где он был в командировке, получал вьетнамский паркет красного дерева. А другой — на мысе Рока в Португалии, самой западной точке Европы. Оба известных географических места расположены высоко над обрывом, а внизу шумят два великих океана.

Хотя Рушан отнюдь не принадлежал к элите, он тоже успел кое-где побывать. Прорабская работа тяжелая, ответственная, и чтобы как-то скрасить строителям жизнь, высокое начальство, особенно курировавшее пусковые объекты, выделяло в межсезонье для своих трудяг путевки. В одной из таких поездок он и снялся на мысе Рока. Но тогда, в ветреный апрельский день, он и не вспомнил, что некогда уже фотографировался на другой крайней точке планеты. Вот только спустя годы, когда волею случая две фотографии, словно удачливые карты, легли рядом, осмыслил, как далеко ему приходилось забираться. Он глянул на карту мира, висевшую в кабинете, и, найдя эти точки, поразился расстоянию. Между ними лежали континенты, десятки стран, сотни городов с вековой историей, тысячи поселков и деревень. На этих просторах, неохватных даже воображением, жили миллионы людей разных рас и вероисповеданий, и каждый — со своей судьбой...

И, может, оттого, что впервые почувствовал себя песчинкой в пустыне, каплей в океане, он стал еще пристальнее вглядываться в себя, свою жизнь, свое прошлое.

Но странно: память уносила не в прославленные края, где ему удалось побывать, в Париж, например, а к истокам, к школе, где пробуждалась его душа, где он мечтал о жизни, о своем месте на земле, размышлял, кем станет, кого полюбит. И поиски самого себя в том давнем времени удавались лучше, когда он вспоминал разных людей, казалось, не имеющих к нему никакого отношения...

Все это было давным-давно, и даже директор школы со странной фамилией Фасоль ходил тогда в холостяках. И в одну зиму прошелестело по классам: Фасоль женился, жену привез. В ту пору директор жил при школе, и на какой-то перемене Рушан увидел невысокую стройную девушку в изящной беличьей шубке, в коротких зимних сапожках на высоком каблуке, называвшихся почему-то «венгерками».



Она оказалась милой и пригожей, с румяными от мороза щеками, и, наверное, чем-то походила на городских старшекласниц, хотя Рушан уже знал, что она детский врач. Он помнит, как вскоре у них родилась дочь, видел, как ежедневно выгуливали эту девочку возле школы. Девчонки-старшеклассницы каждую перемену сбегались к коляске и по очереди катали ее по школьным аллеям среди цветущих акаций,— это тоже врезалось в память. Акации, дорожки, посыпанные красноватым песком, школьницы в белых фартуках, словно бабочки, и маленькая девочка, вся в кружевах...

Много лет спустя в один из своих отпусков Рушан танцевал с этой очаровательной девушкой, в то время уже ленинградской студенткой, в летнем саду, и очень смешил ее теми давними воспоминаниями. После его отъезда в том далеком августе из-за нее застрелился какой-то парень, кажется, бывший одноклассник. Как тесно все переплелось в жизни — любовь и смерть...

Сегодня уже нет в живых директора школы, большого любителя шахмат, давно на пенсии его жена, некогда показавшаяся Рушану старшеклассницей из-за беличьей шубки с муфтой на груди, в которой она прятала озябшие руки в тонких перчатках, а очаровательная девушка, которую некогда катали в коляске по школьному двору выпускницы, вряд ли часто вспоминала провинциального мальчику, нажавшего в ту роковую ночь на спусковой крючок охотничьего ружья. Как стремительно летит время, и как быстро ржавеют небогатые железные надгробья на могилах юных, как скоро забываются даже самые грустные истории...

В последние годы Рушан часто вспоминает школу, а вернее, две школы в своей жизни. Порою ему казалось, что он слишком идеализирует ее, слишком много приписывает ей хорошего, возвышенного, романтического. И как он был горд, когда правда обо всем стала пробиваться на свет, и оказалось, что выпускники советских школ пятидесятых годов были намного образованнее, эрудированнее нынешних юнцов конца восьмидесятых — начала девяностых. Откровенное признание некоего авторитета из Академии педагогических наук осветило воспоминания по-новому, потому что большей частью они касались школьных лет. Хотя он устыдился своей гордости, уловив в ней нечто противоестественное: что же тут хорошего, если наши дети за тридцать лет прибавили лишь в теле и невежестве — ведь на плечи плохо образованного и плохо воспитанного поколения ляжет твоя старость.

Но о старости, которая подступала уже вплотную, думать почему-то не хотелось, может, оттого, что до сих пор снятся молодые сны, а точнее, сны о юности. Странно, бывшие возлюбленные снятся прежними, юными, какими запомнились на всю жизнь. Да и ты сам не ощущаешь в снах груза собственных лет, чаще тоже бываешь молодым, но непременно с опытом прожитой жизни, как мудрая черепаха Тортилла,— и теперь-то тебе все ясно и понятно. Какие же это удивительные и прекрасные сны! И как горьки, мучительны возвращения в действительность из этих снов!

Ведь милых, очаровательных девушек, чей образ ты пронес через всю жизнь и с одной из которых ты только что, во сне, договаривался о новой встрече или о том, чтобы больше никогда не ссориться, давно уже нет. Есть женщины, побитые судьбой, уставшие от жизни, одни уже на пенсии, а другие на пороге ее, и мало что в этих женщинах напоминает о былой красоте, изяществе, легкости движений. Попробуй кого-нибудь из незнакомых людей убедить, какой красавицей была та или иная прежде, могут и на смех поднять,— время безжалостно отбирает все: и блеск глаз, и пышность волос, и улыбку...

Наверное, есть что-то справедливое в том, что, выходя замуж, девушки теряют свои фамилии, тем самым как бы утверждая: нет больше ни Нововой, ни Давыдычевой, ни Резниковой, а есть некая Астафьева, Журавлева, Зотова. Эти новые фамилии твоих давних симпатий и привязанностей ничего тебе не говорят, да и сами они стали незнакомыми, чужими женщинами — чьими-то женами, матерями, а то и бабушками уже...

Наверное, в нажитых сединах и морщинах тоже есть свои преимущества — по крайней мере, обретая их, меньше витаешь в облаках и объективнее рассматриваешь и прошлое, и настоящее, и будущее,— розовые очки к этому времени то ли разбиты основательно, то ли вообще затерялись. И дело не в том, что задним числом понимаешь, в какую дверь надо было входить, а в какую — не стоило; просто знаешь, почему вошел в другую, хотя многого не понять даже сейчас, особенно того, что касалось сердечных дел. Поступки женского и уж тем более — девичьего сердца неподвластны никакой логике, об этом написаны горы книг, на том стоит литература, да и сама жизнь,— это было тайной для него, останется и после него. Но все же даже через годы, десятилетия однажды всплывет какая-то фраза, жест любимой, который не понял тогда и не можешь разгадать сейчас,— оказывается, это сложнее, чем шумерские письмена. И осознавать это мучительно...



Стороннему человеку, тем более молодому, раздумья о том, что когда-то сказала или как посмотрела некая десятиклассница или студентка, показались бы просто нелепыми, но, как ни странно, для некоторых людей, проживших уже немало, это становится очень важным. Ведь, отняв у человека самостоятельность, решая за него буквально все, вытравив личностное, индивидуальное, навязав коллегиальность во всех делах, государство не добралось лишь до дел сердечных, тут допускались инициатива и альтернатива, как нынче модно выражаться, и поэтому неудивительно, что мы так легкоранимы в личной жизни. Нам не давали реализоваться в иных сферах, и крах, неудачу в любви, в семье мы переживаем острее, чем несложившуюся карьеру.

Может, оттого, что Рушан был с детства влюбчив «как гимназист», по определению его любимого писателя Катаева, его воспоминания подернуты романтическим флером, и все ему видится под густым налетом сентиментальности? Ведь он и впрямь был влюблен в Сафию-апа на ее свадьбе, и даже жалел, что когда вырастет, ему не достанется девушка с подобными достоинствами, о которых так красочно распинались возбужденные вином гости. Позже он влюбился в «мадам Баттерфляй» с нежно-персиковым лицом, на которой так и не женился его дядя Рашид. И даже доктора Юлию, жену директора школы, обожал почти полгода, пока в его сердце ненадолго не поселилась пионервожатая — по-цыгански смуглая, по-цыгански веселая и шумная Наденька Кривцанова.

Созерцательность, романтический взгляд на мир, сентиментальность никак не вязались с основным его занятием в жизни — строительством, скорее эти черты характерны для представителей творческих профессий, гуманитариев, людей, выросших в интеллигентной среде, а он никоим образом не попадал в их число. Казалось бы, человек, наделенный такими несвойственными для строителя качествами, должен быть плохим прорабом, но в том и состоял парадокс, что Дасаев был профессионалом своего дела, и, будь он чуть предприимчивее, давно возглавил бы какую-нибудь крупную стройку за рубежом, да и места намечались интересные: Куба, Марокко, Алжир, Индия.

В бедном Мартуке разговоры о какой-то необычайной или редкой профессии вызывали непонятную злобу и раздражение. Он помнит, как девочка из другого класса, Валя Домарова, с которой у него впервые в жизни намечалось нечто вроде «романа», как-то призналась в сочинении на вольную тему, что хотела бы стать балериной, и какой резонанс это вызвало во всем Мартуке. Даже на Татарке

старухи у колодца, путая русские и татарские слова, хихикая спрашивали друг друга: «Слыхали, дочка шофера Васьки Домарова балериной надумала стать?» — «Это значит, в исподнем перед людьми ноги задирать? Ха-ха-ха!» Дальше шли комментарии и вовсе непечатные. А ход многолетнему шабашу вокруг девочки, мечтавшей стать балериной, дала учительница литературы.

История не забылась ни через десять, ни через двадцать лет. Уже умерла мать Вали, и сама девочка, мечтавшая стать балериной, уже готовит, вероятно, документы на пенсию, а про ее родителей разговоры все равно начинаются одинаково: а не те ли Домаровы, чья дочка балериной порхать хотела...

Так мог ли кто тогда помыслить в Мартуке, что он станет дипломатом или журналистом, композитором или писателем, режиссером или актером? Такое просто в голову не могло прийти, и не только потому, что боялись досужей молвы — были уверены: люди подобных профессий рождаются где-то в иных местах, и сами они совсем иные.

Отсюда дружно шли в горные техникумы и институты, потому что в те годы там была самая высокая стипендия и бесплатно давали обмундирование. По той же причине охотно шли в военные и морские училища и во всякие ремеслухи: здесь и кормили, и одевали бесплатно, что для ребят из провинции оказывалось важнее призвания. Рушан попал в железнодорожный техникум, на строительное отделение, по тем же причинам: там тоже многое сулили «бесплатно», а главное, открывалась возможность повидать страну. В объявлении о приеме значилось четко: ежегодно предоставляется право бесплатного проезда в любой конец Советского Союза. Это и определило жизненный выбор — его всегда манило в какие-то неизведанные дали. Еще бы — ведь рядом постоянно громыхали поезда...

В его натуре с детства проявлялось что-то артистическое, и возможно, ему удалось бы найти себя в творческой сфере, но чего не случилось, того не случилось. Может, именно сегодня, запоздало приступив к сочинению своего «романа о жизни», он решил реализовать в себе и всегда дремавшее творческое начало?

В детстве ему и его сверстникам повезло: сразу после войны они перевидали много трофейных фильмов — в том числе и те, которым предстояло войти в золотой фонд мирового кино. В ту пору о мастерстве, режиссуре и прочих тонкостях не говорили, тем более в их далеком от столицы поселке, но не пропускали ни одного фильма. Если сейчас расцветом Голливуда принято считать предвоенные



и военные годы, то большинство фильмов этого периода они видели. Жившие другой жизнью и знакомые с другим кинематографом, они жадно вглядывались в иной мир, в иные взаимоотношения. Там, в тех давних фильмах, все было другим, нереальным на их взгляд.

Фильмы тогда гоняли в старой, наспех переоборудованной под киношку конюшне колхоза «Третий Интернационал». Зал всегда заполнялся до отказа, и таким мальчикам, как он, чаще всего приходилось сидеть где-нибудь на полу в проходах. Зал не отапливался, и чем больше набивалось народу, тем было теплее.

Вспоминается, как он сидит в проходе у самого экрана, жует жмых — жесткие брикеты из остатков семян подсолнечника после того, как из них выжмут масло,— и во все глаза смотрит на разворачивающееся действие. А на экране фешенебельный курорт. В просторном фойе белоснежной гостиницы, уставленном диковинными пальмами и цветущими кактусами в кадках, прохаживается ослепительная красавица, нетерпеливо поглядывая на широкую мраморную лестницу, устланную кроваво-красным ковром. По лестнице спускается молодой темноволосый мужчина с тщательным пробором в набриолиненных волосах, одетый в элегантный костюм с атласными бортами, белый пикейный жилет с белой же бабочкой.

Этот сказочно одетый герой так завораживает Рушана, что он невольно роняет свой кусок жмыха и даже не делает попытки отыскать его в темноте. Он жадно вглядывается в счастливчика, которого, волнуясь, ждет такая восхитительная девушка, и вдруг, неожиданно для себя, мысленно говорит: вырасту, стану зарабатывать, сошью себе такой костюм.

Можно побиться об заклад, что ни одному жителю Мартука не могла прийти в голову подобная чепуха: смокинг, пикейный жилет, белоснежная бабочка... Ведь кроме ватника и кирзовых сапог, в тех краях после войны не знали иной одежды.

Хотеть не вредно... Однако эта история имела неожиданное продолжение.

Лет через десять, когда он, окончив техникум, работал смотрителем в дистанции зданий и сооружений вблизи Кзыл-Орды, с какой-то полочки решил отправиться в город, чтобы заказать себе первый в жизни костюм. Приемщица ателье, узнав о желании клиента, сунула ему в руки пачку журналов мод и куда-то надолго удалилась. Журналы мод в те времена были далеки от реальной жизни, может быть, даже больше, чем сегодня, потому что с тех пор наш народ,

слава богу, кое-что повидал, путешествуя по свету, а тогда были годы настоящего железного занавеса.

И вот в одном из журналов Рушан вдруг наткнулся на точно такой же костюм, что некогда поразил его воображение в фильме, и называлось это чудо смокингом. Рушан не мог оторвать от него взгляда, за этим занятием и застал его еврей-закройщик. Он спросил с какой-то веселой издевкой:

— На смокинг замахнулись, молодой человек?

И Рушан, словно пойманный за недостойным занятием, ответил упрямо, с вызовом:

— Да, мне давно хочется иметь такой смокинг.

Теперь настал черед удивляться закройщику, он даже присел рядом с Рушаном и, как бы извиняясь, сказал:

— Я уже лет тридцать не шил смокинги, но постараюсь, раньше они у меня хорошо получались...

Так Рушан узнал, что человек с заметной одышкой был некогда костюмером в знаменитом ленинградском театре и в известные годы оказался сосланным в Кзыл-Орду. Трудно сказать, кто из них больше обрадовался — заказчик или портной. Старый ленинградец посоветовал ему сшить белый пикейный жилет к смокингу, а когда отдавал заказ, то, волнуясь, протянул Рушану подарок — белую бабочку, сказав, что это от него лично, за то, что на старости лет порадовал его интересной работой.

В Кара-Узьяке он снимал комнату в одной семье, а когда дома примерил обнову еще раз, показался на радостях хозяевам. Старуха, оглядев его, осуждающе сказала:

— У тебя сапоги худые, а ты как в театр вырядился...

Так, случайно, воплотилась в жизнь детская мечта. Сейчас вспоминать об этом было смешно, но тогда...

Х

Город, в котором он окончил техникум, по железнодорожной терминологии назывался «узловой станцией». Это означало, что здесь меняются поездные бригады, есть вагонное и локомотивное депо, сортировочная горка, проще говоря — порт или гавань для старых и новых локомотивов. В ту пору, когда он здесь учился, само вокзальное здание, возникшее словно из сказок Шахерезады, вызывало



у него огромный интерес. Служебные станционные здания, возведенные одновременно с железной дорогой Москва — Ташкент в начале XX века, ныне, если они, конечно, сохранились, представляют собой архитектурную ценность. С высокими затейливыми крышами, башнями и куполами в восточном стиле, частыми стрельчатыми окнами и цветными витражами, строения из добротного желтого камня украшали города и селения на долгом пути. При каждой станции непременно имелась и высокая водонапорная башня, ибо в ту пору ходили только паровозы. Рядом возводились грузовые дворы, пакгаузы, и привокзальный комплекс зданий до сих пор поражает своей целостностью, добротностью, архитектурным решением...

Много позже, став инженером и работая над каким-то проектом, он наткнулся в архивах на документы о строительстве этой железной дороги, которую знал как никакую другую — мог на память восстановить всю ее от Москвы до Ташкента. Выяснилось, что дорогу, которая и по сей день является основной, связывающей Среднюю Азию и Центр, и не имеющую до сих пор второго пути, построили в кратчайший срок, без шума, без помпы, всего два строительных батальона. А все станционные здания разработали рядовые архитекторы. До сих пор без ремонта — а им, почитай, уже век, — на некоторых станциях служат водопроводы, построенные безымянными солдатами-строителями.

К тому времени Рушан имел уже солидный опыт строительной работы, знал, какой ценой, например, возводится знаменитый БАМ, и те сведения, которые он случайно раскопал в архивных материалах, буквально ошарашили его. Позже нечто подобное он испытает, посетив развалины древнего храма Артемиды. Но дорога, ее строительство, потрясали все же больше, и неудивительно, ведь это вплотную касалось каждого из нас: железная колея связывала с большим миром... Видимо, чтобы лучше знать, от чего мы ушли и к чему пришли, надо хоть изредка заглядывать в архивы...

О станции, мимо которой он ежедневно ходил почти четыре года и знал все ее потайные уголки — ибо уезжал оттуда и приезжал туда десятки раз, — он вспомнил не случайно: она тоже, как и многие герои его повествования, исчезла навсегда, можно сказать — сгинула.

В один из его редких наездов домой, уже в начале семидесятых, кто-то из близких знакомых, услышав, что он собирается поехать в Актюбинск поездом, простодушно поведал, что великолепного старинного вокзала больше нет — снесли. Да он и сам вскоре увидел это

своими глазами. На месте прежнего величественного здания, издали похожего на храм, высилась странная бетонная коробка — донельзя убогое архитектурное сооружение, напоминающее большой, неудобный, неуютный, неприглядный сарай. И на память пришла строка одного современного писателя: «Новое нужно строить так, чтобы оно не вызывало грусти и сожаления о прошлом».

Уже потом ему рассказали, как справлялись со старым вокзалом. Оказывается, чтобы разрушить старинное строение, пришлось и взрывчатку применять, танками и тягачами крушить. Как он возмущался тогда, что снесли единственное достойное здание в городе, вместо того, чтобы отреставрировать его, как он порывался узнать имя современного Герострата, но не удалось...

В удивительном мире мы живем: знаем Герострата, который несколько тысячелетий назад спалил храм Артемиды в Эфесе, и не ведаем, кто десятки лет назад отдал команду снести храм Христа Спасителя в Москве или совсем недавно приказал взорвать вокзал в Актюбинске. Впрочем, с годами многому находится объяснение. Сегодня, в начале девяностых, когда Рушан видит в Москве, как турки, финны, шведы, немцы реставрируют, перестраивают национальные святыни России, он понимает, как был наивен, рассчитывая на реставрацию обыкновенного станционного вокзала, — откуда же на все объекты наберется столько иностранцев?

В тот день, опечаленный, что исчезла еще одна примета его молодости — ориентир, казалось бы, вечный, — он невольно пошел по путям вглубь станции, как поступал прежде, когда возвращался в город из дома в полночь на почтовом поезде «Оренбург — Гурьев». Он хотел поглядеть на общежитие, в котором жил лет десять назад, но не вышло. Шагая по замызганным путям, перескакивая через рельсы, годами не знавшие скребка, он незаметно забрел в старое депо, куда сгоняли отслужившие свой век паровозы. Хотя он уже много лет назад расстался с железной дорогой, где-то в душе сохранил странную привязанность к ней и тайно гордился, что некогда принадлежал к этой могучей отрасли. И аббревиатура «МПС» не была для него пустым звуком, тем более что в юности он даже выступал за «Локомотив». «Железная дорога — это как первая любовь, никогда не забывается», — как-то с грустью признался его дядя — колбасный мастер Рашид, некогда работавший на паровозах.

В депо с разбитыми окнами и вырванными с мясом железными дверями раздольно гулял ветер, сквозь прогнившую ржавую крышу



откуда-то капала вода. От холода и свистевшего со всех сторон ветра казалось, что легкие изящные пассажирские паровозы жались к могучим широкогрудым грузовым «СО» — «Серго Орджоникидзе», а маневровый, почти игрушечный, прозванный за изворотливость «щуккой», стоял у двери первым, словно рассчитывал вырваться из этого могильника. «Наверное, эти паровозы хорошо помнят старый вокзал и никогда его не забудут», — почему-то с грустью подумал Рушан.

Локомотивов тут приткнулось немало, разной сохранности, попала на глаза даже почти новая маневровая «овечка», почему-то приписанная к Забайкальской железной дороге. Но больше всего приглянулся ему зеленой окраски, в потемневших медных бандажах, с красными колесами и белой трубой, хищно-изящный «ИС» — «Иосиф Сталин». «Борзый», как называли его мальчишки, и впрямь походил издали на красивую породистую гончую. На его груди каким-то чудом сохранился литой из красной меди профиль вождя.

Рушан так залюбовался паровозом, что невольно ощутил вокруг себя запах подпаленных горячим шлаком креозотовых шпал, особый запах горячего пара и машинного масла, исходившего от быстрого в беге «борзого». От топки, которую на остановке чистил кочегар, шел привычный домашний запах большого самовара — запах горящего угля и кипящей воды.

Рушан, можно сказать, вырос на станции, и потому без труда представлял такого красавца у себя в Мартуке, и непременно трех мужчин возле него. У одного в руках маленький молоточек на длинной ручке, у другого — объемистая масленка, литров на пять, а у третьего, кочегара, что всю стоянку мечется между тендером и топкой паровоза, бывает и лопата, и кувалда. Тот, что с молоточком, — машинист, и, если на груди у паровоза есть профиль вождя — а он присутствовал и на многих грузовых паровозах, — то первым делом, до осмотра ходовых частей и тяги постукиванием, он надраивал до зеркального блеска профиль генералиссимуса, зная, что за это спрашивают строго. Не всякая красавица тратит на макияж столько времени, сколько машинисты уделяли чеканному профилю усатого...

Охваченный воспоминаниями, грустными и печальными, Рушан хотел было продолжить свой путь к общежитию, но вдруг его внимание привлек паровоз на соседнем пути. Большой, мощный, еще не отслуживший до конца свой век. Такие он уже встречал здесь, в депо, но этот, с груди которого крупными зубилами неаккуратно срубили профиль вождя, почему-то так притягивал к себе, что Рушану,

как и в случае с пассажирским, он показался ожившим, под парами, готовым к стремительному бегу. Дасаев будто слышал его дыхание, видел, как он время от времени сбрасывает пары, дожидаясь последней команды дежурного по станции.

В тот момент, когда паровоз, давая протяжный гудок отправления, рывком тронул состав с места и медленно накатывался на него сквозь белесое облако пара, почему-то не прекращая душераздирающего гудка, Рушану вспомнилась история, которую он никогда никому не рассказывал и о которой в Мартуке помнят лишь старожилы...

XI

Хвала Аллаху, кажется, навсегда исчезли из нашего обихода слова «голод» и «холод» — вечные спутники степного Мартука. В ровной, как стол, степи, где ни леса, ни кустарника, как обогреть свое жильё? Выручала корова, если, конечно, была, — топили кизьяками. Но зима приходила рано, уходила поздно, и в прожорливых печах сжигали все — до плетня, до ограды. А в крайнем случае выручала станция, где высились целые монбланы, эвересты шлака, выбрасываемого с проходящих поездов. Тихие, смирные женщины, старушки с раннего утра ковырялись в этих горах, поджидая, когда вывалят на отвалы свежий шлак с очередного паровоза: бывали в таких случаях и удачи — попадались целые куски непрогоревшего угля.

Мальчишки постарше да пошустрее, не говоря уже о парнях, крутились возле паровозов, помогая кочегару заправлять их водой, в надежде выпросить или выкрасть кусок угля. Этот промысел даже имел свое название, умершее вместе с паровозами, — «дрюкать» уголь. Замотанный кочегар почти всегда шел на сделку, потому что не мог разорваться между тендером и топкой, а зимой стоит чуть зазеваться, когда заправляешься водой, как она может хлынуть через край, и вмиг обледенеет весь хвост паровоза. А то еще хуже — зальет бункер с углем, опять же кочегару беда: на ходу, на ветру кувалдой махать. А заправка ведь была не автоматическая, как сейчас.

Сегодня трудно себе представить, что между путями стояла громадная колонка-каланча с отводившейся, словно хобот у слона, трубой, — вот ее-то надо было установить прямо над люком тендера, а потом, спустившись вниз, открутить огромное колесо-ворот и успеть вовремя его закрыть, трубу же отвести на место, — будто обезьяне,



приходилось мотаться вверх-вниз бедняге кочегару. А сколько надо было сил, чтобы топку очистить — все же вручную, на ходу, успевай только угольку в печь подбрасывать. Так что не от хорошей жизни подпускали ребят к паровозу, хоть и знали, что мальчишки не для забавы день и ночь отираются на станции. В общем, на то, что мальчишки крутились возле паровозов, многие закрывали глаза — и станционное начальство, и машинисты тоже.

Лет с десяти, в какие-то очень суровые зимы, когда безденежье буквально душило семью и не на что было купить возок кизяка у аульных казахов, стал ходить на станцию и Рушан.

При станции в казенных домах жили железнодорожники, и так сложилось, что ребята оттуда считали вокзальную территорию своей вотчиной и особенно не любили тех пришлых, кто ошивался возле паровозов. Конечно, у них не возникало таких проблем с топливом, как у поселковых, — железнодорожникам полагался бесплатный уголь, доставались им и старые списанные шпалы, которые регулярно менялись на перегонах, были и другие возможности разжиться растопкой, ведь уголь приходил для школ, больниц, райкома, милиции...

Но ребята со станции все-таки часто ходили дрюкать уголь и считались по этой части асами. Интересовались они, правда, определенным сортом — михайловским, только он годился для самоваров. В ту пору в каждом мусульманском дворе с утра до вечера дымились самовары, вот для них-то и дрюкали уголь с паровозов, была и такса — два рубля за ведро, а ведра большие, двадцатилитровые, и насыпали их с верхом. На вырученные деньги станционные ребята ходили в кино, покупали семечки; поговаривали, что летом один отчаянный мальчишка, каждый день отиравшийся возле паровозов, даже скопил на велосипед, что по тем временам представляло неслыханную ценность.

...Рушану, наверное, никогда не забыть тот погожий зимний день, ибо, начавшись необыкновенно удачно, он закончился небывалой трагедией. Случилось это в каникулы. Он договорился со своим дружкой Диасом Искандеровым пойти с утра на станцию: повезет — добыть угля, нет — пособирать шлак сразу за паровозами.

Уложив в сани джутовый мешок, латаное-перелатаное цыганами старое перекошенное ведро и тяжелую кочергу, которую ему отковали летом в колхозной кузнице, он с товарищем отправился на вокзал. В компании Рушан считался человеком бывалым, так что Диас без разговоров шел за подручного — один он никогда не отважился бы пойти

на станцию даже за шлаком, уж больно задирались в последнее время станционные мальчишки, хоть и учились все в одной школе.

Накануне всю ночь падал снег — крупный, пушистый, и день стоял теплый, безветренный, словно специально для школьных каникул — на радость ребятам.

Вскоре на первый путь пришел четный грузовой поезд. Рушан уже хорошо ориентировался в железнодорожной терминологии и понимал семафорные знаки, впрочем, они не отличались особой сложностью. Повезло и с кочегаром, тот разрешил заправить водой тендер. Но еще большая радость ожидала Рушана, когда он взобрался на паровоз: весь бункер до краев оказался заполнен кусковым углем, что случается нечасто, а сверху лежал огромный, ведер на десять, валун, и вся загрузка — михайловской породы, ни грамма карагандинского.

Пока заправлялись водой, помощник с машинистом ушли в станционный буфет — видимо, по радиосвязи сообщили о долгой стоянке, — и Рушан махнул Диасу, чтобы тот перешел на другую сторону паровоза, где кочегар уже кончил чистить топку. Не дожидаясь, пока неуклюжий Диас переползет под вагоном, Рушан стал сбрасывать в сугробы между путями уголь кусок за куском, — такой удачи ему еще не выпадало.

Диас поначалу принялся относить уголь подальше, но Рушан, чтобы сэкономить время, велел складывать его тут же. Пока кочегар возился с топкой с противоположной стороны, Рушан сумел накидать немалую кучу, которую Диас умело присыпал снегом.

Как только Рушан сверху доложил кочегару, что с водой порядок, тот разрешил ему скинуть большой валун — видимо, чтобы потом не мучиться с ним в дороге самому. Но как Рушан ни силился, он не смог его одолеть, а Диас побоялся влезть на паровоз, — вместе они бы, наверное, сдвинули его с места. Тогда кочегар сам поднялся через кабину в бункер и сбросил огромный кусок в сторону поселка. В это время вдали уже показались машинист с помощником, потому что на противоположном конце станции открылся семафор, указывавший сквозной проход нечетному поезду по главному пути.

Рушан быстро спустился вниз и помог Диасу засыпать снегом добычу, чтобы помощник не увидел в свое окно, сколько угля они «увели», и чтобы не влетело за это добряку кочегару. Добыть столько угля Рушану раньше никогда не удавалось, а мальчишка не вчера стал ходить на станцию, и от радости он готов был петь и плясать. Они с Диасом, улыбаясь, что-то весело насвистывали, представляя,



как обрадуют домашних, а может, даже еще два-три ведра продадут завмагу Кожемякиной,— тогда в кино можно будет ходить недели две подряд, не клянча денег у родителей.

И вот в это самое время со стороны РТС, где находился единственный на весь поселок каток, показалась компания станционных мальчишек — человек восемь-девять, разного возраста, были там ребята и чуть старше Рушана, и помоложе, и даже два дошкольника, как выяснилось позже. Не стой Рушан с Диасом так откровенно возле едва замаскированной кучи угля, компания, скорее всего, прошла бы мимо, но тут ребята заметили богатую добычу.

Столько «надрюкать» не удавалось даже станционным удальцам братьям Чурсиным, да к тому же не просто уголь, а весь михайловский, самоварный! Видимо, главному в компании, подростку по кличке Фаддей, уже отиравшемуся возле старших блатных ребят, хозяева угля показались несерьезными, и он решил отнять чужую добычу — такое происходило частенько. Фаддей прикинул сразу, сколько денег можно заработать, если завезти все это на Татарку.

Когда Рушан с Диасом увидели компанию станционных мальчишек, у них сердце ушло в пятки от предчувствия беды. Встреча ничего хорошего не сулила — они прекрасно знали нравы ребят из краснокирпичной многоэтажки. Будь добыча всего в два-три ведра, возможно, не стоило и сожалеть, но добровольно расстаться с такой удачей, что выпадает раз в жизни,— никогда, тут уж никто свое без боя не отдаст.

Когда Фаддей, для смелости с громким матом, приблизился к ребятам, объявляя, что уголь с паровозов принадлежит только им, станционным, Рушан неожиданно для себя как-то спокойно оттолкнул его от кучи своей тяжелой кованой кочергой и для острастки соврал, что с ними был и чеченец Султан, он сейчас явится со старшим братом Хамитом и санками, вот ему, мол, и объяснишь, кому принадлежит уголь. Султана в поселке боялись даже старшие блатные ребята со станции, не говоря уже о такой мелюзге, как Фаддей, да и вообще тогда с чеченцами предпочитали не связываться.

Султан жил на Татарке, а Фаддей знал, что слепая старуха Мамлеева, бабка Рушана, имела огромное влияние на мусульман в поселке, да и видел он Рушана с чеченцами не однажды, это и заставило его на миг остановиться. Но Фаддей растерялся лишь на секунду — судя по школьным успехам, соображал он туго. Добыча, которая, казалось, уже была в руках, уплывала, да кроме того, и перед своими

Фаддей чувствовал себя неудобно: будет потом мелюзга рассказывать станционной братии, как не сумел он отнять такой богатый куш у двух татарчат-малолеток.

А тут еще пацан-заморыш, учившийся с Диасом в одном классе, осмелел — потянулся за куском угля. Такой наглости не мог стерпеть даже Диас. Он дал однокласснику такого пинка валенком, что у того слетела шапка — прямо к ногам Фаддея. Это еще больше озадачило станционных — а может, татарчата и впрямь ждут помощи от чеченцев?

Уголь лежал на междупутье рядом с первым вагоном готовившегося к отходу поезда. Рушан с Диасом застыли около кучи, а станционные мальчишки топтались в колее главного пути. Застоявшийся на полустанке паровоз, груженный михайловским углем, то и дело спускал пары, и ребята оказались как бы в тумане. А навстречу шел какой-то состав со срочным грузом — для него и подготовили зеленую улицу, придержав поезд на первом пути.

Одолев входные стрелки, встречный не прерывал гудок предупреждения. Машинист видел толпу ребят на путях, но он и не думал сбрасывать скорость, так как был уверен, что мальчишки увидят и услышат грохочущий состав. Но в том и беда, что не нашлось ни одного мальчика, даже дошкольника, который оторвал бы взгляд от кучи бархатисто мерцавшего михайловского угля, ибо в ту же секунду он увидел или услышал бы приближавшийся с грохотом скоростной состав. Все стояли напряженно, с остервенением переругиваясь, не желая уступать друг другу. Не услышали, не увидели состав даже вблизи, иначе бы успели рвануть из колеи...

Троих сразу зашибло насмерть, Фаддею отрезало обе ноги, двоих дошколят выбросило ударом за колею, и они отделались ушибами, а один мальчик, по фамилии Касперов, чудом остался жив: при ударе его подбросило вверх, он упал на решетку бампера паровоза и успел за что-то ухватиться.

Рушана тоже зацепило какой-то выступающей частью, до сих пор у него чуть выше правого виска круглая, с пятикопеечную монету, проплешина — вырвало кусок кожи с волосами, хотя он и был в шапке. И, видимо, когда его сшибло, крепко ударился левой ногой обо что-то, скорее всего, о злосчастную кучу угля. Хромал он долго, почти два месяца.

Когда очнулся, сразу понял, что произошло, — из краснокирпичной многоэтажки бежали к месту трагедии люди, — и он переполз



под вагонами вновь задержанного на первом пути состава и потихоньку, волоча ушибленную ногу, без санок, плача, поплелся домой. Диаса, отделавшегося легким испугом, уже и след простыл.

Дома с ним случился нервный шок, от страха рвало, поднялась температура. Когда часа через три к ним в дом явился следователь НКВД, прибывший по такому случаю из города, в сопровождении местного милиционера Великданова, с чьей дочерью Валюшкой Рушан учился в одном классе, он лежал пластом в постели возле холодной печи, так и не дождавшейся угля.

По холоду в доме, по заиндевевшим, сырým стенам следователь, наверное, сразу понял, почему мальчишка оказался на станции. Но все же, заполнив какие-то бумаги, он строго сказал матери: вот, мол, если бы ваш сын остался дома, читал книжки или гулял в такую чудную погоду, как подобает проводить время на школьных каникулах, — не случилось бы беды. Мать, и без того тихая, забитая, плохо говорившая по-русски, лишь заплакала, но старуха Мамлеева, которая пришла тут же, узнав, что произошло на станции, не смолчала в ответ. Она сказала тоном, не терпящим возражения, как привыкла смолоду:

— Вы зря насчет книжек, товарищ капитан, парень он хороший, отличник, с моей дочерью в одном классе учится...

И тут, робея перед городским начальством, в разговор все же вмешался Великданов, ведь ему тут жить, а он знал власть слепой старухи над мусульманами, составлявшими в ту пору большинство Мартука:

— Вы зря насчет книжек, товарищ капитан, парень он хороший, отличник, с моей дочерью в одном классе учится...

Капитан, понимая, что на этой беде особенно не отличиться, встал и, не попрощавшись, направился к низкой двери, завешанной старым одеялом.

Больше Рушана власти не беспокоили, хотя в школе одна учительница из старших классов настаивала, чтобы его исключили из пионеров как «расхитителя социалистической собственности». Но на педсовете на такую меру не пошли — почти все село жило не в ладах с законом, если придерживаться такой жесткой морали... Вспомнил Рушан и классное собрание, на котором присутствовали и другие преподаватели, кроме их любимой Зои Григорьевны Валянской. Тон обсуждению поступка Рушана задавала Шульженко,

учительница из параллельного 4 «Б», как потом, через годы, выяснится, остро завидовавшая педагогическим успехам и популярности Зои Григорьевны. Она настаивала, что Рушану не место не только в пионерах, но и в школе. В ту суровую пору и на второй год оставляли, и из школы могли выгнать. Рушан, наверное, никогда не забудет это судилище, когда вдруг с первой парты вскочила его одноклассница Нина Павкина и выкрикнула прямо Шульженко в лицо: «Неправду вы говорите, Рушан хороший мальчик, настоящий пионер...» — и, не выдержав напряжения от зависшей тишины, она неожиданно громко заплакала и выбежала из класса.

Нина жила в том самом краснокирпичном двухэтажном доме на станции, откуда были все мальчики, пытавшиеся отнять у двух мальцов с Татарки добытый возле паровозов уголь. Она лучше взрослых знала ребят со своего двора и понимала, что случилось на станции в то трагическое воскресение.

Да, страшная история припомнилась Рушану в старом локомотивном депо, и в таком настроении идти в общежитие, где когда-то был счастлив, ему расхотелось.

Возвращался в город он через поселок железнодорожников, непонятно почему с давних пор называемый «Москва». Там, на улице Дёповской, и находилось его первое студенческое общежитие. Выбираясь на автобусную остановку, Рушан издали увидел приземистое здание бывшей железнодорожной столовой, куда и он забегал частенько, хотя у них в техникуме имелась своя столовка. Раньше всегда тщательно выкрашенная в желто-розовый цвет, под высокой ярко-зеленой крышей, столовая сейчас представляла собою печальное зрелище — заколоченные крест-накрест корявым горбылем входные двери и глазницы выбитых окон, осевшие печные трубы на прогнившей кое-где кровле. Вдруг на лицо Рушана набежала улыбка, и он на время отвлекся от тягостных дум...

XII

Поездные бригады, менявшиеся на узловых станциях,— и возвращавшиеся из рейса, и уходившие в рейс,— непременно посещали дёповскую столовую и обслуживались вне очереди. Те, что из рейса, обязательно брали к обеду по кружке пива. Рушан хорошо помнит: пузатая бочка с одышливым насосом всегда стояла рядом с пышнотелой



буфетчицей в высоком кокошнике. Заказывали паровозники всякие салаты, сметану, и с пятерки, что протягивали они для расчета, им еще причиталась сдача серебром.

Рушан, сжимая в руке рублевку с мелочью, без зависти, а как нечто само собой разумеющееся, говорил себе мысленно: «Вот стану работать, тоже буду обедать на пятерку». Тогда каждый верил в свой час, жил, загадывая на будущее, и умел ждать. Он давно уже обедает на пятерку, а в кооперативных забегаловках иногда и на десятку. Недавно в Москве обедал в одной такой столовой: только суп-лапша, гордо именуемая домашней, стоила там тоже пятерку, правда, уже новыми, так что кое-что в жизни сбывается, хоть и запоздало. Обед за пятерку — уже из области преданий, легенд, и, к сожалению, кажется, навсегда.

Одолов какой-то возрастной рубеж — а он у каждого свой, — человек невольно (кстати или некстати — другой разговор) подводит итоги жизни, смиряется с потерями, признается в крахе больших надежд и теперь уже с грустной улыбкой вспоминает кое-какие свои прогнозы, которые отстаивал в долгих и жестоких спорах. Пусть улыбнутся идущие вслед за нами поколения наивности живущих рядом людей, а иногда, может быть, и подивятся их проникательности...

Как-то на танцах в «Железке», где Рушан считался своим парнем — не только из-за покровительства Исмаил-бека, но и потому, что очень рано вошел в сборную Казахской железной дороги по боксу, даже однажды представлял «Локомотив» на всесоюзной арене и этим уже выделялся среди своих сверстников, — случился инцидент, тоже запомнившийся на всю жизнь...

В ту пору силен был местный патриотизм, и какой любовью и популярностью пользовались свои, доморожденные певцы, музыканты, поэты, художники, спортсмены, герои труда — не передать словами. Удивительно искреннее было время, благодатное для людей талантливых. Оттого даже в их захолустном городе появились в конце пятидесятых джазовые оркестры, свои эстрадные певцы, постоянно давались концерты, собиравшие полные залы, проводились выставки художников, а уж о вечерах поэзии и говорить не приходится.

В тот день на танцах он был с Лом-Али Хакимовым. Серьезный чеченец не поощрял увлечения своего товарища джазом, но дела сердечные заставили его составить компанию Рушану — приглянувшаяся ему девушка с соседнего факультета могла пропустить что угодно, только не танцы в субботу во Дворце железнодорожников.

Кокетливую Эллочку Измestьеву в тот вечер часто приглашал на танец какой-то незнакомый молодой человек, и гордый чеченец приуныл. Чтобы нейтрализовать чужака, Рушан стал оказывать внимание ее подруге. В перерыве между танцами Рушан спросил у Элочки, что это за парень крутится возле нее, и она не без гордости ответила:

— Он будущий юрист, оканчивает в Алма-Ате университет, сейчас на практике в нашей прокуратуре.

Они с Лом-Али от души рассмеялись, и тот убежденно заявил:

— Юрист? Отмирающая профессия! В ближайшие две-три пятилетки он останется без работы.

Сказано было веско, авторитетно, тем более что Эллочка знала — Хакимов в техникуме считался человеком серьезным, начитанным, был всегда в курсе дел в стране и за рубежом и разыгрывать ее не мог.

Бедная девушка, она вполне искренне поверила друзьям и тут же потеряла интерес к будущему прокурору: что ни говори, а железнодорожник — все-таки профессия вечная!

Вот так, не кривя душой, они тогда верили, что юристы в скором времени действительно не понадобятся. Это заблуждение вспоминается особенно часто сейчас, когда наступил звездный час уголовников, очумевших от шальных денег и безнаказанности, и даже людям бывалым, знавшим блатных не понаслышке, нынешняя ситуация кажется страшной, безысходной...

Подводя итоги жизни, уже не пыжишься, не споришь с собою по мелочам, как прежде, и с сожалением признаешь крах многих давних иллюзий. Отраднo лишь одно — какой верой, надеждой на будущее жил, ныне не приснится даже в благостном сне.

Однако самое крупное разочарование Рушана — не в самой жизни, а в своем поколении. Так же искренне, как в случае с будущим юристом, он верил в молодости, что все эти безобразия — несправедливость, подлость, несуразность быта, хамство, невежество, пьянство, бедность, некомпетентность — уйдут в небытие, как только его поколение повзрослеет и займет свое место в обществе. Ему казалось, что старшие все делают не так, потому что им не хватает знаний, культуры, над ними довлеет груз проклятого «темного прошлого», они скованны, в них нет внутренней свободы. Другое дело — новое поколение, молодежь, уже проштудировавшая материалы XX съезда: перед ними как на ладони все ошибки, просчеты общества, они будут жить по-другому, чище, лучше, справедливее, и с ними изменится окружающий мир...



В молодости он понимал душой пьяниц, лодырей, тех, кто бросал детей, семью,— так и должно было случиться, ведь их жизнь искалечена тоталитарным государством. Но когда позже люди такой категории пошли косяком уже из его поколения, а дальше, в геометрической прогрессии, и моложе него, Рушан растерялся. Неужели это просто общая закономерность — и больше ничего?

Его поколение познало безотцовщину, и на то была причина — война. Казалось бы, парень, выросший без отца, никогда не оставит своего ребенка сиротой... Но куда там: детских домов в мирное время, при живых родителях, стало в сотни раз больше, чем после войны, и количество их с годами не сокращается. Бывшие детдомовцы, сполна хлебнувшие лиха, продолжают плодить детдомовцев.

Эта горькая, неутрачиваемая боль — самое тягостное разочарование в жизни. Кто-нибудь, конечно, усмехнется: какими же наивными людьми были эти шестидесятники, не чувствовали время, не оценили правильно перспектив... Это как сказать, в их поколении все переплелось — и наивность, и вера, и трезвый взгляд на жизнь. Он же помнит это время... Середина шестидесятых, на посту еще бодрый, вальяжный Брежнев, и допускаются кое-какие либеральные взгляды...

Рушан ясно представил тот воскресный день: они сидят на футболе, на матче «Пахтакора», где в ту пору играли знаменитый бомбардир Геннадий Красницкий, не доживший и до пятидесяти лет, быстроногий блондин Юрий Беляков, не отметивший и тридцатилетия, и Хамид Рахматуллаев по прозвищу Пеле, погибший в автокатастрофе в сорок лет. Они с друзьями продолжают какой-то разговор, начатый на террасе летнего кафе при ресторане «Ташкент», и Рушан с жаром говорит:

— Я убежден, что еще при моей жизни обязательно соединятся два германских государства, воссоединится и Корея... Не говоря уже про Вьетнам...

В ответ раздается хохот — никто не принимает слов Рушана всерьез, все верят, что мир социализма един, и это навсегда. Но он уже тогда понимал всю противоестественность положения, когда один народ живет в двух разных государствах, душой чувствовал: не может быть такой системы, идеологии, ради которой стоило разделять нации, резать по живому...

Сегодня, словно проснувшись от многолетней спячки, народ захлебывается от неожиданной возможности сказать то, что думает, срыгается в крик. Особенно достается старшим от младшего поколения.

Рушан часто слышит от молодых укоризненное: это вы своим молчаливым одобрением довели страну до ручки!

Может быть, и так. Но миллионы шахтеров в застойные годы ежедневно добывали уголь — не меньше, чем при Сталине, и уж куда больше, чем при нынешней гласности. Нефтяники в семидесятые годы «накачали» для страны двести семьдесят миллиардов долларов — дай бог потомкам за все взятое вместе, включая золото и уголь, заработать хотя бы к началу следующего века такую сумму. Застой не застой, демократия не демократия, а миллионы таксистов по стране садились за руль и при любой погоде накручивали свои 350–400 километров за смену.

А строители? Сколько себя помнит Рушан, они никогда не сидели без дела и раньше восьми не возвращались домой, а уходили на работу чаще всего затемно. Может, стоит четко разграничить ответственность каждого за развал в стране? При чем здесь узбекский хлопкороб, давший не только стране, но и всему социалистическому содружеству хлопковую независимость? Ему-то за что краснеть? Разве что за бедность, за свою убогую жизнь...

Нет, среди нас немало людей, которые могут не краснеть за прошлое, они свою работу делали честно, и не все прозрели только сегодня, в перестройку, мерзости жизни они видели и осознавали раньше. И опять Рушану вспоминается прошлое, не такое уж и далекое...

Лет десять назад, еще при Брежневе, когда страна семимильными шагами приближалась к коммунизму, умер Алексей Николаевич Косыгин — Председатель Совета Министров СССР, второй по значимости человек в стране. Умер он в то время, когда кончина высокопоставленного лица уже не казалась народу трагедией, но вот преставился, кстати сказать, не вовремя, в день рождения Леонида Ильича. Правда, смерть сроки не выбирает даже для больших людей, но Брежнев, который не любил омрачать праздники, тем более личные, даже ради соратника по партии, по Политбюро, не хотел поступиться ничем. Потому смерть Косыгина скрыли от страны на три дня. Этот факт говорил о многом, и прежде всего о времени и о нравах — когда уважения не было ни к живым, ни к мертвым.

Как бы то ни было, но к вечеру дошла и в их прорабскую эта печальная весть. Уже стояли предзимние холода, дули со стороны усыхающего Арала неистовые ветры с солоноватым вкусом, и кто-то к концу планерки, когда за окном уже стояла кромешная тьма, принес две бутылки водки и небогатую закуску. Когда разлили по стаканам,



какой-то бодрячок спросил: «За что выпьем?» Кто-то и предложил: за упокой, мол, души товарища Косыгина. Прозвучало солидно и к месту, для выпивки ведь повод важен.

Когда все потянулись к стаканам, Рушан из-за какого-то внутреннего протеста, внешне похожего на упрямство, хоть и чертовски устал в тот день и быстрее хотел домой, в постель, вдруг огорошил коллег, отрезав:

— Я за него пить не буду.

Для тех, кто уже поднес водку к губам, это прозвучало так неожиданно, что один едва не выронил стакан. Тогда еще дискуссии не переместились из кухонь на люди и выпить за здоровье руководителя страны столь демонстративно не отказывались. Все, разом оживившись, с удивлением стали допытываться, почему, мол, такой демарш.

— А почему я должен пить за него, за Алексея Николаевича? — запальчиво, с вызовом спросил Рушан. — Он у власти был почти сорок лет, и почти сорок лет курировал легкую промышленность, десятки лет был министром отрасли. И что сделал за это время для народа? Что можно купить, что надеть, чем похвалиться? Русскими дубленками или русскими сапогами, поступающими к нам из Франции?..

Сейчас, вспоминая тот давний эпизод, Рушан усмехнулся про себя: ведь тогда, десять лет назад, в сравнении с нынешним положением, магазины ломились от товаров...

Как тут прорвало уставшую прорабскую братию! Каждый вспоминал о своем, и не нашлось ни одного сторонника выпить за помин души главы правительства. А ведь, честно говоря, Алексей Николаевич был не самым плохим человеком и в правительстве, и в Политбюро, и Рушан, как и все остальные, знал это. Но для того, чтобы выпили за помин души, оказывается, этого мало. Поймут ли это нынешние правители, пришедшие на смену тем, кому народ шлет одни проклятия за разорение великой страны?

Припоминая ту давнюю поездку в Мартук, когда он уже больше не застал на месте старинного вокзала в Актюбинске, Дасаев пришел к мысли, опять же связанной со злополучным михайловским углем: как странно устроен человек, что и через десятки лет его волнуют давние события и все, что с ними связано; лишний раз подтверждается, что в мире все взаимосвязано, — как сказал один поэт: если кто-то на одном краю земли бросил камень в воду, на другом это отзовется наводнением.

Тогда, одиннадцатилетним мальчишкой, он возвращался домой без угля, без санок, со слезами на глазах волоча ушибленную ногу, и никак не мог предположить, что в тот день, еще за четыре года до его появления в городе, в доме, где росла девочка, обожавшая голубые банты, девочка, которую он полюбил потом с первого взгляда, впервые если не прозвучало его имя, то возник разговор о нем, о трагедии на станции Мартук. Но тогда ни девочка Тамара, ни ее родители никак не связывали эту историю с собой, хотя через четыре года и на всю дальнейшую жизнь какие-то нити протянутся от Рушана к этой семье.

Сейчас он уже сомневался, что именно так оно и было. Потому что отец Тамары Василий Петрович работал машинистом, и не исключено, что он мог быть на одном из тех двух паровозов в роковой день, а если нет, все равно не мог не рассказать об этом случае в семье: такие трагедии происходят не часто. И конечно, позже, доставая из почтового ящика письма, адресованные дочери, или снимая телефонную трубку, он никогда не думал, что это тот самый мальчик из Мартука, о котором он некогда рассказывал дома.

Вот как тесно все переплелось в жизни! Эта мысль пришла к нему только сейчас, когда Василия Петровича уже давно нет в живых, а та девочка в пышных голубых бантах, которую он некогда встретил у «Железки» с нотной папкой на длинных шелковых шнурах — уже пожилая женщина, и вряд ли она когда-нибудь догадывалась, что о человеке, любившем ее всю жизнь, услышала еще задолго до встречи с ним, хотя их знакомство случилось в счастливом возрасте: ей было четырнадцать, а ему пятнадцать лет. Далекое, безвозвратное время... Он тогда пошел вслед за ней мимо сказочного вокзала, свежесвыбеленного, свежесвыкрашенного, сиявшего свежесвымытыми ко Дню железнодорожника окнами, и очень удивился, что она тоже живет в районе «Москвы», на улице 1905 года, в доме номер 34, — память сохранила и эту подробность...

Оттолкнувшись от воспоминаний о железнодорожной столовой, где поездные бригады обедали на целых пять рублей, он припомнил и другую историю — и к ней тоже оказался невольно причастным.

Уже будучи парнем, его дальний родственник Мелис, с которым они держали «ишык-бау» на свадьбе у Сафии-апа и чей след потом затерялся в Ленинграде, носил цигейковый полушубок, или, как сказали бы сейчас, дубленку из натуральной овчины. На рослом стройном Мелисе, на спор гнувшем двумя пальцами медный пятак, она смотрелась замечательно. В ту пору ватники уже повсеместно вытеснились



бобриковыми полупальто с удобным меховым воротником и высокими, на уровне груди, косыми карманами, что очень нравилось подросткам. На этом фоне единственная дубленка местного щеголя Валиева, конечно, бросалась в глаза, и о ней судачили все, кому не лень. Рушан даже однажды слышал, сколько она стоит — 450 рублей, за эти деньги можно было приобрести два бобриковых пальто.

Так случилось, что, став инженером, Рушан участвовал в реконструкции камвольно-суконного комбината «под химию» — под синтетические ткани, или, как говорили кратко, под лавсан. Те шестидесятые годы прошли под знаком «большой химии»: каких только благ не обещали народу, как только волшебница-химия войдет в наш быт. Главное, что все будет едва ли не даром, рупь — воз, химия все-таки, значит — из воздуха, из дыма, из газа, то есть из ничего.

Как дружно в те годы шельмовали в прессе натуральные ткани — габардин и коверкот, бостон и диагональ, шевиот и драп, бархат и даже ситец! Они, оказывается, и дороги, и непрактичны, и пыль вбирают чрезмерно, и при стирке садятся, и не модны — не соответствуют времени и современному образу советского человека, естественно, самого передового и прогрессивного в мире. В общем, надо вывести все это под корень, и чем раньше, тем лучше.

Вот такой комбинат Рушан с коллегами крушил в городе Фрунзе, бывшем Пешпеке, нынешнем Бишкеке, в Киргизии, где шерсти в ту пору было немерено, действительно, рупь — воз, ведь миллионы овец гуляли на горных пастбищах.

Помнится, в обеденный перерыв какой-то старик-текстильщик с обидой говорил Рушану: «Опомнитесь, что вы делаете? Лучше материи, созданной природой, никогда не было и не будет. Если уж государству некуда деньги девать, пусть вложит их в овцу — чудо природы».

А Рушан с коллегами отбивался от старика, потрясая газетными выкладками.

Первый советский лавсан стоил дешевле шерстяного габардина на десятку, но через два года сравнялся в цене, а сейчас, когда практически нет отечественных шерстяных тканей, пропал и лавсан, а ведь обещали сколько хочешь, да по смешной цене.

В последнюю зиму Рушан как-то случайно зашел в магазин и увидел огромную очередь. Толпа, едва ли не в драке, расхватывала искусственные меховые пальто. Вот тогда он и припомнил, что похожее пальто было у Мелиса тридцать лет назад, только там-то был настоящий мех, а от этого за версту шибало химией. Он машинально

поинтересовался у одного счастливого, тут же напялившего бесформенное оранжевое приобретение, о цене покупки. Тот на радостях великодушно оторвал и вручил ему ценник, и вновь, как и тридцать лет назад, всплыла та же цифра — 450. Только новыми. Вот тебе и рупь — воз!

Остались без габардина, без шерсти, без бостона, без хлопка и кожи, загубили миллиарды, загадили химией природу... Да, прав оказался старый текстильщик из Фрунзе — в овцу надо было вкладывать деньги, в овцу, а не в химию.

Если бы сегодня кто-нибудь взялся проанализировать все крупные проекты страны за семьдесят лет — от коллективизации до продовольственной программы и компьютеризации школ, — мы бы ужаснулись своей бестолковости и дремучести, и не исключено, что с высоты нынешнего опыта, включая и мировой, многие из тех проектов показались бы настоящей диверсией.

Среди решений и постановлений, которые долго, вплоть до последнего времени, принимались населением всерьез, были и временного характера, они так всегда и начинались: «В связи с тем-то и тем-то временно повышается...» — и так далее. Но ничто не оказывается более долговечным, чем временное. Один такой правительственный указ Рушану запомнился надолго, он и сейчас вспоминает об этом случае со стыдом.

В 1961 году, ранней весной, он стоял на перроне станции Экибастуз, где еще совсем недавно находился в тюрьме Александр Исаевич Солженицын, а директором местной ТЭЦ был сам Маленков, которого он видел потом, в первомайские праздники, во главе колонны энергетиков.

Рушан дожидался поезда из Павлодара, и в это время по вокзальному репродуктору передали тот самый указ: «В связи с неблагоприятными обстоятельствами с первого апреля временно повышается цена на сливочное масло, до трех рублей пятидесяти копеек за килограмм».

Рядом с ним стояла группа людей, тоже, видимо, ожидавших опаздывающий поезд. Как они зло, с неодобрением восприняли правительственное сообщение! Особенно неистовствовала полная женщина в теплом пуховом платке, уверявшая остальных, что «временное» означает «на всю жизнь».

Рушан в пору молодости принадлежал к тому несметному большинству, которое безоговорочно верило официальной пропаганде,



любому печатному слову, и потому счел своим гражданским долгом подойти к злбствовавшей, на его взгляд, группе обывателей и высказать свое мнение, разъяснить, как комсомолец, правительственное решение. Он бесцеремонно прервал возмущенных людей и жестко, с сарказмом заявил:

— Вы, товарищи, наверное, прослушали одно важное слово. «Временно»! Понимаете — вре-мен-но... Кончатся временные трудности, и масло станет дешевле прежнего. Я лично в этом не сомневаюсь, — и, гордый своим поступком, отошел от них подальше.

Эту сцену ему никак не удастся забыть — в последние годы замучили постоянные перебои не только с маслом, и он мысленно всегда просит прощения у тех людей, которых посчитал зажавшимися обывателями. Как молод и наивен он был! И разве он один?

Экибастуз. Маленков, Солженицын... Опальный вождь и опальный писатель... Как все переплелось на нашей грешной земле. Как ни крути — все они, включая и Рушана, уезжали с этого крошечного перрона, из города, известного в ту пору суровыми тюрьмами и первым в стране рудником, где разработки велись открытым способом. Сейчас, когда книги Солженицына широко издаются на родине, Дасаев с особым волнением берет каждую из них в руки: а как же — с одного перрона когда-то отъезжали...

С Солженицыным Рушан ощущает близость еще и потому, что, говорят, «Раковый корпус» тот написал в ташкентской больнице, или в Ташкенте пришел замысел романа, когда поставили ему страшный диагноз...

XIII

Судьба человека складывается из потерь и обретений. Иногда того или иного бывает чуть больше или чуть меньше, и по этому соотношению жизнь, наверное, принято считать счастливой или несчастливой, удачной или неудачной. В любом случае она — бездонный кладезь, где в итоге хватает всего, если, конечно, не сойдешь с дистанции раньше времени и дотянешь до финиша, и появится желание на старости лет окинуть взглядом прошлое спокойно и беспристрастно, потому что эта жизнь как бы твоя и уже не твоя, и лучше тебя это никто не сделает, даже самый талантливый писатель. Наверное, поэтому Рушану хотелось бы оставить записи о себе, ведь без них

не будет полной картины времени, как и без свидетельств каждого из нас, и, может быть, какие-то вехи его пути, симпатии и пристрастия помогут понять, почему он так, а не иначе воспринимал события, судьбы, потери, с которыми довелось столкнуться на огромном пространстве от мыса Рока на высоком берегу Атлантики до порта Находка на Тихом океане.

Да и что такое потери? Чаще всего под потерями мы подразумеваем нечто физическое, материальное, а ведь они бывают разные, самые неожиданные, невероятные, иных потерь мы даже не ощущаем до определенного времени.

Одна такая случилась с ним довольно рано, в том возрасте, когда к потерям человек еще не готов и вряд ли обращает на них внимание. Теперь Рушан часто возвращается к тому времени, потому что тогда не придавал этому значения и только сейчас осознал глубину давней утраты. И то хорошо, ведь не зря говорят: лучше поздно, чем никогда...

Он снова возвращается в Мартук, на несколько пятилеток назад. Такая форма отсчета жизни была принята только у нас в стране, она помогает ему острее почувствовать ушедшее, как в песок, время. Он снова вспоминает девочку, написавшую в школьном сочинении на вольную тему «Кем хочешь быть?», что мечтает стать балериной.

Сегодня эта мечта никому не показалась бы странной, тем более, если ныне в подобных сочинениях иные дерзкие школьницы пишут, что хотят стать валютными проститутками. Но тогда... О, тогда мартукские обыватели крепко вцепились грязными руками в хрустальную мечту простодушной девчонки и потом долго еще насмехались над ее надеждой, улюлюкая при каждой неудаче: «Балерина!...». Тем более, что наша жизнь, куда ни кинь, редко состоит из одних успехов.

Может быть, Валя и сама знала, что у нее нет никаких шансов стать балериной, ведь этому искусству учатся сызмальства, в специальных школах и студиях. Конечно же, ничего подобного не было в пыльном Мартуке и, судя по всему, вряд ли появится в обозримом будущем. Наверное, это была даже не надежда, а так, легкая и хрупкая мечта, изящный минутный каприз девочки, у которой взрослые однажды решили выведать самое сокровенное.

Вывели... и разнесли по поселку на всеобщее посмешище...

Это у нее однажды с горечью вырвалось: «Боже, нам уже по двадцать восемь лет!» Неизвестно, от какого критического возраста она мысленно отталкивалась,— но эта цифра в ее устах прозвучала почти трагически. Рушан тоже давно имел точку отсчета



возмужания, взросления — правда, поменьше, в двадцать пять,— но оба они уже в полной мере ощущали свой возраст.

Наверное, если бы кто-нибудь стал расспрашивать о Рушане его одноклассников (хотя по какому поводу — не кинозвезда, не генерал, а рядовой прораб), они рядом с именем соученика непременно упомянули бы и Валю Домарову, «балерину», к которой он в свое время был неравнодушен.

Но если бы о первой любви спросили его самого, он, не задумываясь, назвал бы другую — девочку с нотной папкой в руках, что жила на улице 1905 года. Хотя, конечно, что-то, не поддающееся однозначному определению, связывало его и с Валею — уж она-то знала, чувствовала, что нравится черноглазому мальчику с Татарки, даже тогда, когда они еще не заговаривали между собой. А он искал ее глазами на воскресных дневных сеансах в летнем кинотеатре, и радовался, когда достаивался ее взгляда или улыбки. А какое он ощущал волнение, когда находился возле нее, или случайно касался ее платья, пальто, руки! Теперь только с улыбкой, грустной и печальной, можно вспомнить все их невинные отношения: как болтали обо всем и ни о чем, как смеялись вместе, когда им было весело, как он несколько раз катал ее на велосипеде...

Казалось бы, что в этом особенного? Да в том-то и дело, что не со всяким катались девчонки в то время. Конечно, нынешним подросткам такие отношения кажутся пыльной архаикой, как и запись в девичьем альбоме: «Умри, но не дай поцелуя без любви!» Впрочем, о поцелуях они в те годы и не думали. Самым интересным, волнующим в ту отроческую пору было случайно встретиться в библиотеке, в магазине или вынырнуть откуда-нибудь из-за угла на велосипеде, помочь ей поднести ведро от колодца или попасться навстречу, опять же, как бы случайно, когда она шла в школу...

Он познакомился с Валею у кинотеатра, после возвращения летом из пионерского лагеря. Показывали очередную серию «Гарзана» с легендарным Джоном Вейсмюллером, и у билетных касс творилось невообразимое, а он пришел с компанией, и среди них был чеченец, тот самый сорвиголова Султан. Рушан сразу заметил недалеко от кассы девочку с туго заплетенной косой и кокетливым белым бантом, то и дело выскакивавшим при движении у нее из-за спины. По глазам было видно, что она отчаялась попасть на этот сеанс. И тогда Рушан, неожиданно для себя, подошел к ней и, волнуясь, спросил: «Тебе сколько билетов?»

Она от радости вспыхнула и сказала: «Один, на любой ряд»,— и разжала ладошку, где влажно поблескивала серебряная монетка. Такой она у него и осталась в памяти — радостная, протягивающая к нему ладошку, где лежал двугривенный.

Возможно, у него что-нибудь и сложилось бы с Валею, не встретить он в первую же свою техникумовскую осень девочку в голубых бантах. Если и вправду существует тот всеильный Амур со стрелами, то он сразу попал ему в сердце.

Поскольку они с Валею росли друг у друга на глазах, то детская симпатия, зародившаяся у летнего кинотеатра, все-таки существовала между ними. Хотя Валя, девочка красивая, своенравная, верившая в свою особую звезду, вряд ли кого из местных ребят считала достойной себя,— она была уверена, что за пределами Мартука ее непременно ждет прекрасный принц.

Впрочем, вспоминая и других поселковых красавиц, спешивших вырваться из отчего гнезда, он убеждался, что они думали о том же. Много позже при встрече Валя сама признается ему в этом. К той поре она успела окончить институт в Куйбышеве, побывать замужем, кажется, дважды, и вновь вернуться под родительское крыло, чтобы перевести дух.

Рушан к тому времени тоже окончил институт и даже однажды чуть не женился, но свадьба расстроилась не по его вине. Над ним словно витал какой-то рок — все девушки, в которых он влюблялся, непременно жаждали бурной страсти, высокой неземной любви и пребывали в ожидании не только необыкновенного принца и такой любви, но и особой жизни: романтической и возвышенной, героической и беззаботной одновременно. Понятно, что на сказочного принца он не тянул, и такую жизнь — «беззаботную и героическую» одновременно — не только не мог им дать, но даже и представления о ней не имел. Однако странно, что, обжигаясь, он каждый следующий раз влюблялся в точно такую же, да и они, его любимые, видно, что-то находили в нем, если, не спеша связываясь с ним узы навсегда, все же не желали и отпускать его.

Сегодня, на склоне лет, оставшись один, он на чей-то взгляд, скорее всего, казался неудачником, но вряд ли сам Рушан считал себя таковым и никогда бы не променял того, что выпало ему, на спокойную, размеренную жизнь с хорошей хозяйкой под боком.

Он заехал тогда в Мартук по пути, всего на несколько дней, возвращаясь из командировки по своим строительным делам. Дома



он принялся обрезать засохшие ветки на могучих карагачах и тополях, некогда посаженных им самим в пору великого сталинского плана озеленения, когда к нему на велосипеде подъехала бойкая девочка, из тех, кого зовут ныне тинейджерами, а иные, начитавшись Набокова, — нимфетками, и, поздоровавшись, передала ему записку.

Рушан недоуменно взял листок в клетку из школьной тетрадки и, сразу узнав почерк, прочитал:

«Рушан, милый! Вчера была обрадована известием, что ты объявился в наших краях. Хорошо бы нам встретиться, поговорить, вспомнить общих друзей, а кое-кого даже помянуть, как, например, Володю Колосова и Толика Чипигина. Вспомнить, как молоды, наивны и счастливы мы были в нашем отрочестве и не понимали этого, как прекрасно было прийти в школу на вечер или на танцы в парк, куда все мы тайком рано начали бегать, повернуть голову и обязательно встретить твой ласковый влюбленный взгляд.

«Мой верный Рушан», — как часто всеу я повторяла твое имя, и как мне завидовали подружки. Странно, нас ничто не связывает, ни один поцелуй, но я почему-то всегда считала тебя своим, думала, что имею на тебя какие-то права, была уверена, что ты пойдешь за мной в огонь и воду. Ошиблась. Как вообще много ошибалась и обжигалась в жизни.

Но, тем не менее, тебя из судьбы не выкинешь... Приходи сегодня попозже, к одиннадцати, когда на тебя вволю наглядится твоя обширная татарская родня. Валя».

Девочка не отъезжала, пока он не дочитал записку — наверняка она в нее сунула свой любопытный нос и сейчас, не скрывая интереса, пристально разглядывала того, кто некогда, оказывается, нравился тете Вале.

Видя, что Рушан задумался и забыл о ней, она настойчиво спросила:

— Придете?

Рушан, очнувшись от нахлынувших давних видений, рассеянно ответил:

— Приду...

Удивительные вечера у них в Мартуке: летними днями жара за сорок градусов, временами откуда-то налетают знойные ветры, а вот с заходом солнца происходит волшебство — наступает неожиданная прохлада, свежеет воздух, а чуть позже на высоком иссиня-черном ночном небе вспыхивают мириады ярчайших звезд. Такую

резкую перемену погоды замечают даже самые черствые, равнодушные ко всему люди, у кого-то, бывает, вырвется порой: ну и вечера у нас, загляденье!

Весь день тогда дул из степи несносный суховей, нещадно палило солнце, казалось, выжигавшее из людей все желания, а с заходом огромного огненно-красного светила за бахчи все изменилось, как по мановению руки кудесника, даже побрызгал с полчаса теплый дождик, избавив хозяев огородов от вечернего полива.

Рушан последний раз видел Валю давно, лет семь или восемь назад, еще студенткой, когда она приезжала домой на каникулы, а он уже в свой трудовой отпуск. Встретил, конечно, на танцах, но толком поговорить не удалось — ее приглашали наперебой. Город уже успел наложить на нее свой отпечаток: подстрижена и одета она была по последней моде, выделялась и броским макияжем, и что-то новое, явно вызывающее, появилось и в поведении, и в манерах. Та раскованность, с которой она держалась с молодыми людьми, свободно, не таясь, курила вместе с ними между танцами, несколько шокировала Рушана, хотя многим как раз это и нравилось, — он за спиной слышал одобрительное: «Во дает!» Временами казалось, что она слишком много и слишком громко смеется, привлекая и без того достаточно внимания. Но вслух Рушан не посмел сказать, что она ведет себя вульгарно, вызывающе пошло, хотя эти слова весь вечер так и вертелись на языке. Боялся, что друзья его не поймут, подумают: это он с досады, что упустил свою Балерину. Он понимал, что между раскованной манерой поведения и вульгарностью, граничащей с пошлостью, есть тонкая грань, которую, кажется, не замечала сама Валентина, не говоря уже о сельских ухажерах и подружках, видевших в ней некий эталон современного поведения. Но это было тогда, с тех пор прошли годы...

«Какая она теперь, чему научила ее жизнь?» — размышлял он весь день. Девочка с туго заплетенной косой и пышным капроновым бантом, в смуглой ладошке которой влажно поблескивала орлом серебряная монетка, заслонялась запомнившейся в последний раз крашеной блондинкой в невероятно короткой мини-юбке, с сигаретой в небрежно отставленной руке.

Честно говоря, возвращаясь домой на несколько оставшихся от командировки дней, Рушан ни разу не вспомнил о Валентине, да и сейчас, получив записку, не строил никаких планов. По существу, решил пойти на встречу, чтобы выяснить, что он значил для нее в пору



юности, почему у них ничего не сложилось, хотя там, в прошлом, судя по ее записке, они остались вместе, как сиамские близнецы.

Конечно, и в нем к тому времени произошли перемены, горожанином он стал рано, когда так жадно впитывают все новое. Осознавая свою провинциальность, он научился видеть себя со стороны, это помогло избавиться от многих дурных привычек. Но всем лучшим в себе он обязан тем девушкам, в которых был влюблен, — от них всегда исходил ясный и чистый свет. И хотя они пребывали в каком-то ирреальном, возвышенном мире, до конца не понятном Рушану, ни одну из них он никогда не мог представить ни с сигаретой в небрежно откинутой руке, ни громко смеющейся в компании, ни с вызывающе ярким макияжем и в мини-юбке до последнего предела...

Теперь же, когда прошлое так естественно наслаивается на сегодняшнее, особенно в его воспоминаниях, когда для него уже нет тайн в былом и жизнь, считай, прожита, он знает, что не ошибся в своих возлюбленных — все они прожили достойную жизнь.

В тот вечер на тихой улочке у элеватора, в доме, некогда обсаженном тоненькими серебристыми тополями, а ныне затерявшемся в частоколе неохватных стволов, встретились два человека, по существу, мало что знавших друг о друге, хотя им казалось, конечно, иначе...

XIV

На Советскую Рушан пришел чуть раньше назначенного времени. Хотелось пройтись по ней до конца, до самого кирпичного завода, где жила Эмма Бобликова и где однажды отмечали 7 Ноября, не пригласив Рушана с близкими друзьями, и они в тот вечер долго крутились возле этого дома, желая чем-нибудь досадить счастливицам за глухим забором. Благо, что-то удержало их от этой позорной затеи. Дальше ему хотелось дойти до усадьбы Генки Лымаря, в доме которого они спустя два месяца отмечали Новый год, и все до одной девушки, кроме Эммы, которую посчитали предательницей, вернулись к ним в компанию...

О, то был особый Новый год! Валентина оканчивала десятый класс, а Рушан приехал в Мартук со своими друзьями Робертом и Рафаилом из города, и они прямо с поезда направились в школу на новогодний бал, а уж оттуда шумной оравой пришли сюда, на окраину Мартука.

Присутствие двух городских парней в компании придало вечеру особую остроту, и как хороши, как неузнаваемы были девушки, заранее знавшие о гостях. Возможно, поэтому Сане Вуккерту, «распорядителю бала», тогда удалось усадить за один стол многих соперничавших между собой девчонок. А под утро Роберт пошел провожать домой зеленоглазую Томочку Солохо, и его обратно доставил... милиционер. Оказалось, парень заблудился и зашел в райотдел — уверенно и привычно, его отец в ту пору был областным прокурором.

Тогда в первый и последний раз в жизни Рушан пил красное «Цимлянское» шампанское. О, как оно дивно смотрелось на свету в высоком бокале! Только из-за этого красного шампанского стоило вспомнить тот далекий Новый год, но еще одна деталь навсегда ушедшего времени, как и редкостного цвета «Цимлянское», врезалась в память: было там и обыкновенное шампанское, но... в бутылках пол-литрового разлива. «Шампанское на двоих» — так окрестил его сразу острый на язык Вуккерт, потому что кто-то, прихватив бутылку, поспешил уединиться в соседней комнате...

Выйдя на слабо освещенную Советскую, Рушан немного растерялся. Густо заросшие сиренью палисадники скрывали строения, уже утонувшие в темноте, и он не совсем был уверен, в каком из трех домов напротив живет Валентина, — прежнего ориентира, колодца напротив калитки Домаровых, не было давно. Он решил следовать по задуманному маршруту, а ближе к одиннадцати, полагал, разберется, в какие ворота постучать. Но вдруг в одном из палисадников раздался внятный перебор гитары, а затем какой-то тихий радостный возглас, шорох среди давно не стриженных кустов сирени, — и у калитки появилась стройная девушка в белом платье, издали театральным шепотом спросила:

— Рушан, ты забыл, где я живу?

Он быстро пересек дорогу, перепрыгнул разлившуюся после дождя лужицу и, очутившись рядом, пожал протянутую руку, удивительно прохладную и нежную.

— Здравствуй, Валя. Ничего я не забыл, — слукавил он, волнуясь, — пришел чуть раньше и хотел пройтись до усадьбы Эммы Бобликовой, где вы однажды встречали октябрьские праздники без нас, ребят с Татарки.

— А ты, оказывается, злопамятный, — усмехнулась Валя. — Лучше бы вспомнил Новый год, что мы отмечали вместе, когда твоего приятеля, Роберта, кажется, под утро доставил милиционер... А какое



мы тогда пили шампанское! Красное «Цимлянское»! Помнишь? Знаешь, мне никто не верит, что было такое... — она вдруг погрузилась.

Вот так, прямо у калитки, начался вечер воспоминаний, игра в вопросы «А помнишь?..»

— Что за гитарист прячется у тебя в палисаднике? — спросил он, вспомнив музыкальный аккорд.

— Я давно играю на гитаре, со студенческих лет, — ответила Валя. — Говорят, неплохо. — И вдруг, после паузы, добавила: — Ты ведь обо мне ничего не знаешь, мы же не виделись с тобой целую вечность. Дай я хоть разгляжу тебя, — и шаловливо потащила его к соседнему дому, где с высокого фонаря струился скудный свет.

Пока она крутила его так и этак у покосившегося забора соседей, Рушан сам не упускал возможности рассмотреть повзрослевшую Валу. Хвала Аллаху, от той запавшей в память крашеной блондинки на танцплощадке не осталось и следа. Теперь она выглядела натурально: волосы без всякой завивки были гладко стянуты на затылке, отчего открывался высокий чистый лоб, а умело, неброско подведенные глаза казались от этого выразительнее, загадочнее. Этот эффект создавался еще одним старым приемом, наверняка почерпнутым из тех голливудских фильмов с Гретой Гарбо, Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, что видели они в детстве: Валентина вдруг, в самый неожиданный момент, опускала ресницы или отводила взгляд и потом как-то ловко поворачивала свою изящную головку, и глаза распахивались внезапно, как мерцающие звезды.

Этим эпитетом — «мерцающие звезды» — одарил ее на танцах какой-то практикант, которых каждый год в Мартуке хватало по любой части, хоть по инженерной, хоть лечебной, хоть сельскохозяйственной. А она тут же, не выдержав, похвалилась тогда Рушану: «Правда, у меня глаза как мерцающие звезды?»

Теперь этот прием очарования, видимо, вошел у нее в привычку, он исполнялся мгновенно, профессионально, когда появлялся объект, заслуживающий внимания, — это как дриблинг классного форварда с мячом перед защитником. Вот и сейчас она несколько раз одарила его мерцающими лучами своих глаз.

Волосы, стянутые на затылке, прикрывал темный муаровый бант в блестках, очень похожий на крупную яркую тропическую бабочку. Вот он-то и придавал ей особое изящество и скрадывал возраст — вряд ли кто мог сказать, что эта ладная, по-спортивному стройная девушка была замужем, и, кажется, дважды.

— Жаль, что я недооценила тебя в юности,— вздохнула Валя.— Выглядишь ты прекрасно: мужчина в цвете лет, поправился, окреп. А мне ты чаще всего вспоминаешься заморышем на стареньком велосипеде. Ты всегда появлялся так неожиданно и часто... А потом пропал на всю жизнь...— такие резкие переходы всегда были в ее характере, взрывчатом, импульсивном.— И прикинут ты прилично, по-столичному...

Рушану резануло слух это блатное «прикинут» — девушка с улицы 1905 года никогда бы так не выразилась.

— Мало кому из поселковых удастся стать горожанином по духу, по сути,— продолжала она, бесцеремонно рассматривая его, словно пытаясь заглянуть в душу.— Тебе, кажется, удалось. Ты помнишь Славку Афанасьева? Ну, того, которого вы пригласили на Новый год, чтобы он менял пластинки на проигрывателе во время танцев, а он, оказывается, обожал «Караван» и раз за разом ставил только Эллингтона...

— Да, помню,— улыбнулся Рушан, действительно припомнив и такой курьез на вечере.

— Так вот, Славик, например, не стал горожанином и вряд ли когда им станет, хотя и живет, как и ты, в столице, в Алма-Ате. Видела я его в прошлом месяце, приезжал к родителям,— пузо уже отрастил, плохо выбрит и, кажется, крепко пьет. Костюм на нем какой-то мощвейпромковский, висит мешком... А ты по фирме одет, французской парфюмерией благоухаешь, джентльмен, одним словом...

Закончив осмотр, она взяла его под руку и вдруг, опять же неожиданно, выпалила: — Так и быть, свожу тебя к бобличихинскому дому, может, и сама хозяйка случайно попадет на улице,— они рано не ложатся. Пусть позавидуют, увидев меня с тобой.

— Чему же завидовать? — спросил недоуменно Рушан.

— А тому, что мы с тобой такие молодые и элегантные, а Эмочка, мой дорогой, уже перебралась в пятьдесят восьмой размер, и даже белье шьет себе на заказ в ателье. Разумеется, не в Париже...— и они оба от души расхохотались.

Да, огня его школьная подруга еще не утратила...

Они добрались до самого кирпичного завода, прошли мимо дома Эммы: во дворе у нее стояла крошечная тьма, только на веревках слабый ветер шелестел пересохшим бельем. И в это время от проходившего невдалеке состава чуть задрожали стекла в близлежащих домах — накатывается порой такая звуковая волна



со станции,— и Валя не преминула съехидничать еще раз в адрес своей бывшей одноклассницы:

— Это наша дорогая Эммочка вздохнула во сне и перевернулась на бок...

Дошли и до дома Лымарей, где теперь уже жили другие люди, а Гена со своими родителями переехал в Актюбинск, работал в каком-то автохозяйстве. И вновь вспоминали тот Новый год со свечами, с Дюком Эллингтоном, Элвисом Пресли и ныне совсем забытым Джонни Холлидеем, с гаданием в полночь, в чем, надо сказать, зеленоглазая Солохо была мастерица и нагадала всем дальние дороги, напрасные хлопоты и раннюю печаль...

Они шли пустынной улицей сонного поселка, высокое звездное небо струило свой призрачный свет на угомонившийся к ночи Мартук, не брехали даже собаки — ни безнадзорные, ни те, что бегали на цепи за каждой высокой оградой,— хозяйкой всего вокруг была тишина. И, может, от этой магии ночной немоты природы и всего живого вокруг Валя вдруг сказала, почему-то шепотом, но с привычным озорством в голосе:

— Я думаю, пришло время отметить нашу встречу...— и, взяв его крепче под руку, заставила прибавить шагу.

По лужам в районе Советской Рушан понял, что дождь прошел полосой и, видимо, лил тут чуть дольше и мощнее, чем на Татарке, оттого у некоторых палисадников, мимо которых они проходили, вдруг по-весеннему остро пахло отцветшей сиренью. Случается и такое в природе, когда иной куст вдруг только к лету запоздало вспыхнет гроздьями и заставляет проходящих мимо людей мучиться сомнениями: то ли это явь, то ли причудился запах сирени в конце июня.

Подойдя к калитке и несколько театрально распахнув ее, Валя сначала нырнула в палисадник и вернулась оттуда с гитарой, где красовался на деке кокетливый красный бант.

На улице Советской, так сложилось, жили крепкие хозяева, тут строились на «немецкий» манер — с претензией на архитектурные излишества. А отец Вали, шофер, двужильный мужик, работал в местном дорожно-строительном управлении, имел доступ к кирпичу и к цементу, оттого на его подворье и чувствовался размах. Кроме основного дома с железной крышей и высоким крыльцом, в просторном дворе имелась летняя кухня — под черепичной крышей, окрашенной в ярко-зеленый цвет, с открытой ветрам просторной верандой.

В этот летний домик Валя и привела Рушана. Открытая веранда, выдержанная в голубых тонах, была обращена к огороду, что имелся в каждом дворе. Но огороды на Советской отличались тем, что вплотную подступали к глубокому оврагу, давно превратившемуся в одиночный сад, и некоторые хозяева засадили склоны оврага деревьями. Имели там свой сад и Домаровы...

На веранде у стены стоял низкий журнальный столик с двумя глубокими креслами, видимо, специально вынесенными из дома. Столик, на манер обеденного, покрывала кипенно-белая крахмальная скатерть, и ветки мелкой чайной розы из домашнего сада в хрустальной вазе казались особенно яркими. Стол был со вкусом сервирован, кроме минеральной воды стояла еще и бутылка хорошего коньяка.

Усадив гостя, Валя отставила гитару в сторону и, сказав, что у нее все готово, принесла тарелки с зеленью, закусками, фруктами. Управлялась она с какой-то легкостью, изяществом, и Рушан подумал, что она, наверное, неплохая хозяйка, а это в наше время большая редкость. Заставив стол, она еще раз внимательно его оглядела, словно генерал предстоящее поле сражения, и... выключила свет. Потом в конце веранды, у холодильника, вспыхнула спичка, и Валя вернулась к столу с низким трехрожковым шандалом со свечами. Подойдя к Рушану, спросила тем же громким театральным шепотом:

— Испугался? — и, склонившись, поцеловала его, обдав запахом незнакомых духов.

И потек по накатанному руслу вечер воспоминаний... Спасительное в такие минуты «а помнишь?» летало, словно пинг-понговый шарик, от кресла к креслу.

В иные моменты Рашид узнавал прежнюю Валию — восторженную, легковверную, ту, за которой закрепилось прозвище Балерина. Но чаще в тени копящихся и жарко оплывающих свечей ему виделась незнакомая властная женщина, искусно пытавшаяся выведать о Рушане побольше: и о прожитых годах, и о его планах. Но он, тоже не менее искусно, уходил от прямых вопросов, отвечал по-восточному витиевато, длинно, и получалось вроде о нем и не о нем. А ей хотелось знать именно о нем...

В конце концов, она, видимо, не привыкшая к словесным марафонам, не выдержала, сама разлила коньяк и сказала как бы в шутку, в которой, однако, сквозил и плохо скрываемый упрек:

— Я тут исповедуюсь, как на духу, обнажаюсь почище, чем в стриптизе, а он отделяется общими фразами! Это Восток



вытравил в тебе всю искренность? А я ведь знаю кое-что о тебе... Представь, я даже была в доме той девушки, которую ты боготворил. И мне хотелось бы по-женски понять, почему у тебя не сложились отношения с Томочкой Давыдычевой, ведь ты ее очень любил. Ну, со мной все ясно: я сама не знала, чего хочу, кого хочу, а если честно, вас, мартукских, я и в грош не ставила, ведь за мной тут бегал не ты один. Какая я была самоуверенная, глупая, из вас-то вышел толк, кого ни возьми — почти все состоялись, я имею в виду ребят, конечно. Да и девчонки...

— Откуда ты знаешь Тамару? И как ты могла попасть к ним в дом? — глухо выдавил из себя Рушан, не скрывая волнения.

— Наконец-то ожил, заинтересовался! — насмешливо воскликнула Валя и подвинула к нему бокал.

Рушан машинально поднял бокал, все еще не веря ее словам. Когда выпили, она спросила:

— Скажи честно, ты подумал, что я блефую? Зря, ведь имя твоей пассии ни для кого не было тайной. Одновременно с тобой в городе училось немало мартукских девчат — и в кооперативном, и в культурно-просветучилище, в медучилище и мединституте, и — запоздало сделаю тебе комплимент — они гордились тобой, говорили, что ты в своем роде знаменитость, чемпион по боксу, знаешься с самыми видными ребятами в городе.

Однажды Валя Белозерова и Тома Ярошенко даже изображали в парке, как ты появлялся по вечерам на «Бродвее», когда учился на четвертом курсе. Весь наутюженный, надраенный, с набриолиненной прической, четким высоким пробором... Начиная от сорок пятой школы, где часто бывал, и до самого парка, где гремел джаз, не уставал раскланиваться направо и налево — был своим человеком на «Бродвее». «А мы,— рассказывала Белозериха,— стоя где-нибудь в укромном уголке на улице Карла Либкнехта, с гордостью говорили своим подружкам: «Этот парень — наш земляк, из Мартука». Но нам мало кто верил...»

— Да, мне показалось, что ты решила сблефовать, это так типично для женщин. Красота соседствует с коварством, как говорят у нас на Востоке,— ответил Рушан шутя, вовсе не желая ее обидеть: знал, как она порою бывает неуравновешенна, а вечер портить ему не хотелось.

— Вот тут твоя мужская проницательность тебя подвела. Так и быть, расскажу, как я попала в дом твоей Томочки, иначе ты будешь мучиться этой тайной всю жизнь, по глазам вижу...

— Пожалуйста, если тебе не трудно...

Валя вдруг встала, достала из-за вазы для цветов пачку сигарет и, молча разведя руками, мол, не обессудь, закурила.

— Помнишь, первые два курса ты почти каждую субботу приезжал домой, приходил в школу на вечера или на танцы в клуб, и мы постоянно виделись с тобой. Я думаю, что тогда еще нравилась тебе, и стоило мне ответить взаимностью, наверное, ты забыл бы про девочку из железнодорожного поселка. Но я кокетничала со всеми подряд напрапалую и сама не знала, чего хочу. А точнее, я ждала. Самого-самого, прекрасного принца, от которого все будут без ума, а он — только от меня.

На третьем курсе тебя уже мало соблазнял даже бесплатный билет на поезд, и ты все реже и реже бывал дома. Друзья твои говорили, что у тебя то соревнования, то сборы, то какие-то проекты с массой чертежей, но я-то чувствовала: что-то иное держит тебя в городе. И вскоре совершенно случайно — чего только в жизни не бывает! — узнала, почему ты перестал приезжать.

У нас, как у многих мартучан, в Актюбинске есть родня, правда, очень дальняя. Так вот, на день рождения отца, а также по случаю окончания строительства нового дома на месте старого, который ты хорошо помнишь, созвали гостей. И, представь себе, из города приезжает с родителями моя троюродная сестра Светка Костылева. Ну, конечно, мы, ровесницы, разговорились о том о сем, и о мальчиках тоже. Вот она и говорит: «Знаешь, к нам в школу на вечера приходит один парень — он уже студент, говорят, из вашего Мартука. Такой симпатичный, черноглазый, Рушаном зовут. Он уже знаменитость — чемпион по боксу, ездил на соревнования даже в Москву... Ты не знаешь его?»

У меня сердце замерло, но я схитрила, недоуменно пожала плечами и сказала, что в Мартуке татарчат полпоселка, и все как один задиристые — готовые кандидаты в чемпионы... Ну, если уж очень надо, могу, мол, узнать... А она рассказывает дальше, что этот Рушан по уши влюбился в ее одноклассницу Томку Давыдычеву и из-за нее не пропускает ни одного вечера у них школе. Да и так, мол, он ее видит каждый день, потому что школа и техникум — через забор, и на физкультуру они ходят к ним в спортивный зал. Вот тогда я поняла, какие у тебя соревнования, какие проекты...

Но эта любовь, может быть, тогда спасла тебя от одной крупной беды, о которой ты, вероятно, и не подозревал. Весной, когда



я оканчивала девятый класс, приехал в Мартук на побывку офицер, моряк, и заявился на танцы, под градусом, со своей многочисленной родней. Так случилось, что они не поладили с кем-то из ребят с Татарки, кажется, с Шуриком Сайфуллиным. Кстати, он после тюрьмы умер в армии при загадочных обстоятельствах.

— Шурик Сайфуллин умер? — вырвалось у Рушана. Он об этом не знал.

— Да, его больше нет, я сама была у него на поминках. Отчаянный был парень... Так вот, драка вышла с поножовщиной, офицер пустил в ход свой щегольской кортик, за что и поплатился. Случай получил огласку, и твои друзья заработали по первому сроку. Дали им, правда, немного — кому год, кому два. Но уже через полгода все вернулись домой по какой-то амнистии — и Толик Чипигин, и Юра Курдулян... Если бы ты в тот вечер был дома, то наверняка загредел бы со своими друзьями. Я отвлеклась, но тебе не мешает об этом знать...

Рушан машинально крутил в руках пустой бокал, и от него узкими лучиками отражалось пламя свечи.

— Через месяц после того дня рождения отец собрался на машине в город за мебелью, ну, я, конечно, напросилась с ним. Мне уже давно хотелось увидеть эту незнакомую девчонку, в которую ты был влюблен. Весь месяц после встречи со Светкой Костылевой я не находила себе места, однажды от злости даже расплакалась: как она посмела завладеть твоим сердцем? Я тогда самонадеянно считала, что ты принадлежишь только мне и я могу делать с тобой что хочу, была уверена, что ты готов пойти за мной в огонь и воду, только помани я пальчиком... Не удивляйся, это самая типичная и самая распространенная ошибка в жизни каждой женщины, так было не со мной одной. Наверное, и с твоей Тamarой тоже...

Неожиданно зачала средняя свеча в медном подсвечнике, и Валентина вынуждена была ее загасить. Теперь он не видел ее лица, разгоряченного вином и воспоминаниями.

— ...Ну, я пустила в ход всю свою изобретательность и вынудила Светку сходить вместе со мной к этой девочке — одноклассницы все же. Но сама, конечно, не призналась, что проявляю интерес к тебе, хотя пришлось сказать, что знаю тебя, иначе бы она не поверила.

Помню, мы пошли на «Москву» через старинный вокзал, одолели гремевший под ногами шаткий висячий мост над путями, а внизу как раз стоял алма-атинский скорый, и так дивно пахло яблоками, апортом. В городе я оказалась впервые и очень удивилась, что он в ту пору

мало чем отличался от Мартука, и даже дом Давыдычевой чем-то подходил на наш: с палисадником, сиренью, огородом, с высоким, в четыре ступеньки, скрипучим крыльцом, стеклянной верандой... Тома оказалась дома, но встретила нас без особого восторга, тем более когда узнала, что я из Мартука, но ничего не сказала по этому поводу, не вспомнила тебя, хотя, я думаю, чисто интуитивно, по-женски, почувствовала во мне соперницу.

Она мне понравилась сразу: большие карие глаза, длинные ресницы, она их так медленно опускала и поднимала — наверное, уже чувствовала властную силу своего взгляда, обращенного на мужской пол. Я поняла и другое — что она нравится и парням гораздо старше тебя. В ней не было подростковой угловатости, прыщавости и связанной с этим неуверенности, через которые проходит большинство девочек. Наоборот, гладкое нежное лицо, красивый разлет бровей, небольшая родинка чуть выше верхней губы... Это придавало ей особую прелесть, и я тут же со злостью пожелала этой родинке вырасти в бородавку. Красивые, четко очерченные губы и зубы ровненькие, как у Мэрилин Монро... Правда, на переднем зубе я заметила щербинку, потому что старательно искала в ней изъяны, но, увы, их, даже на мой придирчивый взгляд, оказалось мало, и я поняла, что ты, видно, влюбился в нее не на шутку, по-татарски горячо и страстно, и наверняка с первого взгляда пошел за ней следом...

Она была словно из другого мира и уже чувствовала свою красоту, обаяние, у нее и голос был волнующим. В ней, школьнице, уже в ту пору проглядывала женщина со своими взглядами на жизнь. Она, наша со Светланой ровесница, была намного старше нас, опережала, кажется, не только одноклассников, но и время...

Перекинувшись с нами несколькими фразами, она села за пианино и через минуту, совершенно забыв о нас, играла только для себя.

Увидев ее порхавшие над клавишами руки, я бы расстроилась окончательно, если бы неожиданная мысль не принесла мне утешения. Я поняла вдруг, что тебе никогда не покорить сердце этой надменной девчонки по той простой причине, что она по крови, по природе своей одной со мной породы и тоже ждет принца, от которого все будут без ума, а он — только от нее.

Мы расстались почти подружками... Мир тесен, иногда, возвращаясь из Куйбышева, я встречала ее в поезде — она училась в Оренбурге, — и мы подолгу болтали, как старые знакомые.

И, что странно, ни она, ни я ни разу не упомянули о тебе, хотя, думаю, она догадывалась, что нас троих что-то связывает. Пару раз,



на первых курсах, ее сопровождал удивительно красивый парень — высокий, стройный блондин с волосами редкого соломенно-золотистого отлива, голубоглазый, с длинными густыми ресницами, — даже в тесных проходах вагонов на него невольно оглядывались девушки. Наверное, о таком принце мечтают многие... Я поняла, что у них роман, но интуитивно почувствовала, что даже такому красавцу, безоглядно в нее влюбленному, не удалось покорить ее сердце. Потом я потеряла ее года на два и однажды опять встретила в поезде. На вопрос, где тот красавчик блондин с печальными глазами, обычно сопровождавший ее, она небрежно ответила, что его забрали в армию, и он служит под Черновцами. По тому, как это было сказано, — вскользь, мимоходом, без сожаления — я поняла, что она сломала жизнь еще одному молодому человеку...

— Его звали Ленечка, он был мой приятель. Действительно красивый парень... Ты права, она испортила ему жизнь, — глухо произнес Рушан и вдруг предложил: — Давай выпьем за всех неудачников в любви.

Валя согласно кивнула и добавила:

— Значит, и за нас с тобой, — и они молча, не чокаясь, выпили.

Вечер становился похожим на панихиду, потому что они следом помянули уже умерших и погибших друзей — Шурика Сайфуллина, Володю Колосова, Толика Чипигина, Юру Урясова, Рашата Гайфулина. Видимо, Валентина почувствовала это. Взяв в руки гитару, она сказала:

— А теперь я спою и сыграю для тебя. Наверное, Тамара иногда баловала тебя этюдами на пианино...

С места в карьер, словно включила фонограмму, она запела что-то лихое, кабацкое. Бант на деке, словно пламя в ветреной ночи, мотался вверх-вниз. То ли настроение у Рушана было такое, то ли Валентина играла и пела хорошо, но ему нравилось ее исполнение, и она, словно почувствовав это, расходилась все больше и больше.

Неожиданно она перешла на романсы, предваряя их большим гитарным вступлением. Чувствовалось, что инструментом она владела. Потом, прервав романс на полуслове, предложила:

— Давай спустимся в сад, песне простор нужен.

Они прошли к оврагу выложенной из обожженного красного кирпича узкой дорожкой, петлявшей среди огородов, и спустились в сад. Ночной сад, встретивший их ощутимой прохладой, оказался внушительных размеров и даже при лунном свете предстал хорошо спланированным и ухоженным. Валя взяла Рушана за руку, повела темной

аллеей к беседке, где вновь попыталась спеть романс, но что-то беспричинно разладилось в голосе, и она без сожаления отставила гитару в сторону. Пересела к нему поближе и, как обычно, без всякого перехода сказала с волнением в голосе:

— Весь вечер не пойму, что в тебе изменилось, и это не дает мне покоя...

Рушан попытался отшутиться — мол, поумнел, повзрослел и что-то еще в подобном роде, но она не унималась и настойчиво пыталась понять и объяснить что-то очень важное для себя. И вдруг, взяв его за руку, приблизила к нему свое лицо и с дрожью в голосе сказала:

— Вспомнила, нашла... Раньше ты так чудесно смеялся. От души... Я любила твой смех, я слышала его даже с Татарки, со станции, со двора Вуккертов, ты так заразительно хохотал... Я узнавала тебя по смеху везде, ты не мог скрыться от меня никуда... Не мог, потому что ты любил смеяться... А теперь... теперь ты потерял свой смех, и я не могу отыскать тебя. Как это ужасно... — и громко, навзрыд заплакала, припав к его груди.

Сквозь рыдания, сотрясавшие ее тело, слышалось: «Ты потерял свой смех. Как ты будешь жить дальше?.. Это ужасно... ужасно...» Он долго ее успокаивал, но она не переставала всхлипывать, время от времени поворачивая к нему свое заплаканное, по-детски трогательно-беззащитное лицо, и он с какой-то особой нежностью целовал ее глаза, шею, волосы, но она не успокаивалась. Неожиданно ее начала бить дрожь, а может быть, просто замерзла — в овраге было свежо, сыро, — и он, недолго думая, подхватил ее на руки и понес наверх, в летний дом, где на темной веранде догорали последние огарки оплывших свечей.

Когда Валя накрывала стол на веранде, он видел приоткрытую дверь, откуда она вынесла бумажные салфетки, мельком упомянув, что на лето перебирается сюда. В эту комнату он и внес ее. У входа он хотел включить свет, но она капризно сказала:

— Не хочу, чтобы ты видел меня опухшей от слез.

Глаза быстро свыклись с темнотой, и он заметил белевшую у стены разобранную постель — на нее и опустил Валю. Сняв туфли, он накрыл ее теплым одеялом в прохладном, свеженакрахмаленном пододеяльнике и, присев рядом, гладил волосы, все время натываясь на муаровый бант, похожий на тропическую бабочку.

Вдруг она потянула его к себе, обвила руками шею и жарко зашептала:



— Рушан, милый, я тебя сегодня никуда не отпущу! Ты будешь моим... — и, привстав, жадно припала к его губам.

Он подумал, что у нее вновь какая-то непонятная ему истерика, потому что она отдавалась ему с такой неожиданной страстью, нежностью, неистовостью, как будто хотела наверстать упущенное за все годы неудач и разочарований и словно пыталась запастись ласками впрок, на будущие черные дни...

Ничто до сих пор изведенное Рушаном не могло и близко сравниться с тем, что дарила ему в ту ночь Валя.словно в бреду, она беспрестанно шептала: «Милый мой Рушан, я так счастлива, что нашла тебя, что ты, наконец, мой, что мы вместе... вместе...» Потом большая часть слов незаметно пропала, и она, целуя его, произносила только одно: «Мой... мой... мой...» И он отвечал на ее ласки, обнимал ее, боясь спугнуть ее страсть, но вдруг неожиданно ощутил, что она словно пребывает в трансе, опять занята только собой и не замечает ни его, ни его желаний...

Боже, как жестока жизнь! Если бы раньше, в молодости, Валентина уделила ему хоть толику этих нежных слов, жарких объятий, влюбленных взглядов — как бы он был счастлив, как бы боготворил ее, носил на руках! И от этой обиды, от ощущения прошедшего стороной счастья, невозможности ничего вернуть он заплакал, не скрывая слез, но Валя, увлеченная своей страстью, не замечала и этого...

Когда он уходил, произошло еще одно небольшое событие, оставшееся вне поля зрения Валентины, но надолго запавшее в память Рушана.

Между летней кухней и домом, на пути к калитке, натекла мелкая прозрачная лужа, которую они обошли при входе, и сейчас, прощаясь, невольно остановились возле нее. Валя никак не хотела его отпускать и, обнимая через шаг, говорила какие-то волнующие слова. Светила высокая полная луна, и они, трогательные в своей нежности, отражались в луже, как в зеркале. Рушан хотел обратить на это ее внимание, как вдруг Валя ступила в воду ногой — и картина мгновенно распалась на глазах, как изображение на вдребезги разбитом зеркале. Он посчитал это дурным знаком...

Целуя его в последний раз у калитки, она как-то по-сиротски жалостливо спросила, словно вымаливала еще одно свидание, как он прежде:

— Придешь сегодня вечером?

Он поправил сбившийся от сумбурных объятий муаровый бант и ответил с нежностью и радостью:

— Обязательно. Я очень счастлив, что мы встретились с тобой.

В эту минуту он не лукавил, не хитрил,— что-то доброе, искреннее, как в школьные годы, ощутил к этой знакомой и незнакомой женщине в белом элегантном платье...

XV

С утра и до вечера у Рушана не выходили из головы прошедшее и предстоящее свидания с Вале́й. О чем он только не передумал в тот долгий летний день, перевернув основательно всю свою жизнь! В какие-то минуты он торопил время и хотел, чтобы скорее наступил вечер, он жаждал вновь услышать ее жаркие слова, почти физически ощущал прикосновение ее нежных рук, страстный шепот: «Мой... мой... мой...»

Может, это судьба вновь соединила их, когда-то, еще детьми, потянувшихся друг к другу, чтобы теперь оба, испив из чаши разочарований и потерь, обрели наконец счастье и покой?

Он так растрогался, что решил сделать ей что-нибудь приятное, пошел в поселковый универмаг и купил флакон французских духов. Он долго выбирал между «Клима», «Фиджи» и «Черной магией», пока продавщица не посоветовала ему «Шанель № 5».

Фантастика! В большом городе эти духи днем с огнем не найдешь, а здесь — кому они нужны? Скромная белая коробочка «Шанель № 5», которую он держал в руках первый и последний раз в жизни, до сих пор стоит перед глазами, когда он начинает думать о подарках.

Зашел он и в гастроном, попросил бутылку армянского коньяка «Ахтамар». Молоденькая продавщица, вряд ли знавшая его, улыбнулась и сказала, что в Мартуке редко кто берет такой дорогой коньяк, а вот сегодня, незадолго до него, учительница английского языка купила такую же бутылку. Это сообщение Рушан посчитал добрым знаком и забыл о вчерашнем разбитом изображении на зеркальной поверхности дождевой лужи.

Вечером в назначенный час он поспешил с подарками на Советскую. И снова Валя ждала его в палисаднике с гитарой, но сегодня она была в огненно-красном платье, и того же цвета бант сменил черный муаровый в блестках.



Когда он вручил подарок, Валя обрадовалась и сразу бросилась к нему на шею, осыпая поцелуями. Она была как-то странно возбуждена, Рушан даже подумал, что успела выпить, волнуясь в ожидании встречи, которая, возможно, что-то изменит в их отношениях. Если ему, мужчине, пришла в голову такая мысль, то женщине, наверное, и подавно, тем более что она видела, каким счастливым он уходил от нее.

Желая пошутить насчет преждевременной выпивки, он сам склонился к ней и еще раз поцеловал, но запаха спиртного, к своему удивлению, не ощутил, и эту странную возбужденность, лихорадочный блеск глаз отнес на счет волнения. Так, обнявшись, они прошли мимо высохшей лужи в летний домик, где опять их ожидал накрытый столик, и три новые свечи загорелись сразу, как только они уселись друг напротив друга.

После случившегося вчера они чувствовали себя поначалу скованно, от Вали исходила какая-то нервозность, — он это ощущал, хотя объяснить не мог. Вроде она была по-прежнему мила с ним, говорила, как и прошлой ночью, приятные и волнующие слова, но Рушана не покидало ощущение, что она все время куда-то проваливается, ускользает от него, и он попросил ее спеть, чтобы увести женщину от тягостных мыслей.

Она охотно взяла гитару, будто согласилась, что песня успокоит ее, но нервное напряжение сказалось и на репертуаре — почему-то завела блатную песню.

Рушану сразу вспомнился дом дяди Рашида в Актюбинске, куда он иногда приходил по случаю праздников или на дни рождения Исмаил-бека или Шамиля. Эти дни отмечались свято, при любых обстоятельствах, даже если виновник торжества в это время сидел в тюрьме, — Минсулу-апа свято берегла традиции дома...

На веранде тянуло откуда-то сквозняком, и все три бледных язычка пламени заплывшего воском шандала сдувало в сторону Вали, поэтому он хорошо видел склонившееся над гитарой лицо.

В иные мгновения оно напоминало ему Кармен, но не ту обворожительную огненную испанку Мериме, а жену дяди Рашида, которой дружки братьев дали такую громкую кличку. У нее тоже было красное платье, и такой же пошлый бант украшал деку ее любимой гитары, и такая же примерно манера играть на гитаре. Вот только бабочку в волосах блатная Кармен не носила, это он помнил хорошо, а репертуар — один к одному, словно Валя проходила стажировку в доме Гумеровых.

Рушан никогда не любил блатных песен — ни тогда, в юности, ни тем более теперь,— и потому при первой же паузе, когда Валя стала подтягивать струны, взял у нее из рук гитару и предложил:

— Давай лучше выпьем, поговорим, как вчера...

Но она угадала его настроение и не без сарказма ответила:

— Ты, Дасаев, оказывается, сноб. Такая вот я — люблю блатные песни, к тому же они сегодня очень популярны. А уж в Мартуке все в восторге от моего репертуара... — И вдруг добавила ехидно: — Ах, я забыла, ты же не сидел и вряд ли знаешь жизнь...

Он не обратил внимания на Валины слова, зная ее характер, подумал: «Хочет, чтобы последнее слово осталось за нею».

Повесив гитару на гвоздь у двери, Валя вернулась к столу и, сделав перед ним неожиданно изящный пируэт, игриво взъерошила ему волосы.

— Гуляй, милый мой Рушан. Люби, наслаждайся, пока я твоя...

Рушан решил, что у нее начинается непонятный для него кураж, и налил ей чуть меньше обычного. Но он ошибся насчет куража: куда-то вдруг подевалась исходившая от нее нервозность, она стала, как вчера, мила, ласкова с ним, и он успокоился.

Вновь они сидели друг напротив друга, и пламя от чадающих свечей словно подогревало их влюбленные взгляды, летавшие через стол,— они вспоминали что-то давно забытое, но крепко связывающее их. Сегодня она тоже курила — зеленая пачка сигарет «Салем» и зажигалка лежали рядом с ее прибором,— но реже.

В тот вечер Валя удивила его еще раз. Успокоившись, попросила принести холодной воды, а когда Рушан вернулся от колонки во дворе с полным кувшином, увидел, что она курит не ментоловые «Салем», к специфическому дыму которых он уже привык, а что-то другое,— как некурящий человек, он остро реагировал на запахи. К своему удивлению, Рушан увидел в ее руках папиросу, ныне так редко встречающуюся, и хотел спросить, с чего она перешла на грубый «Беломор», но в последний момент сдержался: зная ее причуды, побоялся вновь испортить ей настроение.

Курила она как-то необычно, откинув красивую голову на высокую спинку кресла и прикрыв от какого-то внутреннего удовольствия глаза, и он снова, как и вчера, любовался ее изящной шеей с тремя тяжелыми нитками искусственного жемчуга, открытыми плечами, уже по-женски округлыми, нежными. Высокая грудь, стиснутая в корсете платья, при каждой затяжке волнуяще вздымалась, и ему даже



доставляло наслаждение любоваться ею, когда она курила. Делала она это красиво, небрежно, не глядя сбрасывала пепел в пепельницу длинными ухоженными пальцами...

Докурив беломорину, Валентина, как обычно, лениво распахнула свои глаза, словно чувствовала, что он любит ее, и спросила волнованным его низким грудным шепотом:

— Рушан, милый, ты так трогательно носил меня вчера на руках, может, и сегодня доставишь мне такое удовольствие?

Она словно читала его мысли — Рушан как раз дожидался, когда Валя выбросит папиросу. Он подхватил ее на руки и направился к двери в конце веранды, но она, крепко обнимая его за шею, зашептала на ухо:

— Ну, пожалуйста, хоть один круг по двору, мне так хорошо с тобой, надежно...

Во дворе, когда он нес ее на руках, в какие-то особенно счастливые мгновения, раз или два Рушан чуть не признался ей в любви и вечной верности, но все время ее милая шалость или поцелуй отвлекали его. Он не расстраивался — впереди ждала его сладкая ночь.

Потом они вернулись в ее комнату в летнем домике. Сегодня в углу горел слабыми огнями торшер, и Рушан успел рассмотреть ее жилье, по-женски уютное, особую прелесть комнате придавали розовые обои. Заметив его удивленный взгляд, устремленный на торшер в углу, Валя сказала, ласково глядя ему в лицо:

— Мне очень хочется не только наслаждаться, но и видеть тебя.— И капризно добавила: — Надеюсь, ты не возражаешь?

Он, конечно, ничего не имел против, ему тоже хотелось видеть ее прекрасное лицо.

Но сегодня что-то было и так, и не так, хотя Валентина тянулась к нему так же страстно, как и вчера. Поначалу он думал, что всему помехой свет, но вскоре Валя сама выключила его, ничего не объясняя. При всей ее форсированной страсти, возбужденности он ощущал в ней одновременно быстро нараставшие вялость, апатию, безразличие,— от влюбленного человека невозможно скрыть свое состояние, а на это свидание он пришел влюбленным. Когда комната была освещена, он несколько раз видел близко над собой ее глаза — вот они сегодня точно были другими, они смотрели как бы мимо него, и в них виделась пугающая пустота. Уже знакомая, близкая, родная, милая, она вдруг открывалась ему какой-то непонятной стороной. И снова, теперь уже в постели, он стал ощущать нервозность, исходившую от нее, как и в начале вечера за столом.

Вдруг, обмякнув и оттолкнув его от себя, она капризно приказала:

— Рушан, принеси сюда столик и открой вторую бутылку «Ахтамара», я хочу видеть тебя веселым, твое серьезное лицо смущает меня...

Он хотел возразить, но, встретившись с ее взглядом, по-восточному приложил правую руку ладонью к сердцу и, склонив в покорности голову, шутливо ответил:

— Как прикажете, сегодня я ваш раб...

Рушан ощущал, что все катится к какой-то развязке, и он никак не может повлиять на события: хотя это касалось его, но он вновь не был властен над своей судьбой.

Валя вдруг надумала выпить с ним на брудершафт и налила коньяк в бокалы для воды — не до краев, но полбутылки опорожнила в них точно. Он думал, что выпитое приблизит события к какому-то скандальному финалу, но опять произошло невероятное — отставив пустые бокалы в сторону, она жадно впилась в него поцелуем, и он вновь услышал ее вчерашнее страстное: «Мой... мой... мой...»

Задыхаясь в ее жарких объятиях, он с улыбкой думал, что ему никогда, наверное, не понять женщин. Целуя и лаская ее прекрасное тело, он вновь был на седьмом небе.

Когда он, переполненный счастьем и восторгом, успокоился и собрался уже признаться ей в любви, что вспыхнула так неожиданно снова, Валя, вдруг наклонившись над ним, спросила то ли в шутку, то ли всерьез:

— Дасаев, а ты купал когда-нибудь женщин в шампанском, дарил им миллионы алых роз или настоящий жемчуг и бриллианты?

Он попытался отшутиться, но она настойчиво, с обидой повторила:

— Я же спрашиваю тебя всерьез.

Тогда он, трезвея от неожиданного поворота событий, устало ответил:

— Это же из блатного фольклора... Да и зачем женщине купаться в шампанском? Я думаю, это даже вредно, лучше уж с мылом...

И тут она взорвалась, словно пороховая бочка:

— Эх ты, с мылом!.. А вот и не вредно! Я купалась, и не раз...

Рушан, не до конца осмыслив ее выкрик и, конечно, не принимая его всерьез, ляпнул:

— А что потом с шампанским делают, после купания?



Последовавшая реплика наконец заставила его поверить в серьезность полусумасшедшего разговора:

— Да, я купалась в шампанском, а мои друзья и тот, кто устраивал для меня это развлечение, черпали вино бокалами из ванны и пили за мое здоровье — таковы традиции, так восхищаются красотой и прекрасным телом. Это так здорово, но, я вижу, тебе никогда этого не понять, не дано! Жил всю жизнь от получки до получки...

— Ты это всерьез? И кто же он, столь тонкий ценитель женской красоты и шампанского из ванны? — спросил Рушан, не надеясь на ответ, все еще думая, что это очередной Валин розыгрыш, — он слышал от ребят о ее экстравагантных выходках в последние годы.

Но она, гордясь, с вызовом ответила:

— Дато Гвасалия. Тот, кто по-настоящему меня любил и баловал. Не зря он имел кличку Лорд: цветы дарил корзинами, духи — дюжинами, и это жемчужное кольцо — тоже его подарок...

А он-то принимал жемчуг на ее шее за искусственный или даже за чешскую бижутерию... Но это теперь ничего не меняло: Рушан протрезвел окончательно. Легонько отодвинув Валу в сторону, миг потеряв интерес к ней, к ее гибкому телу, он потянулся за рубашкой на спинке стула.

— Ты куда? — спросила она удивленно.

Рушан не ответил. Одеваясь, он думал: сказать, не сказать, но в последний момент все же решился:

— Знаешь, Валя, а я сегодня собирался сделать тебе предложение...

Ночная свежесть несколько остудила его. Домой он не пошел, чувствовал, что все равно не уснуть, решил погулять по сонному Мартуку — через день он должен был уезжать. Дойдя до парка, где он видел Валу восемь лет назад крашеной блондинкой, Рушан вдруг рассмеялся, и этот неожиданный смех снял тяжесть с души. Он вдруг представил тесную ванную комнату, нашу унылую сантехнику и тусклый кафель, вечно щербатую, уже с завода, эмаль, блатных и воров с бокалами в руках, толпящихся у заполненной до краев шампанским ванны, и плещущую в ней Валентину... Зрелище, действительно, получалось смешным, если не сказать убогим, особенно в том случае, когда ванная комната могла быть еще и совмещенной с санузлом.

И вдруг все встало на место: и грубая папироса в ее холеных пальцах, и стеклянные глаза, глядящие мимо, и страсть, мгновенно

переходящая в апатию, и странный блатной репертуар, и жемчужное кольцо, и даже ванна с шампанским...

Восемь лет назад, увлеченный девушкой с улицы 1905 года, он пропустил мимо ушей слова кого-то из ребят, учившихся там же, в Куйбышеве, в летном училище, сказавшего мимоходом, что Валя потихоньку покуривает и покальвается, путается в городе с самыми крутыми парнями, и вроде даже по какому-то уголовному делу проходила свидетельницей. Тогда он, озабоченный своими проблемами, не придал этим слухам значения, а теперь все выстроилось в логическую цепь...

И вот сегодня, спустя почти двадцать лет, вспоминая тот дивный вечер в Мартуке, когда он чуть не сделал Вале Домаровой предложение, Рушан понимает: в ту пору о наркомании говорить было не принято, как и о многом другом, словно это нас не касалось. Но поразило его — и тогда, и сейчас, — другое, не наркомания — он встречал сколько угодно парней, увлекавшихся блатной романтикой, — а то, что женщину, клюнувшую на эту приманку, он видел только однажды, и ею оказалась его возлюбленная, девочка, когда-то написавшая в школьном сочинении, что мечтает стать балериной...

Сегодня он знает, что Валя через два года после той летней ночи вернулась в Мартук. Вернулась с мужем-наркоманом, работавшим механиком в каких-то мастерских, но больше известным скандалами в больнице и аптеках из-за наркотиков, однако в ту пору уже многие знали, что колется и она. С такими наклонностями, да еще с завышенными притязаниями на свое положение в обществе, в маленьком местечке прожить трудно, и они скоро покинули дом на Советской, где одну летнюю ночь Рушан был по-настоящему счастлив. И он больше никогда о ней не слышал.

Хотя однажды, через несколько лет, за тысячи километров от Мартука, ему пришлось вспомнить и про жемчужное кольцо, и про ванну с шампанским.

XVI

Встреча с Валей помогла сделать и еще одно открытие, пусть связанное не лично с ним, а с его дядей, но все равно ведь это и его жизнь. Он узнал от Эммы Бобликовой, весившей все-таки не сто сорок два килограмма, а всего сто двадцать шесть, что свой знаменательный



день рождения, двадцатипятилетие, его дядя Рашид отмечал некогда в доме ее мамы,— так открылась ему еще одна детская тайна.

А в тот вечер Валя еще сказала беззлобно, что Славик Афанасьев никогда не станет горожанином, и она как в воду глядела. Года через два Славик вернулся из Алма-Аты домой, зарабатывал шальные деньги, ставя золотые коронки разбогатевшим землякам. Пить продолжал по-черному, поскольку наш народ иначе, чем бутылкой, отблагодарить не умеет, и вскоре после одной из пьянок, так и не протрезвев, умер. И ныне перечень тех, о ком они скорбят при встрече, заметно удлинился, и поминают они теперь всех общим списком, как на выборах.

Сегодня он знает о многих своих потерях, но никогда раньше не замечал, не задумывался о том, что лишился своего искреннего смеха к двадцати восьми годам, а может быть, даже раньше. Теперь-то он понимает, почему так горько рыдала Валя в тот вечер: она оплакивала его и свою жизнь, словно наперед знала, что ничего путного из этой жизни не выйдет, не говоря уже о счастье...

Совсем недавно из газет он узнал ошеломляющие цифры. А ведь никто из его знакомых — ни на работе, ни дома — не обратил на них внимания, он даже дня два прислушивался в общественном транспорте, вдруг кто скажет: «Какой ужас!» Никто не говорил, не возмущался, не комментировал — видимо, свыклись. А вычитал он, что каждое шестое преступление в стране совершают женщины, за год две с половиной тысячи женщин привлекались за убийство своих новорожденных детей. Эту цифру наверняка надо умножить еще на десять, чтобы получить реальную картину, с учетом тех, кто не попал в поле зрения милиции. Выходит, ему повезло, что он повстречал в жизни только одну женщину из многомиллионного криминогенного слоя в нашем обществе.

Нет, Валю Домарову Рушан никак не мог назвать своей первой любовью, хотя и чуть не сделал ей предложение, но не мог он и беспристрастно зачеркнуть их отношения: что было, то было. Видимо, точнее было бы назвать давнюю симпатию прелюдией к любви...

Перебирая вехи прошлого, он обнаружил не только утрату собственного смеха, смерть родных и друзей, гибель волшебного вокзала в Актюбинске и исчезающие чайханы Ташкента. Там осталось много тайн и невещественного характера. Сквозь годы он силится понять, что означал жест Светланки Резниковой, когда однажды поздней весенней ночью он шел по улице Орджоникидзе, а из машины, на мгновение ослепившей его фарами на пустынной улице,

вдруг высунулась девичья рука и помахала ему. Пока «Волга» Резниковых не скрылась в переулке напротив Дворца железнодорожников, он видел адресованный только ему жест. Что он означал? Ведь «роман», так бурно начавшийся на новогоднем балу, оборвался у них еще в марте...

Или почему Ниночка Новова так настойчиво советовала ему посмотреть американский фильм «Рапсодия», и почему она уехала в Ленинград сразу после выпускного бала, не предупредив его, хотя накануне отъезда они гуляли до утра и встречали рассвет у них в яблоневоm саду, на улице Красной? Странно, отчего память хранит такие мелочи?

Но в памяти застряли и мучают не только события, конкретные факты и связанные с ними вопросы, на которые в свое время не нашел ответа,— загадкой проходят через всю жизнь вещи и вовсе необъяснимые...

Однажды на «Бродвее» он увидел рядом с Жориком Стаиным — парнем на год старше него — удивительной красоты девушку, но в память врезалась не изящная Сашенька Садчикова, а платье на ней — необычное и по покрою, и по цвету. Цвет платья очаровательной Садчиковой почему-то преследовал его всю жизнь, он хотел найти ему четкое определение. И вдруг сейчас, спустя почти тридцать лет, увидел по телевизору тибетского далай-ламу, находящегося в изгнании, которого принимал другой диссидент — Вацлав Гавел, ставший президентом страны, где еще недавно был вне закона. Увидел — и все сразу стало на свои места, он понял: платье белокурой Сашеньки напоминало желто-оранжевый хитон буддийского далай-ламы, и это вовсе не цвет апельсина, как тогда многим казалось. Так с помощью далай-ламы разрешилась еще одна загадка.

Или, казалось бы, что может связывать его со знаменитой Ниццей? Да, именно Ниццей, фешенебельным городком на Лазурном берегу. Впрочем, не с самим морским курортом, а всего лишь с ласкающим слух названием.

Ницца... Она тоже долго преследовала его воображение, часто навевая беспричинную грусть. Наверное, Ницца засела в его памяти в тот не по-весеннему мрачный день в конце мая, когда они с Ниночкой Нововой случайно попали на какой-то концерт в «Железке»: не бог весть какая программа, концертная труппа была явно наспех сколочена для гастролей по провинциальным городам из музыкантов, некогда подававших надежды, но по большому счету так и не состоявшихся,



спившихся, разочаровавшихся во всем,— тех, для кого единственным источником жизни служат ненавистные подмошки захолустных сел.

В том далеком мае Ниночка оканчивала школу, а он техникум, и от предчувствия скорой разлуки они встречались ежедневно, как-то жадно, неистово, словно чувствовали, что разойдутся их пути-дороги навсегда, хотя, конечно, вслух строили грандиозные планы, мечты захлестывали их воображение...

На концерт они опоздали и вошли в полупустой гулкой зал старинного дворца, когда вяло катившаяся программа набрала темп и какой-то певец даже сорвал жидкие аплодисменты. Едва они заняли свои места, как на эстраде появилась женщина, чья песня запала ему в душу надолго, на десятилетия, и потом долго навевала несбыточные мечты о далекой Ницце. Это была уже чуть грузная высокая певица в вечернем бархатном платье до пят вишневого цвета, с чересчур смелым для провинции декольте, выгодно оттенявшим стройную шею, по-женски мраморно-холеные плечи и грудь, затянутую в жесткий корсет. Держа в руках трогательную ветку отцветающей персидской сирени, прижившейся в их степных краях, она объявила: «Цветок из Ниццы».

Солистка показалась Рушану пожилой, усталой, хотя вряд ли она преодолела сорокалетний рубеж, но из-за юношеского максимализма тогда виделось так, и он невольно почувствовал ее тоску, понял, почему сейчас она оказалась в полупустом зале заштатного городка. Песня, наверное, была чем-то близка ей, она, видимо, тоже давно поняла, что далекая сказочная Ницца несбыточна, недосягаема для нее. Эта вселенская грусть, пронизывавшая и саму песню, и исполнительницу, и, возможно, давно витавшая в высоких стенах бывшего дворянского собрания, где располагалась «Железка», пленила и Рушана. Наверное, для всех она была просто лирической песней, немного грустной, но для него звучала иначе. Словно забегая далеко вперед, в свою еще не прожитую жизнь, он как бы заранее ощущал тоску, скорбь о несбывшихся надеждах и несостоявшейся любви. Странное ощущение для юноши, стоящего на пороге самостоятельной жизни, тем более рядом с хорошенькой кокетливо-изящной Ниночкой Нововой.

Видимо, песня вызвала у обоих сходные переживания, поскольку Ниночка как-то грустно взглянула на Рушана, придвинулась ближе и, найдя в темноте его руку, сжала ее, словно почувствовала внезапную тревогу.

Нечто подобное — преждевременную скорбь по непрожитой жизни — он испытает лет через десять, когда Валентина, мечтавшая

стать балериной, будет бессознательно оплакивать их не состоявшуюся, по большому счету, судьбу...

После концерта, когда они шли по улице, у Рушана невольно вырвалось: «Цветы из Ниццы...» Нина, видимо, готовая к разговору о грустной любви на Лазурном берегу, тихо ответила: «Оставь, цветы из Ниццы не про нас...»

Тогда он не придавал ее словам никакого значения, не пытался спорить. Но сегодня с болью приходится признать, что даже в молодые бесшабашные годы, у порога взрослой жизни, они и мечтать не могли ни о Ницце, ни о Венеции, ни о Монте-Карло, ни об островах Фиджи или Мальорка, — изначально были запрограммированы на иную жизнь, на преодоление вечных преград в походе к сияющим вершинам коммунизма. Сегодня Рушан с запоздалой горечью понимает, что народ его родной страны оказался не только за порогом цивилизации XX века, но и вовсе отрезанным от нормальной человеческой жизни, где уж тут Ницца...

Но Ницца, запавшая ему в душу в полупустом зале Дворца железнодорожников, долго будоражила воображение. Однажды, годы спустя, в Ялте среди бурной субтропической зелени он увидел брошюрованную рекламу на огненно-красном щите: «Посетите Ниццу!» Троллейбус несся стремительно, и он не успел разглядеть чуть ниже еще одно слово — «ресторан», и три дня подряд, пока вновь не наткнулся на рекламное объявление, Ницца не шла у него из головы.

«Ницца» оказалась обыкновенной «стекляшкой» с бетонными полами и отличалась от подобных ей заведений тем, что числилась вечерним рестораном с программой варьете. Чтобы скрыть бедность и убожество зала, стекло изнутри задрапировали занавесями вишневого цвета, — наверное, чтобы проходящим мимо «Ниццы» казалось, что там протекает невероятно шикарная жизнь.

От впечатления неприкрытой бедности зал с обшарпанными пластиковыми столами и колченогими железными стульями спасали лишь полумрак и умелое, с долей фантазии продуманное освещение эстрады, где выступало наспех сколоченное варьете и восседал небольшой оркестрик — музыканты в соломенных шляпах-канотье. Тут шли в ход и елочная мишура, и часто менявшиеся рисованные задники сцены, и светившиеся, кружившиеся зеркальные шары, висевшие и над залом, и над сценой — они, видимо, должны были означать причастность к какой-то веселой роскошной жизни, бурлящей в сезон на известных морских курортах.



Рушан видел и скудность убранства зала, и убожество доморощенного варьете. Конечно, «стекляшка» с претенциозным названием «Ницца» не могла иметь ничего общего с той прекрасной Ниццей, которой он грезил долгие годы, и возвращался он оттуда в полночь по слабо освещенным улицам Ялты расстроенный: ему казалось, что его в очередной раз обманули.

«Почему у нас кругом пошлость, безвкусица, бедность, которую не в силах скрасить ни темнота, ни умелое освещение?» — с тоской думал он, шагая по ночным улицам города, и световая реклама «Ялта — жемчужина курортов мира» — воспринималась как насмешка, издевательство...

Листая, как страницы книги, отшумевшие годы, вспоминая друзей, Рушан не решался приблизиться к себе, хотя понимал, что все его воспоминания мало чего стоят без откровений о себе, без собственной фотографии на фоне времени. Наверное, его жизнь по-иному осветит события, о которых он хотел бы рассказать. Хотя, рассказать — кому? Но это билось в нем и не давало покоя... И он вновь и вновь возвращался назад, во вторую половину пятидесятых, в заносимый песками из великих казахских степей провинциальный Актюбинск, чтобы еще не раз мысленно пройтись или же постоять под окнами дома на улице 1905 года, где жила девочка с голубыми бантами, которую он однажды встретил у «Железки» с нотной папкой в руке и, как зачарованный, пошел вслед за ней. Порою ему кажется, что он до сих пор шагает за нею...

Вспоминать о той девочке легко, она часто приходит к нему в снах. Ему снятся шум, запахи давно ушедших лет, их окружают музыка и быт того времени, в снах он вновь приходит в парки и кинотеатры своей молодости. «Бродвей» в час пик, школьные балы и танцы в «Железке»... И повсюду их сопровождают давно забытые ритмы и мелодии.

Его сны — своеобразные ретро-фильмы с собственным участием, где сам он — в главной роли. Когда ему тяжело, тоска одолевает беспричинно, он закликает кого-то свыше, властвующего над нашими судьбами: «Пусть приснится моя молодость!» А молодость — это любовь.

Прекрасные сны-фильмы, где через тридцать лет можно разглядеть то, что не удалось увидеть в свое время. Правда, ни один из них не получается досмотреть до конца, они, как в детективном сериале, обрываются на самом интересном месте, и продолжения, как ни заклинай, не бывает. Эти сны-фильмы — одноразовые и для единственного

зрителя, и после них очень трудно вписаться в повседневную жизнь. Но ни за что на свете Рушан не отказался бы от своих сновидений.

Когда-то друзья, беззлобно посмеиваясь над его безответной любовью к девочке из соседней железнодорожной школы, говорили: «Не грусти, первая любовь — как корь, переболеешь, встретишь другую и забудешь свою гордую пианистку». Сегодня, считай, жизнь прожита, а он ее не забыл, впрочем, он и тогда чувствовал, что это всерьез и надолго.

Когда коллеги заводят в прорабской разговоры о первых увлечениях своих детей, не воспринимаемых родителями всерьез, по лицу Рушана пробегает грустная улыбка. Он не вмешивается в такие диспуты — кому нужен его душевный опыт? Да и можно ли предположить, глядя на него, заезженного жизнью одинокого прораба, что и его когда-то одолевали страсти, что и он когда-то чувствовал в себе волшебный огонь обжигающей любви, и что воспоминания о ней — самое дорогое, что осталось ему, ими он и жив.

«Воспоминания — единственный рай, откуда нас невозможно изгнать», — вычитал он где-то и запомнил на всю жизнь.

Возвращаясь памятью к девочке с нотной папкой в руках, он мучился сознанием того, что заглянувший ненароком в эту его ненаписанную «книгу» мог бы резонно спросить: «Разве ты не любил Глорию? А как же Светланка Резникова? Или Ниночка Новова? Наконец, Валя Домарова?..» Рушан, привыкший отвечать за свою поступки и никогда не прятывшийся за словеса и чужие спины, сникал от этого незаданного вопроса. Может, потому он и не спешил открывничать о себе?

Наверное, человек более тонкий, чем прораб, — художник, например, писатель или артист, — легко разобрался бы в своих симпатиях, тем более давних, ныне ни к чему не обязывающих. Но для Рушана это стало непреодолимой преградой: он не хотел унижать в воспоминаниях ни себя, ни своих любимых, ни те привязанности, которыми дорожил. Поэтому он и затруднялся заполнять страницы своей «книги» событиями личной жизни, где каждой из его подруг нашлось достойное место.

И вдруг он нашел ход к познанию себя, того давнего, и всех своих привязанностей.

В одной мемуарной книге ему совершенно случайно попались на глаза страницы о Жане Кокто. Они-то и дали ключ к пониманию давнишних событий. Оказывается, после смерти писателя биографы



обнаружили четыре письма, полных любви, нежности, написанных перед отправкой на фронт,— послания эти сравнивают с образцами любовной лирики. Но... все письма были написаны словно под копирку, хоть и адресованы четверем разным женщинам. И что еще более странно, ни одна из этих прекрасных дам, проживших долгую и счастливую жизнь, позже, узнав истину, не только не отказалась от «своего» письма, но и настаивала, что содержание адресованного ей признания отражает суть ее истинных отношений с Кокто...

Дасаев, конечно, не француз Кокто, и прямой аналогии здесь не проводил, но, пытаясь понять известного драматурга и его поклонниц, столь рьяно отстаивавших свой приоритет на его любовное послание, он пришел к разгадке некоторых давних событий.

Два коротких, но бурных «романа» — со Светланкой Резниковой и Ниночкой Нововой,— кстати, одноклассницами, входившими в одну недоступную компанию, хорошо известную в их городе,— случились в последние полгода, когда Рушан учился на четвертом курсе техникума и уже корпел над дипломным проектом. Сегодня он понимает, что дважды «пришелся ко двору» или оказался «кстати» в каких-то их девичьих интригах, до конца не ясных и поныне. Знает лишь одно: они не расставляли ему специально ловушек, просто он подвернулся случайно и как нельзя лучше подошел для задуманной ими роли. Но в том-то и суть: обе они не ожидали, что задуманная легкомысленная затея заденет и струны их сердец, как выяснится позже, тоже обожжет надолго,— теперь-то Рушан знал это.

Конечно, он мог бы и не вспоминать об этих «романах», отнести их к разряду легкомысленных юношеских увлечений. Тем более влюбиться за полгода дважды — все это выглядело несерьезным, недостойным даже упоминания в разговоре о любви. Однако сроки тут ни при чем, в серьезной классической литературе он встречал примеры, когда дни и даже часы многое значили для людей, определяли судьбу или на всю жизнь становились духовной опорой. Был и более веский аргумент — на всем стоит тавро: «Проверено временем».

XVII

Ко времени того новогоднего бала в сорок пятой железнодорожной школе, где у Рушана неожиданно начался «роман» со Светланкой Резниковой, он уже три с половиной года был безответно влюблен

в Томочку Давыдычеву, и, конечно, в их провинциальном городке многие об этом знали. Там все на виду, невозможно уберечься от любопытных взглядов, а Рушан и не таился, да и любовь к такой заметной девочке бросалась в глаза.

В ту пору школьники жили куда более насыщенной жизнью, чем нынешние: каждую субботу в той или иной школе проводились вечера, организовывавшиеся с большой фантазией, куда приглашались старшеклассники из других районов. На такие встречи оказывались зваными почти одни и те же лица, среди них и Тамара, а уж где она — там и Рушан. Среди гостей хозяева сразу выделяли Тамару и наперебой приглашали на танец, но как-то само собой возникал барьер между ней и новыми поклонниками — по залу неслышной волной прокатывалось: «девушка Рушана». Так бывало и в «Железке», и на летней танцплощадке, и в ОДК. Тамара знала об этом, иногда ей даже нравилось такое опекунство.

В семнадцать мы все бывали кем-то очарованы, часто безотчетно, и в молодом эгоизме вряд ли замечали, кто в кого влюблен, а уж чтобы помнить об этом через годы... Но их отношения запали кому-то в память, и лет десять спустя, в один из своих наездов в Актюбинск, он получил тому подтверждение.

Остановился он в тот раз в гостинице «Казахстан» и часто прогуливался по улице Карла Либкнехта, давно утратившей претенциозное название «Бродвей». По несколько раз в день поднимался вверх от парка Пушкина к сорок пятой школе, стоящей на горе, напротив пожарки, и словно воочию видел себя юным, азартным, раскланивающимся с улыбкой направо и налево — на «Бродвее» он был своим парнем. И однажды во время прогулки к нему подошла молодая женщина с двумя авоськами и, смущаясь, спросила:

— Извините, скажите, пожалуйста, как у вас сложились отношения с Тамарой? — Видя его удивление, она, растерявшись вконец, добавила: — Не знаю почему, но я часто вспоминаю вас. Я никогда не забуду, как вы выискивали ее глазами на вечерах в нашей школе, мне казалось, ваш взгляд испепелял все на пути к ней. Поверьте, это не только моя фантазия, то же самое мне говорили подружки, многие тогда переживали за вас, Рушан.

— Спасибо, — ответил растроганный Дасаев. — Увы, она вышла замуж за другого и живет в Черновцах.

Пока женщина не скрылась за углом, Рушан смотрел ей вслед, пытаясь определить, кто же это, какой она была на тех вечерах,



которые он отчетливо помнил до сих пор, но увы... Он заметил смущение незнакомки и от невзрачного мятого платья, и от стоптанных туфель, и от тяжелых авосек с картошкой, и понял, как нелегко дался ей вопрос, — у нее своих забот хватало, это бросалось в глаза сразу, и вот надо же...

Вообще в тех местах, где он появлялся, знали, в кого он был в свое время влюблен, и эта верность у многих вызывала симпатию. Впрочем, по тем временам это был не подвиг, а нечто само собой разумеющееся — верность окружающими ценилась. Но каково было тогда самому Рушану? Через полгода он оканчивал техникум, а что ожидает путейца? Разъезд или полустанок. Грезить, что Тамара приедет туда, было абсолютно бесполезно, тут даже надежды на переписку были шатки. Она знала, что есть такой парень, что он влюблен в нее, и, кажется, воспринимала это как должное: иногда позволяла проводить после школьного вечера, танцевала с ним, порою даже кокетничала, изредка вдруг объявлялась на его соревнованиях по боксу и очень темпераментно болела. Но все это было не то, не то, Рушан же видел, как «встречались» с девушками его друзья — Валька Бучкин, Ленечка Спесивцев, да тот же Роберт. Девушкам, которые обращали на него внимание, друзья сразу говорили: оставьте, его никто, кроме Давыдычевой, не интересуется, безнадежный однолюб. Вот такая у него была репутация в те годы.

Тот новогодний вечер был последним в Актюбинске. Летом он отбывал по направлению и понимал, что навсегда расстается с беспечной студенческой жизнью, а впереди — нелегкие взрослые будни. Он уже знал, что дорожный мастер, например, не имеет права отбыть с участка ни ночью, ни в праздник, не уведомив о том, где его можно найти — такова специфика профессии. Возможно, поэтому его в тот праздничный вечер одолевали грустные мысли, хотя после новогоднего бала в школе он был приглашен Жоркой Стаиным в одну интересную компанию.

Жорик метался по залу, пытаясь выяснить, кто скрывается под номером «14», завалившим его любовными посланиями, а Рушан, задумавшись, стоял у колонны, не решаясь пригласить на танец Тамару, почему-то державшуюся сегодня особенно надменно. Объявили «белый танец», и Рушана пригласила Светлана Резникова, которую между собой ребята звали «Леди». Светланка — острая на язык очаровательная девушка из известной в городе семьи — нравилась многим и знала об этом.

Рушан, давно не видевший девушку, поздравил ее с наступающим Новым годом и мимоходом поинтересовался:

— А где же Славик?

Он знал, что у нее был давний и прочный «роман» с парнем, учившимся в мединституте. Светланка, положив ему обе руки на плечи — прежние танцы позволяли это,— сказала весело и без всякого сожаления:

— А он бросил меня...

— Тебя, прекрасная Леди? В это трудно поверить,— подлаживаясь под ее озорной тон, сказал Рушан.

— Да, такой вот он ветреник,— шутливо вздохнула Светлана.— Но, как мне кажется, сегодня мы — прекрасная пара. Ты не нужен Давыдычевой, я — Мещерякову, двое отверженных. Ну как, гроза чемпионов бокса, закрутим любовь? — Она глядела на него, улыбаясь, и теснее сжимала пальцы рук у шеи.

Близость девушки, жар ее рук, аромат духов кружили Рушану голову. Видя, что Дасаев не понимает, в шутку или всерьез она говорит, Светланка глазами показала на вальсирующую у елки пару: Славик увлеченно танцевал с ее давней соперницей — Верочкой Осадчей. Как только кончился танец, Света взяла Рушана под руку и, отойдя к колонне, осталась рядом с ним. Глядя нежно, как не смотрела до сих пор на него ни одна девушка, она поправила Рушану галстук-бабочку и с обворожительной улыбкой, от которой он терялся, решительно заявила:

— Хочешь не хочешь, Дасаев, я беру тебя сегодня в плен. Уходя на вечер, я слышала по радио призыв: обиженные в любви — объединяйтесь!

Дасаев, не понимая, разыгрывают его или это всерьез, смущенно улыбался. Выручил объявившийся рядом Жорик — Светлана, оказывается, откуда-то узнала об их дальнейших планах на вечер, и вдруг объявила оторопевшему Стаину:

— Жорик, на Рушана не рассчитывай, он сегодня мой. Я решила его украсть. Могу я позволить себе в качестве новогоднего подарка обаятельного чемпиона по боксу?

И тут Рушан почувствовал, что Светланка не шутит. Стаин с удивлением глядел на нее, хотя знал, что своенравная Резникова под настроение могла учудить и не такое, и ей все прощалось. «Она знает свое место в обществе», — не однажды высокопарно говорил Жорик, и не зря: когда-то он безуспешно пытался за ней ухаживать.



— А не боишься? Славик в гневе бывает крут,— видимо, дразня Резникову, обронил Жорик.

— Не боюсь. Рушан Давыдычеву оберегал и не от таких, как Мешеряков,— ответила Светланка и демонстративно прижалась к Дасаеву.

— Ну, тогда я пошел, у меня тоже сердечные проблемы. Желая приятной встречи Нового года.— Стаин, слегка приобняв Рушана, добавил: — Помни, Татарка своих в обиду не дает,— видимо, он имел в виду, что Славик жил на Курмыше, где обитала такая же оторва, как и на Татарке.

Новогодний бал набирал силу, становился все шумнее, ребята — раскованнее, сбивались последние компании, чтобы встретить полуночный бой курантов у кого-нибудь дома. Конечно, неожиданно образовавшаяся пара Резникова — Дасаев не осталась без внимания, но в тот вечер вряд ли кто всерьез воспринял их отношения, всем казалось, что Резникова просто дразнит Славика, а Рушан с удовольствием ей подыгрывает.

За окнами падал снег, медленно вращалась наряженная елка, в зале заметно поредело. Время неумолимо двигалось к полуночи, и властная Светланка, весь вечер не отпускавшая Рушана ни на шаг, скомандовала:

— Идем, пора и нам отметить Новый год и начало нашего романа,— и потянула его к лестнице, ведущей в раздевалку.

Рушан предполагал, что Светланка пригласит его в какую-то компанию — ей, как и Стаину, везде были бы рады,— но она, как давно решенное, вдруг объявила:

— Ну, теперь идем к нам, нас ждет накрытый стол...— Видя удивление на лице Рушана, с улыбкой пояснила: — Да-да, накрытый стол. Я была уверена, что буду отмечать Новый год с тобой, ты моя сознательная и давно избранная жертва. Не жалеешь? — И, наслаждаясь его смущением, добавила: — А чтобы тебя не мучили угрызения совести или сожаление, скажу — я точно знаю: в новогодних планах Давыдычевой тебе места нет. Она на днях мне звонила, и мы с ней целый час болтали. Правда, я ей не сказала о ссоре со Славиком, но что мне надо — выведала. Представляю, как она сейчас бесится,— тебя ведь еще никто не уводил. Но жизнь — борьба, как нас учат в школе. Ты не осуждаешь меня, Рушан? — и, обхватив его голову ладонями прохладных рук, одарила его жарким поцелуем, от которого у него перехватило дыхание...

Резниковы жили в десяти минутах ходьбы от школы, и они, свернув с Карла Либкнехта на Орджоникидзе, поспешили вниз к вокзалу, где напротив «Железки» высился приметный особняк за высоким глухим забором. Стояла поистине новогодняя ночь — с легким морозцем, мягко падавшим снегом, и Светланка всю дорогу озоровала: сталкивала его в сугробы, бросалась снежками, пыталась слепить снежную бабу. Целовались почти у каждого дерева, и Рушану всякий раз приходилось опускаться в снег ее завернутые в газетку лаковые «шпильки». На катке во дворе «Железки» горела огнями наряженная елка, а стайки подростков в ярких спортивных костюмах мирно катались возле нее на коньках; для этой картины явно не хватало музыки, но их радостный смех, визг, ошалелые от предчувствия близящегося праздника возгласы слышались издали...

Эту давнюю прогулку в новогоднюю ночь Рушан прокручивал в памяти потом сотни раз, припоминая все новые и новые детали. Говорят, что иногда прожитые годы проносятся перед человеком в считанные минуты, — может, и так, но Рушану со временем та пятнадцатиминутная дорога представляется прогулкой длиною в жизнь.

Он шел как в бреду, иногда невпопад отвечал Светланке, не до конца осознавая, что все эти ласковые слова, жаркие поцелуи адресованы ему. Он никогда не думал, что от этого может так кружиться голова, биться сердце, порою ему казалось: не сон ли это? Надменная Светланка, недоступная Леди, о которой грезил многие — рядом с ним...

Она своим ключом открыла дверь и пригласила в дом. В прихожей, заметив его растерянность и то, как он замешкался у порога, ободряюще сказала:

— Мы одни. Родители в гостях, вернутся утром, семейная традиция — встречать Новый год у деда. Проходи, — и распахнула застекленную дверь в зал. За спиной щелкнул выключатель, и перед ним вспыхнула тяжелая люстра под высоким потолком, прямо над наряженной елкой. Казалось, тысячи хрустальных солнц струили на нее с потолка осколки своих лучей — волшебное ощущение, которое он испытал в первый миг, надолго врезалось ему в память.

Удивительно, как в считанные минуты Рушан разглядел весь зал с тяжелыми, на восточный манер, коврами на стенах, громоздкими напольными часами в корпусе из потемневшего красного дерева, чей неслышный ход, наверное, долгие годы определял ритм этого дома, книжными шкафами, блестящими золотыми корешками незнакомых



ему редких книг, сервантом между окон, где в хрустальных бокалах, фужерах отражались огни люстры, легкие елочные игрушки и матово поблескивало тусклое серебро чайного сервиза.

Чуть поодаль, за елкой, под белой крахмальной скатертью — сервированный стол, заставленный салатами, закусками, но Рушану прежде всего бросились в глаза две высокие вазы: одна с крупными золотистыми мандаринами, другая с красным алма-атинским апортом, — с тех пор Новый год ассоциируется у него с запахом яблок.

Рушан уже четыре года обитал в комнате на восемь человек общежития на Деповской и бывал в городе только в доме на Почтовой, 72, где жил его друг Роберт. В те минуты он ощутил уют, тепло и надежность дома Светланки и был рад, что не ошибся, представляя ее жизнь именно такой, что она, как редкий и нежный цветок, росла в любви и заботе. В ту пору считалось хорошим тоном бывать в доме у девушки, с которой встречался, — старые милые традиции их провинциального городка, и Рушан понимал, что настал его час. В особняк на улице 1905 года его никогда не приглашали, и в ту ночь все навалилось на него неожиданно, стремительно, поистине — новогодний сюрприз.

Не успел он осмотреться, обвыкнуться, как Светлана вдруг сказала:

— Простор зала и этот огромный стол просто гнетут меня. Ты не возражаешь, если мы переберемся в мою комнату?..

Рушан, до сих пор ничего не понимая, словно в прострации, лишь кивнул головой и привстал с кресла.

Ее комната, довольно-таки большая, с окном во двор, оказалась смежной с залом, и в приоткрытую дверь хорошо виделась в темноте светившаяся мерцавшими гирляндами наряженная елка. Между книжными шкафами, занимавшими стену напротив окна, располагался уютный уголок с двумя глубокими кожаными креслами и низким столиком, обтянутым зеленым сукном. У изголовья одного из старинных кресел склонился стеклянный абажур диковинного бронзового торшера. Рушан вмиг представил Светланку забравшейся с ногами в просторное кресло, с книжкой в руках, и даже укутанной тяжелым шотландским пледом, которым была покрыта ее низкая деревянная кровать.

Но что-то инстинктивно насторожило Рушана. Подняв тревожный взгляд от ее ложа с двумя туго взбитыми подушками, он сразу увидел на стене приколотую кнопками большую фотографию

улыбающегося Мещерякова. Он так растерялся, что не мог отвести от фотографии взгляда, и Светланка, вошедшая в эту минуту в комнату со скатертью в руках, застала его в замешательстве.

— Это маман, ее происки. Где-то откопала любимого Славика. Видимо, решила новогодний сюрприз мне устроить,— прокомментировала она и, тут же сорвав фотографию, разорвала ее на клочки.— Потом, взяв Рушана за плечи, в своей лукавой манере сказала: — Жаль, у тебя нет подходящего фотопортрета, а то я бы организовала ответный сюрприз.

Она умела разрядить любую грозовую атмосферу, и Рушан ни на минуту не усомнился, что все так и есть на самом деле — Леди отличалась искренней прямоотой, и в этом было ее очарование. Они часто общались, хорошо знали друг друга, возможно, и сегодняшний выбор Светланки скорее всего не был минутным капризом.

Высокие напольные часы известили глухим боем, что до Нового года осталось лишь четверть часа, и Светланка попросила его помочь. Вдвоем они быстро перенесли закуски и фрукты с праздничного стола в зале в ее комнату, без пяти двенадцать она зажгла на столе свечи в тяжелом, под стать торшере, бронзовом подсвечнике и, показав глазами на шампанское, волнуясь, сказала:

— Вот так я задумала неделю назад, и рада, что моя мечта сбылась. С Новым годом, Рушан!

Они соединили бокалы, и звон хрусталя слился с боем часов в темном зале...

XVIII

Та новогодняя ночь и дорога к дому Резниковой воспринимается через годы как огромная и важная часть его жизни. Но в воспоминаниях Рушану ни разу не удалось пробыть с ней весь этот вечер от порога до порога, хотя он помнит, что находился там шесть часов. И все равно, чтобы описать эту встречу, понадобится целый роман, и ни в какой телесериал она не уложится, ибо через годы всплывают вдруг в памяти забытые слова, оттенки и краски, жесты и взгляды, шумы и шорохи, запахи и мелодии той ночи. Однако заставь его кто-нибудь однажды записать хронологию новогодней ночи в доме Резниковой, он бы не смог. Но почему? Если помнил все до мельчайших подробностей, если пронес это волшебное свидание через всю жизнь? Это



и есть та тайна, магия любви, которая не всякому открывается, не открылась и Рушану, хотя ему дано было почувствовать волшебное дыхание любви. Кто-нибудь черствый, наверное, сказал бы: вкусил — и отравился. Пусть так. Или не так. Или совсем не так...

Как-то давно в одной компании зашел разговор о любви, в котором он не принимал участия. Но когда возвращались домой, товарищ, видимо, не остывший от горячего спора, любопытствовал:

— А как выглядела твоя первая любовь?

Рушан, миг вспомнив девушку с улицы 1905 года, ответил без раздумий:

— Красивая. Очень красивая.

— Это не ответ, слишком обще,— рассмеялся приятель.— Какие у нее были ноги, грудь, талия?

Видя, что Рушан надолго замолк, товарищ решил, что Дасаев обиделся, но он не отвечал по другой причине.

Рушан просто не мог сказать, какие у нее ноги или грудь, он никогда не думал об этом. Правда, он помнил ее глаза — большие, карие, с влажной поволокой; мог еще сказать о трогательной родинке на правой щеке чуть выше уголка хорошо очерченного рта; мог долго рассказывать, как она смеялась, каким задумчивым бывал ее взгляд, как хмурила брови, как загадочно улыбалась. Но ноги, грудь...

Нет, этого он не мог вспомнить, как не мог воспроизвести в памяти целиком и тот вечер в особняке напротив «Железки» — это тоже было из области таинств любви.

Каждый ждет от Нового года удач, радости, исполнения давних желаний, тем более на пороге взрослой жизни — Рушан получал в тот год диплом, Светланка — аттестат. И так случилось, что в преддверии этого единственного праздника, в котором есть привкус волшебства и с которым люди связывают надежды, они оба оказались, по выражению самой Светланки, «отверженными». Да, так случилось, как это ни странно, хотя знакомства, дружбы и с Рушаном, и со Светланкой искали многие. Нет, не был случаен в тот день выбор Резниковой, и не нашлось бы парня, отказавшегося провести новогодний вечер с Леди, попасть в ее очаровательный плен.

Возможно, одного не учла Резникова — Дасаев, безнадежно влюбленный в недоступную Давыдычеву, никогда не слышал таких волнующих слов, не ощущал на себе нежные взгляды, никогда еще не смущался по-девичьи от ласковых и горячих рук, не задыхался от сладких губ.

А уж самому Дасаеву и на миг не могло прийти в голову, что эти слова, поцелуи, объятия, долго вызревавшие в душе девушки, предназначались совсем не ему, а иному, да хранить их было трудно. Разрывалось от тоски и одиночества девичье сердце в праздник, суливший другим счастье и любовь, а тут подвернулся Рушан — знакомый, печальный, одинокий. Наверняка «роман» с ним сразу вызовет разговоры, и ее перестанут жалеть... Может, было и не совсем так, но теперь Рушан думал, что именно это толкнуло Резникову к нему.

Скорее всего, слова, жесты и поцелуи Светланки можно было сравнить с криком в горах после долгого и обильного снегопада, или ударом кочерги о летку кипящего мартена — в обоих случаях рождалась лавина — снега или брызжущего огнем горячего металла, удержать которую никому не удавалось. Подобное произошло и с Рушаном: копившиеся в его душе годами страсть, нежность, любовь, не имевшие выхода, тоже прорвало в ту ночь, и Светлана, сама раненная в сердце, услышала то, что жаждала услышать ее изболевшая душа. Проще — встретились два сердца, открытых для любви.

Они были пьяны не от бутылки шампанского, которую, кажется, и не опорожнили до конца, их пьянила нежность слов, искренность взглядов, жестов, чистота помыслов, неожиданно открывшееся родство душ. Наверное, способствовала этому и музыка. В ту новогоднюю ночь в комнате, освещенной лишь жарко оплывавшими свечами, звучала разная музыка, но чаще минорная, она больше соответствовала настроению — их любимый Элвис Пресли в тот вечер не понадобился.

Запомнилась и главная мелодия ночи: как и вся та зима, она прошла под знаком рано ушедшего из жизни легендарного Батыра Закирова с его знаменитым «Арабским танго». Под щемящую грусть танго они танцевали в зале у светящейся елки, и казалось, сама богиня любви Афродита одарила их улыбкой, и не было, наверное, в ту ночь более счастливых влюбленных, чем они...

Все способствовало тому, чтобы их отношения развивались стремительно, по нарастающей, и обстановка праздника окружала их долго, как по специальному сценарию. Начинались школьные каникулы, а это значит — две недели подряд новогодние балы в «Железке», ОДК, «Большевике» под джаз-оркестр братьев Лариных, в каждой школе. Они жили в атмосфере праздника, музыки, веселья почти весь январь, потому что выпали еще и три-четыре дня рождения, на которые их пригласили, дважды они были званы и на вечеринки к Стаину.



Они виделись каждый день и проводили по многу часов вместе. Иногда в общезитии раздавался звонок, и Светланка говорила с волнением в голосе: «Приходи, я соскучилась». Отодвинув дипломную работу в сторону, Рушан спешил в особняк за зеленым дощатым забором. Кстати, первый в жизни номер телефона, который он выучил наизусть — именно Резниковой, он помнит его до сих пор: 3–32.

В ту пору многое для него открывалось впервые. В начале февраля в их город впервые приехал на гастроли Государственный эстрадный оркестр Азербайджана под управлением Рауфа Гаджиева. Красочные яркие афиши, фотографии оркестра, певцов, танцовщиков, известного в ту пору конференсье Льва Шимелова, самого композитора Гаджиева украшали людные места города, не избалованного вниманием артистов. Казалось, на концерт не попасть, но выручил Роберт — достал для него билеты, да еще на первый ряд, а уж сам он ходил туда каждый день, перезнакомился со всеми музыкантами.

Сегодня, хочет он того или нет, «роман» с Резниковой предстает в воспоминаниях как сплошной праздник — так вышло, так случилось. Разве не праздник, что они сидят в первом ряду концертного зала ОДК, а перед ними на эстраде в четыре яруса, полукругом, восседает чуть не до самого потолка огромный оркестр? Продуманное освещение, мерцающие в темноте юпитеры, серебро труб, черные фраки и ослепительные парчовые жилеты оркестрантов, золотые зевы саксофонов, а на самой верхотуре — блеск меди и перламутровых огненных боков барабанов ударника. Тяжелый занавес, меняющийся в каждом отделении, хорошо подобранные задники, появляющиеся с каждым новым исполнителем, настоящие театральные декорации в концертной программе — то, к чему пришли звезды мировой эстрады сегодня, начиналось именно тогда.

Фантастика? При нынешнем упрощении всего и вся, пожалуй, да. Оркестр Рауфа Гаджиева и еще несколько коллективов, о которых Рушан узнал позже — например, оркестр Орбеляна из Армении, Гобискерии из Тбилиси, Лундстрема из Москвы, Вайнштейна из Ленинграда, любой из джазов Кролла вряд ли уступали в мастерстве столь обласканным артистам Поля Мориа.

Это было так давно, что еще не существовало знаменитого вокального квартета «Гайя», распавшегося уже много лет назад, а Теймур Мирзоев, Рауф Бабаев, Левка Елисаветский, Ариф Гаджиев просто пели вместе, и в ту пору Лева, наверное, не помышлял, что когда-то покинет воспеваемый им в песнях любимый Баку. А кто теперь

помнит лирический тенор Октая Агаева, ведущего певца и любимца оркестра?

Но Рушану не забыть, как тогда Михаил Винницкий, подойдя к краю рампы и чуть склонившись в зал, глядя прямо на Светланку, повторил рефрен грустной песни: «Придешь ли ты?», а она инстинктивно прижалась к Рушану, наверное, девушку волновало, что именно ее, единственную в партере, выделил певец...

Так катилась последняя студенческая зима Дасаева, и он наконец-то был счастлив. В марте начиналась двухнедельная преддипломная практика, и он еще с лета знал, что проведет ее дома, в Мартуке. Впрочем, в город он должен был вернуться через неделю — в составе сборной Казахской железной дороги по боксу отправлялся в Москву на первенство «Локомотива».

Уезжая, он договорился, что Светланка каждый день будет выносить к вечернему поезду письмо — тогда в каждом пассажирском составе имелся почтовый вагон, и самые нетерпеливые пользовались им.

Помнится ему влажный март, капель, оседающие на глазах сугробы, и он, стерегущий на улице почтальоншу. Еще издали завидев ее, он бежал навстречу, чтобы хоть на минуту раньше получить долгожданное письмо. Но, увы...

Как рассказать минувшую весну,
Забытую, далекую, иную,
Твое лицо, прильнувшее к окну,
И жизнь свою, и молодость былую?

Как та весна, которой не вернуть...
Коричневые, голые деревья,
И полых вод особенная муть,
И радость птиц, меняющих кочевья.

Весенний холод. Сырость. Облака.
И ком земли, из-под копыт летящий.
И этот темный глаз коренника,
Испуганный, и влажный, и косящий.

О, помню, помню!.. Рывкнул паровоз,
Запахло мятой, копотью и дымом.
Тем запахом, волнующим до слез,
Единственным, родным, неповторимым.



А он, как условились, исправно бегал к ночному поезду. Бросив письмо в щель сонного почтового вагона, смотрел, как паровоз сыпал искры в морозную ночь, в темноту стылого неба.

Ночь, пустынный перрон, безлюдные улицы, светящиеся окна медленно отходящего скорого... О чем он только не думал в эти поздние часы!

Накануне возвращения в город на сборы он уже по привычке дожидался почтальоншу, и она, завидев его издали, махнула белым конвертиком. Как он помчался навстречу! Долгожданный конверт вблизи оказался бланком телеграммы — «Локомотив» срочно требовал его под свои знамена, отъезд намечался на три дня раньше.

Наверное, хорошо, что до отбытия в Москву в городе у него оказалось несколько часов — из разговора со Светланкой по телефону он узнал, что она все-таки собралась замуж за Мещерякова. Внезапно начавшийся «роман» так же неожиданно оборвался...

Сегодня Дасаеву хотелось бы запоздало принести многим людям извинения за нечаянно нанесенные обиды, попросить прощения и у тех ребят, с которыми встречался на ринге на том первенстве «Локомотива», где стал чемпионом. За две недели во Дворце спорта железнодорожников он заработал злую кличку Лютый, к счастью, тихо умершую в Москве. Не мог же он тогда объяснить каждому, что у него душа болит... Жаль, если у кого-то осталось впечатление, что он был патологически жесток.

Вернулись домой они уже в апреле, когда в их краях царил весна, и ожил «Бродвей», на котором Жорик Стаин каждодневно прогуливался с отцом Никанором.

В городе были наслышаны об успехе земляков на первенстве «Локомотива», и то, как оборвался «роман» Рушана с Резниковой, осталось незамеченным, отодвинулось на второй план. Никто не выражал ему сочувствия, скорее всего, его знакомые воспринимали этот «роман» как каприз Резниковой или женскую уловку, чтобы вернуть ветреного Мещерякова. А может, потому, что отношения Светланки с будущим врачом давно воспринимались всерьез, равно как и дружба Рушана с Давыдычевой. В общем, всем казалось, что ничего не произошло, хотя его сердце, почувствовавшее дыхание любви, щемило от боли; с юношеским максимализмом он ощущал себя еще и преемником по отношению к Тамаре. В общем, Рушан запутался вконец, и однажды по пути в общежитие, задумавшись, вновь оказался у окон дома на улице 1905 года...

Нигде в мире, наверное, не было такого отсчета времени: «пятилетку — за три года», «год — за два». Хотя в первом случае термин из идеологического ряда, во втором — из уголовного, для советского человека суть ясна. Нечто подобное происходило в ту весну с Рушаном и его друзьями: они жили такой насыщенной жизнью с ежедневными открытиями, что можно было иной день зачесть за месяц, а то и за год. Они открывали мир, себя, и все в ту пору случалось впервые.

Тамару, учившуюся классом младше, чем Светланка, неожиданно стали видеть в компании с одноклассником Резниковой Наилем Сафиним. Наиль — тихий, болезненный домашний мальчик, вдруг стал провожать Тамару из школы, о чем тут же доложили Рушану. Но теперь, после «романа» с Резниковой, он считал себя не вправе вмешиваться, как делал это до сих пор, да и Наиля всерьез принимать было смешно, тут, наверное, как и в его случае с Резниковой, была какая-то уловка.

События разворачивались с калейдоскопической быстротой, одно Рушан успел заметить — Светланка очень умело избегала компаний, где он мог появиться, да и Дасаев почему-то боялся встречи. Настроение было паршивое, не до гулянок, и он усиленно занимался дипломом и готовился к первенству города по боксу, финал которого, по традиции, много лет подряд приурочивался ко дню открытия парка.

Не было соревнования, которое так жаждали выиграть местные боксеры, как это. Можно было стать чемпионом любого знаменитого спортивного общества, будь то «Спартак» или «Динамо», призером республики или даже страны, но город признавал только своих чемпионов. Победители становились кумирами на все долгое лето, а администрация парка вручала каждому выигравшему жетон, дававший право бесплатного входа на танцы на весь сезон. Для них оркестр мог повторить полюбившуюся мелодию, а строгие вахтеры дружелюбно улыбались, когда обладатель жетона, пропуская подружку вперед, смущаясь, говорил: «Эта девушка — со мной»...

XIX

В ту весну случилось много всяких событий — радостных и грустных, нужных и ненужных. Однажды среди бела дня Рушану пришлось ввязаться в драку, и произошло это в центре города, в тот момент, когда прямо на них вышли Тамара с Наилем. Говорят,



оцепенев от страха, она вымолвила Сафину: «И этот бандит еще пытался за мной ухаживать...»

Рушан потом долго старался не попадаться ей на глаза, хотя не чувствовал своей вины — он не мог поступить иначе. И все же...

В ту весну Пасха выпала на конец апреля. А за год до этого в приход назначили нового батюшку, оказавшегося, не в пример своему предшественнику, не только молодым и красивым, но и деятельным — приход в городе ожил, и впервые религиозный праздник отмечался столь широко. В праздничное воскресенье Рушан зашел в библиотеку в «Железке», а потом собирался подняться вверх по Орджоникидзе на «Бродвей». Тут-то и подвернулись ему на улице братья Дроголовы, или, как их называли, «дроуголята» — отчаянная шпана с «Москвы», где он жил в общежитии. Разумеется, они друг друга хорошо знали.

«Дроголята» уже с утра «христосовались» с друзьями и знакомыми и пребывали в добром настроении. Узнав, куда направляется Рушан, они тоже решили прошвырнуться по «Бродвею» — праздник все-таки!

Двое старших «дроуголят», не раз сидевшие, их Рушан встречал в доме Гумеровых и часто видел в летнем ресторане за одним столом с Шамилом и Исмаилом, были широко известны в городе. И младшие «дроуголята», выросшие под ореолом «знаменитых» братьев, знали свое положение и пуще всего берегли «репутацию», говоря на жаргоне — не бакланили по пустякам.

Обсуждая вчерашний футбольный матч, где Стаин забил «Локомотиву» три безответных мяча, отчего Татарку лихорадило всю ночь, они поднимались вверх по Орджоникидзе, мимо тех деревьев, у которых в новогоднюю ночь Рушан целовался со Светланкой. Дасаев издали заметил, что навстречу им спускаются вниз к вокзалу четверо рослых парней постарше их. По шумному разговору, жестикуляции, громкому смеху было ясно, что они уже «разговелись», отметили Пасху.

Узкий тротуар не позволял разминуться, если не уступить друг другу дорогу, но, кроме Рушана, ни с той, ни с другой стороны никто и не подумал сделать такую попытку, больше того, кто-то случайно или намеренно зацепил плечом одного из Дроголовых. Увидев сверкнувшие злым блеском глаза «дроуголенка», толкнувший презрительно процедил сквозь зубы:

— Что, козел, уставился? Не можешь старшему дороге уступить?

Скажи он что угодно, но не это обидное в блатном мире слово «козел», возможно, обошлось бы без стычки. Но подобное никто

не мог оставить безнаказанно. Видимо, пытаясь замять назревавший скандал, Дроголов на всякий случай попросил:

— Повтори, я не расслышал...

Толкнувший, чувствуя явную поддержку подвыпивших дружков, повторил, нажимая на слово «козел», и не только второму брату Дроголову, но и Рушану стало ясно, что оскорбительный ответ был как сигнал боевой трубы: такого унижения, да еще прилюдного, «дро-голята» снести не могли.

И вот в ту минуту, когда они, не сговариваясь, кинулись на обидчиков, появилась на углу Тамара с Наилем...

Драка с тротуара переместилась на дорогу, и здоровенные парни, имевшие численный перевес, уверенные, что вмиг проучат зарвавшихся мальчишек, были позорно и жестоко биты. Все произошло стремительно, в несколько минут. У одного из «дро-голят» оказался неприметный легкий плексигласовый кастет, после удара которым никто не мог устоять на ногах.

Собравшиеся на тротуаре и перекрестке зеваки вряд ли заметили тонкую полоску кастета, но Рушан сразу понял, откуда такой страшной силы удар.

Кто-то, явно им симпатизировавший, вовремя крикнул: «Атас! Милиция!» — и они исчезли в соседнем дворе.

Во время драки Рушан видел испуганное лицо Тамары, а на него наседали парень крепкого сложения, и ему никак не удавалось отправить его в нокдаун, хотя он раз за разом сбивал его с ног. Дасаев избегал ближнего боя, где был силен, — не хотел накануне праздника заработать синяк.

В тот день он высоко поднялся в глазах шпаны с «Москвы», настороженно относившейся к Рушану, ведь он всегда держался ближе к ребятам с Татарки, и не только из-за родства с Исмаил-беком и дружбы со Стайным. Романтика блатной жизни его не привлекала, а расположение Исмаила или дружба с Дроголовыми для него не стоили и одной улыбки Давыдычевой. Он понимал, что окончательно упал в ее глазах: о том, что она говорила о нем как о «бандите», доложили ему в тот же вечер...

Иногда приходила в голову шальная мысль, которой он, к счастью, ни с кем не поделился: пойти «разобраться» с Мещеряковым, который «увел» Светланку, пригрозить Сафину, чтобы навек забыл дорогу на улицу 1905 года... Но душа, открытая любви, взрослела, умнела, прозревала и не хотела ни с кем конфликтов.



Вот и с Мещеряковым... Рушан понимал, что посягнул на чужое. «Дети сталинской поры» еще помнили библейские заветы: не убий, не укради, вложенные в душу бабушками и дедушками,— не включенный еще в Программу КПСС моральный кодекс жил в крови...

То же самое и с Наилем. Не будь «романа» с Резниковой, он, возможно, и мог его поколотить и пригрозить, хотя молодым умом уже начинал понимать, что насильно мил не будешь.

Вообще, Рушан чувствовал какой-то внутренний надлом, весеннюю опустошенность и даже иногда радовался, что через два с небольшим месяца покинет город, где не сбылись его сердечные мечты, надеялся на новом месте начать все сначала. «С глаз долой — из сердца вон»,— приказал он себе и с головой окунулся в проекты, хотя учился он легко и сроки дипломной работы, на его взгляд, были непомерно растянуты.

Та весна вообще изобиловала странностями. Если ему решительно не везло в любви и он никак не мог разобраться в делах сердечных, то неожиданно многое открылось в боксе, где он и без того был без пяти минут мастером спорта.

Отправной точкой послужила драка на улице в Пасху. Отвлекая на себя одного из противников, он успевал помогать младшему «дрогоценку» — тому приходилось туго. Сбивая с ног своего соперника, Рушан умудрялся наносить и чужому короткий и резкий удар, отчего тот тоже валился на колени, однако упрямо поднимался и снова лез вперед. Ребята попались крепкие, но в состоянии опьянения они не были страшны. Хотя все происходило молниеносно, Рушан с холодной расчетливостью сдерживал свой удар — боялся выбить костяшки пальцев. Раньше такое опасение ему бы и в голову не пришло, азарт подавлял разум. Но и это не все: он легко держал в поле зрения обоих противников, и уж совсем немыслимое — почти все время видел испуганное лицо Тамары, стоявшей на перекрестке. Обладая и силой, и техникой, и характером, он вдруг почувствовал, что ему открылось главное в боксе: пришли уверенность, хладнокровие и расчет, а зрение сделалось объемным, как в голографии,— он видел все как бы насквозь и упреждал хитроумно задуманную атаку. Это он понял на первых же тренировках по первенству города...

Неожиданная уверенность, пришедшая к нему в квадрате ринга, дала душе необходимое равновесие, он обрел так необходимое перед боями спокойствие. А ведь еще в то пасхальное утро во дворе «Железки» напротив дома Резниковых он боялся повернуть голову в сторону глухого зеленого забора в переулке — так ныло от тоски сердце.

Его перевоплощение на ринге, новая раскованная манера боя, в которой сквозил не бесшабашный азарт, а расчет, были замечены сразу, но связали это с пришедшим на первенстве «Локомотива» опытом: в столице, мол, пообщался с мастерами, пришла пора зрелости. Рушан в объяснения не пускался, хотя только ему было ведомо, с чем это связано на самом деле. Правда, в те дни с досадой признался себе: жаль, что за четыре года я преуспел только на ринге.

Да, только на ринге он чувствовал себя хозяином судьбы, мог диктовать волю, навязывать свою манеру. Это не слишком радовало Рушана — он не хотел связывать жизнь со спортом, хотя уже появились заманчивые предложения...

А в те дни весь город с нетерпением ждал соревнований на призы парка, особенно в легком весе: там собралось наибольшее число претендентов — лихих парней в ту пору хватало, а сборная страны тогда на четверть состояла из жителей Казахстана, где бокс на долгие годы оказался спортом номер один.

Самому Рушану казалось, что он исчерпал себя в этом городе, и жизнь в нем уже шла мимо него. Он не спеша снялся с военного учета, сдал книги и числившийся за ним спортивный инвентарь. Оставалось лишь два дела, которые не могли пройти без его участия: защита диплома и первенство города по боксу, о котором только и говорили на «Бродвее».

Но судьбе было угодно, чтобы в оставшиеся два месяца произошли события, наполнившие жизнь Рушана новым светом, и все дни с новогоднего бала с годами сольются в один и станут для него духовной опорой на всем жизненном пути. Теперь, через десятки лет, когда на всем стоит несмываемое тавро «проверено временем», он понимает: то забытое, представлявшееся случайным, временным, преходящим, оказывается, было дарованным свыше озарением любви, тем, ради чего рождаются на свет — любить и быть любимым.

Благословенное время, жаль, не понял тогда, что волшебная жар-птица была рядом, только поверни голову, протяни руку... А может, в недоступности жар-птицы и есть счастье любви?

Бои на призы парка, начавшиеся за неделю до его открытия, дали Рушану нелегко. Особенно первый, из-за которого собралось невероятное количество зрителей, потому что волею слепого жребия в нем сошлись главные претенденты на чемпионский титул в легком весе, Дасаев и Кружилин. В судейских протоколах тех лет эта пара часто значилась как финальная.



В конце первого раунда, когда до гонга оставалось несколько секунд, Рушан увидел, как среди болельщиков, занимавших ближайшие к рингу места, появились Тамара с Наилем. Он даже как бы мысленно раскланялся с ней, и в этот момент сильнейший боковой удар справа чуть не отправил его в нокаут, но спас гонг. Рушан мог бы поклясться, что видел в ту секунду, как его верные поклонники разом обернулись в сторону Тамары: они поняли, что произошло. Но в оставшихся двух раундах он таких оплошностей больше себе не позволял.

Болельщикам понравилась его новая манера ведения боя, оказавшаяся неожиданной для Кружилина. Куда подевался постоянно и нерасчетливо рвущийся в атаку, напористый, жесткий Дасаев? Вместо него по рингу легко, по-кошачьи вкрадчиво, передвигался боксер, скорее напоминавший фехтовальщика. Его удары оказывались молниеносными и точными и возникали из ничего, уследить за ними, казалось, невозможно, а каждая атака противника словно читалась, разгадывалась, упреждалась нырками, уклонами и мощными встречными. «Словно кошка с мышкой играла», — так прокомментировал Стаин первую победу Рушана.

Дасаев стал в ту весну не только чемпионом, обладателем заветного жетона, но и получил приз самого техничного боксера турнира. Говорят, что с него начался у них в городе «красивый» бокс. Но то было его последнее выступление в Актюбинске.

После торжественной части с вручением грамот, жетонов и призов произошла незаметная сцена, вряд ли кому бросившаяся в глаза, но от нее, наверное, и следует вести отсчет еще одной влюбленности Дасаева.

Когда он спустился с высокой летней эстрады, где были натянуты канаты ринга, его обступили болельщики, знакомые и незнакомые, но ближе всех к нему оказались ребята и девушки из железнодорожной школы, для которых он был своим вдвойне, потому что представлял родной для них «Локомотив».

Да, местный патриотизм не был тогда пустым звуком. Нечто подобное в последние десятилетия наблюдается в Америке, но там патриотизм проявляется прежде всего по отношению к стране — нет дома, где в праздники не вывешивали бы государственный флаг США. Однако чувство патриотизма, наверное, начинается с такой вот любви к своим парням, выигравшим обыкновенное первенство города...

Когда Рушана обступили плотным кольцом, стоявшая ближе всех к нему Ниночка Новова, проведя вдруг нежными пальцами

по кровоподтеку под глазом, который он заработал в финале, с трогательным участием спросила:

— Не больно?

Рушан улыбнулся в ответ и вдруг, не раздумывая, протянул ей свой приз — большую хрустальную вазу. В ту пору — видимо, по причине изобилия — победителей щедро одаривали изделиями из хрусталя, и только из знаменитого Гусь-Хрустального.

— А это мой личный приз самой очаровательной болельщице...

Кто-то предложил сфотографироваться вместе на память, и Ниночка, передав вазу Стаину, достала изящную пудреницу и припудрила налившийся синяк. Что скрывать, Рушану было очень приятно ее внимание... Сфотографироваться рядом с чемпионом пожелало так много друзей и знакомых, что фотограф стал рассаживать и расставлять их, а в центре оказались Рушан с Ниной. Пока шла суета — кого куда усадить или поставить, — Светланка, находившаяся рядом с Мещеряковым, улучив момент, бросила ему веточку сирени, — опять же, кроме них, вряд ли кто увидел этот жест.

В парке уже всюду гремел джаз-оркестр. Первый танцевальный вечер сезона начался, и большинство болельщиков перешли из летнего театра эстрады на танцевальную площадку. Ниночка, обнимая огромную вазу, сказала вдруг Рушану:

— Твой подарок напоминает мне троянского коня. Надеюсь, он сделан без умысла? Я ведь пробилась к тебе — жаль, ты не видел, как я толкалась, — чтобы хоть раз в жизни попасть на танцы по жетону для чемпионов, тем более в день открытия парка. Сегодня или никогда, — такая я, Дасаев, тщеславная...

В ту пору они изощрялись в какой-то иносказательно-шутливой манере, изъяснялись с заметным налетом высокопарности, в которой всегда присутствовал подтекст. Особый стиль разговора, — позже он никогда и нигде не встречал подобного...

— Почему ты решила, что ваза — помеха твоему желанию? Мы ее пристроим музыкантам, на всеобщее обозрение. А на танцы, моя неожиданная болельщица, я приглашаю тебя с удовольствием...

Нина улыбнулась и, опять же шутливо, добавила:

— Только при входе на танцы — а там сегодня такая огромная очередь, которая наверняка расступится перед тобой — скажи, пожалуйста, контролеру погромче: «Эта девушка — со мной».

Все вокруг понимающе засмеялись. Неделю назад в городе прошел фильм Феллини «Ночи Кабирии», ставший навсегда знаменитым.



Там есть сцена, когда Джульетту Мазини у ресторана подбирает в свою роскошную машину с откинутым верхом некий известный актер, и она, захлебываясь от восторга, кричит товаркам: «Смотрите, смотрите, с кем я еду!» Запоминающийся момент, и Ниночка, переиначив удачную мизансцену, еще чуть-чуть приподняла успех всеобщего любимца.

После танцев, продолжая обсуждать финальные бои, они возвращались большой компанией в поселок железнодорожников, где на улице Красной жила и Ниночка Новова.

Круг знакомых Ниночки и Рушана составляли в общем-то одни и те же люди, «выдающиеся», по высокопарному определению Стаина,— кстати, это выражение имело широкое хождение в быту их провинциального города,— и они, конечно, знали друг о друге все. Да и открытость была едва ли не самой характерной чертой того давнего времени.

Конечно, Ниночка знала, что Рушан безнадежно влюблен в Давыдычеву, слышала и о «романе» с Резниковой, с которой дружила с первого класса и состояла в давно сложившейся девичьей компании. И Рушану было известно о Ниночке немало: она, как и Стаин, грезилась Ленинградом, хотела непременно стать врачом. Слышал, что она безответно влюблена в Рената Кутуева, высокомерного мальчика из второй школы, признававшего только одну страсть — джаз, а точнее — саксофон. Поговаривали, что его даже приглашали играть в какой-то знаменитый оркестр.

Кокетливо-изящная насмешливая Новова, на которой задерживалось немало влюбленных юношеских взглядов, ни с кем до сих пор не встречалась, а на дворе меж тем стояла последняя школьная весна. Через месяц с небольшим Ниночка намеревалась отбыть на берега Невы, и, как ей казалось, навсегда.

Наверное, тот вечер в день открытия парка так и остался бы эпизодом, связанным с хрустальной вазой и трогательным вниманием Нововой, если бы на следующий день в общежитии не раздался телефонный звонок Стаина. Жорик передал приглашение Галочки Старченко из тринадцатой школы на день рождения и очень уговаривал не отказываться, уверял, что там соберется интересная компания.

Никаких планов на вечер, хотя и праздничный, первомайский, у Рушана не было, и он согласился. Он знал, что у Стаина был отменный нюх на подобные мероприятия. Что и говорить, Жорик умел развлекаться: вокруг него и крутилась молодежная «светская» жизнь их городка.

XX

Милые, трогательные дни рождения, сколько радости они доставляли и именинникам, и гостям! Сегодня, когда Рушан невольно сравнивает прошлое и настоящее, он понимает, как много в ту пору было счастливых семей, ведь туда, где нелады и раздоры, гостей не приглашают. Не составляла исключения и семья Старченко, где, окруженная любовью и вниманием, росла еще одна прелестная девушка,— конечно же, из той самой категории «выдающихся».

Это понятие включало широчайший спектр качеств: от хорошей учебы, высоких спортивных результатов до неординарной манеры одеваться, острить, танцевать,— короче, иметь свое лицо. «Выдающиеся» были словно катализатор своего поколения, благодаря им сближалась молодежь, наводились мосты между школами. Не зря ведь во второй школе учился высокомерный, но одаренный Ренат Кутуев, в сорок четвертой — красавица и умница Давыдычева и самый известный поэт их города Валька Бучкин, а в сорок пятой — законодательнице юношеской моды и всех благих начинаний — лидировал Жорик Стаин, ее оканчивали Светланка Резникова и Ниночка Новова, а благодаря Старченко в ту весну прославилась и тринадцатая. Самому Рушану сейчас кажется, что он одновременно окончил обе железнодорожные школы — и сорок четвертую, и сорок пятую,— его симпатии, интересы тесно переплелись между ними.

Актюбинск той поры на три четверти состоял из собственных разностильных домов. Как шутил Стаин: «У нас город на английский манер, весь — из частных владений». В собственном доме за хлебозаводом жили и Старченко.

На удивление, встречал их сам отец Галочки, оказавшийся рьяным болельщиком,— он не пропускал ни одного матча «Спартака», за который играл Стаин, переживал вчера в парке за Дасаева, и очень обрадовался, когда узнал, что ребята сегодня будут у дочери на дне рождения.

Когда Рушан с Жориком появились в просторной комнате, уставленной столами в форме буквы «П», гости уже рассаживались. Хотя их отовсюду зазывали, обращались по имени, многие ребята не были знакомы ни Стаину, ни Дасаеву,— видимо, Галочка, пользуясь случаем, решила широко представить своих друзей и подруг из тринадцатой. И вдруг откуда-то сбоку раздался знакомый голос, и Рушан услышал свое имя. Оглянувшись, он увидел Ниночку Новову, показывавшую ему на пустующее место рядом с ней.



— Я этот стул приберегаю для тебя с той минуты, когда узнала, что ты зван к Галочке,— сказала, улыбаясь, Ниночка.— Ты вчера об этом и словом не обмолвился, считай, сюрприз не только для Старченко...

Говоря шутливо, она так нежно оглядывала Рушана, что ему невольно вспомнился новогодний бал, когда Резникова сказала у колонны: «Ты мой пленник, мы сегодня двое отверженных...»

Много позже в Москве, в Театре эстрады, он был на премьере программы Аркадия Райкина «Светофор-2», и там его поразила одна мизансцена, нетипичная для великого актера. На сцене в полумраке стоят, чередуясь, мужчина — женщина, мужчина — женщина, десять человек, но назвать их парами нельзя: хотя все они влюблены друг в друга, но влюблены невпопад — об этом говорят их письма, телефонные звонки, полные любви, нежности, страсти, мольбы, жертвенности. Казалось бы, переставь их местами, поменяй им телефоны, и все они будут счастливы, каждый из них открыт для любви, достоин ее, страдает, но в том-то и трагедия, что нет возможности изменить ситуацию, обстоятельства — и несчастливы все десять.

Тогда, в полутемном зале театра на Берсеневской набережной, ему припомнился давний день рождения Галочки Старченко, и тут же выстроился знакомый ряд: Наиль Сафин, влюбленный в Ниночку Новову, встречается с Тамарой Давыдычевой, а на Рушана, не добившегося благосклонности девочки с улицы 1905 года, затаенно глядит Ниночка. Казалось бы, поменяй их судьба местами — и все будет прекрасно, ведь Наиль не нужен Тамаре, как и он Нововой. Но в том-то и беда, что ничего и никого нельзя поменять местами — и в этом еще одна тайна любви или жизни, не поддающаяся разгадке...

Это теперь ему как будто все ясно, когда прошли годы и прожита жизнь, а тогда...

Какие замечательные тосты произносил вдохновенный Стаин! Казалось, никого не обошел вниманием: ни именинницу, ни прекрасную половину человечества, ни вчерашнюю победу Дасаева, ни Ниночку, проявившую «неподдельный» интерес к боксу, а особенно к чемпиону,— все тепло и мило, иронично и... высокопарно. Возможно, со стороны это выглядело манерно, но таков был стиль — им тогда хотелось какой-то иной жизни, подсмотренной в зарубежных кинофильмах, вычитанной в книгах.

Был теплый майский вечер, и проникавший через распахнутые настежь окна запах персидской сирени, цветущих яблонь, казалось,

пьянил и без вина. Но и вино, шампанское они пили, что скрывать. Наверное, в тот день за столом собрались только влюбленные, и аромат любви, ее жар, витали над столом, в зале, в спальне Галочки, куда уже украдкой кто-то скрывался на минутку-другую — сорвать давно обещанный поцелуй. Как горели глаза у юношей, как пылали щеки у девушек!

Наука доказала, что есть состояния, которые передаются всем. Тем состоянием в тот давний майский вечер могла быть только любовь, она околдовывала, обнадеживала даже тех, кого еще не коснулась своим крылом. Звучала разная музыка, от рок-н-ролла Элвиса Пресли до буги-вуги Джонни Холлидея, которая почему-то незаметно сменилась лирической мелодией, а после зазвучало танго. И вновь, как на Новый год, чаще других слышался грустный голос Батыра Закирова, его знаменитое «Арабское танго».

Как хорошо, что в зале давно выключили свет и Ниночка в эти минуты не видела глаз Рушана, хотя ощущала его волнение, ведь все было так недавно, а Батыр Закиров раз за разом напоминал ему об этом...

У Рушана так испортилось настроение, что в перерыве между танцами он предложил Стаину исчезнуть «по-английски». Но Жорик не отходил от некоей Зиночки, ставшей очередным его открытием того вечера. Для нее, как для Наташи Ростовской, это был первый выход в «свет», и вдруг такой успех — многие ребята с интересом поглядывали на нее...

Однако, все же уловив подавленное настроение друга, Стаин сказал: «Уйдем, но через час, когда кончится поэтическая часть», — он слышал, что Бучкин собирается потрясти слушателей новыми стихами. Уже давно сложилась традиция, что на вечеринках читали стихи, и в компании были свои признанные поэты, а среди них блистал Валентин. Не возбранялось читать и чужое, но предпочтение отдавалось авторской лирике, и этого момента всегда с нетерпением ждали девушки, ведь порой в стихах звучали такие пылкие скрытые объяснения...

Удивительно благодатное было время для поэзии. Даже Стаин вряд ли мог тягаться по популярности с Бучкиным — слово, рифма имели волшебную силу. Валентин пришел в тот вечер к Старченко с Верочкой Фроловой, с которой дружил как-то шумно и нервно, хотя вряд ли кто пытался вклиниться между ними. Бучкин называл Верочку своей Беатриче и не замечал восторженных девичьих



взглядов, обращенных на него повсюду, где бывал,— ведь он писал такие стихи о любви...

В тот вечер Валентин выглядел грустным, но порадовать «новеньким» не отказался, когда хозяйка дома, вдруг выключив радиолу, объявила: «Час поэзии настал!» По традиции он начал читать стихи первым, и сквозь полумрак зала его задумчивый взгляд все время тянулся к Верочке, притулившейся у голландской печи и почему-то зябко кутавшейся в яркий цыганский платок.

Удивительные стихи лились как музыка, но на лице Верочки, освещенном заглядывавшей в распахнутое окошко луной, не читалось ни любви, ни радости, ни восхищения. Странной, нереальной казалась эта картина Дасаеву, ему хотелось крикнуть: вы же рядом, отчего печаль, почему такие грустные, до слез, строки?! Это для Рушана навсегда осталось тайной — с Валентином они никогда больше не делились, не попадались ему в печати и стихи Бучкина, хотя он долгие годы по привычке искал в периодике его имя. В тот вечер Валентин был ему близок, как брат по несчастью — может, за стихи, может, за грустный взгляд, тянувшийся к девушке у остывшей печи.

«Мы все в эти годы любили, но мало любили нас...»

Ниночка, занявшая единственное в зале кресло, сидела в проеме входной двери, и свет из коридора хорошо высвечивал ее лицо. Время от времени она нервным движением поправляла волосы, словно отбрасывала их тяжесть от высокой шеи с тонкой ниткой жемчуга на ней. Как только Валентин начал читать, она вся подалась вперед, и, казалось, ничто не могло отвлечь ее внимания,— вся ее фигура, осанка излучали нежность, изящество, незащитность. «Лебедь,— невольно пришло на ум сравнение.— Царевна Лебедь...»

Рушану доставляло удовольствие наблюдать за ней, но с каждым стихотворением все ниже и ниже опускались ее плечи, восторженный взгляд гас на глазах. В эти минуты Рушан почти физически, кожей, ощущал магическую силу слова, искусства. Ведь все, чем делился печальный поэт, было и ей знакомо, понятно, и называлось это — безответная любовь.

Когда Валентин заканчивал, она сидела, вжавшись в кресло, и Рушан видел ее побелевшие от напряжения пальцы рук, впившиеся в узкие подлокотники кресла. Хотелось подойти, прошептать ей что-нибудь ласковое, обнадежить, поцеловать в нежную шею. Если бы он мог сказать что-нибудь волнующее, как это умел Стаин, например: «Какая вы сегодня очаровательная, мадемуазель Новова», или:

«Поделитесь секретами красоты и обаяния, восхитительная Нина, вы всегда несравненны»... Но Рушан сказать так не мог, да и не умел, у него самого от печали увлажнились глаза, где уж тут приободрить другого, хотя в эти минуты он ощущал к Нововой невероятный прилив нежности, готов был на все, лишь бы с ее прекрасного лица исчезла пелена грусти.

Жорик, пристроившийся у стены за спиной Зиночки, время от времени наклоняясь к ней, что-то говорил ей на ушко, но она, сидевшая от Нины на расстоянии протянутой руки, вряд ли слышала жаркий шепот Стаина. Во все глаза смотрела она на самого известного во всех школах поэта, и, судя по всему, он ей нравился. Сердцеед Стаин пытался разрушить эти чары, но вряд ли даже Жорка мог тягаться здесь с поэтом.

Как только Валентин закончил и в зале возникло некоторое замешательство, раздались хлопки, возгласы одобрения, Стаин выскользнул в коридор и стал подавать Рушану знаки — не забыл, дескать, что они собирались потихоньку покинуть дом Старченко. Но тут произошло нечто такое, что Рушан не может осмыслить всю жизнь, даже сегодня, когда «отцвели его хризантемы», — это, наверное, тоже одно из таинств любви.

Когда совсем недавно, в марте, он ежедневно поджидал почтальоншу и бегал к ночному поезду отправить письмо Светланке, ему случайно попал в руки томик Лермонтова. Он, как и многие его сверстники в те годы, полюбил поэзию, полюбил на всю жизнь, и сегодня может сказать с уверенностью: «Любите поэзию, поистине, в ней убежище от многих невзгод. В поэзии, как в Коране, есть ответы на все вопросы жизни, только ищите своего поэта, свои стихи, они есть...» И не было случайным или удивительным, что, узнав о решении Светланки выйти замуж за Мещерякова, он невольно извлек из глубин памяти стихи:

Такая долгая зима,
Такая долгая разлука.
До крыш занесены дома,
Пойди найди в снегах друг друга.

Но легче зиму повернуть
Назад по временному кругу,
Чем нам друг другу протянуть
Просящую прощенья руку.



Нарушь обычай, приberi квартиру
И даже память вымети в сугроб...

В конце томика на первой же наугад открытой странице оказался известный монолог Арбенина из «Маскарада»:

Послушай, Нина, я смешон, конечно,
Тем, что люблю тебя безмерно, бесконечно,
Как только может человек любить...

Эти строки как нельзя лучше отражали тогдашнее настроение Рушана, вот только имя «Светлана» не укладывалось в рифму, а так — словно по душевному заказу, точнее, будто его собственные строки. И эти стихи сами, без труда, отпечатались в памяти, он собирался прочитать их как-нибудь при встрече Резниковой, но все так неожиданно оборвалось, что, казалось, сердечные строки никогда больше не пригодятся. И вот...

Когда девушки, препираясь, начали выталкивать друг дружку читать стихи вслед за Валентином, Рушан подал знак Стаину и двинулся к двери, и вдруг у самого порога обернулся. Нина словно почувствовала, что он уходит, и подняла на него свои затуманенные глаза, которые словно вопрошали: «И ты меня оставляешь одну?» Рушану даже показалось, что она невольно протянула руку, словно хотела его удержать. И вдруг он театрально отступил назад и, обращаясь только к Нине, хорошо видной всем в освещенном проеме двери, стал читать знаменитые лермонтовские строки: «Послушай, Нина...»

Он был в странном состоянии — словно после тяжелого удара на ринге, когда автоматизм защитных движений спасает от нокаута, но строка за строкой придавали ему уверенности, возвращали в реальность.

И снова, как на ринге, он видел неожиданно открывшимся объемным зрением все вокруг. Прежде всего Стаина, оцепеневшего, со смешно отвисшей челюстью, не понимающего, что происходит, — уж такого от молчаливика Дасаева он никак не ожидал (потом Жорик часто будет воспроизводить эту сцену в лицах и интонациях).

Но мелькнувший на секунду Стаин не волновал Рушана, он видел чудо преображения Нововой. Завороженная Ниночка оторвалась от спинки кресла и, словно лебедь, готовая взлететь, взмахнув прекрасными крыльями, потянулась к нему взглядом, теплеющим лицом. В эти минуты для нее не существовало никого в целом мире, только

они двое, хотя Ниночка наверняка чувствовала, что на них, затаив дыхание, смотрят все гости, понимая, что это кульминация, тот сюрприз, которого так ждут на любом поэтическом часе. Снова, как в начале вечера, она легким изящным жестом отбросила тяжелые темные волосы от матовой шеи,— и этот свободный, полный достоинства жест говорил: «Вот я какая! Мне читают такие стихи!»

Сегодня, спустя годы, Рушан не стал бы возражать, что это прозвучало как объяснение в любви к прекрасной Нововой, но тогда...

В лермонтовский монолог он вложил всю боль исстрадавшегося сердца, не познавшего ответной любви. Это было как бы его последнее «прощай» компании, с которой вот-вот предстояло расстаться навсегда. Возможно, он всего лишь хотел подчеркнуть, что они с Ниночкой одинаково несчастны, одиноки в этот чудный майский праздник в гостеприимном доме Старченко.

Но чувства сложно подвергать анализу, тем более такие спонтанные поступки. Он и сейчас не может толком объяснить, что с ним было, да и надо ли...

Слова, возникшие внезапно, так же неожиданно иссякли, и Рушан стоял, не смея сделать шаг ни к двери, где дожидался Стаин, ни назад, ни протянуть руку к Нине. Выручили ярко вспыхнувшая люстра под высоким потолком и неожиданные аплодисменты поднявшихся с мест гостей.

Больше читать стихи никто уже не решился. И вдруг, когда Ниночка, по-прежнему не замечая никого вокруг, поднялась ему навстречу, свет в зале снова погас, и снова зазвучало «Арабское танго». Ниночка положила обе руки на плечи Рушана и, приблизив к нему взволнованное лицо, тихо прошептала:

— Я так счастлива, спасибо тебе...

Со дня рождения Галочки Старченко и можно вести отсчет его новой влюбленности.

XXI

Май в их краях, без сомнения, самый дивный месяц. Весна в степные просторы приходит с запозданием, и только в мае природа набирает силу, во всей красе распускаются деревья, в каждом палисаднике цветут сирень, акация. А небольшой сад на Красной, словно окутанный дымом, белел шатрами цветущих яблонь. Позже, когда



появится известная песня «Яблони в цвету» рано ушедшего певца и композитора Евгения Мартынова, Рушан часто будет вспоминать тот давний май.

Это в конце мая Нина однажды сказала: «Мы с тобой — как осужденные». И он понял, что она имела в виду. Да, как заключенные, зная приговор, невольно считают дни, они тоже делали свои зарубки, ибо тоже знали даты своего отъезда. К тому времени Рушан получил назначение в забытую богом провинциальную Кзыл-Орду, а Нину ждала Северная Пальмира, как витиевато выражался Стаин.

Оттого, словно наверстывая упущенное, они старались видеться каждый день. Встречались с какой-то взрослой страстью, упоением, не отказываясь ни от каких компаний. Они чувствовали себя по-свойски и среди «дроколят», и рядом с дружками Исмаил-бека на веранде летнего ресторана в парке, и в эстетской компании Стаина. В ту весну они были словно наэлектризованы, возле них всегда сбивались друзья, приятели, поклонники, болельщики, их захлестывало бесшабашное веселье, слышались шутки, смех. Наверное, большинство ребят понимали, что навсегда прощаются и друг с другом, и с Актюбинском — городом их детства и юности.

Ниночка в веселье оказалась неудержимой, все, кроме Стаина, уступали ей в фантазии, энергии. Какие импровизированные вечеринки возникали спонтанно после танцев где-нибудь в глухом скверике или у кого-нибудь в палисаднике, какие песни звучали под гитару! Никто не мог узнать тихую, задумчивую прежде Новову. Однажды она с вызовом сказала контролеру танцплощадки:

— Этот молодой человек — со мной,— и сделала движение корпусом в стиле Дасаева, в точности повторив его коронный нырок, чему весело зааплодировали все стоявшие у входа.

В общем, они развлекались, пытаясь растянуть сутки, боясь расстаться до утра, а время убегало, сжималось, как шагреновая кожа. И вот осталось три дня до отъезда Ниночки в Ленинград.

Рушан валялся на койке в общежитии в полном бездействии. Защита диплома позади, через неделю у него выпускной вечер, и он тоже покинет город, где сбылись и не сбылись его мечты.

Ему припомнился точно такой же жаркий июньский полдень ровно четыре года назад, когда он на крыше ташкентского скорого добирался в Актюбинск, чтобы сдать документы в техникум. Каким огромным, таинственным, полным соблазнов виделся ему, по сути, деревенскому мальчику, этот город, какой невероятно долгой казалась

предстоявшая учеба — и вот все промелькнуло, как один день, и снова очередной виток жизни, и опять все надо начинать с нуля.

Что ждет его в заносимой песками Кзыл-Орде? Какая дружба, какие развлечения?

Такие невеселые мысли занимали его в тот час, но на лицо набегала улыбка, когда он время от времени невольно вспоминал о предстоящей встрече с Ниной.

Последние летние ночи вдвоем казались им такими короткими! Невероятно быстро начинало светать, и гудок алма-атинского экспресса долгим сигналом на входных стрелках обрывал свидание. Ниночка, тяжело вздыхая, говорила:

— Пора прощаться, милый. Как жалко, что в июне так поздно темнеет и так рано светает, но мы с тобой не властны над природой...

Вдруг его мысли о предстоящем свидании прервал случайно заглянувший в дверь парень из соседней комнаты. Увидев Рушана, он удивленно спросил:

— Ты что тут прохлаждаешься, не провожаешь свою Ниночку? Я сейчас с вокзала, видел ее на перроне с родителями, уезжает...

Одним рывком Рушан вскочил с кровати.

— Как уезжает? — недоуменно переспросил он, не до конца вникнув в суть неожиданного известия.

— Обыкновенно, — усмехнулся сосед. — В восьмом купейном вагоне. Поспеши, еще минут десять до отхода московского, я на велосипеде с вокзала...

Рушан, не дослушав последних слов, кинулся к распахнутому окну и в мгновение ока оказался на улице. Он бежал, распугивая по дороге одиноких прохожих, не замечая зноя, не пытаясь скрыться в тени придорожных карагачей, по его обезумевшему лицу кто-нибудь наверняка решил, что случилась беда.

Добежав до путей, он увидел нечетный состав, катящийся к вокзалу. Рискуя расшибиться, он сумел на бегу запрыгнуть на подножку нефтеналивной цистерны. Как он торопил товарняк! Сигнальные огни хвостового вагона пассажирского поезда он видел хорошо — экспресс еще стоял.

Нечетный, сбавив ход, стал разворачиваться на боковые пути для грузовых составов, и Рушан, спрыгнув на междупутье, побежал снова, до перрона оставалось несколько десятков метров. Как хотелось ему успеть! Увидеть ее лицо, глаза и, если удастся, спросить: «Почему тайком? Почему так жестоко, не по-человечески?!»



Словно чувствовал тогда, что будет мучиться потом этими вопросами всю жизнь...

Рушан уже вбежал на перрон, когда хвостовой вагон качнулся, слегка подался вперед. Но он сделал усилие, оставляя за спиной вагоны под номером двенадцать, одиннадцать, десять. Вокзал в этот час был запружен провожающими, и, лавируя между ними, Рушан терял скорость. Задыхаясь, он бежал рядом с катившимся девятым вагоном и уже видел, как Ниночка, высунувшись из приспущенного окна, махала рукой. Кому? Он рванулся из последних сил, пытаясь попасться хотя бы на глаза ей, но девятый вагон уже обгонял его, затем десятый, одиннадцатый... И он устало остановился, не в силах оторвать взгляд от тоненькой девичьей руки, еще махавшей кому-то.

Родители Нины увидели его сразу и, наверное, обрадовались, что поезд стремительно набирал скорость. Возможно, они боялись, что отчаянный парень вскочит в отходящий состав. Но тогда такая мысль не пришла ему в голову.

Когда последний вагон скрылся за выходными стрелками, Рушан обернулся и увидел, что стоит рядом с родителями Нины. Стыдясь поднять заплаканное лицо, он медленно, по-стариковски сутулясь, поплелся прочь. Что он мог сказать им? Они и так все видели.

В тот вечер Рушан впервые крепко напился со Стаиным и ребятами с Татарки. Возвращаясь домой, в общежитие, он повстречал Бучкина с Фроловой. Валентин уже знал о том, что случилось днем на вокзале, — Верочка, жившая рядом со станцией, ходила на перрон за свежим хлебом, что подвозят к московскому скорому, и все видела. Валентин увел Рушана к себе, и они проговорили до глубокой ночи. Утром, когда они завтракали на кухне, Валентин вдруг сказал:

— Твоя история просится в стихи, послушай-ка...

Я познал поцелуев сласть,
Мое счастье было в зените...

Но Рушан протестующе замахал руками:
— Перестань, без тебя тошно...

Сегодня, спустя много лет, Дасаев жалеет, что остановил поэта. Какие строки шли дальше? Тайна, разгадки которой нет. А эти две строчки запомнились на всю жизнь: я познал поцелуев сласть...

В оставшиеся до выпускного вечера дни, когда вручали дипломы, он почти не выходил в город — слонялся по пустевшим с каждым

часом комнатам общежития. Словно вагоны в день отъезда Ниночки, мелькали, стремительно убывая, дни: пять, четыре, три... Как он तो-ропил их — жизнь здесь казалась теперь невыносимой.

Если разрыв с Резниковой он еще пытался как-то объяснить себе, то бегство Нововой принял как рок, как наказание свыше за... предательство. Ведь иногда поздно ночью, зная, что все равно не уснуть, он потихоньку пробирался на безрадостную для него улицу 1905 года и подолгу стоял у темных окон сонного дома Тамары... Как он выпрашивал у нее мысленно прощение, как жалел, что она не догадывается, что творится у него в душе!.. Он ведь не знал, что в те дни в какой-то компании, где, пытаюсь задеть, уколоть ее, упомянули о влюбчивости ее некогда верного Дасаева, Тамара, вскинув голову, гордо сказала:

— Если в этом городе он кого и любил, то только меня, и не заблуждайтесь на этот счет...

Попасться Тамаре на глаза Рушан не решался, хотя и наблюдал иногда за нею издали, и в одно из ночных бдений у ее темных окон пришла мысль — попрощаться с ней хотя бы письмом. Даже если и не вышло у них ни любви, ни дружбы, ведь не шутка — четыре года в этом городе их имена упоминали рядом.

Неожиданное решение на время наполнило жизнь смыслом. Целыми днями он не вставал из-за стола, но три школьные тетрадки, исписанные его четким почерком, трудно было назвать письмом, скорее это была исповедь исстрадавшейся, запутавшейся души, он пытался сказать, что она значила и значит для него. Выходит, сегодняшняя попытка исповедаться на склоне жизни — далеко не первая...

Отрывался он от послания к Давыдычевой, только когда уходил в деповскую столовую, где в ту пору обедали с пивом на пятерку старыми, да еще и сдача причиталась серебряными монетками.

Однажды, вернувшись с обеда, он застал соседа по комнате, Юрия Калашникова по кличке Моряк, с подозрительно набухшими глазами.

— Кто обидел? — спросил Рушан у своего верного болельщика, которого в общежитии называли его адъютантом.

Моряк зашмыгал носом и, отвернувшись, показал на тетрадку:

— Ты, оказывается, так любишь Томку... У меня от твоего письма просто мороз по коже, так тебя жалко. Никогда не думал, что так можно терзаться... Ты извини, что я прочитал, тут все на столе валялось, — обнял он обескураженного Дасаева.



Такого участия от далеко не сентиментального Моряка Рушан не ожидал.

— Давай выпьем за любовь, за Тамару? Я уже сбегал за бутылкой,— предложил вдруг Калашников.

За бутылкой вина Моряк и убедил Рушана, что нужно пойти попроситься самому, ну, и «письмо», конечно, отдать лично. У Дасаева оставался последний вечер в Актюбинске, отступать было некуда,— завтра вечером он навсегда покидал город. После обеда, захватив тетради, он пошел на улицу 1905 года.

На звонок вышла сама Тамара и, что странно, не очень удивилась его приходу. Улыбнулась, словно ждала, пригласила в дом, но он не решался войти. Сказал, что вчера получил диплом и сегодня у него последний вечер, завтра он уезжает навсегда, и просил ее сходить с ним хотя бы в кино. Протягивая тетради, добавил: «А это то, что мне всегда хотелось сказать тебе». Тамара благосклонно взяла тетради и спросила, во сколько он зайдет за нею.

Не веря в реальность происходящего, Рушан назвал время, мысленно благодаря Моряка за совет. Ведь не прочитай тот письма, вряд ли он решился бы показаться Тамаре на глаза.

Возвращаясь в общежитие, Рушан встретил Наиля Сафина, направлявшегося туда же, откуда он только что ушел. Поздоровался с ним кивком головы, но радости выказывать не стал. Бедный Наиль, наверняка он был для Томи тем же, чем сам Рушан для Резниковой или Нововой,— оба они оказались ненужными этим девушкам, выполнили свои роли в какой-то их девичьей игре и были свергнуты со сцены,— Рушан понял это еще тогда.

Задолго до назначенного времени Дасаев стоял в тени отцветших акаций напротив дома Тамары, до конца не веря, что сейчас откроется калитка и выйдет она. И вдруг ему вспомнилась та далекая осень, когда волею судьбы он впервые встретил ее у «Железки» с нотной папкой в руках и, как зачарованный, пошел за ней следом, а потом долго стоял на этом же самом месте в надежде увидеть ее силуэт за легкими тюлевыми занавесками в распахнутом окне. И вот сегодня — первое настоящее свидание; каким долгим, в четыре года, оказался путь к нему!..

Она появилась минута в минуту, издали обворожительно улыбнулась и спросила так, словно они встречаются давным-давно:

— Ну, куда мы идем сегодня, Рушан?

У него были билеты в кинотеатр «Культфронт» рядом с парком, и он предложил пойти на английский фильм «Адские водители»,

а потом, если будет настроение, заглянуть на танцы. Все последующие годы с того летнего вечера Рушан мечтал когда-нибудь встретить на экране этот остросюжетный фильм, чтобы заново пережить ощущение того единственного свидания, когда он сидел рядом с Тamarой, держал в горячих ладонях ее руки, и она не пыталась убирать их, — пальцы вели какой-то нежный разговор, сплетаясь, узнавая, лаская друг друга. Он хорошо помнит и фильм, и то, как почти не отрывал взгляда от прекрасного лица, еще не веря до конца, что эта недоступная, гордая красавица сидит рядом с ним.

Весь вечер, и до кино, и после, когда они прогуливались по «Бродвею», ему тоже хотелось кричать, подобно Кабирии в фильме Феллини: «Смотрите, с кем я иду! Я иду с Давыдычевой! Тамара рядом со мной!»

Конечно, в тот июньский вечер появление их вместе не осталось незамеченным. Только закончились выпускные вечера в школах, прошли экзамены у студентов, молодежь бурлила в предвкушении долгих летних каникул, и они повстречали на улице многих своих друзей и знакомых. И опять Рушана поразило: никто, казалось, не удивился, что он появился на «Бродвее» с Давыдычевой.

После кино, гуляя по парку, Рушан спросил, не хочет ли она пойти на танцы. Но Тамара вдруг неожиданно сказала:

— И на танцы, конечно, хорошо, но еще больше хочется побыть с тобой, ведь ты завтра уезжаешь. Нам не удастся и двумя словами перемолвиться, ребята будут подходить, прощаться с тобой. Нельзя, чтобы наш единственный вечер прошел на грустной ноте, не хочу, чтобы постоянно напоминали о твоём отъезде. Давай уйдем из парка, погуляем по тихим улочкам, нам ведь есть о чем поговорить...

Этот вечер, проведенный с Тamarой, Дасаев, как ни пытался, не мог воспроизвести досконально, он тоже дробился на десятки эпизодов, каждый из которых в воспоминаниях выстраивался в нечто трогательное и грустное, и вряд ли все это можно было вместить в одну ночь.

Прогуляли они с Тamarой до рассвета, до гудка алма-атинского экспресса. Запоздалое свидание было очень похоже на новогоднюю ночь с Резниковой: та же неожиданность, то же волнение, те же признания, озноб и трепет неожиданных поцелуев и даже слезы.

Прощаясь, они верили в свое счастье, надеялись, что вся недосказанность, размолвки, — позади.

Много позже, когда увлечение поэзией приведет Рушана к живописи и он откроет для себя мир импрессионистов, его поразят работы



Клода Моне. Например, Нотр-Дам в разное время суток, при меняющемся свете дня, причем взгляд всегда из одной точки. Вот тогда он и найдет точное определение своим отношениям с тремя очаровательными девушками: Резниковой, Нововой, Давыдычевой, ибо исходная точка здесь, как и у Клода Моне, одна — любовь. Как прекрасен Нотр-Дам утром, в полдень, на закате солнца, при абсолютной свежести композиции, ракурса, и каждая работа является неповторимым творением, так и его увлечения освещены одним светом — любовью. И он никогда не поминал лихом ни одну из своих привязанностей, и даже короткая ночь вместе с девушкой с улицы 1905 года, заронившей когда-то в его сердце любовь, осталась в памяти счастливейшим даром судьбы. И это вовсе не было преувеличением...

В молодые годы, когда Рушан работал в Экибастузе, в минуты отчаяния, считая, что любовь покинула его навсегда, он однажды решил уйти из жизни. Но он не мог уйти, не попрощавшись с ними, и каждой написал письмо, где благодарил их за те давние минуты радости, счастья, что они успели дать ему, и объяснял, что жизнь для него без них потеряла смысл. Заканчивались послания одинаково, словно писались под копирку: «Прощай, я любил тебя...» У него не оказалось под рукой только одного адреса — учившейся в Оренбурге Давыдычевой, и пока он наводил справки, мысль о самоубийстве ушла сама собой. Выходит, он и жизнью обязан своей любви к той девочке с улицы 1905 года. Это тем более удивительно, что тогда он еще не был знаком с любовными посланиями знаменитого Жана Кокто...

А ты сегодня ходишь, каясь,
И письма мужу отдаешь.
В чем каясь? Есть ли в чем? Едва ли!
Одни прогулки и мечты...

Ну, это для тех, кто любит заглядывать в замочную скважину, и как лишнее подтверждение, что в поэзии есть ответы на все случаи жизни. Поэтому Рушану всегда хочется сказать всем и каждому: «Любите поэзию!»

Так случилось, что никого из тех, кто в конце пятидесятых годов посещал знаменитые вечера в двух железнодорожных школах, не осталось в Актюбинске — жизнь всех разбросала по стране, у многих и родственников здесь уже нет. Наверное, чаще других бывал в родных краях Рушан. Не забывал заглянуть на кладбище

к прокурору, любившему джаз, пройтись по обветшавшему «Бродвею», заглянуть на печальную улицу 1905 года и на улицу Красную, где давно жили чужие люди, которые охотно впускали его в дом. Но там уже, конечно, ничего не напоминало о далеких счастливых днях, разве что необхватные седые тополя за окном и давно одичавшие кусты персидской сирени.

Иногда он говорит себе: «Все, в последний раз», но любая прогулка в очередной приезд заканчивается у дома на улице 1905 года. Что это — память сердца?

Однажды Валя Домарова рассказывала ему, что в студенческие годы, иногда приезжая домой на праздники, встречала в ночных поездах Тамару в сопровождении грустного блондина. Рушан знал, что Тамара училась в Оренбурге, в пединституте, знал даже, где она снимала комнату — на Советской, 100. И однажды он побывал в этом доме, хозяйка которой сразу припомнила очаровательную девушку, некогда квартировавшую у нее.

— А вас я не помню,— сказала она огорченно. И когда он признался, что прежде никогда не бывал здесь, грустно промолвила: — И вы, значит, любили ее, Тамару...

Из-за одиночества или по другой причине она усадила его пить чай и за столом стала рассказывать:

— Знаете, она всегда переживала, сомневалась — любят ее или нет. Поклонники у нее были, и все ребята видные, но она хотела какой-то непонятной, возвышенной любви: чтобы любили только ее, и до гроба... Вы один пришли сюда через столько времени, а ведь она квартировала у меня пять лет, и никто не искал ее следов, значит, вы любили ее сильнее всех...

— Да, я любил ее,— признался Дасаев, оглядывая комнату, где много лет назад жила Тамара.

Много лет спустя, на закате жизни, Рушану попадутся на глаза новые стихи горячо любимого им с юности ташкентского поэта Александра Файнберга. Они словно персонально адресованы ему и героиням его юношеских романов, даже имена девушек не пришлось ни менять, ни добавлять. Но к этому времени Дасаев знал, что хорошая поэзия всегда адресована миллионам, тем более стихи о любви. И лучше всех об этом сказал Сергей Есенин в поэме «Анна Снегина»:

Мы все в эти годы любили,
Но мало любили нас...



А Файнберг сумел поэтической строкой обобщить все душевные радости и муки, пережитые Рушаном:

Благословенна первая любовь.
 Благословенны первые печали.
 Ровесницы,
 вы нас не замечали.
 Страдали мы,
 какая это боль!

Теперь уж мы не плачем понапрасну.
 Иная широта и высота.
 Мы любим женщин,
 в осени прекрасных.
 Страдаем? Да.
 Но эта боль — не та.

Другие кроны
 плещутся над нами.
 Кто дышит Крымом,
 кто долбит Ямал.
 Мы по годам уже не вспоминаем
 ни Свет, ни Нин, ни Валь и ни Тамар.

Но все ж,
 когда я думаю о чуде,
 я вижу город,
 серые дома.
 Я вижу, как на белом парашюте
 на переулок падает зима.

И во дворе,
 где с горок мчатся санки,
 я жду ее.
 Не чью-нибудь.
 Мою.
 И с неба снег слетает на ушанку.
 Она не любит.
 Я ее люблю.

Далеких лет далекие обиды.
 Навек прощайте,
 детства облака.
 Ровесницы,
 мы вас вблизи любили.
 Любите нас теперь издалека.

XXII

Жизнь непредсказуема, и одни тайны уходят с их владельцами навсегда, другие запоздало, как, например, день рождения дяди Рашида, внезапно открываются во всей своей сути.

Однажды он был командирован на Кавказ, сначала в Баку, а затем в Тбилиси. Там, в поезде Баку — Тбилиси, с ним произошла любопытная история.

Командировка эта тоже походила на приятное путешествие, в Баку он попал на концерт оркестра Рауфа Гаджиева, где в те годы работал знаменитый джазовый аранжировщик Кальварский, а в Тбилиси надеялся послушать джаз-оркестр Гобискери. К поезду он пришел заблаговременно — не любил предотъездной суеты. Неторопливо нашел свое место в пустом купе мягкого вагона и вышел к окну в коридоре.

Вагон заполнялся потихоньку, и Рушан стоял у окна, никому не мешая. К поезду он явился прямо с концерта и мало походил на инженера, едущего по командировочному делу.

Состав тронулся, оставляя позади перрон, город...

Начали сгущаться сумерки, в коридоре зажгли свет. Пассажиры потянулись в ресторан или стали накрывать столики в купе, а Рушан все стоял у окна, внимательно вглядываясь в селения, где люди жили какой-то неповторимой и, вместе с тем, одинаковой со всеми жизнью, замечал одинокую машину с зажженными фарами, торопившуюся к селению, где, наверное, шофера ждала семья, дети, а может, свидание с девушкой, чей неведомый дом мелькнет мимо него через минуту-другую яркими огнями окон и растворится в ночи.

Его попутчики сразу же принялись за ужин. По вагону пополз запах кофе, жареных кур, свежего хачапури и лаваша; откуда-то уже доносилась песня.

Два соседних с ним купе занимала разношерстная компания: юнец и убеленный сединами моложавый старик, молодые мужчины и даже одна девица. Она, как и Рушан, все время стояла у окна, но, в отличие от него, как показалось Дасаеву, делала это не по собственному желанию. Старик, по всей вероятности, русский, юнец с девушкой — армяне, остальные — грузины или осетины. Разнились они и одеждой: двое, да и старик, пожалуй, не уступали тбилиским пижонам, что фланируют по проспекту Руставели, а остальных вряд ли можно было принять за пассажиров мягкого вагона.



Компания, которая садилась в поезд, не обремененная багажом, даже без сумок и портфелей, тоже начала суетиться насчет ужина. Юноша с девушкой высказали желание посидеть в ресторане и получили чье-то одобрение из глубины купе. Проходя мимо Дасаева, они окинули Рушана восторженным взглядом, а девица даже попыталась изобразить что-то наподобие улыбки.

За окнами совсем стемнело, и стоять у окна стало неинтересно. Его попутчики давно поужинали, а Рушан раздумывал: то ли вернуться к себе, то ли последовать в ресторан, как вдруг один из компании, тот, кого он принял за осетина, вежливо, можно сказать — галантно, как это могут только на Кавказе, пригласил разделить с ними скромное угощение. Рушан так же вежливо поблагодарил, но, сославшись на отсутствие аппетита, головную боль и желание побыть одному, отказался.

Не прошло и минуты, как появился другой попутчик и пригласил не менее вежливо, но более настойчиво. Навязчивость, с которой его зазывали, начала раздражать Рушана, и он поспешил ретироваться в купе. Едва он расположился у себя на полке, как распахнулась дверь и показалась седовласая голова молодого старика, который попросил Дасаева выйти на минутку в коридор.

Старик оказался краснобаем, и мог бы дать фору любому грузинскому тамаде. Он говорил о законах гостеприимства и вине, которые приятно разделить в пути с новым человеком. В общем, Рушан понял, что из немощных, но цепких рук старика ему не вырваться — а тот и впрямь то крутил пуговицы на его пиджаке, то хватал за рукав, — и он сдался. Когда Дасаев в сопровождении Георгия Павловича — так старик отрекомендовался — появился перед компанией, раздался такой вопль искреннего восторга, что, наверное, было слышно в соседнем вагоне.

Рушана усадили поближе к окну, напротив Георгия Павловича. На столике высилась ловко разделанная крупная индюшка, а рядом — зелень, острый перец, помидоры, армянский сыр, грузинская брынза и свежий бакинский чурек.

— Что будем пить? — спросил старик, и Рушан показал на белое абхазское вино «Бахтриони».

Кто-то предложил тост за удачную дорогу, и трапеза началась. Стаканам не давали пустовать, а со стола так ловко и незаметно убиралось ненужное и добавлялись то ветчина, то жареное мясо, то быстро убывающая зелень, что Дасаеву, заметившему корзину на откинутой полке второго яруса, откуда все это доставали, казалось, что она волшебная.

Разговор поначалу никак не завязывался. Следовали сплошные тосты и сопутствующие фразы насчет «налить», «подать», «закусить», «что-то передать», а затем слова благодарности на русском и грузинском языках. Но даже в этой немногословной беседе участвовали из хозяев только трое: те, что приглашали Дасаева, и Георгий Павлович, имевший над компанией очевидную патриаршую власть. Остальные двое, немо выказывая восторг на плохо выбритых лицах, следили за столом, за тем, чтобы не пустовали стаканы, и ловко распоряжались содержимым волшебной корзины.

— Куда едете, чем занимаетесь, молодой человек? — спросил вдруг старик среди неожиданно возникшей или ловко созданной паузы.

— Инженер, еду в Тбилиси в командировку, — вяло ответил Дасаев, предчувствуя, что интерес к нему тотчас иссякнет, потому как был убежден, что такая ординарность вряд ли у кого вызовет любопытство.

— Инженер?.. В командировку?.. Я же говорил вам, — обратился Георгий Павлович к своим спутникам. — Учитесь: школа, высший пилотаж, я в его годы не знал такой славы. А как он держался в коридоре! Любо посмотреть: турист, артист, да и только... Пейзаж, закат, пленэр... А как разговаривал с Дато и Казбеком, словно никогда их в глаза не видел! Это же блеск! Станиславский! А если хотите — Мейерхольд!..

— Я действительно никогда не видел ни вас, ни ваших спутников, — перебил старика удивленный Рушан.

— В глаза не видел! — воскликнул с улыбкой Георгий Павлович, и купе минут пять сотрясалось от смеха.

Дасаев, ничего не понимая, смотрел на своих собутыльников и видел, с каким восторгом, боясь упустить хоть один его жест, глядят на него странные попутчики. Такого внимания к собственной персоне он никогда не испытывал.

— Да, Марсель есть Марсель, не зря о нем и на зоне, и на свободе легенды ходят, — откликнулся тот, кого старик назвал Дато.

— Вы что-то путаете, я — Дасаев, инженер из Ташкента, — не понимая, разыгрывают его или же в самом деле принимают за какого-то Марсея, ответил, трезвея, Рушан.

Купе снова зашло смехом. Георгий Павлович, вытирая тонким батистовым платочком слезящиеся глаза, спросил:

— Может, и ксиву покажешь? Дасаев...



По Мартуку Рушан хорошо знал жаргон блатных. Достав из внутреннего кармана пиджака паспорт, он протянул его через стол.

В купе притихли и внимательно смотрели, как ловко пальцы старика вертели паспорт так и эдак. Георгий Павлович даже поднял его к носу и тщательно принюхался, казалось — попробуй он даже на зуб, никто бы не улыбнулся. Но Рушану было не до смеха.

— Хорошая ксива, и пахнет по-настоящему, — сказал, наконец, Георгий Павлович, возвращая паспорт. — Значит, с бумагами все в порядке, быстро обзавелся... Дато считал, что ты без ксивы. Он ведь с тобой в одной зоне мантулил в последний раз. Вспомни, Лорд у него кликуха, а фамилия — Гвасалия. Правда, он сейчас таким франтом выглядит, как раз тебе в помощники, «интеллигент». Не хочешь помощника, Марсель?

— Извините, я устал, у меня завтра важные дела, и я не понимаю ваших шуток, — сказал Дасаев, поднимаясь.

Старик мягко, но настойчиво потянул его обратно.

— Сиди, Марсель. Дело твое, знать тебе с нами или нет. Да, пожалуй, ты и прав, слишком много незнакомых лиц для такой важной птицы, как ты. Ты уж извини меня, старика, это я на радостях — много слышал о тебе, да и Дато рассказывал, как ты исчез. Значит, едешь по большому делу, удачи тебе. Но если нужна будет подмога — деньги там, кров... Вот адреса и телефоны в Тбилиси и Орджоникидзе, — и он ловко, одним движением, сунул в верхний кармашек пиджака Рушана заранее заготовленный листок. На том они и расстались, одни довольные встречей, а другой — удивленный донельзя: за кого же его приняли?.

Утром, когда поезд прибыл в Тбилиси, странных попутчиков уже не было — то ли разошлись по разным вагонам, то ли сошли в предместьях столицы. Но они еще раз напомнили ему о себе...

Гостям Тбилиси советуют побывать на Мтацминда, откуда открывается живописная панорама раскинувшегося внизу города; там же — прекрасный парк, летние кинозалы, ресторан. Устав от прогулки и продрогнув на ветру, гулявшем на горе, Рушан решил заодно и поужинать на Мтацминда.

В зале и на открытой веранде веселье плескалось через край. Играл оркестр, вдвое больший по составу, чем некогда в его любимой «Регине», и два солиста, сменяя друг друга, не успевали выполнять заказы, сыпавшиеся со всех сторон. Витал аромат дорогих духов, сигарет и вин, щедро украшавших многолюдные столы, пахло азартом

и праздником. Рушан с трудом отыскал свободное местечко за столиком, где коротала вечер такая же командировочная братия, как и он сам.

Официант всячески выказал свое недовольство одиноким, без дамы, клиентом: будь его воля, Дасаева и подобных ему он и на порог не пустил бы. Лениво подергивая сытыми щеками, он вполуха слушал заказ, почему-то тяжело вздыхая, и сквозь зубы ронял:

— Нет... нет... кончилось... не бывает... никогда не будет...

Рушан понимал: любое его возражение еще более усугубит незavidное положение незваного гостя, и потому милостиво сдался и сказал обреченно:

— Ну что ж, принесите что осталось и бутылку белого вина.

Вернулся официант не скоро. С увядшей зеленью, подветренным сыром, холодным хачапури и бутылкой вина. Буркнув, что шашлык подаст позже, заторопился к другому столу, где кутили лихо.

Едва Рушан пригубил вино, оказавшееся без меры кислым, откуда-то, словно ветром, принесло метрдотеля и того же официанта — с таким сладким выражением лица, что в первый момент Дасаев даже и не признал его, хотя между ними только что состоялся долгий и «содержательный» разговор.

— Извините, вышла промашка,— частил метрдотель и зло косился на официанта, а тот, сама невинность, втянув живот, изображал такое раскаяние, что впору было расплакаться.

Он чуть ли не силой вырвал из рук Рушана фужер и брезгливо выплеснул содержимое в вазу из-под цветов, словно это было не вино, а отравка.

— Может, отдельный столик накрыть? — зашептал Рушану на ухо завзалам, поглядывая на его соседей, но Дасаев отказался.

В мгновение ока подкатили тележку с фруктами, сочной зеленью, лобio с орехами, сыром сулугуни и другими грузинскими закусками, неизвестными Рушану, а метрдотель собственноручно налил в невесь от куда взятый тяжелый хрустальный бокал золотистое «Твиши». Видя это волшебное превращение, достойное цирка, соседи на другом конце стола с любопытством поглядывали на Рушана.

Дасаев прикинул, что ужин обойдется ему раз в пять дороже, чем предполагал, но вино оказалось дивное, закуски великолепные, оркестр на высоте, и настроение у него поднялось. То ли от выпитого вина, то ли от нахлынувшего озорства, то ли оттого, что увидел в зале за дальним столиком Казбека и Дато, он, пригласив какую-то девушку на танец, назвался... Марселем.



Может, он сам приглянулся девушке, а может, понравилось его имя, весь вечер она щебетала: «Марсель... Марсель...» Чужое имя не раздражало его, а порою даже ласкало слух, и этот вечер, в общем-то закончившийся без особых приключений, он прожил не только под чужим именем, но и ощущая себя тем таинственным Марселем, перед которым так щедро расстилаются столы и вмиг принимают любезное выражение лица официантов...

Спускаясь на фуникулере на проспект Руставели, где жизнь, казалось, не замирала до утра, он вдруг, вроде некстати, вспомнил давнее свидание с Валею в Мартуке.

Вокруг кипела ночная жизнь Тбилиси, по ярко освещенному проспекту навстречу Рушану шли прекрасно одетые люди, которые то и дело раскланивались со своими знакомыми, казалось, весь город состоял только из друзей и приятелей, и думать ни о чем грустном не хотелось. Но Валя, держащая в руках гитару с ярко-красным шелковым бантом на деке, не шла у Рушана из головы. Он настойчиво гнал от себя навязчивое видение, но оно не уходило, мешало, назойливо напоминало о чем-то...

И вдруг все встало на свои места. Дато Гвасалия... Дато Гвасалия! Да это же тот, кто купал Валею в шампанском, подарил ей жемчужное кольцо!

«Не может быть! — возразил он себе. — Где та Валя, а где — этот Дато... Нет, это невозможно...»

Но память услужливо вернула голос Георгия Павловича: «Лорд у него кликуха, а фамилия — Гвасалия...» Нет, ошибки быть не могло, совпадало все. Рушан поспешил назад к канатной дороге, чтобы вернуться на Мтацминда, — знал, что в грузинском ресторане гости рано не расходятся.

Когда он вернулся в зал, веселье еще продолжалось, но столик, за которым Лорд гулял с друзьями, оказался пуст. Уже знакомый метрдотель, вновь увидев взволнованного гостя, подошел тут же и учтиво обратился:

— Чем могу помочь?

— Лорд давно ушел? — спросил небрежно Рушан.

— Нет, недавно, вы наверняка разминувшись на фуникулере. Если возникли проблемы — тут есть люди, хорошо знающие Дато, они и Марселю ни в чем не откажут. Да и мне Дато велел принимать вас всегда по-королевски...

— Спасибо, мне нужен только Лорд, — поблагодарил метрдотеля Дасаев и хотел распрощаться, но тот предложил распить с ним

бутылку вина, если гость простил его за недоразумение в начале вечера. Пришлось уважить.

Возвращаясь в полупустом вагоне канатки, Рушан думал: «А если бы я застал на месте Дато Гвасалия по кличке Лорд, что сказал бы, о чем спросил? О том, купал ли он в шампанском мою отроческую любовь Валю Домарову и дарил ли ей жемчужное кольцо?» От нелепости этой картины он вдруг от души рассмеялся, как некогда на тихой улице в Мартуке, когда представил тесный совмещенный санузел и грязную ванну с плескавшейся в шампанском Валентиной...

Теперь он редко вспоминал Валентину, и уж тем более не презирал и не осуждал ее. С высоты жизненного опыта понимаешь, что каждый выбирает свой путь сам. Но он никак не мог понять, почему судьбе было угодно, чтобы среди сотен миллионов людей он встретился с неким вором по кличке Лорд, сумевшим увлечь романтикой блатной жизни девушку, некогда мечтавшую стать балериной. Возможно, этим «почему» он будет маяться до последних дней своих...

XXIII

Вспоминая свое окружение в детстве и юности, да и во взрослую пору, Рушан часто мысленно возвращался к родному дому, а значит, к матери и отчиму. И часто всплывали в памяти две картины — подробные, в деталях. С матерью — когда не было в их семье еще Исмагиля-абы, и с отчимом — на закате его жизни.

В ту зиму он учился не то в первом, не то во втором классе...

«Наверное, поезд опоздал», — Рушан то и дело дышал на оконное стекло, но, сколько его ни отогревай, не отогреть. Мороз постарался: даже между рамами тянулся ледяной хребет, и от окна несло холодом, как от двери, как плотно он ни подтыкал куски старого одеяла в щелях и щербатом пороге.

«Успело наместить», — подумал он и смел снег с земляного пола, а то заругает мать, что не следил за дверью, выстудил землянку. Печь едва теплилась, но Рушан боялся подложить кизяку: с топливом было совсем худо. Задуло и задождило с сентября, и теперь в полуразвалившемся сарае кизяк занимал крохотный уголок.

Забравшись на нары, поближе к печи, Рушан придвинул к себе узелок с нечесанным пухом и принялся выбирать волос, как ему



наказала мать. «Скорее бы пришла Саня-апа из школы», — тоскливо думал он, хотя знал, что вторая смена у восьмого класса кончается уже затемно.

Горка выбранного пуха росла медленно, и он опытным глазом прикинул, что с этим узелком возиться ему еще с неделю.

«У тебя, сынок, глаза молодые, острые, — говорила мать. — Никто в Мартуке лучше тебя пух не вычистит».

Долгие зимние ночи сидели они на топчане вокруг большой керосиновой лампы, каждый за своим делом. Саня пряла, — мать говорила, что пальчики у нее чувствуют пух и быть ей хорошей шальчи — вязальщицей платков: пряжа у нее получалась ровной, тонкой. Мать пропускала выбранный сыном пух через страшную ческу — двухрядный частокол высоких иголок, их почему-то называли цыганскими. Руки матери взлетали высоко над ческой, и Рушан всегда боялся: а вдруг она поранится о блестящий частокол.

Как бы мать ни хвалила своих ловких и быстрых помощников, истинной сноровкой шальчи владела только она сама. В Мартуке, где треть жителей кормилась вязанием, Гульсум-апа считалась искусной мастерицей, ее платки быстро и легко пушились, носились долго, а кайма у них была на загляденье — широкая, зубчики ровные, один к одному, и узор у каждого платка свой, неповторимый.

Толстой краснолицей хозяйке узелка с пухом, завмагу сельпо Кожемякиной, в Мартуке никто бы не отказал связать платок — характер у Нюрки крутой, и на паевую книжку она дает продуктов сколько бог на душу положит. Но и она, первая поселковая модница, пришла к Гульсум с поклоном.

Рушан слышал, как мать устало говорила:

— Нюра, пух по цвету богатый, у меня к нему нитки подходящие есть, но волоса слишком много, и за две недели не выбрать. И в работе у меня еще три платка, люди добрые за них давно уж расплатились.

— Меня, тетя Галя, сроки не волнуют — слава богу, есть что носить. Ваш прошлогодний платок не у одной бабы в поселке зависть вызывает, а мне вот теперь темненькую шаль захотелось...

Насчет добрых людей не зря было сказано, но ведь и Кожемякина — не последний человек в Мартуке.

— ...Пуд муки вам авансом приготовила. — Нюра оглядела сырую, по углам в наледях, землянку и добавила: — Нехай Рушанка к вечеру в сельмаг забежит. Будут ящики из-под мыла — не пожалею.

Зная далеко не щедрый характер Кожемякиной, мать попросила:
— Чаю плиточного с полкило да сахару, Нюра, добавь к авансу, пух-то...

— Ладно, ладно, по рукам. За мукой счас, что ли, пойдешь?

— Счас, счас,— заторопилась мать, и, уходя, счастливо улыбнулась сыну.

Едва дверь захлопнулась, Рушан заплясал: ему уже чудился запах горячих лепешек.

Ошиблась мать на радостях, увидев Кожемякину с заказом: третью неделю одолевал Рушан узелок.

— Нюрка, да чтоб прогадала?! Она и пух-то выменяла у наших казахов из аула за чай да за кило халвы,— горячилась соседка Науша-апа, забежавшая на огонек.

Мать, тяжело вздыхая, молчала. Непоседливая Науша-апа скоро распрощалась, и мать, поплотнее прикрыв за ней дверь, вернулась к печи. Саня замороженно смотрела, как спицы, словно шпаги, мелькали у нее в руках, и думала: «Неужели и я когда-нибудь смогу вязать так быстро и красиво, как мама?»

— Опять ссутулился, как старичок. Смотри, девочки любить не будут,— добродушно ворчала мать на сына.

Рушан густо краснел, на какое-то время распрямляя плечи и спину, но частый и мелкий волос снова гнул к лампе.

Вот и сейчас он приподнял плечи и оглянулся: в низкой и плохо протопленной землянке сгущались сумерки, а матери все не было.

«И уроки еще не сделаны»,— мелькнула и тут же пропала мысль. В тревоге за мать он то и дело выскакивал на улицу и окончательно выстудил землянку. В голову лезли разные страхи. «А вдруг поезд из-за опоздания сократил стоянку, и мама проехала до следующей станции, чтобы пройти с платком по вагонам... А вдруг у нее его вырвали?» Рушан знал, что, хотя война давно кончилась, в теплые края, к Ташкенту, охотно тянулась всякая шпана. «А может, конфисковали?» Он знал и это недетское слово. «Только бы дядя Велигданов сегодня на станции дежурил»,— молился он, как бабушка Рабига, сложив ладошки, повторяя короткую суру, что обычно проносил перед сном.

Недавно прошел слух, что увольняют Велигданова, говорят — развел на станции спекуляцию. Кто теперь предупредит его мать, да и других, что будет облава и лучше перетерпеть несколько дней, чем остаться без шали, без пуховых перчаток или дюжины шерстяных носков?



«А может, маму задержали? Ведь ее уже предупреждали, чтобы не ходила к поездам с шальями...» Рушану вдруг стало так страшно, что он заплакал.

— Сынок, что случилось? — уронив у двери какие-то свертки, кинулась к нему Гульсум-апа.

Рушан прижался к ее промерзшей куцей телогрейке и, не чувствуя холода, плакал навзрыд.

— Ну, хватит, ты уже большой, единственный мужчина в доме. Лучше спроси, как у меня дела... — мать погладила его по давно не стриженной голове. — Сейчас зажжем лампу, протопим печь, поставим чай. Ну, смотри, что я принесла, — и стала собирать с пола свертки.

Кипел, похлопывая крышкой, на плите чайник, мать жарила в казанке, на чистом бараньем сале, баурсаки. Заправленная под горлышко керосином лампа с новым фитилем освещала дальние углы землянки. От печи, щедро заваленной кизяками, струилось тепло.

— Продала? — прямо с порога спросила вернувшаяся из школы озябшая Сания.

— Продала, доченька, продала. Раздевайся, у меня все уже готово.

Сания быстро скинула валенки и, притулив их к печи, уселась на топчане рядом с Рушаном.

— Ты сегодня долго не шла, я уже соскучился, — тихонько сказал Рушан и прижался к сестре.

Мать расстелила скатерть.

— Ну, рассказывай, мама, — торопила Сания.

Подкладывая в деревянную чашу обжигающие баурсаки, мать принялась рассказывать:

— Стоим, значит, на перроне час, другой, а московского все нет. Я так намерзлась, что решила было уйти, как вдруг далеко, у семафора, паровоз прогудел. Ну, слух у нас точный. «Пассажирский», — решила, а тут и он. Никто из вагонов и носа не высунул. Нагима с соседней улицы и говорит: «Давай, Гульсум, до следующей станции проедем, успеем половину вагонов обежать».

Вдруг распаивается напротив нас дверь, и молодой военный с подножки спрашивает: «Мамаша, сколько за платок просите?» А из-за плеча у него барышня выглядывает, — наверное, она из окошка платок приметила. Я уж самую малость и назвала, ведь неделю с ним к поездам хожу.

«А вы не могли бы подняться к нам?» — спрашивает барышня, а военный, такой вежливый, даже руку подал, помог в вагон подняться. Накинула она платок на плечи — и к зеркалу, а оно у них во всю дверь. «Какая прелесть! Какая прелесть! — щебечет барышня, а шаль ей, и правда, к лицу. Потом спохватилась она, что поезд может тронуться, и так удивленно переспрашивает: — Семьсот?»

Тут я и обмерла. Неужто торговаться станет? А уступать мне и копейки нельзя. «Семьсот», — говорю, и шаль стала сворачивать. «Вадим, заплати, пожалуйста, восемьсот, уж больно шаль хороша, да и апа нас пусть помнит», — и так хорошо засмеялась барышня и обняла меня. «Рахмат, — говорю, — доченька, рахмат», — а у самой слезы на глазах, денег, что он отсчитывает, не вижу. Так и сунула, не глядя, в карман. Я уже к выходу пошла, как догоняет меня Вадим этот и протягивает коробку. «Возьмите, мамаша, — говорит, — это мой сухой паек. Здесь галеты, тушенка... У вас, наверное, дети дома... Порадуйте...»

Галеты эти, сухари такие, Рушану сразу понравились.

— ...А из тушенки я вам завтра суп сварю. Какие красивые, счастливые люди, храни их Аллах!

Рушан с сестрой согласно закивали головами...

Мать достала из потайного кармана стеганой душегрейки узелок и, развязав его, положила у края скатерти пачку денег.

— Только я соскочила с подножки, тут же набежали товарки. Особенно торопились те, кому я задолжала. Десятку-другую пришлось взаимы дать. Одной только мне сегодня и подфартило. В воскресенье пораньше пойдем с Рушаном на базар, купим возок кизяка у аульных казахов, — она отложила половину оставшихся денег в сторону. — А это вам на кино, — мать протянула сыну трешку: не отделишь тут же, не выкроить потом и рубля.

Рушан на радостях чуть не опрокинул пиалу.

— Это — керосинщику, это — за радио, это деду Матвею за валенки — три раза без денег подшивал, а это — Нюрке, старый долг, уж больно косо смотрит, прямо в магазин не ходи...

Стопки денег как не бывало: перед матерью лежало несколько измятых рублевок и горстка мелочи.

— А это нам на расходы, — вздохнула Гульсум-апа.

Видя, как торопливо Рушан припрятал трешку, мать улыбнулась.

— Не унывайте, дети. Руки целы, ноги целы, проживем. С такими помощниками не пропаду...



Потрепав сына по голове, она стала убирать со стола.

Поздно вечером, снова усевшись в кружок возле лампы, все согнулись над Нюркиным узелком. Мать потихоньку напевала о Кара-урмане, о привольных берегах далекой Ак-Идели. Иногда она замолкала: каждый зубец требовал точного счета петлям.

— Мама, уже вторая четверть, а у меня за учение не уплачено, не отчислят меня из школы? — спросила вдруг Саня.

— Глупенькая, не беспокойся. Пока Кузнецов директор, такому не бывать. Летом встретился мне на улице и говорит: «Гульсум-апа, ваша Саня — способная девочка. Вот кончит десятилетку, вам помощь и опора будет, грамотный человек нигде не пропадет. А с одеждой мы вам поможем, выкроим что-нибудь из школьного фонда. Война позади, теперь легче будет». А ведь как в воду глядел. Думала я, хватит тебе и семилетки — платки вязать ума большого не надо, а терпением и сноровкой Аллах не обидел. Да и в чем тебе на занятия ходить, ломала голову.

Форму и платье шерстяное, пальто и валенки — все в школе мне выдали. Вызвал Кузнецов к себе в кабинет и говорит: «Вот, Гульсум-апа, для дочки вашей». А на стульях и для других учеников одежда лежит, пальтишки разных цветов и фасонов... Тонкий человек ваш учитель, все учел, меня одну вызвал, от любопытных глаз и глупых языков оберегал. Аккуратно подарок завернул, перевязал и наказал, чтобы вам не говорила, что одежда казенная, мол, учтите, детская душа — штука сложная... Так что учись, дочка, не одна я о вас пекусь. А за ученье мы заплатим как-нибудь.

Мать поднялась, прикрыла задвижку у печи и, снова сев за вязанье, продолжила неторопливо:

— И пенсию вам, хоть и малую, тоже Кузнецов выхлопотал. Пришла к нему в слезах: «Помогите,— говорю,— Юрий Александрович, в собесе крутят: мол, похоронка у меня не та. Как не та, когда почти все мужики из Мартука в один день полегли под Москвой. И в один день нам казенные письма почта принесла. В тот вечер плач из поселка, наверное, в самом Оренбурге был слышен». А директору ли не знать об этом: митинг-то на другой день в школе прошел.

В похоронке нашей, одной-единственной, написано: «Пропал без вести». А куда ему, отцу нашему, там пропасть, когда мужики из Мартука вокруг него и держались. Весельчак и верховода отец наш был, да и партийный к тому же. И в эшелоне, который целый час простоял в поселке, отец старшим по вагону ехал.

Пошли мы тут же с вашим директором школы в собес. Правда, я во дворе осталась: сил моих больше не было, боялась — кинусь драться. Час жду, другой,— вылетает вдруг Юрий Александрович, на ходу оборачивается, совсем не по-учительски ругается: «Сволочи! Бюрократы!» Потом немножко поостыл и говорит: «Ты уж, Гульсум-апа, наберись терпения и жди, я в Москву напишу». Полгода ждала, а Кузнецов все это время в разные учреждения писал, но пенсию все-таки выхлопотал. Добрыми делами и на добрых людях мир держится, никогда не забывайте об этом, дети.

Так под тихое журчание материнских рассказов коротали они долгие зимние вечера...

XXIV

Декабрь пришел в занесенный снегами Мартук студеными ветрами, на дню несколько раз менявшими направление, сбивал с ног прохожих. Закрутило, завихрило, заметелило,— и в школе отменили занятия.

Ветер, завывая в трубе, рвался в землянку, словно собирался ее разворотить. День и ночь, не умолкая, гудели за окном натянутые, как тетива, заиндевелые провода. Мать, подкладывая кизяк в ненасытную утробу печи, с тревогой говорила: «И в это воскресенье, видно, не бывать базару, кто рискнет приехать из аулов в такой буран?»

Купленный ею с Рушаном кизяк убывал, казалось, не по дням, а по часам. Гульсум, накинув фуфайку, кидалась к соседям, дальним и близким: купить, взять взаймы, выменять десяток кизяков — иногда удавалось.

«Только бы пурга унялась к воскресенью»,— молила мать и, хотя денег у нее на такую большую покупку, как воз кизяка, не было, верила, что казахи, не раз выручавшие ее, дадут в долг и в этот раз.

В такие вечера, когда на улицу и выглянуть-то было страшно, приходил гость. Появлялся он всегда неожиданно, и скрипучая дверь отворялась бесшумно. Сначала дверной проем заполнял большой грязный канар — мешок с заплатами, который гость ставил тут же, у двери, а сам возвращался в сенцы и долго отряхивал там полушубок и казахский малахай-тумук. Входил в землянку уже в гимнастерке, вешал на гвоздик, вбитый в стену, свой полушубок.



— Гимай-абы, вам идти с другого края села, из-за станции, не боитесь сбиться с пути в пурге? И как это у вас ловко с нашей старой дверью получается? — спрашивала дотошная Саня, заканчивавшая делать уроки.

— Я, дочка, с первого дня начинал в дивизионной разведке, а кончил в зафронтовой.

— А почему вы папу с собой не взяли? — Рушан перебирался поближе к гостю.

— На войне, Рушан-батыр, не спрашивают, кто с кем хочет воевать. Меня в эшелоне заметил какой-то майор, — не доезжая до Москвы, я и распрощался с Мирсаидом.

Мать молча возилась у плиты, готовя нехитрое угощение.

— Наживешь ты, Гимай, с этим канаром беды, — говорила она гостю за чаем.

Гимай, поглаживая чапаевские усы, смеялся:

— Сколько раз объяснял тебе, что за мной числятся только шутики кож, а посылают нам в вагонах нестриженные шкуры. Кожзавод наш — одно название, а на деле — артель кустарная. Дубить не успеваем, не то что стричь шкуры. Так и кидаем в чаны, а после каустика шерсть никуда не годится. Из чанов вилами ее приходится выбрасывать, животы надрываем... По совести говоря, за это тебе еще платить бы надо: остриженных шкур в чан вдвое больше лезет, на чистке чанов день экономим, раствор сохраняем. Кругом, считай, выгода.

— Так-то оно так, — соглашалась мать, но упорно гнула свое: — А шерсть все-таки государственная.

— Оттого в бураны и хожу, чтобы людей не дразнить. А бояться мне некого — я не вор и не мошенник, я и на фронте с поднятой головой ходил...

Одним неувимым движением Гимай оказывается у канара, и сильные руки его выбрасывают на середину землянки шкуру за шкурой.

— Разве можно такое добро губить? Смотри, вот несколько козых, с пухом. На шаль не пойдет, а на перчатки — загляденье!

— Мериносовая... — слышится с пола тихий голос матери. Она ползает по шкурам, вырывая, где можно, клочья шерсти. — Какие паутинки связать можно...

— И я о чем! — Гимай выбрасывает последние шкуры, и пустой канар, как у фокусника, исчезает в недрах полушубка. — Я вот наточил, как обещал...

Из кармана полушубка он вынимает завернутые в тряпицу тяжелые острые ножницы. Из другого кармана достает ком вязкого мыла, которое варят на том же кожзаводе, и идет к рукомойнику.

— Только мыла не надо жалеть, а то в этих шкурах любую заразу можно подцепить.

Прямо по шкурам довольный Гимай возвращается к самовару...

Как ни ярилась зима, неожиданно она сдалась, словно поняв, что не сломить ей занесенный по трубы снегом маленький Мартук. Как бы винась за разметанные по ветру обледенелые стога, за стужу в сырых землянках, за пучки соломы, развеянной по безлюдным улицам, за ягнят, не выживших и дня в продуваемых насквозь кошарах, за поезда, застрявшие на голодных полустанках, природа вдруг расщедрилась, и установились в поселке такие дни, какие помнились старожилам только в давнем довоенном времени.

Что-то произошло не только с погодой, но повеяло и от жизни теплом близких перемен, все чаще слышалось полузабытое слово «надежда». И правда, словно расчищая дорогу новому наступающему году, у Нюркиного магазина появилось объявление, что с первого января будет снижение цен на промышленные товары, и следовал длинный перечень нужных и ненужных для жителей села вещей.

Но еще более радостная весть прокатилась солнечным днем по Мартуку: обещали открыть надомную артель вязальщиц. Настоящее предприятие — с авансом и зарплатой. «С авансом и зарплатой! С авансом и зарплатой!» — катилось от двора ко двору, как звонкое морозное эхо.

Уже не отменялись из-за стужи и пурги занятия, и мальчишки с окраины села катили в школу на прикрученных к валенкам коньках. Ожил школьный двор на переменах. Оттаяли и умолкли провода, появились наголодавшиеся за зиму воробьи. В такие радостные дни сбылась давняя мечта Рушана: мать разрешила ему ходить на станцию и к поездам за шлаком.

Гульсум-апа, изучившая кормилицу-станцию как собственный пустой двор, долго противилась этому, потому что знала: шлак и та малость, какую можно добыть у паровозов,— монополия дружных, не по годам дерзких детишек железнодорожников, живущих тут же, в домах при станции, за огромными огнедышащими горами шлака.

Но Рушан так страстно и долго уговаривал ее, уверял, что самый отчаянный из мальчишек, по кличке Кожедуб, учится с ним в одном классе, да и не каждого задирают станционные, а только тех,



кто из жадности пытается урвать больше всех. А он не буржуй, ему больше всех не надо. Последним доводом он развеселил мать так, что рассмеялась она от души, легко и весело.

— Не буржуи, значит, мы?

— Не буржуи...

После школы Рушан установил на санки крепкую корзинку, бросил в нее помятое и залатанное цыганами ведро и поспешил на вокзал.

Дух станции, особенный, неповторимый, ощущался за квартал, а отвалы на фоне вросших в землю саманных построек Мартука казались горами и были видны с каждого двора. Запахи тлевшего в недрах отвалов шлака, подпаленных креозотовых шпал на местах чистки топок, машинный запах больших сдвоенных паровозов и пар, клубившийся во круг них, всегда волновали и влекли мальчика. Он знал: отсюда по двум тонким нитям путей ведет дорога в какую-то иную жизнь. Оттуда, из этой жизни, приходят поезда, пахнущие теплом и летом, красным апортом и желтыми мандаринами, поезда, в которых, рассказывала мама, зеркала во всю дверь и настоящие ковровые дорожки, и где едут щедрые военные и красивые барышни, и еще много всяких других людей.

Как и подобает человеку, занятому делом, проходя мимо прибывшего состава, он не стал глазеть на торги у вагонов, хотя слышал восторг толстых пассажиров в тяжелых шубах, накинутых на яркие китайские халаты:

— Какой узор! Какая изящная кайма!

— А пушится, а пушится-то как!

Как мудрец среди шаловливых детей, Рушан улыбался и беззлобно думал: «Пушится? Да как же ей не пушиться?» Он-то знал, как немисливо долог путь до того момента, когда шаль окажется на чьих-то зябнувших плечах. Он видел своих сверстников в казахских аулах, выхаживающих маленьких шаловливых козлят, видел чабанов, изо дня в день, из года в год, в стужу и зной кочующих со стадами в скудных степях, продуваемых летом и зимой злыми ветрами. Знал не понаслышке, сколько тепла человеческих рук — детских, женских и суровых мужских — вложено в красавицу шаль, знал, сколько слез пролито над ней в холодных кошарах и в тени керосиновых ламп, и не удивлялся восторженным восклицаниям покупательниц...

Пережидая, пока женщины перетащат на носилках шлак после ташкентского скорого, Рушан с высоты отвала впервые оглядел лежавший внизу Мартук. Вдали виднелась крытая шифером школа, а рядом, под ярко-зеленым железом, — сельсовет с обвисшим флагом. Остальные

дома можно было различить лишь по тонким струйкам дыма, тянувшимся, казалось, прямо из-под снега. Далеко вдоль путей высился похожий на одногорбого верблюда элеватор. На потемневшем цинке обшивки, прямо на горбу, криво и некрасиво написано: «1927 год».

Заслонив элеватор облаками пара, пронесся скорый на Москву. Когда облако рассеялось, Рушан увидел, как путейцы поставили на рельсы мадерон¹ и стали грузить свой тяжелый инструмент: ломы, кирки, молотки, кувалды. Рушан всегда отличал путейцев от других людей потому, что пока знал одну-единственную профессию, которая не зависела ни от времени года, ни от погоды, ни от сельсовета, да и ни от кого-либо еще.

Сколько он себя помнил, столько и знал каждого путейца села в лицо, и всегда у них была работа, а значит — аванс и получка. А еще он знал, что им положен настоящий уголь и они могут выписывать старые шпалы, а из них ставить добротные теплые сараи. А главное — и это казалось уже совсем волшебством, — каждому ежегодно полагался бесплатный билет в любой конец Советского Союза. В любой конец! Перед ним при этом всегда оживал старенький школьный глобус.

«Вырасту и стану путейцем», — глядя вслед удалявшемуся на перегон мадерону, думал мальчик и улыбался.

Не случилось. Все повернулось иначе в жизни, но стоит ли теперь об этом жалеть...

XXV

Вторая история связана с отчимом, а точнее, это была их последняя встреча.

Письмо пришло перед самым отпуском, когда путевка у Рушана была на руках и билет уже заказан. Писем от матери он не получал с тех пор, как однажды, возвращаясь с моря, поставил старикам телефон. Установить телефон на селе еще сложнее, чем в городе, но ему повезло: начальником телефонного узла оказался давний школьный приятель.

До ужина Рушан письма не распечатал. Ему пришла в голову даже нелепая мысль заказать срочный разговор и спросить у матери, что это за письмо она прислала...

¹ М а д е р о н — тележка для перевозки тяжелых инструментов путейцев.



Писала мать, что отчим собрался уходить на пенсию, а в трудовой книжке записей каких-то недостает, с отчеством что-то напутали. С татарскими именами напутать немудрено, такие встречаются заковыристые — язык сломаешь, не то что буквы перепутаешь. Вот он ходил-ходил, — из одной двери в другую гонят, из одной конторы в другую шлют, — да и обиделся. Говорит: «Не надо мне вашей пенсии, пока руки-ноги целы, не пропаду, а что записи не сделаны, так мое дело было работать, а бумажки составляли другие». Писала мать, что уже который месяц бумаги лежат без толку, а ей строжайше наказано не вмешиваться в его дела, и вообще о пенсии отчим запретил всякие разговоры. «А жалко ведь старика, сколько на своем веку потрудился, да и обидно ему, я же вижу...» — заканчивала она свое торопливо написанное письмо.

Просила Гульсум-апа сына приехать в отпуск домой, отдохнуть и подтолкнуть пенсионное дело — все-таки человек образованный, законы знает, да и дружки школьные теперь многие в начальниках, глядишь, помогут старику, ведь, считай, на людских глазах век прожил, не таился, и работал-то всю жизнь в Мартуке.

О том, чтобы отложить поездку в отчий дом, и речи быть не могло. Казалось, что за неделю, ну, максимум дней за десять, он уладит дела и еще успеет к морю. С тем он и поехал в родные края...

Стоя у окна, вглядываясь в выжженную жарким солнцем бескрайнюю казахскую степь, он то и дело возвращался мыслями к отчиму. И не о предстоящих пенсионных хлопотах думал. Только сейчас, под мерный стук колес, он неожиданно ощутил, как коротка человеческая жизнь. О том, что она коротка, он, разумеется, знал, но так остро, до волнения, почувствовал это только теперь.

Как же так? Этот как будто совсем недавно по-юношески стройный мужчина, мастерски игравший за станцию, за «Железку» в волейбол и приезжавший к ним на сиявшем хромом и никелем голубом трофейном велосипеде «Диамант» — неслыханная роскошь на селе в те послевоенные годы, — уже уходит на пенсию? И еще более непонятно, что он, ловкий и смелый, имевший в селе больше всех орден, нуждался сейчас в его, Рушана, помощи.

А ведь когда-то, мальчишкой, он с отчаянием думал, что пропащая у него жизнь, что стать таким человеком, как отчим, — неунывающим, веселым, справедливым, чтоб уважали друзья и враги, — он никогда не сможет, это казалось недостижимым. Да и мог ли Рушан тогда предположить, что Исмагилю-абы когда-нибудь понадобится

его помощь и он чем-то сможет быть полезен ему? Конечно, нет! Даже сейчас, через столько лет, Дасаев словно услышал в пустом коридоре радостный смех сильного, уверенного человека, — так смеялся отчим, еще ездивший в ту пору на голубом «Диаманте»...

На станции его встречала мать. Не видел ее Рушан лет пять, а Гульсум-апа в последние годы сильно сдала.

Мать у него долго была красивой и статной, не зря, наверное, завидный жених Исмагиль ее с двумя детьми взял, хотя в каждом доме невеста любого возраста нашлась бы. Трое, всего трое мужчин вернулось в Мартук с войны, а ушло... Лучше и не вспоминать.

Вросший окнами в землю дом, где родился Рушан и во двор которого когда-то лихо вкатывал на «Диаманте» Исмагиль-абы, стоял раньше у дороги. Теперь на этом месте был запущенный розарий. Его разбили давно, во времена всеобщего увлечения мартучан розами, а теперь здесь росли густые одичавшие кусты, как ни странно, ярко и щедро зацветавшие с тех пор, как оставили их без внимания. Вплотную к колючим кустам жался веселый штакетник, красно-бело-синий, так его всегда красил отчим, так же чередуются цвета и теперь. С обеих сторон невысокого заборчика в землю были врыты лавки. Толстые плахи, на которых нацарапаны дорогие для кого-то девичьи имена, потемнели, а одна чуть треснула. Дасаев хорошо помнил эти лавочки. Они — как и розы, а позже — персидская сирень, — были в свое время модным, но быстро прошедшим увлечением Мартука. У каждого дома, у каждого палисадника имелась лавочка, скамейка на свой лад, и в поселке считалось хорошей приметой, если по весне в скворечнике поселялись птицы, а молодые облюбовывали скамеечку у дома.

Дом строили, нанимая людей. Саман купили у цыган, промышлявших летом этим трудным ремеслом. Хотя отчим тогда и выглядел еще молодцом, но для тяжелой работы уже не годился. Зато архитектором, прорабом, бригадиром, снабженцем оказался отменным и, нанимая людей, знал, кто на что способен. Плотничал одноногий Гани-абы Кадыров. Какие песни пел за работой неунывающий, громогласный, единственный на все село башкир! Мать иногда, бывало, заслушается и обед то пересолит, то переварит.

Отстроились вовремя, потому что, как шутят нынче сатирики, прославленный скульптор Бенвенуто Челлини меньше брал в свое время за статую, чем сейчас плотник за обыкновенный дверной косяк. И такие резные наличники, такого веселого петушка на коньке крыши оставил на память о своей работе Гани-абы, что люди по сей



день останавливаются полюбоваться, проходя мимо их дома, а ведь об «излишествах архитектуры» они с отчимом не договаривались...

По дороге с вокзала Гульсум-апа, обрадовавшаяся сыну несказанно, но как будто уже жалевшая о своей затее, строго-настрого предупредила его, чтобы дома — ни слова о пенсии, а уж если и пойдет по делам, то осторожно, чтобы не дошло до отчима.

Мягкий, спокойный закат, обещавший на завтра ясный день, розово окрасил полнеба за огородами, когда они с матерью добрались до двора. Отчим, видно, только что закончил поливать из шланга зелень, цветники, запущенный розарий. Асфальтовая дорожка, нагретая за долгий день жарким солнцем, чуть дымилась. В воздухе стоял запах земли, сада, пахло так, как может пахнуть только в деревне после дождя. Исмагиль-абы стоял у самовара, подбрасывая из совка истлевающие рубиновые куски угля, чтобы медный красавец запел, — видимо, это было главным заданием матери, потому что тут же, в затишке летней веранды, гостя уже ждал стол, прикрытый от мух марлей в два слоя.

Отчим, на первый взгляд, изменился мало, только заметно поредел его седой ежик, которому Исмагиль-абы не изменял всю жизнь. Но лишь сейчас Рушан заметил, как мал и худ стал отчим, словно подросток. И что-то неуловимо изменилось в лице и речи, но он понял сразу, в чем тут дело: наконец-то отчим поставил зубные протезы.

Они как-то неловко, словно смущаясь, обнялись, и Дасаев ощутил острые лопатки отчима под теплой фланелевой рубашкой. Мать, наскоро что-то убрав, что-то добавив, пригласила мужчин к столу. Исмагиль-абы достал из ведра у колонки чекушку заолодевшей водки. Выпили за приезд и закусили малосольными огурцами, первыми своими. Слово за слово, отчим спросил — надолго ли, или опять на один-два дня?

— Наверное, надолго, — ответил Рушан и неожиданно добавил: — Соскучился я по дому... — и тут же понял, что не лукавил, сказал правду.

Ему было радостно ощущать на себе теплый, радостный взгляд матери, чувствовать ненавязчивое внимание отчима. Приятно было вдыхать порядком подзабытые запахи тлеющего самоварного угля, свежей кошенины, уложенной на просушку на крыше низкого сарая, удивляться по-деревенски пахучему аромату масла, молока. Ему хотелось пожить дома, куда он когда-то собирался вернуться навсегда и где бывал теперь только наездами.

Таких домов в Мартуке раньше не было, можно сказать, с немцев началось их строительство — больших, просторных, со стеклянными верандами. Теперь, правда, пошли еще дальше: и веранды сделали теплыми, и воду в дома провели, и отопление паровое не редкость.

Старики определили сына на «его» половине дома — большой зал с роскошным фикусом и темноватая спальня, так они были задуманы в проекте, ведь родители ожидали Рушана после учебы, надеялись и невестку увидеть в новом доме. Каждый раз, возвращаясь из отпуска или из командировки и заезжая на день-другой в родной дом, он размышлял, как бы сложилась его жизнь, вернись он в Мартук навсегда, и иной раз такой спокойной, безмятежной рисовалась она, что казалась похожей на сказку. Но Дасаев быстро отрезвлял себя и успокаивался, ибо в этой удобной жизни, рядом с отчимом и матерью, да и при крепком хозяйстве, не было места главному — его работе.

Конечно, вернись Рушан в Мартук, нашлось бы дело и для него. Но был бы он тогда как капитан без моря или летчик без неба, а работа для мужика — главное, это Дасаев усвоил в безработном поселке с детства.

Но дома, в Ташкенте, сверх меры наводненном дипломированными специалистами, три четверти которых составляли такие же выходцы из маленьких местечек, как и он сам, Дасаев иногда с некоторой жалостью думал о своих коллегах, не состоявшихся, по большому счету, инженерах, напрасно отирающихся в раздутых штатах многочисленных отделов и бюро. Как бы, наверное,годились их знания и умение у них дома. Этим людям, которые, по сути своей, не способны на масштабные дела, в малом, наверное, удалось бы показать себя, ведь строилась-то страна из края в край, — сейчас в любом самом затерянном уголке высится башенный кран. Но нет, привыкли, притерлись, так и живут по многим городам, иногда заходясь тоскующими воспоминаниями о родных хуторах, аулах, кишлаках, селах, несостоявшиеся горожане и не очень грамотные инженеры.

Утром, когда Рушан проснулся, отчима уже не было — промкомбинат, которому Исмагиль-абы отдал тридцать с лишним лет, начинал работать с половины восьмого.

Чай пили на веранде с распахнутыми в огород окнами. Дасаев пребывал в добром расположении духа, хорошо выспался и даже сны видел приятные, о давней, отроческой жизни. Мать, заметившая это, приободрилась, — вчера на вокзале ей показалось, что сын приехал скорее по долгу, чем по велению сердца. Но сейчас она видела,



как радует сына солнышко, гуляющее в огороде, пыхтящий самовар, заметила, какими соскучившимися глазами оглядывает он соседние дворы за плетнями, как тянется то и дело взглядом к жеребенку в казахском дворе, у Мустафы-ага.

Сидели они долго, Гульсум-апа дважды подкладывала из совка жаркие угли, чтобы не кончалась песня надраенного до золотого блеска восьмилитрового самовара.

Казалось, не иссякнут вопросы сына и не будет конца ее ответам,— за каждым ответом чья-то жизнь, так или иначе соприкасавшаяся с его давними днями. Но разговор их прервали — пришли две казашки, которых мать тут же усадила за стол. И, обращаясь к той, что старше, своей ровеснице, сказала, гордясь: «Вот, сын приехал в отпуск из Ташкента, большим инженером там работает». А та ответила, что помнит Рушана, как малым с другими ребятами он приходил к ним во двор поздравлять с гаитом¹ да жаль, не щедро одаривала, уж такое трудное время было, а сейчас, мол, милости просим, барана зарежем, гостем будете, хвала Аллаху, жизнь и к нам повернулась лицом.

Дасаев, выпив с гостями пиалу чая, отклонялся. Весь день не шло у него из головы, кто же эта аккуратная старушка в розовом бархатном жилетике и где, в какой стороне, ее усадьба, но так и не вспомнил, а ведь Мартук его детства был не так уж велик.

За последние пять лет многое изменилось: Украинская улица покрылась асфальтом, почти исчезли на ней старые дома, отстроились заново, считай, все. Да и старые саманные дома, что еще сохранились, обложены снаружи светлым кирпичом-сырцом — веселее, наряднее стала улица. Узнавая и не узнавая дворы соседей, на чьи огороды в детстве делал дерзкие налеты, а позже тайком рвал цветы для девочек, он незаметно прошел собес, здание под ржавой крышей. На его памяти там всегда ютилось районо в двух крошечных комнатах. «Ладно, успеется», — подумал он и не стал возвращаться.

Проходя мимо промкомбината, Дасаев замедлил шаг, а потом и вовсе остановился, захваченный воспоминаниями. Перейдя через дорогу, присел в тени акаций у веселого, желтой окраски дома, обшитого деревом.

Промкомбинат, главный кормилец Мартука, долго, до тех пор, пока не набрала силу целина, оставался в поселке единственным предприятием, где можно было получить работу. Рушан знал все

¹ Га и т — мусульманский праздник, подобный христианскому Рождеству.

ходы и выходы на его казавшейся тогда огромной территории, ведь не раз приходилось носить в сумерках отчиму скудный ужин, когда Исмагиль-абы задерживался в цеху до глубокой ночи. А в праздники, умытый и по возможности принаряженный, бегал сюда на утренники. Какие елки, с какой выдумкой, устраивала для поселковой ребятни артель (так в просторечии называли в селе промкомбинат)! А подарки, вручавшиеся «настоящим» Дедом Морозом, даже по нынешним меркам были истинно новогодними, ибо уже за два-три месяца начинали думать, чем порадовать детей, и людей равнодушных, способных хоть что-то урвать на этом или подсунуть залежалые печенья и конфеты, и на дух не подпускали к веселому празднику.

Дасаев поглядывал на вытянувшиеся вверх на три-четыре этажа новые цеха комбината. Он знал, что вон в том дальнем угловом здании, на втором этаже, отчим стегает ватные одеяла, а какие они получаются мягкие, из ярких атласов и цветной хлопчатки, с красивым узором-строчкой, он вчера видел сам. Одеяла хорошо раскупались в районе, а теперь и из других областей присылают заявки, успевай только стегать. Хотелось подняться к отчиму в цех и, никуда не спеша, посидеть рядом, не мешая, а потом вместе вернуться домой,— до обеда-то уже недолго. Но он решил, что успеется, нечего торопиться.

Вдруг подумалось, что стоило бы рассказать о волоките с пенсией парторгу комбината — отчим хоть и не партийный, зато ветеран, а не перекасти-поле, кому в трудовой книжке и штамп ставить некуда, к тому же фронтовик, орденосец.

Дасаев встал и решительно направился в одноэтажный флигель под цинковой крышей, единственное здание, оставшееся неизменным с прежних времен. Здесь, он помнил, издавна располагалась администрация. Но партком оказался на замке, а спрашивать кого-либо, по какому случаю закрыто, не хотелось, тут же до Исмагиля-абы дойдет: сын, мол, парторга разыскивал.

Он уже выходил из узкого темного коридора на улицу, как вдруг его окликнули. Обернувшись, Дасаев увидел тетю Катю, жившую раньше напротив, через дорогу. Сколько себя помнил, она всегда работала в бухгалтерии комбината.

Тетя Катя обняла Рушана, по-восточному похлопывая его по плечу, и они вместе вышли во двор.

— Сколько ж лет я тебя не видела?.. Помню, с Севера в отпуск на новоселье приезжал, тогда я еще плясуньей и певуньей была. Да, хороший дом отгрохал Алексей (она называла отчима на русский лад),

М

хвалился тогда, что женить тебя будет и внуки, мол, скоро по дому просторному побегут... Как, дети-то есть?

— Нет, холост до сих пор... — отчего-то виновато потупился Дасаев, но женщина продолжала делиться своим:

— Мы ведь получили казенную хату за железной дорогой, строятся нам, старикам, не по силам, да и не по деньгам. А дети, как и ты, разлетелись, не чаще, чем тебя, вижу. Как матушка? Я ее тоже давно не видела, вот, господи, в одном селе, называется, живем... Раньше-то я частенько у вас бывала, попила уж чаю из вашего самовара, бывало — с сахаром, бывало — вприглядку, всяко довелось. Иное время и вспомнить страшно. Слава богу, что на старость и к нам жизнь людская пришла. А ты чего к нам в артель пожаловал?

— Да вот, с парторгом хотел увидеться. Только вы уж, тетя Катя, отцу об этом не говорите, — попросил Рушан.

— А-а, понимаю. Характер у Алексея что кремень: дважды не просит. Слышала, в обиде он на собес. Это хорошо, что ты вызвался помочь старику, такое уж время бумажное: к каждой справке справка требуется, а иную бумажку добыть — просить надо, в пояс кланяться. А твой отчим смолоду такой: с голоду помирать будет, не унизится. На-страдалась, поди, твоя мать от характера его? Живет-то он правильно и от других того же требует, да люди-то все разные. Ты уж помоги старику. А у меня все давно готово, подсчитано, не больно, правда, много получается, но все проскребла, трижды просчитала, ничего не упустила. Не было ведь раньше денежной работенки в наших краях, хоть и надрывались порой до седьмого пота, да ты и сам, чай, помнишь...

Дасаев покивал головой, соглашаясь.

— Я отдам тебе, Рушан, папочку на время, посмотри сам, просчитай еще разок, дело нехитрое. Дам, хоть и не положено. С Алексеем-то нас ниточка связывает, с ним ведь уходил на службу, на его глазах погиб и им похоронен жених мой, Дмитрий. Дружки неразлучные, волейболисты первые на район они были с Алексеем в парнях... — она привычно вздохнула. — Так ты уж посмотри сам...

XXVI

Тоненькая папка на тесемочках хранила не только выписки из приказов, ведомости заработной платы за многие годы, расчеты и прочие финансовые документы, необходимые, чтоб установить размер пенсии

отчиму,— она хранила историю их семьи. По ней можно было проследить более чем тридцатилетнюю жизнь Исмагиля-абы, пожелтевшие листы бумаги возвращали Рушана к детству, отрочеству. Иногда в комнате, где он сидел за письменным столом, незаметно входила мать, она бережно, как обращаются с документами малограмотные люди, брала какую-нибудь бумажку, исписанную не потерявшими цвет фиолетовыми чернилами, и сразу узнавала в строчках, выведенных тонким ученическим пером, руку Кати Панченко, их бывшей соседки.

Поначалу Рушана удивляло, что мать, только глянув в ведомость, в строку, где были указаны жалкие гроши, что зарабатывал ее муж более чем двадцать лет назад, помнила, не вчитываясь в документ, чем занимался отчим именно тогда. И тут же, если была в настроении и не ждали дела, начинала рассказывать о чем-нибудь примечательном, памятном из того давнего года. Рассказывая, она тайком утирала слезы краешком накинутого на голову платка, а перед ним из полузабытых, смутных или вдруг озаренных яркой вспышкой памяти картин складывалась не только судьба их семьи, но и история артели, всего Мартука.

Память матери удивила сына еще и потому, что, проработав на одном предприятии много лет, отчим сменил десятки профессий, поди упомни. Нет, Исмагиль-абы не был летуном или неумехой. «Золотые руки, золотая голова»,— так все говорили про него, это Рушан и сам слышал не раз. Дело в ином: артель долгие годы была хозяйством маломощным, да и бестолковым, по правде говоря: чуть ли не каждый год открывались одни цеха и закрывались другие. Едва артель успевала набрать работников, обучить их и начать с трудом выполнять план,— люди уже радовались забрезжившей надежде на хорошие заработки,— как бессменный председатель артели Иляхин приносил нерадостную весть: закрывали один цех, как велела область, открывали другой. А через год, растеряв оборудование и людей, артель вновь спешно организовывала закрытое год назад дело. Каких только цехов не было за эти годы: и шорный, и швейный, и кондитерский... Даже сани — кошевые, легкие, быстрые, в которых разъезжали председатели колхозов всей области,— делали в Мартукской артели. Богата наша земля умельцами и толковыми мужиками, если даже в их небольшом селе за любую работу брались: хоть чесанки валять, хоть тулуп, полушубок справить, хоть шаль-паутинку связать, и все получалось — одно загляденье, до сих пор вспоминают люди...

А все закрытия начинались с увольнения. Но чаша сия миновала Исмагиля-абы: работник он бы умелый и безотказный, по праздникам,



при всех орденах, которым было тесно на его неширокой груди, сидел всегда в президиуме. Неудобно было бы с фронтовиком так поступать. Пряча глаза в пол или отводя в сторону, говорил обычно Иляхин: «Ты уж, Алексей, не обессудь, опять в новый цех учеником пойдешь, ты одолеешь...» Потому-то и встречались ведомости с графой, где отчиму причиталось по тем старым деньгам всего 280–320 рублей, а работали тогда не только по субботам, но и воскресенья частенько прихватывали.

Но мать помнила не только грустное; вдруг, казалось бы, не к слову вовсе, глядя в те же графы, она вспомнила, что это был месяц выборов. Тепло, с посветлевшим вмиг лицом, упоминала она по имени-отчеству забытых и полузабытых вождей, которые дать ей ничего хорошего в жизни не успели, кроме твердой веры в светлый завтрашний день. А Рашид, уже вполуха слушая мать, снова будто воочию видел радостные праздничные дни выборов в Мартуке.

Главный агитпункт, где проводились сами выборы, располагался тогда в школе, и по вечерам там уже за месяц до праздничного дня играла радиолоа, ярко горели огни. А в день выборов родители уходили голосовать затемно, когда он еще спал. Возвращались веселые, успев пропустить рюмочку-другую с друзьями, сослуживцами, родственниками,— дело не зазорное в такой всенародный праздник,— а мать еще и наплясавшись и под русскую гармонь, и под татарскую тальянку с колокольчиками. Приходили они всегда с чем-нибудь вкусным: апельсинами, халвой, ржаными пряниками или копчеными лещами — едой столь редкой и потому особенно памятной по праздничным дням...

Захваченные воспоминаниями, засиживались они с матерью иногда часами, а однажды проговорили до самого обеда, опомнились, только увидев у калитки отчима. Рушан от растерянности не все бумажки успел припрятать, но Исмагиль-абы, к радости матери, не обратил на них внимания...

За столом и позже, поливая с отчимом по вечерам огород или мастеря что-нибудь по хозяйству — дел в любой усадьбе всегда с избытком,— Рушан лишь изредка перекидывался с ним малозначащими фразами, а если и говорили, то только по делу.

Дасаев уже успел заметить, что мужчинам говорить с отцами своими с течением лет все труднее. И, наоборот, дочери с годами теснее сближаются со своими матерями, потому что сами обзаводятся детьми и постигают материнские заботы.

Детство Рушана и его сверстников прошло без особых ласк, без умильных вздохов над проказами мальчишек-сорванцов.

У родителей были заботы важнее — накормить да хоть как-то обуть-одеть малых, тогда это было главным. Уходили на рассвете, приходили с закатом, хотя заработанного едва хватало, чтобы свести концы с концами. До ласк, до нежностей ли было? Вот и он, хоть всего шесть лет ему исполнилось, ни разу не назвал отчима отцом, знал — его отец, танкист, погиб под Москвой. Да и позже никогда не называл его «ати»¹, а всегда «абы»², хотя, помнится, поначалу Исмагиль-абы, чтобы привык к нему парнишка, много времени на это потратил. Рискуя расшибить, ободрать сияющий хромом «Диамант», научил его раньше других мальчиков кататься на велосипеде. И санки, и коньки самодельные, и лыжи-самоструги были у Рушана самые лучшие, но так ни разу и не услышал отчим долгожданного «ати».

Вспоминая это, Рушан даже сейчас не мог понять причину своего детского упрямства. Ведь у многих не было отцов, а у него был, такой замечательный, веселый, да еще с орденами, — ему завидовали все мальчишки, считая, что дядя Алексей самый сильный в Мартуке, хотя и намного меньше ростом, чем отец Петьки Васютюка. А вот он так никогда и не назвал его отцом...

В отсутствие матери Рушан открывал окованный медью старый китайский сундук, где некогда хранилось девичье приданое бабушки. В узком боковом отделении лежали ордена и медали Исмагиля-абы. Даже по нынешним скептическим меркам людей, не нюхавших войны, награды отчим заслужил высокие, и было их действительно много — девять. А первый орден отчим получил в тридцать девятом, на озере Хасан. Рассматривая вновь эти ордена, к которым в детстве его тянуло как магнитом, Рушан вспоминал, что раньше, хоть и трудно было, голодно, но часто приглашали гостей, и в праздник отчим не забывал надеть награды.

Водкой баловались только по большим праздникам, ставили бутылку-другую в красном углу стола для дорогих и редких гостей: не по карману мартучанам была она. А готовили хозяева, ждавшие гостей, за неделю-две до праздников «бал» — разновидность русской бражки-медовухи. Напиток не крепкий, но хмельной, и делали его в каждом доме по-своему. Людей, гнавших подобное зелье на продажу, тогда не было, и власти смотрели на производство бала «для себя» сквозь пальцы.

¹ Ати (тат.) — отец.

² Абы (тат.) — дядя.



Рушан, перебирая ордена и медали, вспоминал, что обычно в такие дни отчим прилаживал на свой военный китель только два ордена,— теперь-то он знал им цену, этим орденам Славы. Но это было давно-давно, когда отчим со своей матерью, бабушкой Зейнаб-аби, только переехал к ним насовсем, тогда Исмагиль-абы еще разъезжал на «Диаманте» и не пропускал ни одной игры в волейбол за «Локомотив» — станционную команду, честь которой защищал еще до войны.

Раньше — Рушан помнил хорошо, поскольку об этом говорили и сопливые мальчишки, и соседки всегда судачили,— за ордена и медали выплачивали деньги, не ахти какие, правда. Но поскольку у отчима наград таких было немало, и если учесть, что в Мартуке каждая копейка ценилась, ибо заработать ее было особенно негде, и эти деньги были подспорьем. С наградных-то денег и баловал иногда Исмагиль-абы семью. Но выплаты очень скоро почему-то отменили. В Мартуке, правда, событие это почти никого, кроме отчима, не задело, но как огорчился Исмагиль-абы, Рушан помнил. Ведь выплаты были не только подспорьем семье, а поднимали его в глазах сельчан: не просто фронтовик, а воевал как надо, потому и почет, награды,— и вдруг разом лишили всего.

Маялся отчим еще и потому, что находились люди, которые намеренно подначивали его, называли ордена «железками». Помнит Рушан, как у них дома на октябрьские праздники отчим подрался из-за этого с каким-то мужиком, приехавшим из Оренбурга с мелочной торговлей.

— Провокатор, сволочь! — кричал по-русски разъяренный Исмагиль-абы, и рыжие веснушки, словно кровь, горели на его мертвенно-бледном лице.— Я бы таких, как ты, расстреливал на месте, гнида, спекулянт...— ярился он, удерживаемый могучим дружкойм Васятюком...

А мужик, ретируясь, показывал кукиш и зло огрызался:

— Вояки... обвешались, как казашки, побрякушками и хотите тут порядки фронтовые завести... Поплачете, хлебнете еще горюшка на гражданке со своей совестью и правдой, генералы бесштаные...

С тех пор, Рушан помнит, отчим реже стал доставать из сундука ордена. Но гулянок с дракой, руганью он больше не припомнил.

Чаще всего бывали у них дома одни и те же люди: Васятюк, соседи Панченко, несколько оренбургских татар — отчим был родом оттуда,— одна-две вдовы, подружки матери, и всегда Гани-абы, плотник с деревяшкой вместо левой ноги, первый песенник и гармонист.

А какие песни — татарские, башкирские, русские, украинские — певали на этих вечеринках! За песни больше всего и любил гостей Рушан. А иногда вдруг — тогда еще много говорили о прошедшей войне — заводили разговор о своих солдатских путях те, кто собирался за столом. Обычно начиналось со слов: «а вот в Германии...» или «а в Польше...» И разговор чаще всего шел о мирном: об укладе, привычках, нравах, хозяйствовании, о скоте... Но иногда вспоминали и о боях — жестоких, кровавых... Да разве можно было избежать этой темы? — «а в Германии», «а в Польше» остались навечно друзья, товарищи, земляки...

Отчим, как ни странно, уклонялся от таких разговоров, но всегда находился в компании новый человек, не знавший о его наградах, и, естественно, спрашивал: а этот орден за что, а тот? Исмагиль-абы отвечал односложно: за выполнение особо важного задания. Но изредка, то ли под настроение, то ли подогретый воспоминаниями своего друга Васютюка, рассказывал и он.

Из этих рассказов у Рушана постепенно сложился образ отчима того, военного времени. Ныне в этом не по возрасту сильно сдавшем старичке, немногословном, тихом, очень трудно было признать солдата, и не робкого десятка. И Дасаев, перебирая ордена, возвращался в мыслях к давнему образу, нарисованному детским воображением.

Воевал Исмагиль-абы в разведке, а точнее — обеспечивал разведке связь. Забираясь в тыл, подсоединялся к вражеской сети, а офицер, знавший немецкий, прослушивал разговоры. Разумеется, в таких ситуациях не раз и не два приходилось сталкиваться с немцами нос к носу, ведь всю войну он воевал на территории противника, оставляя за спиной многие километры ничейной, нейтральной территории, даже просто пройти по которой было делом нелегким. Отчим был огненно-рыжим и, наверное, действительно смахивал чем-то на немца. Почти всю войну он прошел в форме солдата вермахта, тщательно подогнанной полковыми портными. Форма эта была у него на все сезоны, и даже автомат, с которым он не расставался ни днем, ни ночью, был немецким «шмайссером».

Из рассказов, услышанных в детстве, Рушану больше всего запала в память одна сцена. Отчим под носом у немцев подсоединяет к сети на столбе провод для подслушивания. Экипировка, наушники, инструмент — все чин чинком, немецкий связист, да и только. А рядом, в густом кустарнике, товарищи, — ждут, когда сержант, спустив незаметно по столбу провод, дотянет его до офицера, знающего язык.



И вдруг, совершенно неожиданно, появляются немецкие солдаты, человек пятнадцать. Завидев связиста, они что-то весело кричат и смеются. Сержант, опережая их, делает единственно возможное — топорливо берет в зубы концы проводов и, так же весело улыбаясь, машет в ответ рукой. Рукава закатаны по локоть, руки и лицо густо усыпаны яркими веснушками — весна. Веселый храбрый Ганс, на тонкой шее болтается «шмайссер», а у столба лежит ранец телячьей кожи, загляни ненароком — все немецкое, до губной гармошки. Все продумано в разведке, но главная надежда — на выдержку, хладнокровие, на характер...

Даже через годы Рушан словно чувствует, как предательски подрагивают ноги отчима, того и гляди «когти» сорвутся, как руки невольно тянутся к вмиг потяжелевшему «шмайссеру», но нельзя, и он долго-долго, сквозь холодный пот, улыбается и машет немцам, признавшим в нем своего...

XXVII

Недели, даже десяти дней, как рассчитывал Дасаев, оказалось недостаточно, чтобы уладить дела, но, откровенно говоря, все это время он почти не вспоминал о путевке в Алушту. На послезавтра он наметил поездку в Оренбург, и не потому, что хотел встретиться с городом юности, хотя поездка и этим была приятна, главное, нужно было внести в метрику отчима поправку в отчестве и уточнить для собеса дату рождения.

Юные девицы из собеса и довольно молодая дама, их начальница, ни заглядывать в справочники, ни выслушать аргументы самого Дасаева не пожелали — как понял он, здесь вообще мало кого выслушивали, и любимой пословицей, повторяемой много раз на дню, была: «Москва слезам не верит», хотя Дасаев и возразил, не сдержавшись, что Маргук далеко не Москва. Быстро оценив ситуацию, а главное, почувствовав непробиваемую стену равнодушия, он понял, что в любом случае они останутся правы, а пожалуешься — так отделаются выговором, который, по их же словам, им «до лампочки». Рушан смирился и решил все же представить документ, где в отчестве вместо «в» будет «ф», а в метрике вместо пятого марта указано девятое. А то, что этот человек тридцать с лишним лет ходил по соседней улице на одно предприятие, никого совершенно не волновало.

Выехал он ранним утренним поездом. Дорога была близкой, но стала она как бы длиннее, потому что поезд до Оренбурга шел теперь не пять, а шесть часов, явление при нынешних скоростях совсем уж необъяснимое. Проходить в вагон Рушан не стал, хотя места имелись и была возможность подремать еще часок-другой, да и молодая проводница настойчиво приглашала, но он так и остался в громыхавшем безлюдном тамбуре.

Протерев носовым платком давно не мытое окно, Рушан глядывался в набегавшие станции, разъезды. Путь этот он одолевал многократно, когда-то, как считалочку, мог быстро-быстро назвать разъезд за разъездом, станцию за станцией от Мартука до Оренбурга и в обратном порядке. А вот теперь узнавал только некоторые: Яйсан, Акбулак, Сагарчин... Выпали, выветрились из памяти названия знакомых местечек, да и изменились те очень, разрослись, одни названия и остались.

В тамбуре ему припомнилось и долго не шло из головы вчерашнее, казалось бы, незначительное происшествие.

Утром мать, достав из все того же сундука, где хранились ордена, с десяток облигаций сорок седьмого года, попросила его проверить в сберкассе: может, и попали они под погашение, многие сейчас, мол, выигрывают.

Часа два он провел в книжном магазине, где, на удивление, оказались нужные для него технические книги и справочники. Отобрав по нескольку экземпляров и для библиотеки треста, он вспомнил наказ матери и заглянул в сберкассу, где, к своей радости, выиграл тридцать рублей. Родители, потеряв надежду, что сын вернется к обеду, уже сидели за самоваром, когда он, улыбающийся, торжественно передал матери три новенькие хрустящие десятирублевки. Странно, неожиданно свалившиеся деньги не вызвали радости ни у матери, ни у отчима. Дасаева это настолько удивило, что он шутливо спросил:

— Так разбогатели, что и тридцать рублей вам уже не деньги?

Но шутка, как он понял, оказалась неуместной.

— Ах, сынок,— ответила мать, тяжело вздохнув,— в сорок седьмом каждая эта бумажка была четвертой частью зарплаты отца, а сейчас это всего лишь бутылка водки, а как нужна была нам каждая десятка, даже не сотня, ты должен бы помнить...

Рушану кусок в горло не лез за обедом, и даже теперь, в безлюдном тамбуре, он чувствовал, как краска стыда заливает лицо. И под грохот колес, поеживаясь от утренней прохлады, Рушан вспомнил сорок



седьмой год. В конце той зимы умерла бабушка Зейнаб-аби, мать отчима. Умерла неожиданно — тихо, незаметно, как и жила. По мусульманскому обычаю покойника хоронят в тот же день, завернув в белую ткань. Дома, да и у знакомых не нашлось не только метра новой ткани, но даже подходящей простыни — по бедности можно было и этим обойтись. Материю в магазинах продавали редко, да и то на паевые книжки, которых у них не было, а главное, денег в доме — ни копейки. Зима выдалась лютой, на один кизяк уходило почти ползарплаты Исмагиля-абы, а тут еще ежемесячно удерживали на заем. Мать уже и не знала, к кому идти занимать, а отчим... Разве мог он у кого-то что-нибудь попросить? Ну, только у соседа Васютюка, но тот жил еще беднее...

Рушан помнил, как Исмагиль-абы сначала сидел, нахмурившись, потом вдруг встал, торопливо оделся и, сняв с крюка висевший тут же в комнате бережно смазанный на зиму «Диамант», главное украшение и гордость дома, единственный трофей с войны, исчез с ним в разгулявшемся буране. Через час он вернулся, нагруженный свертками (в доме как раз ни щепотки чая, ни кусочка сахара не было). Прихватил отчим и две бутылки водки, а оставшиеся деньги передал матери. Помнит Рушан, как бегал по бурану из дома в дом, извещая, что бабушка умерла. И потянулись в метель к заовражному кладбищу старики и молодежь, в основном безработные. И, что странно, — несмотря на лютой холод, выкопали могилу быстро и легко. А мать только к обеду смогла найти двадцать метров марли, в которой и схоронили Зейнаб-аби.

Много лет спустя услышал Дасаев, как на каких-то пышных похоронах кто-то ехидно заметил, что Исмагиль, герой-орденоносец, родную мать в марле схоронил, на десять метров бязи не раскошелился. Но драться на этот раз отчим уже не стал — укатали сивку крутые горки, да и перегорела, улеглась боль. А «Диамант», который Рушан с завистью и стыдом ожидал увидеть весной у кого-нибудь из ребят, так никто больше и не видел в Мартуке, словно в воду кануло это трофейное чудо...

Вышагивая из края в край тесного и узкого тамбура, Дасаев припомнил еще один случай, связанный с той дорогой и отчимом. Тогда уже не было ни бабушки Зейнаб, ни голубого «Диаманта», и учился он не то во втором, не то в третьем классе.

В начале весны закрыли валяльный цех, или, как его еще называли, — пимокатный. Отчим валял плотные войлочные кошмы.

В ветреном степном краю они незаменимы и пользовались большим спросом у казахов, заменяя ковры. Там же он делал и валенки, и легкие, изящные белоснежные чесанки из мериносовой шерсти, в основном женские. Ремеслу этому он учился дольше всего. Непростое и нелегкое дело — валенки валять. Целый день находится пимокатчик в мельчайшей едкой пыли низкосортной шерсти, в шуме, грохоте, а главная трудность в том, что все — руками, на ощупь делается, никаких тебе приборов, когда надо толщину или плотность измерить. Не чувствуют руки материала, значит — брак, а ОТК, глуховатый Шайхи, лютовал, ибо работы никакой не знал и не любил, на лютости лишь и держался. Но постиг Исмагиль-абы и это ремесло, и появились в ту зиму у матери чесанки — одно загляденье, а у Рушана черные валенки — мягкие, теплые. Вот этот цех по какой-то причине и закрыли. Многих тут же сократили, отчима, правда, оставили, но работы никакой не предложили, не прозвучало на этот раз спасительное «пойдешь учеником»...

На работу Исмагиль-абы выходил, что-то там делал, короче, был на глазах у начальства. В те дни и предложил отчиму Гимай-абы, мездровщик с кожзавода (заводом назывался маленький цех артели), варить мыло. Мездры, мол, и поганого жира с плохо снятых кож предостаточно, а достать каустическую соду и химикаты артели под силу.

Быть золотарем или мыловаром считалось в поселке делом последним даже среди не имевших работы, но отчим, мужик молодой, едва за тридцать перевалило, раздумывать не стал, согласился, хоть и знал, наверное, что ни на волейбольную площадку, ни в кино ему теперь не ходить, ведь от мыловара разит за квартал.

Запах мыла, которым пропитался в тот год их дом, Рушан помнил много лет, и от одного вида вязкого хозяйственного мыла ему до сих пор делается не по себе.

С идеей производства мыла и зашел отчим к Иляхину. Ответ был короток: сделай ящик мыла, которое в области можно показать, а остальное, мол, за ним. Разрешил директор, на свой страх и риск, занять две комнаты на кожзаводе, котлы дал, угля выделил, бочку соды не пожалел, все, что на складе нужным для работы оказалось, выписал, хотя и не положено было.

Мыло в Мартуке и до войны не варили, и подсказать-показать было некому. Гимай-абы, подавший идею, тонкостей дела не знал, посоветовал съездить в Оренбург, объяснил, что мыло там татары варят, небось не откажут в совете, на всякий случай адрес одного кожевенника дал.



В тот же день повеселевший Исмагиль-абы распрощался с домашними и отправился на вокзал. На дворе уже стоял май, теплынь и благодать, и Исмагиль-абы, греясь на солнышке на крыше мягкого вагона, быстро добрался до Оренбурга. Только пришлось прыгать на ходу на Меновом дворе — на вокзале милиция вылавливала безбилетников.

В городе отчим дела уладил быстро. «Видать, здорово приперла жизнь, если такой молодой и удалой мыло варить решился», — сказал рябой и лысый старшина мыловаров. А узнав, что Исмагиль-абы фронтовик и земляк, секретов не утаил, все рассказал. И полмешка всяких химикатов дал на первое время, поверил на слово, что рассчитается в лучшие времена рыжий сержант в отставке.

Возвращался Исмагиль-абы тем же путем, что и приехал, только садиться на скорый поезд с пудовым мешком было не просто. Но не зря он воевал в разведке, к тому же мягкие вагоны тогда имели лестницы с глубокими подножками. На ходу закинул отчим мешок на подножку одного вагона, а на подножку другого, спального, успел прыгнуть сам, потом по крышам добрался до заветного мешка и, подняв его наверх, ехал, насвистывая и радуясь удаче.

В то время в Среднюю Азию, к теплу, тянулось немало уркаганов. Ехали они, как и отчим, на крыше, по пути задерживаясь в городах и селениях, но конечной целью их был далекий хлебный Ташкент.

И вот компания таких удалцов поднялась на крышу на какой-то станции. Отчим заметил их не сразу — только оглянувшись случайно, увидел, что меньше стало народу на крышах: компания сгоняла, отбирая пожитки, тех, кто не сумел постоять за себя. Когда до него осталось вагона четыре, Исмагиль-абы решил пройти к голове поезда, к самому паровозу, где было совсем уже грязно от дыма и копоти трубы, — таких мест обычно избегали все. В худшем случае он решил спуститься и пройти в вагон, хотя был велик риск нарваться на ревизора.

Беспокоился отчим за мешок — новый, крепкий, джутовый, одолженный у Гимая-абы на поездку в город. Урки, скорее всего, вытряхнули бы все, а мешок оставили как подстилку на жесткой и грязной крыше — очень удобная штука. Когда Исмагиль-абы поднялся и торопливо направился к голове поезда, то, оглянувшись, увидел: его с мешком заметили и быстро побежали за ним. Не желая потерять добро — до Мартука уже рукой подать, — побежал и отчим. И вдруг с ужасом вспомнил, что сейчас, через сотню метров,

после крутого поворота — длинный Каратугайский мост через реку Илек. Он бросил мешок и, обернувшись к преследователям, замахал руками и истошно закричал: «Мост! Мост! Мост!» Едва он повалился на крышу, как состав, громыхая, застучал по мосту.

Когда, миновав оба пролета, состав выскочил из кружевных арок, Исмагиль-абы повернул голову и увидел, как поднимались парни в клешах. Слегка побледневшие, они подошли к лежавшему Исмагилю-абы и предложили закурить.

— Что везешь, мужик? — спросил тот, что угостил «Казбеком».

— Золото,— ответил равнодушно Исмагиль-абы.

В ответ парни дружно рассмеялись, разгоняя последнюю бледность с молодых лиц, и все тот же, видимо, главарь, спросил:

— А на крыше, миллионщик, ради экзотики катишь?

— Душно в спальном,— ответил отчим в тон.

— А в мешок заглянем: любопытно все-таки, за что чуть жизни молодой не лишились. А, в общем, ты, мужик, не слабак, страх не затуманил мозги, вспомнил про мост. Спасибо, век помнить будем,— и он протянул ему крепкую руку в ссадинах и порезах.

— Ну и вонища! — брезгливо сморщился тот, что сунулся в мешок.

И пришлось Исмагилю-абы рассказать, зачем он ездил в Оренбург, да и про свою жизнь в пристанционном поселке тоже.

— Да брось ты все, провоняешь этим мылом насквозь, да и денег не загребешь, поедем лучше с нами. Мужик ты ловкий, в Ташкенте как-нибудь определимся,— предложил главарь, но отчим, поблагодарив, отказался.

Прямо на ходу один из компании спустился в ресторан и вернулся на крышу с водкой, вином и закусками, каких Исмагиль-абы давно уже не видел. Так, пируя на крыше ресторана, доехал он до дома. На прощание новоявленные «друзья» дали ему буханку белого хлеба и красную тридцатку...

XXVIII

В Оренбурге Рушан пробыл четыре дня. Архивы махалли Захид-хазрат, где родился Исмагиль-абы, частью пропали в гражданскую, когда на постое в квартале стояли дутовцы, а потом перевозились не раз из помещения в помещение, а немецкая пословица не зря



гласит: «Два переезда равны одному пожару». Да что там давнее! Он с трудом отыскал два письма матери, которые она отправила в архив три месяца назад, и на которые не было ни ответа, ни привета. Но здесь уж Дасаев стучался не только в разные двери, но и стучал по столу во многих кабинетах.

Оренбург изменился здорово, с тех пор как открыли здесь газ, население удвоилось. В какой конец города ни заедешь, везде жилые массивы — одноликие, без фантазии: что в Ташкенте, что в Туле. Считай, не стало еще одного старинного русского города с неповторимым ликом, зато появился новый индустриальный гигант. И любимый Дасаевым Урал там обмелел дальше некуда, а берега, окаймленные некогда буйной зеленью лесов, вызывали жалость. В общем, поездка огорчила, единственным утешением служили две добытые с большим трудом маленькие справки.

Отпускные дни таяли один за другим. Дасаев, не столько от сознания исполненного долга, а скорее от приобщения вновь к своему корню, роду, какого-то неясного ощущения близкого родства с краем, людьми, домом, рекой, всем окружавшим его в эти три недели, находился в таком душевном равновесии, душевном покое, какого давно уже не знал.

Сдав документы в собес, он часто ездил на велосипеде или ходил пешком на Илек: загорал, купался, пытался рыбачить. Но даже на самых жирных червей и щедрую, обильную приманку ловилась мелочь — рыбу извели подчистую. Вечером он старался поспеть к приходу отчима, ибо привык к неторопливому ужину, беседе после трудового дня. Потом они вместе поливали огород, делали что-нибудь по хозяйству, а позже, помогая друг другу, ставили самовар.

Из бумаг, отданных тетей Катей, Дасаев узнал, что отчим в разные годы шил кепки и шапки-ушанки, тачал сапоги и работал шорником, варил не только мыло, но и конфеты, одно лето был механиком на поливных огородах артели, а еще мельником, даже полгода в начальниках ходил — подменял заболевшего кладовщика. Не работал только на пилораме и в столярке, да кольца бетонные для колодцев не лил. И Дасаев думал: «Если бы в Мартуке была шахта — отчим вкалывал бы шахтером, были бы заводы — стал бы рабочим. Он и сам не раз жалел, что в их краях нет ни завода, ни большой фабрики — его сметке и умелым рукам нашлось бы дело...»

На реке Дасаев часто и подолгу размышлял о жизни отчима. Не была она устлана розами, скорее, шипами из металла крепкого

сплава, но никогда, даже в дни отчаяния, Исмагиль-абы никого не ругал, а уж имел право, наверное, сказать: «За что воевали?» Но не говорил он таких слов ни трезвым, ни во хмелю.

Раньше, возвращаясь то из Ялты, то из Сочи, Рушан заезжал на денек-другой к старикам. Те, конечно, интересовались, как там в Сочи или Ялте. Города эти они видели на открытках, да еще в кино. Но никогда ни мать, ни отчим не сказали, что они всю жизнь проработали, а так ничего и не повидали. Вспомнилось ему это потому, что в расчетах на пенсию двадцать один раз встречалась графа «компенсация за неиспользованный отпуск». Поначалу смысл этих строк до него не доходил, пока вдруг его не озарило — двадцать один год без отпуска! Он хотел кинуться к матери и спросить: как же так? Но сам же остановил себя — зачем возвращать мать к грустным дням...

Взволнованный открытием, он несколько раз пересмотрел бумаги, но они бесстрастно подтверждали — двадцать один год. Рушан вспомнил, как часто здесь, у родителей, за самоваром жаловался, мол, устал, заработался, второй год без отпуска. А они, добрые милые старики, ни разу не сказали ему ничего обидного, не укорили своей жизнью, а лишь сочувствовали.

«Какое пижонство! Какое глупое пижонство! И перед кем? Перед собственными родителями!» — со стыдом думал сейчас Дасаев.

По вечерам иногда приезжал он на речку еще раз — верхом на лошади. Сын соседа Мустафы-ага, Мукаш, работал в колхозе бригадиром и, как истый казах, любил лошадей, даже собственного скакуна для байги имел. На областной байге чабаны предлагали за вороного Каракоза на выбор «жигули», что стояли у ворот ипподрома, но Мукаш даже не глянул с высоты скакуна на лаково-цветной ряд. Каракоза и давал Рушану выезжать Мустафа-ага по вечерам, потому что началась уборка и Мукаш дневал и ночевал в поле — не до коня было.

Перед самым отъездом пришел Мукаш с печальной вестью о Мустафе-ага. Мать доила корову, а Рушан, рано проснувшийся, вызвался выгнать ее в стадо — хотел в последние дни хоть чем-то помочь матери.

— Умер отец, умер Мустафа-агай, — сказал появившийся во дворе Мукаш.

Осунулся, почернел, неся из двора во двор печальную весть, красавец Мукаш, весельчак и первый джигит.

Мать пошла будить отчима, а когда Рушан вернулся, проводив Зорьку на выгон, Исмагиль-абы правил во дворе лопаты — штыковую



и грабарку. Тут же рядом, на земле, лежал лом. Пойти копать могилу Мустафе-ага вызвался и Рушан.

— Иди, иди, сынок,— сказала Гульсум-апа и вынесла из дома деньги — рублей двадцать, трешками и рублевками.— Иди, посмотришь последних наших стариков, ты должен их помнить. Они отца твоего ровесники, когда ты еще приедешь сюда... Попрощайся с аксакалами... А деньги раздай, когда они молиться будут, обычай такой. Пусть помолятся за Мустафу-агая, мир праху его, добрый человек, хороший сосед был... — напутствовала она сына до самой калитки.

Из переулков, улиц тянулись люди с лопатами к заовражному кладбищу. Кто-то из седобородых уже определил последнее место Мустафы-ага на земле, и теперь, прежде чем начать рыть могилу, поджидали стариков, совершавших утренний намаз. Да ждали еще муллу, бывшего бухгалтера, пенсионера Миннигали-бабая. Как бы ни жил, кем бы ни был человек, хоронить его надо тихо, покойно, без суеты, а медь, оркестры, речи менее всего подходят такому случаю, единодушно считали аксакалы Мартука.

Вряд ли истово верили в Бога собравшиеся здесь старики, вчерашние поденщики, разнорабочие, гуртоправы, месяцами перегонявшие стада на далекие мясокомбинаты Семипалатинска. Да и «мулла» Миннигали едва ли знал больше двух молитв, которые, наверное, вы зубрил, когда общество возложило на него, мало-мальски грамотного старика, столь важную миссию.

Могилу копали молодые парни и мужчины. Работали быстро, людей-то собралось много. Только в самом начале, когда не ушла могила выше колен, старики символически, самой легкой лопатой, выкинули по одной грабарке. Даже Рушану, хоть и он не отходил от ямы, не много досталось покопать.

Исмагиль-абы не стал дожидаться молитвы у свежевырытой могилы, а, наказав сыну прихватить домой инструмент, направился домой,— на работу было пора. Рушан оставался до конца, а когда опускали Мустафу-ага, принял его с Мукашем внизу и уложил на специальной доске в боковую нишу.

Когда все разошлись, Рушан еще задержался на мазаре. Кладбища мусульман особой ухоженностью не отличаются, нет у них и особого культа умерших, столь обременительного для оставшихся родственников,— в основном крашеные железные оградки, а то и просто «таш» — бетонная глыба, что безвозмездно ставил каждому мудрый и справедливый мясник Барый-абы Шакиров, пока был жив.

Кладбище без цветов, без привычной яркой зелени, поросло серой полынью и колючим татарником. Дасаев осматривал надгробные камни, припоминал знакомые фамилии, а иногда и самих людей. Когда уже шел к выходу, взгляд упал на покосившийся камень, и он решил поправить его: может, и некому в целом свете навестить могилу.

Установив тяжелый камень как полагается и подровняв холмик, он с трудом прочитал на выкрошившемся бетоне: «Кашаф Валиев. 1923–1949», а чуть ниже с трудом разобрал надпись: «Онытмагыз безне»... Из тридцатилетней давности обращался к нему двадцатилетний парень: «Не забывают нас...»

Кашаф Валиев... Кашаф... Рушан без труда вспомнил одного из трех парней, вернувшихся с войны. Не дожил, много не дожил до светлых дней Кашаф, а значит, из тех парней, ушедших на войну, остались двое: отчим и Васятюк. «Не забывают нас... не забывают нас...» — словно сквозь время кричал печальноглазый Кашаф.

По вечерам Дасаев с отчимом сидели во дворе на айване, который на узбекский манер сколотил Рушан, чем удивил Исмагиля-абы и обрадовал мать. Отчим, хотя и крепился, очень уставал на работе: шутка ли — целый день на ногах. Айван оказался кстати — подложил под локоть подушку, отчим полулежал, покуривая неизменные дешевые сигареты «Прима». Курил он по-старомодному, пользуясь мундштуком, да и сигареты держал в портсигаре. В такие минуты Рушан иногда ощущал, как наплывает какое-то новое чувство к этому человеку, хотелось подойти и сказать или сделать что-нибудь приятное.

Никогда раньше он не понимал, не задумывался, как гордо, по-мужски, не унижаясь, не расплескав на долгой и трудной жизненной дороге достоинства, прожил Исмагиль-абы. Не унижал и не позволял, насколько мог, унижать достоинство других.

В этот приезд мать рассказала ему о случае, который произошел лет десять назад. В тот далекий год совсем худо было с сеном — не то чтобы засуха, а просто колхоз не заготовил: некому было работать, а желающим накосить под пай не разрешили, и сено в цене подскочило невероятно. Кто помоложе да с транспортом, из других районов и областей привезли. Тогда кто-то и надоумил мать написать в военкомат: в те годы как раз и начали вроде о льготах фронтовикам поговаривать. Написала мать, так, мол, и так, помогите фронтовику, орденоносцу, человеку преклонных лет и слабого здоровья. Конечно, ни слова об этом Исмагилю-абы не сказала. Его ответ мать знала заранее: «Я воевал не за то, чтобы по льготам сено получать».



Прошло несколько дней, и как-то под вечер к ним зашел капитан, новый работник военкомата. Конечно, не обошлось без самовара на столе. Капитан расспрашивал отчима обо всем: о жизни, работе, о сыне, и о наградах тоже. Исмагиль-абы воспрянул духом, повеселел, орлом глянул на Гульсум-апа: вот, мол, через сколько лет вспомнили, интересуются... Спросил гость ненароком и о корове, и о сене. Хозяева, ободренные вниманием, вдвоем выложили свои тревоги и насчет коровенки — где ж им триста пятьдесят рублей на машину сена добыть. Тут капитан и предложил: а хотите, мы, мол, пристыдим через военкомат вашего сына в Ташкенте, пошлем письмо на работу, пусть поможет родителям деньгами. Секунды хватило, чтобы отчим понял, чем был вызван визит «любезного» капитана. Хоть с почтением он относился к властям и умел держать себя в руках, а тут не стерпел и показал оторопевшему капитану на дверь. Даже допить чаю не дал, отобрал пиалу из рук. А уж матери досталось — до сих пор помнит, потому и с пенсией такую конспирацию затеяла...

Уезжать, не узнав окончательного результата, Рушану не хотелось, и он уже собирался дать телеграмму на работу, что задерживается дня на два-три, как к обеду Исмагиль-абы вернулся радостный и возбужденный. За столом спросил у матери, показывая взглядом на холодильник, есть, мол, что-нибудь? Она поначалу и не поняла: муж никогда не пил в рабочее время. И потому, достав бутылку «Пшеничной», оставшуюся с банного дня, не преминула напомнить ему об этом.

— Все, отработался, шабаш! — озорно улыбнулся Исмагиль-абы, разливая остатки по рюмкам.

И стал рассказывать, как перед самым обедом вызвали его в отдел кадров и объявили, что пенсия ему определена и будет получать он ее второго числа каждого месяца, значит, уже через неделю.

— Семьдесят два рубля, мать, семьдесят два рубля! — радовался отчим. — Переплюнул я все-таки Шайхи, у него только шестьдесят восемь... А семьдесят два, мать, нам хватит, нам немного нужно, верно я говорю? — вновь и вновь обращался к матери ошалевший от неожиданной радости Исмагиль-абы.

После обеда все в том же приподнятом настроении Исмагиль-абы отправился на работу, чтобы закончить последнее одеяло и сдать числящийся за ним инвентарь и инструмент. Признался все-таки отчим, что чертовски устал и очень рад пенсии. Рушан,

подмигнув матери, пошел укладывать чемодан и упаковывать книги — решил ехать в Ташкент утренним почтовым поездом. А мать поспешила к соседке звать на помощь, — договорились на вечер гостей пригласить: и пенсию долгожданную отметить, и, заодно, проводы сына.

Тщательно укладывая книги в коробку из-под болгарского вина, выпрошенную накануне в сельмаге, Рушан вдруг задумался, почему отчим в такой важный для себя день вспомнил Шайхи и его пенсию. Он, конечно, знал, что у Исмагиля-абы с Шайхи было давнее скрытое соперничество. Борьба, правда, была неравная, на разных ступенях общественного положения стояли они: Шайхи, с таким же начальным образованием, как и отчим, благодаря партбилету умудрился всю жизнь проходить в начальниках, всегда «оценивал», «инспектировал», «курировал», «принимал» работу отчима.

Шайхи, человек недалекий, ничего в жизни толком не умевший, люто завидовал золотым рукам и светлой голове рыжего Исмагиля. Он всегда ждал, что вот-вот сломается Исмагиль, устанет ходить в учениках с седой головой и запьет, а тут ему и под зад коленкой как прогульщику и пьянице можно будет дать, — и такую комиссию возглавлял глуховатый малограмотный Шайхи. Но нет, держался солдат, не жаловался, по инстанциям не бегал, ничего для себя не выпрашивал.

А сколько сотен кепок, сколько десятков пар валенок отметил Шайхи Исмагилю-абы третьим сортом, а то и браком! — думал, что придет Исмагиль и попросит: не лютуй, мол, Шайхи, пожалей. А сколько пар валенок, тапочек, сколько кепок и шапок, будто бы взятых на экспертную комиссию, недосчитался отчим, хотя как истинный мастер узнавал свою «бракованную» продукцию на домочадцах, родне и дружках Шайхи! Никогда отчим не кинул ему в лицо «вор» или «жулик». Но Шайхи всегда читал в усталых глазах Исмагиля, покрасневших от пыли и всегда грязной долгой работы, оценку своей персоны: мерзавец, неуч, вор, — потому и лютовал пуше.

Только однажды Исмагиль-абы праздновал победу, хоть и досталась она ему, что называется, себе дороже. Работал отчим тогда на мельнице, или, точнее сказать, на просорушке, — малосильная установка стояла рядом с кожзаводом. Мололи и для колхоза, и «давальческое», то есть частникам. А частник того времени приходил на мельницу с пудом-другим зерна, а уж с целым мешком не часто. За помол брали определенный процент мукой.



Пришел как-то на мельницу и Шайхи со своими старшими сыновьями. Разумеется, ни «здравствуйте», ни «салам-aleyкум», как порядочные люди говорят, никому не сказал, а на длинную очередь — дело перед Новым годом было — даже не взглянул.

Каждый ссыпал свою пшеницу в бункер сам, и сам выбирал из ларя деревянным совком теплую муку в мешок. А отчим следил за тонкостью помола, сбавляя или, наоборот, прибавляя ход жерновам, квитанции выписывал и долю за помол в государственный ларь ссыпал.

Шайхи, едва кончился чей-то скудный помол, отпихнул казаха-очередника, и сыновья ссыпали в бункер тяжеленный мешок. Отчим, выписывавший очередную квитанцию, конечно, все это видел. Ни взвешивать мешок, ни оформлять квитанцию Шайхи не стал, и платить за помол, как все, конечно, не собирался.

Мука сразу пошла хорошо, и помол был что надо. Шайхи довольно шурился. Сыновья держали наготове мешок, а их продолжавший улыбаться отец торопливо кидал муку совком.

Исмагиль-абы сидел, закипая от бессилия и стыдясь за себя и за людей, испытывавших унижение, и только маска из мучной пыли скрывала горевшее огнем лицо. Он отошел от стола, взвесил чей-то мешок и потихоньку поднялся наверх. Что-то там посмотрел, поправил и вернулся за стол, продолжая писанину. Мука шла ровно, густо. Вдруг раздался треск, шум, из бункера вмиг ссыпались на жернова остатки пшеницы, и вместо муки повалила ведрами какая-то мешанина, годная разве что на корм скоту.

Что тут началось! Шайхи, до того не сказавший ни слова, орал на Исмагиля, грозился всеми небесными карами и требовал возместить ущерб. Отчим сказал, что согласен отвечать, только пусть Шайхи покажет квитанцию, сколько и чего нужно возместить. Впервые ушел Шайхи не солоно хлебавши и долго припоминал отчиму тот мешок пшеницы. А отчиму пришлось весь новогодний праздник самому чинить мельницу...

Рушан подумал, что все это было давно и за давностью лет бильем поросло, а оказывается, нет, борьба Исмагиля-абы не прекращалась, и, кто знает, может быть, отчим и ему передал эстафету. Ведь недавно за столом рассказывали друзья, что Ибрай, сын Шайхи, в бытность свою здесь секретарем райкома комсомола обобрал сельские библиотеки района, и в целинных совхозах и колхозах побывал, и даже до дальних казахских аулов добрался «просветитель»...

Утром, по холодку, все втроем отправились на вокзал. Едва вышли из калитки, как по Украинской пронеслась яркая цепочка велосипедистов, на миг ослепив никелем и разноцветным лаком гоночных машин, еще раз напоследок напомнив Рушану о сгнувшем навсегда голубом «Диаманте».

Вскоре подошел поезд, и поскольку стоянка была трехминутной, Рушан, не мешкая, закинул свои вещи в вагон. Он стоял один в тамбуре перед распахнутой дверью и смотрел на своих стариков: мать рядом с отчимом казалась высокой, крепкой и еще молодой, а он — в подаренном Рушаном ярком свитере, с седым бобриком волос — выглядел подростком, таким беззащитным, что у Рушана перехватило горло.

Уже по старинке отбил отправление станционный колокол, а состав почему-то не трогался. И вдруг из глухого, заброшенного станционного сада за спиной Исмагиля-абы словно ветер донес голос печальноглазого Кашафа: «Не забывайте нас... не забывайте нас...»

Тепловоз неожиданно мощно рванул, лязгнули буфера, и состав тут же набрал ход. Рушан, ухватившись за поручни, высунулся в дверь и сквозь нарастающий грохот колес вдруг отчаянно, словно видел его в последний раз, закричал:

— Отец!.. Отец!..

XXIX

Вороша прожитую жизнь, Рушан порой поражался неожиданным параллелям, зигзагам и тупикам, что щедро расставляет она каждому.

Расхожее понятие «человек не на своем месте» имеет тысячу граней, и это теперь очень занимает Рушана. Самое очевидное — на поверхности: на этом месте должен быть другой человек, или — человек на чужом месте живет не своей жизнью. Или, например: кто-то вхож в специфическую среду (теперь обязательно не преминут добавить — элитную), но вполне мог бы, безболезненно для себя, и не входить в нее, а для другого эта среда необходима как воздух, он задыхается, не имея возможности попасть в желанную атмосферу.

Ташкент середины шестидесятых был тих, зелен, одноэтажен, славился баснословной дешевизной базаров и исключительной доброжелательностью жителей, до города-миллионника ему еще предстояло дорасти. Молодежь знала друг друга: отдыхали в одних и тех же местах, ходили в одни и те же парки, концертные залы. Они были



молоды, холосты, объединяла их и совместная страсть — футбол, и виделись они часто, почти каждый день.

Как в любом порядочном городе, был и в Ташкенте свой «Бродвей», привлекавший шумной, яркой жизнью. Начинался он от сквера Революции, где некогда высился самый внушительный в Азии памятник Сталину, затем — огромная, словно отрезанная и поданная на блюде, косматая голова Карла Маркса, а ныне на этом месте гордо восседает на скакуне великий Тамерлан, которого прежде иначе как «завоеватель» и не называли. Пролегала улица мимо старого четырехэтажного универмага, ломившегося от товаров, мимо известных со времен нэпа кинотеатров «Солей» и «Арс», переименованных стандартно, как и везде, в «Искру» и «Молодую гвардию», мимо кафе «Москва» и «Фергана», где в ту пору одиноко стояли не прижившиеся в Ташкенте автоматы для вина, а с противоположной стороны улицы по вечерам сияла огнем громада гастронома. Коренные ташкентцы вспоминают его, как москвичи — старый Елисейевский, где в рыбном отделе бочками стояла икра — и красная, и черная, и балыки не переводились. «Бродвей» заканчивался у гостиницы «Ташкент», или у аптеки № 1, где работал еще один приятель Рушана — Нариман. Ну, а фасад оперного театра выходил на площадь с фонтаном. У гостиницы «Ташкент», построенной по проекту известного архитектора Булатова, в дни футбола собирались болельщики, ожидая, когда соперники «Пахтакора» выйдут к автобусу, что повезет их на стадион. Теперь это мало кого волнует, и не услышишь возгласов: «Смотри, Воронин!.. Месхи! Метревели! Стрельцов!.. Хусаинов!..»

Нет теперь уже ни универмага, ни гастронома с его шоколадно-кофейным запахом за квартал, нет ни «Москвы», ни «Ферганы» с винными автоматами, ни кинотеатров «Арс» и «Солей», нет ни первой аптеки, где работал Нариман и где начинался и заканчивался «Бродвей», как нет и самого «Бродвея» и двух замечательных комиссионных магазинов на углу, между кинотеатром «Искра» и кафе «Фергана». Все они исчезли после сильного землетрясения 26 апреля 1966 года.

С землетрясением в Ташкенте изменилось многое. Прежде всего, пропал его дух, своеобразие, свойственное восточным городам, где органично прижилась европейская культура.

Навсегда, безвозвратно сгинул «Бродвей», бывший чем-то вроде престижного клуба, доступного для всех, и где всегда можно было отыскать исчезнувшую из поля зрения девушку. Девушки того

времени на вопрос о том, где можно их увидеть, так и говорили шутливо: «Ищите на «Бродвее».

Вместе с кинотеатрами «Искра» и «Молодая гвардия» безвозвратно исчезли и оркестры, игравшие в них перед началом сеансов, в одном из них пела Седа Бабаева, мать известной ныне певицы Роксаны Бабаян. Новому поколению зрителей трудно представить себе подобное действо в заплыванных фойе нынешних кинотеатров. Но молодежь того времени была самоуверенна и не сомневались, что построит город краше и лучше, чем был. Так оно и случилось, но это уже был другой город для других людей.

А тогда они встречались почти каждый день на «Бродвее», ужинали на открытых верандах бесчисленных кафе и столовок, пили прекрасное невероятно дешевое белое вино «Ок мусалас», «Баян Ширей», «Хосилот», спорили о новой программе Государственного эстрадного оркестра Узбекистана, где в те годы пел популярный Батыр Закиров, прославившийся неповторимым исполнением «Арабского танго», и работал знаменитый джазовый аранжировщик, композитор и дирижер Анатолий Кролл, разъезжавший по Ташкенту на «Волге» странной черно-белой окраски.

А еще тогдашняя молодежь предвкушала предстоящую игру «Пахтакора» с грозным тандемом Красницкий — Стадник, блистательным Колей Любарцевым в воротах и цепким правым защитником Ревалем Закировым, вспоминала, какой шумный поэтический вечер устроил на днях в парке Горького тогда еще молодой поэт Александр Файнберг.

Как-то в компании Рушан познакомился с балетмейстером Ибрагимом Юсуповым, который оканчивал ГИТИС и в местном оперном театре готовил дипломную работу — балет на музыку Кара-Караева «Тропоею грома». Дружба с Ибрагимом, сразу ставшим ведущим танцовщиком балетной труппы и одновременно постановщиком, позволила Рушану ходить в театр через служебный вход, такое в то старое строгое время мало кому удавалось. Он видел многие репетиции, прогоны, сдачи спектаклей, не говоря уже о премьерах. Нельзя сказать, чтобы он ходил на репетиции специально, но иногда забегал за Ибрагимом и дожидался, когда тот освободится. Конечно, через год он знал всю балетную труппу, особенно девушек из кордебалета. Часто они с Нариманом, за спиной Ибрагима, договаривались с ними отправиться на кофе к Нариману, который снимал комнату рядом, на Узбекистанской, в старом еврейском дворе



с колонкой и вечной лужей,— ныне там высится бесформенная мраморная громада Госбанка, похожая на саркофаг.

Иногда Рушан заходил за Ибрагимом на Педагогическую, где тот преподавал в балетном училище, ныне одном из старейших в стране. Однажды он пришел туда рано и просидел в балетном классе целый урок — ему очень понравилась одна юная ученица. Он подарил ей цветы, предназначавшиеся совсем для другого случая, и сказал, смущая девочку, что она станет большой балериной. Этой девочкой оказалась будущая звезда Кировского балета Валя Ганнибалова. Много лет спустя, приехав в родной город на гастроли, она сказала, что помнит и пророчество Рушана, и свои первые цветы от благодарного зрителя.

Не исключено, что возможность видеть балет изнутри, из-за кулис, наблюдать за репетициями танцовщиц станет причиной его влюбленности в работы Дега. Нет, он не стал балетоманом, хотя с удовольствием ходил в прекрасное здание театра работы известного архитектора Щусева, построенного пленными японцами после войны. Ему нравились репетиционные залы, напоминавшие спортивные, запах декораций, нравились работы театральных художников, оформителей, костюмеров,— людям со стороны, наверное, казалось, что Дасаев — завянутый театрал.

В те годы Арам Ильич Хачатурян написал музыку к балету «Спартак», и Григорович, у которого Ибрагим некогда проходил стажировку, успел даже поставить его в Большом театре. Загорелся этой идеей и Ибрагим. Он несколько раз ездил в Москву и все-таки получил благословение композитора поставить балет на его музыку.

Можно сказать, что все встречи в ту пору на «Бродвее» начинались с разговора о том, как продвигаются дела со «Спартакoм». Оформляя спектакль известный художник из Еревана Мирзоян. Рушан к тому времени уже посмотрел в Москве балет Григоровича и восхищался работой Сулико Вирсаладзе, создавшего прекрасные декорации и костюмы. Ибрагим сокрушался, что у него мал кордебалет, мол, нет той оформительской мощи, фона для главных сцен, как у Григоровича. Рушан понимающе переглядывался с Нариманом: они тоже считали, что кордебалет стоит увеличить вдвое, втрое — там танцевали такие славные девочки!

Казалось, весь город жил предстоящей премьерой, тем более что на нее обещал прибыть сам маэстро Хачатурян, и Рушану, как своему близкому другу, Ибрагим поручил сопровождать

композитора повсюду. Так и получилось, что на банкете по случаю премьеры они с ним сидели почти рядом. Такие вот парадоксы и зигзаги судьбы: прораб и балетмейстер, кордебалет и аптекарь, маэстро Хачатурян и работы Сулико Вирсаладзе...

Эти неожиданные повороты судьбы — бесконечная тема для размышлений, она может увести в какую хочешь сторону. Недавно, узнав из газет, что сгорел Дом актера в Москве, или, как его еще называют, ВТО, Рушан отправил на восстановление крупный перевод, рядом с фамилией обозначив свою профессию — прораб.

Получив внушительную сумму, распорядители наверняка удивлялись: прораб и Дом актера, что может связывать их? А все те же зигзаги судьбы — переступал и он некогда порог этого гостеприимного дома, был встречен радушно и даже любезно, провел там памятный вечер... Вот почему такой ответный жест. Как говорится, за добро платят добром.

Это сейчас как-то привыкли, что «все флаги в гости к нам»: и итальянская «Ла Скала», и штутгартский балет, и театр «Кабуки», и Лондонский симфонический оркестр, и Королевский Шекспировский театр, а ведь все начиналось тогда, в середине шестидесятых годов. Вот тогда многое действительно было впервые: и «Ла Скала» в Москве, и Герберт фон Караян, и знаменитый мим Марсель Марсо, и еще многое-многое другое...

Однажды поздним вечером они сидели в теплом баре гостиницы «Ташкент», дожидаясь Наримана, и вдруг Ибрагим, как всегда с жаром, выпалил:

— Забыл сообщить тебе главную новость — в Москву приезжает французский балет. Везут два одноактных спектакля: «Сюиту в белом» и «Коппелию». Вместе с театром пожелует моя однокурсница Вера Бокадоро, я получил от нее телеграмму.

— Ты поедешь? — спросил Рушан заинтересованно, уже по-хорошему завидуя другу.

— А как же! Предоставляется шанс впервые в жизни увидеть французский балет,— оживился Ибрагим и без умолку стал говорить о Петипа, Фокине и Дягилеве, упомянул и Рудольфа Нуриева, к тому времени уже оказавшегося на Западе. Потом безо всякого перехода спросил:

— А ты не можешь сделать себе командировку в Москву?

Рушану повезло: необходимость в поездке в Москву была, он без особого труда получил командировку в «Минмонтажспецстрой»



и уже в Ташкенте знал, что место ему забронировано в гостинице «Пекин». Через день они прилетели в морозную Москву и на одну бронь устроились в гостинице вдвоем, — профессия Ибрагима и цель его визита были приняты во внимание администрацией «Пекина».

После спектакля Ибрагим, прорвавшийся за кулисы, вернулся со своей однокурсницей-француженкой и какой-то балериной из кордебалета, и они почти бегом помчались от Большого театра Столешниковым переулком на площадь Пушкина, в ВТО. Дело было не только в морозе: Ибрагим, хорошо ориентировавшийся в Москве, знал, что начинается театральная разъездка, и через полчаса в Дом актера будет не попасть. Они успели и провели там дивный вечер, оставшийся в памяти Рушана на всю жизнь. Кроме всего прочего, именно там он впервые, и единственный раз в жизни,пил французское шампанское «Кордон Вер».

В тот вечер Рушан видел «живьем» многих звезд: актеров, режиссеров, эстрадных певцов, дирижеров, киношников, прямо к их столу подходило немало знаменитостей — Ибрагима хорошо знали в этом доме. Уходили они из гостеприимного ВТО далеко за полночь. Отправились еще куда-то продолжать веселье, и, помнится, Рушан захватил из Дома актера бутылку шампанского. И сколько тогда стоила бутылка «Кордон Вер» — «Зеленой Ленты»? Семь рублей! Невероятно! Но время и впрямь было удивительное...

Ибрагим сокрушался, что ташкентцы не увидят французский балет, и сумел все-таки уговорить ведущую танцевальную пару — Клер Мотт и Пьера Бонфу — приехать в Ташкент и станцевать главные партии в его «Жизели». В следующем сезоне они прилетели и порадовали любителей балета. Так частная поездка двух молодых людей обернулась праздником для многих почитателей Терпсихоры...

Вспоминая ушедшее время, Рушан как бы слышит неясный гул давних событий, невнятный шорох забытых голосов, и сегодня для него все они дороги и важны. Поэтому, может быть, приходят ему на память события неравнозначные, на чей-то взгляд не заслуживающие внимания, но он и не собирался, да и не в состоянии, охватить в воспоминаниях все неоднозначное время, которое осталось у него за спиной. Дай бог не забыть, успеть «передать бумаге» хотя бы то, что касалось его, безвестного строителя, коих тьма, или его знакомых, друзей, родных — людей тоже не избалованных судьбой...

XXX

Возвращаясь мысленно к своей студенческой поре и первым годам, прожитым в Актюбинске, Рушан не может обойти вниманием еще один адрес: Почтовая, 72. Здесь жил тот самый Роберт, что заблудился в новогоднюю ночь, провожая зеленоглазую девушку в яркой цыганской шали, гадавшую при свечах.

Припоминая тот Новый год с красным шампанским, Рушан восстановил еще одну существенную деталь, оказавшуюся пророческой. Когда Тамара раз за разом предсказывала всем одно и то же, язвительный и острый на язык Вуккерт не преминул заметить: «Ты, наверное, не умеешь гадать, мадам». Тамара аж вспыхнула от обиды, и глаза ее подозрительно заблестели. Отложив в сторону карты и задув свечи, она сказала, чуть не плача: «Я же не виновата, что всем вам выпадает дальняя дорога и ранняя печаль».

Время подтверждает, что гадать она все-таки умела...

В этом гостеприимном доме Дасаев бывал частенько, начиная со второго курса и до самого окончания техникума. У Роберта была труднопроизносимая для европейского слуха фамилия — Тлеумухамедов. Его отец, прокурор — крупный седой мужчина в годах, казах, был женат на его матери, татарке, вторым браком, и эта разница в возрасте чувствовалась, как и удивительно внимательное отношение к жене. В любви рождаются красивые дети, гласит старая истина, вот и сын у четы вырос видный, не только внешностью взял, но и характером.

Роберт, спортсмен по природе, прекрасно играл в баскетбол — увлечение по тем временам новое, и он же втянул Рушана в бокс. Но главное в другом — Роберт, кажется, был первым и долгое время единственным стилигой в их провинциальном городе, при нынешней раскрепощенной моде и нравах осознать сей факт довольно сложно.

Семья Тлеумухамедовых появилась в Актюбинске не так давно, — переехала с Урала, — и в рассказах Роберта Магнитогорск, где они жили прежде, долгие годы представлялся Рушану чуть ли не Чикаго, поскольку все их разговоры были связаны с джазом. Тогда, в середине пятидесятых, в первое пришествие рок-н-ролла в нашу страну, ребята влюбились в него сразу и навсегда. Как замороженные, они произносили имена Армстронга, Эллингтона, Диззи Гиллеспи, Гленна Миллера. Тогда никто бы не убедил их в том, что рок-н-ролл рано или поздно умрет, и сегодня, во второе его пришествие, когда первые поклонники уже собираются на пенсию, а его танцуют



и слушают их дети и внуки, они запоздало гордятся своими юношескими пристрастиями. И когда какой-нибудь юнец, которому кажется, что мир был сотворен лишь вчера, спрашивает, слышал ли батя Элвиса Пресли, тот не без внутренней гордости спокойно отвечает: «Да, сынок, тридцать лет назад». Все в мире повторяется...

Осмысливая то, что хотелось бы запечатлеть в «книге» о своем времени, Рушан вдруг обнаружил, что действительно все в мире повторяется и ничего нового он сказать, пожалуй, не может. Все банально до невероятности, все было до него десятки, сотни раз, будет и после него, сюжет любой книги укладывается в несколько слов: в некую девочку с голубыми бантами, или без них, влюбляется некий мальчик. И, как обычно, такая любовь безответна. И лишь когда время у обоих утечет, как песок из старинных часов, оно подтвердит запоздало усталой женщине, что это и была единственная любовь, дарованная ей свыше, а все поиски принца и неземной страсти — бессмысленны и тщетны. Не зря ведь сказал известный американский писатель Курт Воннегут: «Все книги пишутся ради одной женщины». Все так, или приблизительно так, хотя возможны варианты. А между всем этим — только дальние дороги, как всегда в России — без тепла и уюта, и печаль, разлитая по всей жизни, — и ранняя, и поздняя...

Это открытие сначала повергло Дасаева в уныние, и на какое-то время он оставил свои экскурсии в прошлое. Но от него не так-то просто было отвязаться, отойти, забыть. Прошлое настойчиво пробивалось сквозь сегодняшний день, словно опасаясь, что Рушан забудет все, перестанет вспоминать, и тогда уж оно, его прошлое, умрет безвозвратно. Умрет, истает, как каждый уходящий день его жизни. И он вновь вернулся к своим ежедневным воспоминаниям, вороша и тревожа прошлое...

Рушан уже давно смирился с тем, что уйдет из жизни, не оставив заметного следа, — труд его всегда был коллективным и отнюдь не выдающимся. Ведь не мог же он сказать, что построил, например, Заркентский свинцово-цинковый комбинат, поскольку его возводили тысячи людей, сотни прорабов.

Но ведь была у него, Дасаева, своя жизнь, и он любил, мечтал, ждал, — вот об этих сбывшихся и не сбывшихся надеждах ему и хотелось оставить память, чтобы не ушло все это вместе с ним в никуда. И после некоторого перерыва он вновь стал подолгу простаивать по вечерам у окна, читал и писал одновременно книгу без начала и без конца, где все старо, как мир, где в девочку с голубыми

бантами и нотной папкой в руке с первого взгляда влюбился провинциальный мальчик...

На Почтовой, 72 Рушан бывал часто, особенно последние два года учебы, когда очень сблизился с Робертом. Наверное, в его воспитании, мировоззрении и взглядах этот дом сыграл немалую роль. А любовью к спорту, джазу, своими вкусами и манерами он, конечно, во многом обязан Роберту.

Мать Роберта вела домашнее хозяйство, хотя до замужества преподавала литературу. Дом сиял чистотой, поражал гостей диковинными цветами на подоконниках, но Рушану больше всего запомнился запах пирогов. Там всегда что-нибудь пекли! Какой бы компанией ни вваливались к ним в дом — перво-наперво усаживали всех за стол: возможно, родители помнили свою голодную студенческую молодость. Там часто отмечали праздники, дни рождения, собирались по поводу и без повода. В доме не смолкали споры, смех и, конечно, едва ли не с утра до вечера гремела музыка. «Кажется, Армстронг поселился у нас навсегда», — шутил Бертай-ага, отец Роберта. Он часто присоединялся к их спорам, но никогда не подавлял своим авторитетом, не ссылаясь ни на возраст, ни на свое образование, хотя до войны успел закончить Ленинградский университет и защитить кандидатскую.

Бертай-ага не разделял фанатичного увлечения сына джазом, но и не подавлял его интересов. А они-то знали, что в горькоме ему уже не раз пеняли на пристрастие сына к буржуазной культуре.

Как мечтали тогда отцы города подстричь всех стилиг под нулевку! Возможно, будь в Актюбинске другой прокурор, и подстригли бы...

Рушан порою оставался у Глеумухамедовых на ночь, особенно когда сдавали курсовые работы и приходилось чертить до утра. Однажды он услышал, как Бертай-ага кричал среди ночи: «Шашки наголо!», «Эскадрон, в атаку!» Видя удивленный взгляд Рушана, Роберт пояснил, что отец в гражданскую командовал эскадроном кавалерии, и те страшные бои ему снятся до сих пор. Вот так от ночного крика пожилого человека дохнуло вдруг на ребят историей.

Позже, когда друзья сына расспрашивали о гражданской войне, Бертай-ага рассказывал, что в сабельном бою не только всадники сражаются, но и кони грызут друг друга.

Спустя много лет, отдыхая в каком-то местном профсоюзном санатории, Рушан проснулся однажды от неожиданного крика и грохота отброшенной табуретки. Когда он вскочил и включил свет, сосед,



пожилой мужчина, сидел на железной кровати и, потирая ушибленную ногу, виновато оправдывался:

— Извини, браток. Опять война приснилась. Кончились патроны, и я сапогами отбивался...

Вот так, запоздало, две войны эхом отозвались, отразились в его жизни. Тогда Рушан впервые задумался, что же ему, не воевавшему, будет сниться в страшных снах? Очереди за хлебом, которые он познал сполна с детства? Или куча михайловского угля, из-за которого они, дети, стояли насмерть? Или ладони матери с горсточкой зерна, из-за которого их сосед Грабовский отсидел от звонка до звонка пятнадцать лет? А может быть, очереди людей с затравленными глазами у западных посольств, вынужденных от беспросветности покидать страну?

Бертай-ага возвращался с работы поздно, часто уставший, раздраженный, но, увидев ребят в доме, моментально преображался. Обращаясь к жене, он нередко шутя говорил:

— Ну, дорогая, заживем же мы с тобой спокойно, когда закроется в этом доме джаз-клуб и орлы разлетятся по направлениям!

Тема эта муссировалась в десятках вариантов и стала расхожей в домашних разговорах и застольях, поднимали даже тосты за грядущую тишину в доме.

Быстро пролетели студенческие годы, отшумел выпускной бал, на который пришли и родители Роберта, знавшие почти всех ребят из его группы. Роберт, все годы скучавший по Уралу, через три дня после получения диплома уехал в Магнитогорск, и странная тишина наконец-то поселилась на Почтовой, 72.

Однажды Рушан получил весточку от матери Роберта, где рефреном через все письмо звучало: как мы скучаем без вас, а ведь прошло всего лишь несколько месяцев, как вы разлетелись по разным городам...

После окончания техникума Рушан работал на железной дороге на станции Кара-Узяк вблизи Кзыл-Орды. К Новому году у него набралась неделя отгулов, и на праздники он поехал в Актюбинск, прихватив тот самый смокинг, что сшил ему бывший костюмер ленинградского театра. Конечно, первым делом он заявился на Почтовую, 72, но праздничного настроения в доме не было — Бертай-ага лежал в больнице с сердечным приступом.

Дом поразительно изменился, хотя по-прежнему сиял чистотой и поражал порядком,— но из него ушла жизнь, как сказала мать

Роберта. Оказывается, запоздало выяснилось, что отец Роберта не выносил тишины, она ему была противопоказана. После работы Бертай-ага бесцельно ходил из комнаты в комнату, потом отправлялся на кухню к жене и мучил всегда одним и тем же вопросом — что сейчас делают наши дети? Имелся в виду не только Роберт, но и Юра Лаптев, и Петя Мандрица, и Ефим Ульман, и чеченец Лом-Али, и, конечно, он, Рушан.

«Однажды,— рассказывала мать Роберта,— я проснулась среди ночи, мне показалось, что в доме на всю мощь, как прежде, играет труба Армстронга. Оказалось, так и есть... Я на радостях подумала: Роберт вернулся и так решил оповестить нас. Но ошиблась... Это Бертай от бессонницы, с тоски поставил пластинку, чтобы хоть на время создать иллюзию прежней жизни. Когда пластинка кончилась, я встала, выключила проигрыватель, а когда шла назад, присела в темноте на кровать мужа. Бертай плакал, не скрывая слез...»

Потом она привыкла, что Бертай-ага по ночам уходил в комнату сына и, включив Эллингтона или рок-н-роллы Элвиса Пресли и Джонни Холлидея, с бутылкой коньяка просиживал до утра. В одно из таких ночных бдений его и хватил сердечный приступ.

Еще через полгода, летом, он умер. «Его сердце не выдержало тоски по вам, по вашим сумасшедшим разговорам и спорам, по вашей музыке, которую он, оказывается, очень любил»,— сказала Рушану мать Роберта на похоронах.

На этой скорбной тризне они виделись с другом в последний раз. Позже Роберт женился на девушке Кларе из Мартука, из хорошей татарской семьи, но они не встречались больше ни в Актюбинске, ни в Мартуке. Потом Рушан слышал, что он с Кларой разошелся. Мать вскоре, продав дом, уехала к нему в Магнитогорск, и последние нити, связывавшие их, оборвались навсегда.

Иногда, возвращаясь домой, Дасаев заходил на мусульманское кладбище в Актюбинске, находил могилу прокурора, любившего джаз, и возле нее вспоминал счастливые дни на Почтовой, 72.

В последнее свое посещение он сделал неожиданное открытие. Взгляд его упал на роскошный соседний памятник — рядом с прокурором покоился Шамиль Гумеров, картежный шулер, вор в законе. Поистине, пути господни неисповедимы!

Хотя Рушану нет и пятидесяти, он стал, к сожалению, свидетелем крушений многих надежд и судеб, причем не только людских. На его памяти исчезали города, кварталы, любимые здания и вокзалы,



казахские аулы и русские поселения вокруг Мартука с ласкающими слух названиями: Белая Хатка, Красное Озеро, Покровка. Погибла река его детства — Илек, с многочисленными прекрасными пляжами, пропали тюльпанные поля за высокими его кручами, на лугах извелись начисто стрекозы, бабочки, кузнечики, высохли и превратились в болота озера с карасями и лилиями, с утиной охотой по осени. Потери видны повсюду — куда ни кинь взгляд, во что только ни вникни.

Сегодня, с высоты прожитых лет, иначе, чем в молодые годы, воспринимается еще один распад — церковного прихода, случившийся у него на глазах, и к нему оказались причастными люди, которых Рушан хорошо знал и даже был с ними накоротке. Сегодня, когда вроде бы наметилось возрождение церкви и у людей проявилась тяга к вере, эта история могла бы послужить кому-нибудь назиданием, ибо нельзя тянуться к святому из-за моды или перемены курса в идеологии, с корыстью в душе в божий храм лучше не заглядывать...

XXXI

В школе, где училась Тамара Давыдычева и где Рушан по этой причине часто бывал на вечерах, выделялся Жорик Стаин. Когда Дасаев появился там впервые, ребята отрекомендовали его Стаину как родственника Исмаил-бека. Жорик жил на Татарке, и имя Исмаил-бека, к которому он и сам нередко обращался, было для него не пустым звуком, поэтому, наверное, у них сразу же наладились приятельские отношения, хотя закадычными друзьями они не стали. Но в провинциальном городке их пути пересекались довольно часто...

О, в далеком заштатном городишке, где прошли их молодые годы, Жорик слыл личностью известной. О его приключениях ходили прямо-таки легенды, а закадычные дружки, коих имелось немало, постоянно цитировали своего кумира, создавая ему славу провинциального философа. И, как ни смешно сейчас вспоминать об этом, среди молодежи даже бытовала манера поведения «а ля Стаин». Да что там молодая поросль провинциального городка, которой за каждым нашумевшим поступком Стаина виделся ее собственный протест против скуки, застойной жизни захолустья, если Жорик однажды заставил говорить о себе весь город.

К удивлению многих, и прежде всего самого Жорика, он не поступил в институт с первого захода — возможно, помешала излишняя

самоуверенность или какая-нибудь сумасбродная выходка на экзаменах, но это навсегда и для всех осталось тайной, он и родителям не захотел объяснять, почему провалился. А учился Стаин в школе прекрасно, памятью обладал феноменальной.

Жорик мечтал стать законодателем мод, проще говоря — модельером, обязательно известным, и, наверное, преуспел бы в этом, — вкусом природа его не обделила, да и на машинке он шил на зависть многим девочкам, хотя распространяться об этом не любил: одно дело — модно одетый Стаин, и совсем другое — Стаин-портной. Тогда, по крайней мере, он не хотел, чтобы эти два понятия совмещались, а первым он очень дорожил и ревностно поддерживал репутацию модника. Однажды на школьном вечере он избил одноклассника, имевшего неосторожность язвительно сказать школьной красавице, слишком уж восторженно высказавшейся по поводу элегантности Жорика, что, мол, кому же и быть таким расфуфыренным, как не портняжке.

Задолго до окончания школы, еще с девятого класса, многие ребята знали о жизненной программе Стаина: Ленинград, где он собирался учиться, а позже завоевать его как модельер мужской одежды, не сходил у него с языка. Он и летние каникулы дважды провел в Питере — знакомился с городом, который намеревался покорить... И вдруг — крушение всех надежд, планов, и это при его известности и безграничной самоуверенности. Возможностей остаться в любимом Ленинграде было хоть отбавляй — большие заводы наперебой зазывали на работу. Но трудовой путь был не для Стаина, он и помыслить об этом не мог и вернулся в свой город, из которого еще месяц назад не чаял как вырваться.

Дасаев помнит, как моментально разнеслось повсюду: «Стаин вернулся! Жорик приехал!» Особый восторг сообщение вызвало среди девушек — не одна из них тайно вздыхала по общему любимцу.

В тот же вечер Рушан увидел Стаина на центральной улице, с легкой руки того же Жорика прозванной «Бродвеем» и иначе среди молодежи с той поры не именовавшейся. Жорик, и прежде выделявшийся среди молодежи, выглядел в тот день, на взгляд местных стилияг, просто умопомрачительно: узкие кремовые брюки, коричнево-желтый твидовый пиджак в мелкую клеточку, однобортный и широкоплечий, с узкими лацканами и застежкой на одну пуговицу, туфли на толстой белой каучуковой подошве с блестящей пряжкой на боку. Довершали наряд темно-бордовая рубашка и золотистый галстук с рисунком, изображавшим яркую блондинку на фоне пальмы с обезьяной.



Надо сказать, что на Стаине, высоком и ладном, к тому же предельно аккуратном, умевшем носить вещи с завидной небрежностью, одежда не выглядела так уродливо, как на картинках карикатуристов всех мастей, пытавшихся изображать стилияг. А ведь Жорик был любимой мишенью всевозможных листков сатиры, стендов позора и прочих столь популярных в те далекие годы средств воспитания нравственности. Можно сказать, благодаря Стаину и держалась на высоте вся идеологическая работа горкома комсомола против чуждых веяний моды. Рушан даже сейчас, через столько лет, помнит яркие стенды «Окна сатиры» на центральной аллее парка, где местный художник изобразил Жорку с какой-то жутко размалеванной девицей, танцующих рок-н-ролл на гигантском диске, естественно, не фирмы «Мелодия», а внизу еще и клеймящие позором стихи:

Жора с Фифой на досуге
 Лихо пляшут буги-вуги,
 Этой пляской безобразной
 Служат моде буржуазной.

Жорик жил неподалеку от парка в районе, именуемом Татаркой, где с незапамятных времен обитала отчаянная городская шпана, словно по наследству передававшая дурную репутацию из поколения в поколение; жили там и братья Гумеровы, Шамиль и Исмаил-бек, приходившиеся теперь Рушану родней. К тому же взрослая часть Татарки: мясники, мездровщики, мыловары, колбасники, кожевенники — работала на мясокомбинате, самом крупном в те времена предприятия города, где директорствовал Маркел Осипович Стаин. Работа на комбинате ценилась высоко, и Стаина-старшего почитали. А потому на гордой Татарке с Жоркой первыми здоровались мужики, одним ударом кулака убивавшие быка, и не одному сыну-сорванцу драли с малолетства уши, чтоб он не обижал Стаина-младшего, а был ему другом и защитником. Да и Жорка, если не по природе, то по беспечности своей щедрый, пользовался любовью Татарки, не жалел ни карманных денег, которые у него всегда водились в избытке, ни знаний своих: и списывать давал, и подсказывал в школе. А уж когда он начал играть в футбол за местный «Спартак», за который оголтело болели и стар и млад на Татарке, и быстро стал самым удачливым его бомбардиром, популярность его круто пошла в гору и от поклонников, а тем более поклонниц не стало отбоя.

Одного косого взгляда Стаина оказалось бы достаточно, чтобы в тот же вечер бесследно исчезла из парка карикатура с дурацкими стишками. Но Жорку словно забавляла его скандальная известность в городе, и он удерживал шпану, предлагавшую подпалить очередной шедевр парковой администрации:

— Зачем же? — говорил он небрежно, с ленцой. — Пусть висит. Жаль, девочка не в моем вкусе, а так нормально. Всем надо жить: мне — танцевать рок-н-ролл, комсомолу — чуждое и тлетворное влияние Запада осмеивать. Се ля ви, как говорят французы, или еще проще: каждому свое. Это диалектика жизни... — и вальяжно шагал к танцплощадке под растерянные и восторженные взгляды своих почитателей и болельщиков...

В начале сентября, вернувшись из Ленинграда, Стаин пригласил друзей и одноклассников в летний ресторан все в том же парке. Официантки с ног сбились, стараясь угодить Стаину-младшему, тем более что Стаин-старший как раз гулял здесь же, в противоположном конце зала.

Застолье запомнилось Дасаеву, да, наверное, и не ему одному. Стаин не производил впечатления человека огорченного или растерянного, а тем более поверженного таким фиаско с институтом. Но собравшиеся за столом понимали, что случилось непредвиденное, полетела в тартарары придуманная Жоркой красивая и заманчивая жизнь в городе на Неве — второй столице страны, а в том, что касается моды, может, и первой.

Первый тост Жорик поднял за сидящих вокруг друзей, поздравил кое-кого с поступлением в местный мединститут и, не скрывая иронии, выразил надежду, что будущие врачи, уж конечно, позаботятся о его здоровье, не дадут пропасть, если что, — в общем, все по-дружески мило, шутя. Потом тостам не было числа — за что только не пили... В конце вечера, когда никому не хотелось уходить, — большинство впервые вот так, по-взрослому, гуляли в лучшем городском ресторане, и обслуживали их по высшему разряду, упреждая каждое желание, — Стаин, который много пил, но не пьянел, вдруг объявил:

— Знаете, у меня есть еще один тост. Я твердо решил покончить с мирской суетой и намерен поступить в духовную семинарию, но в оставшийся мне год я хотел бы взять от жизни все... Так выпьем за веселье и девичьи улыбки!

Какой поднялся за столом переполох! Все стали наперебой давать Жорику шуточные советы, как вести себя с будущей паствой,



и прочее, и прочее. Неизвестно, чем бы закончился неожиданно возникший горячий диспут о религии, если бы кто-то вдруг, рассмеявшись, не воскликнул:

— Да вы можете себе представить Жорика в рясе? Это же абсурд!

Засмеялись и остальные, настолько не вязался со Стаиным привычный всем вид священника. Собравшиеся за столом восприняли сообщение Жорика как очередную блажь щедрого на сумасбродства бывшего одноклассника.

Нет сомнения, что все, кто присутствовал на вечеринке по случаю возвращения Стаина из Ленинграда, тут же забыли о духовной семинарии, куда он собирался поступать будущей осенью, забыли, еще не выйдя из-за стола, и иначе, чем за веселый и остроумный розыгрыш, не приняли. Но через неделю в городе поползли слухи: осуждающие и восторженные, одобряющие и клеймящие позором. В общем, разные...

Той весной, за полгода до позорного возвращения Стаина из Ленинграда, в их город, или, точнее, в церковный приход, взамен неожиданно умершего батюшки был назначен новый священник. Откровенно говоря, ни церковь, ни мечеть, расположенная на Татарке, никакой роли в жизни города не играли, существовали тихо, незаметно, вспоминали о них лишь в немногие дни религиозных праздников. Да и то в такие дни стекались сюда только богомольные старушки и благообразные старички...

Ни церковь, ни мечеть особым архитектурным изяществом не отличались, исторической ценности не представляли, чтобы хоть этим привлечь чье-то внимание. Выросшие почти одновременно в начале XX века постройки можно было ценить только за крепость и надежность, а главной достопримечательностью церкви являлся парк, когда-то давно разбитый вокруг нее по всем правилам садово-парковой архитектуры и ныне сильно разросшийся.

Прежний батюшка жил затворнически, вряд ли кто его видел и знал в городе, кроме редких прихожан. От суеты городской он отделился добротным каменным забором, тяжелые ажурные ворота гостеприимно распахивались лишь несколько раз в году, а в будни шли в церковь через массивную дубовую дверь в глухой ограде, при которой неизменно находился коренастый горбун мрачного вида. Не радовал прежнего священника и парк, за которым ревностно ухаживали садовник и прихожане, редко он гулял по его тенистым аллеям, посыпанным красноватым песком, даже в необыкновенно красивые

долгие летние вечера. Говорят, святой отец тихонько попивал и оттого, осторожничая, избегал лишнего общения. Инертность батюшки не могла не влиять на приход, который, будучи и без того малолюдным, хирел день ото дня, пока его хозяин не приказал долго жить.

И вот появился новый батюшка. Он оказался на удивление молод — наверное, лет тридцати, не более, — и, конечно, мало походил на служителей культа, которых все привыкли воображать немощными стариками с седой окладистой бородой, в сутане до пят, замызганной, закапанной воском, и непременно с дребезжащим козлиным голоском. Этот же скорее напоминал актера, снимающегося в роли священника: высокий, по-спортивному стройный, с живым блеском молодых глаз. Густая темная борода придавала ему вид интеллигента, черная муаровая сутана с воротничком-стойкой, из-под которой виднелась всегда безукоризненно белая сорочка, больше напоминала вечерний фрак. Такому впечатлению очень способствовали узкие, по моде, полосатые брюки и довершавшие строгий наряд черные туфли на высокой шнуровке.

В иные дни молодой батюшка ходил с непокрытой головой, и его чуть тронутую сединой густую шевелюру не мог взвихрить даже ветерок, прилетавший в город с востока, из знойных казахских степей. Но чаще он носил мягкую черную широкополую шляпу, и она очень шла к его бледному, несмотря на очевидное здоровье, лицу. Может, бледность бросалась в глаз еще оттого, что огромные глаза, обрамленные по-девичьи длинными ресницами, горели каким-то необыкновенным внутренним огнем, что невольно притягивало внимание каждого. При нем постоянно была тяжелая трость из редкого суковатого дерева с серебряной ручкой в виде прекрасной лошадиной головы на длинной изогнутой шее. И эта изящная вещь тонкой работы, некогда явно принадлежавшая какому-нибудь барину, тоже не вязалась с обликом священнослужителя.

Облик обликом, но и распорядок жизни у нового батюшки оказался совсем иным, чем у его предшественника. По воскресеньям широко распахивались свежевыкрашенные черным сияющим лаком ажурные чугунные ворота, и с утра раздавался бой старинных колоколов. Правда, нестройный медный звон разносился не так далеко, ибо деревья ухоженного парка, разросшиеся за пятьдесят с лишним лет вширь и ввысь, давно переросли самую высокую колокольню храма, и едва родившийся звук угасал тут же, в церковном саду, не долетая к тем, кому предназначался.



В субботу и воскресенье батюшка целый день не покидал своих владений, но вот в будние дни... Ровно в десять утра он выходил из дубовой калитки, которую услужливо открывал ему горбун, и не спеша направлялся в сторону городского парка, через полчаса появлялся на «Бродвее», обязательно минуя медицинский институт, хотя можно было пройти в центр и другой, менее оживленной и широкой улицей.

Поначалу появление священника на улицах вызывало любопытство. Батюшка своей ровной неторопливой походкой, не сбиваясь с шага, не озираясь по сторонам, как бы сосредоточенный на своих мыслях, шагал мимо заинтересованных горожан. Но так встречали лишь поначалу — вскоре к его утренним прогулкам привыкли и перестали обращать на него внимание.

Может быть, в семинарии или духовной академии, где учился батюшка, преподавали предмет сродни актерскому мастерству, ибо владел батюшка собою куда искуснее, чем актер. Время первого удивления быстро прошло, и прохожие не всегда мирно и учтиво обращались к нему, если случайно задевали на тротуаре, но батюшка никак внешне не реагировал на это. Казалось, ничто не способно было отвлечь его от высоких дум, только внимательный взгляд иной раз мог заметить, как белели пальцы сильной руки, сжимавшей тяжелую трость. Он шел по центральной улице мимо магазинов и лавочек, никогда не заглядывая ни в одну из них, ничего не покупал ни в киосках, ни на лотках и, выходя на улицу Орджоникидзе, всегда сворачивал налево, к рынку.

Поднимаясь вверх по улице, ведущей на Татарку, где в ближних к базару переулках встречались нищие, батюшка молча подавал каждому, будь то православный или мусульманин, серебряную монетку и, не сбиваясь с шага, продолжал свой путь. На базаре он так же молча, ничего не спрашивая, не прицениваясь и не покупая, обходил ряды и даже заглядывал в крытый корпус, где продавали битую птицу и молочные продукты, — словно санитарный врач, только с пустыми руками. Обойдя все закоулки базара, он уходил, едва замедля шаг у чайной, где собирались городские выпивохи. Завидев батюшку, завсегдатаи мигом скрывались за дверью и даже захлопывали ее, хотя он не проявлял намерения заглянуть туда.

Наверное, новый батюшка, как и все молодые люди, строил грандиозные планы, а может, даже был тщеславен и оттого считал своим приходом весь провинциальный городок, медленно заносимый

песком из великих казахских степей, а не только тех прихожан, которые даже в воскресный молебен терялись в большом ухоженном саду. Он ежедневно обходил уверенным шагом город, как свои церковные владения, и словно вглядывался и изучал свою будущую паству.

Странно, но частенько во время утренней прогулки, и всегда в одном и том же месте, навстречу батюшке попадался главный режиссер местного драматического театра, который по посещаемости мог поспорить с церковью.

Правда, служитель Мельпомены, в стоптанных ботинках и лоснящихся брюках, уже изрядно побитый жизнью и зачастую под хмельком с самого утра, вряд ли мог тягаться по внешнему виду с батюшкой, вся фигура которого излучала силу и уверенность. Но не исключено, что в это время двум столь разным людям приходила в голову одна и та же мысль: «Это мой город, и я завоюю его! Дайте только срок! Вы еще будете плакать благородными слезами духовного очищения!» — и каждый видел свой алтарь, широко распахнутые двери своего заведения, расположенные в разных концах равнодушного и к театру, и к церкви города.

Во время прогулок святой отец ни разу не остановился, не заговорил ни с кем, если не считать тех минут, когда он подавал милостыню и щедрым жестом осенял кого-нибудь, но подобного внимания достаивался не каждый. Дешевой агитацией он не занимался, в церковь не зазывал, но весь его вид как будто говорил: «Я ваш духовный отец, я пришел, я буду смотреть, как вы живете, в чем видите радость, что есть для вас счастье...»

Говорят, и в своих проповедях батюшка не упрекал тех, кто забыл дорогу в церковь, не уговаривал никого вести с собой соседа, но что-то было в его речах, если старики и старухи дружно повалили на молебны, а слух о том, что батюшка молод да пригож собой, разнесся далеко окрест, и верующие из близлежащих деревень стали наезжать по воскресеньям в город...

И можно представить себе удивление горожан, уже привыкших к одиноким прогулкам батюшки, когда однажды он появился на улице не один, а вместе со Стаиным. Да-да, с Жориком. Они прошли обычным маршрутом батюшки, чуть дольше обычного задержались на базаре и возвратились, как всегда, миновав медицинский институт. Держались они словно давние друзья, о чем-то оживленно разговаривали, не обращая внимания на то, что встречные провожают их удивленными взглядами. Они шли сквозь любопытствующий, но на этот



раз молчаливый строй, никого не замечая. Даже подростки воздерживались кричать издали: «Поп, поп — толоконный лоб» или напевать фривольную песенку о попаде — Жорика Стаина город хорошо знал, и связываться с ним никому не хотелось.

Если главного режиссера местного театра вряд ли кто знал в лицо, кроме его актеров да, пожалуй, отдела культуры горкома, то отца Никанора представлять не требовалось — все были наслышаны, что в городе появился новый священник, весьма оригинальный человек. Появление его теперь каждый день в обществе Стаина-младшего вызвало новую волну интереса к нему. То был конец пятидесятых годов, и в дремотном городишке редко происходили важные события, поэтому даже приезд в город нового батюшки вызвал такой интерес — хоть и праздный, он все же был налицо.

Неторопливые прогулки в одно и то же время и по одному и тому же маршруту так резко выделявшихся из общей массы молодых людей, конечно, не могли не привлечь внимания. Стаин с отцом Никанором представляли любопытную пару, и режиссер, встречая их каждый день утром, невольно церемонно расшаркивался с ними и, с тоской глядя им вслед, наверное, думал: «Мне бы их в театр, валлом бы народ валил».

Жорик рядом с отцом Никанором выглядел ничуть не хуже, ему даже не приходилось прилагать усилия, чтобы особо не отличаться от батюшки, только вместо галстука под белую рубашку он надевал темный шейный платок, а единственной пижонской деталью его одежды оставались белые носки к черным мокасинам. Стоило Жорику пару недель не побывать в парикмахерской, и его густые волнистые волосы упали на плечи, придав ему удивительное сходство с молодыми семинаристами.

Облик Стаина в часы прогулок удивительно преображался: он был само внимание, послушание, кротость. Однако и с прической, и с внешностью к вечеру происходила странная метаморфоза: стоило Жорику несколько минут поколдовать над собой у зеркала, и являлся совсем иной человек, в котором ничто уже не напоминало кроткого семинариста — то был типичный самодовольный стилиста с неизменной презрительной гримасой, портившей его довольно красивое, привлекательное лицо. Не зря приглядывался к нему режиссер — в Стаине наверняка умер незаурядный актер.

Жорик относился к разряду парней, избежавших подростковой угловатости, худобы и прыщавости. В восемнадцать лет он был

ладным, красиво сложенным парнем, мало кто мог угадать его возраст, а в эти годы так хочется выглядеть взрослым, и Жорик старался вовсю.

Он первым в классе побывал на вечернем сеансе в кино, первым побрился, первым стал посещать танцплощадку в парке, и не через дыру в заборе, а официально, с билетом. Впрочем, он во многом был первым, если не во всем, хотя только с возрастом понимаешь, что никакой разницы нет в том, весной ты появился на танцплощадке или позже, осенью, в мае ходил принципиально на последний вечерний сеанс в кино или в июле, но тогда это казалось главным, и ценился каждый первый шаг, чего бы это ни касалось.

Жорику нравилось быть первым, вызывать чью-то жгучую зависть или ревность. Конечно, он раньше сверстников закурил: у Стаина-старшего «Казбека» в доме было не счесть — возьми одну пачку, никто не заметит. Пить тоже, наверное, начал первым, хотя утверждать сложно, но зато по сравнению с другими у него и тут оказалось громадное преимущество.

Раньше каждой области разрешалось иметь свой водочный завод, чтобы совсем не захирела экономика. Производство это было донельзя примитивное, несложное и оттого расплодилось повсюду. Когда Жорик пошел в первый класс, появился такой заводик и у них в городе, а директором стала его мать, руководившая местным пивзаводом. В подвале у Стаиных водки всегда было вдоволь, и не простой, как в магазине, а особо очищенной, как хвалилась мать постоянным и частым гостям.

Водка, которая в доме водилась в неизбывном количестве, служила рвущемуся во взрослый мир Жорику всеильным пропуском: если подростков, болтающихся в парке, никто не замечал, никуда не зазывал, не приглашал, то Жорика привечали везде и все.

Особым шиком у парней считалось посидеть до танцев налетней веранде кафе, где подавали пиво, а то и пропустить по стаканчику вина, и взрослые ребята не раз угощали Жорика пивом, зная, что за ним не заржавеет. Потом он и сам стал приходить в парк, завернув в газету пару бутылок водки и прихватив круг копченой колбасы, и смело подсаживался за стол к взрослым ребятам с Татарки. На такую неслыханную дерзость отважился бы не каждый, даже принеси он с собой бутылку, но Жорик Стаин был личностью особой. И как льстило ему, когда самый лихой закоперщик Татарки — Исмаил-бек, на чьей груди цветной тушью был выколот орел, распластавший крылья, просил его иногда после танцев: выручи, мол, Жорик, добудь бутылку.



И Жорик, конечно, выручал, ибо гордый Исмаил редко о чем просил, а слово его и авторитет были непререкаемы...

Рушан дивился тому, как весь досуг многих людей тогда был пропитан вином и водкой, и как чудовищно изошрялись при этом, и как почиталось умение выпивать лихо, с шиком. Однажды Жорик принес в парк три бутылки водки и обещал налить каждому, кто сумеет выпить до дна налитый до краев стакан, не расплескав ни капли и не дотрагиваясь до стакана руками. И тут же показал, как следует выполнить задание, не пролив ни капли. Поцеловав дно стакана и достав соленый огурец из пакета, с хрустом закусил,— неторопливо, с улыбочкой. В общем, Стаин показывал класс.

Желающие хоть захлебнуться, но выпить на дармовщину, конечно, нашлись. Но Жорик не был бы Жориком, если б не постарался хоть в чем-нибудь унизить других. Водки он не налил, а, показывая на кран, советовал потренироваться на водичке. Пацаны расхватили все стаканы в киоске газированной воды и, обливаясь и захлебываясь, демонстрировали перед Стаиным свои возможности, а Жорик сидел на скамье и, похохатывая и издеваясь, подстегивал неудачников.

В тот вечер никому не удалось выпить на халяву — появился Исмаил-бек с компанией и увел Жорика, сказав: «Нечего с водкой цирк устраивать, пойдем, лучше с нами посидишь, если заняться нечем...»

XXXII

Каждый день в одно и то же время Стаин продолжал совершать прогулки с отцом Никанором. Батюшка, человек образованный, эрудированный, рассказывал Стаину о годах учебы в семинарии и в духовной академии, о библиотеках с редкими книгами по философии, делился впечатлениями о жизни в Киеве.

Внимание, с каким относился к его речам юноша, вселяло в отца Никанора веру, что пришла к нему удача в таком захолустанном и безбожном приходе. Он уже мысленно видел лица своих бывших духовных наставников в семинарии, читающих его рекомендательное письмо, где он просит принять в лоно церкви пытливого ума юношу. Отец Никанор понимал, что уход в религию заметного в городе молодого человека из благополучной семьи, легко расстающегося с мирскими соблазнами, мог иметь далеко идущие положительные последствия

для его прихода, числящегося в Синоде в ряду крайне неблагополучных: в первый же год направив посланника от прихода в семинарию, он напомнил бы своим бывшим наставникам, что оправдывает возлагавшиеся на него надежды.

Внимать-то Жорик внимал речам батюшки, но вечером каждый раз, тем не менее, приходил в парк на танцы, и в его поведении и внешности, казалось, ничего не изменилось, только на груди под распахнутой красной рубашкой появился тяжелый золотой крест редкой работы, отделанный ярко-рубиновой перегородчатой эмалью — щедрый подарок отца Никанора. Когда Жорик, разгорячившись, азартно танцевал рок-н-ролл, крест бросался в глаза каждому, и не увидеть его мог только слепой, но такие на танцы не ходили.

Через неделю в церкви раскупили дешевые медные крестики, пылившиеся десятилетиями, и вскоре уже половина танцплощадки щеголяла в них, выставляя напоказ. Иные спешно выпиливали их из бронзы или латуни, делали массивными, затейливой формы. Рушан и много лет спустя, видя молодых людей с болтающимся на шее крестиком, наивно верил, что это поветрие пошло от Жорика.

В горкоме комсомола, конечно, своевременно и оперативно отреагировали на неожиданно возникшую ситуацию с религиозным уклоном, и в парке опять появились карикатуры на Стаина: на одной он отплясывал буги-вуги в сутане, на другой — прогуливался с отцом Никанором. Подписи были краткими, но с намеком: «Дорога в мракобесие» и «Не тот путь».

Отец Никанор пожаловался городским властям на оскорбление личности, и его больше не затрагивали. А Жорик и в ус не дул, подходил к щиту с дружками и, посмеиваясь, весело обсуждал работу художников. Правда, возмутился, что на «Дороге в мракобесие» его изобразили слишком коротконогим, и карикатура провисела заметно меньше других.

На «Не том пути» Стаин был изображен импозантно, словно специально позировал карикатуристу, — каждая деталь его одежды была тщательно прописана. Дружки спрашивали Жорика, не поставил ли он художникам пару бутылок водки за старание, но он загадочно улыбался, не подтверждая и не отрицая такой возможности и окружая свою личность еще большим туманом. Кстати, карикатура, провисев положенное время в парке, исчезла и вскоре поселилась в комнате Жорика в дорогой раме, а позже Стаин преподнес ее сокурснице Дасаева на день рождения в качестве оригинального подарка.



Вызывали Стаина и в горком комсомола, куда он явился по первому требованию. Жорик, уже тогда большой демагог по части разговоров о конституционных свободах и гарантиях, к тому же поднатасканный более опытным в идеологии батюшкой и наверняка тщательно подготовившийся к встрече, вконец заболтал смущавшихся девушек из отдела пропаганды. Он даже пригрозил им, что когда окончит семинарию, то непременно вернется в родной город, и уж тогда они повоюют за молодежь. Об этой Жоркиной наглости тоже стало известно в городе.

Скандалная популярность Стаина в ту осень круто поднималась в гору. На полном серьезе рассказывали, что однажды, когда Стаин шел на бал для первокурсников, проводившийся ежегодно в медицинском, какая-то дряхлая бабулька, увидев его, вдруг упала на колени и запричитала: «Благослови, батюшка!» Ничуть не растерявшийся Жорик, как и должно, спокойно осенил умиленную старушку крестным знамением и неторопливо продолжил свой путь.

Пока не зачастили долгие обложные дожди, неожиданно перешедшие в снегопад, и не наступила зима, Жорик каждый день прогуливался с отцом Никанором, но теперь они уже часто меняли маршрут, неизменным оставалось лишь шествие мимо института.

Рушан знал, что у родителей Стаина были из-за сына неприятности на работе, их куда-то вызывали, требовали, чтобы они приняли меры. Дома с Жориком говорили, и всерьез, и со слезами, но ничего не изменилось, он продолжал встречаться с батюшкой и часто приходил от него с подарками: роскошно изданными книгами о житиях святых. Более всего он дорожил Библией в дорогом кожаном переплете, отделанном серебром,— этот редкий фолиант он иногда держал в руках, когда прогуливался с батюшкой.

Зима приглушала и без того не слишком веселую жизнь города, особенно она сказывалась на досуге молодежи. Снежная, холодная, с метелями и ураганными ветрами, порой валившими с ног прохожих, она разгоняла жителей по домам. Парк с почерневшими верхушками лип и тополей, с погребенными под снегом танцплощадкой и летним кафе, белел огромным снежным комом среди города. Поздно светало, рано темнело, казалось, конца зимней спячке не предвидится.

Но вечерняя жизнь, несмотря на холод и метели, все-таки продолжалась, следовало только хорошо в ней ориентироваться, а это умел далеко не каждый. Рушан, увлеченный в ту пору джазом, был в курсе культурных событий и зимой.

Тогда же стали популярны вечера в институтах, где программы долго и тщательно готовились,— что скрывать, они соперничали между собой, и оттого попасть туда было совсем не просто. И какие проводились концерты, как старались оркестры! Дважды в неделю, в субботу и воскресенье, в городском Доме культуры проходили танцы под джаз, где неистовствовал на саксофоне Эдди Костаки. Небольшой зал не вмещал и половины желающих, но, несмотря на это обстоятельство, собирались там одни и те же молодые люди.

Теперь из-за изобилия кафе, дискотек, Домов молодежи почти забыто, как раньше собирались в складчину по всяким веским и не очень веским поводам у кого-нибудь на квартире или дома. Такие вечеринки, называвшиеся на местном жаргоне «балехами», возникали чаще всего стихийно.

И на труднодоступные вечера в институты, и в Дом культуры, и на самые интересные «балехи» Стаин имел доступ, везде его ждали, у него всегда был билет, пропуск, приглашение.

В перерывах между танцами, когда оркестр отдыхал, Стаин частенько поднимался на эстраду заказать песню или поговорить о новой композиции. Иногда оркестр до глубокой ночи готовил что-то новое на репетиции, где частенько бывал и Рушан, и Жорик приходил не с пустыми руками, а непременно захватив пару бутылок водки и хорошей колбасы — студенты, игравшие в оркестре, не страдали отсутствием аппетита.

Но в ту зиму Стаин иногда объявлял друзьям-музыкантам: мол, скукота у вас невероятная, пойду-ка я к отцу Никанору, покоротану вечер с пользой для души. Прямо из фойе, позвонив по телефону батюшке, имевшему привычку засиживаться до глубокой ночи, и получив «добро», он, попрощавшись, уходил в церковь.

Так неспешно катилась та последняя беззаботная зима Стаина. Уже никто не отговаривал его от странного решения стать священником, все свыклись и, откровенно говоря, жалели шалопая Стаина. Были, правда, и восхищавшиеся им, а уж в глазах прекрасной половины их городка, у которой он и без того пользовался успехом, Жорик выглядел чуть ли не великомучеником, принесшим себя на алтарь непопулярной в советские годы религии.

Похоже, успокоились и дома, по крайней мере, родителей перестали теребить в горькоме. Прислали официальную бумагу, что рассматривается вопрос о зачислении Георгия Стаина в Киевскую духовную семинарию. Правда, побеспокоили Жорика из милиции: почему



здоровый парень не работает? Выручил отец Никанор — дал справку, что Стаин служит при церкви на какой-то хозяйственной должности. Вся «работа» Стаина заключалась в ночных беседах с отцом Никанором, но зарплата шла регулярно, и выдавал ее дьяк раз в месяц. В такие дни Жорик кутил особенно широко и от души посмеивался: на свои трудовые, мол, гуляю.

Частые ночные беседы с отцом Никанором, ежедневные долгие прогулки, чтение религиозной литературы и редких книг по теологии не прошли для Стаина даром. Молодая память, еще не разрушенная алкоголем, быстро впитывала все, и Жорик, не напрягаясь, цитировал целые страницы Библии, не говоря уже об интересных абзацах. Увлекся он и философской литературой, тяготевшей к церковным учениям и мистицизму.

Бывая на танцах, вечеринках или на репетициях оркестра, он всегда удачно и к месту вставлял в разговор цитату или приводил высказывание какого-нибудь богослова или святого, читал на память строку из Библии, причем непременно называл стих и главу, из которой она взята. Не исключено, что Жорик иногда извращал смысл стиха, изымая или добавляя какое-то слово, наполнял его новым, необходимым для него самого или ситуации смыслом,— никто ведь ни проверить, ни опровергнуть его не мог.

В любой разговор — даже о девушках, музыке, джазе, моде,— в любой треп Стаин так ловко вплетал цитаты, афоризмы, выдержки, что у неискушенных молодых людей невольно складывалось впечатление о его духовном превосходстве. Даже чтобы заставить кого-нибудь выпить, он всегда находил религиозный аргумент, устоять против которого было невозможно, хотя церковь отнюдь не поощряла пьянство. Даже его лихие остроумные тосты были насквозь пронизаны религиозным мистицизмом.

Щедрое словоблудие при широчайшем общении — от компании Исмаил-бека до джазового аранжировщика Эдди Костаки — не могло не дать результатов, и среди молодежи города даже годы спустя были в ходу церковные словечки, цитаты, что считалось хорошим тоном, свидетельством высокого уровня культуры. Особенно почиталось его словоблудие девушками, на них магически действовал не только тщательно подобранный стаинский текст, но и артистизм, с которым Жорик его излагал, и не исключено, что в девичьих альбомах, модных в те годы, среди прочих дешевых сентенций были записаны перевранные Стаиным библейские заповеди.

XXXIII

Город уставал от долгой и трудной зимы, от необходимости круглые сутки топить печи,— ведь в ту пору он на три четверти состоял из собственных разностильных домов; уставал от короткого дня, который в иные дни уже с обеда начинал переползать в сумерки, от метелей и ураганов, свирепствовавших обычно весь январь и февраль; страдал от перебоев транспорта — дряхлые, латанные-перелатанные автобусы ходили редко, и горожане не особенно рассчитывали на них, а оттого в дальний путь без особой надобности не пускались.

И, как награда за суровую зиму, весна в их краях была на удивление красивой. Приходила не спеша, с оттепелями, каплями, проталинками, теплыми нежными ветрами. А придя, стояла, по примеру зимы, долго, и только в конце мая, когда отцветали яблони в редких садах и палисадниках и сирень уже не кружила голову молодым, только тогда, да и то не торопясь, передавала она полномочия лету. Оттого весну любили, ждали, скучали по ней. Всем хотелось скорее освободиться от громоздкой и неуклюжей зимней одежды, развязать разномастные шали, снять сыпавшие повсюду кроличий пух шапки, закинуть на печку до следующей зимы валенки, без которых не обходились даже записные модницы.

В конце марта, когда от тягучих влажных ветров из степи начинали оседать сугробы и снежная шапка парка резко спадала, оголяя голые сучья благополучно перезимовавших деревьев, на центральную улицу — Карла Либкнехта выходили дворники и энергично принимались сгребать остатки снега, словно оправдывая свое долгое зимнее безделье. И если не случалось неожиданного снегопада — бывало и такое в марте,— уже через неделю улица, единственная в городе, чернела выщербленным асфальтом дороги и тротуаров.

Уставшие от зимы горожане вряд ли замечали выбоины и колдобины главной улицы — она была для них предвестницей наступающей весны, ее первым приветом.

В апреле, когда в церковном саду еще лежал снег, а аллеи по утрам сверкали тонким ледком, к обеду превращавшимся в лужицы, отец Никанор вместе со Стайным снова начали выходить в город, хотя прогулки стали короче прежних, осенних,— на соседних с Карла Либкнехта улицах, по которым они гуляли раньше, еще стояла непролазная грязь.

Еще чувствовалась весенняя свежесть, и отец Никанор поверх сутаны надевал черное кастировое пальто вполне светского покроя.



Стаин щеголял в новом демисезонном, тоже черном, двубортном, с высокими, до плеч, острыми лацканами, с кармашком на груди, как у пиджака, из которого всегда кокетливо торчал беленький платочек. Появилась у него и черная широкополая велюровая шляпа, которую он надевал каждый раз по-новому, и особенно шикарно она выглядела, когда он гулял без батюшки.

Они так дополняли друг друга, что казались единым целым, и вполне могло показаться, что Стаин тоже состоит на церковной службе, а вовсе не на хозяйственной. Поэтому, когда Жорик появился на улице один, старухи, встречавшиеся на пути, приостанавливались, и не выгляди Стаин столь недоступным, они не дали бы ему и шагу ступить. Но Жорик, когда надо, умел держать дистанцию. Он мог позволить себе лишь погладить по голове ребенка, идущего за руку со старушкой, и жест расценивался как милость, об этом долго судачили потом на завалинках. Конечно, случалось, и не раз, когда какая-нибудь старушка бросалась к нему, прося благословения, или рвалась поцеловать ему руку, но из подобных щекотливых положений он выходил не суетясь, с достоинством, не признаваясь даже экзальтированным старухам, что не имеет никакого церковного сана и не может никого благословлять. Он раскусил толпу, для которой важна была внешняя суть, а не сущность, и потрафлял ее вкусам. Потрафлял щедро, с выдумкой, ибо природа заложила в него многое.

Прогулки вскоре пришлось оставить — центральная улица день ото дня становилась оживленнее, и продираться сквозь толпу, словно на базаре, не доставляло удовольствия, приходилось отвлекаться, здороваться, извиняться. К тому времени подсохла главная аллея в церковном саду, и Стаин с батюшкой иногда прохаживались по ней.

Весной и произошли события, вновь всколыхнувшие городок.

К маю не осталось никаких следов зимы. Разъезженные по ранней весне дороги кое-где подлатали, а лужи высохли сами по себе, и не стало препятствий для прогулок, наоборот, все располагало к ним — запах цветущих лип, тополей, голубой сирени неудержимо вытягивал на улицу. И на Карла Либкнехта, особенно после работы, было так многолюдно, как на Первое мая, когда народ расходится после демонстрации. Уже открылся парк, и вырвавшиеся на простор трубы, тромбоны, саксофоны не знали удержу — город вступал в лучшую пору года, лучился смехом, улыбками, надеждами.

В своем одновременном великом пробуждении актюбинцы как-то не сразу заметили, что Стаин перестал гулять с батюшкой,

да и отец Никанор уже давно не появлялся на весенних улицах. Хотя в мае тому легко находилось оправдание: стоял великий пост, а в конце месяца наступала Пасха, главное событие в церковной жизни. Первая Пасха для отца Никанора в новом приходе.

Что-то происходило и со Стаиным, хотя образа жизни он не изменил. Сыграл первый в сезоне футбольный матч, забив три мяча «Локомотиву», и Татарка, до того слыхом не слыхивавшая о бразильской торсиде и итальянских тиффози, спустилась в тот субботний вечер в парк и шумно гуляла до полуночи. За каждым столиком кафе и летнего ресторана, на всех скамейках, где выпивали, захватив из дома закуску, за которой время от времени вновь гоняли пацанов, крутившихся под ногами, только и слышалось: «Стаин... Стаин... Жорик...»

На танцплощадке он по-прежнему находился в центре внимания, всегда окруженный толпой юнцов, ловивших каждое его слово. По-прежнему оставался равнодушным к своему костюму, только внезапно подстригся — не то чтобы очень коротко, но поповская грива, умилявшая старух, исчезла с плеч, отчего лицо стало еще привлекательнее. «Чтобы легче было играть в футбол», — сказал кто-то, и эту версию Стаин опровергать не стал.

Однажды среди недели Жорик неожиданно объявил оркестрантам, что завтра уезжает.

— В Киев? — спросил кто-то из джазменов, свыкшихся с неожиданными поворотами в его судьбе.

— Нет, в Крым, на все лето, — ответил Стаин и нехотя добавил: — Завязал с религией, надоело...

Нужно было играть, и разговор прервался. Но Стаин не подошел попрощаться, как рассчитывали музыканты, и на следующий день действительно исчез и пропал все лето.

А через неделю в местной газете появилась публикация, не оставшаяся незамеченной. Называлась она длинно и претенциозно: «Еще одна молодая судьба, отвоеванная у церкви». Не менее длинной и путаной оказалась и сама статья, включавшая и пространное интервью Стаина, рассуждения о церкви и религии, но теперь уже цитаты и афоризмы он выдергивал из других источников, налегая в основном на высказывания основоположников марксизма-ленинизма. С какой энергией и жаром еще месяц назад он отстаивал церковные постулаты, с такой же пытался ныне разрушить их. Но людям, близко знавшим Стаина, не все внушало доверие в статье, не все поверили в искренний порыв и мажорный пафос выступления — между



строк так и проглядывал ухмыляющийся Жорка. В заключение журналист желал молодому человеку, идущему столь тернистым путем к утверждению личности, успехов и выражал уверенность, что люди и организации отнесутся с пониманием к его необычной судьбе. Так Жорик предстал жертвой коварной церкви и стал героем, нашедшим в себе силы порвать путы и выбраться из религиозной трясины.

Статья, как и всякая другая, забылась бы вскоре, если через месяц после Пасхи отца Никанора не отозвали из прихода. И по городу поползли слухи: то ли отец Никанор промотал с Жориком какие-то деньги и церковные ценности, то ли в карты проиграл их Стаину. Говорили и о том, что не всегда зимними вечерами Жорик приходил к бабушке один, мол, заглядывал туда и глуховатый Шамиль Гумеров, известный на Татарке картежный шулер, бывали там и девочки, готовые идти за Стаиным в огонь и воду. Последняя догадка как будто была небезосновательной: именно однокурсница Дасаева, прелестная, но легкомысленная Ниночка Кабанова вдруг тихо забрала документы и исчезла в неизвестном направлении сразу после отъезда бабушки. Так, вольно или невольно, Стаин развалил поднявшийся из застоя приход, и церковь больше никогда не привлекала особого внимания жителей города.

Спустя несколько лет после окончания техникума, когда пути Рушана со Стаиным окончательно разошлись, он случайно прочитал в «Крокодиле» фельетон о некоем блудном бабушке, ловко пользовавшемся тайной исповеди.

В числе его многочисленных жертв упоминалась и Нина Кабанова, которую он сорвал с учебы и увез из прежнего прихода, сделав своей содержанкой, а позже и подручной в аферах.

Дасаев вспомнил: летом на танцах прошел среди оркестрантов слух, что пьяный Шамиль хвалился им, как крепко они с Жориком «хлопнули» бабушку в карты, и что молодцом был не он, а Стаин, накануне незаметно унесший запечатанную колоду старинных карт, а уж подточить ее, наколоть и снова запечатать — для Шамиля было делом пустячным. Из-за этой ловко подложенной меченой колоды бабушка и потерял, мол, приход. Но слух дальше оркестрантов не пошел — о делах Шамиля в их городе распространяться было не принято, а попросту — опасно.

Так невольно Рушан оказался свидетелем возрождения и падения церковного прихода в провинциальном городке на западе Казахстана, но тогда ни он, ни люди постарше не придали этому событию большого

значения: атеизм, насаждавшийся жесткой рукой государства, приносил свои плоды — плохие или хорошие, это каждый решал сам.

Но наверняка нашлись и люди, признательные Стаину за дискредитацию церкви, и прежде всего в обкоме и горкоме: их действительно беспокоила нарастающая популярность отца Никанора, они чувствовали свою беспомощность в честной и открытой борьбе с религией — и вдруг такая неслыханная, а главное, неожиданная удача. И выходило, что Стаин, человек необузданных страстей, вольно или невольно сослужил службу государственному аппарату...

XXXIV

Видимо, Рушан и впрямь имел творческую жилку, иначе его столько лет не мучили бы подобные вопросы.

Перебирая прошлое, он вспомнил, как предсказал судьбу знаменитой балерины Валентины Ганнибаловой, но упустил два других случая из того же ряда, которые могли бы несколько иначе осветить его собственную жизнь и поступки.

В середине шестидесятых годов он работал на строительстве крупного химического, а потом и металлургического комплекса в малоизвестном по тем временам городе Заркенте, что в часе езды от Ташкента. Месяцами жил в отстроенной для специалистов гостинице «Весна».

Город возводился с размахом — по замыслу проектировщиков, он должен был стать еще одним маяком социализма, — и потому многое в нем поражало воображение. Например, свой мототрек с гаревой дорожкой, тогда второй в стране после Уфы. По весне там собирались знаменитые гончики, асы с мировым именем: Борис Самородов, Игорь Плеханов, Юрий Чекранов, Фарит Шайнуров и легендарный Габдурахман Кадыров, двенадцатикратный чемпион мира по спидвею. Спортсмены тоже подолгу останавливались в той же гостинице.

Рушану тогда казалось, что духовная жизнь Заркента вращалась вокруг престижной гостиницы. В те годы новые города были окутаны флером какой-то романтики, вызывали особый интерес, им посвящались стихи, песни, и гастролеры, обожавшие Ташкент, не упускали возможности побывать в Заркенте, рекламировавшемся как предвестник городов будущего, где создаются все условия для воспитания гармоничной личности, нового советского человека.



Размах поражал: город уже располагал прекрасными спортивными залами и даже имел великолепный Дворец спорта, на зависть иным столичным городам, не уступал ему по архитектуре и роскоши отделки и Дом искусств с двумя концертными залами. Знаменитые артисты тех лет, нередко наезжавшие в Заркент, тоже облюбовали гостиницу «Весна» — прибежище талантливых архитекторов, зодчих, видных специалистов в области химии и металлургии и молодых руководителей строительства, коих обитало здесь больше всего, и они чувствовали себя в юном городе хозяевами.

Такой творческой атмосферы в среде строителей, как в те годы в «Весне», Рушан больше никогда и нигде не встречал, хотя за свою жизнь поездил и построил много. До глубокой ночи сияли огнями окна гостиницы, разговоры, начатые в ресторане или баре, продолжались в номерах, — о чем только тут не спорили, о чем только не мечтали!

В ту пору Рушан, постоянный жилец «Весны», и перезнакомился со многими известными спортсменами и журналистами, актерами и эстрадными звездами, и даже писателями, которых тоже привлекал город будущего.

Рушан помнит повальное увлечение горожан спидвеем. Так же, как и многие, он был влюблен в Габдурахмана Кадырова, чей красный шарф, наверное, не выветрится из памяти никогда. Позже неистово болел за местный футбольный клуб «Металлург», где доигрывал знаменитый пахтакоровец Станислав Стадник и блистали грузинские варяги: Джумбер Джешкариани, Роберт Гогелия и Тамаз Антидзе.

Несмотря на занятость, он тогда много читал, потому что вокруг постоянно велись разговоры о театре и книгах, кино и музыке, о живописи, музеях и выставках, — такое распахнутое, окрыленное и странное, на нынешний взгляд, было время. С этажа на этаж, из номера в номер передавались журналы, книги, рукописные тексты, те самые, что сегодня называют самиздатом. Куда бы ни пришел, непременно можно было услышать: «А ты читал?.. А ты видел?..»

Книжный бум, уже зарождавшийся в стране, до тех краев еще не докатился, и в магазинах, а не на черном рынке, можно было купить любую книгу, и в свободной продаже встречались редкие экземпляры, раритеты по нынешним понятиям.

Если быть до конца объективным, то в том давнем книжном интересе приоритет отдавался зарубежной литературе. Это позже Дасаев поймет красоту и мощь русской литературы, и прежде всего

Бунина, который затмит для него на долгое время многих других писателей. На следующем витке своего интереса к литературе он сам найдет дорогу к советским авторам, к которым снобы относятся скептически, и надолго на его столе поселятся книги Катаева, молодого Казакова и Распутина; он откроет для себя Битова и Фазиля Искандера, Тимура Пулатова и Гранта Матевосяна, Белова и Можаяева, Трифонова и Маканина...

Как-то, возвращаясь с работы, он купил на уличной распродаже прекрасно изданную толстую книгу «Условия человеческого существования». Роман оказался переводом с японского не известного ему автора Дзюмпя Гомикавы, хотя он знал о другой книге с таким же названием, принадлежащей перу известного итальянского писателя. Огромную книгу, почти в тысячу страниц, — теперь таких романов уже не пишут, — он одолел за несколько ночей. Книга потрясла его, и он до сих пор помнит имя главного героя — Кадзи.

Много позже, читая в прессе про литературные споры об успехах или неудачах социалистического реализма в нашей литературе, в которые были втянуты даже школьники, не говоря уже о студентах вузов, Рушан невольно вспоминал ту толстую книгу, ее название, которое художник подал серебристыми буквами наподобие самурайских мечей, и он думал, что отцы новой идеологии, насаждая идею социалистического реализма в советской литературе, мечтали, наверное, именно о таком герое — цельном, негнибавом, верном принципам и идеалам, достойном подражания. И если бы у него спросили, каким он видит идеального героя, подходящего под клише соцреализма, он без колебания назвал бы Кадзи — героя японской книги. Автор писал роман в начале нашего века, без всяких идеологических шор, без классовой предвзятости, оттого, вероятно, у него и вышел герой на все времена и для всех народов.

Книга ошеломила его, он навязывал ее всем друзьям и знакомым, но, странно, ни у кого она не вызвала восторга. Лет через двадцать, листая в поезде свежий номер журнала «Иностранная литература», он прочитал, что ассоциация писателей Страны восходящего солнца признала роман Дзюмпя Гомикавы «Условия человеческого существования» лучшей японской книгой XX века. Как он порадовался тогда своей молодой прозорливости, — к этому времени он уже знал, что самая читающая страна в мире все-таки Япония, а не СССР.

А лет через пять испытал еще одну радость, связанную с этой книгой, — натолкнулся в газете на сообщение, что японское телевидение



сняло двадцатисерийный фильм по роману, и его уже приобрели десятки стран. Но напрасно Рушан искал в длинном списке свое родное государство — СССР не значился среди них.

Возможно, когда-нибудь, запоздало, появится фильм и на экранах наших телевизоров — ведь купили же спустя пятьдесят лет после создания и всемирного восторга «Унесенных ветром». Вот тогда, наверное, кто-то из пенсионеров припомнит, как почти сорок лет назад, в Заркенте, молодой прораб по имени Рушан горячо рекомендовал прочитать этот роман, и как от него отмахивались, а, выходит, зря.

Все может быть, ничто не проходит бесследно, все взаимосвязано, и рано или поздно это обнаруживается, все становится на свои места, подтверждение тому — история нашей страны, вся наша жизнь. Ведь совсем недавно, через четверть века, Рушан опять натолкнулся на новое издание романа, потрясшего его в молодости. Все повторяется...

В то лето, когда Рушан встретил на летней танцплощадке Валу Домарову крашеной блондинкой, он уже работал мастером и прибыл в Мартук в трудовой отпуск. Как-то, гуляя перед обедом по поселку, заглянул в книжный магазин, довольно богатый для райцентра, и купил тоненькую книжку зеленого цвета в мягкой обложке из серии «Зарубежный роман XX века». Книга была издана года три назад, оказалась уцененной и стоила двадцать копеек.

Ни автор, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, ни название «Великий Гэтсби» ничего не говорили Рушану, лишь серия и издательство «Художественная литература» служили гарантией качества книги незнакомого писателя. Он начал читать роман еще по дороге домой и проглотил его уже через два часа. В тот же день он вновь пришел в магазин и на радость продавщицам выкупил все оставшиеся экземпляры — ровно две дюжины.

В Ташкенте Рушан раздарил книги друзьям и знакомым, увлекавшимся литературой. И опять, как в случае с японцем, не последовало никакой реакции. Но с Фицджеральдом не пришлось ждать двадцать лет, как с Гомикавой: года через четыре после публикации его нового романа «Ночь нежна», а может, еще по какой причине, в стране начался прямо-таки фицджеральдовский бум, как до этого — хемингуэвский. Вот тогда многие, кому он дарил «Великого Гэтсби», вспомнили давний восторг Рушана и, запоздало прочитав роман, благодарили за чудную книгу...

Такие вот странные приключались с ним истории. И они помогали в тяжелые минуты, когда думал, что жизнь прожита зря, впустую,

без открытий. Сегодня, размышляя о прошлом, Рушан мучается еще одним, навсегда безответным вопросом: почему он оказался провидцем с Гомикавой, Фицджеральдом и даже в прогнозе объединения Германии, а так ошибся, вместе с Лом-Али Хакимовым уверяя Эллочку Измествьеву, что юрист — отживающая, умирающая профессия, и в нашем обществе вскоре не будет работы для правовых органов?

Наверное, все оттого, что его поколение, продолжавшее по традиции называться детьми Ленина и Сталина, безоговорочно верило: все мрачное в молодом развивающемся социализме — это наследие темного прошлого, и как только уйдут в небытие последние носители чужой идеологии, исчезнет все негативное вокруг, в том числе и преступность.

Рушан никогда особенно не интересовался политикой, не был и рабом какой-то идеологии. Конечно, как почти все, был и пионером, и комсомольцем, но политика его не привлекала, и, став взрослым, когда решения принимал уже сам, партийным билетом не обзавелся, хотя зазывали его упорно.

Сегодня многие лукавят, утверждая, что иначе, мол, не пробиться было ни в науку, ни в искусство, ни в иные сферы, потому-де и рвались в КПСС. Но он мог с прорабской прямоотой сказать, по крайней мере, о своем поколении: вступали, чтобы сделать карьеру, занять должность, теплое местечко. Те, от кого зависела его возможность получить партбилет, и говорили открыто: хочешь быть начальником, работать за границей — вступай в партию. Он не вступил, начальником не стал, за границу не поехал, но и не жалеет, что всю жизнь проторчал в прорабах.

Рушан интуитивно чувствовал, что предназначение человека на земле — не примыкать к чему-либо, а быть кем-то, создавать, созидать, и это природное, мужское начало удержало его от «взрослых игр» — в преобразование мира, строительство самого справедливого общества на земле, воспитание нового человека, гармоничной личности. А знаменитое ленинское изречение, висевшее на каждом перекрестке, на фронте почти любого официального учреждения, умными людьми воспринималось как пародия сатирика на партию. И в самом деле, разве это не смешно: «Коммунистом можно стать тогда, когда обогатишь свою память знаниями всех тех богатств, которые накопило человечество»?

Что-то ему не приходилось встречать в жизни таких мудрых коммунистов. Хотя статистика свидетельствовала, что их в стране почти



двадцать миллионов, ему как на подбор попадались дремучие, невежественные, злобные, жуликоватые. Может, отвращением к политике он обязан именно этому ленинскому изречению, рано попавшему ему на глаза и воспринятому как нечто ложное, фальшивое, выдававшее желаемое за действительное.

Наверное, ни о Ленине, ни о партии Рушан не вспомнил бы, обошелся как-нибудь без них, но сегодня, когда такой раздрай в обществе, в стране, все разговоры вокруг только о партии, о ее вожде или вождях...

В юбилейный год перестройки — ведь и ее уже стали исчислять пятилетками — Рушан отдыхал в профсоюзном санатории. За столом сложилась солидная мужская компания. Самым молодым оказался он, остальным было далеко за пятьдесят, и, конечно, все разговоры велись о партии, перестройке, Горбачеве, Ленине — Сталине, нынешних лидерах, подлинных и ложных. Дасаев быстро уставал от пустых и злобных бесед, пытался приходиться и пораньше, и попозже, но избежать каждодневных дискуссий не удавалось. Все сотрапезники за большим обеденным столом, кроме Рушана, оказались коммунистами, и как они трижды в день крыли свою бедную партию — нужно было видеть и слышать. Рушан однажды не вытерпел и вступил-таки в разговор:

— Я не член партии, не испытываю к ней ни любви, ни симпатии, но и не проклиная ее, хотя, если судить по фактам, есть за что. Но я никогда в жизни не встречал людей, так люто ненавидящих свою организацию, как вы. Так почему же, не любя, насмехаясь над ней, вы продолжаете состоять КПСС? Наверное, никто из вас не сдал публично свой билет? Мне кажется, партия опасна уже тем, что состоит из людей, ненавидящих ее, не разделяющих ее взглядов. Это больная партия, и надо либо лечить ее, либо дать ей умереть...

После этой тирады ему пришлось пересест за другой стол.

«Двухподбородковые ленинцы, я к вам и мертвый не примкну...»
Оказывается, и об этом уже писали поэты.

XXXV

В дни, когда в разных концах страны ломали и калечили памятники вождю и основателю советского государства, Рушану не могла не вспомниться история, связанная со 100-летием со дня рождения

Ленина. В тот момент по телевизору показывали, как крушили внушительный монумент на Западной Украине. Ужасная картина: каменный Ленин со стальной петлей на шее, а вокруг — восторг, ликование, и ни одного коммуниста, вставшего на защиту своего вождя...

Странное он испытывал тогда состояние: конечно, это был чистой воды фарс, но не покидало ощущение, что на глазах его происходит и самая настоящая трагедия. Трагедия крушения веры в возможность справедливого общества. Неужели и впрямь такое общество невозможно создать? И снова придется крушить пьедесталы и свергать очередных вождей?

Тогда и припомнилась та давняя история.

В юбилейную весну семидесятого года он работал в крупном строительном-монтажном управлении и, видимо по молодости, был избран в профком, но, скорее всего, формально, потому как постоянно пропадал в командировках. Вот тогда, накануне юбилея вождя, он и получил общественное поручение...

Профком возглавлял однокурсник по заочной учебе Фарух Зарипов, ташкентский парень. Дасаев случайно наткнулся на него в коридоре.

— А вот и тот, кто нам нужен! На ловца и зверь бежит! — с радостным возгласом оттащил он Рушана в сторону.— Слушай, тут из треста грозная телефонограмма поступила насчет наглядной агитации в честь дня рождения Ленина...

— Нет, я ни писать, ни рисовать не умею,— ответил Дасаев, пытаясь вырваться из цепких рук председателя профкома.

Фарух улыбнулся.

— А я от тебя таких жертв и не требую. Партком вот и адрес подсказал, где централизованно, для всей республики, готовят стенды.

— Да, фирма веников не вяжет,— съехидничал Рушан.

— А ты как думал? Партия ничего на самотек не пускает,— серьезно ответил Фарух.— Но я думаю, там очередь, и не малая — не одни мы заримся на готовенькое,— и без блата не обойтись. Правда, меня обрадовала фамилия директора художественных мастерских — Гольданский. Помнишь, он раньше в «Регине» с Халилом в одном оркестре на ударных стучал. Ты же раньше знался со всеми джазменами в городе, и ребят с Кашгарки знал... Они там и заправляют. Марик, кажется, до землетрясения жил на Узбекистанской — в одном дворе с твоим другом Нариманом. Короче, вся надежда на тебя. До юбилея осталась неделя, добудь стенд — ты знаешь, за это строго



спросят,— а в качестве стимула — путевка на море в первую очередь, учитывая важность задания...

Как тут было отказаться? Да и Марика захотелось повидать, вспомнить «Регину», Халила, двор на Узбекистанской, откуда вышел знаменитый футбольный бомбардир Геннадий Красницкий...

Художественные мастерские находились где-то во дворах напротив ОДО — Окружного дома офицеров. Некогда внушительный особняк, с мраморными колоннами на парадном входе, роскошными залами, салонами, рестораном принадлежал до революции Дворянскому собранию Туркестана, где часто по вечерам играл в бильярд великий князь Николай Константинович, двоюродный брат царя Николая II, там часто давались балы и принимали высоких гостей.

ОДО славился знаменитым парком с редкими деревьями, ухоженными клумбами, огромным розарием, рестораном на свежем воздухе и танцплощадкой, где собиралась солидная публика, а по воскресеньям играл духовой оркестр.

Рушан жалел, конечно, что не было теперь в бывшем Дворянском собрании ни картинной галереи, ни редких скульптур, ни бюстов, мраморных и бронзовых, в изобилии расставленных когда-то во всех залах и коридорах, у лестничных пролетов. Жаль было, что из шестнадцати гобеленов, некогда украшавших залы собрания, сохранился лишь один, да и то прожженный в двух-трех местах.

Один знающий старик, хаживавший в бильярдную еще до революции, рассказывал, какая роскошная библиотека была при доме, какие сервизы из фарфора и серебра на триста персон украшали столы в дни приемов и в праздники. Но чего нет, того нет, хорошо, хоть фотографии остались. Однако и разграбленное, запущенное здание ОДО даже через пятьдесят лет поражало воображение, и Рушан любил бывать в нем.

По пути в художественные мастерские он прошелся по знакомому парку, год от года ужимавшемуся, словно шагреновая кожа: то одна организация внаглую оттяпает кусок территории, то другая.

А ведь парк бывшего Дворянского собрания, наверное, был единственным в Ташкенте, заложенным по проекту известного русского ландшафтного архитектора, специалиста по садово-парковой культуре,— теперь-то ни слов таких, ни профессии в нашем упрощенном быте нет. Грустно, что ни построить, ни создать ничего толком не умея, доставшееся в наследство от предыдущих поколений рушим варварски и без оглядки.

После землетрясения 1966 года прямо напротив розария ОДО строители возвели громадную столовую национальных блюд. Место бойкое: и Алайский базар рядом, и сквер Революции в квартале ходьбы. Но Рушан, глядя на стекло и бетон очередной столовки-забегаловки, видел канувший в небытие краснокирпичный особняк в два этажа с каменным львом у высокого мраморного крыльца. Он знал, что в этом доме смотрителя народных училищ, ныне разрушенном, вырос гимназист Александр Керенский, в пору столетия В. И. Ленина доживавший свой век в Париже. Всякий раз, проходя по бывшей улице Сталина, менявшей потом названия так часто, что ташкентцы окончательно запутались, возле особняка со львом, с годами ставшего похожим на большую домашнюю кошку, Дасаев ощущал какое-то волнение, личную связь с историей, да и с тем же Октябрем, к которому был причастен и мальчик из дома напротив бывшего Дворянского собрания...

Направляясь к Марику, Рушан припомнил, что там же, во дворах рядом с художественными мастерскими, останавливался некогда поэт Максимилиан Волошин. Дасаев любил Ташкент, интересовался его историей и поражался, что нет до сих пор книги о том, какие выдающиеся люди жили здесь до революции и позже, в годы войны, и в недалеком прошлом гуляли по его тенистым улицам, сидели в уютных чайханах. В общем, он шел к Марику, проникнутый сознанием исторической важности юбилея вождя, но в душе жалея мальчика из краснокирпичного особняка, вынужденного бежать с родины и доживать глубокую старость на чужбине...

Гольданского на месте не оказалось, хотя кабинет был распахнут настежь и, судя по дымившемуся окурку на обшарпанном и залитом чернилами столе, хозяин недавно вышел. Сами мастерские занимали две просторные комнаты с давно не мытыми высокими окнами. Впрочем, судя по стенам и потолкам, здание лет тридцать не знало и ремонта. На дверях каждой из комнат висела табличка «Студия № 1», «Студия № 2». Ни в одной из комнат Марика не было.

Студии, ничем не отличавшиеся друг от друга, оказались заставлены холстами — одни уже были загрунтованы, другие поспешно грунтовались, а высохшие торопливо и ловко расчерчивались на квадратики, и тут же, следом, какие-то мужики, мало похожие на художников, замазывали клетки краской. Причем большинству бегавших по залу разрешалось заполнять незначительные части картины: пиджак, галстук, рубашку, а голову вождя к темным пиджакам, тоже



по клеткам, малевали четверо в одинаково замызганных беретах, один из них был даже в галстук-бабочке. Между теми, кто бегал по залу, и между людьми в беретах, видимо, была конфронтация, и они не общались. По обрывкам разговора Рушан понял, что люди, рисовавшие костюм, настаивали на том, что они выполняют большой объем работ, и, видимо, требовали соответствующую оплату.

На Рушана никто не обращал внимания — конвейер работал без остановки, — и он был вынужден подойти к мэтру в бабочке, позволившему себе небольшой перекур, что вызвало неодобрительные взгляды всех студийцев. На вопрос, где Марк Натанович, мэтр ответил, что тот в соседнем переулке, в спортзале «Мехнат», который они арендовали на три месяца.

Спортивный зал общества «Мехнат» Рушан хорошо знал: в Ташкенте он пытался на первых порах возобновить тренировки по боксу, но как-то беспричинно вдруг охладел к рингу и повесил перчатки на гвоздь. Он никак не мог взять в толк, зачем Гольданскому неожиданно понадобился спортивный зал, где свободно разместились бы поперек три волейбольные площадки. Во дворе, заросшем буйно цветущей сиренью, царствовала весна, но аромат сирени перебивал такой едкий запах клея, что у Рушана мелькнула мысль, не цех ли по изготовлению особого клея открыл Гольданский, бывший ударник из знаменитой «Регины», от которой после землетрясения не осталось и следа...

Появление Рушана в спортзале, и для тех, кто в нем находился, да и для него самого можно было сравнить с классической сценой из «Ревизора» в конце спектакля.

Дасаеву, по крайней мере, было от чего растеряться: на всей огромной площади спортзала на наспех сколоченные козлы были набросаны длинные половые доски, образовавшие непрерывный стол-конвейер, вокруг которого сновали знакомые и незнакомые гранд-дамы столицы: с бриллиантовыми серьгами в ушах, с хорошо уложенными высокими прическами, называвшимися в то время «хала», в экстравагантных сапогах-чулках, только-только входивших в моду и стоивших безумные деньги... Все они, манерно оттопырив тщательно наманикюренные пальчики в кольцах и перстнях, наклеивали фотографии на большие картонные щиты, штабель которых высился у входа.

Рушан мало кого знал лично, хотя и увидел нескольких знакомых, но все эти примелькавшиеся лица он встречал на премьерах в театре, часто — в «Регине», на концертах и шумных свадьбах, столь популярных в те давние годы.

И они, конечно, его признали,— опять же из-за того, что часто встречались в одних и тех же местах, да и балетмейстера Ибрагима знал в городе каждый мало-мальски культурный человек, а Рушан появлялся с ним повсюду. Если кто не знал Ибрагима, то наверняка знал красавчика Наримана, Аптекаря, которому принадлежала знаменитая фраза: «Все проходят через аптеку»,— и с ним Дасаев часто бывал на людях.

Гольданский находился в глубине зала, стоял к двери спиной, но сразу почувствовал по лицам тех, кто находился рядом с ним: что-то стряслось,— и резко обернулся. Увидев растерянного Рушана у входа, он понял тревогу дам и, рассмеявшись, разрядил обстановку:

— Работайте, работайте спокойно. Это не ОБХСС и даже не фининспектор. К нам пожаловал мой друг Рушан, товарищ Балеруна и Аптекаря... — Подойдя к Дасаеву, обнял его и быстро вывел во двор.

— Как тебе удалось набрать такой цветник? — шутливо спросил Рушан.

— Временно, временно... — уточнил Марик. — Не мог же я платить сумасшедшие деньги кому попало, меня бы никто в Ташкенте не понял. А тебя как занесло в спортзал? Решил Кассиуса Клея вызвать на ринг, или знал, что я арендовал это помещение?

— Да я к тебе по делу... Выручай. Говорят, ты монополист в республике по наглядной агитации к 100-летию со дня рождения вождя... В нашу контору пришла телеграмма сверху, велели приобрести, развесить, внедрить...

— Молодцы ребята, хорошо работают! — оживленно сказал Марик и рассмеялся. Наверное, он имел в виду кого-то из горкома или райкома по идеологической части.— Только по большому благу, как старому другу. Да и то, если рассчитаешься по чековой книжке, чтоб нам легче деньги изымать,— заявил он открытым текстом.

— Чек так чек,— согласился Дасаев,— парторга подключу, он заставит бухгалтерию. Но ты хоть покажи, за что мы должны выложить деньги...

Гольданский подозвал парнишку, подававшего на столы картон, и попросил принести готовую продукцию.

Через несколько минут появился стенд. Заголовок «Ленин — наш вождь и учитель» был аккуратно вырезан из десятикопеечного плаката, изданного к юбилею на прекрасной мелованной бумаге. Чуть ниже шел подзаголовок, позаимствованный из другого плаката: «К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина». Свернутые рулоны этих плакатов лежали горкой на столах-конвейерах.



Слева стенд украшал действительно прекрасный портрет вождя кисти знаменитого Андреева в золотисто-бежевых тонах, это тоже была изопродукция, изданная на отличном мелованном картоне миллионными тиражами и приобретенная, конечно, за чисто символические деньги. Стопка таких портретов возвышалась рядом с рулонами плакатов. Остальное пространство стенда в два квадратных метра заполняли многочисленные фотографии. Чтобы разглядеть их, Рушану даже пришлось наклониться.

Ленин в детстве, Ленин на коленях у матери, Ленин с братьями и сестрами, Ленин-гимназист, Ленин с братом-террористом, школьная медаль и похвальные грамоты, Ленин-студент, Ленин в эмиграции, Ленин на велосипеде, Ленин в шалаше, сам шалаш в Разливе, Ленин на броневике, Ленин с какими-то мужиками, Ленин с Луначарским, Ленин с Крупской, Ленин в коляске в Горках, Ленин в гробу...

Фотографии были столь низкого качества, что Ленина трудно было узнать, особенно в зимней одежде, где он смахивал на узкоглазого разбойника, не говоря уже о тех, с кем был снят.

— Плохие фотографии, да и Ленин в гробу в юбилейный день ни к чему, — заметил Рушан, отрываясь от творения Гольданского.

— А я и не говорю, что хорошие, — согласился Марик. — Жаль, государство не догадалось буклеты классных фотографий отпечатать, мы бы их и наклеили. Но не переживай, Рушан, бьюсь об заклад — никто их так тщательно, как ты, рассматривать не будет, и гроба не заметят. Хотя с гробом ты прав, промашка вышла... — Оторвавшись от разговора, Марик крикнул в провал двери: — Срочно убрать Ленина в гробу и заменить Лениным среди женщин Востока. Это будет гораздо политичнее и к месту. — И, обернувшись, продолжил: — Можем поспорить хоть на ящик коньяка: вставь я собственную фотографию на горшке — вряд ли кто обратит внимание. — И вдруг, опять без перехода, спросил: — Хочешь большой портрет маслом, всего за тысячу рублей?

— Тот, который по клеткам рисуют? — усмехнулся Рушан.

— По клеткам или в полоску — неважно, — парировал хозяин конторы. — Важно, кого нарисовали и кто должен висеть в каждом кабинете. Не портреты же Кипренского, Рокотова или какого-то чуждого нам Гейнсборо, или пейзажи Айвазовского, Куинджи... Ты, дорогой, оказывается, еще политически незрелый, оттого, наверное, в прорабах и застрял.

— Ты сам такую грандиозную халтуру придумал? — спросил напрямик Дасаев — его, надо сказать, поразил размах

предприятия, — и тут же растерянно добавил: — Не думал, что идеология может так щедро кормить...

— Только идеология, только партия и кормит по-настоящему, мотай на ус, товарищ прораб... — Гольданский довольно потер руки, и, как несмышленищу, стал объяснять Рушану: — Такие мероприятия действительно бывают раз в столетие, и я его давно ждал: за два года ленинскую символику, плакаты, картинки начал скупать. Идея моя, но без тех, кто заставляет все это «творчество» покупать, и обязательно у Гольданского, она и ломаного гроша не стоит. Теперь понял, почему все эти дамы полусвета у меня на временной работе? Через неделю синекура кончится. И они получают за свой «вдохновенный» труд на благо родной страны такую сумму, которая, наверное, равна твоему полугодовому заработку со всеми премиальными и сверхурочными. Усек теперь, как делают деньги умные люди?..

Тогда Дасаев не понял, но сегодня, хотя и запоздало, дошло: за месяц наклеивания фотографий Ленина в гробу или Ленина с братом-террористом жены и любовницы дельцов и партноменклатуры получили зарплату, которая ему и не снилась. За эти деньги при их связях и возможностях можно было приобрести и «Волгу» — она стоила всего 5 600 рублей, и трехкомнатную кооперативную квартиру, стоившую почти столько же, да в придачу полный комплект импортной мебели для всех комнат. Сегодня это поражает даже больше, чем тогда, когда он узнал о «вдохновенном» труде.

Сейчас, на пороге старости, не имея ни кола, ни двора, Рушан иногда вспоминает отдельные разговоры, разные тексты из книг, как-то связанные и с давним юбилеем вождя, и с нынешним отрицанием идей коммунизма повсюду в мире, варварским истреблением не только памятников Ильичу, но и всех символов социализма, включая отчеканенный в бронзе, высеченный на граните и мраморе лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» В пору молодости, когда он был занят главным делом своей жизни — строительством, те разрозненные историйки не оставляли следа в душе, а вот поди ж ты, ниточка, оказывается, протянулась еще оттуда.

Где-то он вычитал, что мать Фридриха Энгельса, женщина высокой культуры, прекрасно образованная, из богатой и родовитой семьи, в одном из писем сыну, увлекшемуся марксизмом и снабжавшему деньгами его основоположника, мягко, по-женски тактично написала: «Фрид, милый, мне кажется, что ты занимаешься не тем...»



Карл Маркс, работая над «Капиталом», получил от своего издателя грозное письмо: «Уважаемый господин Маркс! Если Вы не представите в оговоренный срок работу «Капитал», мы будем вынуждены заказать ее другому автору...»

А Бисмарк, прочитав многостраничный фундаментальный «Капитал», написал на титульном листе: «Человечество еще намучается с этим бухгалтером...»

Жаль, что эксперимент великих вождей и мыслителей начал осуществляться не там, где он был выношен. Идея зародилась в Европе, в тиши и уюте столичных кафе, гостиниц, библиотек, а расхлебывать кашу до сих пор приходится другому народу, отчаянно берущемуся за всевозможные эксперименты. Видно, уж очень заманчива была идея справедливости, равенства и братства...

В том санатории, где Рушану из-за идеологических споров коммунистов пришлось пересесть за другой стол, произошла еще одна история.

Он обратил внимание на надменную старушку, державшуюся вызывающе и яростно вступавшую в любые споры. Если соседи по столу открыто не хаяли Горбачева и перестройку, то бабуля во всех бедах обвиняла гласность и демократию, и Рушан спросил у своего лечащего врача, отчего старуха не приемлет никаких перемен.

Все объяснялось донельзя просто: оказалось, что старая дама — скульптор, всю жизнь она лепила Ленина и была непревзойденным мастером создания его бюстов — в кепке или без, работала и в малой форме, и в монументальной. Шутили, что небольшие безрукие статуэтки вождя из бронзы, гипса, чугуна, мрамора, заполонившие все отделы канцтоваров, — ее монополярная продукция. Десятки лет на всевозможных выставках и вернисажах она получала призы и медали, и вдруг, в один день, все оборвалось — кончились заказы, спецзаказы, спецмашины. Была причина так рьяно кидаться на перестройку...

Недавно он проходил мимо Окружного дома офицеров — с облезлым фасадом, могучими резными дверями, давно не знавшими лака, с тяжелыми бронзовыми ручками, помнящими тепло рук великого князя, любившего по вечерам заглядывать в Дворянское собрание. И возникли в памяти давние художественные мастерские, где по клеткам рисовали портреты вождя за тысячу рублей. Вспомнился и старый мехнатовский зал, где гранд-дамы столицы вносили свой «популярный» вклад в грандиозный юбилей основателя государства. Давно все прошло, исчезло, растворилось во времени. «И временем все, как водой, залито...»

На месте, где все это происходило лет двадцать назад, ныне высятся монументальное здание Министерства энергетики. Нет в Ташкенте и Марка Гольданского — он уже давно живет в Нью-Йорке и, говорят, играет на Брайтон-Бич в оркестре русского ресторана «Одесса» — вновь, как и в «Регине», вернулся за ударные инструменты.

Давно уже оставили свои кабинеты те, кто давал грозные телеграммы с заданиями обязательной «ленинизации» каждого учреждения, вплоть до детского садика. Давно не встречал он никого из тех гранд-дам, да и редко где теперь бывает, если честно признаться, чаще проводит вечера у окна.

XXXVI

Вспоминая ушедшие годы и судьбы окружавших его людей, Рушан порою наткнулся на события вроде бы незначительные, но сегодня неожиданно отражавшиеся на жизни его поколения, заставлявшие увидеть все под иным углом зрения.

Совсем недавно, уходя на работу, он увидел у подъезда оброненную кем-то двадцатикопеечную монету. Правда, лежала она в расщелине между бетонными плитами, и чтобы достать ее, нужно было воспользоваться прутиком или обрывком провода, которых всегда в изобилии у захламленных и загаженных подъездов.

Двугривенный у входа в многоквартирный дом напомнил ему о денежной реформе тысяча девятьсот шестьдесят первого года. Экстравагантный генсек, тот самый, что стучал на Генеральной Ассамблее ООН по столу ботинком, объясняя причины реформы, по простоте душевной как очень убедительный аргумент выдал с трибуны: «Ишь, заелись, будет лежать на дороге копеечка — не нагнутся. А теперь, когда мы ее поднимем в цене в десять раз, никто мимо не пройдет...»

Ошибся Никита Сергеевич, как ошибался и во многом другом. Десятикратно выросший в цене двугривенный давно никого не привлекает, — а ведь со времени той девальвации прошло тридцать лет. Уже новая, более жестокая девальвация, властно постучалась в дверь и, распахнув ее, с такой силой навалилась на народ, что идохнуть невмочь.

Девальвация... И если бы только денежная! Сплошь, куда ни глянь, девальвация — чувств, отношений, долга. Ничто не в цене — ни судьба человека, ни сама жизнь.



Вглядываясь в сегодняшний день, Рушан обнаружил, как резко у него сузился круг общения за последние годы. Конечно, неизбежны и возрастные потери, когда, хочешь не хочешь, распадаются компании, куда-то деваются друзья, как в знаменитой строке: «Иных уж нет, а те далече».

Когда председатель профкома направил Рушана к Марику Гольданскому с целью добыть стенд к юбилею вождя мирового пролетариата, он обронил фразу: «Ты хорошо знал ребят с Кашгарки, они там заправляют»...

Кашгарка — знаменитый еврейский район в центре Ташкента, навсегда исчезнувший после землетрясения.

На Кашгарке вырос актер Театра сатиры Роман Ткачук, отсюда и кинорежиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, и ленинградский поэт и актер Владимир Рецептер, и певица Роксана Бабаян. Кашгарка дала стране и много известных спортсменов, почему-то одних боксеров: Иосифа Будмана, теперь живущего в Нью-Йорке, и Володю Огоронова, и блестящего Тимура Гулямова, ныне известного рефери на ринге. Имела Кашгарка и своего Мишку Япончика — Фиму Боднера, и даже Мюллер — Леонид Броневой тоже родом отсюда. Список при желании можно продолжать и продолжать...

Кашгарка для Ташкента была чем-то вроде Молдаванки для Одессы. Надо признать, что города, где есть мощная еврейская прослойка, будь то восточные, европейские или кавказские — например, Баку или Тбилиси, — выиграли от такой диаспоры, от нее всегда исходил мощный импульс духовной и деловой жизни.

Да, Рушан хорошо знал ребят оттуда, а ниточка, наверное, потянулась от того еврейского дворика с вечной лужей у колонки на Узбекистанской, где в соседях с Гольданскими жил его друг Аптекарь, красавец Нариман. Сегодня, когда неожиданно обостренно вспыхнули национальные чувства у всех народов и стали предъявляться друг другу обоснованные и необоснованные претензии, трудно представить, что в пору молодости Рушана пятая графа в паспорте — «национальность» — не играла в жизни ташкентцев никакой роли — люди сближались совсем по иным основаниям.

Взять хотя бы их троицу: Ибрагим — кокандский узбек из детства, Нариман — азербайджанец из Баку, и он сам — оренбургский татарин, родом из Западного Казахстана.

И окружение, в кого ни ткни, такое же, интернациональное. Известные братья Рожковы, Славик и Гера, — непонятно какой

национальности, хотя и с русской фамилией. Юра Толстой — русский бакинец, изумительно танцевавший рок-н-ролл. Ваган Адамян — ташкентский армянин, но корнями из Карабаха, как и большинство армян Средней Азии. Знаменитый саксофонист Халил из «Регины» — узбек, легендарный нападающий «Пахтакора» Берадор Абдураимов — единственный узбек в клубе бомбардиров имени Григория Федотова...

Сегодня вместе с ним обязательно вспоминается очаровательный подросток по прозвищу Тайванец с подвижным лицом и умными глазами. Мальчик так любил футбол и так обожал своего кумира, что когда Абдураимова пригласили в московский «Спартак», поехал вместе с ним. Вспоминается он неспроста, хотя взрослым Рушан видел его лишь однажды.

Поздней осенью 1971 года два футбольных клуба, «Динамо» и ЦСКА, набрали в чемпионате страны одинаковое количество очков. Между ними должен был состояться дополнительный матч, и местом встречи команды выбрали Ташкент, как раньше это уже делали московское «Торпедо» и тбилисское «Динамо».

Матч вызвал невероятный ажиотаж, стадион «Пахтакор» был в осаде, но Рушан не просто попал на игру, а умудрился проникнуть в ложу прессы, где по традиции размещают дублирующий состав и гостей, сопровождающих команду. К тому времени Абдураимов играл уже за ЦСКА, а повзрослевший Тайванец был определен на какую-то хозяйственную должность в клубе, и так случилось, что Рушан оказался рядом с Аликом, как звали в миру Тайванца.

Игра для армейцев складывалась неудачно: к перерыву они проигрывали 0:2 — результат для матча такого уровня нокаутирующий. В ложе для прессы находились и несколько ярких поклонников «Динамо» — не те юные фанаты, что кочуют с командой и бьют в поездах стекла, а люди солидные и состоятельные, меценаты, ныне исчезнувшие совсем. Эти люди, знавшие Тайванца, начали заводить Алика, приглашая его на банкет по случаю победы «Динамо», предусмотрительно заказанный для команды в ресторане «Ташкент», и Алик, не отрывая глаз от поля, предложил пари, по тем годам на сумасшедшую сумму — десять тысяч рублей. Поклонники «Динамо» тут же протянули ему банковскую упаковку сторублевков. Алик, достав из кармана костюма такую же пачку, передал всю сумму Рушану — такова традиция, деньги отдаются нейтральному человеку. Можно представить, с каким волнением следили за ходом матча в ложе прессы.



В основное время армейцы сравнивали счет. В перерыве перед дополнительным таймом Тайванец, утирая со лба пот, сказал уверенно: «Ну, теперь наши дождут...»

Так оно и случилось. И героем финального поединка стал Владимир Федотов, сын легендарного бомбардира, — он сыграл свой лучший в жизни матч, забив два решающих гола, а ведь спортсмен доигрывал, и сезон тот для него оказался последним в футбольной карьере.

Вот таким азартным знатоком футбола остался в памяти Дасаева Тайванец. Но вспомнился он не из-за любви к футболу и даже не из-за пари.

Много позже Рушан слышал, что тот стал в Москве «авторитетным» человеком, вроде знаменитого мафиози дона Корлеоне, держал в руках столицу и никогда не отказывал ташкентцам в помощи. Однажды у «Лотоса» он услышал, что Алик за один вечер выиграл в карты миллион. А в разгар — или в разгул? — перестройки прочитал в «Правде», что наша отечественная мафия широким фронтом вышла на международную арену и уже имеет весьма существенное влияние на Западе. Упоминался там и Тайванец. Алик, оказывается, жил в Германии на роскошной вилле и страстно болел за мюнхенскую «Баварию».

Вот так, неожиданно, открылась Дасаеву еще одна не нужная ему правда — тайна мальчика, страстно любившего футбол.

Да, ребята с Кашгарки были фанатами футбола. Да и кто не был им увлечен в то время, когда свежий ветер дул во все паруса страны? В этом увлечении, в обожании знаменитых спортсменов тоже раскрывается время и познаются люди.

Рушан помнит еще один финал — матч между тбилисским «Динамо» и московским «Торпедо». Такого ажиотажа и наплыва гостей Ташкент не знал ни до, ни после. Наверное, впервые в истории нашей страны десятки чартерных рейсов в день доставляли любителей футбола из Грузии в Узбекистан, не прерывалась правительственная связь между республиками.

«Мы сдали город грузинам на три дня», — шутили ташкентцы. Повсюду слышалась кавказская речь, мелькали модные в ту пору кепи-аэродромы. Горожанам в те дни было невозможно попасть ни в один ресторан, ни в одно кафе — кругом гуляли гости.

В день матча в аэропорту происходило удивительное. Откуда бы ни прибывал рейс — из Москвы, Киева, Баку, Еревана, Ростова, Минеральных Вод, Симферополя, Адлера, — пассажирами оказывались

одни грузины: они добирались до Ташкента на игру любимой команды окружными путями. Можно представить, сколько стоил билет на такой матч в городе, где около футбола крутилось немало «жучков»...

Уже за час с небольшим до начала игры у гостиницы «Ташкент», откуда со стадиона «Пахтакор» десять минут хода пешком, творилось что-то невообразимое. Собравшиеся со всей страны репортеры, фотокорреспонденты, тележурналисты, болельщики, поклонники грузинского футбола из Узбекистана и близлежащих городов Казахстана и Таджикистана, сами грузины ожидали выхода из гостиницы своих кумиров, своих любимцев.

Большой нарядный «Икарус» с распахнутыми настежь дверями уже стоял на площади. Видимо, чтобы подогреть страсти, с большим отрывом от основной группы появились трое защитников: Гурам Петриашвили, Джемал Зеинклишвили и Гурам Цховребов. Вышли не как повелось ныне — в мятых спортивных костюмах, а при галстуках, тщательно причесанные. Элегантные, уверенные, они быстро исчезли в чреве вишневого автобуса с зашторенными окнами.

В тот момент, когда Рушан с друзьями не отрывал взгляда от живого коридора, оцепленного милицией, где вот-вот должна была появиться вся команда, сквозь строй стражи протиснулся Володя Огоронов и направился в сторону аптеки Наримана, а не к стадиону.

Огоронов с Будманом недавно стали чемпионами Спартакиады народов СССР, вошли в сборную страны и пользовались в Ташкенте огромной популярностью. Оттого, наверное, Володю пропустили через милицейский кордон. Кто-то рядом с Рушаном с неподдельным удивлением в голосе окликнул парня:

— Володя, ты не идешь на футбол?

Огоронов, приостановившись посреди гостиничной площади, обернулся на знакомый голос и беспечно спросил:

— А кто сегодня играет?

Площадь содрогнулась от гомерического хохота, и появившаяся в этот момент команда так и не поняла, что бы это могло означать.

XXXVII

Сейчас в Ташкенте мало осталось знакомых ребят с Кашгарки. Словно ветром разметало их по миру. Иногда в почтовом ящике Дасаева, вызывая зависть соседей, появляются роскошные открытки



то из Тель-Авива, то из Хайфы, Лондона и Амстердама, Сан-Франциско и Гамбурга. Не объяснишь же каждому соседу, что уехали друзья совсем не по доброй воле и не только в поисках более сытой жизни. Кашгарские ребята и здесь имели свой кусок хлеба с маслом. У иных давно уже есть и виллы, и «мерседесы», но вспоминается им до сих пор до спазмов в горле квартира без удобств на Кашгарке, сирень под окнами, яркий, шумный Алайский базар и давние дни, когда они, оказывается, были так счастливы, — ничто не заменит улиц детства.

Поколение кашгарских ребят, с которыми он дружил в юности, тоже страдало от безотцовщины, и большинство из них получали высшее образование заочно, как и Рушан. И группа у них на стройфаке собралась интернациональная: треть составляли евреи, еще одну треть — греки и немцы, последним заметно перекрывали путь в очном образовании, и потому им оставался единственный шанс.

Такое примерно соотношение было и на других курсах, и на соседних факультетах. Нельзя не заметить, что когда он оканчивал институт, резко увеличилось число студентов корейской национальности — людей, в массе своей обладающих четким, аналитическим мышлением, важным в любом инженерном деле. Почему-то в те годы профессия инженера-строителя не привлекала коренное население — стремились в юридический, торговый, нархоз, автодорожный.

У Рушана было немало друзей среди евреев, греков, немцев, тем более что он понимал и мог худо-бедно изъясняться по-немецки — дружба в Мартуке с Вуккергом не прошла бесследно.

В последние годы, когда стало очевидно, что перестройка зашла в тупик и не оправдала надежд, резко обострились национальные отношения, и многие его знакомые начали покидать страну, причем не только те, с кем он знался в институте или на Кашгарке.

В те давние шестидесятые годы Ташкент бурно развивался, расстраивался, и ради объективности надо сказать, что почти все крупные тресты и управления возглавляли инженеры еврейской национальности. Уникальное здание оперного театра по проекту знаменитого архитектора Щусева возводил, еще с пленными японцами, Пикман, он же застраивал площадь перед театром и возводил гостиницу «Ташкент» по проекту татарина Булатова. Перед самой войной начала застраиваться самая красивая улица Ташкента имени Навои, и руководил этим строительством Крайзман. Ташкент отличает рациональное водоснабжение, а ирригационной сетью, современными инженерными коммуникациями он обязан Виксману. Первый в республике трест

«Спецмонтажстрой», обслуживавший строительство металлургических и химических предприятий, возглавлял Горенштейн, знаменитый «Ангреншахтстрой» — Терман, «Высотстрой» — Каменецкий. Первое управление, где начинал работать Рушан, организовал Гольданский, отец Марика. Список можно продолжать и продолжать, и это только строительство, а были еще здравоохранение, высшее образование, тяжелое машиностроение...

Сегодня из множества людей, с которыми он встречался на строительных площадках и планерках, остались немногие. К нему постоянно доходили грустные вести — тот уехал, те собираются, другие ждут визу... словно кто-то выкашивал вокруг друзей и знакомых...

Удручающее впечатление производили на него очереди у американского посольства, посольств других стран, где в основном стояли евреи с армянами. Рушан уже даже себе не задает вопрос — почему? Ибо знает: от хорошей жизни или от ее перспектив не бегут, никто не враг себе, своим детям и внукам. И пытается понять великий исход, нащупать главную причину, ведь убивали армян в Сумгаите — уезжали евреи, убивали турок-месхетинцев — уезжали евреи, пошел отток русских из республик — опять та же история. Он прокручивает свою жизнь, как киноленту, все дальше и дальше назад, и снова упирается в детство, послевоенный бедный Мартук...

В поселке хватало людей всех национальностей, но еврейская семья там была одна. Впрочем, в ту пору разговоры о пятой графе не возникали, ибо большинство здешних жителей подходило под сталинское определение — нацменьшинство. Рушан помнит, как учительница заполняла какие-то документы и для этого поднимала каждого с места и спрашивала, какой он или она национальности. Отвечали по-разному: чеченец, ингуш, татарин, башкир, немец, чуваш, мордвин. Не отрывая взгляда от тетради, учительница кратко резюмировала: «Значит, нацмен». Теперь, через много лет, он понимает это сокращение — от национальных меньшинств. Только русские, украинцы и казахи, которых в классе было всего трое, не попадали под категорию «нацмен». Помнится, ребята в своих бесхитростных отношениях использовали неожиданно возникшее братство и говорили: «Ты ведь тоже нацмен». Единственный в классе еврейский мальчик Фима Беренштейн тоже попал в эту категорию.

Став взрослее, они уже понимали, что такое национальность, но прежде поняли, какой они веры, ибо и церковь, и мечеть имели свое влияние в селе. Он помнит, как и многие в Мартуке, что часто



повторяла слепая старуха Мамлеева: «Если бы чеченцы не оказались с нами одной веры, они бы вымерзли зимой сорок пятого года».

Может, та толика веры, что старательно передавали детям бабушки и дедушки, и пустила в них ростки милосердия к ближнему, ко всему живому вокруг? Никто не убедит Рушана, что жестокость, цинизм, безнравственность, обнажившиеся сейчас во всей полноте, были таковыми всегда. Да, это существовало во все времена, но не в таких масштабах, не охватывало все слои населения и почти не касалось женщин. Тогда можно было знать наверняка, что от кого ждать. Народ жил милосердием, оттого и выстоял в войну. И пример Фимы — яркое тому подтверждение.

Фима Беренштейн рос красивым, видным парнем, но был упрямым, вспыльчивым, а если откровенно — то и вздорным. Суровая жизнь вырабатывает суровые нравы общения, всяк умел постоять за себя, и гордец Фима часто, причем по делу, нарывался на кулак, как говорили в Мартуке.

Быть бы ему когда-нибудь крепко битым, особенно если дело касалось девушек, но всякий раз в самый разгар драки кто-то обязательно крикнет: «Хватит, он же у нас единственный еврей!» Как ни странно, это останавливало драчунов, тем более что ничего оскорбительного в слово «еврей» не вкладывалось, а любвеобильный Фима, кажется, даже пользовался этим — знал, что если будет терпеть поражение, прозвучит спасительное: «он же единственный...»

В техникуме в одной с Рушаном группе учился Ефим Ульман, они даже два года жили вместе в одной комнате. Ефим, детдомовский парень, не знал, откуда он родом, кто его родители. Учился он неважно, ниже среднего, и попал к ним в группу как второгодник — не будь он детдомовцем, его, скорее всего, отчислили бы.

Сегодня Рушану куда понятнее, чем в молодости, поведение Ульмана, его замкнутость, неожиданная агрессивность, высокомерие, гордыня, — парень, видимо, остро переживал, что ему трудно давалась учеба. И этому можно найти объяснение — строительство железных дорог не было его призванием, душа Ефима рвалась к другому. А в детдоме стремились обучить прежде всего специальности, обеспечить парню верный кусок хлеба: в те годы считалось, что железнодорожник — профессия беспроектная.

В общежитии во все времена первым инструментом была гитара. Многие ребята прекрасно играли на ней. Потянулся вдруг к гитаре

и Ульман. Вскоре в любой компании его просили сыграть, и уж тут он преобразался.

Рушан вспоминает старого петербуржца профессора Глузмана, читавшего у них электротехнику. Так сложилось, что у них, в обыкновенном провинциальном техникуме, костяк преподавателей составляли люди с именами, профессора, сосланные в Казахстан. Глузман, предельно корректный со всеми, часто говорил огорченно Ефиму: «Ульман, не ожидал, что вы такой бестолковый». Эту фразу никто из студентов не принимал всерьез, тем более близко к сердцу. И только теперь Рушан понимает, сколько стыда и обиды она доставляла Ефиму. И не один только преподаватель ранил его, они, сокурсники, тоже были хороши. Иногда, когда у Ульмана что-то не получалось по высшей математике или по сопромату, кто-нибудь из ребят в сердцах ронял: «А еще еврей...»

Ефим глубоко переживал и свои бесконечные неудачи с девушками, хотя вряд ли кто из группы в ту пору мог похвастаться особыми успехами на любовном фронте.

На четвертом курсе, весной, накануне преддипломной практики, Ефим пытался броситься под поезд, но машинист оказался начеку, да и нервы у парня в последний момент дрогнули — сам рванулся из колеи.

Жили они в одной комнате, друг от друга особых тайн не имели, да и жизнь каждого в ту пору была как на ладони, даже в баню ходили компанией, — однако никто не мог назвать конкретных причин, подтолкнувших Ефима к самоубийству. Но тут уж оба общежития — женское и мужское — не сговариваясь, взяли над парнем шефство, и редко кто потом подтрунивал над Ульманом даже по мелочам. Сработало знакомое Рушану по Мартуку: «Он же у нас единственный...»

В тот год, когда Рушан, будучи в отпуске, пришел первый раз на могилу прокурора, любившего джаз, он случайно узнал, что Ефим-таки погиб под колесами поезда, и причиной называли безответную любовь к внучке профессора Глузмана.

Сегодня, через три десятка лет, вспоминая своего однокурсника Ефима Ульмана, Рушан, по крайней мере для себя, уяснил, почему евреи покидают страну. Они не могут жить вне свободы. Любой — духовной, религиозной, творческой, деловой. Не могут жить в регламентированном обществе, в рамках, жестко определяющих им место, — тут бессильны власти и партии, их душа жаждет заниматься только тем, для чего она предназначена судьбой и природой.



И судьба Ефима подтверждает это: ненужным оказалось гарантированное парню благополучие железнодорожника, ему, наверное, хотелось играть на гитаре и любить внучку Глузмана... Любить другую, заниматься иным делом, как поступают люди сплошь и рядом, он не желал, такая жизнь была ему ни к чему, и он распрощался с нами.

Пусть будет земля ему пухом! Прости, Ефим, профессора Глузмана и всех, кто обижал тебя за то, что ты не мог осилить сопромат и детали машин. Ты не воспринимал все это потому, что не нужны были твоей душе эти знания, иное влекло тебя...

Так, и только так, Рушан объясняет для себя трагический исход евреев из Страны Советов, в основание которой и они заложили немало сырых кирпичей.

Вся наша жизнь состоит из ложных стереотипов, и это тревожит Рушана,— вот неисчерпаемая тема для будущих философов, когда они возьмутся исследовать попытку конструирования нового мироустройства и практического создания общества равных возможностей, а также воспитания новой гармонической личности, для которой общественное было бы выше личного, а свое, кровное — ничто по сравнению с идеей.

Среди многих стереотипов один бытует очень широко — евреи, мол, не могут постоять за себя, их легко запугать. Но это рассказы для тех, кто хотел бы выдать желаемое за действительное.

В конце 1987 года, в разгар перестройки, в Ташкенте у ресторана «Ереван» был убит вместе со своим подручным и телохранителем Нарик Каграмян — подлинный хозяин города, обложивший данью не только кооператоров, но и государственных служащих, партийную номенклатуру, получавших крупные взятки почти ежедневно. Все возмущались, проклинали и Нарика, и власти, делавшие вид, будто не знают, что происходит в столице, однако оброк платили исправно. Но чаша терпения переполнилась... И только у евреев хватило смелости на отпор,— это их ребята демонстративно, в упор, расстреляли грозного мафиози, на которого власти и глаза боялись поднять, не то чтобы оружие.

Многие власть имущие присутствовали на грандиозных похоронах мафиози, по масштабам едва уступавших рашидовским. И по сей день в стране вряд ли найдется десяток памятников, к которым, как к могиле Нарика, ежедневно возлагались бы живые цветы. Истинная власть может себе позволить чтить своих героев...

Смерть мафиози Каграмяна еще раз подтверждала догадку Рушана о свободе еврейской души: когда планка беспредела поднялась до отметки, унижающей их достоинство, они не стали терпеть, как другие.

Существует и еще один стойкий лжестереотип, прочно утвердившийся в сознании масс: якобы люди кавказской национальности в силу высокочтимого личного достоинства, эмоциональности, легкой ранимости чрезвычайно ценят свободу и не позволяют унижать человека.

Но в годы командно-административной системы нигде так изощренно не унижалось и не растаптывалось человеческое достоинство, как на Кавказе, где чиновничество доходило до курьезов, до абсурда, нигде партийное самодурство не достигало таких высот — или бездны, — как там, разве что еще в Средней Азии. А ведь жили, терпели, несмотря на свою ранимость и гордость, завязывали шнурки высокопоставленным лицам и не очень-то спешили избавляться от феодально-байских отношений, унижающих человеческое достоинство...

XXXVIII

Перебирая в памяти то, что он хотел бы вспомнить, «вписать» в книгу о времени, друзьях и любимых, о себе и своей родне, о матери и отчине, Дасаев удивлялся, как все-таки надо всем довлеет политика, как идеологизирована чуть ли не с пеленок вся наша жизнь. А ведь ему хотелось, чтобы в этих записях остались воспоминания о запахах и красках времени, о полях и лугах, где еще цвели синеглазые васильки попеременно с колючим татарником, и разнотравье с земляникой, диким луком, щавелем и чесноком радовало ребятишек, а бабочки, стрекозы, кузнечики, жучки, птицы — от жаворонка до беркута — считали степь своим родным домом.

Но в памяти всплывало не только светлое. И слишком много припоминалось смертей...

Под колесами поезда погибли и Халил, правнук слепой старухи Мамлеевой, и детдомовец Ефим Ульман, и мальчишки, не поделившие самоварный уголь. И, уносясь мыслями в прошлое, пытаюсь отыскать там светлые картины, связанные с рекой, лесом, степью, Рушан вновь и вновь возвращался памятью в Мартук.

Вспомнилось еще одно возвращение домой, уже после смерти отчима, которого он все-таки успел назвать отцом. Как раз тогда



сосед-комбайнер за высокие урожаи последних лет получил на ВДНХ персональную «Волгу» и, узнав, что Рушан собирается наведаться в Оренбург, предложил ему обкатать новую машину в дороге. Эта поездка надолго запала в сердце, хотя до Оренбурга он так и не добрался, и этому была своя причина.

Мартук выходил окраинами к лесополосе, вдоль которой тянулась дорога на Оренбург. Эта лесополоса, высаженная на его памяти, когда он пошел в школу, теперь превратилась в настоящий лес. Конечно, не такой буйный и неоглядный, как в глубине Сибири или Белоруссии, но для степного края — действительно лес. В пору его юности, когда деревья только-только поднялись, никаких там зверушек, птиц, кроме воронья, воробьев и кукушек, не водилось. Помнится, кто-то хвастался в школе, что видел там ежа, но ему тогда никто не поверил.

А сейчас, говорят, и зайцы, лисы, волки, барсуки, бурундуки, и даже кабаны и сохатые появились. А ведь никто специально не заселял ими лес — появились, и все, загадка природы...

Лес, кажется, тоже изнывал от жары в то лето. Сухо шелестела листва деревьев, вставших стеной у дороги, сдерживая знойный сухой из бескрайних казахских степей. Не слышно было даже птичьего гомона — тишина, ожидание вечера, прохлады, жизни. Рушану неожиданно для себя захотелось припарковать машину на опушке и пройти в глубину чащи. Он нашел чистую поляну, приглянувшуюся ему зеленой нетоптаной травкой, и, сбросив спортивную куртку, присел на кочке.

Далеко впереди, разъезда за два-три, послышался шум поезда. Это был не грохот приближающегося состава, а удивительно чистый, ритмичный звук, растворенный в необъятной шире и тишине, какой слышат только там, где люди живут на больших просторах, где впереди у летящего состава десятки и десятки километров свободного пространства, не загроможденного строениями вдоль дороги. И этот волнующий звук, от которого щемит сердце у каждого жителя маленьких местечек, ибо с дорогой связаны там все тайные, несбывшиеся мечты и робкие надежды, сеял в душе ожидание смутных, но радостных перемен.

Звонящая тишина чащи, ровный гул приближавшихся и удалявшихся поездов, вибрировавший в огромном многоствольном органе леса, настраивали Рушана на воспоминания, большей частью грустные: о робком отрочестве, неуверенном и бедном студенчестве

в городе, где таких, как он, ребят, выходцев из маленьких местечек, подобных Мартуку, долго, почти до выпуска, называли колхозниками. Одни вкладывали в это слово понятное только им пренебрежение, имевшее различные оттенки, вплоть до презрения, другие бросали его просто так, по привычке, следуя плохой традиции, но и в том, и в другом случае было обидно.

Помнится, после первого курса он как-то поделился этим с отчимом, но рассказал очень путано, краснея и сбиваясь. Однако Исмагиль-абы понял. Он внимательно посмотрел на Рушана и, часто поглаживая усы, что делал обычно, когда был сердит и недоволен, спокойно ответил: «Тут уж, сынок, никто вам не поможет. Джигиту, настоящему джигиту, оскорбительного никто и никогда не скажет. Просто вы еще никто. Салаги вы... — И добавил: — Ни место, ни год рождения, ни национальная принадлежность не дают никаких гарантий, особого мандата в жизни. Все в себе человек должен воспитать сам, и только делом утверждается человек на земле, а отсюда и отношение к нему, а значит, и к месту, и году рождения, и даже к его национальности...»

Тогда от растерянности, робости перед силой и убежденностью Исмагиля-абы, который не то переспросил, не то произнес специально для него вслух «колхозник», и прозвучало это почти как его фамилия «Дасаев», — Рушан скорее смутился, чем понял отчима...

Долго посидеть в лесополосе не удалось — дорога звала вперед. Уже за Сагарчином, ближе к Кувандыку, когда до Оренбурга оставалось рукой подать, впереди показался мост, весь в строительных лесах, — видимо, в половодье повредило фермы, — и Дасаев сбавил скорость. В приоткрытое окно ударил близкий запах воды и напомнил Илек — реку его детства. Рушан осторожно переехал мост и невольно притормозил.

Впереди, насколько хватало глаз, змеилась в зеленых берегах тихая утренняя река. Медленно несла она свои воды, журча на перекатах, кружась и темнея в редких затоках, шелестя молодой осокой на заболоченном мелководье. Тонкий, едва заметный пар, словно туман, поднимался кое-где над водой, а с высокого берега тень многолетних вязов темным зонтом перекрывала жемчужную полосу воды. Низкий берег, покрытый густым тальником, переходил в луга, — видимо, широко по весне разливалась река. И пойма эта, повторяя изгибы реки, тоже уходила далеко, но конец ее Рушан все-таки видел.



В лугах недавно прошел первый укос, тут и там стояли небольшие копны сена, а трава уже снова пошла в буйный рост,— чувствовались близость и щедрость реки. Вокруг было тихо, безлюдно, лишь вдали, как и в Мартуке, слышался шум далеких поездов, и звук этот над просыпавшейся рекой будил в душе чистые отрадные воспоминания.

Глядя на раскинувшиеся внизу луга, Рушан видел, как в детстве, ночное, костры, стреноженных коней, шаловливых жеребят, слышал храп знаменитых скакунов и нетерпеливое ржание кобылиц в ночи. Только не мог ясно представить мальчишек из соседних казачьих станиц и татарских аулов, для которых луга, наверное, были общими,— слишком мала река, чтобы одаривать людей лугами и полями по национальностям.

Нет, не мог он представить мальчишек транзисторно-магнитофонного поколения в тихом ночном. Хотя знал, что не перевелись в станицах и аулах лошади, и каждую весну и осень то в татарском ауле на сабантуе, то в станицах на празднике урожая устраиваются иногда скачки и джигитовки, на которые съезжается народ отовсюду, даже из города. И джигитуют, конечно, парни — ох, какие лихие парни! — и школой для них, конечно, по-прежнему служит ночное. Пока не исчезнут на земле кони, всегда будет ночное — одно из самых удивительных и волнующих воспоминаний отрочества, а значит, не переведутся на земле джигиты. Просто другое время — другое и ночное, наверное...

Он стоял долго, и перед глазами одна картина сменялась другой, он то заглядывал в прошлое, то видел будущее, и думалось здесь, на просторе, у реки, светло. В поднявшейся траве он разглядел след конной косилки и, проследив его, увидел съезд в луга. Ехать дальше расхотелось.

На высоком берегу за вязами угадывалась большая казачья станица. «Сегодня воскресенье, базарный день, наверное, еще успею», — подумал Рушан, почувствовав, как проголодался. Он развернул машину и проехал по проселочной дороге вдоль высокого берега: где-то дорога должна была свернуть к селу.

В этой казачьей станице Рушан бывал, — отчим несколько раз брал его на базар, а однажды Исмагиль-абы чинил английский двигатель на старой казачьей мельнице, и жили они вдвоем на постоялом дворе станицы целую неделю. Рушан тогда не мог взять в толк, почему местных называют казаками, — ведь говорили они на русском

языке, как и их соседи в Мартуке, да и внешне ничем не отличались от соседей, разве только стар и млад носили фуражки с лаковым козырьком и красным околышком. Еще запомнилась станица сплошь белыми ухоженными хатками — ни одной развалюхи, как у них в поселке, — и вишневыми садочками. И почему-то запала в память фраза, — отчим сказал ее кому-то, когда они вернулись после ремонта мельницы и, наверное, спрашивали сельчане о казачьем житье-бытье: «У казаков порядок строгий: лес береги, реку береги, луга береги, — потому и живут крепко».

Тогда, мальчонкой, он не понимал, почему нужно беречь реку, лес, луга, пашню. Казалось, они сами по себе: всегда были и будут, — и при чем здесь человек?

Станица, в которую Рушан въехал минут через десять, ничем не напоминала то казачье село, в котором он бывал тридцать лет назад. Ныне оно походило на Мартук — время безжалостно нивелирует быт, стирая самобытное, индивидуальное. По вывескам Рушан определил, что станица ныне стала районным центром.

По пыльной разбитой главной улице райцентра, которую неведомо когда и невесть как заасфальтировали, не спрашивая никого, выбрался к базару. Лишь базар, уже мало-помалу начинавший расходиться, терявший напряжение и азарт, напомнил ему казачью станицу его детства.

У ограды стояли подводы, брички и даже пароконный крытый фургон, на манер ковбойских, с которого продавали визжавших двух-трехмесячных поросят. Рушан поставил машину в лаково-цветной ряд сплошных «жигулей» и поспешил к торговым лавкам. Но, как ни спешил, не смог не сдержат шаг у изгрызенной степными аргамаками старинной коновязи. Где, в каком месте и когда еще увидишь подобную стоянку? Наверное, нынешние дети и не подозревают, что были раньше специально отведенные места для верховых лошадей, как сейчас для автомобилей и велосипедов. У коновязи неспокойно стояли с десятков лошадей, испуганно кося глазами и нервно перебирая тонкими ногами. На двух были высокие казачьи седла — роскошные, старинной работы, и сбруя вся в черном серебре, отчего казалась невероятно тяжелой, даже стремяна были серебряные, высоко подтянутые.

«Таких лошадей иметь и так содержать могут лишь люди, безмерно влюбленные в них, истинные казаки, каких уже мало осталось», — подумал Рушан. И, словно подтверждая его мысль, к серому



в яблоках коню подошел сухощавый поджарый старик. Конь, чувствуя хозяина, потянулся к нему губами, затанцевал, словно говорил: я заждался, соскучился.

— Ну, милый, успокойся,— сказал хозяин, теплея глазами, и старческий голос выдал его преклонный возраст.

Старик выглядел лихо в кое-где прожженной, а может, простреленной коротенькой черкеске с пустыми газырями, сохранившейся со времен его молодости и удач, в щегольских хромовых сапогах и новой круто заломленной казачьей фуражке. Вдруг ястребиными глазами он выхватил у коновязи Рушана, и в этом взгляде — инстинктивном, цепком, был извечный страх хозяина за любимого коня. Он словно почуял вблизи цыгана-конокрада, как, наверное, всегда безошибочно чувствовал в молодые и удалые годы. Старик не ошибся,— Рушан любовался именно его рысаком.

— А, пеший татарин,— сказал он как бы разочарованно, сгоняя с лица тревогу.— И, словно дразня и укоряя, продолжил: — Смотри, любуйся, у вас таких красавцев уже нет. Не тот пошел нынче татарин...— А после паузы грустно заключил: — Да и казак тоже...

Конь, почуяв в голосе старика неподдельную печаль и будто желая прервать неожиданный разговор, шагнул к хозяину. Старик нежно обнял его красивую голову и, целуя мягкие ноздри своего любимца, уже не замечал Рушана, приговаривал: «Терек... милый Терек»,— а на тонкой старческой руке, поглаживавшей шею коня, болталась казачья нагайка. И единственный раз в жизни Дасаев пожалел, что не имеет фотоаппарата и не умеет фотографировать — какой великолепный получился бы кадр!

На базаре в продовольственной лавке он выпросил пустую коробку из-под кубинского рома. Шум, толчея, смех, шутки, громкий разговор взбудоражили Рушана, заразили азартом базара, и он, весело балагурия, как и все вокруг, быстро накупил всякой всячины. В молочном ряду выпил банку домашней простокваши и купил знаменитой казачьей брынзы, тут же рядом взял с десяток яиц. Уже продавались первые помидоры и первые огурцы, но, видимо, цены кусались, так как покупателей в этих рядах не было, и торговки ему обрадовались. На выходе с базара он прихватил и хлеб, целый каравай, пышный, теплый. В сельские пекарни еще не пришла механизация-автоматизация, и хлеб мало чем отличался от домашнего.

Едва он вспомнил у моста про базар, у него затеплилась тайная надежда купить здесь черной икры и белужий бок. Из той давней

поездки, когда отчим ремонтировал двигатель на казачьей мельнице, у него в памяти осталась сцена, про которую он часто рассказывал друзьям, но мало кто ему верил...

Когда Исмагиль-абы починил мельницу и сделал пробный помол, мельник здесь же, на мельнице — не последнее место в селе! — организовал угощение. По такому случаю зарезали барана, чтобы работала мельница долго на радость станичникам.

Резал барана и свеживал тушу сам Исмагиль-абы. На застолье кроме мельника были приглашены какие-то уважаемые старики и староста — неофициальный, но имевший реальную власть над казаками. Здесь, на мельнице, Рушан впервые и попробовал икру — ели ее большими деревянными ложками, и стояла она на столе в нескольких глубоких липовых мисках, и рыбу — розовую, жирную, вкусную, которую он поначалу принял за какое-то диковинное мясо, такими большими и толстыми были куски.

Все хвалили работу отчима, тут же, за столом, и рассчитались с ним. Во дворе мельницы стояла наготове запряженная пароконная подвода, на которой их привезли из Мартука, а теперь собирались отправиться домой. Когда Исмагиль-абы вышел к подводе, мельник вынес связанного за ноги барана. «А это тебе, мастер, от меня лично», — сказал он, и уложил барана в телегу, устланную свежескошенным сеном.

Староста что-то шепнул вознице и, усевшись вместе с ними, загадочно улыбаясь, велел трогать. Где-то на краю села телега остановилась, и староста пригласил их в неприметный подвал. Длинный низкий подвал, крытый толстыми, в два наката, бревнами, оказался темен, и возница со старостой зажгли сразу два больших керосиновых фонаря. В подвале стоял ледяной холод, хотя льда не было — видимо, где-то совсем рядом проходили подпочвенные воды.

Лампы медленно разгорались, отгоняя тьму шаг за шагом, и Рушан вдруг увидел десятки огромных рыб с него ростом и поболее, висевших на железных крюках головами вниз. Насколько высвечивал скудный свет — рыбы, рыбы, рыбы... Белуги. Староста обходил, трогая и как бы обнюхивая каждую. Найдя достойную внимания, остановился, вынул из-за голенища сапога широкий нож, быстрым ловким движением вырезал из спины три длинных толстых куса и молча протянул отчиму. Затем он направился к боковой стене и поставил фонарь на широкую деревянную полку. Полки в два ряда уходили в темноту, на них лежали черные шары величиной с футбольный мяч. Возница подал не то небольшое деревянное ведро, не то бочоночек,



и староста все тем же ножом, как масло, разрезал один шар пополам, рукой уложил в ведро икру, заполнив его до краев, и передал ошеломленному мальчику. «Это от общества, от мира казачьего, мастер», — сказал староста и низко поклонился...

Но как Рушан ни выглядывал сейчас, ни открыто, ни тайком рыбой и икрой на базаре не торговали. А сколько ее было в этих краях когда-то, он видел сам. И теперь, запоздало, понял слова отчима: реку береги...

Зато, выискивая икру, он наткнулся на цыган, — нет, не конокрадов, последние казачьи кони вряд ли интересовали их. Цыгане бойко торговали самодельными свитерами и пуловерами с фальшивой эмблемой далекого американского штата Монтана.

Все продукты аккуратно разместились в коробке, а расторопная хозяйка хлебной лавки быстро и ловко перевязала ее шпагатом из-под бубликов. Не спеша, довольный покупками и живописным казачьим базаром, опять мимо коновязи, у которой теперь одиноко стояла, опустил голову, старая пегая кобылица, направился он к стоянке.

Издали увидел у своей машины плотное кольцо людей и подумал с тревогой: «Наверное, выезжая, кто-то меня крепко зацепил...» С трудом пробился к машине и, поставив коробку на капот, достал ключи.

— Ты хозяин? — спросил какой-то возбужденный казак и, схватив его за руку, затараторил: — Я первый, я первый покупатель, я первый подошел...

Казака не перебивали, но двое здоровых мужиков молча оттирали его от Дасаева, пытаясь обратить внимание на себя. Однако тот, первый, мертвой хваткой вцепился в локоть Рушана.

— Покупатель чего? — спросил растерянно Дасаев, стараясь освободить локоть, в чем ему услужливо пытались помочь все те же двое крепких мужчин — по всей вероятности, нездешних.

— Да ты, брат, шутник! — нервно рассмеялся, не выпуская локтя, взволнованный казак. — «Волги», дорогой, вот этой красавицы белой!

— А кто вам сказал, что она продается? — наконец освободив, не без чужой помощи, локоть, спросил, приходя в себя, Дасаев.

— Ты что, псих? На самом видном месте базара поставил машину, надраил как для парада, а теперь «не продается»! Хитер, брат! Цену хочешь нагнуть? — возмутился казак, и толпа вокруг зашумела.

Рушан понял, что поставил машину на автомобильном базаре, издали очень похожем на аккуратную автостоянку. «Конный базар,

сенной базар, птичий базар,— мелькнула некстати мысль,— а теперь вот и автобазар. У каждого времени не только свои песни, но и свои базары».

— Извините, я приезжий, проездом. Не знал. Машина не продается,— ответил уже раздраженно Рушан.

Толпа стала медленно редеть,— иные отходили со смешком, другие — не скрывая своего разочарования и недовольства.

Дасаев открыл багажник, рядом с ним, слева и справа, склонились головы тех крепких мужиков. Они помогли удобнее разместить коробку.

— Молодец, умница, разогнал шушеры и любопытных, берем мы машину, очень понравилась. На экспорт, наверное, сделана.

— Не на экспорт, а персонально,— перебил Рушан, закрывая багажник.

— Тем лучше! За версту видно — особенная! — продолжал обрадованно один из крепышей.— Тридцать тысяч даем, мелочиться не будем, по душе нам машина, да и хозяин тоже. Ну что, по рукам?

— Машина не продается, я же сказал,— ответил Рушан устало и открыл переднюю дверцу.

«Волга» медленно тронулась с места. В приоткрытое окно всунулась голова настырного покупателя.

— Тридцать пять даю, дорогой! Последняя, красная цена! — умолял он, цепляясь за руль.

— Не продается,— ответил Рушан и рванул машину так, что все вокруг шархнулись в сторону.

Только выехав за околицу станицы, он сбросил скорость и повернул к мосту. Здесь, на лугах, у реки, он и решил провести день. Не шел из головы базар: цыгане, вряд ли знающие, в какой стране находится штат Монтана, и занятые явно не своим привычным ремеслом; старый казак, хозяин красавца Терека, его долгая и, конечно, непростая жизнь; торги на автомобильном базаре...

— Тридцать пять тысяч...

Но сумма, произнесенная вслух, не вызывала никаких ощущений, хотя он и понимал — деньги ого-го какие, иной человек за всю жизнь такие вряд ли заработает.

Он съехал по следу косилки в луга и долго колесил вдоль берега, выбирая удобное место. Мест красивых было много, оттого и выбрать было трудно. Вскоре он нашел поляну, по всей вероятности, служившую местом отдыха косарям в сенокос, и остановился.



Привлекла его и копанка — слабый родничок, заботливо обложенный битым кирпичом. Сколько поездил он на своем веку, а копанки встречал только здесь, в родных краях.

Невдалеке Рушан увидел и старое кострище, явно использовавшееся не один раз. Осмотрев окрестные кусты, он без труда нашел треногу, закопченный казанок и даже запас привезенных из станицы дров, но дрова решил не трогать. Времени у него было предостаточно, и он насобирав сушняка на берегу и в тальниках.

С реки в сторону луга тянул едва ощутимый ветерок, влажный, вязкий, с запахом воды, мокрого берега, а над цветущим лугом стоял густой запах трав, запах горячего лета, и казалось, здесь, у копанки, где расположился Рушан, запахи реки и луга соединялись, растворялись один в другом, рождая неповторимый аромат, круживший голову, пьянящий душу, — и никуда уходить отсюда не хотелось. Солнце поднялось уже высоко, время перевалило за полдень, но здесь, на лугу у реки, жара не чувствовалась, — окутывало приятное мягкое, умиротворяющее тепло, располагавшее к созерцанию и покою.

Он разжег небольшой костерок, сварил в казанке яйца и с аппетитом пообедал. Потом долго с удовольствием купался в реке, название которой так и не удосужился узнать, загорал на песчаных дюнах, напоминавших ему Палангу.

Солнце уже склонилось на вторую половину дня, и от стогов потянулись, все более удлиняясь, лохматые причудливые тени. Возвращаться было рано, да и не хотелось покидать райский уголок. И Рушан, чуть разворошив стог, расстелил старое одеяло из машины, служившее вместо чехла, прилег.

Запах стога напомнил ему сеновал в старом доме, куда зимой загоняли ребят стужа или метель. Забившись в тепло сеновала, в кромешной тьме рассказывали они друг другу страшные истории о колдунах и колдуньях, нечистой силе и привидениях. Удивительно, как были долговечны и в ходу тогда подобные истории в маленьких местечках. Незаметно для себя он заснул...

Проснулся уже глубокой ночью. Прямо над ним в бездонном черном небе сияли звезды — такого неба и столько звезд сразу он не видел давно. Он долго лежал, не ощущая прохлады, ночь оказалась на редкость теплой. Ночное небо со вспышками падавших звезд, прочерчивавших мгновенные дорожки, с яркими созвездиями, названий которых он не знал, кроме Большой Медведицы и Млечного Пути, было таким же притягательным, как и река, лес, луга... Он не мог

оторвать глаз от мерцавших звезд, казалось, они струили на него покой, нежность и... вечность. Это он ощущал, казалось, не только умом, но каждой клеточкой своего тела.

От удивления, какого-то непонятого восторга он даже вскочил, почувствовав в себе необыкновенную силу и бодрость, вроде и не ночь стояла кругом. Снова разжег костер, поставил казанок и заварил чай с мятой,— так делали они в детстве в ночном или на рыбалке.

Наверное, его яркий костер был виден в ночи с высокого казачьего берега, где еще гуляли влюбленные, а может, даже и в космосе. Ведь говорят, подними голову — и тебя разглядят космонавты. И, как бы посылая привет в космос, он расшевелил угольки костра, и тысячи искр, земных звезд, взметнулись к небу. Если бы его действительно разглядели космонавты, наверное, они бы позавидовали ему: ночь, тишина, даже не слышно цикад, только изредка в реке плеснет большая сонная рыба, да чуткая лягушка от страха на всякий случай плюхнется с широкого и удобного листа кувшинки в воду, и — костер, от которого глаз не оторвать, и вечная мысль о тайне огня...

Сушняк кончился, костер догорал, но уходить не хотелось, и Рушан прошел к реке. Бесшумно, словно боясь вспугнуть сон всего живого в ней и вокруг нее, несла она свои слабые воды к Уралу. Только озорной бессонный ветерок, неподвластный реке, шуршал береговым камышом, снимал дрему с усталых раки, склонивших свои ветви к самой воде, словно ища и прося у реки заступничества. Остывший за ночь прибрежный песок ласкал, успокаивал босые ступни и словно приглашал пройтись, наглядеться — когда еще такое увидишь, разве что во сне. И надо было вобрать это все в себя на долгие-долгие годы, чтобы не забыть, чтобы помнить...

Рушан прошелся вдоль берега по мелководью,— вода, вобравшая долгое летнее солнце, была теплее, чем днем. Он быстро разделся и поплыл — осторожно, бесшумно, кошунственно было будить тишину...

Машина, стоявшая под стогом сена, пропахла разнотравьем, лугом. Включив дальние огни фар и осветив чуть поникшие к ночи дремлющие цветы, одинокие и сиротливые стога, он медленно выехал на дорогу. Проехав мост, включил приемник,— разноголосый эфир ворвался в салон машины, но он легко нашел нужную волну: концерт, наверное, передавался для таких полуночников, как он. Быстрой езды, как предполагал, не получилось, хотя дорога была уже знакомой, и ни одного огонька не попадалось навстречу.



Степь, травленная и перетравленная пестицидами-гербицидами, кстати и некстати паханная и перепаханная, перерезанная гулками шоссе, автострадами, железной дорогой, пропахшая бензином и круглосуточным дымом с оренбургских нефтепромыслов, искореженная телегами, трейлерами, изрезанная нитками нефтепроводов и газопроводов, подземными кабелями телеграфных, телефонных и иных коммуникаций, жила активной жизнью.

Иногда дорогу пересекали какие-то змеи, а то и целые полчища лягушек. То вдруг свет фар выхватывал мечущегося на дороге ослепленного тушканчика, не знающего, куда скакать. Дважды вдалеке перебежали дорогу тощие линиялы лисы. Однажды ему пришлось даже остановиться: через дорогу, видимо, на водопой, трусило стадо сайгаков с неокрепшим молодым приплодом. Бедным животным, к сожалению, знаком луч автомобильных фар браконьеров, и Рушан, чтобы не растерялись в ночной степи в опасной близости от дороги напуганные беззащитные сайгачата, долго стоял у обочины, погасив свет.

Особенно много было зайцев — они даже не боялись машины, видимо, придорожная жизнь приучила. Но если луч фар прихватывал их, ослепляя на шоссе, они, как и тушканчики, растерянно метались по дороге. Вдоль железнодорожной лесополосы часто встречались ежи. Увидел он и барсука у своей норы — тот не испугался, не юркнул под землю, а, виляя жирным задом, заковылял к лесу. У пшеничных полей оказалось царство сусликов — вот кого не берет ни пестицид, ни гербицид, жиреет себе на здоровье и плодится несметно. Здесь же, на пшеничном поле, вблизи леса, заметил он сов — больших, ленивых, старых.

Удивительно, еще утром ехал по этой же дороге, ничего не видел, не замечал, и вдруг ночь открыла для него затаившийся от глаз людских неожиданный мир. Поразительная ночь!

Стало светать, одна за другой начали гаснуть звезды, незаметно очищая от ярких созвездий огромные полосы небосвода. Еще минуту назад бархатно-черный, подклад неба вмиг посерел, чтобы с первыми лучами зари ярко, по-летнему, заголубеть.

Въезжал Рушан в Мартук со стороны старого мусульманского кладбища, где был похоронен отчим. Мусульманские кладбища просты и непритязательны, нет там буйства зелени и роскошных памятников, зачастую нет и кладбищенского сторожа. Но даже в транзитный век мучающихся от безделья акселераторов на мусульманских

кладбищах не озоруют, ибо давно известно: безнаказанно такое кощунство не проходит, извинения и оправдания не принимаются.

Кладбище было обнесено глиняным дувалом, который от времени сильно осел, частично размылся затяжными осенними ливнями и местами рухнул — где внутрь кладбища, где в ров, вырытый специально, чтобы скот не заходил на мазар. Мать говорила, что какой-то казах, чабан, перед смертью отписал крупную сумму денег на новый забор для кладбища, но дети второй год опротестовывают в судах завещание, утверждая, что отец был невменяем, да только ни один свидетель, кроме родни, не хочет брать грех на душу и подтвердить это.

Кладбище даже изначально не имело ворот — просто узкие разрывы в дувале с четырех сторон для входа. Покойника у мусульман, как бы далеко не было кладбище, несут на специальных носилках, никаких машин, и доступ на мазар имеют только мужчины.

Рушан оставил «Волгу» у входа и, волнуясь, произнес две-три суры, запавшие в память из детства, — наверное, их помнит каждый мусульманин до конца дней своих, как бы ни складывалась у него жизнь и какое бы образование он ни получил.

Уже рассвело, и легкие дымчато-снежные облака, которые исчезнут с первыми жаркими лучами солнца, заполнили, вместо звезд, по-утреннему свежий небосвод. Пала роса, и кусты чахлой серой полыни — основной травы на кладбище — были влажны, выжженная солнцем мелкая трава не хрустела под ногами, и вытоптаные дорожки, разбежавшиеся веером от входа по громадному кладбищу, еще не пылили. В такой час в дни мусульманских праздников собираются старики на мазаре, чтобы совершить утренний намаз и помянуть добрым словом людей, чей путь закончился за осыпающимся дувалом.

Выходило, что пришел он к отчиму в святой час. Могилу его он нашел легко — скромная, как и все рядом, только оградка, выкованная в колхозной кузнице, была шире, выше, затейливее и казалась надежнее, чем все вокруг, да была выкрашена лаком — черным, блестящим. Большой букет роз из домашнего сада, что принес сюда Рушан в день приезда, увял.

Он открыл калитку, убрал высохшие цветы и увидел у изголовья могилы тонкие, неокрепшие, но дружно пошедшие в рост стебли татарника, целый куст. Самый тонкий, слабый стебелек кончался распустившимся недавно, может, даже сегодня, алым цветком. Последний дар земли, нежнейший цветок невзрачного, но большой жизненной



силы татарника, покачиваясь, словно шептал: спи спокойно, Исмагиль-абы, мастеровой, воин...

Неподалеку находилась и могила сестры Рушана. Саня умерла рано, двадцати лет от роду. Живи она другой жизнью — болезнь легких оказалась бы лишь эпизодом в ее судьбе...

Отправляясь обратно в большой город, где теперь жил, Рушан попрощался с родными, которые так рано оставили его одного...

XXXIX

Ташкент сразу и навсегда полюбился Дасаеву, и теперь он часто вспоминает свои первые дни в столице. И всякий раз перед глазами встает чайхана на Чигатае — она, наверное, дала ему возможность понять душу Востока, определить свое поведение.

В городе сносили и строили, сносили и строили... Особенно интенсивное строительство развернулось после памятного землетрясения. Но и до него город не дремал. Исчезали почти библейской древности кривые улицы, горбатые, пыльные тупики и переулки; исчезали целые кварталы-махалли с высокими глинобитными дувалами скрытых от глаз подворий. Уходило прошлое, навсегда, навечно. Уходило тихо и шумно, с радостью и печалью. И от того, что так стремительно рушилось все вокруг, становилась беспомощной чья-то память, державшая на примете, как маяк, какую-нибудь чинару, которой один Аллах ведает сколько лет.

Бегут годы, вон и тебе уже сколько настучало, а она, могучая мать-чинара, украшение и гордость махалли, какой была на твоей памяти — самой высокой в округе, с дарящей прохладу раскидистой кроной, — такой и осталась. И если огрубела, потрескалась кора неохватного ствола да вокруг дерева вздыбилась выжженная солнцем почва, принявшая в себя громадные корни, — так ведь и ты уже не юноша чернобровый с тополиным станом.

Время, как рачительный хозяин, на всем ставит тавро, никто и ничто не остается без его метки. Но, как ни меняет время облик всего сущего, у памяти ориентиров много.

«Чигатай, тупик 2»... И перед Дасаевым тут же встал поворот с Сагбана, куда выплескивалась крученая-верченая улица Чигатай.

Если подняться вверх по Чигатаю — узкой, извивающейся, как змея, улице, на которой едва две арбы разминутся, да и то если

ездки с уважением отнесутся друг к другу,— выйдешь к бывшим складам горторга, которые по привычке называют караван-сараем. Давным-давно отшумел свое караван-сарай, считай, с тех пор, как последних лазутчиков Джунаид-хана выловили в нем, а за пыльными малооконными складами так и осталось это название — караван-сарай.

С этой улицы, с любого ее конца, в глубине запутанных улочек-лабиринтов можно было увидеть два минарета. Один — тот, что повыше, глядел молодцом: высок, прям, строен. Многие, кто помоложе, из атеистического поколения, особенно праздный туристический люд, принимали минарет за трубу какой-нибудь хилой котельной или фабрики, но когда лет десять назад на самой ее верхотуре свили гнездо аисты, стало ясно, что никакая это не труба и что выстроена башня совсем для других целей. «Чтоб не путалось Богово с мирским», — мудро определил в ту весну кто-то из седебородых, у кого и дел-то осталось на земле — только занимать красный угол в чайхане. Минарет стоял заколоченный, никому не мешал, и о том далеком времени, когда по его крутым ступеням поднимался муэдзин призывать правоверных на утренний намаз, помнили только старая чинара да несколько стариков, коротающих остаток дней в чайхане.

Другой минарет, видимо, и в лучшие свои годы был попроще: и ростом не вышел, да и кладка его из кирпича-сырца была без затей, не радовала глаза. То ли устав от времени, то ли по какой иной причине, наклонился он, и довольно заметно, в сторону овражка, где бежала узкая торопливая речушка — сай. Иные, демонстрируя свою образованность, называли минарет Падающей башней и упоминали при этом какой-то итальянский городок. В махалле же называли его просто: Кривой Мухаммед Ходжа. Поговаривали, что минарет, построенный на деньги кривого ростовщика Мухаммеда, человека скупого и вздорного, хоть и совершившего хадж в Мекку, наклонился сразу же после Курбан-байрама — одного из главных религиозных мусульманских праздников.

Глядящий в сай минарет был словно людским укором ростовщику, обманувшему мастеровых при расчете. Каких только денег ни сулил ходжа, чтобы выправить минарет, но охотников почему-то не нашлось. Молва успела стать легендой, и следов ходжи давно не найти, а минарет все падает и никак не упадет.

А рядом, за щербатым дувалом, обдавая пылью прохожих, неслись по Чигатаю серебристые рефрижераторы с местной минеральной водой, а то, сверкая лаком и вызывая восторг махаллинской



ребятни, бесшумно лавировал по петляющей улице вишневым «икарус», возивший футбольную команду, известную своими взлетами и падениями.

Где-нибудь на улице, ежедневно меняя место наблюдения, таился сонный на вид толстый сотрудник ГАИ. Он неожиданно, как из-под земли, появлялся перед лихачами-шоферами, считавшими себя непревзойденными ловкачами, и, лениво поигрывая жезлом, загоразживал собою треть дороги, громогласно объявлял: «На улице Чигатай движение одностороннее! Штраф плати!»

Вот так тесно сплеталось на этой улице старое и новое, вчерашнее и сегодняшнее, прошлое и будущее, уже витавшее над махаллей...

Дасаев впервые появился в этой махалле лет тридцать назад. Осенним утром, опаздывая на работу, стремительно неся он вверх по Чигатаю, на ходу впитывая в себя контрасты не по-осеннему жаркой улицы. Его цепкий молодой глаз, привыкший к мягким, теплым российским тонам, примечал в разгоревшемся оранжевом свете близкого солнца и чинару, и минареты, и многое другое...

Первые впечатления, восторг новизны, неизведанное и оттого особенно прекрасное чувство перемен в жизни навсегда запали в сердце молодого инженера. Оттого, наверное, много позже — он тогда уже работал в другом районе огромной столицы, — если случалось оказаться в старом городе, вдруг ощущал душевный подъем, как в те давние молодые годы, и каждый раз его обдавало теплом, словно впереди ждали какие-то неясные, но радостные перемены.

На работе его приняли по-товарищески сердечно. Тогда, впервые поднимаясь вверх по Чигатаю и выискивая нужный тупик, Дасаев удивлялся: да может ли быть среди этих глухих осыпающихся дувалов какая-нибудь служебная контора? И закрадывалось сомнение — уж не напутал ли он с адресом.

Монтажное управление, вернее, здание, в котором оно располагалось, оказалось и впрямь необычным, как необычным было для Рушана все вокруг в этом южном крае.

Уже через час после того, как появился он во дворе, сплошь укрытом от солнца виноградником, отчего на земле лежала пестрая, как маскалат, тень, Дасаев получил в свое распоряжение отдельный кабинет. Оглядывая высокие расписные потолки с изящной арабской вязью на темных балках, он удивлялся: «Сказки Шахерезады да и только».

Дом стоял на возвышении, чуть в стороне от шумного Чигатая, в тупичке. На фронтоне здания, на железных жалюзи окон

и над дверьми на резном ганче стояла дата: «1911 г.». В свое время это был единственный среди глухих дувалов дом окнами на улицу. Ох, как хотелось, наверное, Ахмаджону-байваче, бывшему его владельцу, чей след затерялся в дымных кофейнях Стамбула, казаться среди своих коллег-компаньонов передовым, прогрессивным... Вот и выстроил дом окнами на улицу. Окна на улицу были, но на них висели железные жалюзи. Шторы из гибкой стали, спускавшиеся изнутри, исправно служили до сих пор. На всей металлической фурнитуре дома и литье стоял неожиданный оттиск: «Одесса, г. Лемманнъ». Да, неблизкой была та давнишняя поставка...

И полетели дни, недели... Где-то далеко, там, откуда приехал Дасаев, уже давно убрали огороды, пустые поля с потемневшим жнивьем прихватывали по утрам первые заморозки, и все чаще лили нудные обложные дожди. А во дворе их управления с прогнувшихся лоз свисали тяжелые виноградные гроздья, и солнце сквозь пожухлую листву, словно подустав за бесконечное лето, светило мягко, спокойно, и казалось, конца этому теплу и благодати не будет.

«Надо же... теплынь... Сахара...» — частенько думал Рушан и вспоминал друзей, попавших по распределению в более суровые края. Они уже облачились в плащи и пальто, ходят в шапках и свитерах, а тут все еще разгуливают в пиджаках...

Жил он на Чиланзаре в общежитии. Преимущественно одноэтажный город тех времен раскинулся на огромной территории, словно тогда уже предвидел недалекий бурный рост и заранее застолбил себе место.

Каждодневная утренняя поездка в троллейбусе до Хадры казалась Дасаеву путешествием в неведомые края. Он часто стоял у огромного пыльного окна в конце салона и сквозь неторопливые обрывочные мысли слушал, как музыку, ленивый голос кондуктора: «Беш-Агач... Караташ... Алмазар...». Каждое название заключало в себе не только музыку, но и тайну: «Самарканд-Дарбаза...», «Домрабад...», «Ахмад-Даниш...».

Он выходил на Хадре и пешком спускался к Чукурсаю, чтобы, минуя знаменитый базар, отмеченный во всех туристических проспектах, выйти к Чигатаю. Шагая по остывшим за ночь тротуарам, ощущал закатанное под тонким слоем асфальта булыжное мощение, еще сохранившееся в прилегающих к дворам проездах.

Арыки поутру казались полноводнее и журчали веселее. Справа, из распахнутых высоких ворот парка Пушкина, который отродясь



не бывал в этих местах, но оказался здесь почтительно увековечен, веяло утренней свежестью. За решетчатой оградой, оплетенной цветущей лоницерой, виднелись присыпанные красноватым песком безлюдные аллеи. Рушан знал уже, что в этом зеленом уголке вавилонское многоязычие города чаще всего являло татарскую речь — татары давно облюбовали парк, когда-то пышный, с озером и летним кинотеатром, потом и планетариумом, а ныне довольно скромный, в качестве места отдохновения, — и отмечали в нем старые и новые праздники.

На базаре он не задерживался. Покупал две горячие пышные лепешки прямо из тандыра, еще на одну серебряную монету — кисть винограда, иногда пару персиков или истекающих соком груш, но чаще всего — кандиль, яблоки с нежным девичьим румянцем. Тут же, на базаре, в одной из многочисленных чайхан, полупустых поутру, он завтракал, выпивая традиционный на Востоке чайничек зеленого чая. Из интереса и любопытства заходил то в одну, то в другую чайхану и повсюду встречал почти одинаковые, в алых розах, металлические подносы, на которые клали лепешки и вымытые фрукты.

При кажущейся на первый взгляд одинаковости все чайханы были разные. В одних, воровато оглядываясь, понижая голос до шепота, сидели, как на иголках, за нетронутым чайником чая оптовики-перекупщики, рядившиеся с растерявшимися от оглушительной суеты приехавшими в город дехканами.

В других восседали важные, громогласные бритоголовые мясники. День им предстоял нелегкий: и огромными двенадцатикилограммовыми топорами намашутся, и туши многопудовые ворочать придется, успевай только! А днем подростки, племянники чайханщика, понесут из чайханы в мясные ряды подносы с лучшими чайниками и пиалами без единой щербинки — мясники на базаре испокон веков торговая элита.

Обнаружил Рушан и чайхану, где звучала речь казахов, — казахские земли вплотную подступали к городу с северо-запада.

Однажды в начале зимы в туманное и сырое утро торопился он на работу. За пазухой недавно купленного пальто лежали две горячие лепешки. Чайхана, в которой Рушан, как обычно, хотел позавтракать, оказалась закрытой, и он решил попить чаю с вахтером — у того на плитке зимой всегда кипел чайник.

Рушан шел по мокрому Чигатаю, ощущая тепло и запах свежих лепешек, и так велико было искушение откусить кусочек, что он невольно замедлил шаг, и тут вдруг его окликнули:

— Товарищ инженер, добрый утро! День сырой, заходите моя чайхана, выпейте пиалушка чая.

В проеме распахнутой двери стоял рослый мужчина в меховой безрукавке и широким жестом приглашал войти. За дверью Рушан увидел ярко горевшую лампочку и часть стены, завешенную тяжелым темно-красным ковром. На него дохнуло теплом, древесным углем и типично восточным запахом множества ковров. Эту чайхану на Чигатае, неподалеку от управления, он приметил давно и уже знал, что она махаллинская, а это совсем не то, что базарная, ее обычно посещают лишь завсегдатаи и местные жители.

Дасаев раздумывал, но улыбка не сбегала с лица чайханщика, жест был искренен и щедр, и он вошел.

С тех пор он частенько бывал здесь, но с особым настроением заглядывал именно поутру поздней осенью и зимой. В сумерках слякотного или морозного утра, когда скудно отапливаемый мангалами старый город нехотя просыпался, он, подняв воротник пальто, спешил, как обычно, через базар. Лепешечник, за спиной которого жарко исходил паром тандыр, протягивал ему, уже как старому знакомому, две с пристрастием отобранные лепешки, и он, не сбавляя темпа, обгонял какие-то согнутые, закутанные фигуры, неожиданно возникавшие из светлеющей тьмы, слыша вокруг себя почему-то приглушенный, не свойственный дневному базару говор. Странно, даже арбакеш, чей голос перекрывал в полдень многоязычный гомон, поутру был удивительно тих. Восток... Загадка. Тайна...

Всегда, в любой день, едва свернув с Сагбана, Рушан еще издали видел светящиеся окна махаллинской чайханы. Он вытирал взмокший от быстрой ходьбы лоб, вынимал у порога из-за пазухи лепешки и решительно распахивал дверь. Обычно в это время посетителей не было. На его приветствие Махсум-ака, проводивший последнюю «инвентаризацию» чайников или возившийся с самоваром, отвечал бодро и с какой-то беззаботной веселостью: «Э, салам алейкум, инженер, пажалиста, заходи скорей». От огромных медных самоваров, потускневших, с зеленоватым отливом, разливалось тепло. В отсутствие посетителей горела одна лампочка напротив двери, и уходившие в темноту стены казались завешенными черными коврами, только иногда проезжавшая мимо машина была в окна ярким лучом фар, и на миг стена окрашивалась в кроваво-красный цвет...

Чуть позже, когда он уже попивал чай с наватом и парвардой — дешевыми восточными сладостями и вел оживленный



разговор с Махсумом-ака, не прекращавшим своих дел, объявлялся второй посетитель. Обычно это был кто-нибудь из соседнего дома. По-домашнему кутаясь в длинный, до пят, стеганый чапан, он веле-речиво и церемонно обменивался любезностями с чайханщиком, а заметив Рушана в глубине зала, так же любезно обращался и к нему: «Добрый утро, товарищ инженир...»

«Инженир»... Так и закрепилось за ним в махалле это прозвище, и произносили его уважительно, словно кладовщик Мергияс-ака специально прорепетировал со всеми жителями квартала. Звание «инженер» в те годы еще было весьма почитаемым, и, что говорить, Дасаеву такое обращение нравилось.

Может быть, быстро упрочившееся уважение сослуживцев и доброе расположение махаллинского люда явились причиной того, что однажды, в обеденный перерыв, в этой чайхане он принял неожиданное для себя решение: «Остаюсь... Пущу корни на узбекской земле. Женюсь...»

Мергияс-ака, составлявший ему в тот день компанию, заметил, как изменился в лице «инженир», и торопливо спросил:

— Что случилось, Рушан?

Дасаев, на миг побледневший от охватившего его волнения, с улыбкой обвел глазами зал, словно заново увидев все вокруг, и весело ошарашил кладовщика:

— Жениться решил, вот что, Мергияс-ака...

А ведь до этого момента и мысли подобной в голову не приходило.

«Женюсь» вовсе не означало, что Рушан решил завтра же бежать в загс. Под «остаюсь» он подразумевал: «Всерьез, надолго, с семьей, домом... с детьми...»

Конечно, девушка любимая у него была. Жила она в насквозь продуваемом ветрами и жесткой поземкой степном городе. Туда, в домик на окраине, окруженный чахлыми акациями, на улицу 1905 года, устремлялись все его помыслы, и иногда, мысленно, он называл ее «моя невеста».

Принятое решение внешне никак не отразилось на нем, но повернуло жизнь круто; он вдруг понял, что до сих пор видел все вокруг как бы снаружи, глазами приезжего, а сейчас стал вглядываться изнутри, примеряя все к своей будущей жизни. В свободные дни он часами пропадал в книжных магазинах, часто ходил на концерты,— гастролеры жаловали теплый, уже названием своим навевавший ожидание тайны город.

Жил Дасаев все там же, в общежитии, хотя в махалле предлагали ему за небольшую плату отдельную комнату. Но он отказался — не хотел лишать себя каждодневного путешествия. Иногда он немного изменял маршрут: с Хадры сворачивал влево, спускался к площади Чорсу и, минуя базар, выходил к себе на Чигатай.

Он быстро усвоил, что суэта, торопливость на Востоке не в чести, и старался никуда не спешить. С обостренным вниманием вглядывался в окружающее, подмечая то, что раньше ускользало от его взора. С наслаждением впитывал в себя древний город: его краски, шумы, его пыль, зной, многоязычие, завезенную приезжими суету и исконную степенность. И часто, подтверждая однажды принятое под настроение решение, мысленно говорил себе: «Да, мне здесь жить...»

По утрам на пути к управлению он раскланивался с множеством людей. Прижав ладонь к сердцу, осветив лицо улыбкой, ему отвечали тем же. Только бледные немощные старики, бухарские евреи, удоставляли его лишь кивком головы. И трудно было ему по молодости понять — от гордыни это или от немощи, когда с трудом дается каждый жест. А может, с высоты библейского возраста считали они, что жест достойнее слова?

Ему нравились эти молчаливые тихие старики. В белых чесучовых костюмах, оставшихся еще с бойких нэпмановских времен, поры их молодости и удач, встречались они ему только по весне и в долгие теплые дни осени. От слякоти, стужи, жары они уберегались за высокими дувалами. Пробегая утром мимо птичьего базара, Дасаев часто встречал их в петушином ряду. Покупали они только живую птицу и обращались с ней, словно маги или гипнотизеры. Еще минуту назад хорохорившийся красавец петух горланил на весь базар — и вдруг под слабыми руками старика, ошупывавшего его бока, затихал, смирялся. Странно, но каждый из этих стариков всегда покупал птицу одного оперения: или огненно-рыжих петухов, или белых хохлаток, или рябых, первой осени, цыплят. По этим птицам, которых несли за ноги головами вниз, отчего птицы вели себя удивительно смирно, он и различал старцев-евреев, которые от времени стали почти на одно лицо.

Чем лучше Дасаев узнавал город, тем сильнее привлекала его чайхана в махалле. Ее неписанные законы Мергияс-ака мог объяснить ему за один вечер, но Рушан хотел до всего дойти сам.

Вечерами он частенько засиживался на работе, а, возвращаясь, заходил в чайхану и обычно играл партию-другую в шахматы. Между ходами он внимательно оглядывал многолюдный зал и в распахнутые



настежь окна видел, что к вечеру заполняются айваны и на улице. Слышно было, как там гремели ведрами и шумно расплескивали воду — это добровольные помощники Махсума-ака поливали арычной водой двор и обдавали из шлангов деревья, — а потом, как после дождя, пахло землей и садом.

«Клуб, чисто мужское заведение», — часто думал в тишине вечера Дасаев. Более всего ценились здесь остроумие, общительность, доброта, участие в жизни махалли. Он заметил, что директор таксопарка чаще других поливал двор и деревья, потому что делал это ловчее всех: и пыль не поднимал, и грязь не развозил, и после него долго еще лежал на земле влажный узор, нанесенный простым шлангом. Знал Рушан и то, что директор завозил на зиму в чайхану и уголь, и дрова, и на краску для ремонта не скупился, но чтобы к нему от этого было какое-то особое отношение, он не видел.

Позже и он станет немало делать для этой чайханы, но отношение к нему останется по-прежнему ровным и уважительным. И всегда будут называть его здесь «инжинир», вкладывая в это слово раз и навсегда заложенную меру уважения.

В тесных, словно японских, двориках от бывших садов остались лишь орешина или урючина, яблонька или одинокий тутовник, и в центре — непременно крохотные клумбы с цветами. В этих домах окнами во двор, с балханой на втором этаже, текла ровная жизнь, скрытая от глаз и не рассчитанная на то, чтобы произвести впечатление на приезжего.

Отсутствием показного, простотой привлекала его чайхана в махалле. Нравился и неписанный кодекс поведения: например, в чайхану не заходили, выпив, и не распивали там в открытую. Он видел несколько раз, как взрослые солидные люди, можно сказать, хозяева махалли, перед пловом тайком наливали водку в чайник и обносили сидевших за дастарханом пиалой, словно чаем. Казалось бы, чего проще, ставь бутылку в центре, стаканов достаточно, шуми, провозглашай тосты, кто посмеет что-то сказать? Нет, усвоенное сызмала срабатывало четко — нельзя, значит нельзя, ибо, уступив соблазну однажды, начнешь мало-помалу рушить традиции до основания.

И молодежь вела себя здесь сдержанно. Однажды он стал свидетелем, как двое юношей — не городских, видимо, случайно забредших с базара, получили урок, который едва ли когда забудут.

В чистой, опрятной чайхане возле стен на коврах были растелены еще и курпачи — узкие стеганые одеяла, и один из парней

с удовольствием растянулся на мягкой курпаче, другой присел рядом, и они продолжали что-то оживленно обсуждать, оглашая чайхану молодым громким смехом, не обращая внимания на окружающих. Сидели они у стены, никому вроде не мешали, но Махсум-ака, безучастно перебиравший четки, незаметно для окружающих подошел к молодым людям и что-то мягко, вполголоса сказал. Его слов оказалось достаточно, чтобы лица вмиг вскочивших парней залило краской стыда.

«Уважай других — будут уважать тебя» — такой рукописный плакат на узбекском языке висел за спиной Махсума-ака, у самовара.

Заканчивая играть в шахматы, когда на город уже ложились дымные сумерки, Рушан иногда замечал, как в чайхане появлялись дети. Молча отыскивали кого надо и, что-то шепнув, бесшумно исчезали. И Дасаев представлял, как когда-нибудь он будет так же ходить вечерами в свою махаллинскую чайхану, играть в шахматы или просто сидеть на открытой веранде с чайником чая, и за ним, приглашая его на ужин, будет прибегать сын или дочь.

Конечно, он мечтал тогда о детях, о жене. Представлял, какой она будет, как сложится их жизнь. Правда, силуэт девочки с нотной папкой в руках растворялся в дали времен, и казалось, вот-вот совсем истаает, но приходили новые увлечения, не перечеркивая той далекой любви, оставшейся в зыбком мареве юности.

Тогда он не сомневался, что все свершится так, как задумал. Это потом жизнь преподнесет ему не один сюрприз, и среди них будет немало горьких, страшных...

XXXX

О чем бы ни размышлял Рушан, перелистывая книгу своей памяти, он не мог обойтись без упоминания о Глории. Судьба Глории, неотделимая от него, несла на себе самый яркий отпечаток жестокого, немилосердного времени...

Однажды в сумерках, традиционно настраиваясь на «вечер воспоминаний у окна», он увидел под грудой старых писем, что перебирал накануне, уголок большой фотографии. Он решил, что это выпуск Актюбинского железнодорожного техникума, в котором учился, и достал снимок. Кого ему хотелось увидеть? Роберта Тлеумухамедова? Лом-Али Хакимова? Ефима Ульмана? Людочку Журавлеву? Он и сам не знал, тем более что и не угадал.



Фотография, сделанная профессионалом и в свое время обошедшая немало газет, запечатлела футбольную команду «Металлург», победителя пятой зоны чемпионата СССР по классу «Б» — была когда-то в стране и такая классификация. В левом нижнем углу по твердому картону фотографии четким, от природы каллиграфическим почерком шла наискосок надпись красным карандашом: «Рушану Дасаеву — первому болельщику «Металлурга», нашему другу — на память о нашей победе, о нашей молодости», — и размашистая, прямо-таки казначейская подпись капитана команды Джумбера Джешкариани. Рушан перевернул снимок: обратная сторона вся была в разноцветных автографах футболистов.

Фотографировались сразу после игры, сделавшей «Металлург» недостижимым для противника, выведившей его в чемпионы. Джумбер, с аккуратным пробором, в тщательно заправленной футболке, сидел, улыбаясь, в первом ряду на корточках, а вокруг него стояла, не выказывая усталости, счастливая команда.

Как меняются с годами наши пристрастия, привычки! Скажи кто, что Рушан Дасаев когда-нибудь разочаруется в футболе, перестанет ходить на игры любимых команд, — подняли бы на смех. Как детскую считалку, без запинки — разбуди его даже среди ночи — он мог назвать поименно дубль любой команды класса «А», не говоря уже об основном составе. Зимой, когда ни о каком футболе не могло быть и речи, вдруг чудился Рушану среди ночи репортаж Синявского или Озерова, и он, схватив с прикроватной тумбочки транзисторную «Спидолу» — эти приемники тогда только появились и были редкостью, — начинал крутить ручки настройки: ведь явно же слышал шум трибун, тугой звук летящего мяча, трель судейского свистка...

Глория, человек увлекающийся, тоже была заядлой болельщицей. Она многое в жизни любила и делала страстно, и футбол, по сути своей тоже страсть, нашел в ней благодарную почитательницу.

Как любила она их поездки вдвоем или вместе с «Металлургом» на игры «Пахтакора» в Ташкент, где на поле выходили в те годы знаменитые Геннадий Красницкий, Станислав Стадник, Берадор Абдураимов, Искандер Фазылов, Ревал Закиров! Как умела она болеть! Это надо было видеть, слышать. Нет, она не вскакивала, не кричала до хрипоты, не свистела, но минут через десять все вокруг нее наэлектризовывались токами. Она чувствовала нерв игры и редко когда ошибалась в прогнозе.

Как она радовалась победам или огорчалась поражениям «Металлурга» дома, в Заркенте, где играли их друзья! Джумбер — мокрый, грязный, — увидев Дасаева в раздевалке, чуть теплея блестящими глазами и говорил: «Рушан, пожалуйста, уведи Глорию, стыдно в глаза ей смотреть за такую игру». А уж как счастливо, гордо шла команда с поля после победы! Каждый игрок, проходя мимо их трибуны, мимо их постоянных мест, словно гладиатор, бросал победу, как драгоценный трофей, к ее ногам, и она одаривала их не менее щедро — улыбкой, искренней радостью.

Когда команда возвращалась с выездных игр с поражением, Джумбер, выслушав упреки Глории, шутя отвечал:

— Глория, ты же наш талисман. Там некому было посвящать победу. А зачем мужчине победа, если ее некому дарить? Вот завтра игра дома, и если ты придешь, мои мальчики постараются...

А как она ликовала, когда у нее выдавались свободные дни и она могла ездить с командой в близлежащие казахские города Чимкент или Джамбул, где «Металлург» «позволял» себе разгромить соперников в пух и прах! Футболисты — народ суеверный, они втайне верили, что Глория приносит команде удачу...

Рушан мог и не смотреть на фотографию, он и так прекрасно помнил тот далекий осенний день, поразительно ясный, светлый, скорее похожий на весенний, хотя с гор уже веяло предзимней свежестью, и еще не дымили трубы могучего комбината, который он строил. Его с Глорией буквально тащили сняться с командой, но она была неумолима.

— Это ваша победа, ребята, — говорила Глория, сдерживая волнение и слезы, целуя их мокрые грязные лица, не замечая, что ее любимое белое платье становится похожим на футболку Джумбера...

Познакомил Рушана с Глорией футбол, а если точнее — Джумбер, но это одно и то же.

Странная и великая вещь человеческая память: иное мы вспоминаем в цвете, в красках, с шумами, звуками, запахами давно ушедшего времени, и, что удивительно, вглядываясь в минувшее через призму времени, иногда замечаем то, чего не было дано увидеть тогда.

Заркент... В названии города Рушану слышна понятная только ему музыка. У каждого есть город, при упоминании о котором вдруг вздрогнешь, и что-то внутри оборвется, и на миг сладко закружится голова. Он может быть любой — большой и маленький, старый или молодой, известный, знаменитый или тихий, с неброским названием,



но не в этом дело — он должен стать твоим, частью твоего сердца. И, наверное, в таком городе должны закончиться последние дни твои, чтобы не разрывалось сердце от горечи и тоски: «А помнишь, в городе нашем?» И это единственное место, где хоть одна живая душа да останется свидетелем твоей молодости и удач, где хоть однажды ты можешь услышать: «О, ты был орел! А какая у тебя была девушка! Таких теперь уже нет...»

Возможно, немало найдется скептиков, которые с усмешкой скажут: «Заркент? Это еще что за столица?» Да, в справочниках по обмену жилплощади он котировался весьма невысоко. А впрочем, надо ли что-то объяснять, оправдываться? Жаль человека, у которого нет своего города,— это все равно что быть обреченным на бездомность.

Тогда Заркент, ошетилившийся в жаркое азиатское небо стрелами башенных кранов,— а было их около трехсот,— строился дено и ночью, и то, чего не было здесь еще вчера, могло появиться послезавтра.

К приезду Рушана в городе уже выявились кое-какие контуры нового.

В центре на небольшом естественном возвышении, чуть в отдалении от шума главной улицы, уже высился красавец кинотеатр «Космос» с небольшим уютным сквериком и фонтаном. Это место пользовалось большой популярностью у жителей, и долгие годы, пока город не разросся и не появились другие, не менее примечательные ориентиры, служило местом свидания влюбленных.

Но особой гордостью Заркента являлся стадион. Ему отвели удобное место в огромной парковой зоне недалеко от центра. Хорошо спроектированный и умело построенный, легкий, изящный, с зимними спортивными залами, Дворцом водного спорта, он привлекал горожан, средний возраст которых едва-едва превышал двадцать четыре года. Стадион этот по ранней весне частенько упоминался в центральной прессе, особенно спортивной. Дело в том, что он был второй в стране, имевший гаревые дорожки, и в начале сезона самые именитые гончики, большей частью из Уфы, съезжались в Заркент на сборы.

А ведь были еще и соревнования! Что ни имя, то многократный чемпион СССР, и перед каждой фамилией три заветные для каждого спортсмена буквы «ЗМС» — заслуженный мастер спорта. Такими афишами не часто балуют болельщиков и столичные города. Красный шарфик Габдурахмана Кадырова, известный на весь мир, не одну

весну развевался на заркентском ветру. Что творилось на стадионе, когда в последнем решающем заезде встречались Игорь Плеханов, Борис Самородов, Габдурахман Кадыров и четвертый, ради которого, считай, и проходили соревнования! Асы были тогда в самой силе, более одной дорожки не уступали, иной расклад попахивал сенсацией. Да и четвертым чаще других оказывался не менее именитый Фарид Шайнуров, стареющий, уже не раз уходивший и вновь возвращавшийся на трек, или совсем молодой, невиданной отчаянности, словно коня поднимавший на дыбы мотоцикл Юрий Чекранов — Чика, как ласково называли его в Заркенте.

Побеждал чаще всего неуязвимый Борис Самородов. По-девичьи стеснительный Габдурахман Кадыров, виновато улыбаясь толпе поклонников, разматывая знаменитый шарфик, оправдывался — не вышло. Хотя ниже второго места опускаться себе не позволял, да и судьба золотой медали порой определялась фотофинишем.

«Потерпите, я зимой возьму свое, не подведу вас», — обнадеживал кумир и отвергал платочки девушек: гарь надушенными платочками не снимешь. И пока «гонялся», не было ему равных в спидвее, гонках на льду, так и ушел Кадыров непобежденным, семикратным чемпионом мира и двенадцатикратным чемпионом СССР, и красный шарфик короля спидвея долго вспоминали на ледяных аренах многих европейских столиц.

Недаром Глория как-то сказала Рушану, что ей хотелось бы, чтобы в новом Доме молодежи большую стену фойе украшало мозаичное панно «Мотогонщики», и не абстрактные лица гонщиков, а именно как было в жизни, в неподдельной борьбе: Самородов — Кадыров — Плеханов, летящие к виражу, к первой дорожке, и посередине — Габдурахман с развевающимся легендарным шарфом.

Стоит ли удивляться, что кумирами молодого города были спортсмены... Что гонщики? Они, как мираж, словно из волшебного цирка шапито: покрасовались в кожаных комбинезонах, кованых железом сапогах и ярких шлемах известных фирм немислимых расцветок, вихрем пронеслись, и лица не разглядеть, и в один день, загрузив бесценные машины, оставив лишь сладкий запах особой заправки и гари на стадионе, исчезали. Истинными кумирами были футболисты, баловни щедрого в молодости и энергии города. Они были и кумирами Глории...

Глория... Рушану захотелось найти ее фотографию, но он тут же передумал: зачем? Стоило ему только захотеть — она всегда вставала перед глазами.



И вдруг ему почудился запах весеннего заркентского ветерка, там он особенный — с трех сторон Заркент окружен горами и только к Ахангарану и Ташкенту выходит широкой вольной степью. А в горах по весне розово цвели миндаль и орех, и, словно усыпанные обильным снегопадом, стояли старые яблоневые сады, на много гектаров, и запах цветущего миндаля и яблонь, запах буйно зазеленевших гор заполнял низину, дурманя и без того горячие молодые головы.

Да, познакомились они весной. Он уже работал старшим прорабом. Рушан отчетливо помнит тот субботний рабочий день,— тогда о пятидневке только поговаривали.

Начальник управления, старый строительный зубр, по субботам разносы не устраивал, для этого хватало обязательных каждодневных планерок. В конце совещания, глядя на своих мастеров и прорабов, тянувшихся взглядами в распахнутые настезь окна, сказал как бы недовольно: «Вижу, вижу, что у вас весна на уме, футбол да этот, как его... спидвей. Весь город с ума посходил, орут на нашем стадионе, а жалуются из Ташкента. Все, бегите и вы, может, до Москвы докричитесь...» — и отпустил минут на сорок раньше обычного. Линейщики, как мальчишки, рванулись к двери, вмиг устроив затор, кто-то из нетерпеливых даже выпрыгнул в окно...

Рушан помнит, как добирался на машине чужого СМУ до гостиницы «Весна», как прыгал почти на ходу из кузова, как летел на свой этаж, одолевая в три прыжка лестничный пролет, словно предчувствуя, что сегодня в его жизни должно произойти что-то важное, особенное, исключительное. Как просто было в молодости: принял душ, надел свежую сорочку и отутюженный костюм, глянул в зеркало — и куда девалась усталость непростого дня, куда только отодвинулись заботы, немалые по их годам и должностям.

У каждого времени — свой стиль, манеры, своя мода, и если бы кто попросил его назвать самую характерную черту его юности, он, не задумываясь, ответил бы: «Аккуратность и, пожалуй, постоянное стремление стать лучше, чем есть».

Год от года все меньше становилось будок, где сидели чистильщики обуви, а ведь в южных городах на оживленных улицах они были раньше на каждом углу, без них и улицу представить было нельзя. А вычищенная обувь уже никак не вязалась с мятыми брюками, не свежими рубашками...

Законодателями моды в их молодом городе слыли футболисты — ребята из Тбилиси, Москвы, Ташкента. А команда ориентировалась

на своего капитана, беззаветно преданного футболу, классного игрока, человека предельно аккуратного, с врожденной грузинской элегантностью и вкусом. Небритый, со спущенными гетрами, в мятой футболке спортсмен — картина, ныне привычная даже для международных матчей, а у Джумбера и на рядовой матч в грязных бутсах никто не выходил. . .

Включив проигрыватель, Рушан торопливо одевался под музыку, и вдруг припомнил девушек-отделочниц, штукатуривших сегодня потолки главного корпуса. Казалось, после тяжелой работы не должно оставаться никаких желаний, только бы добраться до общежития, а нет, молодость брала свое, в конце дня они работали, пританцовывая и напевая веселую песенку собственного сочинения, где припев кончался озорным: «О, суббота! О, суббота!».

А за окном уже вступал в свои права субботний вечер: из парка доносилась музыка, зажигались уличные фонари. Поспешил на улицу и Рушан. У него уже были свои любимые места отдыха, к тому же он знал, что приехали мотогонщики — на завтра афиши обещали большие гонки, — и догадывался, где можно увидеть знаменитых гостей.

Приближаясь к «Жемчужине», он услышал звуки настраиваемых инструментов, уже издали гигантская приоткрытая раковина, освещаемая с пола яркими прожекторами и действительно похожая на створку громадной жемчужины, отливала нежно-коралловым блестящим лаком, суля праздник и веселье.

Краски и свет в «Жемчужине» оказались находкой, удачным архитектурным решением. Кафе задумывалось архитектором как массовое, не для избранных, ведь город — общежитие на общежитии, и летнее заведение — девять месяцев в году в Заркенте прекрасная погода, зачем же загонять людей в железобетонные клетушки и стеклянные аквариумы?

Гигантская раковина «Жемчужины» не покрывала собой и трети посадочных мест в кафе. Огромная площадь пола разделялась на секторы утопленными медными пластинами различной толщины, после шлифовки оставившими на поверхности четкую золотую линию. Каждый сектор заполнялся мраморной крошкой определенного цвета и имел в середине свой экзотический цветок из тех же золотых линий. Если смотреть сверху — словно большой ковер, искусно расшитый золотом, с четырьмя ярко-красными кругами между группой асимметрично расставленных столов разной формы и размеров, местом для танцев, отдельным в каждом секторе. И чтобы в ненастье, редкий дождь или неожиданный



весенний ливень не попавшие под козырек жемчужной раковины отдыхающие не считали себя обойденными, в каждом секторе росло по диковинному, из тропических стран, стилизованному дереву, с причудливыми громадными листьями, перекрывавшими и остальные столы.

Рушан остановился в слабом световом пятнышке у входа и оглядывал столы — сегодня здесь собирались многие его знакомые. И вдруг его окликнули:

— Рушан, иди к нам,— от столика под экзотическим деревом ему приветливо махали руками, приглашая, Джумбер, Тамаз Антидзе и Роберт Гогелия, крайние нападающие «Металлурга».

Дасаев улыбнулся, поднял руку, приветствуя и принимая приглашение. Приближаясь, он заметил за столом напротив Роберта девушку, сидевшую к нему спиной. Белая высокая лебединая шея ее казалась хрупкой, незащищенной, тяжелые жгуче-черные волосы были собраны в изящный тугий узел на затылке.

— Вы не знакомы? — спросил удивленно Джумбер, перехватив заинтересованный взгляд Рушана.— Глория, извини, познакомься, пожалуйста, Рушан — наш друг и начальник в одном лице, что бывает крайне редко в жизни,— отрекомендовал он.

— Глория...

Девушка, привстав, не без кокетства протянула ему через узкий стол руку, и Рушан, наклонившись, поцеловал ее у тонкого запястья, не смея оторвать глаз от ее лица, в котором проглядывало что-то неуловимо знакомое. Он сразу понял, что она удивительно походила на Тамару, словно природа решила подшутить над ним, возвращая потерянное, казалось бы, навсегда.

— Так, значит, вы, футбольный тренер, зашли посмотреть, как ваши подопечные проводят досуг? Доложу: у Тамаза уже пятая сигарета, вот они все в пепельнице лежат. Может, ваше присутствие остановит его, иначе он выкурит всю пачку «БТ»...

— Такая красивая, говорят — умная... А, оказывается, обыкновенная ябеда,— перебил ее, улыбаясь, Тамаз и достал из пачки еще одну сигарету.

— Я не тренер, Глория...

— Джумбер, опять твои штучки? Ты ведь ясно сказал: Рушан — ваш начальник.

— Он и есть, дорогая, наш главный начальник. Кормилец ты наш... — и Джумбер с Тамазом, не сговариваясь, как в игре, разом обняли Рушана.

Видя растерянность девушки, которой показалось, что ее разыгрывают уже втроем, Рушан поспешил объяснить, чтобы не обиделась:

— В каком-то смысле я их начальник. Хотя и вижу их нечасто, обычно здесь, по вечерам, или у «Космоса», и, конечно, на поле в игре. Но наряды на зарплату нападающим ежемесячно закрываю я, эти трое орлов числятся в моем стройучастке. Джумбер — плотник шестого разряда, он капитан, лидер. Тамаз с Робертом проходят по пятому, рангом ниже, забивают маловато...— И, продолжая шутить, подлаживаясь под общее настроение, сказал, обращаясь только к Глории: — Если они сегодня ведут себя недостойно и не оказывают должного внимания единственной девушке за столом, я их непременно понижу в разряде. Удар по карману — самый эффективный удар, так считает мой начальник. А как считаете вы, капитан, мастер коварных штрафных ударов?

— Глория, я вижу, у вас на глазах слезы, остановитесь, не жалейте нас прежде времени. Рушан добрый и слишком любит футбол, чтобы пойти на этот бесчеловечный шаг...

За столом дружно рассмеялись шутке Джумбера.

Неразговорчивый Роберт за спиной Джумбера подавал официантке какие-то знаки, и она явилась к столу, неся бокал для Рушана и большую вазу с влажно блестящей горкой темно-бордовой черешни.

— Так вы строитель? — спросила почему-то обрадованно девушка.

— Да, старший прораб.

— А мы с вами отчасти коллеги, я ведь архитектор. Но я всегда воюю со строителями, мирно не получается. Они говорят, что меня в тридцать лет хватит инфаркт...

Она вдруг попросила Тамаза поменяться местами и, оказавшись рядом с Рушаном, мечтательно продолжала:

— Как было бы здорово, если бы я создала что-то необычное, выдающееся для нашего города, а вы построили. Мне кажется, вы бы не доводили меня до инфаркта, понимали меня,— закончила она вроде бы шутливо, положив руку ему на плечо, но в глазах ее Рушан почему-то уловил печаль.

«Странная девушка,— подумал он.— Странная и... такая родная...»

Недалеко от них, в соседнем секторе, за несколькими столами сидели гонщики и технический персонал, сопровождавший именитых спортсменов.



— Покажите мне Кадырова,— неожиданно попросила Глория.

— Вон, посмотри, «киты» сидят отдельно — за столом рядом с оркестром,— подсказал молчавший до сих пор Роберт.

Большой банкетный стол занимали человек семь. Те, что постарше,— в костюмах, при галстуках, а помоложе — в джинсах и пуловерах с яркими эмблемами известных спортивных фирм, в однотонных рубашках от Кардена, лет на пятнадцать опережая грядущую моду. Чувствовалось, что свет они повидали. Держались не шумно, с достоинством.

Оркестр заиграл что-то лирическое... Тамаз, извинившись, пошел приглашать девушку за соседним столиком, куда его усиленно зазывали весь вечер.

— Я бы хотела потанцевать с Кадыровым. Я суевренная и когда-то слышала: общение со знаменитостями приносит удачу,— сказала вдруг Глория. Видимо, мыслями она была не за столом и даже не в «Жемчужине».

— Если хочешь потанцевать, пригласи,— спокойно сказал Джумбер, не обратив особого внимания на ее слова.

— А вдруг откажет? — с опаской спросила Глория, и это еще больше удивило Рушана.

— Тебе? — на этот раз с недоверием и удивлением спросил Джумбер и заулыбался.— Хотел бы я увидеть парня, который тебе откажет!

— Ах, была не была! — сказала девушка, встала и направилась к столику, за которым сидел Кадыров, и не верилось, что минуту назад она робела, сомневалась...

Через минуту Джумбер кивнул Дасаеву:

— Посмотри, Рушан, как они танцуют, беседуют, словно старые друзья. Разве скажешь, что Глория ростом выше Габдурахмана? Удивительный такт, женственность, умение не принижать партнера, даже физически. И как ей это удается? А красивая... Смотри, Рушан, не влюбись, такая девушка — и счастье, и гибель для нашего брата. При всем обаянии она и человек необычайно талантливый, но в этом ты еще убедишься, ведь вы коллеги...

Закончили они вечер вместе с гонщиками, и Глория оставалась единственной девушкой за столом. Провожали гостей до гостиницы всей компанией, и гонщики по дороге допытывались у Глории, за кого же она завтра будет болеть. Она, не задумываясь, ответила с улыбкой, что, как и все в Заркенте,— за Габдурахмана, ответом

своим смутив и без того стеснительного Кадырова, растерявшегося от обаяния и внимания очаровательной девушки.

У гостиницы нехотя распрощались — гонщиков ждал трудный день. Джумбер, обращаясь к Рушану, попросил:

— Рушан, пожалуйста, проводи Глорию, я сегодня за тренера, негоже самому опаздывать на отбой, да и завтра у нас ранняя тренировка. Если не проспийшь — приходи, постучим вместе.

Рушан при случае проводил время на тренировках, принимал участие в двухсторонней игре...

Они шли по обезлюдившим тихим улицам, и Глория вдруг спросила:

— Тебе нравится «Жемчужина»? Я имею в виду архитектуру, интерьер.

— Слов нет, замечательное кафе, я думаю — молодежи повезло.

— Почему же ты за весь вечер не поздравил меня? — спросила она вдруг с вызовом.

— С чем? — растерялся ничего не понимавший Рушан.

— Разве месяц назад ты не был на открытии «Жемчужины»? — удивилась Глория. — Мне показалось, ты стал завсегдатаем кафе.

— Мне как раз выпала вторая смена, потому и не получилось, хоть я и знал об этом, — признался Дасаев.

— Ах, вот оно что, — сказала Глория неопределенно. — А кто архитектор, слышал?

— Только краем уха, какая-то армянская фамилия.

— Караян? — уточнила девушка.

— Точно! Солидная фамилия, звучная, наверное — известный архитектор.

Девушка остановилась и, шуточно раскланявшись, протянула руку:

— Разрешите представиться: я — Глория Караян.

— Значит, ты дочь архитектора? Пожалуйста, поздравь отца от души — достойная восхищения работа.

— Рушан, еще одно оскорбление — и я уйду навсегда, и тебе никогда не вымолить у меня прощения. — Сказано было шуточно, но в голосе все же слышалась обида.

— Ты архитектор «Жемчужины»?! Такая... — Рушан даже сбился с шага от неожиданности.

— Продолжай, продолжай... — подбодрила попутчица. — Хотел сказать — несолидная? Ох, уж эти мужчины, вдобавок



строители... — продолжила она нарочито капризно, но довольная, что смогла ошеломить Рушана. — Добавлю к сведению: Караян, может, и напоминает армянскую фамилию, но во мне нет армянской крови, хотя и намешано всякой: венгерской, русской, но больше всего немецкой. Мои далекие предки — известные в Европе зодчие, в Россию приехали полтора столетия назад, и вот теперь, через несколько поколений, во мне, наверное, проявились их гены, хотя в этом веке, точно известно, в нашем роду архитекторов не было.

Рушан стоял пораженный, никак не мог прийти в себя и только выдохнул:

— Как это тебе удалось, Глория? Ну, такое дело поднять?.. Это же чертовски сложно, я полагаю...

— Тебе правда интересно? — Глория взяла его под руку. — Тогда слушай... Я была здесь полгода на преддипломной практике. Город мне как архитектору понравился: все начиналось с нуля, и представлялся редкий шанс проявить себя, приложить свои знания и способности к делу. Мне пришлось по душе город, я — приглянулась «Градострою», где проходила практику, и там предложили по окончании института вернуться в Заркент. Мне понравилось, что здесь не надо было ничего ломать, а только строить и строить... И вот выпала такая удача с этим кафе... Наше поколение, наверное, когда-нибудь назовут танцующим, люблю танцевать и я... Надеюсь, тебя сегодня не уморила?

Рушан отрицательно помотал головой. Глория заглянула ему в лицо и продолжила:

— Во времена моих далеких австро-венгерских предков ходили на танцы в танцевальные салоны, где играл оркестр самого Штрауса. Но у меня была другая задача: создать нечто среднее между привычной танцплощадкой, фактически уже выродившейся или деградирующей, и салоном, хотя в салоне меня привлекали только атмосфера праздника и столы, за которыми можно отдыхать и беседовать между танцами. Но главную идею мне подарил сам город: климат, обилие фруктов и даже жажда — постоянная потребность в газированной и минеральной воде, мороженом... Азарт охватил по-настоящему, когда я наткнулась на свободное место, словно приготовленное для меня, это был главный толчок. Каждый вечер я приходила на пустырь и мысленно представляла свое кафе, но все было не то, не то... Если что мне и нравилось — оказывалось громоздким, дорогостоящим. Я знала: конструкция должна иметь

минимальную стоимость и все должно быть построено максимум за полгода. Я ходила сюда ежедневно — на заре, на закате, в полдень, в сумерках, но не представляла «Жемчужины» такой, какой ты увидел ее сегодня.

На пустыре пришла другая, не менее важная идея. Если сам город подарил мне функциональное решение, то место вселило уверенность, что мечта моя реальна. Я подумала — кто я такая? Не улыбайся, Рушан, меня часто одолевают сомнения... Кто будет рассматривать мой проект? Кто его одобрит? Кто включит его в титульный список строительства и на какой год? Однозначно и уверенно я не могла ответить ни на один свой вопрос. Но знала: даже в лучшем случае на решение их ушли бы годы и годы. А мне хотелось проявиться сейчас, немедленно, был у меня такой творческий зуд. И я поняла, что сделаю проект на общественных началах, как личный дар городу. Я решила вынести свою работу на суд горкома комсомола, на суд молодежи, а в том, что сделаю что-то стоящее, уже не сомневалась...

Перед неожиданно возникшим в ночи красным светофором на перекрестке Глория вдруг сказала, сбиваясь на шутку: — Такая вот я, Рушан, тщеславная, с самомнением!

— Ну, это, по-моему, называется как-то иначе... — не согласился Рушан. — Уверенностью в себе, желанием воплотить в жизнь свои замыслы или чем-то в этом роде...

Глория с интересом посмотрела на спутника.

— Ты полагаешь? Наверное, ты прав. Идеей я поделилась с руководителем практики. Разумеется, все держалось в строжайшей тайне. Мне выделили отдельную комнату, где я запиралась с утра и просиживала до глубокой ночи. Никто не мешал, не отвлекал — главный архитектор говорил всем, что у меня специальное задание.

За неделю до отъезда главный архитектор организовал мне встречу с секретарем горкома комсомола. То, что он, как и ты, оказался строителем, облегчило задачу. Я сумела заразить его своей идеей. Секретарь горкома только спросил, смогу ли я так же убедительно, как у него в кабинете, выступить перед городским активом комсомола. Я не без нахальства ответила, что готова отстаивать свою идею на любом уровне. Два дня перед встречей волновалась неимоверно. Молодые коллеги из «Градостроя» помогли организовать стенды, у них был опыт по этой части. Но я знала: мало показать, надо убедить. Написала речь — десять страниц машинописного текста, где старалась



объяснить, что каждая деталь моего детища не сама по себе, а придумана именно для Заркента, для среднеазиатской зоны.

Взяла я собрание не столько проектом, сколько уверенностью, напором. Спрашивали много, ведь в зале сидели строители, и я на все отвечала, как мне казалось, толково, смелая от вопроса к вопросу. Я даже упомянула, сколько нужно организовать воскресников, чтобы финансировать стройку. Конечно, понравились активу и эскизы, и макет. На встрече я и познакомилась с Джумбером. Кажется, он первый сказал, что «Металлург», проводящий по весне контрольные матчи с командами класса «А», передаст сборы в фонд строительства молодежного кафе.

Я улетела счастливая, окрыленная. Весь год в Ленинград постоянно звонили из штаба стройки: деловые разговоры, консультации. На зимние каникулы горком за свой счет вызвал меня в Заркент, и я визировала чертежи, привязывала план к местности. А по окончании института даже успела провести авторский надзор за отделочными работами. Вот и вся история. Может быть, я когда-нибудь приду к выводу, что создала «Жемчужину», надеясь познакомиться со строителем Рушаном Дасаевым, — дразня его, закончила Глория.

Но Рушан не обратил внимания на шутку. Он был ошеломлен! Какая способность, какая хватка! И он вновь взглянул на Глорию как бы уже другими глазами: красивая, изящная, поразительно женственная, никаких примет деловитости, озабоченности своей исключительностью. И как только ей удастся?

Рушану было жаль расставаться с девушкой, хотелось слушать и слушать ее, ведь, рассказывая о делах, она говорила о себе.

— «Жемчужина» и стала твоей дипломной работой?

— Нет, я о ней даже не упоминала в Ленинграде. Вот обещал приехать на днях специалист по цветной фотографии из Ташкента, он сделает снимки «Жемчужины», и я отправлю их в институт. Там есть залы, где демонстрируются работы выпускников. А дипломная работа моя признана неактуальной, ненужной, еле-еле зачли защиту.

— Что же ты такое сотворила? — с интересом спросил Дасаев.

— Ну, эта история покороче. Наверное, тебе нужно знать не только про мои взлеты, но и падения, а то загоржусь. Учти, я никому об этом не рассказывала...

— Я весь внимание, — откликнулся Рушан, ему действительно было интересно.

— В институте я немного играла в волейбол и даже однажды, на третьем курсе, случайно попала в сборную. Мне

повезло — команда поехала на студенческие игры в Ташкент. Первое мое большое путешествие, да еще в Среднюю Азию. Конечно, показали нам Бухару и Самарканд. Тогда я и влюбилась в Узбекистан, оттого и попросилась на практику в Заркент. Тебе ли не знать, насколько все здесь поражает... Послушай, обещаю тебе, что не будешь смеяться. Обещаешь?

Он кивнул, что воодушевило девушку.

— Так вот... Что меня больше всего поразило в моем путешествии по Узбекистану как будущего архитектора? Гур-Эмир, Биби-ханум, соборная мечеть в Самарканде, летняя резиденция эмира бухарского, медресе Кукельдаш или базар Эски-джува в Ташкенте? Ни то, ни другое. Более всего я была поражена... узбекской лепешкой. Да-да, не удивляйся, обыкновенной лепешкой. Ничего красивее в жизни не видела, ничего вкуснее не ела. Горячая, слегка подрумяненная, на ней словно веснушки — немного прожарившиеся кунжутные семена, белая, пышная, а пахнет — дух захватывает. Чудо, да и только! Ты думаешь, какой самый стойкий, самый крепкий запах на восточном базаре? Запах специй и приправ, зелени или фруктов? Нет, не угадал, я проверяла — запах лепешечных рядов. На любом базаре я найду лепешки, не спрашивая, где ими торгуют.

Рушан поразился, как она права. Ему ли не знать непередаваемо чудесного аромата свежее испеченных лепешек. На ум сразу пришел Чигатай с его кривыми улочками... Но Глория, не замечая его состояния, увлеченно продолжала:

— Я была так поражена, что не могла не узнать, как они пекутся. Изумление мое было, видно, таким неподдельным, что меня из лепешечного ряда пригласили в гости. И я впервые увидела тандыр. Его можно сравнить с кувшином из специальной жаропрочной глины. Делают тандыры до сих пор кустари, занимает он максимум квадратный метр площади и есть в каждом узбекском дворе. Но работа лепешечника требует ловкости, сноровки, впрочем, как и всякое дело... Вообще-то хороший труд должен стать нормой, а не вызывать восхищение, иначе далеко не уедешь...

Лепешка, тандыр, Ташкент натолкнули меня на тему дипломной работы: «Пекарни-магазины». В сравнении с «Жемчужиной» я имела бездну времени и продумала не один вариант, но даже лучший, на мой взгляд, забраковали, назвали утопией, фантазией. Особенно обидным было заключение: «Не отвечает растущим жизненным потребностям советского человека». Я что, для французов старалась?..



Видимо, воспоминания о дипломной работе растревожили, взволновали Глорию. Рушан чувствовал, что обида не оставила ее до сих пор, сидит в ней как заноза.

— ...Знаешь, Рушан, какая моя слабая черта как архитектора? Ни за что не догадаешься. Мне, наверное, никогда не создать шедевра, ведь я прежде всего думаю о широкой доступности того, что создаю. Пример тому — «Жемчужина», массовое заведение. Никогда не предполагала, что во мне развито социальное отношение к труду. Я бы не смогла вложить душу, например, в органнй зал, хотя знаю и люблю органную музыку. Когда отдыхала с родителями на Рижском взморье, не пропускала в Домском соборе ни одного концерта... Знаю, и какая это выигрышная тема: публика, посещающая органнне концерты, оценила бы по достоинству работу архитектора, и имя мое оказалось бы на слуху. Но камерность атмосферы, избранная, рафинированная публика, вкусам которой я должна потрафить, а не выразить себя, то есть отчасти навязать свои вкусы, как должно быть со всеми художниками, творцами,— претит мне.

Хотя это не противоречит тому, что я стремлюсь стать известной, знаменитой. Знаешь, когда заканчивали отделявать «Жемчужину», я вдруг поняла, что никто из посетителей никогда не поинтересуется, чья это работа. Но это открытие не огорчило меня, я была уверена, что удивленный, растерянный, радостный взгляд молодого человека, скорее всего провинциала, будет наградой за мой труд, станет для него первым наглядным уроком эстетики. Это я рассказываю тебе свою жизненную концепцию, из-за которой моя дипломная работа потерпела крах. Однако вернемся к ней...

— Да, да,— поддержал Рушан,— ты отвлеклась...

— Итак, в Ташкенте меня поразила лепешка, ее стоимость — десять копеек. Чайник чая в любой узбекской чайхане — пять копеек. Пятнадцати копеек в Узбекистане достаточно, чтобы перекусить, если рядом есть чайхана. Из функциональных задач родилась идея маленькой автономной пекарни-магазина, которые я мысленно видела в студенческих общежитиях, на стадионах, при крупных кинотеатрах, на вокзалах, в аэропортах и даже в жилых массивах, где к определенному часу пекли бы свежие лепешки, лаваша, хачапури, чуреки — неважно, как это называется. И непременно чай для тех, кто решит отведать здесь же, прямо из печи, горячий хлеб.

Эти пятнадцать копеек, да еще наша масштабность и сгубили мое детище. Меня обвинили чуть ли не в крохоборстве, в непонимании

растущих потребностей нашего человека, наших возможностей. Особенно вывело из себя дипломную комиссию мое дерзкое замечание в конце, что я согласна добавить к чаю вологодского масла и черной икры, хотя это было уже из другой оперы. Я ведь не игнорировала хлебопекарную промышленность,— меня и в этом обвиняли оппоненты,— а хотела для людей каждодневного маленького праздника, и может, мои не обезличенные маленькие пекарни-магазины с тетей Дашей или дядей Кудратом заставили бы большую хлебопекарную промышленность по-новому взглянуть на себя и понять, что отношение к главному продукту на нашем столе зависит только от ее работы, а пропаганда в защиту хлеба здесь вовсе ни при чем,— только деньги на ветер.

Вот такое фиаско я потерпела на защите, Рушан. Но, думаю, мои предки за меня не очень бы краснели, я держалась молодцом и ни минуты не сомневалась и не сомневаюсь в своей правоте, просто, наверное, время еще не пришло. А может, ты построишь такую пекарню-магазин, Рушан?..

Глория остановилась у подъезда обычного блочного дома.

— А вообще-то мы уже шесть раз обошли мой квартал, вот здесь я живу, на втором этаже. Я не приглашаю — поздно уже, не хочу, чтобы ты проспал тренировку. Хорошо, что у нас оказались общие друзья. До свидания, я рада знакомству с тобой.

Она, торопливо попрощавшись, скрылась в темном подъезде, а Рушан стоял у дома, пока не загорелось и не погасло окно на втором этаже.

Он шагал по безлюдным сонным улицам Заркента, припоминая удивительный сегодняшний вечер, неожиданное знакомство, и в раздумье не заметил, как вновь очутился у «Жемчужины». Горели редкие фонари, освещая тускло блестящие полы, и на миг Рушану почудились музыка, смех, как несколько часов назад. Он прошел за ограду, теперь уже иными глазами рассматривая кафе.

Вдруг он скорее почувствовал, чем заметил, что в красном круге для танцев орнамент из золотых линий хотя и напоминал экзотический цветок, выглядел несколько странно, словно скрывая какую-то тайну. Обнаружил Рушан и то, что при общей схожести в каждом из четырех кругов для танцев цветы разные. Вглядевшись внимательнее, как в криптограмму, он увидел искусно зашифрованные в линиях цветов четыре варианта монограммы из букв «Г» и «К» — «Глория Караян»...



В ту ночь воспоминаний Дасаев заснул на рассвете, и приснилась ему, впервые за долгие годы, собственная свадьба. Как в цветные слайды, переживая все заново, вглядывался он в свое прошлое...

Глория только вернулась из Дубровника, морского курорта на Адриатике, где проводился международный конкурс молодых архитекторов. Ее проект отеля на морском берегу для молодоженов, совершающих свадебное путешествие, получил в Югославии Гран-при, а организаторы конкурса вместе с Европейской ассоциацией архитекторов вручили ей еще и специальный приз как самой очаровательной участнице конкурса.

Одна итальянская фирма тут же подписала контракт о покупке проекта. Когда бойкие итальянцы спросили, что навело ее на мысль о таком необычном отеле, Глория с улыбкой ответила:

— Мне очень хотелось бы, чтобы мое свадебное путешествие закончилось у моря в таком отеле.

— Как вас зовут? — спросил вдруг представитель одной из строительных фирм.

— Глория, — просто ответила девушка.

— Глория? — переспросил итальянец и вдруг радостно воскликнул: — Глория! Прекрасное название для отеля, лучше не придумать. Что может быть удачнее? Я смею вас заверить, синьорина, мы построим с десяток таких отелей в Италии и на Лазурном берегу во Франции, и ни одной линии не изменим в проекте, фирма гарантирует...

Щелкали фотоаппараты, и итальянцы тут же протягивали моментальные фотографии, прося автограф.

Когда представитель фирмы протянул ей снимок, Глория вдруг сказала:

— Я буду очень признательна вам, если отель будет носить мое имя, но можно, чтобы хоть где-нибудь значилась моя монограмма? — И тут же на обратной стороне фотографии вывела одну из монограмм, зашифрованных в «Жемчужине».

Деловой итальянец тут же спросил:

— Может быть, синьорина и вывеску предложит?

Кто-то услужливо протянул ей альбом и фломастеры, и Глория, не раздумывая, написала свое имя необычной для латыни вязью, а слева проставила монограмму.

— Цветовое решение? — нетерпеливо уточнил итальянец. Шел профессиональный разговор.

— По темному бордо золотом, монограмма — белое с черным, символы добра и зла, ожидающих молодых,— любая буква на выбор.

Все произошло в считанные минуты — экспансивный итальянец даже присвистнул от удивления и радости...

В ту же ночь Рушану доставили в гостиницу международную телеграмму, наверное, не столь частую в Заркенте, в ней было всего несколько слов: «Рушан, любимый, я победила!» Никогда за три года их знакомства она к нему так не обращалась.

Рушан встречал Глорию в аэропорту в Ташкенте,— такой счастливой он ее больше никогда не видел. Успех шумно отмечали с друзьями, конечно, в «Жемчужине». Провожая ее из кафе по опустевшим улицам, Рушан решился сказать то, на что долго не мог собраться с духом:

— Глория, выходи за меня замуж.

Она остановилась, словно это было для нее неожиданностью, растерялась, как когда-то давно в «Жемчужине», приглашая на танец Габдурахмана Кадырова. Долго не отвечала, то ли взвешивая предложение, то ли, как обычно, погрузившись внезапно в свои прожекты.

— Рушан, милый,— сказала она наконец грустно, и в глазах ее он увидел слезы.— Я ли нужна тебе? Ну, посмотри на меня хорошенько: какая я хозяйка? Сумасбродная, неуравновешенная особа, помешавшаяся на архитектуре. Ты ведь намучаешься со мной, хотя я всем сердцем желала бы и тебя, и себя сделать счастливыми. Я очень, очень сомневаюсь, будет ли наша семья счастливой. Но, что бы я ни говорила, я счастлива, еще никто не делал мне предложения. Другие умнее тебя...

Шок у нее прошел, она вновь уходила в тень спасительной иронии. Рушан, почувствовав это, все же сказал:

— Ты мне ничего не ответила.

— Ах, была не была! — Она вмиг преобразилась, повеселела.— Раз уж ты сам напрашиваешься на свою гибель, вот мое условие: если через неделю, в субботу, не передумаешь и повторишь свое предложение, я согласна выйти за тебя замуж. Должна же я, Рушан, дать тебе шанс на спасение...— и, неожиданно поцеловав его, убежала в подъезд, благо они были уже у ее дома.



Рушан не стал догонять ее, ему тоже хотелось побыть одному...

Неделя выдалась сложной: сдавали градирню, приходилось работать в три смены. Нелегкой оказалась и суббота, после приезда Глории они не виделись ни разу, занятые до предела.

В субботу, предчувствуя, что планерка может затянуться, Рушан позвонил Джумберу. Ничего о своих намерениях капитану не сказал, только попросил его заказать стол в «Жемчужине» попрядничнее и назвал, кого пригласить, особенно не выделяя Глорию среди гостей. Джумбер не стал любопытствовать, только спросил: «По-грузински?», что на языке их компании означало — роскошный стол с непременно заходом на базар за зеленью, брынзой, фруктами, свежими овощами и прочим...

В «Жемчужину» Рушан немного опоздал, но не из-за планерки, а из-за цветов: белых роз на вечернем базаре не нашлось, пришлось ехать на дом к цветоводам, и розы срезали прямо с кустов — на длинных ножках, с тугими к ночи нежными бутонами, — такие он часто дарил Глории.

Когда он объявился в кафе, вечер уже начался. В их привычном секторе за большим банкетным столом, накрытым белоснежной скатертью, чего не было обычно в «Жемчужине», уже веселились его друзья. Мельком окинув стол, Рушан благодарно улыбнулся Джумберу. Они часто отмечали компанией свои маленькие радости и удачи, и это застолье никого не удивило, разве что стол сегодня был богаче и праздничнее.

Глория сидела рядом с Джумбером, и только ее необычно белая кожа, трудно поддающаяся загару, и прекрасное белое платье из Белграда скрывали нервную бледность лица, мало кому заметную. Но Рушан увидел это сразу. Он подошел к Глории и вручил ей цветы. Принимая их, она ответила ему незаметным благодарным пожатием руки и шепнула среди шума: «Спасибо, милый».

— Что, Глория, еще один проект? — улыбаясь, прокомментировал церемонию Тамаз.

— Ты бы так часто голы забивал, — ответил ему Джумбер, и за столом дружно засмеялись.

— Хотел бы я знать, по какому поводу так красиво сидим? Рушан, ты стал начальником управления? Или тебе удалось зачислить нас в бригаду Силкина, рекордсмена по зарплате в Заркенте? — спросил Джумбер, желая знать, ради чего он сегодня так старался.

— Стареешь, капитан, не ты ли говорил: «Главное — выдержка, терпение. Просто пробить по воротам и дурак сможет, а пробить когда надо и куда надо — только мастер»? Не дал ты мне пробить когда надо, а вообще-то мне самому не терпится сказать... — Рушан встал и, окинув стол взглядом, уже серьезно продолжил: — Друзья мои, я сделал предложение Глории, и мы сегодня хотели решить с вами, на какое число назначить день свадьбы.

Какой гвалт поднялся за столом! Даже оркестр на миг сделал паузу. Роберт молниеносно, как и на поле, метнулся из-за стола, и пока кто-то кричал: «Шампанского!» — уже возвращался к столу с шампанским, а оркестр, которому он успел что-то сказать на ходу, прервав мелодию, заиграл туш. И от стола к столу прокатилось: «Рушан женится... Глория выходит замуж...»

Глория сидела по другую от Рушана сторону стола, рядом с Тамазом, и когда хотели посадить их рядом, Тамаз заартачился:

— Сегодня ни за что не отпущу тебя от себя. Знаем мы хана Рушана, больше никогда не разрешит посидеть рядом с прекрасной девушкой. А вообще — пусть он нам выкуп или калым платит, это ведь мы с Джумбером познакомили его с таким замечательным архитектором. Глория, скажи!

Глория нашлась тут же:

— Поэтому мы с Рушаном решили, что вы будете свидетелями в загсе и шаферами на свадьбе.

— Ну, если так, сдаюсь, — согласился Тамаз, и друзья поменялись местами.

Стали подходить знакомые и малознакомые люди, поздравлять Рушана с Глорией, интересовались, когда свадьба. Тамаз шутливо отвечал всем:

— Следите за вечерними газетами, возможен экстренный выпуск...

Когда волна поздравлений схлынула и за столом воцарилось относительное спокойствие, Джумбер, обращаясь к Рушану, спросил:

— И все-таки — когда?

Рушан неопределенно пожал плечами, кивком переадресовав вопрос Глории, теперь уже своей невесте, но она не ответила.

И тут молчаливый Роберт попросил слова у Джумбера, бесшумного и бессрочного тамады компании.

— Я думаю, что свадьба в следующую субботу — в самый раз. Поясню почему: во-первых, откладывать нет причин, во-вторых,



в среду игра, последняя игра первого круга — и у нас двухнедельный перерыв, значит, мы, большинство твоих друзей, можем гулять на свадьбе, не оглядываясь на тренера и общественность. Я предлагаю создать штаб свадьбы, включая всех присутствующих за столом, а себя назначаю начальником — хоть раз в жизни похожу в высокой должности! — осенью я выдавал замуж сестренку, у меня есть опыт. Джумбер, Тамаз, подтвердите!.. Рушан, Глория, вы первые из нашей компании женитесь, и свадьба ваша для каждого из нас должна отчасти стать репетицией собственной. Где проводить, надеюсь, двух мнений нет — в «Жемчужине», детище невесты... Тьфу ты, ну и каламбур: дитя невесты...

— Злые языки станут утверждать, что Глория специально для себя построила «Жемчужину», — перебил Тамаз.

Но Глория отпарировала в своей обычной манере:

— Нет, Тамаз, «Жемчужину» я придумала только для того, чтобы познакомиться здесь с Рушаном.

— К вам, молодожены, — продолжал Роберт, — просьба такая: ко вторнику передать в штаб список гостей. Заканчивая, объявляю: следующее заседание штаба свадьбы в среду, после игры, здесь же. К тому времени многое прояснится...

— Роберт, дорогой, прошу тебя только об одном: не женись раньше меня. Хочу, чтобы ты и на моей свадьбе был начальником, — Тамаз обнял друга...

Два дня спустя после свадьбы собрались компанией у Глории дома, куда переехал Рушан. Танцевали под музыку, вспоминали веселое шумное застолье. Глория призналась, что не очень ловко чувствует себя на улице, когда знакомые поздравляют или оглядываются вслед, будто она знаменитость какая. И тут Джумбер предложил:

— А не поехать ли вам в свадебное путешествие, а заодно убежать от жары и назойливого внимания?

— Я думаю, — не преминул вмешаться Тамаз, — итальянцы еще не успели построить отель, Глория ведь не предупредила, что по возвращении сюда осчастливит Рушана.

Джумбер улыбнулся.

— Не в пример тебе, Тамаз, я даю только мудрые советы, и поэтому у меня шестой разряд штукатура-маляра, а у тебя только пятый. Верно, Рушан? Так вот... У нас две недели перерыва между играми, и я собирался слетать на море в Гагры. Там у меня родной

дядя живет — в двухэтажном особняке, прямо на берегу моря. Не махнуть ли нам туда вместе? Я отдохну свои дни, а вы останетесь насколько пожелаете или как позволит отпуск...

Компания шумно высказала свое одобрение.

Так молодожены оказались на море, провели там отпуск за два года, и это были самые счастливые дни их совместной жизни.

Джумбер, в студенческие годы проводивший каникулы в Гаграх, прекрасно знал не только город, но и все маленькие городки-курорты в округе, и пока был с ними, успел показать многое и познакомить со всеми гагровскими друзьями.

Пицунду они открыли для себя случайно, уже после отъезда Джумбера. В те годы на мысе Пицунда, что рядом с Гаграми, крупные работы только разворачивались и знаменитый ныне мировой курорт только поднимался из фундаментов. Глория сразу оценила размах предстоящего строительства. Правда, сами шестнадцатизэтажные корпуса, пока в проекте, ее не очень радовали — слишком обычно и однотипно, на ее взгляд, не на чем глазу задержаться. Зато пространственное решение она находила замечательным.

Вся зона продувалась насквозь морскими ветрами, реликтовый сосновый лес вплотную подступал к корпусам. Прогулочные дорожки, аллеи, скульптурные композиции на развилках дорог, площадях, летние рестораны, кафе очаровали Глорию. Она быстро сошлась с архитекторами из Тбилиси, и те часто проводили с ними вечера в Гаграх. Уже строились необычные автобусные остановки от Гагр до Пицунды работы уже тогда знаменитого Зураба Каргаветели — покрытые яркой глазурью гипсокерамические сказочные драконы, спруты, осьминоги, задиристые петухи, важные павлины, сонные совы, волшебные терема, горницы, сакли.

Иногда они проводили вечер с одним только Зурабом — с Глорией у него с первого дня знакомства сложились дружеские отношения, и говорили они чаще всего на языке архитектуры, не всегда понятном присутствовавшему за столом. И теперь в снах Рушана эти кавказские застолья почему-то плавно перетекали в заркентские, где все вдруг начинали скандировать: «Горько!» — и они с Глорией целовались, как в «Жемчужине» на свадьбе.

В какие-то вечера прямо среди застолья Зураб вдруг загорался новой идеей, и не было сил удержать его за столом, не говоря уже о том, чтобы он дождался утра. Тут же находилась машина



и ночью несла к Пицунде творца, которому необходимо было на месте проверить свои задумки.

«Одержимый», — говорила Глория Рушану о Каргаретели — и, конечно, подразумевала, что только таким и должен быть истинный мастер.

Возвращались они в Заркент через Тбилиси. В Грузии оба оказались впервые и, уезжая, увозили в сердцах своих нежную любовь к этому удивительному краю и его людям. Много позже, когда Глория сталкивалась в жизни с равнодушием, она всегда повторяла, что в Грузии этого не может быть, ибо была абсолютно убеждена: равнодушный грузин — это аномалия природы...

XXXXII

Три года после свадьбы Глория, кроме основной работы в «Градострое», готовила индивидуальный проект Дома молодежи для Заркента.

Задание давалось ей трудно, браковался вариант за вариантом, а каждый из них отбирал уйму сил и бездну времени. Дважды она летала в Тбилиси, показывала работу Каргаретели и его друзьям-архитекторам. Возвращалась окрыленная, с полными блокнотами записей, советов, рекомендаций своих грузинских коллег. Говорила, что, кажется, все — нашла. Но через неделю законченная работа перечеркивалась, советы казались банальными, запоздалыми, блокнот летел в мусорную картину.

Архитектуру сравнивают с поэзией, песней, но это не литература, постоянно подвергающаяся критическому анализу, всегда находящаяся в поле зрения миллионов. Значительные произведения литературы быстро становятся достоянием всех, предметом страстного обсуждения. В среде архитекторов ведутся не менее горячие споры о работе, но нельзя не признать — это спор узкой среды, за закрытыми дверями, работа архитекторов, к сожалению, известна лишь небольшому кругу людей.

Глория вдруг почувствовала, что Заркент, предоставляя ей шанс выразить себя, лишал ее среды, необходимой творческому работнику. В признанных центрах архитектурной мысли страны происходили какие-то существенные перемены — это она поняла по проектам, которые неожиданно получали широкую огласку

и становились таким образом неким эталоном. И эта новая волна, быстро, как весенний горный ливень, набравшая силу и мощь, застала Глорию врасплох. Она не находила иных слов, кроме возмущенных: «бездарность... безликость... коробки... стандарт». С работы возвращалась так же поздно, как и Рушан, часто с охрипшим голосом, — без боя архитекторы все же не сдавались, на «ура» навязываемое сверху не принимали.

— Рушан, милый, — говорила она, волнуясь, — ну как я могу утверждать проект нового жилого массива, если потолки требуют занижить до двух с половиной метров?! И это в Заркенте, где и так дышать нечем: жара сорокаградусная все лето! А совмещать санузлы с ванной у нас, в Средней Азии, где много детей, большие семьи, где ванна служит семье и прачечной — это же полный абсурд! — Глория горячилась, забывая об ужине: — А что скажете вы, строители? Архитекторы с ума посходили? В здравом ли мы уме? В здравом, да что толку, не завизирую проект я — это с удовольствием сделает другой.

Рушан запомнил из той поры термин, многое изменивший в судьбе Глории, — «архитектурные излишества».

Прожив несколько лет в Узбекистане, Глория выработала принципы, обязательные для работ в Средней Азии, и свои открытия не раз обсуждала с Рушаном. Она не представляла ни одно свое сооружение без окружения зелени, ориентировалась не на формальные клумбы и посадки «Зеленстроя», в общем-то присутствовавшие в каждом проекте, а на элементы парковой архитектуры, которая со временем убережет строение от пыли и зноя, главных разрушителей в Азии, и создаст необходимый микроклимат вокруг здания.

Не мыслила она ни одного своего детища и без воды — фонтанов, арыков, каналов, «лягушатников» и питьевых фонтанчиков. Здесь она опиралась на традиционное восточное зодчество, издавна чтившее воду и как элемент архитектуры. Чтобы раз и навсегда решить для себя этот вопрос — а Глория собиралась работать в Узбекистане всю жизнь, — она копалась в архивах, объездила не только Хиву, Самарканд и Бухару, но и менее известные города — Китаб, Коканд, говорила со старцами и с их слов создавала эскизы оригинальной формы хаузов, похожих на современные бассейны, только имевших другое назначение — украшать внутренние двory мечетей и дворцов.



Задуманная ею парковая зона с фонтанами и хаузами изобиловала местами отдыха: уставший прохожий, любопытный гуляющий и, конечно, влюбленные — все могли найти свой уголок. Скамейки, лавки, айваны — для одного человека, для двоих, для компании... Глория создавала их с неиссякаемой фантазией, смелостью, они поражали не только формой, материалом, но и тем, как архитектор умудрялась их располагать. Они у нее словно вырастали из земли, как грибы, естественно, словно только тут им и место.

Зная любовь восточных людей к фонтанам, Глория придумала расположить вокруг фонтана, в зоне недосягаемости брызг, еще одно разрезанное на сегменты каменное кольцо-скамейку, где бы можно было, никому не мешая, отдыхать у воды. Но больше всего удивляла она своими шатрами-беседками для влюбленных. Легкие, ажурные, по весне оплетенные виноградником, вьющейся зеленью, чайными розами, они словно сошли на землю со страниц восточных сказок. Глория придумала десять вариантов таких беседок, и каждая из них была приподнята над землей — одни чуть выше, другие чуть ниже. В беседку вела ажурная или витая спиральная лестница, оттуда можно было обозревать здание, площадь, фонтан, парк, и никто не мешал влюбленным.

Глория говорила, что у нас, к сожалению, мало специалистов по парковой архитектуре, и, получи она когда-нибудь солидный заказ на создание настоящего сквера, сада, парка вокруг сооружения, не будет знать, к кому обратиться, кого пригласить для совместной работы. Мечтала: вот бы, пока строится город, заложить где-нибудь загородный парк, чтобы он спокойно поднялся, а потом город все равно подступит к нему. И для себя, уверенная, что это пригодится, проникала в секреты парковой архитектуры. Часто ездила в Ташкент, в ботанический сад, в институт Шредера, и узнала о деревьях, кустарниках, цветах Средней Азии многое — по крайней мере, точно знала, сколько нужно лет, чтобы выбранные ею деревья создали вокруг здания достойный ландшафт.

Но и деревья, и вода, которым Глория придавала большое значение, все же служили интерьером для главного — самого здания. В Глории, несмотря на молодость, женский романтизм, кое-где проскальзывавший в работах, чувствовались хватка и мужской расчет, доставшиеся ей, наверное, от далеких предков.

Рушан помнит, как однажды за столом в Гаграх Зураб Каргаретели сказал: «Стоит мне взглянуть на безымянный проект,

и я безошибочно скажу — мужская это работа или женская». Друзья Зураба, тоже архитекторы, тогда рассмеялись и сказали, что такое чутье дано не ему одному... Сколько раз Глория, отправляя на архитектурные конкурсы свои работы, получала какую-нибудь бумагу, начинавшуюся словами: «Уважаемый товарищ Караян Г. ...» А ведь в жюри конкурсов наверняка тоже сидели люди, уверенные, что без труда отличат мужскую работу от женской...

Мужские черты в характере Глории Дасаев уловил сразу, в первый же вечер их знакомства, когда она рассказывала ему о «Жемчужине». Позже Рушан не раз убеждался в их наличии. А после женитьбы он уже жил интересами жены и знал об архитектуре гораздо больше, чем иной дипломированный специалист, — Глории был присущ и талант педагога — умного, умеющего раскрывать суть, идею. Тогда он и понял, что в ее проектах обязательно будет присутствовать что-то не дающееся ни одному талантливому мужчине, — должны же были выразиться ее неповторимая женственность, обаяние, вкус. Недаром она работала так неистово, целиком отдавая себя делу, забывая о нем, о семье, о доме. Эта рациональность, чувство ответственности, полнейшее отсутствие конъюнктурных соображений, погони за сиюминутной выгодой и помогли ей выработать главные принципы, которым она старалась не изменять.

Она быстро поняла, что в Средней Азии для зданий, строящихся по индивидуальному проекту, для сооружений, определяющих лицо города, годятся только материалы, менее всего подверженные воздействию солнца и пыли — высококачественный светлый кирпич, камень, желателен полированный, и металл: тонкие листы красной меди, цинка, алюминия и сплавов из этих металлов. Каждый из перечисленных материалов годился в дело самостоятельно, но Глория считала, что лучше все их сочетать. Работая, она не витала в облаках, не закладывала в проект того, чего днем с огнем не сыщешь, — а все материалы имелись в достатке в Средней Азии, кроме хорошего кирпича. Непривычный для нашей архитектуры цветной металл, за которым Глория видела будущее, она придумала использовать только потому, что жила в Заркенте, где он производился, и была уверена, что при любом дефиците город изыскал бы необходимые резервы для своих дворцов.

Иногда Глория с грустью говорила, что опоздала в архитектуре лет на десять. Проектируя Дом молодежи, она, конечно, знала,



что сейчас время блочных конструкций, бетона, стекла, новых облицовочных материалов — эпоха серийного строительства, доместроительных комбинатов. Знала и часто с карандашом в руках убеждала, что дешевые, на первый взгляд, материалы дают только сиюминутную выгоду, с годами на ремонт уйдет во много раз больше средств. «Скупой платит дважды», — это сказано об архитектуре, уверяла Глория.

О стекле в одной из своих статей она высказалась сразу и определенно: для Средней Азии с ее палящим солнцем оно противопоказано. Да и в других климатических зонах скоро пройдут первые восторги, и во весь рост встанет проблема отопления, а обогревать стеклянные здания — все равно что отапливать улицу. Кроме того, человек в аквариуме, по ее мнению, просто подвергается психологическому насилию — он открыт всем глазам...

Со статьей у нее тогда были неприятности: Союз архитекторов обвинил ее в непонимании современных задач градостроительства и недооценке новых материалов, за которыми будущее архитектуры. Он помнит, что Глория написала тогда ответ, состоящий всего из одной фразы: «Во все времена перед архитектором стояла, и завтра будет стоять одна задача: строить красиво, добротнo, навечно». Но Рушан, вызвавшийся отнести письма на почту, ответ не отправил, ибо знал уже: молодым дерзости не прощают.

Сейчас, вспоминая борьбу жены за свой взгляд на архитектуру Средней Азии, Рушан понимал, как она была права, хотя и тогда нисколько не сомневался в верности ее идей.

Ему припомнились многие здания Ташкента, отстроенные после землетрясения, за какой-то десяток лет: бетон и облицовка выгорели, постарели, — и тут ничем уже помочь нельзя. А со стен многих высотных зданий падают плитки облицовки, казавшиеся тогда такими заманчиво дешевыми. Теперь же замена одной плитки на огромной высоте оборачивается сотнями рублей и практически неразрешима: не будешь же все время держать здание в лесах, ожидая, пока упадет следующая плитка.

Рушан хорошо помнил работу Глории над Домом молодежи, ведь она приступила к ней сразу после свадьбы. Все три года, что жена трудилась над этим проектом, ни одна встреча с друзьями у них в доме не заканчивалась без разговоров о нем.

В Дом молодежи Глория заложила рваный и шлифованный камень, высокосортный кирпич и почти все металлы Заркента,

но больше всего красной меди — считала, что медь — металл Востока.

К тому времени она объездила Узбекистан и уверяла, что почти не встречала современного здания, где летом люди не обливались бы потом (тогда ведь бытовых кондиционеров и в помине не было). И вопрос, как дать зданию прохладу, волновал ее больше всего. Она шутила, что, например, принимая концертное здание, комиссия сейчас обращает внимание на полы, потолки, лестницы, на что угодно, кроме главного — качества звука в зале. Поэтому «звонкие» залы можно по пальцам пересчитать, достаточно спросить у певцов. Она же обратила внимание Рушана и на то, что в современной архитектуре исчезает целый элемент — крыша. Кажется, уже навечно пропала зеленая окраска железных крыш...

Забывтая крыша и натолкнула Глорию на идею. Поначалу она хотела сделать обыкновенную крышу из хромированного цинкового железа, как зеркало отражающего солнечные лучи. Но Дом молодежи она представляла себе романтическим зданием, которое бы уже внешним видом притягивало юность, и поэтому от традиционной крыши отказалась. А другую идею подал Рушан — почему бы на крыше не сделать кафе?

Кафе, и даже гораздо любопытнее, чем «Жемчужина», Глория набросала быстро, но главное — она придумала крышу-шатер над кафе, а значит, над всем строением. Кафе она спроектировала на восточный манер: крыша-шатер из легкого хромированного цинка опиралась на множество столбов, украшенных затейливой национальной узбекской резьбой — ганчем. Глория честно признавалась, что этот элемент она позаимствовала из полюбившейся ей самаркандской мечети. Крыша в ее задумке решала сразу две проблемы: отражала самые жаркие, прямые лучи солнца, а над зданием появлялся постоянный поток воздуха, охлаждавший его.

Отсюда и родилось название кафе — «Ветерок», а в жарком краю он ох, как важен. На этом Глория не успокоилась и, опять же по предложению Рушана, увеличила толщину стен против современного норматива, а в них проложила трубы, по которым летом циркулировала бы холодная вода, охлаждая здание. Интерьеры, лестницы, освещение Глории давались легко — фантазии ей было не занимать. Рушан, с которым она делилась неожиданными решениями, втайне от жены все записывал, и записи эти не однажды оказывались кстати. Тогда-то он и понял, что архитектурная мысль



похожа на поэтическую: не запишешь вовремя — не вспомнишь, не вернешь...

Большую стену холла должно было украшать мозаичное панно «Мотогонщики» — Глория не забыла страстей на гаревой дорожке. Панно обещал выполнить сам Зураб Каргаретели, человек, равнодушный к скорости. Рушану нравился проект: и кафе на крыше, и концертный зал, но больше всего холл, где со второго этажа на рваные камни струился водопад, у края бирюзового хауза журчал фонтан, а в прозрачных шахтах бесшумно двигались лифты, поднимающие гостей из холла в «Ветерок».

Некогда, слыша выражение «родиться вовремя», Рушан не придавал ему никакого значения, чаще всего оно использовалось всуе и касалось времен романтических, когда хотелось быть мушкетером или скакать рядом с Чапаевым, девушки же мечтали о балах во дворцах, чтобы из-за них дрались на дуэлях, а поутру многочисленные воздыхатели анонимно присылали корзины роз. А ведь выражение наверняка относилось к чьей-то трагической судьбе. Сейчас Рушан понимал, что людей, отстающих от своего времени, тьма, и они нисколько не страдают от этого, а людей, опережающих время, — единицы, и ждет их либо великая судьба, либо трагическая, если некому их понять, поддержать, и даже время не всегда восстанавливает их забытые имена.

Так было и с проектом Дома молодежи Глории, который наскочил, как корабль на айсберг, на только что вышедшее постановление «Об излишествах в архитектуре», имевшее, как потом оказалось, недолгий век.

Молодой малоизвестный архитектор приняла на себя первые мощные залпы критики. Выбор, как понимала Глория, оказался случаен, козней она тут не усматривала — просто судьба. Конечно же, в ее проекте, созданном с позиций нового течения в архитектуре, излишеств хватало с избытком.

Смело, изящно, красиво? Все это комиссии представлялось только роскошью, даже сами определения эти казались крамольными. А затея с охлаждением здания иначе чем барством и не воспринималась. Лифты, водопады, внутренние хаузы, фонтаны? В Доме молодежи? В Заркенте? Которого еще и на карте-то нет... Все отвергалось с ходу, без обсуждения, без споров...

Как ни странно, дольше всего дебаты шли о панно «Мотогонщики»: при чем, мол, здесь мотоциклы, гонки в городе металлургов?

Глория пыталась объяснить, что скорость, гонки — символы молодости, времени, века. И никто из членов жюри не узнал ни Кадырова, ни Плеханова, ни Самородова, а ведь портреты их в те годы не сходили с газетных полос — как-никак многократные чемпионы мира, гордость советского спорта.

Один из руководителей комиссии великодушно заявил, что панно — не главное, изменить сюжет, мол, нетрудно, и подал бесценную, на его взгляд, идею: изобразить во весь рост улыбающегося здоровяка-металлурга с кочергой (так и сказал!) в руке на фоне огненной реки текущей меди, — и сам аж засветился от восторга и щедрости своей, как заркентская медь. На что Глория, не сдержавшись, резко ответила: это все равно что изобразить вас рядом с ванной и с мухобойкой в руке, потому что медь добывают в Заркенте химическим способом, в гальванических ваннах, очень похожих на домашние, только поболее размером, и выложены они винипластом, против агрессивной среды, так что никакой героики в добыче меди здесь нет, и хоть раствор прекрасного изумрудного цвета, но ядовит...

Пренебрежение бесценным советом председателя комиссии — известного скульптора, автора многих композиций мужчин с кайлом, молотом, женщин с веслом, подойником, дорого обошлось Глории: ее обвинили во всех смертных грехах...

XXXXIII

Год тот для них, четвертый после свадьбы, вообще выдался неудачным. Ранней весной, в самом начале футбольного сезона, получил серьезную травму Тамаз — весельчак и балагур, светлая и щедрая душа их компании. Три месяца пролежал он с переломом в институте травматологии в Ташкенте и выписался инвалидом. Страшно было видеть осунувшегося Тамаза с палочкой в руке, которая, как уверяли врачи, нужна будет ему всю жизнь.

На проводах в «Жемчужине», скорее похожих на поминки, хотя каждый пытался казаться веселее, чем есть, неодолимая, как плотный смог, грусть зависла над столом.

Провожая Тамаза, каждый чувствовал, что распадается их некогда дружная компания, уходит их молодость. Они вступали в новый этап жизни, где меньше ожиданий и еще меньше надежд, где



против воли пропадают куда-то лучшие друзья, где не обрадуешься шальному полуночному звонку и уже начинаешь оглядываться назад, чего еще вчера не случилось, а если и случилось, то не вызвало грусти и боли.

Тамаз, охваченный таким же настроением, понимавший, что со многими из них, с кем прошла его молодость в этом городе, он видится в последний раз, все же пытался шутить:

— Нет худа без добра, ребята. Вот обрадуются дома, что я наконец-то оставил футбол и отдам свои силы Фемиде, я ведь юрист... Для начала собственную пенсию отсудить у бюрократов придется, я же не по пьянке, а на глазах десятков тысяч людей покалечился. Считаю, практикой на годы обеспечен. И прошу вас, друзья, согнать печаль с ваших лиц! Хоть со мной и случилась беда, я ни минуты не жалел, что отдал футболу лучшие годы. О, футбол — большая страсть! Глория, милая, надеюсь, ты-то понимаешь, что футбол для меня — все равно что для тебя архитектура...

На следующий день рано утром Тамаз улетел, и больше уже никогда в полном прежнем составе их компания не собиралась: медленно, по одному, выбывали они из-за стола встреч и странно исчезали, словно проваливались в пространство.

В том же году сдавали последнюю, третью очередь гигантского комбината, и, как всегда перед пуском, работали денно и нощно. Сдача комбината в эксплуатацию — событие государственной важности, и к этой дате готовились не только строители, но и весь город.

Еще до замужества Глория знала, что Рушан мечтает о сыне — не хочет, чтобы род Дасаевых на нем прервался. Но, как бы она ни разделяла желание мужа иметь ребенка, работа заслоняла мечту. Она говорила: «Подожди, милый, закончу Дом молодежи — и буду тебе примерной женой, хозяйкой, стану матерью, сделаю перерыв в работе...» Уезжая защищать проект, она призналась, что беременна.

Из Ташкента Глория вернулась ни с чем, «на щите», как она грустно шутила. Казалось, с поражением она смирилась, хотя это и было весьма подозрительно. Рушан успокаивал ее, говорил: «Вот недели через две, как только пройдет пуск, уедем надолго в Гагры, отдохнем, а там видно будет».

Но через два дня после возвращения Глория неожиданно оформила отпуск и объявила, что едет в Москву, пообещав непременно

вернуться к празднику пуска. Как ни уговаривал Рушан, удержать ее от поездки не удалось,— сказала, что хочет использовать свой шанс до конца.

Пуск, ожидая каких-то высоких гостей, откладывали дважды. Глория не возвращалась, звонила редко, вести были неутешительны. Рушан сдавал объект государственной комиссии, и вырваться к жене, как ни хотел, не мог.

В Заркент Глория вернулась через полтора месяца. Худая, изможденная, нервная, прилетела без телеграммы. Весь ее вид свидетельствовал о том, что дела неважные. С порога она бросилась мужу на шею и горько, навзрыд, расплакалась. Плакала долго — гордая Глория, не позволившая себе расслабиться в Москве, здесь дала волю чувствам. Чувствуя, что у жены поднимается температура, Рушан отнес ее на диван, и там, на его руках, обессиленная, она задремала. Среди ночи вдруг очнулась, словно и не спала, и сказала тревожно:

— Рушан, я убила в Москве твоего сына... — и вновь безутешно заплакала.

Рушан, уже чувствовавший, что случилось что-то непоправимое, сдерживал в себе какой-то невообразимо дикий крик, который поднял бы среди ночи на ноги весь дом, и, задыхаясь от горечи, успокаивал вновь забившуюся в истерике больную жену. И всю жизнь потом он благодарил судьбу, что в тот час не сказал усталой отчаявшейся женщине ни слова упрека. Три дня она не поднималась с постели, не выходила из дому,— Рушан был постоянно рядом. Как только Глория немного пришла в себя, решили уехать к морю, у них обоих силы были на пределе.

В Гаграх они сняли квартиру подальше от гостеприимного дома Дато Джешкариани, дяди Джумбера, решив, что в таком настроении лучше не показываться на глаза людям, хорошо относившимся к ним. Модных и людных мест избегали. Днями пропадали на пляже, никогда не вспоминая, как некогда были веселы и счастливы в этих краях, никуда не выезжали, хотя знали окрестности не хуже местных, даже о Пицунде не заговаривали. По вечерам ходили в один и тот же ресторан, где хозяйка их квартиры работала официанткой,— у них на террасе в углу был столик, на который вечерняя смена всегда ставила табличку «Заказано».

Странно, раньше казалось, что только веселье убивает время, а теперь вечера убывали незаметно, хотя за столом



и не плескался смех, и музыка, звучащая на другой террасе, не срывала их с места. В обоих словно что-то надорвалось, и они, как немощные старики, старались поддержать друг друга. Удивительно, что и темы для разговоров они выбирали нейтральные, плавно обходя свою жизнь.

В то лето, любуясь каждый вечер с террасы морским закатом, они много говорили о литературе. Вернее, рассказывала Глория, а Рушан слушал, не смея, как тогда, в первый раз, в «Жемчужине», оторвать глаз от ее начинавшего возвращаться к жизни прекрасного лица.

Вернулись они домой в сентябре, когда в Заркенте спала изнуряющая жара и установилась долгая теплая осень, удивительно красивое время года в Узбекистане. Вернулись тихо, никого не предупредив, и гостей по случаю возвращения, как прежде, собирать дома или в «Жемчужине» не стали.

Как-то ночью раздался телефонный звонок. Звонил из Павлодара Джумбер. Они обрадовались полуночному звонку, и проговорили, наверное, целый час, хотя звонок ничего радостного не принес, скорее наоборот. Джумбер сообщил, что Роберта срочно забирают в «Пахтакор» — у них получил травму правый крайний, и тренерский совет остановил выбор на нападающем «Металлурга». Команда прилетала из Павлодара после обеда, и у Роберта был единственный вечер в Заркенте — на другой день он с «Пахтакором» улетал на игру с тбилисским «Динамо».

Компания теряла еще одного лидера, и Джумбер просил организовать прощальное застолье.

Хотя Роберт, выражаясь чиновничьим языком, шел на повышение, застолье получилось далеко не веселым, — все, как и сам Роберт, понимали, что приглашение сильно запоздало. Единственной отрадой служило то, что через три дня он выйдет на поле в родном Тбилиси, а это — исполнение самой высокой мечты любого грузина, играющего в футбол. Но, что скрывать, он был бы гораздо счастливее, если б играл за родной клуб.

Поэтому, наверное, эта игра Роберта и стала его лебединой песней. Джумбер, смотревший матч по телевизору у Дасаевых дома, не скрывал слез.

Впервые играя за «Пахтакор», Роберт творил в незнакомой команде невозможное, невероятное, ему удавалось все. И опытные партнеры, почувствовав, что у новичка пошла игра, все пасы

адресовали ему. Два гола, что забил Роберт в той игре, взбудоражили грузинских болельщиков: откуда такой парень взялся? И, наверное, не было в те дни в Тбилиси более счастливого человека, чем Тамаз, рассказывавший о грузинских футбольных варягах, сражающихся на чужбине.

Игру друга Джумбер прокомментировал коротко:

— Каждый из нас, грузин, кому не посчастливилось играть дома, в Грузии, должен был сыграть только так, на пределе своих сил. Или умереть на поле.— Прощаясь с ними в тот вечер, рано начавший сидеть капитан с горечью сказал: — Вокруг столько людей, а мне кажется, что нас в городе осталось трое...

Нерадостные события еще больше сплотили Глорию и Рушана, их совместная жизнь стала обретать семейные черты,— странно, наверное, звучат эти слова на пятом году брака, но что было, то было. Те пролетевшие одним днем годы у каждого из них оказались до предела заполнены лишь работой. Глория и по ночам иногда вдруг оказывалась у кульмана, если приходила в голову какая-то идея, а у Рушана на объекте стояла заправленная раскладушка. Только поменял их несколько раз, слишком уж хрупкими они выпускались, видно, не были рассчитаны на издерганных прорабов, которые и спать-то спокойно не могут. А когда выпадало свободное время, старались общаться с друзьями, принимать гостей и не упускали любого случая съездить в Ташкент.

Рушан оставался по-студенчески неприхотливым, на домашних обедах и уюте не настаивал, он понимал Глорию, гордился ею, работа ее вызвала у него огромное уважение, и он тайком думал, что его сын непременно станет, как мать, архитектором.

Нельзя сказать, что Глория охладела к архитектуре, нет, просто стала вовремя, как все, возвращаться с работы. Из квартиры исчезли кульман и десятки листов ватмана со схемами, планами, видами, и комната стала похожа на комнату, а не на мастерскую проектного института. В доме появились диковинные цветы в горшках — сингапурские чайные розы. Возвращаясь с работы, она заходила на базар, и к приходу мужа из кухни доносились аппетитные запахи. Рушан был приятно удивлен тем, что жена его замечательно готовит. На дом, как прежде, работу она теперь не брала.

Изменилось кое-что и в распорядке Рушана. Он тоже стал вовремя возвращаться с работы, наконец-то поставил рамы на балконе, настелил там деревянные полы. Работа, откладывавшаяся



годами, была сделана за неделю, и они оба были поражены этим. Тогда-то и решили своими силами сделать в квартире ремонт, и у Глории вновь засветились сумасшедшие огоньки в глазах.

Рушан чувствовал: работать на износ, как работал на строительстве комбината, у него уже нет сил, и подумывал взять объект поспокойнее, как поступали многие его коллеги, но ничего об этом Глории пока не говорил. Чаще стали бывать в Ташкенте. В ту весну они приохотились ездить в новый органный зал, и, конечно, не пропускали ни одной игры «Пахтакора», болели за Роберта.

— Зная, что вы на трибуне, я увереннее чувствую себя на поле,— говорил им после игры Гогелия.

В то лето их компания распалась окончательно.

«Металлург» сильно обновился: шла смена поколений, из прежнего чемпионского состава доигрывали двое — бесменный капитан и вратарь. Сменился и тренер, и с ним пришло полкоманды. У Джумбера сразу не сложились отношения ни с тренером, ни с новобранцами — у них оказалось разное отношение к футболу. Вот тогда-то в Заркенте впервые появились на поле патлатые, нечесанные футболисты, игравшие со спущенными гетрами, в футболках навыпуск, а на шее у каждого болталась какая-нибудь вишюлька, называвшаяся талисманом.

Джумберу трудно было предъявить претензии в игре, хотя он уже потерял скорость,— зато пришла футбольная мудрость, обострилось тактическое чутье, а главное — он по-прежнему много забивал, хотя и потерял свои крылья, Тамаза и Роберта, а новые нападающие не очень-то баловали его пасом,— за этим он чувствовал козни не только молодых, но и тренера. Видимо, так оно и было, Рушан с Глорией в футболе разбирались.

На очередной игре дома в разгар второго тайма, когда команда вела в счете и Джумбер забил гол, тренер подошел к полю и знаками показал, что собирается поменять Джешкариани. Джумбер поначалу не понял — менять его? Глория с Рушаном увидели, как смертельно побледнел капитан,— это было рядом с их сектором. В ту же секунду он подбежал к кромке поля и, схватив тренера за грудки, прохрипел:

— Только попробуй, только попробуй! — и, не оборачиваясь, побежал к центру.

Пожалуй, кроме Рушана и запасных, никто и не понял, что произошло...

— Все, друзья, настал и мой черед проститься с футболом,— сказал капитан после игры и решения своего не изменил, даже когда стали уговаривать остаться.

Джумбер, устраивавший другим пышные проводы и встречи, от прощального вечера в «Жемчужине» отказался. Его отъезд они отмечали дома, втроем, в только что отремонтированной квартире, и просидели до утра. После отъезда Джумбера им долго казалось, что Заркент несколько померк.

Джумбер словно предчувствовал кончину футбола в Заркенте. Осенью класс «Б» упразднили, и уже больше никогда настоящий футбол в этот город не заглядывал. Перестали по весне приезжать и гонщики, но здесь все объяснялось проще: гаревых дорожек понастроили повсюду и не было резона тащиться через всю страну в заштатный городок.

Пролетали месяц за месяцем, в их упорядоченной семейной жизни время катилось стремительно. Рушан, радуясь за свою семью, за то, что Глория как будто обрела покой, постоянно думал: «Вот еще бы сына для полного счастья». Но Глории никогда об этом не говорил, хотя догадывался, что и она думает о том же. Знал, что супруга зачастила к врачам. Шло время, но радостного стыдливого признания, что у них будет малыш, он от жены так и не услышал.

Однажды среди ночи Рушан проснулся, почувствовав, как Глория, прижавшаяся к его плечу, беззвучно плачет. Он не подал вида, что проснулся, подумал: «Может, приснилось что». Но когда это случилось и второй, и третий раз, и он попытался ее успокоить, с ней случилась истерика. Не владея собой, обезумевшая от точившего ее горя, она кричала:

— Я убила твоего сына, почему же ты не выгонишь меня? Почему не прогонишь прочь? Я ведь сломала тебе жизнь, у тебя никогда не будет сына, Рушан! Я знаю, ты мечтаешь о нем день и ночь. Прогони меня! Прогони!!! — плакала она, упав к его ногам.

Рушан, целуя ее безумные глаза, успокаивал как мог, и в эти минуты искренне сожалел, что когда-то так настойчиво внушал ей мысли о сыне, о роде Дасаевых, перед которым он якобы в долгу. Сейчас он отказался бы от десяти своих будущих сыновей, чтобы только в душе жены вновь поселился покой,— он чувствовал, как она погибает.

После этого случая Рушан стал еще внимательнее к жене, не работал в ночные смены,— он боялся оставлять ее дома наедине с угнетавшими ее мыслями.



Как он хотел тогда, чтобы Глория поняла, что на свете дороже нее для него никого нет! Иногда это, кажется, ему удавалось, жена на месяц-другой преображалась, ходила веселая, покупала наряды, и они чуть ли не каждую субботу выезжали в Ташкент.

В отпуск туристами съездили в Болгарию, отдыхали на новом курорте «Албена», где Глорию восхищали отели на берегу моря. Здесь она опять стала много рисовать, подружилась с болгарскими архитекторами.

Рушан радовался вновь проснувшемуся в Глории интересу к архитектуре. Он готов был пожертвовать сложившимся семейным уютом, вновь превратить квартиру в проектную мастерскую, лишь бы жена по ночам не плакала, не мучилась своей виной.

Тогда в Болгарии было немало дискотек, а в ресторанах играли первоклассные оркестры, и Глория, как когда-то в «Жемчужине», каждый вечер с упоением танцевала. А когда они возвращались обратно из Варны в Одессу пароходом, в танцевальном зале на верхней палубе кто-то из отдыхающих позавидовал Рушану: какая, мол, у вас веселая, беззаботная жена. Рушан, не став разуваться, про себя обрадовался: «Хвала Аллаху, кажется, она пришла в себя».

Через неделю после приезда из Болгарии Рушан вернулся с работы домой с цветами и нашел на столе записку.

«Рушан, милый, не ищи меня. Из нашей жизни ничего хорошего не выйдет, постарайся начать все сначала. Вины твоей ни в чем нет, и я благодарна тебе за все. Если можешь, прости и прощай. Целую, Глория».

Рушан несколько раз прочитал записку, не в состоянии вникнуть в страшный смысл слов, — если бы не знакомый дорогой почерк, решил бы, что это чья-то злая шутка. В доме ничего не изменилось: чисто, прибрано, цветы в горшках свежесмыты, из кухни доносился запах готового ужина...

Он распахнул гардероб — вперемежку с его вещами висели два ее стареньких платья и плащ. Не было чемодана и любимой дорожной сумки жены. Он кинулся к шкатулке, где у них хранились деньги и документы — паспорта Глории не было.

«Хоть бы деньги взяла», — подумал он мельком и, рухнув на тахту, еще хранившую ее запах, заплакал. Заплакал громко, как не плакал уже много лет, с детства.

XXXXIV

Прошел месяц, другой... Рушан никому не говорил, что Глория ушла от него, впрочем, и говорить-то было некому — в последнее время они мало с кем общались.

Он еще и сам до конца не верил случившемуся, ему казалось, что у жены вновь какой-то срыв и скоро все образуется, она вернется домой. Почерневший от дум и бессонных ночей, он летел после работы домой, каждый раз надеясь, что Глория вернулась. Если он знал, что задержится на работе, оставлял в двери записку: «Глория, я буду во столько-то...» Однажды, поднимаясь по лестнице, он не увидел своей записки на месте и от радости чуть не задохнулся. Но радость оказалась ложной — записку, наверное, забрали озоровавшие мальчишки. По ночам ему иногда чудилась трель звонка, и он, обнадеженный, вскакивал и бежал к двери, а потом, огорченный, никак не мог уснуть до утра.

Первые месяцы Рушан не пытался разыскивать Глорию — боялся скомпрометировать ее, что ли. А может, потому, что был уверен — она непременно вернется. На третьем месяце уверенность пропала, и он лихорадочно начал искать жену по известным адресам, но утешительных вестей не было. По вечерам Рушан перестал выходить из дома — опасался: а вдруг она позвонит или позвонят люди, которых он просил сообщить о Глории. Только поздней осенью, почти через год, пришла вдруг телеграмма из Норильска, состоявшая из нескольких слов: «Не мучай себя, не ищи меня. Глория».

Уже через неделю Рушан был в Норильске, прочесал весь город, поднял на ноги милицию, но следов жены не обнаружил. Может, она попросила кого-то телеграфировать с края света? Скорее всего, так оно и было, не иголка же в стоге сена, а человек, да и Норильск в те годы был невелик...

Прошло два года... Увяли цветы в горшках — запоздалое увлечение Глории, и некогда счастливый дом, свидетель радостного смеха и веселых застолий, словно онемел, тягостная тишина затаилась за закрытыми дверями.

Изредка, раз в полгода, но всю ночь, в квартире Рушана негромко звучала музыка: Гайдн, Вивальди, Стравинский, Барток — любимые композиторы Глории. И только работа, нуждавшаяся в нем, да проникшее в кровь чувство ответственности за нее поддерживали в Рушане интерес к жизни и связь с внешним миром.



Разговоров о повышении Дасаева уже никто не вел, говорили — сломался мужик. Да и новый объект — завод бытовой химии — не требовал такого напряжения, как строительство самого комбината, к тому же Рушан был теперь уже третьим строителем, как любил говорить их начальник.

Но однажды он почувствовал, как тяжело, душно ему в этом городе, где все напоминало о жене, а жить в ее квартире становилось с каждым днем мучительнее. По-прежнему он вздрагивал от каждого случайного звонка, редко выходил из дома по вечерам, боясь упустить какую-нибудь радостную весть. Но вестей от Глории не было. Он понимал, нужно что-то делать, однако с ее уходом у него словно отняли силы и парализовали волю.

Как-то вечером Рушан, как в старые времена, задержался на работе и, возвращаясь домой, сошел на остановке возле «Жемчужины» — холодильник дома был пуст, и он решил зайти куда-нибудь поужинать.

В кафе он не был, наверное, года четыре, хотя постоянно слышал, как молодые строители упоминали «Жемчужину» в своих разговорах. Прежние официанты сменились, с улыбкой, как раньше, его не встречали, да и в нем, начавшем сесть мужчине, нелегко было признать Рушана Дасаева, завсегдатая «Жемчужины», некогда появлявшегося здесь почти каждый вечер с красавицей женой в шумной грузинской компании.

С первых же минут Рушан понял, что время не пощадило и кафе. Раньше «Жемчужина», как и задумала ее Глория, была вечерним кафе, местом праздничным. Официанты приходили на работу к шести, отдохнувшие, энергичные, приводили зал в порядок, освежали шлангом полы, наводили кругом блеск, ставили на столики цветы, и в семь кафе гостеприимно принимало первых посетителей. Теперь кафе открывалось с утра, официантки день работали, два отдыхали, как на заводе, так что к вечеру — при заркентской жаре — выглядели как выжатый лимон. Зачастую дневной план к этому времени был уже выполнен, и клиент вечерний оказывался как бы ни к чему и мало интересовал их.

«Жемчужина» перенесла и стихию ремонта: нежно-коралловая раковина теперь тускло темнела непонятной коричневой краской, освещение, задуманное как интересное архитектурное решение, исчезло — наверное, во время кампании по экономии энергии. Исчезли мороженое и вода, вместо них бойко торговали дорогими коктейлями и коньяком на разлив.

Стол, за которым обычно собиралась их компания, оказался свободен, и Рушан, заняв свое привычное место, огляделся. Посетителей по-прежнему было много — кафе, при всех издержках, пользовалось большой популярностью.

И вдруг Рушан увидел то, что наверняка порадовало бы Глорию, а может, она так все и представляла через время. Медь — красная и желтая, ее любимый архитектурный материал, — радовала глаз, жила какой-то новой жизнью. Высокая литая ограда из тяжелой красной меди, выполненная с традиционными элементами восточного орнамента, от времени покрылась кое-где зеленоватым налетом и от этого здорово выиграла, словно успела побывать в далеком прошлом и запылиться там, и теперь ненавязчиво, но настойчиво бросалась в глаза. А раньше Рушан не замечал это прекрасное литье, узоры, навевавшие мысль о Востоке, времени, старине... Преобразилась и медь, которой каждодневно касались сотни рук: стойки у баров, окантовка мраморных столов, тяжелые замысловатые ручки дверей теперь сияли отполированным золотом.

Оркестр наигрывал бодрые, жизнерадостные ритмы; музыка, пропущенная через мощные усилители, оглушала даже в таком огромном и свободном пространстве, как «Жемчужина». Глория словно предвидела и этот электронный взлет музыки.

Заказы оркестру сыпались со всех сторон, что не было принято в их время. Купюры немалого достоинства, не таясь и даже с вызывающим шиком, передавались в оркестр, и на весь зал разносилось: «Для нашего дорогого друга Ахмета исполняется...» — какой-то Ахмет в этот вечер гулял широко.

Оркестр, щедро финансируемый неизвестным Ахметом, не умолкал ни на минуту, и во всех четырех секторах азартно отплясывала молодежь. Когда толпа танцующих на время редела и яркий свет уцелевших мощных юпитеров попадал на цветы в танцевальном круге, словно золотое сияние возникало вокруг, — так они отшлифовались сотнями танцующих ног, цветы Глории.

Вскоре к нему за стол посадили компанию молодых людей, отмечавших экспромтом день рождения девушки. Рушану показалось, что он даже видел ее где-то на стройке. Гостеприимство, общительность — те прекрасные черты характера, которые если и не имел, то непременно приобретешь на Востоке, и через пять минут Рушан уже поднимал бокал за здоровье именинницы.



Прозвучал очередной, какой-то особенно изысканный музыкальный заказ Ахмета, и молодые люди сорвались из-за стола. Напротив него осталась сидеть невзрачная девушка, всем видом выказывавшая желание потанцевать, и Рушану ничего не оставалось, как пригласить ее.

Танцуя, Рушан невольно смотрел себе под ноги, и девушка спросила, не потерял ли он чего.

— Не кажется ли вам странным этот цветок? — спросил он.

— Да, пожалуй, в нем есть какая-то тайна, — ответила партнерша, взглядевшись.

— А вы внимательнее посмотрите...

— Кажется, вот эти линии цветка напоминают сплетенные буквы — «Г» и «К». Да, я отчетливо вижу эти буквы. Вам они что-нибудь напоминают, или эти буквы о чем-то говорят? — спросила она тревожно. — Вы так взволнованны...

— Нет, просто я тоже разглядел монограмму. Наверное, мастер о себе память оставил, долго не вытоптать, — ответил Рушан, и ему захотелось домой.

Возвращаясь давним маршрутом от «Жемчужины» к дому, Рушан мысленно прощался с Заркентом — он твердо решил вернуться в Ташкент, город своей молодости, где начал постигать строительное мастерство, где у него было тогда немало друзей — от балетмейстера до аптекаря...

XXXXV

Шло время, а от Глории не было никаких вестей. Порою Рушана охватывала страшная тоска по ней, и он вновь лихорадочно пускался на ее поиски: писал письма, слал телеграммы, обзванивал знакомых. Он выписал журнал «Архитектура» и внимательно одолевал статью за статьей, надеясь: вдруг где-нибудь всплывет ее имя. Но все труды оказывались напрасными.

А однажды, когда близился его первый отпуск после переезда в Ташкент, ему приснилось море, Гагры и прежние счастливые дни с Глорией. Весь день он вспоминал прекрасный сон, где Зураб Каргаретели настойчиво приглашал его приехать в Пицунду, посмотреть воплощенные в жизнь проекты и, загадочно улыбаясь, обещал к тому же приятный сюрприз.

Как утопающий хватается за соломинку, Рушан уцепился за идею, становившуюся навязчивой: а что, если это вещий сон, судьба? Хоть к гадалке беги...

Промаявшись неделю, он решил ехать к морю: и отдохнуть не мешало, главное же, в нем поселилась надежда — а вдруг...

Прилетел он в Адлер утром. Несмотря на ранний час, здесь царило оживление. Загорелые отдохнувшие курортники не без грусти покидали Черноморское побережье, а вновь прибывшие выделялись не только отсутствием морского загара, но, прежде всего, азартом, нетерпением — скорее бы добраться до места отдыха, к морю.

Толпа таких нетерпеливых и внесла Дасаева в первый же автобус, следующий в Гагры.

Города в наши дни стремительно меняют облик, преображаясь до неузнаваемости, и только маленькие курортные городки, определившие свой стиль, свое лицо в давние-давние времена, не поддаются напору лет, разве что каждый новый жизненный период оставляет на них свои косметические следы: духаны начинают называть чайханами, чайханы — закусочными, закусочные — кафе, кафе — барами, бары — дискотеками, и так до бесконечности, а суть остается той же...

И, может быть, прелесть этих городков именно в том, что, меняя косметику от сезона к сезону, они всегда остаются самими собой, храня старые тайны в тени кипарисов, тишине гротов, на узких горных тропинках, шумных галечных пляжах. Не стоит верить, если кто-то скажет, что море давно слизало ваши следы, а эхо разнесло по горам ваш счастливый смех, — вернитесь, и вы поймете: все осталось точно таким, каким вы покинули его вчера, позавчера, много лет назад... Надо только вернуться!

Рушану тоже все показалось прежним, хотя он не мог не заметить: появилось немало новых торговых точек — лавок, лавочек, множество иных заведений, — но они могли и исчезнуть так же незаметно, как возникли. Хотя забегаловки эти и выглядели привлекательно, подобающе известному курортному городу, но опытный глаз строителя без труда подмечал временный характер всех сооружений — стоит подуть иному ветру, и от них не останется следа...

Город, еще с той первой совместной поездки с Джумбером, Рушан знал хорошо, безошибочно ориентировался в его крутых улицах, потому и квартиру нашел быстро и такую, какую хотел,



недалеко от центрального парка, чтобы можно было отовсюду возвращаться домой пешком.

Вечером, отдохнувший, успевший поплавать в море, он собрался пройти по тем местам, где в первый приезд любил бывать с Глорией. Окидывая взглядом себя в зеркале, заметил, что в последний год седины заметно прибавилось, но эта мысль не огорчила его, он знал, что в этих краях ранняя седина не редкость. Седина рано и нещадно метит грузин, это словно дань за щедрость и открытость их души, за веселый нрав, жизнелюбие.

Проходя мимо телеграфа, Рушан невольно остановился. Стоило отбить телеграмму в Тбилиси, и вскоре кто-нибудь из его друзей — Джумбер, Тамаз или Роберт — будет здесь, рядом с ним. Ему так хотелось увидеть их, посидеть, как некогда, за столом по-грузински и вспомнить молодость, Заркент, «Металлург». Но... словно неодолимая пропасть пролегла перед ним: что бы он сказал им о Глории? Увы, не удержал, не уберег, не отыскал, не защитил... Не было слов, и нет этому оправданий — потерять такого человека! Рушан знал, что и для них Глория была больше чем другом, — она была частью их жизни, молодости, их талисманом. И какой бы сильной ни оказалась радость встречи с друзьями, не меньшей была бы и печаль, узнай они о судьбе его жены... Так и не войдя в здание телеграфа, он прошагал дальше.

Некоторые летние кафе на воздухе, где они с Глорией проводили вечера в компании грузинских архитекторов, исчезли, а другие успели потускнеть, словно и не были прежде популярны, и Дасаев еще раз отметил, что у каждого времени — свои места развлечений. В этот же вечер он понял, что и искать жену следует, если вдруг она вздумала бы отдохнуть на море, в новых местах.

И побежали чередой быстро таявшие отпускные дни... Несколько раз он проходил мимо дома, где они с Глорией останавливались в первый раз. У калитки видел повзрослевших племянников Джумбера. Он помнил каждого из них по имени, но окликнуть не решался. Видел однажды и самого дядю Дато, по-прежнему стройного, с неизменной сигаретой в зубах. Дато Вахтангович, прежде чем сесть в машину, даже задержал на секунду взгляд на нем, но в Рушане теперь трудно было признать прежнего Дасаева, проводившего в этом доме медовый месяц с любимой молодой женой. Так и разошлись, не окликнув друг друга.

В другой раз, вечером, возвращаясь поздно, Рушан вновь завернул к этому дому. Во дворе, ярко освещенном, как в памятные ему дни, шумело застолье, и ему даже почудился голос Джумбера. Не таясь, он близко подошел к воротам и хотел уже войти, если еще раз услышит его голос. В приоткрытую дверь хорошо просматривался двор, и он на всякий случай заглянул — Джумбера за столом не было.

Погода стояла на зависть, море не штормило, квартира попалась удобная, хозяева были гостеприимными, только дни таяли чересчур быстро, лишая его последних надежд. В какой-то вечер, ужиная в ресторане у моря, он обратил внимание, что в зале много свободных мест — непривычно для разгара сезона, на что официант заметил: «Большинство отдыхающих по вечерам уезжают развлекаться в Пицунду».

«В Пицунду! Ну, конечно, она в Пицунде!» — подумал взволнованно Рушан, и угасающая надежда вспыхнула вновь.

На другой день пораньше он отправился в Пицунду. Поехал автобусом, чтобы спокойно разглядеть сказочные автобусные остановки Зураба Каргаретели, часть которых когда-то видел в работе, часть — в проектах и рисунках. Двадцать четыре остановки насчитал Рушан, и ни одна не повторилась, радуя глаз и сердце фантазией. Среди буйной субтропической зелени у дороги яркие волшебные персонажи сказок, уберегавшие пассажиров от зноя и ненастья, поражали воображение даже тех, кто видел их уже не однажды. Работ было много, и вряд ли кому приходило в голову, что это труд одного творца, но Рушан знал и в душе гордился, что был знаком с человеком, который оставил такой яркий след на земле.

К встрече с Пицундой Дасаев был готов. Для него, строителя, однажды уже увиденное в чертежах, проектах обретало живые черты, это все равно, что показать композитору новую партитуру — он услышит музыку и без оркестра. Гуляя по широкой набережной, он вспомнил, что именно здешнее пространственное решение поразило тогда Глорию: строители уберегли реликтовый лес, и он вплотную подступал к набережной и высоким корпусам.

«Если она на море, то встречу я ее только здесь, в Пицунде», — решил Рушан, оглядывая бронзовую скульптурную композицию на развилке набережной.

Вечер вступал в свои права. Веселые нарядные люди заполняли набережную, прогулочные дорожки в лесу, отовсюду слышалась



музыка. Летних ресторанов, кафе, баров, дискотек, варьете в Пицунде оказалось так много, что Дасаев растерялся: куда пойти, где он может встретить Глорию? В иные заведения непросто и попасть — нужно было выстоять очередь.

Рушан вспомнил, что в проекте каждого из высотных корпусов на крыше, на самой верхотуре, планировалось открытое, на воздухе, кафе, откуда хорошо обозревался морской простор и весь мыс Пицунды, и он, не раздумывая, завернул в подъезд ближайшей многоэтажки. Скоростной лифт быстро поднял его на шестнадцатый этаж, но и здесь ему пришлось стоять в очереди — желающих попасть сюда было с избытком.

Кафе оказалось огромным и без «архитектурных излишеств», проще уже некуда, как сказала бы Глория, но отдыхающих привлекала панорама, свежий морской воздух, да и места для танцев было в достатке, чем не могли похвалиться другие заведения. Отыскивая свободное место, Рушан понял, почувствовал, что Глории здесь нет, и не могло быть, — он знал ее вкусы. Эта мысль огорчила и обрадовала одновременно — по крайней мере, из поля поиска выпали крыши всех высотных зданий.

Место отыскалось у самого парапета. Рушан сел лицом к морю; происходящее в зале теперь его не волновало, даже мелькнула мысль встать и уйти, но, представив, что вновь придется выстаивать где-нибудь очередь, чтобы поужинать, решил остаться, к тому же сразу подошел официант и предложил свежую форель.

Солнце медленно опускалось в море, по всем признакам суля на завтра погожий день. Прогулочные катера, маленькие теплоходы уходили и возвращались с моря на причал Пицунды, как некогда приставали к этому же берегу и, может, даже в этой бухте корабли аргонавтов, прибывших за золотым руном Колхиды.

Неожиданно все обволокла ночь — вязкая, звездная, ночь Колхиды. Вдали, за нейтральными водами, словно огромные новогодние ели, выстроившиеся в ряд, вдруг зажглись яркие светильники: то шли, сияя праздничными огнями в ночи, чужие огромные, трехпалубные, теплоходы. Шли в Ялту «турки», «греки», «шведы», как называют моряки и жители морских городов заходящие в наши порты иноземные корабли.

Лето, море, круиз, праздник... Рушану даже почудилось, что он слышит музыку с далеких чужих кораблей, но это только казалось, его оглушала музыка, гремевшая за спиной.

Посвежело, с моря заметно потянуло ветерком, и Дасаев почувствовал себя зябко, неудобно, хотя веселье в зале только разгоралось. Рассчитавшись, он спустился вниз.

По ярко освещенным аллеям гуляли отдыхающие — по всей вероятности, жившие в этих высотных корпусах и гостиницах, — спешить им было некуда. Отовсюду зазывно гремела музыка, сквозь стеклянные стены ресторанов пастельно просвечивали танцующие в ярких летних одеждах, куда ни глянь — везде праздник. Не было праздника только в душе Рушана, хотя внешне он вполне походил на довольного курортника. Не спеша покидал он курортную зону, когда на самом выходе — у шлагбаума, где у водителей требовали предъявить специальный пропуск для въезда на территорию отдыха — вдруг грянула музыка. Казалось, что все увеселительные заведения уже остались позади, но Рушан ошибся — это был главный ресторан Пицунды «Золотое руно», и оркестр после антракта начал второе отделение.

Ресторан был вечерний, и когда Рушан проходил тут часа три назад, его еще не открыли для посетителей. Легкое, изящное сооружение, часть столиков располагалась прямо под деревьями, словно на пикнике, и сам ресторан хорошо вписывался в густую субтропическую зелень, которой были увиты все веранды. В саду на столиках стояли стилизованные «керосиновые фонари», на веранде кое-где висели тщательно выделанные белые овечьи шкуры, наверное, символизировавшие «золотое руно». Возможно, они вызывали зависть у любой модницы и наводили на мысль, что на дубленку как раз хватило бы. Но за шкурами был особый досмотр, их берегли пуще легендарного руна, хотя об этом знали только завсегда-таи. Ресторан имел свое лицо, чувствовалось, что постарались и те, кто задумал, и те, кто построил его, поэтому Рушан, не раздумывая, шагнул к «Золотому руно».

На слабо освещенной эстраде неистовствовал оркестр, взвинчивая и без того наэлектризованный зал, на тесной площадке танцевали те, кто сидел за ближайшими столиками, остальным оставалось только завидовать и ждать своего часа, который мог и не наступить. Дасаев прошел вдоль столиков, выискивая свободное место, как вдруг его окликнули:

— Рушан, иди к нам!

Дасаев подумал, не ослышался ли он, но из-за столика, на котором слабо горела свеча, опять раздалась возбужденные весельем приветливые голоса:



— Рушан, дорогой, иди к нам!

Ноги вмиг стали ватными, и тысяча догадок промелькнула в одну секунду: кто это мог быть? Джумбер, Тамаз, Роберт, старые друзья архитекторы?

Окликнули его, конечно, грузины, акцент чувствовался. Он пробирался медленно, обходя шумные столы, но душой уже летел туда, откуда раздалось неожиданное приглашение... а вдруг?

— Рушан, у нас мало света, или ты успел уже хорошо гульнуть, что не признал нас? — спросил, улыбаясь, Тенгиз, сын хозяйки дома, где он остановился.

За столом с Тенгизом сидели три девушки, снимавшие большую комнату на первом этаже, и приятель Тенгиза сосед Заури. Иногда, возвращаясь вечером, Рушан заставлял эту компанию в саду, однажды даже засиделся в ней за полночь.

— Пожалуй, света действительно маловато, — ответил устало Рушан. — А насчет гульнуть... Я как раз недогулял сегодня, это хорошо, что я встретил вас. Хорошо бы бокал вина...

Официант уже стоял наготове за спиной Тенгиза.

— Слышал, что сказал наш друг Рушан? Огня и вина...

То, с чем долгие годы не хотел смириться, Рушан понял, осознал только сейчас. В какие-то мгновения здесь, в шумном «Золотом руне», в голове возникла вдруг такая пронзительная ясность, как будто освободился от наркоза, и в эти минуты пульсировала только одна мысль: «Глория потеряна навсегда», а перед глазами встала единственная ее телеграмма: «Не ищи меня...»

Оставшиеся дни, которых было не так уж много, Рушан провел в компании со своими соседями, и все эти дни он прощался с Гаграми, ибо знал, что больше сюда не вернется — никогда не надо возвращаться туда, где был по-настоящему счастлив... Но счастлив все же был, был...

Три года назад он получил от Глории письмо из Гамбурга. Оказывается, уже лет десять как она перебралась в Германию.

Глория писала, что вовремя поняла: профессионально ей никогда не удастся реализовать себя в Стране Советов, да и сама жизнь там стала ей неважною, — она словно предчувствовала, что ждет ее Родину впереди.

Прислала Глория и свои фотографии — на отдыхе на Лазурном берегу, в далекой Ницце. Снялась она у парадного удивительно

знакомого отеля, хотя в тех краях Рушан никогда не бывал. В письме нашлось объяснение — Глория фотографировалась на фоне своего детища, удачно спроектированного в молодости.

Она писала, что владельцы отеля «Глория», узнав, что она архитектор, автор проекта популярных в Европе гостиниц для молодоженов, целый месяц принимали ее, как высококую гостью, за свой счет. Еще она писала, что труд, в который вложила всю душу, проектируя Дом молодежи в Заркенте, не пропал даром: на базе тех решений она построила дворец для шейха из Кувейта.

На чужбине Глория преуспела, создала собственную архитектурную мастерскую, которая не знала отбоя от заказов. Но, несмотря на роскошное окружение Глории на фотографиях из Гамбурга, в письме чувствовалась неистребимая тоска: что-то, чего не могли заменить никакой успех и благополучие, осталось на Родине навсегда, — Рушан это чувствовал. Нагадай ему кто-нибудь в юности, в забытом богом Мартуке, что его друзей и любимых разметет по свету, по Парижам и Лондонам, он бы улыбнулся и, как некогда Саня Вуккерт — зеленоглазой Томочке Солохо, сказал бы: «Ты не умеешь гадать, мадам...»

...Проходят дни — тоскливые, тяжелые, нудные, и трудно поверить, что впереди ждет радостное время. Порою кажется, что жизнь прожита зря, напрасно, но когда через запыленное, давно не мытое окно Рушан видит выходящую из дома напротив девочку с голубыми бантами и нотной папкой в руке, на лицо его набегают улыбка: жизнь продолжается, несмотря ни на что, потому что еще жива любовь и память не потускнела.

А пока любовь и память — эти два волшебных крыла, поднимающих человека ввысь — еще не сломаны, жизнь не иссякнет, не истает, как дым, как туман на заре...

*Переделкино,
май 1991*



Повесть





Налево пойдешь — коня потеряешь

Повесть

Шла вторая половина ноября, но настоящих заморозков еще не было. Ночи стояли темные, малозвездные, светало поздно, и поселок просыпался засветло. Вспыхивали в утренней суете то тут, то там бледные огни за стеклами давно не мытых окон. А то вдруг в одном или другом дворе за высокими глинобитными дувалами взлетали высоко в темноту яркие языки пламени — это первые расторопные хозяйки разжигали тандыр¹, чтобы порадовать домочадцев горячими лепешками. Разжигали щедро, не скупясь, ибо по осени гузапаей — сухими стеблями хлопчатника — был завален каждый двор кишлака. Радостно было видеть буйные всплески огня в темноте, когда контуры двора еще едва-едва различимы, а яблони или какая-нибудь старая орешина в огороде словно спрятались за черной занавесью, да и зябко на улице после теплой постели.

Осенью население кишлака удваивалось, а то и утраивалось — приезжали на уборку хлопка горожане. Кого здесь только не было: школьники и студенты, рабочие, служащие и, конечно, инженеры — этих, кажется, больше всех. И хотя привлекали горожан на уборку хлопка лет сорок подряд и зачастую вывозили в одни и те же места,

¹ Т а н д ы р — печь для выпечки лепешек.



о каком-либо добротном жилье, домашнем обустройстве не было и речи. Расселяли бедролаг по пустовавшим до Нового года школам, баракам, складским помещениям, клубам, даже по фермам, откуда за последние годы неизвестно почему исчез скот. Ставили на постой и по дворам, где была мало-мальски свободная площадь, даже единственную чайхану кишлака и то, бывало, отдавали под жилье горожанам.

На таких постоях тоже вставали рано, по будильнику, даже раньше, чем сноха на большом подворье, — правда, вставали не все, а лишь занятые на кухне. Тандыров у горожан не было, хотя жили они здесь месяцами и горячие лепешки им не помешали бы. Но если не тянулись у них по утрам к небу высокие языки пламени от пылавшей гузапай, то дружно загорались фонари на высоких столбах у временных кухонь. Завтракали при огнях, а ужинали при звездах, таковы неписанные правила — хлопку весь световой день, ни суббот, ни выходных, ни праздников. Одним словом — страда!

До приезда горожан кишлак просыпался тихо, не спеша, не суетно, как и в любой сельской местности. Тянулись легкие дымы дружно затопленных очагов, и в воздухе носились от двора ко двору запахи свежeweыпеченных лепешек. В каждом доме свой рецепт: одни пекли легкие, пышные, румяные «оби-нон», другие — «патыр», долго не черствеющие лепешки на молоке и бараньем сале, третьи — большие, из пресного теста, на манер грузинского лаваша. В кишлачном магазине отродясь не торговали хлебом — только мукой, которую продавали мешками. Из поколения в поколение, из рода в род передавалось умение печь лепешки — и праздничные, и в долгую дорогу, и на каждый день.

Высокие фонари сеяли скудный свет, и кашевары зажигали большой керосиновый фонарь — с ним как-то надежнее. С треском разгорались отсыревшие за ночь дрова под котлом, вспыхивали облитые бензином чурки в топке трехведерного титана-кипятильника, и все вокруг освещалось огненными бликами. Во дворе появлялись первые сборщики, говорили спросонья шепотом, объяснялись жестами. То в одном, то в другом дворе загорланит вдруг нетерпеливый петух, сонные курицы сорвутся с насестов в темноте чуланов и, натыкаясь на закрытую дверь, поднимают слышимый далеко за подворьем шум. На переполох в курятнике откликались домашние псы, и собачья перекличка, катясь от усадьбы к усадьбе, поднимала и последних засонь. Вдруг далеко, у школы, где жили студенты, раздавался

многократно усиленный мощными динамиками голос Аллы Пугачевой: «...А ты такой холодный, как айсберг в океане...» — и день в кишлаке начинался...

Завтрак горожанина-хлопкороба сродни солдатскому — неприхотлив и быстр: геркулесовая или пшенная каша да кружка обжигающего чая; правда, иногда бывает масло, но в последние годы с маслом перебои. За столом поначалу не шумно, но не от уныния, многие сонны, потому что допоздна пропадали у студентов на танцах, и приятные мысли о вчерашнем радостном вечере еще туманят головы. Уныние на хлопке охватывает тогда, когда зарядят проливные дожди, когда низкое осеннее небо с набухшими, словно вымя недоеной коровы, тучами сеет и сеет над кишлаком серую пелену, и кажется, нет конца этой мороси. Дороги, дворы, поля — все в одночасье становится непроезжим, непролазным, и со всех углов, окон, дверей слабых глиняных построек, плохо уберегающих от осенних холодов и слякоти, тянет зыбкой сыростью. Вот тогда-то уныние стирает улыбки с лиц даже самых бывалых ребят: ни умыться, ни обсушиться, ни обед толком приготовить, ни к соседям податься, которые тоже сидят в своих бараках, подставляя порожнюю посуду, какая только находится вокруг, под нудную осеннюю неутихающую капель, — крыши над головами долгожданных шефов текут нещадно...

Нынче погода выдалась на редкость подходящая, хотя в конце октября неделя прошла в непрерывных дождях, дважды переходивших в мокрый снег. Но вскоре распогодилось, и о слякотных тяжелых днях быстро забыли, — так уж устроен человек, помнит лучшее, солнечное.

Взбодренные крепким горячим чаем, сборщики стряхнули остатки сна, зазвучали за струганым столом, сбитым из двух длинных тяжелых половых досок, крытых газетой, первые шутки:

— Баходыр, дорогой, зажарь на обед соседского петуха, век не забуду, — уж больно рано кукарекает. Сон, как я двести килограммов собрал, досмотреть не дает...

— Что-то ты вчера у медичек весь вечер с поварихой танцевал... Опытном обменивались, что ли, или меню на неделю обсуждали?

И тут же другой голос добавляет вдогонку:

— Ты смотри, поварихе секрет своей шавли не рассказывай — точно разлюбит, половина в мисках осталась...

Но Баходыра не так-то просто загнать в угол; он, ловко раскладывая по мискам пшенку, весело отвечает:



— Душа душу чувствует, этого вам не понять. А шавлю вы у других не пробовали — и за ту половину, что съели, меня на руках носить надо...

День входил в обычную колею — без шутки, смеха на хлопке не выдержать. По утрам больше всех достается поварам, и хотя шутки, пожелания не без подковырок, злобы в них нет, да и повара в долгу не остаются: уж они-то знают, кто на что способен в поле, да и на кухню обычно попадают люди бывалые, балагуры, острословы, им палец в рот не клади.

Когда шум и оживление за столом набрали обычную силу, на другом конце села, у здания правления колхоза, где расположен местный штаб хлопкоуборочной кампании, начали бить молотом в тяжелый рельс. Глухой резонирующий звук покатился в утренней тишине от двора ко двору, от постоя к постоя — и без всякой команды сборщики стали подниматься из-за стола, разбирать сваленные с вечера в кучу фартуки, мешки, все так же озоруя и шумя при этом, и гуськом потянулись на улицу.

Просторный двор чайханы быстро опустел. Повара — их трое, на них лежит и снабжение, отвечают они и за порядок, и за чистоту вокруг — выпроводили последних, самых нерасторопных, которым достались фартуки без завязок и дырявые мешки, и, довольные, что люди на поле ушли веселыми, без претензий, улыбнулись друг другу. Утро для них — время тяжелое: не знаешь, кто с какой ноги встанет, что скажет спросонья, и за два месяца хорошее настроение порою пропадает даже у самых выдержанных.

Старший, Баходыр, заглянул в чайхану. Там у окна на нарах лежал больной — Рашид Давлатов. С Баходыром они друзья, одногодки, работают в отделе комплектации седьмой год, и столько же лет вместе на хлопке — бывалые сборщики.

— Доброе утро, Рашид, как себя чувствуешь? — участливо спросил Баходыр.

Рашид повернул на голос тяжелую от прерванного сна голову и попытался ответить как можно бодрее:

— Вроде лучше, но ночью опять трижды выходил на улицу... Живот крутит, спасу нет, только к утру отпустило. Спасибо за грелку, здорово помогла.

Лампочка в чайхане горела в треть накала, и потому Баходыру не видно было, как отекло и пожелтело лицо товарища, а вокруг глаз темнее и шире обозначились круги. Но он и без того знал, что друг

болен — кем-кем, а симулянтом Рашид никогда не был. Да в такие дни и грех валяться в пыльной и темной чайхане — в поле такая благодать.

— Ну, вставай, дружище, будем завтракать.

Рашид нехотя поднялся, натянул «вечный» спортивный шерстяной костюм, когда-то специально купленный для поездки на хлопок. Попытался зашнуровать старенькие кроссовки, но голова кружилась, и он сунул ноги в первые попавшиеся остроносые азиатские калоши, стоявшие рядом у нар, — удобная обувь в полевых условиях. Держась то за стену, то за стойки нар, вышел на улицу. Утро было ясное, солнце поднялось яркое, обещая теплый погожий день. Баходыра во дворе не оказалось, не было видно его ни у дровяного сарая, ни у сарая с углем, ни у кладовки с провиантом, обладал он таким даром — моментально исчезать и так же неожиданно появляться; фантастическая расторопность, ему бы другую службу — наверное, далеко бы пошел.

Водопровода в кишлаке не было, и жители пользовались водой из небольшой речушки — Кумышкан, что означает Серебрянка или Серебряная, хотя вода в ней желтая, илистая, и нелогично называть ее столь ласковым русским именем. Не прижилось название, хотя многие и пытались поначалу перекрестить реку, пока однажды озорная табельщица Соколова в досаде не выпалила: «Да какая же она Серебрянка — Хуанхэ настоящая!» И как в точку попала — стали речку называть на китайский лад.

К речке выходило двенадцать кишлачных улиц, и вдоль каждой из них тянулся из реки арык, из которого брали воду для питья, полива огородов — в общем, целая мини-ирригационная система с запорами, задвижками. На каждой улице свой мираб — человек, ответственный за состояние арыка: чтобы содержался в чистоте, не заливало огороды, не падал уровень. Протекал арык и мимо чайханы, неся свои мутные воды.

Рашид умылся арычной водой, отстоявшейся за ночь в оцинкованной бадье для кипячения белья, причесался, но бриться не стал — у него уже курчавилась заметная борода, на манер «кастровской», столь популярной у горожан-сборщиков. Утренняя процедура утомила его, и он присел на скамейку у арыка. Вдали, за кишлаком, длинной рваной цепочкой шли на дальние поля сборщики, и его молодое цепкое зрение, не ослабленное болезнью, видело далеко окрест, как такие же цепочки, из других улиц, тянулись на другие поля, в другие стороны.



Давлатов — сборщик со стажем, нынешний сезон у него двенадцатый, и из всей хлопковой страды он любил именно поздние погожие дни осени, когда поля уже убраны и остается малость, самые дальние карты. Он обычно замыкал цепочку товарищей и шел не спеша, всегда один, наедине со своими мыслями.

Думалось в утренние часы светло и приподнято, жизнь казалась удачной, и все впереди виделось ясно, как в прозрачном воздухе осени. И чем дальше приходилось идти на необрунные поля, тем радостнее становилось у него на душе. Цепочка растягивалась, распадалась на компании, группы, парочки; были и такие, что, как он, шагали в одиночку, но Рашид безошибочно интуитивно вымерял шаг и всегда шел последним, держа определенную дистанцию.

Нет, он не был молчуном, человеком скрытным, любящим уединение, наоборот, вокруг них с Баходыром на хлопке все и хороводились. На обед, с обеда, вечером с поля он никогда не возвращался один, но утренние часы, дальнюю утреннюю дорогу никогда не делил ни с кем, даже с Баходыром.

Сегодня воздух был особенно свеж, хрустально чист, так что вдаль четко обозначились контуры Чаткальского хребта, а ведь еще неделю назад смотри не смотри в сторону гор — даже самую высокую горную гряду не разглядеть. Кудесница-осень, словно подставив подзорную трубу, приблизила самые дальние дали.

— Думать должен здоровый человек, а больному мысли противоположены, безрадостными могут оказаться, — сказал Баходыр, неожиданно появившийся за спиной. — Идем завтракать...

И, бережно взяв товарища под руку, повел его к длинному столу, где еще недавно сидели сборщики.

— Лепешки... Горячие! — радостно воскликнул Рашид, и лицо его оживилось, посветлело.

— Со свежими сливками в самый раз, — ответил, улыбаясь, Баходыр и пододвинул к нему небольшую пиалу, наполненную каймаком — густыми домашними сливками.

«Так вот где он пропадал», — благодарно подумал Давлатов, представив, как обегал Баходыр соседние дворы, выбирая для него любимые лепешки.

— Спасибо, Баходыр... — сказал он и добавил шутя: — Рискуешь должностью, балуешь друзей в отсутствие бригады.

Но по глазам было видно, что он рад и лепешкам, и вниманию друга.

За завтраком они не засиделись — подкатила запыленная колхозная машина, и Баходыр с помощником уехали в райцентр за хлебом и продуктами для бригады.

Давлатов остался с Саматом, самым молодым из поваров, ему весной только в армию идти, он на кухне больше за истопника, водноноса, да и порядок во дворе за ним. Разница в десять с небольшим лет для Самата словно пропасть, разговор у них не клеился, да и дел у парня невпроворот, и Рашид остался за столом один.

Уходя, Самат услужливо, как старшему, заварил свежий чай в большом фарфоровом чайнике. Благо трехведерный титан, который они между собой называли самоваром — он и в самом деле работает по принципу самовара, — кипит едва ли не круглосуточно. Поставив чайник перед Рашидом, парень исчез в деревянном сарае, откуда сразу же раздались глухие удары колуна, тяжело идущего в вязкой, сыроватой лиственнице.

Хоть и хороши были горячие лепешки, да и чай из кипящего самовара с отстоявшейся водой из горной речки ароматен, аппетит не появился. Рашид нехотя вымазал из пиалы каймак кусочком лепешки, не ощущая привычного сладковатого вкуса.

Его взгляд упал в соседний двор, где на привязи стояла пегая корова. Глаза у нее были грустные, усталые, наверное, как у него, измученного болезнью. «Может, каймак от этой коровы, и она осуждает мое равнодушие?» — подумал Рашид и улыбнулся.

Корова лениво мотнула головой, повернулась к нему тощим задом в навозе и утробно тоскливо заревела.

И вдруг его пронзила неожиданная мысль, от которой он вздрогнул и опрокинул пиалу с чаем. Хорошо, что, пока Рашид разглядывал корову, чай успел остыть. Вздрогнул он не только от странной мысли, а скорее оттого, что мысль такая пришла в голову впервые, а ведь это у него не первая осень в узбекском кишлаке.

«Почему только сейчас я увидел это?» — спросил себя Давлатов.

«Взрослеешь», — сказал бы отец.

«Болен, оттого и маешься чепухой», — объяснил бы Баходыр.

Но ни первое, ни второе не было объяснением. Наверное, это похоже на эффект прозрачного воздуха осени, когда однажды ясно, как на ладони, предстает перед тобой Чаткальский хребет, который еще вчера, как ни напрягайся, не был виден. Так и сознание Рашида вдруг стало четко воспринимать картины, которые он и раньше наблюдал, но видел до поры лишь контуры, очертания, или смутно



ощущал что-то, а тут как будто наплыл крупный план, или, как в голографии, разглядел объемно и насквозь.

Он увидел, что в тех кишлаках, где ему приходилось бывать, коровы всегда на привязи, как собаки на цепи, с утра до вечера, изо дня в день. Да и то, отвяжи хоть на часок — потопчут небольшой огород, которым живет семья, объедят и обломают фруктовые деревья. А ведь он помнил, как просыпалось село в Оренбуржье, где он вырос: звенели подойники в каждом дворе, скрипели распахнутые настежь ворота, и из переулков, улочек выгоняли к окраине коров, где, пощелкивая длинным кнутом, уже поджидал их нанятый обществом пастух.

Не мог он забыть, и как возвращалось стадо, поднимая пыль в переулках, сыто мыча.

Коровы шли тяжело, враскорячку — мешало разбухшее от молока ведерное вымя, — на каждом перекрестке терлись о телеграфные столбы лоснящимися гладкими спинами — в поле, у реки одолевали их слепни. А здесь, в кишлаке, не было ни выгона, ни лугов, где можно накопить на зиму сена, оттого и привязана корова на цепи, да и такую не во всяком дворе встретишь. Кругом хлопок, поля да поля, ближние и дальние, каждый клочок отдан «белому золоту», в ином райкомовском палисаднике вместо цветов — хлопок. Но это уже, как говорится, от чрезмерного усердия — хлопок все-таки сподручнее выращивать на полях, чем в палисадниках, пусть даже и райкомовских.

Конечно, корова не олень, но тоже животное пастбищное, любит свободу передвижения, ей природой дано щипать травку на воле, выбирая, какая больше ко времени и по нутру. Привязанной на подворье, ей скармливают остатки со стола да ту малость зелени, что надергают детишки вдоль местной Хуанхэ и у края хлопковых карт — небогато и непривычно. А если прибавить к тому, что застоялась она в тесном дворе, того и гляди — обезножает, так удивительно, что вообще еще доится! И не странно, что хорошая коза в иных местах вполне может потягаться с такой коровой. Наверное, и у хозяев редких подворий, где имеется коровенка, душа болит за скотину, да что делать! Остается ждать лучших дней, когда обширные орошаемые поля вокруг кишлака станут поочередно, хоть один сезон, отдыхать от хлопчатника, вот тогда будет и выгон рядом, и поливные луга под люцерну, в три-четыре укуса за долгое азиатское лето, а сена хватит и для колхозного стада, если оно появится, и для личной буренушки. А пока из года в год десятки лет сеют хлопок по хлопку — и земля оказалась не в лучшем положении, чем корова на привязи.

«Не понравился каймак, а какой клубок мыслей размотался», — усмехнулся Давлатов и принялся неторопливо убирать со стола.

Внутри чайханы стоял полумрак, сырость и застойный воздух смешались за ночь. Самат еще не успел проветрить помещение, и Рашиду расхотелось в постель, хотя он ощущал слабость и полежать не мешало.

У котла валялась суковатая палка, и Рашид подумал, что она вполне заменит ему посох, совсем не лишней при его хворости. Он несколько укоротил ее, срезал ножом грубые сучки, и палка получилась — загляденье. Несмотря на возражения Самата, уже вынесшего для него чью-то раскладушку из красного уголка чайханы, где жили городские хлопкоробы, Давлатов побрел со двора к речке, с левого берега которой сразу начинались уже убранные хлопковые поля.

Ах, как хотелось Рашиду долго-долго шагать по укатанной хлопкоуборочными комбайнами и тяжелыми тракторными прицепами дороге, вдоль убранных и частью уже запаханных полей! По-весеннему пахло свежей землей, шумно и по-человечьи суетливо, смешавшись в стаю, кружились над первой осенней пашней воробьи, галки и серые прожорливые грачи, зимующие в этих краях, выискивая лакомых червячков, личинок, сладкие корешки и разную завязь, появившуюся за долгую теплую осень. И над всем стояла удивительная тишина, только далеко-далеко слышалось, как ритмично работала хлопкоочистительная установка да стрекотал трактор с прицепом, доставлявший на хирман¹ очередные тюки с хлопком. Но эти звуки растворялись в необъятном просторе, и их перекрывал журчащий сток желтой Серебрянки, — вот на слух она оказалась действительно серебряной.

Но как ни манили дорога и простор, Рашид понимал: силенок у него мало и даже с посохом сегодня далеко не уйти, и потому, оглядевшись, выбрал удобный взгорок, после осенних дождей покрывшийся мелкой изумрудно-зеленой травой — густой, растущей обычно в местах влажных, укрытых от зноя. Здесь он бросил посох, расстелил казенную телогрейку и присел, оставив в сторону азиатские калоши.

По-детски обхватив колени, Рашид заворуженно глядел на незатейливый пейзаж вокруг, и странно: лишенный щедрой российской окраски, а главное — разнообразия, он, тем не менее, манил, притягивал взор. Насколько хватало взгляда, по обоим низким берегам

¹ Х и р м а н — пункт приема хлопка.



Кумышкана росла мощная приземистая шелковица, или, как ее здесь называют, тутовник. По весне она бывает усыпана ягодами, смахивающими на ежевику, но сладкими и вязкими на вкус. Издали шелковица походила на ощипанный одуванчик, верхушка щетинилась шаром, во все концы отросшими с весны новыми ветвями-побегами.

Пожалуй, уродливый на первый взгляд тутовник и есть истинный символ Средней Азии, а не чинара, воспетая поэтами и разжированная художниками. Тутовник растет не только в каждом кишлаке, но и во всех городах, и по весне, когда распустит ветви и его листья нальются свежими соками, начинается сезон шелкопряда. Кормят прожорливых личинок листьями тутовника, обрубая с дерева целые ветки. Оттого редкому дереву удается пойти в рост. На приезжих туристов, впервые видящих обезглавленные деревья, они производят тягостное впечатление, но в природе всему есть свое предназначение, и с годами в мужественной корявости тутовника проступает своя красота.

Растет тутовник вдоль арыков, далеко уходящих в поле, и среди деревьев нет ни одного пошедшего в рост, потому что тутовником по весне выкармливают шелкопряда почти в каждом доме, в самой светлой и теплой комнате.

От Кумышкана тянулись на поля широкие поливные арыки, от которых ответвлялись аккуратные ручейки, теперь, по осени, усохшие, разбитые комбайнами, — какая гигантская ручная работа пропала! На тысячах необъятных гектарах поливается каждая грядка, каждый куст хлопчатника, и все это вручную, с кетменем — своего рода азиатской мотыгой, да не один раз за сезон. А поля попадают ох, какие трудные: воду и на пригорки приходится поднимать, и в ложбинки опускать, — истинно ювелирным мастерством обладают местные дехкане.

Взгляд Рашида скользнул по убранным полям и уперся в Чаткальский хребет; он хорошо видел заснеженные отроги, пики гряды слюдисто поблескивали льдом. Когда на них смотришь, кажется, что и сюда долетает холод с далеких гор. Видел он и темные пятна леса на снежных склонах, и голые отвесные скалы, бурыми мазками рассекающие лес, и заснеженные поля на альпийских лугах.

Краски зимы, леса, гор и клубящихся над ними низких густых облаков смутно напоминали картины, которые Рашид когда-то видел в музеях и книгах. Но не пришла на память ни одна конкретная картина, ни одно имя художника, и ему вдруг стало стыдно: как же

так — дипломированный инженер, человек с высшим образованием, двенадцать лет живет в столице, и такое слабое знание живописи?

Солнце пригревало все сильнее, и было видно, как над вспахан-ными полями, теми, что вдали, стелется низкой поземкой пар, исходящий от влажной земли, приготовленной под новый урожай. Многие участки еще не были очищены от гузапай, голые кусты, многократно обработанные дефолиантами для машинного сбора, потеряли цвет и стояли ссохшиеся, почерневшие, словно опаленные пожаром; над ними не летало даже воронье — птица точно чувствует отраву, витающую над полями, живущую в безжизненных стеблях, пригодных теперь лишь на растопку.

Вдали среди полей, убранных и неубранных, вспаханных и не-вспаханных, встречались, радуя глаз, зеленые островки — несколько буйно разросшихся орешин или дубов, но чаще раскидистые ветлы, на первый взгляд необычные в жарком краю и отличающиеся особой живучестью.

Рядом — крытые шифером навесы с айванами для отдыха, а иногда стоит там и неказистый глиняный домишко о двух-трех крошечных комнатенках. Это шипан — что-то наподобие полевого стана, где бригада хранит инструмент, необходимый скарб и пере-жидаает знойные часы, когда даже в тени температура поднимается далеко за сорок.

Но среди убранных полей, покинутых давно и комбайнами, и сборщиками-горожанами, которым вот-вот подойдет черед уборки гузапай и пахоты, мелькнет вдруг диковинный куст, щедро усы-панный четко раскрытыми крупными коробочками хлопка, иногда и не один, а несколько — целый островок среди почерневших без-брежных кустов. Вот так, выстояв от напастей и невзгод, расцвели они в положенный природой срок. Красиво постороннему и безучаст-ному взгляду видеть белоснежный островок или яркий куст, запозда-ло расцветший среди пустых полей, да совсем иное настроение у кол-хозных бригадиров при виде такой картины — им не до веселья.

Рашиду припомнилась осень прошлого года, когда со всех три-бун призывали беречь каждый грамм хлопка, не оставлять в поле ни единой коробочки. Спустили сверху такую директиву, а на местах наиболее ретивые из власть имущих поняли ее буквально. Кампания велась столь широко, что в ней потонула сама идея конечного резуль-тата,— все силы были брошены на граммы, на коробочки, которые не дай Бог останутся на поле.



Работали они в этом же районе, только жили в другом кишлаке, занимали почти до середины декабря сельскую школу.

Новые кампании рождают новые идеи и обрастают деталями на местах — ведь всякому чиновнику хочется показать, что и он не лыком шит,— а главное, они плодят новые должности. Вот и появились при райкомах или при штабах уполномоченные по приемке убранных полей.

Определили их той осенью в самую передовую в колхозе бригаду, к Салиху-ака. В войну десятилетним мальчишкой он пришел на хлопковое поле и до сих пор топтал его. Салих-ака знал каждую ложбинку, каждый взгорок или низину на своих необъятных полях. Любая карта, арык, шипан, одинокое дерево, состарившийся тутовник и даже матерый орел, лет десять прилетавший из предгорий в самую середину саратана¹ и облюбовавший арчу на дальнем полевом стане, не были для него безымянными. Он никогда и никуда не выезжал, не был даже в Ташкенте, до которого по нынешним автострадам на хорошей скорости всего четыре часа езды. «А как же поля?.. Работа?..» — отвечал он растерянно на недоуменные вопросы ребят.

Трудно было понять им, молодым, что вся его жизнь отдана полю, начинающемуся за Кумышканом и заканчивающемуся старым шипаном, построенным еще до войны, где росла арча Мавлюды, первой председательницы колхоза, та самая арча, которую всегда навещал в саратан могучий орел. Здесь, на поле, он впервые увидел и свою черноглазую Айгуль, увидел не с сияющей улыбкой на устах у расцветшего куста, как любят показать сборщиц в кинохронике или на картине, а согнувшейся под огромным тюком хлопка, что тащила она на хирман. И здесь, уже на шипане Палвана Искандера, когда стояла весна и хлопчатник пошел в рост, и душили его сорняки,— она впервые улыбнулась ему. Как много стоила девичья улыбка в годы его молодости — она значила больше письма, обещания и всяких других красивых слов!

Прошли годы, сменилось в полях не одно поколение людей с кетменем, и так же естественно, как называет народ арчу именем Мавлюды и никогда не путает ее с другой, похожей на нее как сестра,— так и самый широкий и глубокий арык, ведущий от Кумышкана на поля,

¹ С а р а т а н — четвертый месяц мусульманского солнечного года, соответствует периоду от 22 июня до 21 июля, самое жаркое время года.

стали называть в округе арыком Салиха-ака, а тутовник, что ровными рядами высажен по обеим сторонам арыка, — его тутовником.

Сюда же со второго класса приходили с фартуками и кетменями его дети, один за другим, все десять, мальчики и девочки, тоже связавшие судьбу с отцовским полем, с хлопком. Теперь уже их дети, внуки Салиха-ака, каждую осень тоже пропадают здесь, правда, судьба их будет, наверное, связана не только с дедовским полем и арыком, — так, по крайней мере, думал сам Салих-ака.

Так вот, у Салиха-ака, в чьей бригаде они работали, не заладились отношения с уполномоченным по приемке полей, неким Максудовым, человеком неопределенного возраста. Из-за малого роста тот старался держаться неестественно прямо, запрокидывал лысеющую голову назад, что придавало ему надменный вид и провинциальную важность. Нелепость его несколько заплывшей фигуре придавала и сшитая на заказ в одном из расплодившихся салонов щегольская обувь на невероятно высоком каблуке. И когда приходилось разговаривать с ним, вдруг начинало казаться, что стоит он на цыпочках. Уже сгущались тучи над головой бригадира, и расстался бы он наверняка с должностью, в которой пребывал тридцать лет, если бы не нашел неожиданную поддержку у горожан...

Рашид, сборщик со стажем, застал времена, когда хлопкоуборочные комбайны были новинкой, один-два на редкий колхоз. «Голубые корабли», как сразу нарекли их щедрые на восторженные эпитеты журналисты, облегчив труд сборщиков, или, вернее, сократив его, начисто лишили уборку привычной привлекательности. Да-да, именно привлекательности.

Разве не было прелести в косье — работе трудоемкой, требующей и сноровки, и силы? А сколько стихов, песен, частушек, прибауток посвятили ей и народ, и именитые поэты!

Так и на хлопковом поле. Раньше горожанин выходил на сбор и видел перед собой поле, от которого дух захватывало, — кругом белым-бело, как после хорошего снегопада, одна грядка казалась щедрее другой, каждый куст тянулся к утреннему солнцу раскрытыми коробочками, а над полем витал запах свежести, потому что куст стоял зеленый, с яркими сочными листьями. И земля почти до самого обеда хранила приятную влажность, так как густые кусты с обильной листвой не пропускали солнечные лучи. Над полем порхали бабочки, щебетали птицы. Легко дышалось и работалось поутру. Обилие хлопка, красота неоглядных просторов



воодушевляли сборщиков, заставляли забыть о ноющей спине или порезах на руках.

С приходом машин труд сборщиков резко изменился. Поля стали готовить под уборку комбайнами, а для этого надо было лишить хлопковый куст обильной листвы. Неоглядные поля теперь не раз и не два обрабатывают с самолетов ядовитыми дефолиантами, от которых листья темнеют, сворачиваются и опадают. Появились машины — появился и план машинной сборки, за который с колхозов строго спрашивается, и, чтобы не упала производительность, на поля вперед комбайна сборщиков не пускают, хотя хлопок ручного сбора отличается от собранного машинами, как небо от земли.

Так люди постарше могут легко сравнить грузинский чай ручного сбора, что они когда-то пили, с нынешним, собранным наиболее передовым, прогрессивным и интенсивным методом, то есть машинами. Подбор после комбайна и есть теперь основная работа горожан. Случается, собирают и вручную, но все меньше и меньше. Курс, как говорится, взят правильный — освободиться от малопродуктивного ручного труда. Курс-то верный, и по отчетам более шестидесяти процентов урожая убирается машинами, но отчего-то год от года все больше и больше горожан вывозится на хлопок, а сроки пребывания их на селе непомерно затягиваются. Школьники и студенты садятся за парты аж к Новому году и учатся потом по какой-то «интенсивной технологии».

А поле после хлопкового комбайна выглядит так, что табельщица Соколова, впервые его увидев, в сердцах воскликнула: «Словно Мамай прошел!» Машина, хотя уже появились и пятая, и шестая модификации, далека от совершенства: рвет волокно, забирает в бункер оставшиеся листья, тонкие стебли, тянет всякую пыль, грязь, паутину, столь обильную на осенних полях в погожие дни, мертвых жучков и других насекомых, погибших от дефолиации. Оттого-то стерильно белый, прямо-таки аптечный хлопок ручной сборки и трудно сравнить с тем, что вываливается из бункера машины.

Но все это было бы еще полбеды — на хлопковых заводах очистят его умные машины, — если бы не оставляли комбайны за собой огрехи, и вполне ощутимые. В общем, горожанам после комбайна надо все начинать сначала. Правда, как они же шутят — набегают лишь одни километры, а с килограммами не густо: за килограммы получает механизатор.

На таких ощипках много не заработаешь, а оплата труда прежняя, хотя условия работы изменились существенно. Теперь приходится

собирать не с кустов, а больше с грядок; сухая земля прогревается быстро, и над полем постоянно висит тонкая пыль, взбитая машинами; наиболее чуткие, особенно женщины, ощущают запах дефолиантов, который в низинах держится долго. Мертвая тишина над отравленным полем тоже не радует, о бабочках и стрекозах и речи нет — они погибли сразу в первые годы массивированной дефолиации с воздуха, а уцелевшие птицы далеко облетают поля машинной уборки.

Говорить о деньгах, заработках с чьей-то «легкой руки» нынче стало дурным тоном. А ведь раньше с хлопка возвращались еще и с деньгами, даже при оплате в три, а позже пять копеек за килограмм. Теперь сборщик едва окупает свое скромное пропитание, не превышающее рубля в день. О каком интересе или производительности может идти речь?

Да бог с ними, с деньгами,— сохраняется заработок на основной работе. Но даже собери шефы в своем районе все до единой коробочки, подмети под метелочку поля — пока не закончится хлопковая кампания и не будет единой команды, никто не может вернуться в город. Можно целый месяц без дела прозябать в протекающих коровниках, а колхоз день ото дня будет урезать и без того скудный паек. Если бы колхозы возмещали хотя бы часть фонда заработной платы предприятиям, не просили бы они столько горожан и не держали на голых полях людей до белых мух.

Познания свои о хлопке Рашид почерпнул из общения с Салихом-ака. Его поля в колхозе самые ровные, спланированные, и оттого хлопкоуборочные комбайны посылали к нему в первую очередь.

А тут как раз и вступило в силу новшество — сдавать убранные поля уполномоченному. Рядом, осыпаясь, белели нетронутые кусты с созревшим урожаем, стояли погожие дни — только работай, а ступить на соседние карты нельзя. До ночи копошились люди на поле, разьеженном комбайнами, собирали ошипки, рваное волокно, все, что белеет и может вызвать неудовольствие уполномоченного,— готовили поле к утренней сдаче. Всей бригадой в такие дни сдавали килограммов восемьдесят сорного хлопка, а пусти на соседнее поле одну Дильбар Садыкову, та с улыбкой выдаст к вечеру двести — на хороших полях она меньше не собирала. Но нельзя — Салих-ака законы и порядки уважает.

Однако вечером в штабе уборки с него спросят не только за чистоту полей, но и план в килограммах потребуют. Вот и получается заколдованный круг: пойдешь туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что.



А утром, к приезду приемщика, на вылизанных с вечера полях то в одном, то в другом месте как назло дружно распускались новые коробочки хлопка — хоть плачь! Уполномоченный и слушать Салиха-ака не желал, хлопал дверцей «Волги» — и только его и видели. Салих-ака в своих разношенных брезентовых сапогах и выгоревшем до белесости пиджаке рядом с щеголеватым райкомовцем, выбритым и при галстуке, казался таким беззащитным, что горожанам становилось его искренне жаль. Они чувствовали, как обидно Салиху-ака, как кипит у него на душе от казенщины и бюрократизма, но давний крестьянский страх перед всяким чиновником, начальником — есть тут и чисто восточное, неодолимое раболепие перед властью имущим, — парализует его волю, и старик не решается сказать, что думает о такой нелепости, и оттого еще больше стыдно ему перед ребятами.

В иные дни машина Максудова появлялась неожиданно и с другого конца поля. Салих-ака, завидя белую «Волгу», бежал напрямик, спотыкаясь, махая рукой и что-то крича. Уполномоченный, выйдя из машины, предусмотрительно выбирал самый высокий пригорок на краю поля и стоял, словно не замечая и не слыша бригадира. Взгляд его, задумчивый и отрешенный, наверное, видел лишь вершину Чаткальского хребта. На картинно запрокинутой голове слабый утренний ветерок шевелил оставшиеся лишь на затылке волосы, ссылая обильную перхоть на дорогой, но мешковатый светлый костюм, маленькие пухлые ручки были величественно сложены на жирной груди. Озирая окрестность, он, возможно, думал: «Вот они, мои поля!» — и от величия в собственных глазах и простора, открывавшегося перед ним, ему и в самом деле казалось, что это он сеет и убирает все вокруг. Недовольный, он оглядывал поле, на котором почти всегда что-то было не так в свете требований сегодняшнего дня, садился в теплую машину и уезжал, и это означало, что с бережным отношением к граммам и коробочкам на данном поле не все в порядке.

А Салих-ака, ломая кусты, продолжал свой бег: ему не верилось, что коротышка не видел его. «Ведь я не полевая мышь или тварь какая, которую издали не разглядишь, — думал он, но тут же отбрасывал эту мысль. — Наверное, у него более важные дела или совещание какое в райкоме», — оправдывал он Максудова.

Машина вдруг останавливалась, и Салих-ака прибавлял шаг, хотя ему это было не просто — он заметно припадал на левую ногу, — но душа его ликовала: «Конечно, конечно, он меня увидел,

действительно, не букашка ведь я, и меня должно быть видно издали, да и гузапая мне здесь лишь по пояс».

До машины было еще далеко, и силы его иссякали; ему казалось, что автомобиль сейчас даст задний ход или развернется и пойдет ему навстречу. Но машина стояла некоторое время и вдруг резко срывалась с места — ее заносило на поле — и, сминая крайние кусты, уходила вперед, набирая и набирая ход.

И бригадир, обескураженный, обиженный тем, что не подождали его — не мог он бежать быстрее: и годы не те, и поле не гаревая дорожка — медленно брел к тому месту, где дожидалась машина. А дойдя, обнаруживал, что машина-то всего-навсего застряла в грязи, следы буксовки налицо. Салих-ака вытирал намокший лоб и бессильно опускался на грядку среди обожженных дефолиантами кустов.

Видя, как мучается Салих-ака, будучи не в силах что-либо здесь изменить, Рашид как-то предложил ребятам «попартизанить» на соседних полях, чтобы и бригадир с дневным планом справлялся, да и самим, в конце концов, не хотелось остаться должниками колхозу. Идею дружно поддержали. Определили в «партизаны» самых сноровистых сборщиков под началом Дильбар, выделили им в помощь «связных» — ребят, что должны тайно перетаскивать собранный «нелегально» хлопок, и работа закипела. На второй же день Салих-ака понял хитрость и попытался пресечь их самодеятельность, но был обескуражен вопросом Рашида: мы что, наносим вред больше уполномоченного из райкома? Вконец измотанный бригадир махнул рукой и стал чаще отлучаться с поля — благо дел у него всегда хватало.

Но лысеющий щеголь Максудов однажды так же неожиданно исчез, как и появился, потому что зарядили дожди и надо было спасти урожай, а не ощипки. Сиротливо мокли громадные транспаранты «Соберем до единой коробочки!», «Ни грамма потерь «белого золота»!», развешанные на каждом перекрестке кишлачных улиц, на зданиях школы, почты, магазина, керосинной лавки, не говоря уже о правлении колхоза, залепленного сплошь призывами; мокли они и на каждом полевом стане. А дождь щедро поливал эти призывы, словно издеваясь над людьми...

...Рашид очнулся от воспоминаний, поднял голову. Яркое солнце стояло высоко, но лучи были уже по-осеннему мягкими, не испепеляли жаром все вокруг. Это не лето, когда от пятидесятиградусного пекла изо дня в день кажется, что вспыхнут вдруг неоглядные поля, как горят леса в горах или зеленая тайга. Но хлопок с его горячей



гузапаей любит солнцепек, именно в саратан он особенно идет в рост и начинается завязь коробочек.

Рашид повернул к ласковому солнцу осунувшееся лицо и растегнул «молнию» спортивной фуфайки — благодать! Взгляд его оторвался от земли — над полем в высоком голубом безоблачном небе два крошечных реактивных истребителя расписывали небесный свод длинными шлейфами отработанных газов.

Шлейфы держатся долго и, распадаясь, напоминают легкие перистые облака. Самолеты летают так высоко, что картина беззвучна, как в немом кино, видно лишь движение, да и то скрашенное многими километрами, необычайно замедленное, а ведь летают сверхзвуковые машины.

«Ну и просторы, расстояния, скорости! — невольно восхитился Рашид, по-мальчишески завидуя летчикам, наверняка своим ровесникам. — И почему я не пошел в летное училище в Оренбурге, которое окончили Гагарин и Чкалов? Ведь сколько одноклассников летают на сверхзвуковых! Небось летчиков на хлопок не гоняют...»

Давняя мысль больно ранила сердце. Чтобы не беречь душу, он перевел взгляд с неба на поле, и, будто отвлекая его, с чинары на берегу Кумышкана сорвался орел, словно раззадоренный пируэтными реактивными самолетами. Высоко взлетев, орел стал парить над полем, высматривая бездомных полевых мышей, чьи норы и ходы запаханы мощным «кировцем».

Давлатов, щурясь от солнца, вглядывался в парящую птицу. Ему хотелось увидеть старого орла, прилетавшего в саратан из предгорий на арчу Мавлюды. Но этот явно чужак — и размах крыльев невелик, и телом не крепок, скорее всего — степняк, залетевший из Джизакских долин. Да разве стал бы могучий горный орел охотиться на полевую мышь? И Рашид потерял интерес к птице, кружившей над свежевспаханым полем.

Сборщики ушли далеко, до шипана Палвана Искандера, к границам полей, где они собирали хлопок в прошлом году.

«Наверное, встретятся ребята с Салихом-ака, — подумал с завистью Давлатов и пожалел, что болен и не увидит старика. — Вот выздоровею и обязательно схожу с Баходыром в гости к Салиху-ака», — решил он.

Ему не хотелось обратно в кишлак: до обеда еще далеко, Баходыр не вернулся из райцентра; в окна чайханы заглядывает лишь полсеобеденное солнце, и сейчас там темно и сыро, а с Саматом ему

попросту не о чем говорить. Телогрейку приятно разогрело солнышком, и Рашид лег ничком на землю, недолго ощущая приятное тепло, как от вчерашней грелки, отчего рези в животе на время стихли. Кругозор в таком положении резко сузился: подняв голову, он увидел перед собой лишь часть арыка, густо поросшего камышом, как на реке, а на другой стороне его — корявый тутовник, настолько ссохшийся, что он казался мертвым. Но Рашид знал, что это вовсе не так: затаилась до поры до времени жизнь в дереве и попусту сил не тратит.

«Вот так бы и нам, людям, не растрчивать силы по пустякам, не выставляться по поводу и без повода, а цвести в нужный час, отдавая энергию главному, — подумал он, поражаясь силе и разуму природы. — Редкая минута наедине с самим собой, удивительное состояние покоя души, какая слитная гармония с природой... И предоставила этот душевный комфорт нелепая болезнь», — иронизировал над собой Рашид, но мысль никак не выстраивалась в стройный философский ряд: болезнь — благо, покой — от немощи, гармония — от неусетного созерцания.

И как Чаткальский хребет в ясную погоду, открылась ему скудость собственного образования, — даже порассуждать наедине с самим собой не удастся толком, пусть и ошибаясь в чем-то. Ведь сколько создано умных трактатов о бытии, сколько философских учений, то теряясь, то возрождаясь то в одном, то в другом столетии, будоражили мысль человечества, с поразительной точностью на века предугадывая природу человека. А что он? Прикоснулся ли к этому источнику, заглядывал ли в кладезь мудрости великих мыслителей, почерпнул ли хоть ковшик из бездонной сокровищницы? Конечно, как всякий человек с высшим образованием, он мог назвать десяток имен философов, вспомнить две-три философские школы, имена которых стали нарицательными, но все это всеуе, а вот что стоит за этими именами? Темнота, мрак, урывочное знание. Стыдно признаться, но...

«А ведь мне уже за тридцать! — с горечью подумал Давлатов. — А я темный человек. Попади вдруг волей фантастики в век восемнадцатый или даже девятнадцатый, какой прок от того, что я человек конца века двадцатого? Сигарета у меня в зубах от века да кроссовки на литой подошве, вот и все».

От этого неприятного открытия ему стало обидно, хоть плачь. Он положил давно не мытую заросшую голову на пропахшую дымом и потом телогрейку, и гармония, единство с природой вмиг пропали.



Хотелось думать о чем-то хорошем, давнем, когда вся жизнь, казалось, еще впереди: о доме, счастливом отрочестве. Но не думалось, и картины давней беспечальной жизни не возвращались, сколько ни напрягайся, наплывали мысли вялые, разрозненные, болезненные, суетные. От остывавшего за ночь Кумышкана и обмелевшего за лето арыка на пригорке тянуло свежестью, пахло зеленью, вновь пробившейся из-за обманчиво долгой и жаркой осени, тепло и уютно было на разогретой телогрейке. Отяжелевшие веки сами закрылись, и Рашид не заметил, как задремал...

То ли снилась, то ли вспоминалась ему в полудреме давняя осень в тот год, когда он получил диплом и попал в отдел комплектации, где работает по сей день. Тогда он и с Баходыром познакомился, и сколотилась у них компания. Давлатов до сих пор помнил и Генку Кочкова, и Фатхулла Мусаева, и Марика Розенбаума, и Ромку Рахимбекова, уже давно ушедших от них на другие предприятия. Редко видит их теперь Рашид, хотя и живут в одном городе. Остались от той молодой бесшабашной компании они вдвоем с Баходыром, нет-нет да вспомнят иногда, какие вольные времена были у них на хлопке.

Давний сезон запомнился Давлатову не только потому, что он был тогда молод и осень выдалась чудесная, очень похожая на нынешнюю, не потому, что слева от них стояли на постое студентки пединститута, а справа — из медицинского, и скучать им не приходилось, а потому, что никогда больше он не ощущал такого душевного подъема, радости труда на сборе хлопка.

Выделили им в ту осень тоже чайхану, одну из двух в большом кишлаке, но места в ней всем не хватало, и их компанию определили на частное подворье через дорогу.

Хозяйство оказалось крепким, с большим хорошо спланированным и ухоженным огородом, на задворках которого начинался сад, спускавшийся к запущенному оврагу. Во дворе собственная водонасосная колонка на электричестве, летняя душевая, и всем этим великодушные владельцы разрешили пользоваться приезжим без мелочной опеки. Для них же с утра до вечера кипел во дворе большой самовар.

А какой поднялся в том году хлопок! Или ему теперь так кажется? Ведь в последние годы он и хлопка-то толком не видит — одни расхристанные после комбайнов поля; приезжают горожане на уборку, когда дефолиация закончена и хлопчатник стоит уже опаленный, роняющий пожухлую листву на обнажившиеся ссохшиеся грядки. Такой куст Рашид как-то сравнил с остриженным бараном, всегда

вызывающим жалость и недоумение. А той давней осенью поля стояли во всей красе — ярко-зеленые, кусты были густо усыпаны белыми раскрывшимися коробочками, словно окутаны снежной пеленой.

Тогда Дильбар Садыкова еще училась у себя в Намангане, в политехническом, и, наверное, тоже слыла сборщицей-рекордсменкой — Рашид краем уха слышал, что получала она персональную стипендию, а зная Дильбар, трудно было представить, что удостоилась бы она ее за выдающуюся учебу.

Рекордсменом, лидером того сезона оказался их приятель Фатхулла Мусаев, медлительный в обыденной жизни молодой парень, получивший на хлопке кличку «Метеор», которая никак не приживалась в городе. Рекорды Фатхуллы вызывали у начальства, иногда навещавшего своих хлопкоробов, полное недоумение. «Ты бы у меня в тресте так работал — давно бы начальником отдела стал», — добродушно подшучивал управляющий, удивляясь, что Мусаев меньше двухсот килограммов в день не собирает.

Дух соревнования рождается вместе с человеком, и там, где есть условия работы, он возникает непременно. Смешно теперь представить, что они, возвращаясь с поля или за ужином, говорили: «Вот завтра обязательно соберем полтонны хлопка», или еще какую нелепицу, которая встречается в газетах, например, «о добровольном почине горожан и студентов, отправившихся на битву за высокий урожай». Сколько же можно биться? Добровольная и бескорыстная помощь? Да, это в нас заложено, это редчайший кладезь души советского человека, но черпать из этого кладезя нужно осторожно и только при необходимости, а не запланированно, ежегодно и сколько захочется.

Нет, ни о чем таком они никогда не говорили, однако в первой десятке лучших сборщиков, традиционно называвшихся вечером при подведении итогов, отмечались всегда все пятеро, а уж первые три строки списка твердо занимали ребята из их компании. Только Рашиду и Марику не удавалось застолбить себе какое-нибудь высокое место, но в десятку и они входили.

Никто их не подгонял, никто не устанавливал нормы, хотя с первых дней сам собой определяется средний уровень, ниже которого уважающему себя человеку собирать не к лицу. А они были молоды, азартны и, честно говоря, имели некий интерес.

Дело в том, что в день отъезда на хлопок прямо перед посадкой в автобусы получили они шальную премию — за давний ввод какого-то крупного объекта. Премия оказалась так велика, что выдали



ее даже тем, кто в тресте работал недавно и не имел к ней никакого отношения — поощрили как бы авансом за предстоящий «ратный» подвиг на колхозных полях.

В первый же день выхода в поле Баходыр в конце дня неожиданно исчез. Возвращаясь в сумерках, друзья недоумевали, куда он мог подеваться и какие такие у него секреты от компании. Никто ничего вразумительного сказать не мог, только весовщик ответил, что в пять часов Баходыр сдал на хирман последний фартук с хлопком и свои сто пятьдесят четыре килограмма — третий результат.

Конечно же, зная Баходыра, они могли ожидать, что он выкинет что-нибудь такое, но, сколько ни гадали, к общему мнению не пришли. В конце концов решили, что метнулся их дружок на соседние поля к медичкам, помочь какой-нибудь ясноглазой, для которой и тридцать килограммов собрать — непосильная задача. Каково же было удивление усталых и грязных ребят, когда во дворе они наткнулись на благоухавшего «Шипром» свежевыбритого Баходыра.

— Ну, ты и наглец! — выпалил с притворным возмущением Фатхулла. — Что ты себе позволяешь? Собрал несчастные сто пятьдесят четыре кэгэ — и деру? Вот Генка собрал сто восемьдесят два, и ничего, скромно держится, со всеми до звезд на поле!

Он хотел было растрепать аккуратную прическу Баходыра, но тот увернулся и, воздев руки, в тон ему ответил:

— Неблагодарные! «Гарун бежал быстрее лани...» Помните школьную хрестоматию? Так и я мчался быстрее и лани, и Гаруна, хотел порадовать вас, передовых тружеников полей, пловом, чтобы не опоздали на танцы. А вы — обзывать и унижать мои кровные сто пятьдесят четыре килограмма? О времена, о нравы!

И тут только ребята почувствовали, как чудесно пахнет во дворе пловом, а на айване, что вчера они сколотили с хозяином возле новой пристройки, накрыт дастархан, уже приготовлены салат ачик-чучук, зелень, свежие лепешки, стоят чайники, а рядом кипит самовар.

— Ну, это несколько меняет дело и, возможно, облегчит твою печальную участь. И все-таки твоя судьба зависит от качества плова, — великодушно заключил Фатхулла. — Мужики, всем срочно мыться и за стол!

Ребята кинулись кто в душевую, кто к колонке, а Фатхулла, взяв Баходыра под руку, направился к kazanу, расспрашивая, не забыл ли он барбарис, положил ли чеснок, красный ли рис «девзира» купил на базаре, на курдючном ли сале плов и где добыл мясо. Все знали,

что на трестовских застольях и пикниках, столь частых в те годы, плов всегда готовил Фатхулла, и поговорить о кулинарных секретах было его слабостью.

Плов нахваливали все, даже привередливый Фатхулла, и Баходыр, посаженный на почетное место за дастарханом, сиял. Он смаковал зеленый чай, который ему услужливо подавал Рашид, оказавшийся в компании моложе всех, да и сидел с краю, и на нем лежала обязанность бегать к самовару с быстро пустевшими чайниками. Конечно, в их молодой компании, где самая большая разница в возрасте составляла полтора года, о старшинстве можно было говорить лишь с улыбкой, но таковы уж традиции края, и Фатхулла, притворно сочувствуя Рашиду, каждый раз, отдавая пустой чайник, разводил руками:

— Судьба, брат Давлатов, судьба, все мы выросли на побегушках...

На что Давлатов незлобно отвечал, вроде смиряясь со своей участью:

— Лучше быть собакой у казахов, чем младшим у узбеков.

Так сидели они, перебрасываясь шутками, и за столом царила дружеская атмосфера мальчишников.

— Как же тебе такая гениальная идея на ум пришла? — спросил Кочков Баходыра.

— Покаюсь, братцы: деньги, деньги не давали покоя.

У всех удивленно вытянулись лица.

— Да-да, деньги. Попрятали свои премии подальше и теперь удивляетесь,— продолжил после умело выдержанной паузы Баходыр.— А я вот думал, что бы такое сообразить, ну, зуд у меня, когда деньги заведутся,— и вдруг осенило!

Тут же отнес последний фартук на хирман — и огородами, огородами с поля. А не то плакал бы твой рекорд сегодня, Фатхулла, так что вдвойне радуйся моей идее. Честно говоря, не в плове дело... Настроение сегодня хорошее, хотелось приятное сделать если не всему человечеству, так хотя бы вам. Разузнал быстренько у хозяев, что к чему, и на велике смотался в чайхану, что на другом конце кишлака,— только там у них продается мясо. Приезжаю — висит на крюке огромная туша, а курдюк отдельно на столе лежит, килограммов на двадцать! Ну, картина, скажу вам, чистый натюрморт: баранья туша, весы, курдюк, острый, как бритва, мясницкий нож, черный брусок. И где только глаза у наших художников? Жаль, не умею рисовать, а то бы я не меньше Хальса с его знаменитыми натюрмортами прославился...



Баходыр, снова выдержав паузу, оглядел заинтересованно слушавших друзей.

— ...И знаете, какая новая идея меня осенила, пока плов готовил? А что, если нам подналечь на хлопок в первой половине дня, по-стахановски, никаких перекуров, получасовых философских бесед и раздумий, задержек на хирмане с целью пообщаться с прекрасной половиной человечества...

Ребята слушали внимательно, не понимая, куда он клонит.

— ...К чему я это говорю? Помните русскую поговорку: «Сделал дело — гуляй смело»? Мне она очень нравится. Если мы собираем больше нормы, больше всех, зачем нам быть на поле до звезд, можно и пораньше уйти. Часам к пяти, например, вернуться с поля, умыться не спеша, прибраться по дому, написать письма, да мало ли дел у молодого человека? Про ужин, как сегодня, я уже молчу...

Тут вмешался в разговор Фатхулла — наступили на любимую мозоль:

— Из такой баранины не только плов, но и шашлык, и шурпу, и машхурду приготовить можно!

— Ну, ребята, это же не жизнь, а курорт, да и только! — расхохотался довольный Марик.

Сказано — сделано, молодость или решительно принимает, или отвергает, и уж если приняла идею, то отдается ей до конца.

На другой день Фатхулла, которому не терпелось лишний раз доказать, что плов он все-таки готовит лучше, к четырем часам сдал свои двести килограммов и, издали помахав ребятам рукой, напрямик, не таясь, пошел с поля. После пяти — правда, не так демонстративно, — ушли с поля и остальные, предварительно заглянув в тетрадку весовщика на хирмане.

Пока Фатхулла, никого не подпуская к котлу, готовил плов, ребята помогали хозяевам в огороде, набрав и для себя свежей зелени, овощей и фруктов, а Марик успел починить барахливший насос колонки, чем очень обрадовал хозяйку. Вечером, довольные собой, уселись ужинать, отмечая в себе неожиданное желание украшать свой скромный хлопковый быт. Кочков, смущаясь, принес в комнату букет полевых цветов, приспособив под вазу трехлитровую банку из-под томатного сока, а на столе забелели салфетки — наверное, чья-то заботливая мать уложила с вещами, появившись они до сегодняшнего дня — показались бы нелепостью, еще и осмеяли бы.

И побежали чередой хлопковые дни. Работа не казалась в тягость, потому что были у них вечера, когда они, помывшись, побрившись, не по-хлопковому аккуратные, выходили пройтись по поселку, а в кишлаке их уже знали: добрая молва не сбоку от человека идет. Дней через пять кто-то пожаловался начальству, что мусаевская компания самовольно уходит с поля раньше времени. Руководил хлопкоробами главный механик треста Фролов; ему едва за тридцать перевалило, но он уже второй год избирался парторгом. Он и спросил у жалобщиков: ребята что, воруют хлопок с хирмана, мухлюют, путая весовщика, сдают один фартук трижды, как некоторые, или собирают меньше всех? И на ответное молчание во всеулышание объявил: чей сбор на двадцать килограммов будет превышать средний, тот может уйти с поля в любое время.

Конечно, время от времени появлялись желающие получить лишний свободный часик-другой, но нечасто, — так сам собой узаконился их режим. И потекла у друзей невиданная на хлопке жизнь: раз в неделю ездили в райцентр в баню, каждый вечер Рашид или Марик, которых к котлу не допускали, отправлялись туда же за газетами. Колдовали вокруг котла по очереди, соперничая, Фатхулла с Баходыром, а Кочков приспособился помощником к ним обоим, хотя «помощник» сказано слишком громко, скорее истопником, — большее не доверялось, кулинарный успех не хотели делить ни с кем. Рашиду и Марику иногда поручалось съездить на велосипеде за мясом, но это была формальная покупка, а не выбор, где необходимо проявить знание и вкус, потому что мясник сразу спрашивал, кто сегодня главный у котла, Фатхулла или Баходыр, и что собирается готовить, и сам отрезал нужное — запросы поваров он уже хорошо знал.

Узаконили бы такой порядок до конца уборки, и, может быть, в следующем году молодежь охотнее ехала бы на хлопок — слухи о вольготной жизни мусаевской компании разнеслись по окрестным колхозам. А ведь Фролов разрешал еще и съездить домой на день-два, если сборщики заранее, в счет каждого дня отдыха, сдавали сверх положенной средней нормы по шестьдесят килограммов. Поездку зарабатывали честно, все зависело только от тебя самого, и поэтому никто не канючил, не выпрашивал разрешения, не сочинял сказки одну слезливее другой про больную мать или умирающего дедушку, не организовывал фальшивые телеграммы, чтобы побывать в Ташкенте, а необходимость всегда возникает, когда находишься на уборке месяцами.



Но недели за три до конца уборки Фролова неожиданно отозвали в трест, и на его место прибыл главный энергетик треста Пименов — инженер, председатель трестовского месткома. Он был крупный, крикливый, мужиковатого вида. Пименов слышал о стахановской пятерке Мусаева, которую иначе и не называли, — да и Фролов, передавая дела, упомянул о ребятах, — но сразу ввел свои порядки. К его приезду поля, конечно, сильно поредели, работали на самых дальних картах, да и на них собирали уже по второму-третьему разу, и привычных сентябрьских рекордов не было.

В день приезда главного энергетика, когда вся компания ужинала, явился к ним гонец из чайханы и сообщил, что их немедленно требует к себе Пименов, всех до единого. Ребята переглянулись, предчувствуя недоброе, потому что раньше было достаточно, если к Фролову ходил кто-нибудь один. Так оно и вышло...

Пименов, заросший рыжей щетиной и успевший неизвестно где вымазаться — он хлопок не собирал, а ходил между грядками, постукивая сухим стеблем по голенищам грязных сапог, или часами маячил на хирмане рядом с весовщиком, — встретил ребят, не скрывая враждебности. Главный энергетик и в тресте не отличался внешней аккуратностью, его вечно шпыняли острые на язык женщины, и Пименова, вероятно, привел в раздражение вид благоухавших «Шипром» выбритых ребят в свежих рубашках: как обычно, парни собирались после ужина на танцы к медичкам, где уже всю гремела музыка, долетавшая аж до чайханы.

— Опять на танцы-шманцы? — спросил Пименов, недовольно оглядывая компанию.

— А что, нужно обязательно согласовать с вами? — язвительно ответил вопросом на вопрос Марик.

— Прежде всего вы должны согласовать со мной время пребывания на поле. И я скажу со всей свойственной мне прямоотой и откровенностью, что не вижу причин для особого режима вашей веселой компании. Для меня все равны, и будьте добры с поля — со всеми вместе. Что будет, если каждый вздумает работать, как ему удобно, сообразуясь с личной выгодой и собственной логикой? Вы мне тут хитрости бросьте, не развращайте людей. Ваш уход с поля раньше положенного времени я расцениваю как вызов коллективу. Да-да, только так, и не иначе!

— Так мы же собираем... — попытался вставить слово Фатхулла. Но Пименов, даже не повернув головы в сторону Мусаева, перебил:

— Все собирают, никто не уклоняется. Да и не позволим дурака валять. А кто больше, кто меньше — не столь важно. Для шести миллионов тонн, что сдает республика, ваши, так сказать, стахановские килограммы — пылинки и песчинки, и не воображайте себя героями страды. Что это такое? В рабочее время вас видят в райцентре... В баньку, видите ли, захотелось... Другие же как-то терпят, обходятся, а вы чем лучше, почему я должен потворствовать вашей вольнице?

Ребята стояли, переглядывались между собой, обескураженные и обозленные.

— И не сверкайте глазами, Мусаев, на вас, как на старшем, главная вина и ответственность,— продолжал, распаляясь, Пименов.— Что, хотите сказать — Фролов разрешил? Он молод и пошел у вас на поводу, стихия и энтузиазм его увлекли. Но ваша ни с кем не согласованная анархия, думаю, ему даром не пройдет. Многим ваше самовольное и бесконтрольное поведение не нравится, и я, с обычной для меня принципиальностью, доложу в райком по возвращении о вашем безответственном и недальновидном покровителе. В общем, я думаю, что сказал ясно: с завтрашнего дня никакой самодеятельности и на ужин со всеми. А то, что я за вами прослежу особо,— уж будьте уверены. Все, можете идти! — закончил он, почти переходя на крик.

— Так что, нам и собирать как всем? — спросил побелевший, как хлопок, Фатхулла, на лице которого так и ходили желваки.

— Это ваше дело, тут я вам приказать не могу.

И работа разладилась... Через два дня, возвращаясь в потемках с поля, Марик, который и до среднего сбора не дотягивал, если бы Фатхулла с Баходыром не сдавали на его счет по тяжеленному фартуку, говорил друзьям, словно оправдываясь:

— Знаете, ребята, во мне что-то оборвалось, я вроде и стараюсь как прежде, а результата нет. И я сегодня твердо решил уехать. Честно говоря, мне хотелось бы побыть с вами до конца, или, как ты любишь говорить, Фатхулла, до победы. Но думаю, мои победные дни позади, а позориться и выслушивать глупости Пименова я не хочу. Да и управляющий на прошлой неделе говорил, что мне давно пора вернуться.

Ребята знали, что Марик, несмотря на молодость, в конструкторском отделе ведущий технолог по нестандартному оборудованию и его отсутствие отрицательно сказывалось на работе.

— Марик, только не завтра, а послезавтра. Сделаем прощальный ужин, пригласим девушек,— мы давно обещали угостить



их пловом. Начали по-людски, так давайте по-людски и закончим,— предложил Фатхулла и обнял Марика, который волновался, правильно ли поймут его ребята...

Подробнее всего из той осени Рашиду запомнился этот прощальный ужин. После горячей перепалки с Пименовым вслед за Марином уехал и Фатхулла, а через день отбыл и немногословный Кочков. Вспоминались и те милые девушки из медицинского, которых он больше никогда не встречал; он даже помнил, как грустный Марик открывал единственную бутылку шампанского, приобретенную по случаю прихода гостей, хотя весь сезон они строго придерживались «сухого закона». Рашид, словно желая вернуть ушедшее время, пристально вглядывался в молодые лица друзей: неужели эти горячие юнцы, любившие в ту осень и хлопковое поле, и гостеприимный двор Икрамовых, и друг друга, и все вокруг, были они?..

Неслышно подошел Баходыр, опустился рядом, и Рашид, очнувшись и не понимая, где он находится, попытался встать.

— Да лежи ты, лежи,— остановил его товарищ.— Давно приехал из райцентра, а тебя все нет и нет, думаю: не случилось ли чего, уж слишком слабым ты выглядел утром. Самат подсказал, что ушел к речке. Еле отыскал. Красивое ты место приглядел. Подошел, а ты как будто спишь, улыбаешься чему-то приятному; конечно, такая благодать вокруг, свежесть и тепло, да и сон — лучшее лекарство, как говорят наши старики.

— Знаешь, Баходыр, мне то ли снилась, то ли вспомнилась, не пойму, первая осень на хлопке. Помнишь нашу компанию?

— Разве такое забывается? Я и сам частенько вспоминаю: единственный раз по уму да без нервотрепки работали благодаря Фролову. Эх, будь сейчас Фролов здесь, разве я торчал бы на кухне целый день, когда такие поля вокруг? Собрать сто килограммов для меня не труд, но самостоятельности, самостоятельности хочется, а тут, возле казана, она вроде у меня и есть, тем и тешу себя, хотя понимаю — не самостоятельность, а самообман это. Не лень мне, и не поля я избегаю, как думают некоторые. Настоящей работы хочется, а не так, для галочки.

— Понимаю,— кивнул Рашид.— Еще как понимаю...

Все минувшие с той давней осени годы он носил в себе обиду на Пименова за то, что тот развалил их компанию, нарушил налаженный быт, лишил жизненных радостей: веселых ужинов, шумных поездок в районную баню, долгих неспешных вечеров, когда можно

было несуетно оглядеться окрест и увидеть не закованную в асфальт землю, а ту, первородную, называемую емко отчей землей, наконец, тех часов, когда они могли проговорить весь вечер обо всем на свете. А вот сейчас Баходыр вспомнил совсем о другом, о том, как легко и радостно им работалось, именно работалось.

Может быть, и пригрезилось ему все это оттого, что помнил он сердцем, как ему работалось, как рвался в поле, ибо только настоящая работа, сознание выполненного долга придавали прелесть той свободе, что отстояли они для себя. Все остальное сейчас казалось лишь приятным приложением. И вот только сейчас, на разогретом солнцем взгорке, обида на Пименова обрела конкретную причину — он помешал им работать, реализовывать лучшее в себе.

Вечером, торопливо поужинав, все заспешили в кишлачный клуб на «Блондинку за углом». Видя, с какой завистью поглядывает Самат на уходящих в кино, Давлатов кивнул Баходыру: отпусти его, я помогу прибраться и сделать заготовки на завтра.

Баходыр сегодня был почему-то особенно добрым и великодушно отпустил не только Самата, но и другого помощника.

Шумный по вечерам двор чайханы быстро опустел, и друзья остались одни. Сами они еще не ели, и пока Баходыр выбирал из котла остатки ужина, Рашид добавил в остывающий титан заготовленные Саматом мелко наколотые дрова. Из распахнутого поддувала титана-кипятильника и высокой закопченной трубы сыпались в темноту искры и вырывались языки пламени, во дворе остро пахло дымом, древесным углем, и эти запахи напоминали Давлатову, зябко кутавшемуся в телогрейку, далекий отчий дом.

Мысли Рашида унесли далеко в прошлое, но вдруг, прорезая тьму двора ярким лучом и наполняя его стрекотом двигателя, по мощной дорожке въехал мотоцикл с коляской. Приехавший в коляске шагнул от мотоцикла к парню, слегка припадая на левую ногу, и радостно воскликнул:

— Рашид!

Мотоцикл тем временем лихо развернулся, поднимая не видимую в темноте пыль, запах которой ощущается в ночной прохладе еще резче, чем днем, и, вызвав недовольный лай соседских собак, исчез в переулке, откуда, все удаляясь и удаляясь, раздавался его треск.

Давлатов сразу узнал голос и походку Салиха-ака.

Они поспешили навстречу друг другу и обнялись. На бригадире, несмотря на прохладу, были знакомый вытертый пиджак, та же



тубетейка, те же сапоги, но главное — он сам нисколько не изменился: тот же приветливый взгляд усталых и грустных глаз, добрая улыбка в приспущенных по-восточному усах, в крепком жилистом теле еще чувствовалась сила.

На шум вышел из огороженной кухни Баходыр, и церемония приветствия повторилась. Правда, Баходыр, более искушенный в обычаях и традициях своего края, бойко расспросил о доме, семье, внуках, об урожае — ритуал, без которого не начинается разговор уважающих себя восточных людей.

— Какими судьбами, каким ветром занесло к нам? — вставил вопрос и Давлатов.

— Удачный день, Рашид-джан... Утром встретил ваших ребят, они работали на соседних с нами полях, рядом с шипаном, где растет арча Мавлюды, помнишь? Вот и рассказали, что и ты, и Баходыр, главные «партизаны» прошлого года, здесь, сказали, что ты болен. А у нас не принято забывать друзей, вы ведь меня здорово выручили тогда. Признаюсь, — теперь уже можно, — сильно попортил мне кровь Максудов, даже снится стал по ночам в своих бабских туфлях. Но обиднее всего было думать, что вы не видите разницы и вам все равно — что дурак Максудов, что я, бригадир, у которого душа болит за выращенный в трудах хлопок. А вышло-то совсем не так, боль у нас оказалась общая. Вот тогда уполномоченный не только из снов моих ушел, а даже из мыслей исчез.

— Дай бог, чтоб навсегда, — заметил Рашид.

— Правильно говоришь... Узнав о твоей болезни, я, конечно, обещал ребятам тебя проведать, но не думал, что смогу прямо сегодня. Прихожу с поля, вижу — внук во дворе мотоцикл ладит. Спрашиваю: «Куда так поздно собрался?» Отвечает: в кишлаке какая-то интересная комедия и он обязательно должен ее посмотреть. Ну, тут я прямо от калитки и говорю старухе: «Собери-ка мне узелок, я заодно с внуком в кишлак к ребятам, старым друзьям, в гости съезжу...» Туда и обратно с ветерком, — мой внук Санжар иначе ездить не умеет.

Да велел Айгуль своей налить в бутылку или банку, какая побольше, отвар, что готовит для мающихся животом Куддус-бобо. Это наш сосед. И дед его, и прадед в кишлаке испокон веку табибами были... А сам быстренько в курятник нырнул, тепленьких яиц собрать из-под несушек. Куддус-бобо говорит, что отвар надо запивать сырыми яйцами, и непременно свежими. Вот так, друзья: внук в кино, дед в гости... Да где же он? — спохватился

Салих-ака.— Не увез ли Санжар в кино узелок, о котором я вам тут разболтался? — он растерянно оглянулся.

— Цел! — радостно сообщил Баходыр, заметив в слабом свете фонарей узелок обочь мощеной дорожки.

— Ну, и хорошо! — обрадовался Салих-ака.

Подобрав вместительный узелок, они направились к айвану под освещенными окнами чайханы, где по вечерам ребята играли в шахматы.

— Выходит, и вы, и мы с Рашидом еще не ужинали,— отметил Баходыр и снова исчез за оградой кухни-временки.

Салих-ака неторопливо развязал узелок, расправил концы, разглаживая ткань ладонью, и чистая тряпица стала дастарханом. Перво-наперво он передал Рашиду литровую бутылку из-под венгерского вермута с завинчивающейся пробкой, наполненную по горлышко.

Рашида так тронуло внимание старика, что вместо слов в горле у него застрял какой-то комок, и он, отвернувшись, стал разглядывать жидкость на цвет, поднимая бутылку к освещенному окну; руки его не то от волнения, не то от слабости заметно дрожали. Темно-бордовый отвар напоминал гранатовый сок. Тем временем Салих-ака осторожно переложил в железную миску, оказавшуюся под рукой, крупные яйца, все до одного цвета хорошо обожженной глины. На расстеленном узелке осталась горка теплых лепешек, что испекли снохи к возвращению мужчин с поля, и две тяжелые, килограмма по полтора каждая, темно-синие кисти крупного винограда.

— Это мой сорт,— сказал старик, не скрывая гордости.— Что-то среднее между «Чорасом» и «Тайфи».— Он поправил кисти винограда и стопку лепешек, виновато развел руками и смущенно сказал Рашиду: — Думал и курочку для тебя отварить, и самсы горячей прихватить, младшая сноха печет ее замечательно, из слоеного теста, да все неожиданно получилось, и внук торопил. Так что не обессудь, в другой раз...

— Спасибо, спасибо, Салих-ака. Мы с Баходыром очень рады вас видеть, да и все у нас есть,— ответил не менее смущенный Давлатов, тронутый заботой старика.

И верно, Баходыр, словно волшебник, принес и расставил на дастархане сыр, масло, колбасу, разогретую тушенку и даже банку шпрот — наверное, основательно потряс личные запасы у многих, благо вчера было воскресенье, кое-кого приезжали проведать родственники, а кому-то передали посылки.



Прежде чем приступить к еде, Салих-ака отвинтил пробку и налил в пиалу отвар, чуть больше половины, а когда Рашид его выпил, в ту же пиалу ловко разбил острым ножом, что всегда висит у него в ножнах на поясе, два яйца, янтарно блеснувших тугими желтками.

Рашид выпил и то, и другое без особого удовольствия, и Салих-ака, заметив это, сказал, что отвар трав Куддус-бобо делает на кожуре гранатов, издавна известных как средство от болезни желудка. Баходыр, протягивая бригадиру пиалу с чаем, наполненную на треть, что означает высшее уважение к гостю, предложил отведать городских гостинцев.

Салих-ака попробовал и сыр, и колбасу, выудил из банки шпроты, которые тут же окрестил золотыми рыбками, и, не сдержавшись, сказал восхищенно, без зависти и укора, как всегда бесхитростно:

— Богато живете, друзья.— Опустошив пиалу, он неожиданно спросил Рашида: — Ты, наверное, пил воду у кривой излучины, где арык делает поворот? Там еще края размытые... Красивое место, не только люди, но и птицы любят его.

— А вы откуда знаете? — удивленно встрепенулся Давлатов,— бригадир попал в самую точку.

— Столько лет проживешь да с мое походишь, и не то будешь знать о земле. Странное место, и размыло-то берега не от большого напора — туда, к ложине, подпочвенные воды после полива стекаются, вот и распирает арык. А ведь полив у нас — не простой. Минеральные удобрения и соли, гербициды-пестициды всякие в воду сыплем, где в меру, где без меры — не все земля и принимает. Вот и выносит эти яды в низины, к той красивой излучине. А когда с самолетов опыляют, в арыки попадает даже больше, чем на поля. Вода-то при нашей жаре постоянно парит и сама притягивает ядовитую пыль, от которой за день чернеют полные жизни кусты. А в излучине к тому же вода течет медленно, застаивается, там химии раза в три больше, чем в любом другом месте. Теперь-то понял, какой ты компот выпил?.. Не привередничай, пей настой да запивай яйцами, хоть и не нравится. Здоровья на жизнь ох, как много надо, а она у тебя, парень, считай, вся впереди...

Ребята подавленно молчали, хмуро переглядывались.

— А ведь сколько народу в кишлаках пользуется арыками! — удрученно покачал головой Баходыр.

— Конечно,— согласился Салих-ака.— Но люди в кишлаках приспособляются: за день до опыления с воздуха или крупного полива

запасаются водой, непременно ее отстаивают и, конечно, обязательно кипятят. С малых лет мы приучаем детей пить чай — и горячий, что мы сейчас пьем, и яхна-чай — остуженный. Конечно, есть и водопроводы, думаю, появятся скоро и у нас. Но разве от всего уберешься: то скот без надзора вдруг обопьется и подохнет, то птица какая-то вялая, куры плохо несутся, вот индюки не приживаются совсем — не по душе им наша вода. Но народ — на то он и народ, из всякого положения выход находит. Вот Куддус-бобо отвар придумал и секретов не таит, других учит, и тебе, Рашид, обязательно поможет, не ты первый маешься,— проверено, через неделю забудешь о своем недуге.

— Я вот сколько лет езжу на хлопок, а ни разу опыление с воздуха не видел,— признался Рашид.

— Ну и хорошо, что не видел,— улыбнулся Салих-ака.— И опыляют, и опрыскивают, но и то, и другое — не духи и не сахарная пудра, не жалеи. Потому и делается все, пока горожан не навезли, чтобы меньше народу надыхалось гадостью. Спасибо медицине, хоть тут сумела слово сказать.

Вот ты, Баходыр, о кишлаке заговорил, и я о кишлаке продолжу, потому что здесь наша жизнь, наши дети, наша земля, и нам не только заботиться о ней надо, но и защищать ее. Лучше нас ее никто не знает. Сколько себя помню, в наших краях сеют хлопок, хотя делу этому лет сто, не больше. У виноградника, дынь, гранатов, орехов история куда древнее. Но у каждого времени свой овощ, свой злак в цене. Хлопок сегодня затмил, если не сказать — забил, и бахчевые, и овощи, и фрукты, о скотине я и вовсе молчу. За что спрашивают, за что поощряют,— тому и внимание, остальное побоку.

Вы же видите, хлопок у нас начинается не за кишлаком, а, считай, улицы прямо переходят в поля или поля входят в улицы,— так тесно переплелась жизнь поля и кишлака. Это было даже удобно, ведь на самые дальние поля ходили пешком, работали вручную, и чем ближе поле, тем лучше. Вам, молодым, это понять сегодня трудно. Но пришла на поля химия, и благо обернулось бедой, а мы к ней оказались не готовы: при нашей нерасторопности и сделать толком ничего не можем.

Пока будут делать такие горе-комбайны, без дефолиации с воздуха не обойтись. А самолеты ведь не шепоткой химикаты сбрасывают, чуть промахнулся, заходя на цель,— полкишлака и окатило, ведь поле и кишлак рядом, занавеской не отгородишься, шатром не прикроешься. Один летчик опытнее, другой новичок, один — с пониманием,



другой — безответственный, лишь бы баки опорожнить, он за это деньги получает. А чуть ветерок в сторону кишлака подул — его ведь не учтешь, не запрограммируешь, он кишлачному совету не подчиняется, — и накрыло людей и кишлак химикатом, хоть никто и не желал плохого, и летчики были толковые.

— Какой-то заколдованный круг: и так плохо, и так нехорошо. Есть ли все-таки выход? — загорячился Баходыр.

— Уж больно ты торопливый, вынь да положь, — улыбнулся Салих-ака и протянул ему пустой чайник.

Баходыр покраснел, ибо невнимание равно оскорблению гостя — так учили его с детства. Сорвавшись с айвана, он мигом возвратился со свежим чаем.

— Какой выход, спрашиваете? — переспросил Салих-ака, выпив подряд две пиалы, налитые с большим уважением. Он надолго замолк, словно обдумывая вопрос Баходыра, и вдруг сказал с похвалой: — А чай у вас замечательный! — И уже без всякой паузы продолжил: — Мы ведь в первые годы дефолиации с воздуха пострадали: кто скота лишился, кто здоровья, у кого сад раньше осени облетел, и трава вдоль арыков, которой скот кормится, стала сплошь ядовитой: если не убивали наповал, то мясо — не мясо и молоко — не молоко. Я с тех пор корову и не держу. А сколько пасек пропало!

Только на вторую или даже третью осень стало ясно, откуда беда. Я тогда на правлении предложил: хлопковые поля от кишлака надо отделять, и не просто отделять, а широкой лесополосой оградить, чинарами, пусть их воспетая в песнях высота человеку послужит. Воду в арыках спускать на нет, когда опыляют, а землю вокруг кишлака предлагал отдать под огороды, сады, бахчи, под луга и пастбища. И ушла бы беда, так я думаю...

Конечно, выслушали меня и даже аплодировали, хвалили, а делу хода не дали. Да и как на такое пойти, если колхозу из года в год увеличивают план посевных площадей под хлопчатник, будто земля у нас в семь слоев или резиновая?

Но хоть ничего я для своего кишлака и для окрестных мест не добился, упорство мое не пропало даром. Приходит однажды конверт из Ташкента, из треста совхозов, — тогда как раз новые земли осваивались и в Джизакской, и Каршинской, и Сурхан-Шерабадской степях... С благодарностью бумага. Писали, что при закладке новых совхозов стали поля отделять от жилья и для каждого кишлака выбирали место, учитывая, куда и откуда ветер дует, для самолетов

строгие трассы определили, а главное — лесополосы начали высаживать, чинаре новую жизнь дали... Вот такие наши дехканские дела, ребята. Не очень веселые...

Разговор постепенно угас, и в вечерней тишине стало слышно, как раздаются приглушенные расстоянием взрывы смеха — значит, «Блондинка за углом» еще не закончилась.

Высокие фонари, освещавшие кухню и склады, сеяли скудный свет и в соседний двор, где беспокойно топталась пегая корова. Ее не было видно, но слышалось, как дергает она привязь, опрокидывает ведро с водой или пойлом и натывается рогами то на шаткий забор, то на деревья, то на стены сарая. Наверное, хозяева ушли в кино, и корову некому успокоить.

— Да, вы о хлопке знаете все,— обронил Давлатов, пытаясь вывести старика из задумчивости.

Салих-ака ответил странно, словно себе:

— Да, я хлопкороб с детства и знаю о хлопке все. Но от знаний мне чаще труднее бывает, чем легче. Вот я видел у внука в руках русскую книжку, «Горе от ума» называется. Казалось бы, что за глупость — горе от ума? Вернее было бы — горе без ума. Но подумал-подумал и понял: тяжело, наверное, тому человеку было с умом его. Так и мне от знаний моих горе одно: разве не давал бы я земле отдыхать от хлопка, чтобы не скудела она год от года? И не полагались люди только на всесилье химии... Хлопкороб... Да...

Салих-ака говорил, глядя куда-то поверх голов своих собеседников, и в его голосе звучала тоска, которая была отчего-то так понятна этим парням-горожанам.

— ...А я ведь дехканином был: и телочку от коровы принять мог, и лошадь подковать,— была у меня она, и овец стриг, и тулупы из остриженных шкур шил. А какая у меня, да и у соседей, бахча на богаре, на бросовых землях, была! Запах дынь вокруг до самой зимы стоял! Да и шипан Палвана Искандера — не хлопковый шипан, это только лет пятнадцать он стал хлопковым, а раньше вокруг него сады цвели — яблоневого, персикового. И улей на каждом гектаре, а то и два... Вы пробовали когда-нибудь персиковый мед? Не слышали даже? Многие не слышали. Я и сено косил, и траву всякую знал, не как Куддус-бобо, конечно, но как дехканин мог отличить, что для овцы лучше, что для коровы. А теперь в нашем дворе серпа не отыскать, не то что косы...

Хотите верьте, хотите нет, а был у нас в кишлаке даже рыбак — Закир-балыкчи, и рыба водилась и в арыках, и в канале, и в реке.



Русские мужики, что попадали к нам в кишлак, и раков ловили. Рак первым, еще во времена обработки полей дустом, пропал, привередлив он к чистоте воды оказался, к запахам разным.

О винограде я уже не говорю: самый ленивый и нерадивый и то о лозе имел понятие. Лоза из рода в род передавалась, и знали, в каком дворе, каком кишлаке крепкая и благородная лоза растет, роднились не только детьми, но и лозой. Кто теперь чужую лозу, корень ее, знает? Когда ушла лоза с полей? Временем и невзгодами повыбивало ее и во дворах. К кому пойти, у кого совета-помощи попросить? Так и сошел виноград на нет не только в колхозе, но и у людей.

А о хлопке я все знаю, Рашид, ты прав. И вряд ли я теперь возьмусь принять телочку вот у той коровы — отвык. Дальше-то как? Кому землю передавать, жизнь крестьянскую на ней? Хлопкоробу-механизатору? Землю-то с высоты кабины да на скорости не особенно разглядишь, у каждого поля свой характер, свой нрав, машину такую не создали, чтоб лучше человека понимала и любила землю. Привязан я к хлопковому полю, крепко привязан, может, даже никогда не вырваться, да душу-то не привяжешь, она дехканского труда, дехканской жизни требует, заботы о живом вокруг, а не только о хлопке, хочет...

Баходыр хотел что-то спросить, но вблизи затарахтел мотоцикл, и луч фары зашарил по темному двору. Салих-ака встрепенулся от дум, посветлел лицом.

— Санжар приехал, — сказал он обрадованно и поднялся.

Рашид на минуту замешкался, соображая, чем бы отблагодарить старика, но ничего подходящего ни под рукой, ни в чайхане у него не было, и вдруг он нащупал на дне сумки пачку туалетного мыла, — жена его питала страсть к дорогой импортной парфюмерии в красивой упаковке. Он догнал Салиха-ака и опустил ему в карман благоухающее мыло, где с лаковой обертки улыбалась эстрадная звезда Далида.

— Это Айгуль-апе, — смущенно сказал Рашид. — Спасибо и ей за гостинцы. Приезжайте еще, пока мы здесь...

Когда они проходили под фонарями, Салих-ака рядом с молодым стройным Баходыром напомнил Давлатову сухой корявый тутовник, что по весне вопреки всем прогнозам щедро пускает новые побеги.

Утром, когда Баходыр с помощником вновь уехали в райцентр за продуктами, Рашид остался во дворе чайханы с Саматом. Слоняться без дела не хотелось, и он принялся чистить картошку, чувствуя, что эта работа не по душе парню. «В армии еще начищусь...» — недовольно

ворчал тот каждый раз, когда видел ведро картошки, заготовленное Баходыром для шурпы. Сегодня как раз ее и решили варить.

Поначалу они перебрасывались короткими фразами, но потом Самат надолго исчез в чайхане, и Давлатов остался один. Он вспомнил вчерашний разговор, безрадостную исповедь Салиха-ака. Ведь до сих пор он считал Салиха-ака счастливым человеком: орденосец, уважаемый в кишлаке, да и во всей округе человек, хозяин крепкий,— Рашид знал, что кроме мотоцикла Санжара, есть у них во дворе и «Волга»,— и дети его вроде не огорчают, живут в мире и согласии...

Неожиданно во дворе появилась Дильбар Садыкова,— вбежала в калитку, размахивая над головой пустым фартуком, словно знаменем.

— Ура! В Ташкент вызывают! — выпалила она радостно Рашиду.— Слет или конференция там какая-то хлопкоробов, и я должна поднять дух горожан...

Увидев темные круги под глазами, особенно заметные поутру, и желтое, осунувшееся лицо Рашида, Дильбар осеклась и, подойдя к нему, по-женски участливо погладила по давно не стриженной голове.

— Слушай, за мной сейчас приедет машина, председательская «Волга». Хочешь, я тебя домой отвезу?

Рашид, вздохнув, отказался, тут, мол, оклемается, не хочет пугать своим видом жену. Дильбар не отступилась, стала расспрашивать, какие лекарства захватить из Ташкента, но Рашид, поблагодарив, сказал, что вчера приходил Салих-ака и принес отвар, так что скоро он поправится.

— Ну ладно, как хочешь... — Дильбар быстро потеряла к нему интерес и проворно исчезла в красном уголке чайханы — на женской половине.

Минут через двадцать у чайханы засигналила белая «Волга» председателя. За рулем сидел он сам, при шляпе,— наверное, будет просить горожан мобилизовать все имеющиеся ресурсы, а может, просто какие-то дела в столице. На сигнал машины тотчас выбежала Дильбар. Темно-синие вельветовые джинсы в обтяжку, приталенный кожаный пиджак распахнут, темно-бордовый батник из плотной ткани оттеняет яркий шейный платок — все в тон, все выбрано со вкусом,— Дильбар у них в тресте еще и первая модница. Цокая каблучками, стройная, ловкая, она подлетела к машине, размахивая сумочкой, перехватив на ходу восторженные взгляды Рашида и Самата.



— Ну и баба, класс! — пробасил, подлаживаясь под бывалого сердцеда, Самат.

— Дильбар... — как-то неопределенно произнес Рашид, но улыбка все же пробежала по его изможденному лицу. — Да-а, хороша, что ни говори!

— А что же не женились? Вы ведь, кажется, были холостым, когда она пришла в трест? — спросил Самат серьезно.

— Я... на Дильбар?

Впервые за дни болезни Рашид от души засмеялся. Самат покраснел, не понимая причины веселья, и упрямо заключил:

— Я бы женился, глазом не моргнув... Такая красивая...

Рашид погасил смех, чтобы не обидеть Самата, парня, в общем, толкового, покладистого.

— Мы-то с тобой, Самат-джан, может, и хотели бы, да она на нас не глянула бы. Дильбар — птица высокого полета, как Баходыр говорит. Ты не смотри, что она еще не замужем, хотя, по местным понятиям, давно пора. Она себе еще такого жениха отхватит — мы все ахнем.

— Уж конечно, отхватит, — согласился Самат и вновь надолго исчез, теперь уже в кладовой.

А мысли Рашида закружились вокруг Дильбар Садыковой. Он помнил, когда она появилась в тресте. За ней пытались ухаживать его друзья — и Баходыр, и Фатхулла, тогда еще работавший у них. Наделала она переполоха среди молодых да неженатых: даже из Госплана, что напротив, ребята к ним в буфет зачастили, прослышав, что в тресте появилась необычайно красивая девушка из Намангана.

Фурор она и правда произвела — что было, то было. Но только через неделю выяснилось и другое: как инженеру ей нельзя было доверить никакой работы, даже простейшей — перечертить, составить смету, рассчитать несложный узел. А с чертежами вообще курьез вышел: она совершенно не имела понятия, что такое проекция, сечение, разрез, вид сверху или сбоку, воспринимала только общий вид — картинку.

— Что мне с ней делать? — спрашивал у Давлатова Фатхулла, в то время уже начальник отдела — под его начало попала Дильбар. — Я боюсь давать ей какое-либо задание. Станешь выговаривать — смотрит такими печальными глазами, полными слез, что сам себе извергом кажешься, думаешь: за что я напал на такое милое создание? А иногда спрашиваю: «Чему же вас в институте учили?» А она отвечает: «Вам

хорошо, вы в столице учились, а я в области: весной на прополке хлопка, осенью на его уборке, а летом на овощах и в стройотрядах... Когда же учиться было?» И ведь права, никуда не денешься...

Но Фатхулле ничего с ней делать не пришлось. Дильбар сама, словно ручеек, пробила себе ход, нашла дорогу. Ее полюбили, предупредительная оказалась: с утра придет, прежде всего чай вскипятит и всех обнесет, для мужчин за бутербродами в Госплан сбегает, а чашки, чайники, пиалы с ее приходом просто засверкали от чистоты. Через неделю она знала, кто какую газету читает, кто какие сигареты курит, и никогда не ошибалась. А уж бумагу какую куда отнести — она всегда с радостью: цок-цок — и понеслась на своих каблучках.

«Пусть Дильбар скорее город узнает», — говорили старушки из отдела, души в ней не чаявшие, — кто же заботу и внимание к себе не оценит? А тут месяца через полтора на овощи народ отрядили, в основном молодежь, — вот где талант Дильбар по-настоящему проявился: не было ей равных на помидорных полях. Руководство овощного совхоза ей, единственной, похвальную грамоту и персональную денежную премию выдало, а корреспондент «Гулистана», приехавший к овощеводам, прослышав о Дильбар, заснял ее на обложку популярного журнала. Шикарная цветная фотография вышла — прямо кинозвезда! Тогда этот портрет можно было увидеть на лобовых стеклах междугородных автобусов, такси и прочей техники. А уж сколько их было наклеено на солдатских чемоданах — не счесть, потому что завалили Дильбар письмами на трест, предлагая дружескую переписку, а кое-кто, не раздумывая, — руку и сердце.

С овощей Дильбар вернулась героиней, и началась у нее новая жизнь. Осенью выбрали ее в местком, поручили культмассовый сектор. И жизнь в тресте забурлила: что ни неделя — внизу в холле появлялось написанное Дильбар объявление: «Желающие посмотреть фильм... обращаться в отдел проектно-сметной документации к инженеру Садыковой Д.». «К инженеру» Дильбар писала всегда, ей нравилось представляться новым знакомым: «Инженер Садыкова Дильбар».

На каких только концертах, спектаклях они тогда не побывали, даже на представлениях гастролировавших в Ташкенте МХАТа, «Современника», Ленинградского БДТ. На любую зарубежную эстрадную звезду Дильбар всегда умудрялась вырвать для треста билеты. Как только ей это удавалось? И ведь не только для избранных — билетов хватало на всех желающих. В ответ на расспросы разгоряченная Дильбар, мило улыбаясь, неизменно отвечала: «Секрет фирмы».



Теперь своим временем она распоряжалась сама. Напоив отдел чаем, сделав десяток личных телефонных звонков, включая и междугородные в Наманган, она небрежно бросала Фатхуллу: «Я по общественным делам». Фатхулла не успевал и рта раскрыть, как старушки из отдела отвечали: «Иди, милочка, иди, успехов тебе...» Дильбар демонстративно, не спеша складывала в элегантную папку из лаковой кожи на «молнии» всякие прошения на фирменных бланках, напечатанные машинистками в первую очередь, и, сказав что-нибудь приятное сотрудникам отдела, исчезала на полдня, а иногда и на весь день, но утром являлась минута в минуту: в тресте строго контролировался приход на работу.

Но что такое овощи, общественная работа, культмассовый сектор? Слава к Дильбар пришла с другой стороны. Истинное призвание она нашла на хлопковых полях. Вот уж она собирала так собирала — это надо было видеть. Быстро, красиво, чисто, и делала это легко, с улыбкой, напевая что-то озорное. Даже работать с ней рядом было одно удовольствие. Не зря говорили, что получала она все годы в институте какую-то персональную стипендию, не то Бируни, не то Мукими, — общественница, комсомолка, первая сборщица хлопка.

Что там список десяти лучших сборщиков за день, в котором Дильбар неизменно занимала первую строку? Имя девушки упоминали в штабах уборки, на полосах главных республиканских газет, ее не раз показывали с телеэкрана. Пресса, радио и телевидение нашли в ней достойный объект: красивая, обаятельная, за словом в карман не лезет. Хочешь — на узбекском даст интервью, хочешь — по-русски скажет, и на том, и на другом — с толком, пониманием дела. Хочешь подать ее с экрана в тюбетейке, атласном платице ниже колен и шальварах, с кокетливой коробочкой хлопка в волосах, — пожалуйста. Хочешь показать современную горожанку, которой по плечу сельский труд, уверенную, в ладно сидящих джинсах, фирменной курточке, со строгой прической, — пожалуйста. Не было в республике журнала, где не печатались бы крупным планом ее портреты — и черно-белые, и цветные.

Но новый взлет популярности начался у Дильбар с праздника курултай, который широко отмечает республика после завершения сдачи хлопка государству. Большой, красивый, любимый народом праздник. Со всех областей приглашают в Ташкент лучших хлопкоробов, знатных людей. Он начинается торжественно во Дворце дружбы народов, затем выплескивается на стадионы, ипподромы, площади

и улицы. Карнавалы, спортивные состязания, ярмарки, народная борьба кураш, конноспортивные игры, концерты народной музыки, и повсюду карнаи — восточные фанфары, спутники большого праздника — вот что такое курултай. Начинаясь в пятницу вечером, заканчивается он поздно вечером в воскресенье. Что-то похожее на латиноамериканские карнавалы есть в узбекском курултае, как признал один из известных зарубежных гостей, попавших на праздник.

Случилось так, что в день открытия курултая во Дворце дружбы народов, в присутствии правительства, Дильбар поручили выступить от имени горожан, участвовавших в уборке. А ведь еще за день до этого у нее и приглашения во Дворец не было — значит, судьба.

Прочитала она свою речь — тщательно отредактированную не в одной инстанции — страстно, ярко, убедительно и сорвала такой шквал аплодисментов, которых и иной популярный артист не слышал. А уж когда шла по длинной ярко-красной ковровой дорожке обратно к своему месту, по залу и в президиуме прошел волной шепоток восторга — в тот день Дильбар была действительно неотразима. И всякие чиновники, большие и малые, от райкомовских до министерских, торопливо вписывали на всякий случай фамилию Дильбар в свои блокноты: хорошо поставленный голос, четкая дикция, абсолютное владение русским языком, великолепные манеры и очевидный вкус, инженер по образованию — чем не наглядный образ раскрепощенной женщины Востока?

С этого дня начался у Дильбар настоящий взлет и пошли жизненные удачи. В хлопковой республике хлопкороб, конечно, в большом почете: по окончании трудного сезона и в заморские страны поездки для них организуют, и путевки на курорты всякие выделяют. Через две недели после счастливого для Дильбар курултая она спешно оформила документы и с группой колхозников из какой-то области отправилась в Италию, тем более что поездки такие оплачивались за счет колхоза: наверное, сработала чья-то чиновничья запись, сделанная наспех во Дворце дружбы народов. Как бы там ни было, поездка для самой Дильбар оказалась приятным сюрпризом. Так же поспешно приняли ее в партию. Для инженерно-технических работников существовал какой-то негласный лимит, но для Дильбар райком выделил место сверх лимита. Круг ее общественных дел заметно расширился, и Фатхулла только по утрам ее и видел.

Надо отдать должное Дильбар, она не заважничала, по-прежнему была со всеми мила и обходительна, как и раньше заваривала по утрам



чай и обносила им отдел. Эту обязанность она с себя не снимала, но за газетами и сигаретами уже не бегала, хотя, когда уходила по делам и ее просили что-либо купить, никогда не отказывала. Старушки из отдела, поначалу пытавшиеся чему-то обучить Дильбар на службе, окончательно махнули рукой, не видя у нее интереса к инженерной работе, хотя в это время она уже числилась в отделе старшим инженером — по-другому начальство никак не могло повысить ей оклад.

У Дильбар открылось и еще одно призвание — ораторское. Ее приглашали на всякие торжества, юбилеи, слеты, симпозиумы, фестивали, форумы, встречи — на районном, городском, республиканском, региональном, союзном и даже международном уровне, — и везде она зачитывала то приветствие от имени молодой интеллигенции республики, то доверялось ей отчеканить с трибуны резолюцию или какой-нибудь проект решения как молодому инженеру, то просто выступить от имени раскрепощенных женщин Востока в защиту других, угнетенных еще, женщин. А поводов подобных было не счесть — хоть за здоровье, хоть за упокой. И все у нее получалось горячо, искренне, по-молодому напористо.

В отделе с самого начала свыклись с тем, что как инженера Садыковой нет. Да и влюбленный поначалу в Дильбар Фатхулла, не сумевший потребовать от нее исполнения обязанностей с первого дня, позже уже и вовсе не мог этого сделать — расценили бы как личную месть или мелочные придирки. А чем дальше, тем больше она становилась ему не по зубам: вхожа в такие кабинеты, общается с такими людьми, выступает с таких трибун... Но, понимая, что зарплату она все-таки получает в отделе проектно-сметной документации, а не за выступления с высоких трибун, Дильбар вела себя на работе по-прежнему скромно, не выпускала из рук культмассовый сектор — ей хотелось казаться нужной и в тресте.

На высоких совещаниях, где она постоянно бывала, как правило, работали выездные книжные, аптечные, кондитерские киоски, а то и целые магазины, и она щедро снабжала книголюбов — книгами, женщин — французскими духами и парфюмерией, мужчин — редкими сигаретами и галстуками, пенсионеров — лекарствами и шикарной оптикой. За ней прочно укрепилась репутация доброй и сердечной девушки. Но в жизни, даже самой удачливой, порою случаются осложнения.

Однажды, когда Дильбар, как всегда отличившаяся в хлопковую страду, только вернулась из круиза вокруг Европы, куда она уже

по традиции ездила с хлопкоробами, их тресту неожиданно выделили три квартиры в доме с улучшенной планировкой, расположенном в центре города. Одна из квартир оказалась однокомнатной.

На однокомнатную претендовал, и уже довольно давно, только Марик Розенбаум, ведущий технолог по нестандартному оборудованию в конструкторском бюро, — летом он как раз женился, и весь трест гулял у него на свадьбе. Ко дню заседания жилищной комиссии профкома, проходившего под председательством Пименова, появилось заявление на однокомнатную и Дильбар Садыковой, которая жила в общежитии молодых специалистов и имела там отдельную комнату со всеми удобствами. Общежитие считалось образцовым и скорее напоминало хорошую гостиницу, попасть туда было не так-то просто.

Две трехкомнатные поделили быстро и единогласно, как и положено, между очередниками, но из-за однокомнатной разгорелся сыр-бор. Пригласили на комиссию обоих претендентов, но Дильбар, сославшись на то, что ее срочно вызывают в ЦК ЛКСМ, ушла, еще раз подчеркнув, что общественное для нее выше личного. А Марик, конечно, остался.

Чувствуя по тону выступления председателя профкома Пименова, что квартира от него явно уплывает, Марик не выдержал.

— Позвольте, позвольте, — загорячился он. — Я все-таки ведущий технолог, и моя работа тоже известна, получила дипломы ВДНХ, у меня и патенты на изобретения есть... В конце концов, у меня большой стаж, у меня семья...

Но Пименов, для которого вопрос был решен еще до заседания, потому что Дильбар успела обегать и обзвонить нужных людей, прервал его:

— Да, вы хороший инженер, не спору. И мы вас без квартиры не оставим: не в этот, так в следующий раз получите. Но поймите, во всяком деле существует политический, идеологический и воспитательный аспекты. Садыкова — известная на всю республику сборщица, и мы должны поддерживать таких энергичных людей, да еще с общественной жилкой, чего, к сожалению, о вас не скажешь. И я, со всей присущей мне принципиальностью и бескомпромиссностью, настаиваю на том, чтобы выделить квартиру старшему инженеру Садыковой.

— Мы же все-таки инженерная организация, а не колхоз, чтобы за работу на поле премировать квартирой! — продолжал кипятиться



Марик.— Если она такая знаменитая сборщица, пусть едет в кишлак и занимается своим делом. Ей, может, там сразу двухэтажный коттедж построят.

После этой злой реплики Пименов попросил Марика удалиться с заседания. Большинство в один голос квартиру решили отдать Садыковой, а Розенбаум на другой день подал заявление об уходе и на дружные уговоры подумать заявил:

— С таким подходом к делу у вас скоро ни один уважающий себя специалист не останется, только ударники полей...

С уходом Марика у Дильбар несколько разладились отношения кое с кем, особенно с молодыми,— у Марика было много друзей, да и как специалиста его действительно ценили высоко, и его отсутствие сказывалось еще долго. Дильбар же делала вид, что ключи ей вручили чуть ли не насильно, и ни с кем отношений не обостряла, хотя поводов для этого было предостаточно.

А теперь ходили упорные слухи, что она скоро уйдет работать не то в профсоюзы, не то в какую-то республиканскую женскую организацию, а может, даже инструктором в горком или райком партии, курировать промышленность и строительство — все-таки инженер с дипломом...

Дочистив картошку, Рашид тщательно вымыл ее, пересыпал в полиэтиленовый мешок, завязал и опустил в бадью с водой, чтобы не чернела на воздухе и не затвердевала от воды до обеда. Не дождавшись Самата, отыскал посох и двинулся со двора. Дни стояли один краше другого, бабье лето, как сказали бы в России, но на дворе был конец ноября, и здесь такого или похожего понятия не существовало.

Он перешел по шаткому мосту на другой берег Кумышка-на, откуда сразу начинались убранные поля. Сборщики работали так далеко, что, как ни вглядывайся, и шевелящихся точек не видно, даже не слышно, как работает очистительная установка.

Рашид направился вдоль кромки поля к арыку. Слабый ручеек тек уже по самому дну, края арыка кое-где осели, обвалились, зато то тут, то там пробилась болотная ряска, густая, изумрудная, и оттого арык выглядел нарядно. Кое-где среди осоки росли бархатные камыши — у девушек в комнате они стояли в высоких индийских вазах из меди, принадлежавших красному уголку. Приземистые деревья тутовника с топорщившимися во все стороны сухими обрубками ветвей были облеплены паутиной и белели издали, напоминая

знаменитые оренбургские шали-паутинки. Эту паутину несло невесть откуда через убранные поля, она густо оседала на деревьях, кустарниках, траве, и Рашид, шагая по кромке арыка, то и дело снимал с лица и волос тончайшие нити, пытаясь припомнить, какие изменения в погоде пророчит обильная паутина в осенний день, но так и не вспомнил, а ведь в юности знал, точно знал.

Наконец он дошел до кривой излучины, где так некстати напился две недели назад, и решил здесь дожидаться возвращавшихся на обед товарищей. Тут тоже все живое, обманутое природой, словно по весне дружно пошло в рост. От обилия химии трава здесь росла гуще, сочнее, особенно яркой казалась свежая, пробившаяся сквозь уже увядшую, пожухлую, и вместе все это, живое по живому, представляло собой интересный и редкий по цвету природный ковер.

Арык обмелел почти до дна, и кое-где его можно было просто перешагнуть. Когда Рашид подходил к излучине, с его водной глади сорвались ненасытные серогрудые грачи — на мелководье они выискивали червяков.

«А Дильбар уже в Ташкенте», — мелькнула неожиданная мысль.

— Ташкент, — произнес он вслух, но обычной радости в голове не было.

Максимум через десять дней он вернется в город, к привычному комфорту, телевизору, налаженной и размеренной жизни. Он мысленно рисовал радужные картины города, роскошный Алайский базар, куда любил наведываться по воскресеньям рано поутру, где изобилие било через край в любое время года, не говоря уже об осени.

Мясные прилавки с нежной телятиной, говядиной, свиной и особо ценимой здесь курдючной бараниной, ряды тушек птицы: кур и индюшек, гусей и уток, и даже потрошенных перепелов и диких кекликов, а в последние годы здесь продают и крольчатину, и уж совсем неожиданное — нутрий, покупают которых больше греки. Неподалеку молочные ряды, молочницы в основном из приграничных немецких сел Казахстана, для которых Ташкент — ближайший город; сливки, сметану и творог у них берут не пробуя — всегда все свежее, неразбавленное, впрочем, у каждой из молочниц уже сложился свой круг покупателей. Брынзой и овечьим сыром торгуют курды, турки, азербайджанцы, они тоже живут селениями под Ташкентом. Жирная, соленая, малосольная, яично-желтая, сахарно-белая, плотная, вязкая, с дырочками и без — на любой вкус.



Вспомнилась и сауна на стадионе «Динамо», куда его изредка приглашали соседи по гаражу, и чешский Луна-парк, куда он часто ходит с Анютой кататься на крутых американских горках.

Рашид представил себя мягко припарковывающим белые «жигули» на небольшой стоянке у треста, на самой людной и красивой улице Ташкента, где прямо на асфальте, расчерченном краской, указан номер и его машины. По утрам ему иногда доставляло удовольствие небрежно выходить из машины, брать с заднего сиденья пустой дипломат и не спеша направляться к солидной двери с тонированными финскими стеклами. Что и говорить, фасад, или, как выражается модница Дильбар, «фейс» у них действительно солидный, отделанный мрамором и тяжелым дубом, многократно покрытым лаком. По бокам могучей двери — две отполированные до зеркального блеска гранитные плиты темно-зеленого цвета с красными прожилками, взятые в массивную медную раму; каждая буква вывески искусно вырезана из красной бронзы на двух языках, узбекском и русском, и все это венчает сверкающий герб.

Вахтерам вменялось в обязанность содержать эти плиты в целости и сохранности, и потому сдача смены начиналась именно с них, не дай Бог потускнеет хоть одна буква, а на гранит сядет пыль, и потому даже в самый пасмурный и ненастный день вывески, начищенные и отдраенные, блестели красной медью.

Не всякое министерство или какое другое высокое учреждение могло похвастаться подобной вывеской и фасадом — это новый управляющий, придя в трест, перво-наперво перестроил первый этаж, чтобы посетитель попадал сразу в просторный и яркий холл, утопающий в зелени и цветах, где напротив входа висела карта республики, выполненная профессиональными художниками из фирмы «Рассом» вместе со специалистами-электронщиками треста. Вся она лучилась звездами, вспыхивала огнями, — кинжальные светящиеся стрелы, сотни больших и малых точек, разноцветные пунктирики, рваные волнистые линии должны были показать несведущему, как далеко и широко простирается мощь треста.

Кроме карты, занимавшей самую большую и выигрышную стену холла, имелись там схемы, диаграммы поменьше — тоже выполненные ярко, с фантазией, на электронике, автоматике, микропроцессорах, с элементами светомузыки, и, конечно, все они отражали неуклонный и стремительный рост отрасли по всем показателям. Проходящим по тротуару мимо треста даже за тонированными стеклами

или за распахиваемой дверью виделся высокий и просторный холл, его оранжерейная зелень и загадочно мерцавшие на стенах диаграммы, и они наверняка думали: вот солидная контора, люди заняты интересным и важным делом. Тоску по интересной, значительной работе Рашид читал во взглядах многих прохожих, когда, не спеша и слегка пижоня, направлялся к дубовой двери.

Но ни автомашина, ни людная и любимая улица Навои, ни трест с его респектабельным фасадом и роскошным холлом, где всегда можно выпить газированной воды, хочешь — чистой, хочешь — с сиропом, притом бесплатно, за счет профсоюза, сегодня не волновали, не манили, не привлекали. Это ощущение для него было новым, и, не находя причин безразличия, он подумал, что эта апатия — от болезни, ведь он помнит, как каждый год с нетерпением ждал конца уборки на хлопке, дни считал, планы строил, ждал приказа о возвращении, словно солдат. Но болезнь тоже не причина, потому что ему уже полегчало от настоя Куддуса-бобо, нужно теперь только переждать, выгнать из себя хворь.

— Не в болезни дело, не в болезни, — подумал он вслух, не то успокаивая, не то раззадоривая себя, и на ум опять пришла Дильбар.

«А чем я лучше Дильбар? — впервые признался он себе и удивился такому неожиданному сравнению. — Да-да, чем лучше?»

Ну, конечно, не такой беспросветный профан в своем деле, как она, чертежи, по крайней мере, читаю худо-бедно, расчет кое-какой инженерный могу сделать, со справочником кое в чем разберусь. Но в том-то и дело, что «кое-как», «худо-бедно», «со справочником». Оттого я, наверное, никогда и не хлопну дверью, как Марик, когда того обошли с квартирой. Куда я пойду, где меня ждут, с моим зашным образованием, как метко выразился один известный сатирик? Дильбар жалеть не стоит, она не пропадет. А я ведь и не инженер толком, и на хлопке славы не снискал, хотя с ней на одних полях работаю. И вообще, что я знаю, что могу, что мне можно доверить? Вот попрут завтра с работы за непригодность, что и оспорить-то будет стыдно, — куда подамся, как на хлеб насущный заработаю?»

От этой мысли Рашида прошиб холодный пот, и он поежился, как от озноба. Неприятный, ох, какой неприятный самоанализ мог бы надолго испортить ему настроение, не явись крепко сидящая в нас спасительная мысль, которая возникла из глубин сознания, словно охранный грамота: «Не выгонят, не бойся. Не попрут. Не в какой-нибудь Америке проклятой живем, с дипломом никого



без должности не оставят, разве что добровольно решишь отказаться от кресла, как Фатхулла».

— Фатхулла... Метеор... — произнес вслух Рашид и улыбнулся.

Пришла на память давняя осень, когда Фатхулла соперничал с Баходыром и в поле, и у казана в гостеприимном дворе Икрамовых. Как давно это было...

Фатхулла не работает у них уже третий год, и за все это время Рашид видел его раза три или четыре, не больше. Раскидала жизнь в разные концы двухмиллионного города, у каждого свои тревоги, заботы. «Вот вернусь с хлопка — обязательно поеду к нему на плов», — решил Давлатов.

Нет, Мусаев ушел из треста не из-за того, что не добился благосклонности Дильбар, хотя поначалу имел вполне серьезные намерения — нравилась она ему, что было, то было. Но он раньше других разгадал Дильбар, понял ее честолюбивые замыслы и однажды в чайхане сказал Рашиду с Мариком, как давно решенное: «Мне другая жена нужна». И с этого дня Дильбар для него не существовала — ни как красавица, ни как инженер, ни как подчиненная, хотя каждое утро он принимал из ее рук пиалу с чаем. Вскоре он неожиданно женился на девушке из трикотажного объединения «Малика», тоже, как Дильбар, жившей в общежитии, правда, в рабочем.

Медлительный Метеор все делал неожиданно.

Через год у него родились две девочки-близняшки, и когда им исполнился только месяц, его отправили на хлопок. Как ни отказывался Фатхулла, как ни упрашивал начальство, объясняя, что жене одной трудно с грудными детьми, навстречу ему пойти не смогли. Да и как пойти, кого же посылать: в тресте больше половины — женщины, почти все с детьми, их трогать нельзя, часть — пенсионеры, как везде, да и отдел, что он вел, не был ведущим в тресте. Извелся он в ту осень, исхудал, при каждой возможности в ночь-полночь срывался к семье, а путь был неблизкий.

— Был бы Фролов, — часто с горечью говорил Фатхулла, — я дневал и ночевал бы в поле и заработал бы недельку, чтоб побыть с семьей.

А так он, не спавший всю ночь, издерганный, приезжал прямо на поле и, собрав, как все, фартук-другой хлопка, дремал где-нибудь в грядке большую часть дня. В ту осень его прозвище Метеор как-то забыли.

Фатхулла возглавлял странный отдел — вроде и не самый важный в тресте, а по штатному расписанию людей у него числилось

больше всего. Оттого и попадали к нему «инженеры» почище Дильбар: то чья-нибудь дочь, то племянница, а теперь уже пошли и внуки, которым перед институтом для стажа нужно было пересидеть где-нибудь годик-другой. И все вчерашние десятиклассницы на инженерных должностях. Был и другой разряд «инженеров», из-за которых отдел Фатхуллы в курилке называли «предродовым отделением», потому что в пожарном порядке устраивали к нему невесток в положении, чтобы и стаж шел, и пособия детские. Никто с Фатхуллой подобные трудоустройства не согласовывал — его каждый раз ставили перед фактом. Этим «инженерам» и представляться не нужно было, фамилии родителей говорили сами за себя.

Выходило, что половине отдела он и замечания строгого не мог сделать, а уж о том, чтобы потребовать работу, и речи не могло быть, разве что принести-отнести, но с этим хорошо справлялась и одна Дильбар. И на хлопок бездельниц не пошлешь, у каждой на руках еще с лета по две-три справки заготовлены, хотя при поступлении в институт, конечно, представят другие — об идеальном состоянии здоровья.

Так постепенно, мало-помалу Мусаев терял интерес к работе. А тут жена опять родила, и снова двойню, теперь уже мальчиков. Счастлив был Фатхулла — словами не высказать. Правда, он заметно похудел, стал расторопнее, а вальяжность куда и подевалась: четверо детей и неработающая жена — крутиться надо о-хо-хо как. И однажды, когда они в обеденный перерыв сидели компанией в кафе на Анхоре, Фатхулла объявил, как всегда неожиданно:

— Сейчас вернусь в трест и подам заявление об уходе.

На вопрос, куда решил уйти, Мусаев ответил неопределенно. Отговаривать Фатхуллу, зная его работу и перспективы, никто и не подумал: хлопковая кампания на носу, и опять ему не избежать поля. Да и с начальством он уже не раз сцеплялся по поводу заполнивших отдел Жанн и Жаннет, Фируз и Гуль. Конечно же, облегченно вздохнув, начальство отпустило его с радостью.

Ушел Фатхулла и словно в воду канул — ни звонков, ни приветов, правда, в тресте к тому времени из его друзей остались только Рашид и Баходыр. А через год по тресту пронесся слух, что Мусаев на Чиланзаре в чайхане готовит плов. Кто поверил, кто нет, кто возмутился, кто пропустил мимо ушей, а Рашид с Баходыром, выкроив время, поехали в чайхану.



Обеденный перерыв в близлежащих конторах и магазинах еще не наступил, и поэтому в чайхане было малоллюдно, хотя у мангалов с шашлыком и у тандыров с самсой толпился народ. Наибольшую площадь занимала лагманная с просторной открытой летней верандой, но столики были пусты. Повара у всех на виду заканчивали вручную крутить лагман. Это удивительное, почти цирковое зрелище никого не оставляет равнодушным, когда из огромного плотного куска теста в руках мастера после каждого взмаха растут, удваиваясь, длинные нити толстой вермишели — лагмана. Он сродни итальянскому спагетти, потому, наверное, туристы из Италии и любят многочисленные столовые Ташкента, где готовят это блюдо.

Обойдя лагманную, у чайханы с двумя трехведерными тульскими самоварами Рашид с Баходыром увидели огромный казан на треноге. Возле казана — пластиковый столик с высокой горкой тарелок и большая миска с мелко нарезанным молодым лучком и зеленью, которыми посыпают каждую порцию, — все готово к обеденному перерыву.

— Какие у меня гости! — раздался вдруг сзади голос Фатхуллы.

Он церемонно, как и подобает семейным мужчинам, обнялся с друзьями.

— У меня еще минут двадцать до аврала, давайте присядем... — он кивнул на столик, стоявший у стены, потом крикнул чайханщику: — Фархад, ко мне пришли старые друзья!

На стол им тотчас подали чайники с чаем и горячие, только из тандыра, лепешки, а через несколько минут принесли и тарелку с обжигающей самсой.

— Ну, как в тресте, что нового? Рассказывайте, — поторопил товарищей Фатхулла, разливая по пиалам чай.

— Да у нас что, все по-старому: молодые радикалы ждут крутых реформ, старики посмеиваются, говорят: «Ждите-ждите, теперь ваш черед», — и ожидают не реформ, а премий. В общем, то же, что и при тебе. Отдел твой все время обновляется, пополняет народонаселение страны. Дильбар замуж до сих пор не вышла, все ораторствует, но... хороша по-прежнему... Как ты-то живешь-можешь? Как дети? И расскажи, почему решил положить диплом на полку?

Фатхулла, не забывая о своих обязанностях за столом, наливал друзьям чаю, пододвигал самсу.

— Дети, хвала Аллаху, здоровы. Жена дома — решили, что лучше ей быть с ними. Да и сто рублей, что она зарабатывала на «Малике», проблем не решают. А я вот здесь... Думаете, так сразу, с бухты-баракты?

Нет, меня давно в общепит зазывали. Многие мои дружки кулинарные курсы окончили и мне все время говорили: «Ты внук Нигмата-бобо, зачем тебе инженерная должность, чем она тебя манит?»

А дед мой, Нигмат-бобо, да будет вам известно, действительно был знаменит в свое время на весь Ташкент. Он мог приготовить плов на пятьсот человек! А это мало кому удается, я, например, больше чем на двести пятьдесят не рискую, да и то готовлю в двух казанах. Помню, как с утра дед собирал свой нехитрый инструмент, и все не спеша, не суетливо — наверное, от него передалась мне медлительность,— и так же не спеша, с достоинством направлялся в дом, где намечалось торжество и куда был зван готовить свадебный плов. Часто и меня с собой брал. Он меня всегда при себе держал, просил помочь, говорил, что стар уже и трудно ему, хотя, как я теперь понимаю, это он меня так учил, приваживал к делу.

Так что дед обучил меня своему ремеслу не хуже кулинарного техникума, эта работа все-таки не одним дипломом оценивается, а умением, результатом, тут халтуру за словами не спрячешь, людей за свои деньги горелый или сырой плов есть не заставишь. И я знал, что у меня есть надежная и нужная людям профессия, не сложится, не получится где — место у плиты для меня всегда найдется.

Не знаю, что сыграло решающую роль — дети, неустроенность или работа, к которой я терял интерес день ото дня. Да и мог ли я называть то, чем занимался, инженерной работой? Все на каких-то побегушках, в каждой бочке затычка: улицы мести, деревья сажать, на строительство срочного объекта — везде в первых рядах; совещание, мероприятие какое — опять бегом, бросай все дела. На сенокос, на виноград, на овощную базу — опять давай-давай! А уж о хлопке каждую осень я молчу, не мне вам рассказывать, что это такое...

Знаете, я даже рад, что на меня вдруг все так сразу навалилось: семья, дети, непутевый отдел, «инженеры» наподобие Дильбар, внучки, дочки влиятельных папаш. На одно лицо размалеванные Анжелы, Элеоноры, Гульчехры, Санобары, Сусанны, Фиры, Эсфири, которым и слова не скажи... Иначе бы я никогда не решился порвать все сразу, отирался бы, наверное, до седых волос в отделах, жил бы по принципу: «День прошел — и слава Богу. Зарплата идет — и ладно, а может, и премию подкинут». Да и семью на сто семьдесят одному тянуть невозможно. Про квартиру я уж и не говорю — пример Марика у всех в памяти, а детям моим сегодня не просто крыша над головой нужна, простор необходим, их ведь вон сколько.



Вы и сами знаете, у котла я всегда чувствовал себя хозяином положения, так что это мое место. Премии я в тресте получал, и не раз, да ведь там их всем дают, никого не обделяют. Но ни разу никто меня за работу не поблагодарил, не порадовался, что толково и в срок что-то сделано. А тут на днях подходит ко мне одна девочка, лет шести, и протягивает конфетку, говорит: «Дядя, вы такой вкусный плов готовите всегда, спасибо...» Очень тронуло меня это, больше премий и похвальных грамот, что раздают всем подряд по большим праздникам...

Друзья внимательно слушали, не сводя глаз с Фатхуллы. Он обернулся, обвел рукой свои владения:

— Смотрите, еще нет обеденного перерыва, а народ уже подходит. Видите, у многих в руках кастрюли, чашки — кто домой берет, кто на работу. Девять из десяти — мои постоянные клиенты, и мне жаль, когда плова не хватает на всех. Знаете, какая это радость — видеть довольные лица и длинную очередь к твоему казану? Бывает, иной раз не приду на работу, так спрашивают: где наш повар, почему сегодня плов не тот? Здесь я и получаю больше, чем в тресте, и заработанные деньги мне больше в радость, чем те высиженные. За час-два от огромного котла не остается ни рисинки, и я свободен. Я занимаюсь только пловом, а если и подметаю, то лишь свою территорию. «Свободен» не означает, что бездельничаю, меня, как и деда, стали приглашать на свадьбы, торжества, и месяц мой расписан на много дней вперед, вот, посмотрите... — Фатхулла вынул записную книжку, заполненную аккуратным убористым почерком: телефоны, адреса. — ...Оказывается, в Ташкенте не так уж много мастеров, которые берутся готовить свадебный плов.

Конечно, на первых порах и слава деда моего помогла, помнят его в узбекских кварталах старого города, а теперь у меня и своя репутация крепкая, от желающих отбоя нет. Город большой, народ живет хорошо, весной и осенью в сезон свадеб с ног валюсь, устаю, тут и там — тяжело. Но эта работа и усталость мне в радость, да и труд оплачивается щедро. Я уже первый взнос в кооператив внес — на пятикомнатную квартиру! Райисполкомовцы заходят обедать, они и помогли, чтобы в другой район меня не сманили. Дом тут, рядом, в третьем квартале сдается. Так что через полгода прошу на новоселье...

Мусаев замолчал, налил себе в пиалу чаю, сделал пару глотков, словно в горле пересохло.

— Однажды вы поняли Марика, — продолжил он, — помните, когда он уехал с хлопка? Теперь поймите и меня. Причины разные,

но суть одна: абы как работать не хочется, хочется быть на своем месте, заниматься делом. Ну, мне пора, а вы сидите. Если не попробуете мой общепитовский плов — обижусь. Уверяю, он не хуже того, что я готовил на хлопке.

Он легко поднялся с места, уверенный в себе, и пошел к котлу, у которого его уже дожидалась изрядная очередь... Они тоже съели тогда по порции действительно отменного плова и хвалили товарища...

— Фатхулла... — повторил сейчас Рашид, вспомнив приятеля.

Почему он так редко бывал у Фатхуллы на Чиланзаре? Ведь и машину имеет, и по делам часто бывает на Чиланзаре — едва ли не каждую неделю его, как и Дильбар, посылают за всякими бланками, отчетами для треста, используя как курьера с собственной машиной. Да потому, видно, что он стыдился встречи с Фатхуллой. Конечно, стыдился, хотя никогда об этом всерьез не задумывался. Подспудно, неосознанно стыдился, не избегая встреч специально, но чувствуя, что они доставят мало радости, ведь не миновать вопроса: как дела, чем занимаешься?

А дела-то у него все какие-то мелкие, незначительные, и уже не по возрасту: Фатхуллу-то не обманешь, он сам инженер. Все эти мигающие, светящиеся табло, диаграммы, карта-мишура, — что это как не цирк, примитивные игры для взрослых, тех, кто сам хочет обмануться, радуясь, что нажатием кнопки может вызвать красивый сполох огней или бегущую строку цифр, которые устарели уже до того, как их заложили в программу? Фатхулла спрашивал бы о деле, а дела-то нет, одно мельтешение, мелкое, суетное оправдание бытия.

Сейчас, когда мысли, неожиданно закружившись вокруг Дильбар, переметнулись от нее к Марику и от Марика к Фатхулле, Давлатов почувствовал, что завидует Мусаеву. Нет, не тому, что тот хорошо устроился, а тому, что есть у человека дело, которое он знает и которое дает ему не только хлеб насущный, но и душевное равновесие.

От этих дум стало как-то не по себе. Пытаясь отвлечься, Рашид взгляделся в даль, но глазу не за что было зацепиться — кругом лежала пустынно однообразная желтоватая небороненная земля. Взгляд вновь, как вчера, уперся в Чаткальский хребет. Странно, сегодня он казался несколько иным, чем вчера, вроде открылись новые альпийские луга на склонах, резче и четче обозначилась седловина. «Отчего бы это?» — подумал Рашид и вдруг обнаружил, что над горами нет клубящихся облаков, — над ними ясное, как и над полем, голубое небо, оттого-то и картина совершенно иная.



На ум пришел Рерих, чьи картины напомнили ему неожиданно открывшийся по осени хребет. Но сколько ни рылся в памяти, ничего больше с этим именем связать не смог. «Немец», — решил наконец и понял, откуда он знает эту фамилию: совсем недавно была телевизионная передача. «А, телевизионная...» — подумал он и успокоился. Ни к чему рыться в памяти: телевизионные знания — обманчивые, как недолгая любовь: с глаз долой — из сердца вон.

Но ясно видимый хребет будоражил мысли, заставлял думать, и неожиданно Рашид ощутил желание заглянуть в себя, разобраться в своей жизни — опасная затея, и что-то в нем неистово сопротивлялось этому желанию; две силы словно раздвоили его, лишая воли, и он уже бездумно вглядывался в пустые поля, не смея поднять глаза на высокие горы, сеющие смуту в его сознании.

В памяти всплыл случай пятилетней давности. Тогда в моду только вошли широкие галстуки яркой расцветки с обязательным платочком в тон в нагрудном кармане пиджака. Прямо «галстучная революция» произошла, к которой, как всегда, оказалась не готова отечественная легкая промышленность. Но жена, добывавшая себе немислимыми путями косметику, достала ему такой комплект: широчайший галстук на шелковой огненно-красной подкладке, на лицевой стороне — кубизм и авангардизм, все вместе, и такой же платочек. «Италия», — гордо объявила жена, вручая подарок.

Галстук и впрямь был супермодный. Не раз потом спрашивали мужики то на автобусной остановке, то прямо на улице: «Где достал?» На что он отвечал кратко: «Италия» — и все становилось на свои места. На огненно-красной подкладке галстука имелась шитая золотистыми нитками броская эмблема с названием фирмы, а чуть ниже, помельче, был указан состав ткани — стопроцентный полиэстер.

Однажды в отсутствие жены, перевязывая галстук, Рашид решил, что не мешало бы слегка подгладить его. Доставая утюг, он посмеивался над собой — кто же гладит стопроцентную синтетику? — но утюг все же включил. Укладывая на стол одеяло для глаженья, внушал себе мысль остановиться, но руки делали свое дело, и когда разложил галстук, подумал: «Ну, ладно, хоть через марлю», но руки к лежавшей рядом марле не потянулись. Он занес тяжелый утюг над галстуком и, как показалось ему, долго стоял в сомнении. Один голос шептал: «Остановись, не рискуй, это твой самый модный галстук, вызывающий зависть у половины города»,

другой, словно бес, подталкивал: «Да что ты, и прижмешь-то всего разок...» Он приложил утюг — и галстук растаял на глазах...

Подобное испытывал Давлатов и сейчас: хотелось разобраться в себе, ведь когда еще выпадет такое время — некуда спешить, нет поводов суетиться, а главное — душа готова к откровению. Но что-то удерживало, и крепко, от откровенности с самим собой. «Ну, чего ты боишься,— подначил он себя.— Ведь не натворил еще непоправимого, отчего, бывает, и оглянуться назад страшно. Скорее наоборот, и следов, и вех-то нет никаких, сколько ни оглядывайся, приложи утюгом горячим память — и растает все, как синтетика, пустым легким дымом изойдет: из дыма соткано, в дым уйдет, вроде и не было, привиделось как бы». Но непросто, оказывается, заглянуть себе в душу, боязно. Что, кроме беспокойства и горечи, там обнаружишь?

От беспокойных мыслей снова стало зябко. Рашид взял посох и тяжело поднялся. «До обеда еще далеко, пойду-ка в чайхану, помогу ребятам приготовить ачик-чучук к шурпе, на это у них времени никогда не хватает»,— решил он, пытаюсь занять себя чем-нибудь, и повернул назад к Кумышкану.

Возвращаясь другим берегом арыка, он сразу заметил, что кончился легкий лет паутины, и та, что еще час назад ажурной шалью опутывала корявые тутовники, как-то сникла, опала, изменилась в цвете и, слившись со стволом и сучьями, затерялась, пропала.

Берега рукотворного арыка были одинаковыми, на одном уровне, сейчас Рашиду чаще встречалась осока, и среди нее издали чернели изящные бархатные головки камышей. Они росли в заманчивой близости от берега, и Давлатов сломал сухой стебель одного из них, наиболее крупного, который вот-вот начнет сыпаться: жизнь его — до первого сильного порыва ветра. Ему не удалось пройти и трех шагов, как от неосторожного взмаха руки головка камыша рассыпалась, словно выстрелили новогодней хлопушкой с конфетти, и в воздухе повисли сотни раскрывшихся парашютиков, которые тут же подхватил слабый ветерок Кумышкана и плавно понес в пустые поля.

Давлатов смотрел вслед улетающим семенам и видел не хлопковое поле, а пустынную осеннюю дорогу с озер, среди облетающих вязов, и уже белесое от ночных холодов высокое небо над ними. По накатанной до синевы телегами, мотоциклами, машинами колее бежал навстречу ветру мальчик, высоко подняв над головой такую же головку камыша. «Я — реактивный самолет!» — кричал мальчик в гулкую осеннюю тишь, и ветер нес его звонкий голос над рябью озер



и застревал в густых камышах, а за ним, как хвост кометы, долго тянулся след рассыпающихся парашютиков. След детства. Мальчик, бегущий навстречу ветру и захлебывающийся от восторга,— он сам...

Медленно шаря бесцельно длинным посохом по пожухлым кустам репейника, испугивая лягушек, объявившихся вновь с затяжным теплом, Рашид побрел берегом арыка, выискивая местечко, где можно присесть и предаться воспоминаниям о детстве, таком безоблачном и счастливым,— когда рядом отец и мать, оба сильные, умелые, упреждавшие каждое его желание. Он шагал во власти дум и не заметил, как вышел ко вчерашнему взгорку, где случайно задремал и где его отыскал Баходыр.

Вот у Баходыра детство было тяжелое, он сам рассказывал. С малых лет на хлопковом поле, да и дома всякая живность, огород, а потом пошли сестренки и братишки, которых ему пришлось нянчить. «Я свое детство и не помню — работа, обязанности старшего, только со двора ступишь, уже кличут: Ба-хо-дыр!» — как-то с грустью признался ему друг. Но думать о чужом детстве не было желания, хотелось вспоминать свое...

Детство — это высокое-высокое голубое небо и взлетевший от удара биты под небеса тугой мяч — лапта, любимая игра их мест, очень похожая на американский бейсбол.

Детство — это целые дни на реке, рыбалка в тихих затонах, где чернее от глубины вода и где, если посчастливится, можно выудить сома, а уж прожорливую щуку и окуня — всегда; это купание на прогретых отмелях, ежевика в заречных кустах, ночевки на озерах, где по ночам тяжело ухает филин и сонно плещется крупная рыба.

Детство — это снежная крепость и крутые ледяные горки, с которых грохочут сани, это мягко падающий снег, пурга за окном и мама, читающая вслух тукаевского «Шурале». Детство — это пахнущий лаком, сияющий хромом велосипед и дорога к реке, сразу ставшая такой близкой.

Детство — это глухая темень улиц, громады стогов завезенного с полей сена, башни сложенных на просушку кизяков, тайные углы ночного подворья, пыльно-влажный запах политых огородов; это игра в прятки, из-за которой торопишь день, закатное солнце; это мамин голос в темноте, за забором, под высоким звездным небом: «Рашид! Мальчик мой, до-мо-ой!»

Рашиду вспомнился ясный зимний день, воскресенье... Мама дома, отец с раннего утра на станции — пришел долгожданный уголь.

Отгружали в первую очередь на хлебопекарню и по школам, о выходящем и речи не могло быть. Рашид, наскоро позавтракав горячими блинами с медом и сметаной, схватил в прихожей тулупчик, пошитый соседом-скорняком Хайрулло-абзы, и выскочил во двор, прихватив в сенцах санки с высокой спинкой и крепкими железными полозьями,— отец смастерил их еще летом. Ему хотелось первым прибежать на горку, которую сделали ребята постарше в соседнем квартале, но одному боязно — на чужой горе иногда задираются, говорят: ишь, ушлые, сами постройте и катайтесь всласть. Но ребят постарше на их улице мало, а вдвоем с Минькой Паниным, с которым он уговорился еще вчера кататься с утра на санках, такую горку не сладить: сотни ведер воды надо из колодца натаскать, да и саму горку красиво насыпать и утрамбовать тоже умение нужно.

Зима выдалась снежная, телеграфные столбы в самом селе были наполовину занесены, иногда сани с сеном еле могли проехать в какой-нибудь переулок, и крутились, заезжали с другой улицы. Подворья потонули в высоких сугробах; чтобы пробиться к улице, приходилось рыть траншеи и ходы в снегу.

Большой двор Давлатовых был очищен от снега — утром отец первым делом брался за огромную деревянную лопату. Очищал он двор своеобразно: вырезал ровные квадраты уплотнившегося снега и сносил их к забору. Издали их двор походил на крепость, потому что от снегопада к снегопаду кладка снежных стен росла, и метель, буйствовавшая чаще всего по ночам, уже реже гуляла у них во дворе. Глубокие траншеи, в которых Рашида не было видно совсем, вели к сеновалу, сараям, коровнику и стоящему в самом дальнем углу туалету. Была во дворе у него и своя горка — насыпал отец, но она ему не нравилась, и катались с нее больше соседские девчонки, а идти к ним в компанию ему не хотелось — задразнят. Да и что это за горка без трамплина, разве сравнить ее с той, что на соседней улице?

Рашид быстро одолел двор и вышел за крепостную стену.

Кое-кто на их улице, да и на соседних тоже, последовал примеру Давлатова, и то тут, то там виднелись снежные стены, ограждавшие усадьбы от заносов. Напротив, через дорогу, между двумя такими высокими крепостными стенами, словно выпавший зуб, находилась занесенная снегом усадьба Паниных. Старенький дом был завален снегом под самую крышу; из развалившейся от осенних дождей трубы, которую венчало прогоревшее и проржавевшее ведро, вилась хилая струйка дыма,— издали казалось, что дымит сугроб.



Оставив санки у высоких кованных железом ворот, которые только на треть торчали из снега, хотя отец не раз за зиму их откапывал, Рашид направился к Миньке. Дело это не совсем простое: улицу он одолел быстро, хотя дважды утонул в сугробах и набрал полные валенки снега, а к дому Паниных пробрался, проваливаясь через шаг в снег по пояс.

Минька копошился у самой двери сарая. Он успел как мог откидать снег от входной двери, и туда удавалось спускаться, как в блиндаж. Теперь он освобождал вход в коровник. Увидев дружка, Минька широко улыбнулся и сдвинул на затылок старый заячий треух, доставшийся ему от старшего брата. От усердия он разгорячился, покраснелся, от него валил пар.

— Не могу, — ответил Минька товарищу, напомнившему про вчерашний уговор. — В хлеву надо почистить, корову напоить, сена надергать, воды в дом натаскать, ход на улицу пробить. Не могу... — И, застегивая распахнутую телогрейку, с завистью добавил: — Тебе хорошо, ты птичка божья — ни забот, ни хлопот. Дядя Ильяс, как бульдозер, за час все сдвинул, со всеми делами справился, а у нас это на мне, так что не жди, к обеду только управлюсь. Ты уж санки не носи, на твоих хорошо кататься, не рассыплется с ледяной горы, как магазинные, — попросил Минька и начал энергично шуровать большой лопатой.

Рашид молча повернул назад. Только гордость не позволяла ему заплакать — ну, обидно же. «Божья птичка, божья птичка», — повторял он, распаяя свою обиду. Конечно, это не Минька придумал, мать его, тетя Шура, однажды так сказала. Рашид был еще мал, чтобы понимать глубокий смысл, скрытый в безобидных словах, но догадывался, что с божьей птичкой не все благополучно, и, возвращаясь домой, опять проваливаясь по пояс, теряя валенки в снегу, он вспомнил вдруг, что и раньше слышал в свой адрес эти слова, да не придавал им никакого значения, не чувствовал обиды.

Так случалось не раз, когда он заезжал на велосипеде или забегал к дружкам, приглашая их на речку, или поиграть в футбол, или за тюльпанами — по весне вся заречная степь до самого горизонта полыхала ими, и аромат стоял такой, что век не забыть.

Друзья его, когда ни приди, то пололи огород, то переворачивали кизяки на просушке, то рубили траву для гусей, то помогали мазать хаты, то нянчились с младшими сестренками и братишками, которых никак нельзя было оставить одних. Обойдя с десятков дворов,

ему удавалось найти дружка для своих затей, да и то не всегда,— вот тогда он и слышал чье-то материнское, незлобное: «Ему-то что, он птичка божья...»

От обиды кататься на санках расхотелось. Назло Миньке он отдал санки девчонкам, что наладились спускаться с его горки, и направился домой. Мама все еще копошилась в сарае, ведь дел у нее там невпророт: и за телятником присмотреть, и за баранами, и за драчливыми козами, славящимися знаменитым оренбургским пухом, и за курами, гусями...

Рашид быстренько снял мокрые от снега брючки, поставил в печье валенки — у него была еще пара подшитых, в которых удобно играть в хоккей,— и встряхнул хорошенько тулупчик, раздумывая, надеть его снова или облачиться в коротенькое зимнее пальтецо, что привезла мать из города. Быстро оделся в сухое, спрятал тулупчик с мокрым подолом под отцовский полушубок и выбежал во двор с твердым намерением помочь маме,— он понял упрек Миньки.

По вырытой отцом снежной траншее, по краям которой щетинились его пулеметы, зенитки, скрытые доты — в «войну» всегда играют только у них во дворе, где столько укреплений, рвов, засад,— Рашид направился к сараям, заглядывая по пути в один, другой...

Мать он нашел в коровнике — она накладывала вилами с чистыми зубцами навоз и подстилку из-под Звездочки в старую оцинкованную ванну, в которой некогда купали его. Корыто было уже полное, и Рашид, довольный, что подоспел вовремя, схватился за веревку, чтобы волоочь его по снегу на зады огородов, где они складывали его в кучу, а летом будут делать из него кизяки. Но мать, которая вроде и стояла от него вдалеке, неожиданно ловко перехватила бечеву:

— Я сама, сынок, не пачкайся.

Рашид попытался отнять у нее поводок:

— Мама, я хочу тебе помочь, у меня ведь каникулы.

Мать бросила бечеву на землю и пошла на свет к двери, где на сухом месте стоял Рашид. Она сбросила на снег варежки, обняла его, и он ощутил тепло ее телогрейки, пахнувшей сеном, соломой, телятником, печной золой, молоком — тем, что когда-то, уже став взрослым, он назовет запахом дома.

— Ах ты, мой золотой! Каникулы, говоришь? Вот и гуляй на здоровье, детство — пора быстрая, быстрее солнышка, не успеешь оглянуться, оно на закат покатилося. Успеешь еще наработаться, век



долгий... — говорила мать, волнуясь от прилива нежности, а Рашид пытался вырваться из ее объятий и бубнил:

— Ведь все мальчики помогают, вот Минька...

— Что Минька? — грустно вздохнула мать. — Его отцу хоть трава не расти, глаза зальет — вот и все его счастье. Оттого-то Миньке не до игр, играл бы, коли возможность была. Ведь у них, кроме Миньки, еще Сашка, Светка, а у меня ты один, понимаешь, один, кровиночка моя. Да разве я позволю тебе в навозе ковыряться, рисковать собой? Ведь возле животных болезни всякие бывают. Я, наверное, одна в Степном трижды в год корову ветеринару показываю, знаю, что ты молоко любишь. Да еще кругом здесь бактерии какие-то, ты ведь сам мне из книжки читал. Так что выбрось из головы работу, помощь, иди гуляй, а не гуляется — книжку почитай, потом мне расскажешь. Догуляй, мой золотой, и за меня, я своего детства и не помню, нас ведь семеро по лавкам было, а кормилец один, потом и его война забрала...

Рашид слушал и чувствовал: останься он еще на минуту — заплачется, и зацелует его мать, — случаются у нее иногда такие порывы вдруг ни с того ни с сего, вспоминается ей, наверное, что-то. Круто повернувшись, он побежал по траншее, не замечая своих пушек и пулеметов...

Года в четыре, а может в пять, когда Рашид мог уже что-то понимать, он обнаружил, какой у них большой красивый дом и сколько всего занятого находится во дворе. Позже, лет в тринадцать, он узнал и какую роль сыграл в рождении этого прекрасного дома, да и в судьбе своих родителей тоже.

Дом стоял необычно для села — в глубине большой, в восемнадцать соток, усадьбы, но родился Рашид не в нем, дом заложили через месяц после его рождения, весной, как только обсохла земля. Рассказывают, отец был так нетерпелив, что еще с марта начал отводить с участка талую весеннюю воду, сколол весь лед, снес его на зады, в огороды.

А родился Рашид в хибарке, что стояла здесь же, у дороги. У отца не было никакого желания строиться, в семье все шло к распаду, потому что жили пятый год, а детей не было. И вдруг спасший семью долгожданный ребенок, да еще сын! Не всякий наследный принц приносил, наверное, столько радости и счастья.

В детстве Рашид часто жалел, что не видел, как возводился дом, постройки с сеновалом, бетонным подвалом, баней, гаражом, просторным хлевом, где, кроме коровы, у них содержались пяток овец

и три пуховые козы — мать на досуге вязала пуховые шали. Сколько он себя помнил, подворье у них всегда было ухожено, сверкало издали оцинкованными крышами дома и пристроек — отец все делал основательно. И даже забор не подправляли до сих пор, только подкрашивали раз в два-три года.

На сабантуях — праздниках урожая, проводившихся в их краях ежегодно, отец не имел равных в народной борьбе кураш. Ох, и любил же он борьбу! Он вряд ли знал какие-то особые приемы или отличался большой ловкостью и изворотливостью, просто стоило ему ухватить противника как следует — и просто сминал его. А когда в их село при железной дороге, ставшее к тому времени крупным районным центром, приезжали молодые люди, знавшие приемы и вольной, и классической борьбы, имевшие спортивные разряды, отец боролся и с ними. Ему не всегда удавалось прижать противника лопатками к земле, но уползающий, как уж выкручивающийся противник не вызывал симпатий сельского люда, и все дружно требовали отдать главный приз — барана — Ильясу. Отец нажил себе много врагов среди молодых спортсменов, которым не удавалось уложить сельского грузчика на лопатки, оттого, однажды послушав мать, и перестал участвовать в курашах, хотя был еще силен.

Мать, Кашфия-апа, была под стать отцу: рослая, статная, сильная, но отличалась робостью, кротостью нрава, немногословием, — сказывалось, наверное, что росла шестой дочерью сельского коновала Гарая-абзы. Обоих их отличала еще одна общая черта — неистовость в труде, будь то дома или на работе. С ними работать в паре, даже на частых в те годы хашарах, что созывал по воскресеньям каждый строящийся, не всяк соглашался: загонят, говорили шутя. Хозяева, зная безотказность Давлатовых, ставили их на самое трудное и горячее место. А зазывали их на «помощь» охотно, ибо и шутками отец сыпал часто, а мать, при всей своей тихости и незаметности, первой певуньей считалась на селе. Правда, Рашид никогда не слышал от нее песен веселых, озорных, а все больше грустные, задумчивые.

Мать работала на элеваторе — старом, построенном в двадцать седьмом году, о чем свидетельствовала чья-то криво сделанная запись черной краской на потемневшей от времени цинковой обшивке башни. Перелопачивала она там с товарками изо дня в день огромными деревянными лопатами целые эвересты зерна, чтобы не задохнулось, не запрело, не завелся в тепле жук. О механизированных элеваторах, где в огромных бетонных баках денно и нощно трудятся транспортеры,



перегоняя зерно из ствола в ствол, тогда лишь мечтали. Они же отправляли зерно на мельницы и мелькомбинаты — грузили и в вагоны, и в машины, россыпью, валом и в мешках, так что горбилась мать на элеваторе беспрестанно. И другого выхода не было — с грамотой у нее, как и у отца, было не густо, а работой их село Степное в те годы не особенно изобиловало.

Прикипела Кашфия сердцем к кормильцу-элеватору, ведь в войну пришла туда подростком, присоединившись к трем своим сестрам, тоже не достигшим совершеннолетия, а Гарай-абзы, единственный мужчина в доме, всю войну прошагал в артиллерийских обозах. Может, оттого, что рано пришлось ей гнуться под пудовыми мешками, и не могла она долго исполнить свой женский и материнский долг и едва не лишилась семьи. И понятно, что Кашфия, как и всякая мать, не чаяла души в единственном сыне, потому что больше детей судьба не послала, хотя они с мужем на радостях и о дочери заговорили, и на других сыновей в мечтах замахнулись.

Кашфия никогда и никому не признавалась, даже мужу и старшим сестрам, оставшимся вековухами в выкошенном войной степном поселке, что считала Рашида посланным ей свыше кем-то, кого она не знала как и назвать, ибо не являлась ни верующей, ни атеисткой, но была твердо убеждена: кто-то услышал ее мольбы и увидел слезы в бессонные ночи, понял ее страх перед одиночеством; больше того, тот неведомый и невидимый, подаривший им на радость Рашида, спас ей жизнь. Вот именно — спас жизнь! Робкая Кашфия твердо решила: если Ильяс оставит ее, она не станет жить...

В ее отношении к сыну, кроме безоглядной любви, порою сквозило и что-то мистическое — он был для нее больше чем сын. А сын, сохранив матери жизнь, круто изменил и уклад семьи, хотя Кашфии грех было жаловаться на мужа: трудяга, каких поискать, мастер на все руки — хоть печь сложить, хоть полы настелить, хоть крышу железом покрыть. И, наверное, у него одного во всем районе был настоящий алмазный стеклорез, доставшийся ему в наследство от дальней родни из Оренбурга. Этот стеклорез, сделанный в прошлом веке какой-то немецкой фирмой и хранившийся в замшевой коробочке с застежкой, наподобие футляров для драгоценностей, берегли пуще глаза. Одним стеклорезом в сезон мог бы прокормить Ильяс семью, ибо налаживалась жизнь в их бедных краях, начинал народ строиться.

И до рождения сына Ильяс не знал удержу в работе. Огородов у них в Степном было два — один от элеватора, другой от железной

дороги, где он трудился на грузовом дворе. Картошка у них по тем годам росла особенная — крупная, красная, тонкокожая. Отсыпал Ильясу мешок как-то проводник вагона-рефрижератора, что стоял у них на станции три дня из-за поломки, а Ильяс добровольно помогал бедолаге перетаскивать мешки из отсека в отсек, чтобы устранить неисправность. Мешок этот, тщательно перебранный, запрятал Ильяс до весны, до посадки, сразу оценив крупную и вкусную белорусскую бульбу. Одного огорода на прокорм им хватало вполне, а урожай со второго он укладывал во дворе в специальной яме, выложенной дерном, засыпал сверху сухим речным песком с Илека и закрывал тоже дерном, оставляя отдушины для воздуха. А по весне всю картошку сразу, оптом, покупал районный ресторан.

В те годы в редком дворе не было коровы — главной кормилицы семьи, и в июне стар и млад, все способные держать в руках вилы, подряжались в соседние аулы и казачьи станицы косить и убирать на паях сено. Расчет установился давно: девять волокуш или ЗИСов — колхозу, десятая — себе.

На сено Ильяс ездил со своим дружком, таким же ломовым работягой, грузчиком из райпотребсоюза Гришкой Авдеевым, крепким и рослым мужиком, как и он сам. Если обычный мужик, работая на сеноуборке от зари до зари, ночуя прямо в поле, зарабатывал машину сена за неделю, то Ильяс с Гришкой за это время зарабатывали по две, и не помнится случая, чтобы кто-то раньше них привез его в Степное, да и машина, доставленная ими, иногда равнялась двум — чтобы загрузить ЗИС, который давали на три-четыре часа, тоже надо было иметь навык и сноровку, не говоря уже о силе.

Охотников купить сено у Гришки с Ильясом в селе было хоть отбавляй, всякий пытался задобрить их, потому как сено они привозили пахучее, хорошо проветренное, и машина нагружалась выше некуда. Уже тогда появились в селе начальники и всякие сноровистые люди, которым проще заплатить деньги, чем гнущься в поле. А деньги обоим, и Гришке, и Ильясу, были нужны позарез — мечтали они о своих домах, хотели быстрее вылезти из тех хибар с земляными полами, что достались им в наследство от погибших на фронте отцов. Подзадоривало и то, что мало-помалу народ строился, особенно работавшие на железной дороге, — те выписывали старые шпалы, что меняли на перегонах, а из них мастера-плотники ставили такие дома — просто загляденье. Одно время шпалы даже стали эквивалентом денег в Степном. Ильяс, например, обменял у дорожного мастера машину



сена на сто двадцать шпал, причем уговор был: отборное на отборное, и мастер не подвел. Позже Ильяс попросил у него еще сто, в счет будущего сенокоса, и мастер выручил, привез с соседней станции, куда такая строительная мода еще не докатилась.

Деньги за картошку, за сено, за телушку — все откладывалось на дом. И во дворе на задах вдоль забора высились в штабелях, обветриваясь от запаха креозота, шпалы. Мешки с цементом в сарае, доски, крепежные бруски, планки, стойки — все, что перепало с грузового двора станции, росло, увеличивалось, только день ото дня Ильяс заметно терял интерес к своей затее. Не говорила Кашфия долгожданного: «Я жду ребенка», и оттого сильно боялась, что запьет ее Ильяс, потому как пили в Степном, и пили крепко, по-черному. За месяц можно было лишиться строительного добра, что собирал Ильяс по крохам, но муж устоял.

А тут и подоспело долгожданное: «Жду!» Надо было видеть Ильяса, когда он услышал это. Он подхватил свою Кашфию на руки, словно балерину, и закружил в тесной землянке с низкими потолками, выкрикивая что-то нечленораздельное, но радостное. Кашфии казалось: зацепи он случайно могучим плечом стойки, подпиравшие дряхлую хибару, — она рухнет им на голову. А на дворе уже стояла зима. За ужином в тот день он и сказал — весной начинаем строиться. За месяц оформил и получил кредит на строительство сроком на двадцать пять лет, сумму не ахти какую — шесть тысяч старыми, но в то время занять такие деньги было непросто.

Дом строился стремительно, легко, хотя «легко» вряд ли подходящее определение — так дома не строятся, за них приходится платить потом и мозолями, натруженной спиной, ломотой в руках.

Три года на грузовом дворе станции лежало машин десять камня для целинного совхоза, от которого отказывались часто менявшиеся хозяева, но время от времени исправно платили штрафы железной дороге за невыбранный груз. Едва подсохли грунтовые сельские дороги и потянулись из совхозов машины на грузовой двор, Ильяс и предложил экспедитору: давай, мол, я вывезу камень себе на фундамент, сниму груз у вас с души. Подходил очередной срок штрафа, и обрадованный экспедитор, не знавший, что и делать с камнем, не только разрешил, но даже два самосвала выделил, и Ильяс со своим дружкой Авдеевым за ночь управился.

До того ни один дом, ни одно казенное здание в Степном не возводились на каменном фундаменте. Ильяс однажды после войны

побывал в Оренбурге, тогда еще сплошь застроенном уютными каменными и деревянными купеческими особняками, поставленными в самом начале века, и удивился их красоте и добротности. И тогда же, гуляя по Аренде, где жила его престарелая родня из интеллигенции, некогда выпускавшая татарский литературный журнал и организовавшая первый в городе профессиональный театр, дал себе слово, что когда-нибудь отстроит себе дом не хуже, чем у буржуев, живших в красивых и удобных домах на каменном фундаменте.

Его дружок Авдеев тогда еще не был женат и почти два года, пока строился дом, пропадал после работы во дворе Давлатовых, ибо знал: когда он начнет строиться, Ильяс подставит свое крепкое плечо и под его дело. За деньги наняли лишь братьев Кузьминых, известных в округе плотников. Хотя Ильяс сам знал и столярное, и плотницкое дело, стал с Гришкой подручным у братьев. Кузьмины были родом из Оренбурга и хорошо понимали, что затеял и чего хочет Давлатов, пожалуй, они и свою мечту вложили в этот необычный для Степного дом.

Влез Ильяс в долги на годы, и рассчитываться предстояло не только деньгами. Когда дом уже поднялся и стоял, зияя непокрытой решеткой стропил, вышла заминка — Ильяс никак не мог купить оцинкованной жести на крышу. Выручил его плутоватый кладовщик райпотребсоюза хромой Алляяр, доводившийся дальней родней Кашфии. Как-то вечером он заявился к Давлатовым и долго осматривал в потемках строящийся дом, хвалил, не скрывая зависти, упрекал за нескромность, имея в виду габариты и планировку, и вдруг, показав на крышу, сказал, что в этом году железа не дожидаться, все фонды выбраны, и на следующий еще не известно — дадут или нет, а он, мол, по-родственному решил помочь.

Пока Алляяр с Ильясом осматривали дом, Кашфия быстро собрала на стол, разожгла самовар, — не жаловал их вниманием кладовщик Алляяр, чье имя по-русски означает «любимый Богом», хотя и приходился родней. За ужином Алляяр, отчего-то смущаясь, что на него было совсем не похоже, достал из кармана полувоенного френча защитного цвета, что носил из приверженности к форме, бумажку и не очень смело, словно раздумывая, протянул ее через стол Ильясу:

— Вот оплаченная квитанция, храни на всякий случай, железо редко бывает, и по-всякому его достают... Пятьсот листов, думаю, хватит тебе с запасом. Заезжай завтра в обед, когда народу не будет — не один ты кровельное железо ищешь, — и вывезешь потихоньку.



Обрадованный Ильяс вскочил, не зная, как отблагодарить щедрого родственника, к которому и обращаться не решался, зная наперед, что получит отказ: зачем тому нужен грузчик Ильяс? Оказывается, сам узнал, сам оплатил, сам принес, по-родственному...

Хозяин мельком глянул на сумму, написанную аккуратным почерком Аллаяра и цифрой, и прописью, и велел Кашфии достать деньги: собранные на железо держали отдельно. Аллайр деньги взял нехотя, пересчитывать не стал, словно раздумывал: брать или не брать.

— Наверное, по-родственному было бы денег с вас сейчас не брать, рассчитались бы в лучшие времена, так ведь сумма немалая, да и ревизия на носу,— и сунул пачку в глубокий карман засаленных галифе.

— Спасибо, спасибо, Аллайр-абы,— частила Кашфия, гордая тем, что и у нее сыскалась нужная родня.

— «Спасибо», конечно, хорошо, дорогая, но в наши дни одним «спасибо» сыт не будешь. Пятьсот листов в одни руки — это риск. Будет по-родственному, если я начну строиться, а Ильяс поможет мне, чтобы языки злые не трепали, что при моем окладе чужих людей нанимаю.

— Ну конечно, поможем, обязательно поможем,— в один голос ответили Ильяс и Кашфия.

— Ну вот, пятьдесят дней, думаю, справедливо,— и, не давая опомниться, Аллайр протянул Ильясу пухлую руку, словно скрепляя сделку, встал из-за стола, оставив сиявших от радости родственников, но еще более радуясь сам и тая эту радость от Давлатовых.

Конечно, помощь Аллаяра оказалась кстати: оцинкованного кровельного железа действительно не было до следующего года. Но рано радовался Ильяс — любимец богов крепко его закабалил. Через три года, когда начал Аллайр строиться, Степное охватил настоящий строительный бум — строились все, и о хашарах, как раньше, и думать не приходилось, на приглашение могли прийти только друзья и близкие родственники, да и то если сами не строились, лето ведь не резиновое. И вышло так, что за работу у Аллаяра Ильяс мог бы купить жести на три дома.

В три цены встала помощь «благородного» родственника. Но не о том, что прогадал, сокрушался Ильяс — слово мужчины для него было свято и обсуждению не подлежало. Обижало другое: Аллайр расчертил крышку посылочного ящика на пятьдесят квадратов и в каждом аккуратно ставил дату, когда приходил Ильяс, причем

делал запись всегда на его глазах и дни выбирал особенно тщательно, приглашая на самую трудную работу — такую, от которой и дух пережить некогда. Иногда случалось, что Ильяс сам напрашивался, желая поскорее отработать долг, но Алляяр был тверд — отказывал. Отработав кладовщику «долг», Ильяс унес с собой эту тщательно разграфленную фанерку, исписанную каллиграфическим почерком Алляяра, где в трети квадратов, разбитых наискосок пополам, стояло по две даты, — труд после работы в долгий летний день Алляяр засчитывал только за половину рабочего дня. Однажды, когда Рашид учился в пятом или шестом классе, он, увидев разграфленную фанерку, спросил, что это означает, и отец хмуро ответил: «Память, как я отбывал срок в долговой яме у своих родственников».

И еще долго, не год и не два после того, как въехали в новый дом, Ильяс вечера, воскресенья, а потом и субботы, когда пришла пятнадцатка, редко бывал дома — отработывал то у Алляяра, то у единственного в то время в районе преуспевающего фотографа Раскина, у которого пришлось брать займы деньги, чтобы заплатить городским штукатурам, потому что не знал Ильяс нового для села штукатурного дела. Пропадал он и у своего друга Авдеева, чья стройка неожиданно затянулась на годы, и у железнодорожников, без чьих шпал дома бы не возвести. И никто никогда не слышал от Ильяса ни упрека, ни отказа, никто не видел его раздраженным — он честно платил свои долги...

Годы учебы Рашида в старших классах были временем бурного расцвета самодельных вокально-инструментальных ансамблей, расплодившихся повсюду без числа. Появился такой, под броским названием «Радар», и в Степном.

Осенью Давлатов-младший начал ходить в районный парк на танцы, куда другие ребята, его ровесники, заявлялись давно, а девчонки, наиболее прыткие одноклассницы, и того раньше. Парк в их небогатом развлечении райцентре как магнитом притягивал молодежь — на танцах было не протолкнуться. Нельзя сказать, что Рашид был большой охотник и мастак по части танцев, но новые танцы и не требовали особого умения. Впрочем, в такой теснотище, как у них на площадке, и умелому танцору показать себя вряд ли удалось бы: перебирал бы ногами да дергался как все — и ладно, маневру какому-то там изящному, пируэту танцевальному места не находилось, всяк торчал на своем месте, «балдел», как выражался Минька, приехавший друга к «вечерам молодежи» — так для благополучной



отчетности значились танцы на рекламной афише парка. А когда тебе шестнадцать, манит мир за калиткой дома, волнующе звучит музыка нещадно фальшивящего «Радара», долетающая в сумерках до самых глухих заборов отходящего ко сну Степного, и кажется, что там, в районном саду, проходит без тебя какая-то особая, другая жизнь,— там огни, смех, улыбки, там волнующие глаза девушек, которых тоже манит и пьянит музыка, и не только она...

Все бы хорошо, если бы в то лето не нагнали на строительство нового элеватора в Степном условно освобожденных из заключения, определенных на так называемое вольное поселение. Вольнопоселенцы поначалу вели себя в селе мирно, избегали общественных и значных мест, как им предписывается, но, видя, что надзора за ними нет никакого, вскоре распоясались. И в пивных, и в ресторане сквозь них не протолкнуться стало ни днем, в рабочее время, ни вечером. Но больше всего приглянулся им парк... Гастроном напротив работал с полной нагрузкой до двадцати двух часов, и они, нагрузившись спиртным, шли туда. Время от времени на танцплощадке случались у поселенцев стычки между собою и с поселковыми, но в стычках с местными они держались вместе, понимая, что иначе им несдобровать. Общая отсидка и общая работа способствовали тому, что запугать юнцов и сельских мужиков им ничего не стоило.

Сложилась парадоксальная ситуация: жителям села, людям вольным, свободным, житья не стало от осужденных. Администрация парка не раз жаловалась и в райком, и в поселковый Совет, и в милицию на бесчинства вольнопоселенцев, но инертность и равнодушие властей, обещавших, как всегда, принять меры, но ничего не делавших, служила лишь на руку распоясавшимся хулиганам и уголовникам.

Однажды в субботу Рашид с Минькой отправились в парк на танцы. Вечер выдался особенно шумным: на стройке в тот день как раз выдали зарплату, и двери гастронома ни на минуту не закрывались. «Великий крестный ход поклонников Бахуса»,— как мудрено выразился Минька, тяготевший к книжной и образной речи.

На танцплощадке Минька оставил Рашида одного,— он отирался возле «Радара», надеясь когда-нибудь забраться на возжеленное место ударника, возвышающегося над всеми оркестрантами в окружении блестящих хромом и крытых перламутром барабанов. Дальше и выше этого Минька себя не мыслил. «Тра-та-та, тра-та-та»,— постоянно везде и на всем отбивал он дробь, и, надо признать, слух он имел и ритм держал четко.

И надо же, на беду Рашида высмотрела его Настенька Вежина — одноклассница, первая красавица школы. Изыщная, модная, не по-сельски кокетливая, она готовилась поступать в театральный. «Возле нее постоянно опасные завихрения», — сказал однажды Минька. Они с Настенькой слыли на танцах завсегдатаями. Но сейчас, даже помня об этом, Рашид не остерегся, а, наоборот, обрадовался, — Настенька, которая ему, как, впрочем, и многим, нравилась, окликнула его сама.

Наверное, Настенька злых намерений не имела, поскольку постоянно списывала сочинения у Давлатова и числила его в списке своих верных поклонников, — просто он нужен был ей сегодня для каких-то тайных личных целей: то ли досадить какой-нибудь подружке, которой приглянулся Рашид, то ли, наоборот, оказывая деланное внимание Рашиду, привлечь к себе внимание другого. Мелкая интрижка, не более, и для этих целей Давлатов подходил как нельзя лучше.

Рашид был еще в той поре, когда в интересе к себе, пусть мимолетном, вряд ли мог почувствовать подвох, о девичьем коварстве он пока лишь догадывался; к тому же, бывай он на танцплощадке почаще, уже знал бы, что к чему, и, может, остерегся бы. Но, окрыленный вниманием Настеньки, он ничего не видел вокруг, да и Миньки рядом не было, — уж он-то вмиг разглядел бы надвигающуюся на друга опасность.

Дело в том, что один поселенец, поклонник Настеньки, с которым у нее то прерывались, то налаживались бурные отношения (потому что метался тот между двумя местными красавицами — Настенькой и Ольгой Павлычко, извечными в Степном соперницами), клюнул на игру Вежиной. А Настенька, почувствовав это, была с Рашидом предельно внимательна: то воротничок рубашки поправит, то после танца возьмет за руку и ведет к ограде в слабо освещенный угол площадки, где долго о чем-то говорит; то, танцуя, ни на кого, кроме Рашида, не смотрит, словно для нее больше никого не существует.

Для девушки, готовившейся в театральный и уже считавшей себя актрисой, сыграть влюбленную не составляло труда. Увлеченный Рашид не видел, что возле них все время отирается мрачного вида блондин, крепкий парень с волнистыми волосами. Блондин и подмигивал Рашиду, и делал какие-то знаки, мотал головой: мол, отвали отсюда, и скрежетал зубами, потому как был еще и изрядно на взводе, и в спину толкал в танце, но счастливый Рашид ничего не замечал. И Настенька, торжествовавшая, что все идет по задуманному ею плану, даже виду не подавала, что ее интересуется блондин.



А блондин, отбывавший срок за злостное хулиганство, обладал еще и буйным, вздорным нравом, вел себя в Степном по-хамски, страшал всех, своих и чужих, и на танцах считал себя королем. Во время очередного танца он умышленно толкнул Рашида, наступив ему на ногу, и когда тот мягко отодвинул его в сторону, с криком: «Ах ты, сопляк, еще и толкаешься?» — развернулся и ударил Давлатова кулаком в лицо.

Завизжали вокруг девчонки, Настенька вмиг испарилась, а Рашид, рухнув на бетонный пол площадки как подкошенный, еще и головой ударился. Блондин пытался еще пнуть его ногой, но, откуда ни возьмись, вынырнул Минька и повис на нем, оттирая к ограде. К Рашиду подбежали знакомые ребята и, подхватив под руки, повели к выходу, — за ним потянулся кровавый след...

Товарищи завели Рашида в ближайший от парка двор и у колодца попытались привести в порядок. Верхняя губа оказалась рассеченной и распухла, на пол-лица багрово расплывался синяк, из-за которого левого глаза почти не было видно, и при каждом движении он невольно хватался за затылок. О внешнем виде и говорить нечего — все, вплоть до туфель, было залито кровью.

Конечно, здоровому вольнопоселенцу ничего не стоило одним ударом свалить тщедушного десятиклассника. Но как бы ни было Рашиду больно, обидно, его пронизал ужас тогда, когда он подумал, как зайвится домой, что будет с матерью, увидевшей его. Ну ладно, сегодня он как-нибудь, не включая света, нырнет к себе, лишь шумом дав знать, что вернулся. «А что будет завтра, при свете дня?» — сокрушался он, и голова раскалывалась, болела еще сильнее. Вернулся он домой незаметно — чувствовал, что мать еще не спит; проскользнул к себе в комнату, на секунду включив в прихожей свет и не ответив на привычный вопрос матери из спальни: «Будешь ужинать?»

Ночью Рашиду стало плохо, от сотрясения его рвало, рассеченная губа распухла еще больше, а синяк разнесло на все лицо. Из парка его сразу нужно было вести не домой, а в больницу, да никто из ребят не догадался. Лишь под утро, обессиленный, он немного забылся.

Рано утром, несмотря на воскресенье, отец с Авдеевым уехали в степь, к речной косе Жана-Илек. Мать, подоив корову и выгнав ее в стадо, заглянула в спальню к Рашиду, как делала это не раз, — поправить сбившееся одеяло, подушку, а то и попросту поглядеть на спящего сына, который взрослел день ото дня. Увидев на окровавленной подушке заплывшее в один синяк лицо, она дико взвыла,

от нечеловеческого крика не только проснулся Рашид, но и прибежала соседка. Вдвоем они начали хлопотать: достали лед из подвала, стали делать холодные компрессы, примочки, потом мать отправила соседку за врачом — недалеко, у стариков Авдеевых, жили на квартире двое ребят-медиков. Видя ужас на лице матери, Рашид попытался улыбнуться разбитым ртом, уже и не думая о собственной боли, и на вопрос, что случилось, ответил: упал неудачно с лестницы возле почты, когда возвращались домой с танцев.

Отец вернулся из степи несколько позднее обычного. Мать встретила его со слезами и сразу провела к Рашиду. За день, благодаря ее стараниям, одутловатость чуть опала, а на губу наложили шов.

Отец не стал ни о чем спрашивать Рашида, а, успокаивая мать, сказал: ничего, мол, до свадьбы заживет. Вспомнил, как сам однажды упал с вагона-лесовоза, доверху груженного бревнами. Потом отец пошел в поселковую баню — летом она работала до полуночи, — там же постригся и побрился, и, вернувшись, поужинал один — Кашфия делала сыну ледяные примочки, как советовал врач. Потом он заглянул в комнату сына, пошутил с ним, чтобы не унывал, а жене сказал, что должен сходить к Авдееву и чтобы она его не ждала, ложилась, вернется, мол, поздно. Та ничего не ответила, знала мужа: если ему надо — значит, надо.

Ильяс вышел во двор, закатал рукава рубашки, как десять лет назад, когда боролся на сабантуях, и долго стоял, прислушиваясь к «Радару», гремевшему в парке.

В том, что его сына избили поселенцы, он не сомневался, — местные между собой дрались редко, а те несколько задиристых ребят, без которых не обходится ни один поселок, жили неподалеку и приходились Рашиду хоть и дальней, но родней. Ильяс имел в виду трех сыновей хромого Аллаяра. Что удивительно, отмечал он не раз, у нового поколения родство ощущалось куда крепче, чем у их родителей. И где же они были вчера: Радиф, Ракиф, Рашат? Почему не вступились за Рашида? Но горевать было поздно, надо было действовать.

В переполненной воскресной бане мужики как раз роптали, что житья не стало от этих «досрочно освобожденных», говорили о драках в парке, — такое, как с Рашидом, случалось частенько и уже не воспринималось бедой; доставалось и девчонкам, ходившим с синяками.

— Хоть бы сгорела в огне вся эта нечисть! — горячился один. — Шагу в Степном ступить нельзя: мат-перемат, пьяные рожи кругом, и слова не скажи — сразу в глаз, суд у них, сволочей,



скорый, сворой наваливаются. Шуряка моего в пивной так избили, не приведи Господь, и получку всю отобрали. Управы на них нет...

— А у меня курей всех перетаскали,— встрял в разговор какой-то старик.

А тот, что сокрушался про шуряка, сказал после недолгой паузы:

— Всю кровь в поселке испаскудят, сволочи. Добрались и до баб, и до девчат, кобели... Пойдут теперь цветики: алкоголики да эпилептики, ворье разное, дайте только срок. Это я вам точно говорю — наука такая есть, раньше не верили ей, говорили, вредная, а теперь спохватились. Генетика! Вспомнил, точно, генетика, мужики, не вру...

Упоминали и про письма, что писали миром в сельсовет.

— В Москву, в Москву надо писать,— советовал кто-то с намыленной головой, и все дружно соглашались.

Ильяс, вспоминая баню, сказал вдруг вслух:

— Мне в Москву писать не с руки, я человек малограмотный, и караули мои вряд ли разберут. Я уж сам как-нибудь постараюсь разобраться, если властям недосуг,— и решительно двинулся к парку.

По дороге и на темных аллеях парка никто к нему не придирался, хотя ему этого так хотелось; он ударил бы каждого приставшего — только раз и только туда, куда ударили его сына. Он не мог, да и не хотел представлять негодяя, изуродовавшего Рашида. Ильяс был уверен, что это мог сделать любой из этих куражившихся пьяных парней, и для него сейчас все они были на одно лицо. Они были враги, собственные, доморощенные фашисты,— никто не смог бы переубедить Ильяса в обратном.

В войну Ильяс, будучи мальчишкой, не раз убежал на фронт, но все время неудачно, хотя однажды добрался до Сызрани; тогда он до слез жалел, что без него бьют врага. Этот парк был парком его молодости, хотя не заглядывал он сюда уже лет двадцать, и вспомнить ему было что. В трудные послевоенные годы парк, ухоженный, в огнях, с цветниками, с посыпанными на городской манер красноватым песком аллеями, был украшением Степного. Ильяс и фамилию людей, следивших за парком, помнил — Пожарские; их маленький домик стоял в дальнем углу. Сейчас запущенный темный парк очень походил на свалку — кругом битое стекло, запах отхожего места, какие уж тут цветы...

На Степное опустилась вязкая осенняя ночь, ни один фонарь не горел ни в парке, ни на центральной улице Ленина, только ярким шатром света обозначилась в ночи эстрада танцплощадки да светились напротив окна бойко торговавшего гастронома. Когда «Радар»

наяривал что-то особенно бодрое, танцплощадка дружно взвизгивала, свистела, улюлюкала. Выделялся тонкий девичий голосок, он перекрикивал всех и словно служил камертоном всей вакханалии. Такое Ильяс слышал впервые.

На темных аллеях метались тени, кругом что-то булькало, билось стекло, тут же справляли нужду, выясняли отношения — жизнь кипела. Вначале Ильяс прохаживался по дальним безлюдным аллеям, потом стал кружить вокруг танцплощадки; в двух шагах от нее уже стояла тьма, на него никто и внимания не обращал, каждый был занят своим делом. Вглядываясь в танцующих, он теперь легко мог представить случившееся вчера с Рашидом. И сегодня потасовки вспыхивали то тут, то там, — здесь действовало право сильного, право кулака.

Чем ближе время подходило к полуночи, тем яростнее неистовствовал «Радар», приводя в экстаз и юнцов, и пьяных поселенцев. Ильяс даже разглядел тонко визжащую пигалицу. Едва задавался какой-то сумасшедший ритм, она надувалась, как лягушка, и все оседала и оседала, визжа, разводя тощие коленки в сторону, и вдруг на самой высокой ноте резко выпрыгивала обезьянкой вверх. Ильясу порой казалось, что она лопнет или ее хватит удар — багровое от напряжения лицо было страшным даже из-за ограды. Наяривал оркестр, дергались танцоры, спешили орать и визжать, торопились выяснить отношения — удары и оплеухи сыпались тут и там.

А Ильяс все кружил и кружил вокруг танцплощадки, время от времени углубляясь в темные аллеи, — в душе еще теплилась надежда, что пристанет к нему на темной тропе кто-нибудь, а может быть, волей судьбы налетит тот самый, вчерашний. Он шел, ища такой встречи, готовый к ней, ощущая в себе силы, словно вобрал в себя боль и ненависть поселкового люда к незванным пришельцам. Но никто не заступил ему дорогу на ночной тропе, никто не попросил с издевательской ленцой: «Дядя, дай, пожалуйста, закурить», — от вежливости такой порой стынет кровь у одинокого прохожего, будь то в Степном, или в Иркутске, или в дачном Подмоскowie. За них, за всех пуганных и униженных в ночи, готов он был сейчас постоять, но судьба была милостива к мерзавцам, потому что скор и справедлив был бы его суд, и, наверное, не губу пришлось бы зашивать, а собирать по частям, или того хуже, — Ильяс на скотобойне ударом кулака валил с ног быка.

По расчетам Ильяса, вся эта вакханалия должна была длиться еще с полчаса, и он уже держался ближе к танцплощадке, — там, как ему показалось, назревал какой-то скандал. Вдруг мимо него



прошмыгнул в темноту Минька Панин. Ильяс, еще минуту назад видевший Миньку на возвышении эстрады рядом с сиявшими перламутром ударными инструментами, кинулся за ним по аллее и ухватил за худенький локоток.

— Кто? — спросил он в упор.

Панин не удивился ни появлению Ильяса-абы в парке, ни его вопросу, принял это как должное. Они вернулись ближе к танцплощадке, и Минька, оставаясь в тени, показал на кривлявшегося в танце парня, возле которого невольно образовалось свободное пространство — наверное, многие помнили вчерашнюю историю.

— Вон тот здоровый бугай в клетчатой рубашке,— зло сказал Минька и скрылся в темной аллее.

На миг представив тоненького Рашида рядом с таким верзилой, Ильяс застонал от возмущения и почувствовал, как его начинает мелко-мелко колотить озноб — так случалось с ним всегда в молодые годы, когда он вступал в потасовку. Не отрывая глаз, он наблюдал за парнем в грязной ковбойке — боялся потерять его из виду. Через несколько минут Ильяс даже знал, как того звали, потому что патлатого блондина то и дело подбадривали дружки: «Давай, Ахмет, давай!» И Ахмет кривлялся как мог, да и девица рядом танцевала точно так же, хотя эти прыжки, вихляния, вульгарные телодвижения Ильяс вряд ли мог назвать танцем.

Танцую, Ахмет еще и курил, и успевал переговариваться со своими дружками, бранью он сыпал через слово. Как только смолкла музыка, Ахмет с дружками, не взглянув на своих партнерш, не то чтобы поблагодарить и отвести на место, подошли к ограде покурить как раз напротив Ильяса, и он хорошо видел блондина, даже слышал его тяжелое сивушное дыхание.

«Радар», игравший непрерывно, сделал неожиданную паузу, последнюю, наверное, на сегодня, и Ильяс разглядывал разгоряченную молодежь, не выпуская из поля зрения патлатого блондина. Рядом с компанией вольнопоселенцев он увидел практикантов из мединститута, стоявших на постое у стариков Авдеевых,— это они сегодня наложили шов на губу Рашида. Ребята были не одни, с девушками, но их Давлатов сразу не признал, хотя был уверен, что они местные.

«Хоть бы эти архаровцы не задрались к врачам»,— едва успел подумать Ильяс, как «Радар» вновь загрохотал, и на площадке снова стали визжать, свистеть, улюлюкать,— исполнялся самый модный шлягер сезона из репертуара «Лед Зеппелин».

Ахмет, бросив недокуренную сигарету за ограду почти к ногам Давлатова, огляделся. Кругом уже лихо отплясывали, и выходило, что он остался без партнерши. Недолго думая, он потянул за руку девушку, стоявшую к нему спиной и разговаривавшую с практикантами. Он хотел увести ее танцевать силой, но девушка оказалась с характером: вырвав руку, она еще что-то сказала в ответ обидное. Ахмет тут же замахнулся на нее, но один из ребят перехватил его руку. Этот поступок так удивил поселенца, что он на миг растерялся и, заикаясь, заорал:

— Да я тебе сейчас...

«Ну, этих ребят я тебе в обиду не дам», — решил Ильяс и, отвлекая внимание Ахмета от студентов, крикнул из темноты:

— Ахмет, у нас девушек так не приглашают, сейчас я тебе покажу, как это делается...

Голос из-за ограды на миг сбил с толку блондина, который подумал: «Свои, что ли, мужики разыгрывают?» А Ильяс, не теряя времени, в два шага одолел световой пятючок вокруг танцплощадки, одним движением легко подтянулся и перепрыгнул через ограду. Как только патлатый увидел перед собой Давлатова, он понял, что о розыгрыше не может быть и речи — мужик незнакомый, и глаза его горят странным огнем.

Ахмет невольно попятился в страхе, и его правая рука потянулась к голенищу сапога, за которым он носил нож. Жест не остался незамеченным, и Ильяс ударил блондина в тот самый момент, когда тот уже вытащил нож. Ударил так, чтобы тяжесть удара пришлась на верхнюю губу.

Удар получился такой страшной силы, что было слышно, как что-то хрустнуло и сломалось. Блондин проглотил свой крик, пролетел метра три и, раскинув руки, грохнулся навзничь. По цементу со скрежетом заскользил вылетевший из руки нож.

— Братва, на помощь, наших бьют! — закричал истерично кто-то из дружков Ахмета, увидев, какой оборот приняло дело.

Они попытались навалиться на Ильяса сзади, но не получилось — в драку ввязались студенты. И, как по команде, местные ребята сцепились с поселенцами по всей площадке. Появление Давлатова-старшего на танцплощадке местные парни восприняли как укор, и даже самые тихие превратились в отчаянных драчунов, вмиг вспомнив все принятые от поселенцев унижения и оскорбления. Кто-то вскочил на эстраду и крикнул в микрофон: «Закройте вход, чтобы ни один гад не ушел!»



Несколько поселенцев хотели вырваться с танцплощадки, попытались перелезть через ограду, но их сдергивали обратно. В самых горячих точках мелькала могучая фигура Ильяса; он знал: ослабь чуть напор — и сегодняшний вечер кончится еще большей трагедией для молодых, понимал, что нужно поставить шпану на колени, дать почувствовать землякам силу единства, иначе жить селу под игом этой нечисти.

Минут через двадцать всех поселенцев согнали в один угол, и Ильяс приказал им отдать ножи. Предосторожность оказалась не лишней — холодного оружия набралось немало.

Странная получилась картина в ночи: ограда, облепленная набезжавшими невесть откуда местными людьми, площадка, разделенная на два лагеря, а между ними на заплыванном цементе — ножи, финки, кастеты, куски велосипедной цепи.

Ильяс в разорванной рубаше подошел к отобранному оружию и сказал:

— Я не знаю, в каких вы отношениях с властями и чем вы их задабриваете, что вам так вольготно живется у нас, но отныне вы так жить не будете. Сегодня вы сняли с моей души тяжелый грех. Клянусь, я хотел ночью облить бензином ваш вонючий барак и спалить вас всех живьем, как тараканов, как мразь, но получилось иначе, и вы получили еще один шанс жить по-людски. Попробуйте его использовать, иначе я непременно сделаю то, что сегодня задумал. Оставьте село в покое...

В ту же ночь Ильясу приснился сон...

Часы у райкома отбили два часа пополудни, когда, закончив дела, он возвращался от Авдеева. Улицы Степного были сонны и безлюдны, — люди отдыхали перед новым трудовым днем, — в редком окошке горел свет. Светилось окно и в спальне Рашида.

Хотя Ильяс был на ногах уже почти сутки, усталости он не чувствовал, его энергия требовала выхода сейчас, немедленно, отмищения жаждала его душа, и он уже собрался вызвать из дома напротив Миньку, чтобы вызнать о вчерашнем подробнее, как вдруг у него на веранде ярко вспыхнул свет, и из дома вышли двое в белых халатах и Кашфия. Ильяс торопливо спрятался за дерево.

Проводив врачей до калитки, Кашфия, всхлипывая, направилась в дом, бормоча сквозь слезы: «Сын умирает, а его где-то носит...» От этих слов Ильяс до крови закусил руку. А тут один из врачей, выйдя за калитку, добавил: «Нужно срочно вызвать санитарный самолет

из области, иначе может оказаться поздно, возможно...» — и произнес непонятное для Ильяса слово, испугавшее его каким-то мрачным смыслом.

Кровь ударила Ильясу в голову, он почувствовал, что теряет разум. Умирает Рашид, его единственный, долгожданный сын, а он не в силах помочь, защитить его... Все в мире вмиг перестало иметь для него цену, даже собственная жизнь. Если до этой минуты он еще сомневался, вправе ли чинить самосуд, то сейчас свои сомнения воспринимал как трусость и нерешительность. «Пусть я буду преступником перед законом, чем трусом перед своей совестью. И люди, думаю, не осудят меня», — твердил он в отчаянии и вдруг кинулся к сараю. Не включая света, нашарил в темноте две сорокалитровые канистры с бензином, что всегда держал про запас, и, не оглянувшись на дом, на огонек в окне сына, решительно двинулся к станции.

Барак вольнопоселенцев стоял в низине за железной дорогой, рядом с огородами железнодорожников, там когда-то жили строители первого элеватора. Так сложилось, что Степное расстраивалось, росло по другую сторону от путей.

Ильяс шел не таясь, но и не желал встречи ни с кем из земляков, и потому станцию, которую знал не хуже собственного двора, обошел далеко стороной. Жизнь на станции не замирала и ночью — уже вывозили зерно нового урожая, и работа кипела круглосуточно. Крюк получился изрядный, и время от времени он терял из виду огни барака, иногда ему даже казалось, что весь барак погрузился в сон. От убогого жилья издали несло застоявшимся запахом дешевого вина, густым табачным дымом, воняло помойкой. Над входной дверью сонного барака горела голая пятисотваттная лампочка, отбрасывая наземь яркое светлое пятно, за которым чернела густая сентябрьская темнота. Входная дверь была распахнута настежь, да она, наверное, никогда и не закрывалась.

Ильяс, не таясь, обошел строение. Старый деревянный барак был еще крепок, хотя заметно осел — фундамент подвел, так ведь и строили его когда-то для временного пользования, а сгодился и через десятки лет. На почти вросших в землю окнах стояли рамами тяжелые ржавые металлические решетки; решетка оказалась даже в торцевом коридорном окне. «Хорошо...» — зло и спокойно подумал Ильяс.

Тяжелой входной двери из лиственницы полвека ничуть не повредили, как ни старайся — не вышибить. В световом пятнышке Ильяс увидел грубый стол, сколоченный из досок; наверное, в ожидании



танцев после работы здесь резались в карты. Стол был сколочен немело, на скорую руку, ударь покрепче — рассыплется.

«Сгодится подпереть дверь»,— решил Ильяс и одним ударом ноги развалил стол.

— Вот и все, отгадились,— сказал он, закончив осмотр, и начал с торца обливаться бензином.

Делать это из канистры с узким горлом было неудобно, и он пожалел, что не догадался найти какое-нибудь ведро или банку побольше. Первая канистра кончилась на удивление быстро, он не облил и трети барака, и со второй он обходился куда экономнее. Дойдя до входа, Ильяс закрыл дверь, подперев ее досками стола, и оглядел строение еще раз, потом, подумав, оставшейся доской обрубил электрические провода, ведущие к дому, и барак сразу погрузился в кромешную тьму.

«Полный порядок»,— решил Ильяс и торопливо закурил. Сделав затяжку, боясь, что передумает, бросил папиросу на стену барака.

Пламя лизнуло нижние венцы и змейкой побежало по бензину вверх, а дальше с быстротой молнии устремилось за угол, в торец здания, и там стена занялась огнем вся сразу — на нее Ильяс вылил треть канистры. Заполыхала и вся задняя часть дома, но горела она слабее, огонь еще не тронул окна. Багровые отсветы вдруг высветили на миг голые стены темных комнат, но никто не проснулся. И только когда с треском расколосось в огне какое-то окно на задах, которого Ильяс не видел, раздался раздирающий душу крик: «Горим!» И сразу за стенами, как по команде, затопали, загрохотали, истерично завизжали, как на танцплощадке, стали бить изнутри стекла и выламывать решетки; он слышал, как остервенело навалились на дверь.

Мат, сплошной мат, ни одного человеческого слова не долетало до стоявшего на границе света и тьмы Давлатова,— и последние-то в жизни слова у вольнопоселенцев были погаными. В какую-то минуту Ильясу показалось, что крикни кто-нибудь из них: «Мама!» — и он убрал бы доски, подпиравшие дверь.

Уже занялась крыша, и сполохи огня, наверное, были видны далеко на станции и в поселке. Старая шиферная крыша, раскаляясь добела, трещала и взрывалась, и осколки от нее разлетались во все стороны, даже к ногам Ильяса. Во всех окнах металась обезумевшие от страха люди, выламывавшие чем попало решетки, но раньше все делали на совесть, даже временное, и старое железо не поддавалось, да к нему, пожалуй, уже и притронуться было нельзя. И вдруг,

как по команде, все лица в фасадных окнах пропали, огонь рвался через окна в комнаты, и ему помогал легкий утренний ветерок, всегда гулявший в низине...

Поселок спал крепким предрассветным сном, но огонь со станции увидели грузчики, возившиеся у последнего вагона с зерном.

— Смотри, пожар, кажется, у поселенцев,— сказал кто-то, первым заметивший огненное зарево.

— Допились,— равнодушно ответил другой, словно иного исхода и не предполагал.

А третий, прикрывая зевок, зло добавил:

— Грех, но я бы спасибо сказал тому, кто подпалил эту нечисть.

А пламя все полыхало, крыша трещала, что-то ухало на чердаке, лопался и стрелял раскаленный шифер, стены сыпали в небо тысячи искр. Оттого, что здание изнутри основательно сотрясали, иногда казалось, что деревянный барак взрывается снопами искр только от крика и воя в коридоре. Огонь набирал силу, и теперь не только отсветы, но и жар доставал Ильяса, и он невольно отодвигался в темень, как бы отступая.

Неожиданно рядом с ним появилась парочка — совсем молодые, как Рашид, наверное, бродили здесь у пруда. Они возникли незаметно, словно материализовались из тьмы, и, взявшись за руки, молча стояли рядом с Ильясом, все видели, все слышали. Издали они казались сообщниками.

Заметил огонь и дежурный по станции. Пожарной команды в Степном не было отродясь, хотя пожарный офицер и числился в штате районной милиции, занимающей двухэтажный особняк, но телефон главного пожарника молчал. Поскольку дежурный находился «при исполнении», он побежал на грузовой двор, где мужики отряхивали с себя пыль и собирались где-нибудь залечь покемарить до прихода следующей смены.

Сообщение дежурного грузчики встретили без энтузиазма, сказав, что поселенцы, наверное, палят костер, а может, у них праздник свой, или еще указ какой хороший для них вышел, или вновь послабление, льготы для них объявили какие. Один даже что-то насчет огнепоклонников выдал. Но дежурный оказался человеком настырным, заставил их разобрать инструмент на пожарном щите пакгауза, и все трое грузчиков — один с топором, болтающимся на топорище, другой с красным ведерком, а третий с багром,— побежали мелкой трусцой, пока видел начальник, в темноту, в сторону огородов, к пожару. А сам



дежурный, не имевший права оставлять пост, побежал быстро, насколько позволяли ему живот и одышка, на станцию, к телефону, в надежде дозвониться до кого-нибудь из районного начальства.

И вдруг среди истошных криков ужаса неожиданно раздался счастливый, радостный, отчего вроде стихли на миг крики в бараке, а затем еще один, ошалелый от восторга, голос. Потом все стихло, только слышалось, как трещали стены, ревел огонь, лопались стекла, скрипели, корежась, балки крыши, готовой вот-вот обвалиться. И тут на свет, к фасаду, медленно начали собираться погорельцы — обожженные, ободранные, в копоти, саже, грязи. Кто босиком, кто в майке, кто в рубашке, а кто и одетый — наверное, свалился пьяным, не раздеваясь, как пришел. А один здоровенный детина прижимал к голой волосатой груди не закрытый на застежки чемодан. Первые объявившиеся во дворе барака, самые здоровые и нахрапистые, оказались в порезах и ссадинах: в двух окнах, где удалось выломать решетки, они топтали и давили слабых и воевали между собой, и без крови не обошлось. Те, что похлипче, отделались легче — они выбрались из барака последними.

Они молча стояли в свете полыхающего огня друг против друга, как две армии, два мира, две стихии. Рядом с Ильясом и молодыми появились грузчики с пожарным инвентарем, который они и не собирались пускать в ход; тот, что с багром, вдруг сказал товарищу шепотом, слышным за версту:

— Подпалили, брат, точно подпалили...

Но это было ясно и без него: барак еще не осел, и две тяжелые полуобгоревшие доски от стола продолжали подпирать дверь. Так они и стояли молча, как люди с разных планет, и нечего им было сказать друг другу. И в этот самый момент с грохотом обвалилась крыша, рассыпались стены, взметнув в темноту мириады искр, ослепив на время ярко вспыхнувшим пламенем собравшихся во дворе.

Одна балка, отлетев далеко, рассыпая искры вокруг, вдруг упала прямо на Ильяса, — и он проснулся...

Ильяс невольно принюхался к рукам — они вроде пахли бензином. Тяжело соображая, не отделяя сна от яви, он быстро вышел во двор и по крутой лестнице поднялся на высокий сеновал. Далеко, рядом с огородами за станцией, он увидел редкие огни мирно спящего барака вольнопоселенцев. Он невольно присел, не находя в себе сил спуститься на землю, и долго-долго смотрел на бледные огни в низине... Однажды в минуты откровенности, что случалось очень

редко, отец рассказал сыну об этом сне — о том, как чуть не стал душегубом — из-за него, своего единственного...

...Воспоминания о доме увели Рашида от настойчивой потребности копаться в себе. Возвращаться в чайхану не хотелось, о салате ачик-чучук, которым собирался порадовать товарищей, он забыл. Мысли кружили вокруг отца, и возникали такие неожиданные сравнения и параллели, что он сам себе удивлялся.

Рашид лихорадочно перебирал в памяти тех, с кем ему приходилось работать, — начальников, больших и маленьких, и рядовых, и с какой бы меркой ни подходил к людям, с которыми сталкивался в работе и жизни, сравнивая и стараясь быть объективным, понял сейчас, насколько большей по сравнению с ними жизненной силой и стойкостью обладает его отец. Рашид, конечно, отдавал должное многим из тех, с кем сравнивал отца, но при всех способностях и талантах этих людей положение их часто зависело от каких-то обстоятельств, чьего-то звонка — покровительственного или, наоборот, уничтожающего, от вакансий и реформ, от случая и удачи. А отец, малограмотный мужик, казалось, жил вне времени и обстоятельств, надеясь только на свой разум, трудолюбие и колоссальную, прямо-таки нечеловеческую работоспособность.

Когда-то он мог прокормить семью только алмазным стеклорезом, но никогда не делал на него ставку. Во всем огромном Степном только он и Авдеев забивали теперь крупный рогатый скот, свиней, баранов, а в казахских аулах — лошадей и верблюдов. Это сказать легко: забить скот, стачать сапоги, свалять валенки, — перевелись уже настоящие мастера. Как только упадет снег и ударят первые морозы, на месяц вперед записывались люди в очередь к отцу с Авдеевым, чтобы забили кабана. Опалить щетину так, чтобы кожа стала мягкой, розовой, чистой, да красиво разделать, чтобы мясо было без крови, — ох, какое умение и знание нужно. Только занимаясь этим, они с Авдеевым могли быть всегда со свежатиной, не утруждая себя разведением скота. Но нет, на чужое они не рассчитывали, хотя и брали за свою работу и натурой, и деньгами, как испокон веку заведено на селе, а скота у них водилось не меньше, чем в лучших подворьях Степного.

Клади они с Авдеевым и печи: и русские, и «голландки», и немецкие «утермарки». Одевали их в жестяные короба, обкладывали изразцами и кафелем — по-всякому, как хотел заказчик, и даже каминны в последние годы наладились делать для интеллигенции села — и эта



мода дошла до некогда захудалого и бедного Степного. И тут не знали они конкуренции.

Молодыми отец с Авдеевым копали колодцы по всей округе — трудная, опасная, рискованная работа, ведь воду еще и почувствовать надо, и найти, но платили за это хорошо. Была у них и постоянная работа на грузовом дворе станции, упраздни которую, они легко, без душевного разлада перешли бы к другой.

В силу своего положения они не могли влиять на общественную жизнь села, хотя будь такие люди у власти, вряд ли в Степном оставались бы непролазные улицы, запущенный парк или обшарпанные присутственные места и школа-развалюха. Но все, что находилось в пределах их влияния, отличалось особой метой хозяйственности, рачительности, надежности. Взять хотя бы дом — вряд ли какое казенное здание райцентра могло потягаться по архитектуре и планировке с домом Давлатовых. А цветов таких, как у них во дворе, не было ни в районном саду, ни в райкомовском палисаднике.

За телушками от коровы, которую привез отец из Прибалтики, приезжали даже из окрестных колхозов, а Авдеев прихватил тогда же породистую брюхатую беконную свиноматку — невиданное для оренбургских мест диво. Авдеев первым в Степном и наладился коптить окорока. Да что там дом, сад, скот, — у них только кошки с собаками не были породистыми.

Думая об отце, Рашид никогда не разделял его с Авдеевым — они словно срослись в своих стремлениях и целях, дополняя один другого. Подкашивали их, и подкашивали не раз, и под корень, как иногда казалось. Когда, например, запретили отдавать сено наемным сборщикам, работавшим на паях. Чья-то идея, рожденная в кабинетах, на бумаге казалась благом: больше, мол, у колхоза сена будет. Да на деле вышло обратное — хозяйства и вовсе без сена остались. Прежде чем шкуру медведя делить, ее сначала добыть следует. Сенокос — время горячее, скорое, недели две-три от силы, не скосил в срок — пропала трава от солнца да ветра степного. А где столько рук взять, да чтобы работали от зари до зари? И получилось, что добра от благих директив — ни себе, ни людям, бумажная прибыль бедой обернулась.

Но выстояли отец и Авдеев и тогда. Выстояли и в конце пятидесятых, когда подчистую вокруг вывели личные хозяйства, когда бабы в Степном, стоя у мясных ларьков, судачили: «Опять мясо из города не завезли — чем мужиков-то кормить сегодня?..»

Рашиду казалось: нет дела, которого не могли бы осилить отец с Авдеевым,— только разреши, не стой у них над душой, не учи, не погоняй. Такой жизненной силы, крепости, уверенности в собственных силах не хватает многим нынешним мужчинам, из-под которых только выдерни служебный стул — и нет человека, пропал, испарился, вроде как и не существовал вовсе...

Мысли об отце, казалось, придали Рашиду сил; он даже не заметил, как быстро пролетело в раздумьях время. Солнце, поднявшееся в зенит, струило ровное и покойное тепло, и все живое на земле, в кустах, в траве, выползло в этот час под его живительные лучи. И сам Давлатов, словно подсолнух, тянул к нему осунувшееся желтое бородатое лицо, как бы ища в нем исцеления. О болезни он уже не думал — не то чтобы стал равнодушен к своему здоровью, а просто после посещения Салиха-ака пришла уверенность, что все наладится, нужно только исправно принимать отвар Куддуса-бобо и запивать его свежими яйцами. Лечатся верой, как сказал кто-то из древних, а вера у него появилась.

Вспомнив, что собирался помочь поварам, Рашид направился к чайхане. Дружба с Фатхуллой и Баходыром пошла на пользу, и если он не способен приготовить плов для свадьбы или на большую компанию, то уж на десять человек — вполне. И ачик-чучук у него получается отменный.

Баходыр приятно удивился предложению Рашида помочь и тут же подал ему свой нож, который на хлопке, как и Салих-ака, носил с утра до вечера на поясе.

— Значит, дело пошло на поправку, если остренького захотелось,— сказал он, улыбаясь, и исчез в кладовке — вот-вот появятся во дворе хлопкоробы, а обед еще не готов.

Рашид вынул нож из ножен, попробовал лезвие — острое, хоть брейся, особая сталь, сделанная чувскими умельцами,— и решил, что когда будет в командировке в тех краях, в Намангане, обязательно заедет в Чуст и купит отцу с Авдеевым в подарок по узбекскому ножу.

Работа спорилась: лук отлетал тонкими кольцами, и пышная горка в большом эмалированном тазу росла на глазах. Рашид не заметил, как, увлеченный делом, начал что-то потихоньку напевать.

— Смотри-ка, запел,— Баходыр кивнул головой в его сторону и подмигнул Самату.

А Рашид все вспоминал дом, друзей, родных...



Два года не видел он отца. Как он там? Чем занят? Наверное, в Степном уже выпал снег и всю хозяйничает зима, а отец с матерью вяжут дома веники...

— Ве-ни-ки,— произнес он нараспев, и перед глазами встала неоглядная заречная степь, та, что по весне полыхает тюльпанами. Овраги, уходящие в казахские степи на десятки километров, заросли густой колючей чилигой, да и сама степь то тут, то там зеленеет огромными островами цепкого неприхотливого кустарника.

«Вернусь домой в Ташкент, приглашу отца на недельку погостить»,— подумал Рашид, почувствовав, как соскучился по нему, как не хватает его в нелегкие минуты. Он представил, как встретит отца на вокзале, нагруженного, по обыкновению, коробками, чемоданами, свертками, и вдруг почувствовал, как густо запахло паленым. Обернувшись, увидел, что Самат, прибрав во дворе перед обедом, жжет мусор,— наверное, в огонь попал кусок бараньей кожи с шерстью.

Запах паленого напомнил ему случай на базаре, показавшийся тогда нелепым...

Когда отец приехал к нему в Ташкент в первый раз, Рашид был холост, жил на частной квартире и учился на вечернем отделении института. Перво-наперво он повез отца в старый город — показать знаменитый базар Эски-джува и парк Пушкина, находящийся рядом, где уже много лет подряд устраивались татарские сабантуи.

Отправляясь на базар, Рашид подгадал так, чтобы к обеду попасть в переулки и тупики, где дымятся шашлычные мангалы, кипят медные самовары, торгуют горячей, только что из тандыра, самсой, продают парную баранину, дымящуюся печенку, говяжьи языки, вычищенную требуху, бараньи кишки для хасыпа, палевые говяжьи ноги для холодца и многое другое.

Когда он отыскал подходящий мангал, где жарили шашлык из бараньих ребрышек, и они уже расположились тут же за низеньким столиком, отец вдруг поднялся и, ничего не сказав, метнулся сквозь толчею к противоположной стороне переулка, где у стен в тени расположились продавцы со своим товаром. Рашид не успел опомниться, как отец вернулся с сеткой, где лежали четыре бараньи головы — две черные, две белые. Баранов, видно, забил недавно, и Рашиду казалось, что головы живые. Отец улыбался и выглядел таким довольным, каким он давно его не видел.

«Зачем ему бараньи головы, да еще сразу четыре? Может, отец знает о бараньих головах что-то такое...» — недоуменно подумал Рашид.

Ильяс-абы действительно знал такое, что вряд ли укладывалось в разумное понимание, а тем не менее процветало уже лет двадцать.

— Зачем нам бараньи головы? — все же спросил Рашид, когда они возвращались с базара.

Лицо отца посветлело, и, улыбаясь, он объяснил:

— Это не нам, а в подарок одному хорошему человеку. Ты не представляешь, как он будет рад.

— Он что, ест только бараньи головы, и по четыре сразу? — уточнил Рашид, почему-то раздражаясь.

— Да нет, он совершенно равнодушен к бараньим головам, предпочитает ребрышки.

— Тогда зачем ему все это? — растерялся уже ничего не понимающий сын.

Отец, пребывая по-прежнему в прекрасном настроении, принялся объяснять:

— У меня есть друг, он директор лесхоза, как наш Иващенко, только не в Оренбурге, а в Казахстане. Наша степь — продолжение казахской степи, и мы часто рубили чилигу на его территории — ведь в оврагах нет пограничной межи. На порубке мы с ним познакомились и подружились. Грозить карами он нам не стал, чилиги-то пропасть вокруг. Приглашал нас с Гришкой на бешбармак, и не раз...

Вот однажды Ермек и говорит: «Не обессудьте, гости дорогие, что на этот раз не подаю вам главного угощения — головы барана. Завтра должен приехать уполномоченный из района, а его встречать без бараньей головы никак нельзя — слишком заносчивый да обидчивый человек». Ну, без головы так без головы, мы и раньше на эту голову особого внимания не обращали, нам хватало мяса в бешбармаке. Мы так и сказали хозяину. Вот уж обрадовался Ермек, говорит: «Если б все гости были такие непривередливые, как вы, сколько бы овец сохранилось в степи!»

Оказывается, у казахов спокон века есть традиция — в честь высокого гостя резать барана и в знак уважения подавать отдельно приготовленную голову. В традиции этой ничего плохого нет: встречай гостя, режь своего барана или хоть двух — это твое личное дело. Только в последние годы народная традиция в сущее



бедствие превратилась. Каждый командированный чиновник мнит себя высоким гостем, и попробуй встретить его без этой самой головы. Хоть пуд мяса поставь перед ним, а не будет головы забитого в честь него барана — оскорбится. Пробудет такой гость в лесхозе три дня — режь минимум двух баранов: одного при встрече, другого при расставании, хотя и одного за глаза хватило бы, а еще проще — пяти килограммов мяса. И от традиции, от нашествия всяких уполномоченных да представителей, имеющих власть над селом, ощутимо поубавилось в степи баранье поголовье...

— Да неужели ты серьезно говоришь? — не поверил Рашид.

— А ты как думаешь? Отец Еркека, Омербай-ага, крепкий девяностолетний старик, в молодости пас овец у баев. Так он как-то с горечью сказал: «Раньше бай, у которого земли было побольше, чем в двух-трех нынешних районах, раз в год объезжал свои отары, да еще раза два-три его управляющий,— так десятком баранов и отделявались, а остальных гуртами гнали на базар и на мясокомбинаты русских городов Оренбурга и Орска, и скота в степи водилось видимо-невидимо. Да и объезжали-то они отары осенью, когда подрастут, зажиреют бараны. А сейчас круглый год — комиссия за комиссией, проверяющий за проверяющим, начальник за начальником. И сколько их, больших и малых! И каждому режь барана, уважь каждую ничтожную чиновничью голову бараньей головой. Оттого нынче баранов и хватает только на «уважаемых»...»

Теперь уразумел, зачем я сразу четыре головы купил? Хорошо, что до ваших краев такая разорительная традиция не докатилась... Уж порадуую Еркека-ага...

Как тут было не понять, и дураку ясно. И позже, когда Рашид ездил домой, он тоже покупал на базаре бараньи головы для директора казахского лесничества, спасая тем самым от ножа нескольких кучкаров.

— У-у... салат... молодцы! — шумно выражая восторг, появились во дворе чайханы хлопкоробы, и Рашид очнулся от воспоминаний.

Помогая накрыть на стол, он машинально раскладывал салат по железным мискам, но мысли об отце, о себе не покидали его.

«Если б отец знал, чем я буду заниматься как инженер, разве настаивал бы так горячо, чтобы я получил образование, да еще вдали от дома, от семьи? Если б догадывался, что образование не приблизит нас друг к другу, а, наоборот, разъединит, разве захотел бы

он, чтобы я стал инженером?» Он никогда раньше не задавал себе подобных вопросов, хотя, помнится, рассказывал отцу и о хлопке, и об овощных базах, и о сенокосе, но отец не понял. Для него, человека, мыслящего реальными категориями, казалось дикостью, что дипломированные люди, на образование которых ухлопаны тысячи и тысячи рублей, перебирают копеечную картошку на базах и каждую осень до снега пропадают на хлопковых полях.

Однажды, приехав с Анютой домой на праздники, Рашид рассказал отцу, что был в командировке в Намангане, Хиве, Самарканде и даже Москве. Отец сказал тогда уважительно:

— Вот видишь, тебе доверяют, а ты жаловался, что неинтересная работа...

Рашиду не хотелось расстраивать отца, но он не сдержался и резко ответил:

— Ездить-то я ездил, а ты спроси — зачем, что я там решил, чем помог как инженер? Вот вы с мамой смотрите телевизор и, конечно, спектакли... В пьесах есть роли, где артист за весь спектакль раза два или три появляется на сцене и говорит: «Кушать подано!» или что-нибудь подобное. И так из года в год, из спектакля в спектакль. А где-то в кругу малознакомых людей он рассказывает, что работает в знаменитом театре, занят в интересной пьесе. И все это правда, но он никогда не признается, что его роль состоит из двух слов. Так и я: отвожу, привожу какие-то срочные справки или визирую от имени треста какую-нибудь бумагу, проект, или присутствую на каком-нибудь совещании, которое ничего не решает. А уж поездка в Москву скорее похожа на сцену из плохой комедии. С командировочным удостоверением, имея четыре билета на руках — на целое купе, я вез на юбилей союзного министра десятки дынь, арбузов, коробки с гранатами, яблоками, грушами, зеленью, юсуповскими помидорами. Все купе заставлено ящиками, завалено свертками, я и дверь-то решался открывать, лишь когда в коридоре стихали шаги, чтобы не подумали, что спекулянт едет на московский базар.

Отец тогда был потрясен его откровением, но попытался как-то утешить, ободрить взрослого сына.

«Отец...» — вздохнул Рашид и понял, почему его преследует неотвязная мысль об отце, хотя размышлять-то надо бы о своей жизни. И впервые пришла мысль: «А прав ли был отец, оберегая, опекая меня так, что шел я по жизни, как по ковровой дорожке?»



Почему он так поступал, имея за плечами другой опыт? А может, он, как и многие другие, желая своему сыну лучшей жизни, по сути дела, не знал — какой именно. Что в его представлении это значило — хорошая жизнь?»

За этой мыслью пришла другая: «Почему отец непременно хотел дать мне образование? Разве он сомневался в ценности и значимости своей жизни, разве был несчастен и не гордился тем, что создал своими руками, или пользовался в селе меньшим уважением, чем люди на должностях, то есть с дипломами? Почему он, всегда занимаясь тяжелым физическим трудом и преуспев в нем, ограждал меня всячески от дел, от забот, пытался вытолкнуть, и вытолкнул в иной круг жизни? Разве было бы несправедливо передать мне то лучшее, чем он обладал сам?»

Под таким углом зрения Рашид смотрел на отца впервые — неужели Ильяс-абы, которого нельзя было ни в чем упрекнуть, ибо он всегда жил по совести и только трудом своих рук, ошибся в главном — не привил своему сыну жизнестойкости, вырастил его как в стеклянной теплице, оберегая от каждого дуновения ветра? Почему он растил тепличное дерево? Был слеп в отцовской любви к единственному и долгожданному сыну или что-то иное зрело в его душе? Такой взгляд на себя для Рашида тоже оказался внове. И вспомнилось, как он сам впервые не проявил характера, воли, искренне желая помочь матери убрать за Звездочкой, хотя и понял Минькино — «птичка божья... ни забот, ни хлопот?»

А может, началось все тогда, когда, провозившись за верстаком часа полтора, легко согласился с матерью, что скворечник на праздник птиц сделает все-таки отец? Или когда, разбив любимый велосипед в овраге, в мальчишеском горе вдруг осознал, что никакого наказания не последует, более того — чтобы не видеть его огорчения, завтра же купят другой, последней модели, с хромированными ободами? И не тогда ли впервые у него появилась уверенность, что пока живы родители, у него не будет ни забот, ни хлопот?

«А проявил ли ты хоть в одном жизненно важном вопросе характер, принципиальность?» — задал он вопрос самому себе. Ведь и Ташкент, и политехнический институт — это все идеи отца, а он даже не задумался, не спросил: почему именно Ташкент, почему непременно инженером? А хотел ли он сам чего-нибудь, рвалась ли его душа куда-нибудь? В Оренбург, в летное училище? Вроде бы

да, но ведь отцу об Оренбурге он даже не заикнулся, не то чтобы отстоять для себя высокое небо. И на Ташкент согласился не потому, что прельстила столица, или манил Восток, или послушным сыном оказался, — нет, чего не было, того не было, сегодня он врать себе не будет. «Плыви, мой челн, по воле волн» — вот, наверное, подходящий эпитаф к моей жизни», — с горечью подумал Рашид.

И, продолжая ревизию своей жизни, чем-то смахивающую на самосуд, затронул такое, к чему и мысленно никогда не решался подступиться. Он подумал об Анюте, жене, своей семье. Что же соединило их? Большая любовь? Низкий расчет? Ни то, ни другое. Скорее, душевная лень, духовное соглашательство — сегодня следовало называть вещи своими именами.

Анюта, дочь Авдеева, училась в школе четырьмя классами младше Рашида, и, хотя отцы и семьи их дружили, Рашид ее не замечал — слишком большой казалась разница в годах в те давние школьные дни. Через два года после его отъезда в Ташкент выпорхнула из дома и Анюта, уж очень ей не терпелось попасть в большой мир.

После восьмилетки, которую Анюта одолела с грехом пополам, она поступила в Оренбурге на какие-то статистические курсы, но, как ни рвалась в город, на асфальт, в Оренбурге прижиться не смогла, и через три года снова оказалась в родительском доме.

Вот тогда-то Рашид и увидел ее словно в первый раз. Он приехал в отпуск в начале июля, а Анюта месяцем раньше вернулась с чемоданами под отчий кров. Увидел он ее на танцах, куда по старой памяти его затянул Панин; дорвался-таки Минька до ударных инструментов, и не только до барабанов — стал руководителем оркестра, и от того, первого, оставил лишь старое название «Радар», которое было дорого ему как память.

Давлатов разглядел Анюту еще до начала танцев. Что и говорить, она выделялась среди поселковых девчат — город наложил на нее заметный отпечаток.

— Кто эта девушка в белом? — спросил он заинтересованно у Панина.

Минька в ответ только рассмеялся:

— Ну, ты, брат, даешь! Дочку Авдеева не узнал?

Анюта слышала дома от родителей, что утренним поездом приезжает в отпуск сын Давлатовых, без пяти минут инженер, и конечно, рассчитывала увидеть его здесь. Помнила она и то,



что в школьные годы Рашид в упор ее не замечал, и это очень злило самолюбивую Анюту. Впрочем, в последний раз она видела Рашида лет пять назад, когда перед отъездом в Ташкент он зашел попрощаться с ее родителями.

Словно чувствуя, что Панин с Давлатовым говорят о ней, девушка подошла к ребятам.

— Что, Рашид, не узнал или зазнался? — спросила она, кокетливо улыбаясь.

— Анюта, если честно, не узнал, ты стала такая взрослая и красивая...

Рашид смущенно замолчал: она действительно была хороша и одета с большим вкусом, словно сошла с обложки журнала мод.

— Спасибо, Рашид, приятно слышать такое от столичного человека, — и, не замечая Панина, она взяла Рашида под руку и увела подальше от эстрады.

Весь вечер Анюта не отпускала от себя Рашида ни на шаг. К концу танцев у него мелькнула вялая мысль: хорошо, что далеко провожать не придется, — Анюта жила на соседней улице. В прошлый отпуск он несколько раз провожал приглянувшуюся девушку с другого края села и, возвращаясь домой, каждый раз поражался, как разрослось Степное. Рашид уже видел ту девушку и чувствовал, как она хотела, чтобы он подошел, но сделал вид, что ему от Анюты сегодня не отойти ни на шаг. Он мысленно успел оценить девушек, и та, прошлогодняя, не шла ни в какое сравнение с Анютой, к тому же Анюта жила рядом.

Летом оркестр Панина играл в парке регулярно, и каждый вечер Рашид виделся с Анютой на танцах. Не упускала Анюта и возможности лишний раз зайти к Давлатовым, а такая необходимость случалась ежедневно, ведь семьи их дружили давно. Иногда Анюта приходила с билетами в кино, и они вдвоем через весь поселок шли в летний кинотеатр на другую сторону железной дороги. Пыталась и Кашфия-апа раз-другой послать сына к Авдеевым по хозяйским делам, только Рашид под всякими предлогами отказывался. Но у Авдеевых он все-таки побывал — была у него еще со школы тяга ко всякой звукозаписывающей аппаратуре, и дядя Гриша попросил его починить телевизор, а в другой раз сама Анюта попросила посмотреть ее магнитофон — барахлил автостоп.

Отпуск подходил к концу, и его можно было считать удачным. Целые дни Рашид пропадал на рыбалке, иногда и Анюта

напрашивалась с ним то на речку, то в лес за ягодами. Рашиду нравились завистливые взгляды ребят, когда он появлялся с ней на танцах, в кино, на реке. Пожалуй, из них двоих больше на горожанку походила она: одевалась Анюта куда моднее и элегантнее Рашида, да и когда на танцплощадке собиралась компания, разговор чаще всего поддерживала она. И все-то она знала: и о музыке, и о течениях моды, и о всяких знаменитостях — артистах, спортсменах, о многих из которых Рашид слышал впервые. Своими знаниями она не пыталась подавить Рашида: рассказывая о чем-нибудь, тактично, как бы справляясь и уточняя, обращалась к нему, а он либо кивком головы соглашался, либо говорил: «Да, конечно». Со стороны казалось, что Рашид больше в курсе дела, чем Анюта, хотя он зачастую и понятия не имел, о чем шла речь.

Поначалу такая манера разговора дуэтом, где одна говорила, а другой глубокомысленно поддакивал, Рашиду казалась шуточной, но через неделю-другую она незаметно узаконилась, и Рашид не мог вставить слово даже там, где и знал, о чем идет речь: властная Анюта любила быть в центре внимания и не хотела делить свой маленький успех даже с парнем из столицы, будущим инженером, который, в общем-то, ей очень нравился. Рашид понимал безобидное провинциальное тщеславие Анюты, не доучившейся на статистических курсах, и поэтому быстро смирился с отведенной ему ролью, — вполне хватало того отвеса успеха, что падал на него от великолепной подруги. Впрочем, он не был уверен, что смог бы так ловко из вечера в вечер удерживать внимание толпы, собиравшейся возле них. А чаще всего расслабленно думал: «У них своя жизнь, свои интересы, свой расклад, а мне уже пора собираться в дорогу».

За три дня до отъезда Рашида Авдеев топил баню, — летом это делается не часто, дел невпроворот, река под боком, да и поселковая баня до полуночи работает. То ли дядя Гриша соскучился по настоящей бане, то ли в гости Ильяса с сыном зазвать решил, а повода вроде не было, то ли еще какая причина неведомая имелась... А баня у Авдеева славная, просторная, стены парной дубовым шпоном выложены, долго держат пар, а вода шелковая — из Круглого озера. Сосед, работающий на поливомоечной машине, ездил на рыбалку, карасей на зорьке половить, а утром на всякий случай из озера цистерну наполнил. Может, вода и стала причиной, что Авдеев неожиданно затеял баньку. Ну, а после



баньки, как водится у хороших хозяев, и пироги с пылу с жару, и самовар, и закуски разные.

После баньки долго сидели на летней веранде. Рашид несколько раз порывался встать из-за обильного стола, но вскоре понял, что сегодняшнее мужское застолье должен высидеть до конца. Поняла это и Анюта, и, попрощавшись, ушла спать. Они бы, наверное, гуляли до утра, да Кашфия-апа пришла за своими мужчинами, хотя и ей не сразу удалось уговорить Авдеева отпустить гостей.

Стояла уже глубокая ночь, когда Авдеев вызвался проводить Давлатовых. Мать с отцом под руку шли впереди, Кашфия-апа зябко кутала плечи в пуховый платок и потихоньку что-то напевала. Наверное, ей было радостно осознавать, что и муж, и сын рядом и жизнь все-таки повернулась к ним лицом. Авдеев с Рашидом шагали несколько в отдалении, продолжая начатый разговор. Ночь катилась на убыль, но на улице еще стояла вязкая летняя темнота, сразу поглотившая шедших впереди Давлатовых, только грустная песня матери слышалась в тишине сельской ночи; скоро, за углом, песня оборвалась.

Возле дома Давлатовых Рашид с дядей Гришей присели на скамейку у палисадника выкурить на прощанье еще по одной сигарете. Авдеев был чем-то возбужден, нервничал и не спешил уходить, да и Рашиду не очень хотелось идти в дом: застолье удалось, что-то тронуло в его душе, и в какой-то момент он почувствовал, что такого искреннего общения ему будет не хватать в городе.

Вдруг дядя Гриша прервал начатый еще за столом разговор и неожиданно сказал:

— Рашид, дорогой, женись на моей Анюте... — И, боясь, что его прервут или Рашид вдруг встанет и уйдет, не выслушав, заторопился, волнение мешало ему говорить: — Когда-нибудь, став отцом, ты поймешь и не осудишь меня... Вбила девка в голову, что рождена для жизни в городе, без этого свет ей не мил. Только вернулась из Оренбурга — уже планы строит, куда снова уехать. А мы с матерью извелись, ночи не спим. На что ей город? Ни специальности, ни образования, да и в городе она жизни особой какой-то хочет, чтобы и муж был не работяга. Ведь пропадет, пропадет в городе, выйдет замуж за какого-нибудь проходимца и промотает все, что с матерью нажили... А ради нее и горбимся, нам много не надо, счастья хотим ей. Как ты приехал да с Анютой вроде встречаться стал, жена и говорит: «Вот, может, и судьба наша...»

Но кто вас, молодых, нынче поймет, вот ты послезавтра уезжаешь, и рушится наша надежда... Стеша покоя не дает: иди, мол, упади перед Рашидом на колени, попроси, пусть женится на Анюте, ведь не хуже других она у нас... А мы уж век на тебя молиться будем...

— Что вы, дядя Гриша, какой я жених? Студент еще, ни кола ни двора, да и зарплата сто двадцать,— опешивший Рашид попытался охладить пыл Авдеева.

А вышло наоборот — дядя Гриша точно воспрянул духом:

— Да мы знаем, и пусть твоя головушка об этом не болит... Учись хоть еще десять лет на профессора там или на академика, или ученого какого,— поддержим, не боись, это мы на себя берем. А насчет хаты? Анюта сказывала, в городе кооперативную квартиру купить можно, так купим какую захотите. А раз у Анюты нашей с образованием не вышло, как у тебя, так мы с матерью решили и этот недочет покрыть: пока живы, бедствовать не дадим, слово мое ты знаешь. Наверное, дочь с тобой счастлива будет, мы же видим, как она на тебя глядит, да и люди кругом говорят, что вы пара замечательная, спроси кого хочешь... Да и Ильяс с Кашфией, думаю, не против, а уж у меня со Стешей какой бы камень с души снял...— И могучий Авдеев вдруг всхлипнул, видимо, случился с ним какой-то нервный срыв.

Рашид пытался его успокоить, еще надеясь, что на шум выйдет отец и все уладит, но куда там... Плакал Авдеев шумно, навзрыд, но отец не шел, словно предоставил ему возможность самостоятельно решать свою судьбу. Теперь уже Рашид был в отчаянии, хоть плачь, как дядя Гриша, а всего четверть часа назад жизнь казалась ему такой прекрасной.

Вот так в одночасье в его руках скрестились судьбы нескольких людей, да и своя тоже, и надо было на что-то решиться сейчас, немедленно. А ведь таких далеко идущих жизненных планов он не строил, да и об Анюте как возможной жене ни разу не подумал, хотя она ему и нравилась.

Он поглаживал дядю Гришу по вздрагивавшей спине, вглядывался в темноту за забор,— не раздадутся ли спасительные шаги отца? — и вдруг у него устало вырвалось:

— Успокойтесь, дядя Гриша, люблю я вашу Анюту.

Конечно, ни о каком приданом, ни о каких выгодах он в ту минуту не думал, просто не хотел чувствовать себя в чем-то виноватым перед родителями Анюты, обманувшим их надежды, что ли.



По-человечески ему было их жаль, а о себе он как-то в эту минуту не думал.

Уехал Рашид из отпуска женатым, и с того дня оказался привязан к Степному крепче, чем та пегая корова за забором. Оборви цепь — и разладятся покой и благополучие семьи, ведь трехкомнатную кооперативную квартиру купил тесть, он же дал деньги на кооперативный гараж. Его родители разорились на недешевый ремонт и мебель — от кухонного гарнитура до кабинетного, чтобы Рашид мог по вечерам заниматься.

Да что там ежемесячная помощь! Через год родители, скинувшись, подарили «жигули», хотя сами влезли в большие долги. Анюта даже наладила постоянный мост между Степным и Ташкентом... Если в городе перебои со стиральным порошком или мукой, яйцами или маслом, она звонит домой матери или свекрови, которая души не чает в невестке, и те тут же выносят к поезду нужное, на другой день только встречай — никаких проблем.

По осени, когда ударяли заморозки, родители частенько передавали со знакомыми проводниками кур и индюков, свежую говядину и барашка, копченую свинину и домашнюю колбасу, замороженные домашние пельмени. Конечно, и проводников за услуги щедро одаривали свежим мясом, яйцами, картошкой, что растет без химикатов... Да, крепко повязали его благополучием и достатком... Может, потому и уезжал по осени на хлопок без особого недовольства и сопротивления, как другие коллеги.

— Рашид, идем обедать, — окликнул Баходыр приятеля.

Рашид, очнувшись от нерадостных дум, заметил, что двор уже опустел.

— Что с тобой, опять нездоровится? — участливо спросил Баходыр, подходя к скамейке у арыка. — Час назад вроде уже напелал, а теперь опять чернее тучи.

Рашид улыбнулся, благодарно кивнул головой: ничего, мол, — и они вдвоем направились к столу, где их уже поджидал Самат. Не успели усесться и взяться за ложки, как вдруг что-то загрохотало в соседнем дворе, затрещал ветхий забор, и через двор чайханы галопом пронеслась знакомая корова — сорвалась с привязи. Самат, сидевший с краю, вскочил, пытаясь догнать корову и ухватить гремящую цепь, но Рашид с несвойственной для больного энергией закричал:

— Не смей! Пусть бегаёт, пусть хоть час на свободе побудет!

— Что с тобой, Рашид? — спросил удивленно Баходыр. — Какое тебе дело до чужой коровы? На тебе лица нет. Успокойся!

— Извини, Самат, — устало сказал Рашид, выискивая глазами корову, трусившую к Кумышкану.

«Вот и корова нашла в себе силы порвать цепь и хоть на миг вырваться на свободу, а ты ведь человек, мужчина...» — мелькнула вялая мысль. Есть расхотелось, в животе опять замутило...

После обеда Баходыр предложил съездить вместе в райцентр по делам, а заодно и в баню сходить. В другое время Рашид с радостью согласился бы, но сегодня не было желания. После ухода Баходыра он еще долго бесцельно бродил по двору, поправляя забор, выломанный взбунтовавшейся коровой. Потом снова взял посох и направился к речке.

Осенний день короток и после обеда уже ничем не напоминает летний, хотя по-прежнему тепло и солнце светит, но на всем явственно проступают приметы ноября. Если с утра небо отдавало голубизной, то сейчас померкли, посерели небеса, стали тяжелее, ниже. Вблизи воздух был все еще по-осеннему прозрачен, но то, что утром виделось далеко, теперь уже погрузилось в сизую мглу с размытыми краями, и оттого терялось реальное ощущение пространства, расстояния. Обманчивый, зыбкий свет, и даже Кумышкан за спиной зажурчал иначе — исчезли серебряные флейты. Тихо, пустынно, грустно; как ни обманывай себя — на дворе осень...

«Через неделю буду дома», — вяло подумал Рашид, и представил район, в котором живет. Красивый ухоженный район кооперативных домов на реке Бозсу, что означает «ледяная вода». Шесть кирпичных пятиэтажных домов особой архитектуры. Живут тут молодые семьи, большинство — ровесники Рашида. Оттого и название кооператива «Ешлик» — «Молодость». Попали они в этот кооператив случайно, но, прожив месяц-другой, Рашид сделал вывод, что многие жильцы так или иначе знакомы друг с другом. Некоторые жили раньше в одном районе, учились в одних и тех же спецшколах, коих немало в Ташкенте, занимались в модных полупо-легальных клубах каратэ и кун-фу, другие были завсегдатаями одних и тех же кафе, дискотек, ресторанов, учились в одних и тех же престижных институтах, еще детьми отдыхали вместе, и не однажды — в Артеке, третьи держали машины в одних и тех же гаражах.



Конечно, была там и иная прослойка, весьма незначительная, но и она не выпадала из общей массы.

Когда Рашид получал «жигули», поначалу огорчился: в огромном дворе стояли машины невзрачных расцветок — зеленые, желтые, коричневые. Да в очереди предстояло выстоять чуть ли не весь день, а может, даже пришлось бы прийти завтра — точно гарантировать время никто не мог, каждый подолгу и тщательно выбирал машину. Вдруг его окликнул парень в форменной спецовке ВАЗа. Хотя они и не были знакомы, узнали друг друга — оба жили в «Ешлике». Через час Рашид выехал с территории базы на белой машине, такой, о которой мечтал, и даже проверять ничего не стал, ибо сосед уверил: обнаружится неисправность, хоть через неделю, хоть через месяц, — заменит дефектную деталь тут же.

Жили в соседних домах несколько барменов из ресторанов, знаменитый солист популярного вокально-инструментального ансамбля, не менее известный футболист, бывший хоккейный кумир из Москвы, доигрывавший в ташкентском «Бинокоре», и даже иглоукалыватель — молодой кореец, к которому уже с утра выстраивались в очередь пациенты, приехавшие со всех концов республики, а может и страны, кто их знает.

Живя в Ташкенте холостяком, Рашид не знал и не любил города. Да и откуда ему было его знать и за что любить? Днем работа, вечером учеба, и так целых пять лет до диплома. Пять лет учебы он всегда с нетерпением ждал воскресенья, чтобы выспаться. По ночам ему нередко снились дорожные кошмары, всевозможные гибриды городского транспорта и даже транспорта будущего — движущиеся тротуары, пневмотранспорт, потому что работа находилась в одном конце города, институт — в другом, а комната, которую он снимал, — в третьем. Чего-чего, а пускать корни в столице он не хотел и отцу объявить об этом собирался, как только получит диплом. Вышло же так, что собственными руками привязал себя к Ташкенту.

А что касается Анюты, то она нашла здесь свою жизненную кочку и была счастлива. Работала она рядом с домом, в каком-то республиканском ведомстве по хлопку, занималась статистической отчетностью. В начале месяца два-три дня «висела» на телефоне, обзванивая области, требуя данных. Через годик-другой, обретя опыт, она и без телефона, обходясь цифрами за предыдущие годы, могла составить отчет шефу, и никогда грубо не ошибалась,

потому что знала, какая цифра нужна. И в областях, наверное, об этом тоже догадывались и не сердили начальство. Какую картину хотели иметь, такую и имели, и в управлении всем было хорошо от такого благополучия.

Получала Анюта сто два рубля и относилась к работе соответственно заработку: бывала на службе два-три часа, не более, да и то не каждый день. В одну из многочисленных кампаний по наведению порядка и укреплению трудовой дисциплины ее пытались приструнить, но бойкая на язык Анюта ответила, что не по зарплате требования, и уволилась. Полгода место пустовало — какой же нормальный человек пойдет работать за сто рублей, да еще в солидную организацию, где все в мраморе и дубе, и нужно уметь соответственно держаться и одеваться? — а потом бывший начальник сам позвонил домой и пригласил Анюту вновь, но теперь она уже работала по личному графику, когда ей удобно.

Анюта легко нашла общий язык с жильцами «Ешлика», более того — в женском активе она играла не последнюю роль. Впрочем, это и неудивительно: была она веселой, общительной, острой на язык, но вместе с тем доброй, мягкой, — люди к ней тянулись. К тому же Анюта была сильна не только в речах, чем отличаются большинство нынешних людей, но и жизненной крепостью, передавшейся ей от родителей, — она не терялась в ситуациях, от которых раскисали ее новые подружки и знакомые, потому что умела твердой рукой вести дом, хозяйство... И Анютины способности, чисто женские, хозяйские, не столь частые, к сожалению, нынче у женщин, не пропали даром: у нее консультировались и как лучше испечь пироги, и как солить и мариновать огурцы и помидоры, сварить варенье. Но чаще всего забегали перехватить займы то одно, то другое и удивлялись — у нее всегда все было, и она никогда не отказывала. А еще соседки любили забежать к Анюте на чашечку кофе, по-женски обсудить новости, новинки моды, и всегда поражались уюту, чистоте, ухоженности в квартире.

Конечно, жизнь Рашида в Ташкенте до Анюты и жизнь с нею разительно различались, точнее — были несравнимы. Собственная квартира, собственная машина, избавившая от кошмарных сновидений, и вечера его стали иными, институт остался позади. Без Анюты не обходилось ни одно мероприятие в «Ешлике», ко всем они оказывались званы в гости, и сама Анюта принимала друзей днем и ночью — благо квартира позволяла, да и временем



хозяйка располагала,— и Рашид невольно общался с людьми, о знакомстве с которыми вчера еще и помышлять не мог.

Как-то у них в доме после возвращения со спектакля в экспериментальном театре Дома молодежи стихийно собралась компания. Постановка удалась, и расходиться не хотелось. Один из постановщиков, видимо, желая сделать приятное хозяину дома, сказал:

— Вашей бы Анюте, Рашид, при ее вкусе, энергии, обаянии, немного бойцовских качеств, целенаправленности действий — далеко бы пошла.

— Мне кажется, что мы как раз в воспитании борцов, бойцовских качеств несколько переусердствовали,— мягко ответил Рашид.— Куда ни пойдешь: в театр, кино, какую книгу, какую телевизионную программу ни возьми — везде борются или культивируют бойцов, и в результате одни бойцы и борцы — и те, кто чего-то добиваются, и те, кто им противостоит. В трамвай не войти — электрическое поле в тысячу ватт, никто никому ни в чем не уступит — все борцы, искры повсюду сыплются, как только двое по любому поводу сойдутся. В любую организацию за каждым пустяком идем как на смертный бой, а там с такой же готовностью нас поджидают.

По мне, не бойцовским качествам, а нормальной работе, нормальным человеческим отношениям людей учить надо, и отпадет нужда в борьбе по пустякам. А пока одна моя знакомая, весьма тонко и своеобразно чувствующая время, придумала милый повод для развода, и, поверьте, чрезвычайно эффективный,— трижды за последние четыре года проверено. Желая развестись с очередным мужем, она просит его сделать за неделю три-четыре покупки и получить две-три справки. Разумеется, и покупки, и справки тщательнейшим образом продуманы.

И, думаете, какой результат? За одним приезжала «неотложка», и по состоянию здоровья молодой муж съехал к маме, другой после обширного инфаркта мыкается по больницам, инвалидность оформляет, а третий, кажется, умер. Все бы выглядело так же смешно, как девушки-каратистки или девушки-хоккеистки, если бы не было по-настоящему грустно. А вы о бойцовских качествах... Нет уж, увольте, это без Анюты.

Ответ Рашида поразил не только соседей, но и режиссера, который даже вынул записную книжку и стал торопливо делать пометки, приговаривая:

— Черт возьми, а ведь в этом что-то есть. Рашид верно нащупал болевую точку времени...

Хотя дорогостоящую аппаратуру — японские кассетные магнитофоны, музыкальные центры, стереосистемы, телевизоры, диктофоны, телефоны с блоками памяти — обитателей всего жилмассива ремонтировал Рашид, он понимал, что в «Ешлике» его привечают из-за Анюты, не обходят вниманием на всяких мальчишниках, приглашают в сауну, подсказывают, к кому подъехать, когда ломается машина, — словом, что и говорить, выручают постоянно.

Да, здесь жили ребята с крепкой хваткой. Помнится, они только заселились, а через месяц неподалеку вырос целый городок самодельных гаражей. Хотя стояли они строго в ряд и не было среди них ни одного ржавого, самострой портил пейзаж вдоль Бозеу, и жители близлежащих домов запротестовали, посыпались жалобы. Жалобы сыпались, а гаражей день ото дня прибавлялось. Куда только ни писали: в Комитет советских женщин — женщины, в Комитет ветеранов войны — пенсионеры, в ЦК комсомола — пионеры и их матери... Жалобы приурочивались и к великим датам, 2000-летию Ташкента, например, или к Международному кинофестивалю стран Азии, Африки и Латинской Америки, или просто к приезду важного иностранного гостя, и, кажется, допекли — тучи над гаражами начали постепенно сгущаться.

Но в один прекрасный день появились какие-то ловкие молодые люди из вновь созданного добровольного общества автолюбителей, врыли у въезда в гаражный городок столб и прибили на нем вывеску с неряшливо сделанной надписью: «Кооперативный гараж «Восход» Всесоюзного общества автолюбителей. Председатель — Новохаткин Ф. П.».

Шустрые молодые люди в джинсах и кожаных пиджаках быстренько оформили всех членами общества, содрав с каждого по десятке, вручили председателю размноженный на ксероксе устав, сплошь состоявший из ошибок, отчего иные пункты можно было толковать и так, и эдак, и укатили, оставив ликующих авто владельцев в неопишемом восторге. От такого цинизма онемели даже самые рьяные жалобщики и борцы за справедливость — мозговой трест кооператива наносил только нокаутирующие удары.

Мозговой — он на то и мозговой, и поэтому не довольствовался победой в первом раунде, понимая, что когда-нибудь времена могут измениться и не помогут парни из липового общества.



Оттого решили основательно заняться строительством вблизи массива типового гаража. Новый этап оказался потруднее, но все равно через два года они получили ключи от новенького подземного сооружения на законных основаниях, как пайщики кооператива. Самострой на берегу Бозсу, сменив владельцев — прежние вернули свои деньги, — просуществовал ровно год, потом его в один день снесли, — он действительно портил вид respectable района, так решил мозговой трест.

Вспомнилось Рашиду и строительство АТС. Возведение автоматической телефонной станции началось одновременно с массивом, и по плану жильцы должны были въехать в телефонизированные квартиры — дело, в общем-то, нормальное и узаконенное строительными нормами, но в жизни подобные радости редки. Когда новоселы въехали в дома, АТС едва поднялась из фундамента, и, глядя на двух-трех копошившихся там рабочих, даже несведущий в строительных делах человек мог безошибочно определить — очередной долгострой. Но не те люди жили в кооперативе «Ешлик», чтобы ждать телефонов годы. Собрали, по традиции, только мужчин, и председатель, уже взвесивший все «за» и «против», объявил:

— Если мы не намерены ждать пять лет ввода АТС, то должны действовать, то есть взять на содержание начальника управления, ведущего стройку, и прораба, ответственного за объект, — двести рублей ежемесячно каждому, пока не сдадут.

Кто-то робко поинтересовался:

— Мы будем платить почти год, как вы запланировали, а если они не сдадут, плакали денежки?

Ответить на вопрос поднялся из президиума Новохаткин, тренер по каратэ, бывший чемпион, а теперь еще и председатель гаражного кооператива.

— Не волнуйтесь, — если мы взялись за дело, АТС будет введена в строй в оговоренные сроки, и ни днем позже. Что же касается денег... Если бы возникла ситуация, о которой вы говорите, то деньги вышибли бы обратно, это я вам гарантирую... — И после паузы добавил с улыбкой: — С потрохами.

Зал оживился, в детали никто вникать не стал — такое не поощрялось...

Теперь, когда Рашид адресовал вопросы только самому себе, ему хотелось быть таким же жестким и искренним в оценке своих

поступков и своей судьбы, каким жестким он был в анализе жизни Дильбар, Фатхуллы, отца, Салиха-ака. Как при монтаже фильма, он вновь и вновь мысленно прокручивал «кадры», где был занят сам, и с горечью обнаруживал, что в главных ролях его почти нигде нет — все статистом, на общем плане, в массовке, разве только в редких эпизодах, когда был у себя, в домашней мастерской, наедине со сложной аппаратурой, вот тут-то он действительно главный, чувствует власть своего разума над тонкой техникой. «Бог, царь, волшебник», — говорят о нем в «Ешлике» владельцы дорогой и редкой аппаратуры. Пожалуй, мастерская — единственное место, где он чувствует себя уверенно, тут ему, как Фатхулле у котла, подсказывать не стоит.

Будь Рашид человеком иного склада, он, наверное, радовался бы широкому и интересному кругу общения жены, людям, что бывали у них. Но почему-то так получалось, что человек действительно интересный, ради которого и собирали гостей, отодвигался обычно на второй план — всякий раз находился третьеразрядный художник, режиссер-неудачник, поэт-скандалист, который умело пользовался подвернувшейся трибуной. Выдавая себя за друга дома, рта не давал открыть другим, но многим гостям такой демагог казался незаурядной личностью, главным в компании, и ему внимали с интересом и почтением.

Если шальной гость не портил вечер, делал это кто-нибудь из незваных соседей. К примеру, Левка Катанян, у него прямо-таки нюх особый или сквозь стены видит: только соберутся гости — тут же стук в дверь.

— А вот и мы! — радостно возвещал он, проталкивая вперед свою толстушку Гаянэ.

Левка работает в «Интуристе», в валютном баре, поэтому является всегда с какой-нибудь диковинной бутылкой спиртного для женщин и непременно прихватывает один и тот же сорт виски, наверное — самый любимый. И носится с этой бутылкой как курица с яйцом, перебивая только-только налаживающийся интересный разговор.

— «Белая лошадь», настоящая, в Шотландии по особому рецепту и из особой воды изготовленная, — нахваливает он, намереваясь в который раз прочитать гостям получасовую лекцию о виски.

Познания свои Левка почерпнул на курсах барменов в Москве. Других разговоров он не ведет и слушать не любит.



И всякий раз находится человек, который непременно спросит: — А что, бывает «Белая лошадь» не настоящая?

Левка, до этого успевший объявить гостям, что он вылитый поздний Элвис Пресли, долго и громко хохочет, и его жирные плечи и щеки трясутся, как холодец.

— Бывает, всякая лошадь бывает, но настоящая «Белая лошадь» только здесь или у меня дома. Англичане, шотландцы и прочие интеры пьют в моем баре тещин самогон, смешанный с коньяком. Тесть у меня экспедитором на винзаводе работает... И, знаете, нахваливают клиенты, говорят, что лучше, чем в самой Шотландии виски. А я им отвечаю солидно: «А как же, экспорт есть экспорт, Катаняну самое качественное и отправляют». Но, знаете, приятно слышать, что виски у меня лучше, чем в Шотландии, гордость берет за рецепт, я ведь сам химичу, никому не доверяю,— и опять весело хохочет, не обращая внимания на гостей.

А тем не до смеха: желание попробовать настоящее виски как-то пропадает, или, отравленные сомнением, пьют, не испытывая никакого удовольствия...

Или зайвится бывшая хоккейная звезда, доигрывающая в «Биннокоре»,— тот ко всем приходил без приглашения, твердо убежденный, что ему везде и всегда рады. Приходит он один, но через час-другой появляется его жена Элеонора, вечно заспанная и всем недовольная томная красивая женщина; она тоже считала, что своим присутствием украшает провинцию, иначе Ташкент она и не называла. Когда-то давно, всего один сезон, играла она эпизодическую роль в спектакле театра «Современник», еще в старом здании, располагавшемся на площади Маяковского, но почему-то любила другой ориентир и говорила: «Напротив ресторана «Пекин». После двух-трех рюмок Элеонора пытается рассказать всем, какая у нее была замечательная роль и как она ее блестяще играла. Но как называлась пьеса, она запаматовала навсегда.

— Ну, это неважно,— небрежно роняла она, и все с ней соглашались.

Хоккеиста звали Эдик, но между собой его величали Ноздревым: играл ли он в карты, нарды или шахматы, все пытался словчить, обмануть, и каждый раз ловили его за руку, однажды даже крепко били, потому что играли всегда «на интерес».

Как только появлялся Эдик, Катанян тут же убирал со стола свою роскошную зажигалку «Ронсон».

— Сопрет,— убежденно говорил Левка, пряча ее в карман,— непременно сопрет, уж я его знаю...

Хоккейную звезду отчислили из московского клуба за чрезмерную страсть к спиртному. Здесь, во второй лиге, с его слабостью мирились, и он потихоньку спивался. Хмелел он быстро, а опьянев, занимался постоянно одним и тем же — приставал к гостям с предложением обменяться часами.

— Махнемся? — говорил он кому-нибудь, зажав в кулаке свой задрипанный «Полет».

Махнутья он предлагал только тем, у кого были часы солидных фирм: «Радо», «Картье»,— дорогие и редкие часы здесь входили в обязательный джентльменский набор. Гостям, впервые столкнувшимся с бывшей спортивной звездой, и отказать было неловко, и с часами расставаться не хотелось. Но Аня цепко держала хоккеиста в поле зрения и, зная его повадки, вовремя приходила гостю на помощь.

— Эдик, обирать моих гостей — это уж слишком даже для такой знаменитости, как ты! — сердилась властная хозяйка дома.

Обиженный Эдик уходил сразу — тихо, без скандала, но непременно прихватив со стола бутылку.

— У меня тяжелое похмелье,— объяснял он свой жест.

Через час-полтора, не попрощавшись, уходила и Элеонора.

Попав несколько раз впросак, Рашид терялся, искренне жалея, что пропустил возможность пообщаться с интересной личностью, как хозяин дома чувствовал вину перед заслуженным человеком, и оттого подобные встречи не радовали душу. При удобном случае, сославшись на занятость, он запирался в мастерской.

Конечно, по праздникам, по случаю всяких личных дат собирались у них в доме и соседи по «Ешлику»; за два-три года они все перебивали друг у друга, шла бурная частная жизнь, и досугу уделялось особое внимание. Бывая в гостях у соседей или принимая их, Рашид всякий раз поражался уверенности, апломбу, с которым держались его одногодки.

Особенно раздражал его Шухрат Валиходжаев, парень, помешанный на автомобилях: у него ежегодно появлялись то новая модель, то машина другой расцветки. Шухрата знал каждый постовой ГАИ — второго такого злостного нарушителя в Ташкенте, наверное, не было. Многие инспекторы, наученные горьким опытом, не останавливали Шухрата, номер машины которого имел впереди



два гордых нуля. Не проходило недели, чтобы он не затевал крупный скандал с работниками автоинспекции.

— Я спрашиваю,— возбужденно рассказывал он об очередной стычке,— «старлей, тебе нужны мои права? Пожалуйста, только помни: привезешь мне домой их сам и извиняться будешь, а прощу я тебя или нет, не знаю,— на какое настроение нарвешься». Тут старлей побагровел и говорит: «Как ты, сопляк, с должностным лицом разговариваешь? Я при исполнении служебных обязанностей, а не у тебя в гостях». Ну, такого хамства я, конечно, не вытерпел, сорвал с него погоны и пообещал, что он, безродный кишлачный выродок, в ногах у меня будет валяться, вымаливая прощение за то, что оскорбил род Валиходжаевых...» — и Шухрат при этом победно оглядывал окружающих — мол, знай наших...

Или взять Генриха Хабибуллина — этот терроризировал лучшие рестораны и бары города, за исключением заведения Катаняна. Левке он покровительствовал потому, что тот ни разу не предъявил счет, один ли Генрих заваливался в полночь или с компанией — бар Катаняна, единственное ночное заведение столицы, работал до утра.

Генрих, соперничая с Шухратом, часто похвалялся:

— Заходим с Эдиком в «Зеравшан» пообедать, заказываем бутылку коньяка. Официант говорит: «Спиртное с двух, по сто граммов на человека». Ну, вы знаете, что для нас с хоккеистом эти сто граммов, а тут еще лакей про какое-то время толкует. Я ему поясняю тактично: «Ты, халдейская рожа во фраке, если сию минуту не принесешь бутылку коньяка, я ваш ресторан замучаю комиссиями, а на тебя дело организую, коль до сих пор не уразумел, кому можно пить с утра, а кому — с двух». Шум, конечно, гам, прибегают Гарик, метрдотель, наш сосед... Он, конечно, все улаживает, извиняется за нового официанта...

Ресторанный люд трепетал перед Генрихом потому, что отец его — шишка в народном контроле, а родной дядя — большой человек в городском ОБХСС.

Поражался Рашид и тому, как они держались друг друга, не давали чужим в обиду, понимая, что в стае — их сила. Если между собой Эдика называли пьянью, Ноздревым и даже презирали, то для посторонних, для гостей он — ярчайшая спортивная звезда, их друг, сосед, а его жена красавица Элен — актриса московского театра «Современник», вынужденная из-за мужа

оставить театр. Зная, что Генрих редко платит за свой обед в ресторане и беззастенчиво доит Катаняна, называли его подонком, но посторонним говорили о нем как о плейбое, сорящем деньгами направо и налево. Потому что если Шухрат Валиходжаев улаживал неприятности всех автовладельцев в ГАИ, то Генрих Хабибуллин по-своему оказывался нужным человеком для состоятельных людей «Ешлика»: чтобы достать икру, чешское пиво, красную рыбу, итальянские спагетти, оливковое масло, французское шампанское, заказать столик или снять зал для свадьбы или иного торжества, обращались только к нему.

За пределами «Ешлика» все желали выглядеть бескорыстными, утонченными и всячески поддерживали придуманную самими же легенду о красивой жизни и благородных нравах.

«Откуда у них такое нескрываемое чувство превосходства над другими, чувство единственных хозяев жизни, своей особой значимости, чванливости за принадлежность к созданной ими же касте, новой элите?» — часто с раздражением думал Рашид. Он даже предложил Анюте съехать из кооператива — интересных обменов на «Ешлик» предлагали много. Разговор вышел крутой. Рашид уверял жену, что они не туда попали, но Анюта, терпеливо выслушав горячие доводы мужа, ответила не менее убежденно:

— Ты что, сумасшедший? Люди спят и видят сны, что живут в «Ешлике». Жизнь нужно потратить для обзаведения такими знакомствами, а у тебя они все соседи. Это какой-то гениальный человек додумался поселить нужных людей в одном месте, чтобы они решали проблемы, не выходя из дома, а ты говоришь: съехать. И поменьше бы ты, дорогой муж, комплексовал, — выживают уверенные, сильные, удачливые, живущие без оглядки. Что касается меня, то я нашла свое место в жизни и вполне уютно себя чувствую, я всегда мечтала попасть в круг избранных. И если бы наши родители раскошелились еще щедрее, я бы открыла салон — это главная цель моей жизни. Разве тебе не понравится: давлатовские пятницы?..

В общем, поговорили по душам. Упоминание о салоне докучало Рашида, он ушел, хлопнув дверью, и ночь провел в гараже. Тогда же, с интервалом в полгода, он еще дважды хлопал дверью, в итоге опять — ночь в машине.

В первый год их совместной жизни в Ташкенте, на квартире, что снимал он на Чиланзаре, они подолгу строили планы, в которых



были учеба Анюты и, конечно же, ребенок. Куда девались планы, казавшиеся верными и реальными, как только они переехали в «Ешлик» и обжились?

На учебе Рашид, правда, особенно не настаивал. Анюта же с обескураживающей простотой говорила:

— А зачем учиться? Учись не учись, зарплата для женщины везде почти одинакова, без образования даже легче — не повязан специальностью... К примеру, поступлю я в мединститут. Семь лет тягостной учебы, включая «добровольные» стройотряды и каждую осень хлопковую кампанию до Нового года. Ночи напролет зубри латынь и фармакологию, обязательные дежурства в больницах из-за недостатка младшего медицинского персонала. А результат? Те же сто рублей. Ну, пусть не сто, больше, но существенной разницы в оплате труда нет, так и работу мою не сравнишь: я хожу на службу когда захочу, у нас спецбуфет, столовая, пайки, заказы, нет проблем с путевками, курортами, своя авиа- и железнодорожная касса, все солидно. Хлопковая отрасль — ведущая в республике, нам внимание, почет, блага, врачам только завидовать мне остается, как, впрочем, и многим другим дипломированным женщинам. Сколько получают и какими благами пользуются они, закончившие библиотечный, пищевой, текстильный институты?

Список она приводила убедительный, и Рашид смирился с тем, что учиться Анюта не намерена. А вот с ребенком...

Выйдя замуж, Анюта проявила характер, и переубедить ее оказалось делом непростым. В отношении ребенка она стояла твердо: не раньше, чем в двадцать восемь, мол, не намерена молодость и красоту губить из-за пеленок, тем более что наконец-то окунулась в интересную жизнь, — она имела в виду суету в «Ешлике». Почему в двадцать восемь — не объяснила. Может быть, двадцать восемь лет ей казались таким пожилым возрастом, что после них и жить не стоит?

Сейчас, на пустом хлопковом поле, перетряхивая свою семейную жизнь, Рашид убеждался, что и тут он не проявил ни мужского характера, ни настойчивости. А ведь видел, как пагубно влияет на Анюту обитание в «Ешлике». Пытался ли он с высоты своего возраста, опыта жизни в столице раскрыть ей глаза на многое?

Внешне их жизнь мало отличалась от жизни соседей — Анюта внимательно следила за ее фасадом. Еще не въезжая, они сразу переоборудовали новую квартиру, поставили, как и все, железную

дверь, открывающуюся посложнее иного сейфа, вышибить ее можно было лишь танком. Рашид до сих пор не понимал, зачем им такая сверхнадежная дверь. Мебель у них стояла, правда, как у всех здесь, импортная, стилизованная под старину, ну, может, аппаратура была поинтереснее, потому что Рашид понимал в ней толк; привез ее сосед, раз пять в году бывавший за рубежом.

Пожалуй, вот и все сходство с квартирами соседей. Рашид знал: большинство молодых семей, как и его собственная, живет «на подсосе» у родителей — словцо, широко бытовавшее в их среде, — но догадывался, что существует у многих и какая-то другая жизнь, которую старались не афишировать.

Наверное, поначалу и Рашида в «Ешлике» приняли за оборотистого парня — попал в престижный кооператив, жена одета с иголочки, дом хлебосольный, машина, гараж, — и поэтому он однажды чуть не получил доступ к аферам деляг.

Как-то окликнул его с балкона Новохаткин, тот самый, что придумал и осуществил гениальный трюк с гаражами:

— Рашид, заскочи на минутку, дело есть.

Честно говоря, Рашид побаивался и сторонился председателя гаражного кооператива. Фред Новохаткин, несдержанный, злой парень, держал многих в страхе; бывало, иногда по пьянке пускал в ход кулаки, но наутро долго и слезно просил прощения, потому что знал — тут обиды не забываются. Крикливый, шумный, хвастливый, он не нравился Давлатову, который сам по натуре был сдержан, немногословен, замкнут. Поражало Рашида, что Новохаткин входил в мозговой трест кооператива, где преобладали все-таки ребята с головой, и манера держаться у них была иная.

— Чем занимается Фред? — спросил он однажды у Левки Катаняна.

— Федя? Бывшая спортивная звезда дает теперь частные уроки каратэ отпрыскам из благородных семей, а основное занятие — рэкет. Опасный человек... Ты держись от него подальше...

Давлатов не знал, что означает «рэкет», но переспрашивать не стал..

Рашид подумал, что Фред приглашает его оценить новый стереокомплекс «Кенвуд», о котором он уже всем уши прожужжал, и пошел к соседу, хоть и без особого желанья. Фред встретил его необычайно радушно, обнял, даже на восточный манер задал несколько вопросов о житье-бытье, не особенно вслушиваясь



в ответы. «Наверное, по пьянке грохнул деку на пол или мотор спалил», — успел подумать Рашид, видя, как необычайно любезен сегодня хамоватый председатель. Но Фред даже не подвел его к сившей хромом и никелем установке. Усадив Давлатова в глубокое кресло спиной к «Кенвуду», чтобы не отвлекался, он по-хозяйски предложил:

— Виски, коньяк, джин?

— Иду в гараж за машиной, потом на Алайский базар, — ответил Рашид, — так что, сам понимаешь...

— Если хочешь — врежь. Отмажем, в ГАИ тоже наши люди есть, — уговаривал Новохаткин, но Рашид от выпивки отказался.

Фред, в ярком атласном спортивном халате, наверное, оставшемся от тех недавних времен, когда он был чемпионом, налил себе виски и сел напротив.

— Второй год присматриваются к тебе некоторые люди, — начал он издали, — и все не поймут, что ты за человек, как попал в «Ешлик». Темная лошадка — так о тебе до сих пор судачат. — Видя, что Рашиду не понравилось такое сравнение, он заторопился: — Да ты не обижайся, плохо не говорят. Скорее, речь о твоей загадочности: молчишь, никуда не спрашиваешься, ведешь себя достойно, не жаден, но при деньгах, это чувствуется. А уж в твою Анюту наши жены влюблены поголовно, и в доме у тебя любят бывать. Попытались навести справки — никто толком ничего не знает, чисто работаешь. Но за два года поняли: ты свой парень, деловой. Умные люди затеяли одно беспроектное дело и решили, что ты им вполне подходишь в компанию, они и поручили мне переговорить и предложить тебе пай, — не всякому выпадает такая честь, цени...

Рашид слушал, не перебивая, потому что не понимал, куда клонит председатель гаражного кооператива.

— ...А дело, Рашид, такое. Решили открыть в Ташкенте, а если удастся, и по всей республике, залы игровых автоматов. Дело давно проверенное, на азарте умные люди миллионы делают. Но для начала требуются деньги, большие деньги: надо заполучить надежные автоматы, аттракционы, нужны штаты, помещения, разрешения райисполкомов, утверждение максимальных цен; необходимо открыть счета и финансирование в нужных банках. Все уже продумано, закручено, вот-вот завертится колесо и посыплется золотой дождь на хозяев, но в самом конце у пайщиков стали иссякать наличные — ты не можешь представить, какие деньги

вложили в игорный бизнес! — поэтому они предлагают тебе вложить тридцать тысяч, которые вернут сразу с первых прибылей, не позже чем через полгода.

Глядя на непроницаемое лицо Рашида, Фред встал, подошел к письменному столу и молча подал ему большую красивую коробочку. Рашид нажал на кнопку, и крышка легко открылась: с черного бархата обивки полыхнули ослепительным блеском бриллианты.

— Что это? — спросил он, непонимающе глядя на хозяина.

Такая реакция не осталась незамеченной Фредом, но он не придал ей значения, подумав, что Давлатова ошеломили красота кольцо и герб некогда старейшего ювелирного дома России.

— Залог под твой взнос, — объяснил он. — Только помни: старинное кольцо гораздо дороже твоего пая. Обычно залог никому не обеспечивают, достаточно слова, но ты человек новый и осторожный, судя по всему, поэтому пошли навстречу. Цени доверие и внимание.

Рашид, немного отойдя от первого шока, спросил с любопытством:

— А что я буду иметь, если войду в дело?

Фред вытер взмокший от волнения лоб.

— С момента вступления будешь ежемесячно получать по триста рублей в течение пяти лет. Нигде не числясь, не расписываясь, то есть абсолютно без риска. А пай вернут тебе первому, я уже говорил. Впрочем, если автоматы окажутся надежными и прослужат более пятилетнего гарантийного срока, деньги будут выплачиваться и дальше.

Рашид почему-то до сих пор воспринимал разговор как розыгрыш — у них в «Ешлике» часто и остроумно разыгрывали друг друга, причем иную шутку готовили неделями, — но сейчас почувствовал, что шуткой тут и не пахнет: слишком уж волновался Фред от возложенной на него миссии. Рука машинально нажала кнопку, и Рашида снова ослепил холодный блеск бриллиантов. Он нечаянно выронил коробку и почему-то вдруг смертельно испугался...

Реакцию Фред сохранил отменную, — он перехватил выпавшую коробку и по бледному лицу Давлатова понял, что обратился не по адресу.

Рашиду стало неловко за свой непонятный страх и хотелось как-нибудь достойнее выйти из неприятного положения, но ничего путного в голову не приходило — страх словно парализовал его.



Фред понял его состояние и рассмеялся:

— Ну, не тянешь так не тянешь, ошиблись, значит, в тебе проциательные люди. Но запомни: язык надо держать за зубами, в таком деле и соседей не милуют...

Больше Рашид деловых предложений не получал и ни в какие аферы его не втягивали — мозговой трест ошибался редко. Анюте он не сказал ни слова, а жаль, может, с самого начала было бы меньше восторгов по поводу людей, живущих вокруг.

«Как же так? — недоумевал Рашид. — Банк, финансирование, официальные штаты, залы в людных местах, и какие-то подпольные владельцы?» Наконец, после долгих раздумий, решил, что его хотели обмануть. Впрочем, пожелай даже он войти в долю, стать тайным совладельцем игорных заведений, откуда у него такие деньги?

Но когда во всех оживленных местах Ташкента и тесных предбанниках кинотеатров стали дружно появляться залы игральные автоматов, Рашид понял: с ним говорили серьезно, и размах показывал, что нужные деньги нашлись и хорошо подмазанному делу не чинили бюрократических помех. Судьба игральные залов его не волновала, у него своих забот хватало, хотя время от времени он слышал обрывочные фразы о новом бизнесе.

Наверное, Рашид никогда бы не вспомнил о давнем предложении, да и сегодня тоже, если бы неделю назад не прочитал в главной республиканской газете статью. Поразило его не только количество залов игральные автоматов и размах дела — залы работали в три смены, без перерыва, — но и то, что в некоторых имелись «однорукие бандиты», те самые, что стоят в Лас-Вегасе и Монте-Карло и опутали весь мир, — настоящие, с клеймом «Made in USA». И даже корреспонденту уважаемой газеты не удалось добраться до сути: как попали в далекий Узбекистан эти «однорукие бандиты»? По газетной версии, автоматы предназначались для теплохода, работающего по фрахту на иностранных линиях, но как они объявились в сухопутном Ташкенте, читатели так и не узнали...

«Удивительная осень, — пришла неожиданная мысль. — Проясняется все вокруг, по всей стране. Еще полгода назад вряд ли вышла бы подобная статья, поостереглись бы о таком во всеулышание говорить, да и те, кому это невыгодно, не дали бы ей ходу, сила у них была, деньги текли рекой до самого верха. Да и сейчас рано сбрасывать их со счетов — затаились, выжидают, надеются, что временно это, очередная кампания...»

И сам собой возник неутешительный вывод: если его соседи жили двойной жизнью, то он жил с двойной моралью.

Ведь на работе он не раз говорил о расплодившейся новой элите, и не просто говорил, а осуждал, ибо вокруг, куда ни глянь, попиралась справедливость. Выходит, неискренним он был со своими друзьями: Фатхуллой, Баходыром, Мариком, если, приходя домой, принимал или шел в гости к этой самой что ни на есть махровой самодовольной элите, тем более зная, что она к тому же и не чиста на руку. А услуги соседей, которыми пользовался? Значит, всецело разделял в душе их корпоративную мораль.

А блага от такой морали доставались немалые, от телефона и гаража до билета на любой спектакль, да и вообще вряд ли существовала в Ташкенте сфера, которая, по выражению Анюты, не была «прихвачена» влиятельными людьми из «Ешлика». Отказался ли когда от чего-нибудь, да что отказался — задумался ли крепко, что пользуется тем, что предназначено другим?

«Нет, как ни оправдывайся, я стопроцентный представитель блатного «Ешлика», даже если не вхожу в мозговой трест и не ворочаю темными делами,— казнил себя Рашид.— А может, оттого и не входил в мозговой трест и не ворочал темными делами, что кишка оказалась тонка, а не потому, что честнее и лучше окружения?» — задал он себе новый вопрос.

И тут же, как ни странно, без труда нашелся ответ. Мало, оказывается, стоять в стороне, в позе стороннего наблюдателя, даже с чистыми руками. Пока не научишься называть вещи своими именами и не будешь относиться к себе строже, чем к другим, не перестанешь тешиться мыслями, что в главном ты себя не запятнал, а мелочи вроде не в счет,— иллюзией будет называть себя порядочным человеком.

Неожиданно он подумал, что жить так дальше нельзя, и пришла шальная мысль: а не пойти ли работать в мастерскую, где ремонтируют радиоаппаратуру и вычислительную технику, ведь есть у него к этому тяга, способности. Мысль вроде абсурдная, но, если вдуматься, есть резон: лучше, не теряя годы, стать классным специалистом, чем быть псевдоинженером.

— Начать все сначала? — сказал как-то неуверенно вслух Рашид, и вновь его мысли вернулись к отцу.

«Вот кого не пугают перемены, а только радуют»,— подумал Рашид и улыбнулся. Он знал, что Бугаев, председатель колхоза



в Степном, предложил отцу с Авдеевым взять сельский подряд: выращивать скот, свиней и птицу, и под это дело выделил пашни, луга, выгон, технику. «С весны станем фермерами», — весело сказал отец по телефону.

«И нам с Анютой нашлось бы дело на семейной ферме», — подумал Рашид, но представить Анюту на ферме среди телят и поросят не смог и вздохнул...

Осенние сумерки густели прямо на глазах, и из поля видимости исчезало то одно, то другое, словно невидимая рука опускала театральный занавес, сужая сцену, и невидимый режиссер убирал на ночь и Чаткальский хребет, и шипан Палвана Искандера, и уходящий в поля арык Салиха-ака, и тутовники, затаившие жизнь до весны, и вспаханные поля, неоглядные поутру; нет и неба — одна дымная наволочь, которой, кажется, можно коснуться рукой.

И вдруг Рашид ясно ощутил, что если сейчас, сию минуту не примет какого-то решения, все останется по-прежнему, хотя жить так ему уже не хочется. Почему-то мелькнула в сознании корова, порвавшая цепь, и он улыбнулся.

«Да-да, сейчас, немедленно, несмотря на ночь, в Ташкент, домой!» — осенило его. Четкой и осознанной программы не было, был лишь душевный порыв — это он чувствовал.

Прежде всего необходим разговор с Анютой об их жизни, их семье, ведь должен он и ей дать шанс начать сначала. Разговор предстоит не из легких и может закончиться старым как мир вопросом: быть или не быть?

И он наконец-то должен ответить на него по-мужски, как велит разбуженная совесть. А если нет, если она не захочет понять его и что-то поменять в своей судьбе и на этот раз, не пожелает расстаться с придуманной жизнью? Как тогда? Найдет ли он в себе силы не держаться за то, что стало его оковами, выйдет ли из круга, где имеет незаработанные привилегии, где как бы узаконена и его причастность к избранным?

— Да, да! — ответил он себе и впервые почувствовал себя так уверенно, что подумал: «Я и без диплома не пропаду».

А что, если махнуть на все рукой и вернуться домой, в Степное? Ведь там до сих пор нет ателье по ремонту телевизоров, магнитофонов, приемников, и вынуждены его земляки громоздкую аппаратуру возить на починку в Оренбург. Вот где бы, наверное, по-настоящемугодились его способности — приносил бы

пользу землякам, ведь аппаратуры теперь в каждом доме хоть отбавляй. «Ну, это уж на крайний случай, если жизнь совсем припрет», — решил Рашид и улыбнулся: оказывается, в жизни столько шансов жить достойно, с толком, надо только захотеть.

Возвращался он, торопясь в чайхану, не вдоль арыка, как все последние дни — арык уже потонул в темноте стремительно надвигавшейся ночи, — а проселочной дорогой, наезженной за дни хлопковой страды машинами и комбайнами и исхоженной горожанами-сборщиками. Заросший, худой, с посохом в руке, человеку с воображением он, наверное, издали напоминал дервиша, не хватало только котомки за плечами и островерхого войлочного колпака.

С каждым шагом темнота сгущалась, и сквозь дымную наволочь появилась на небе бледная звездочка — пока одна-единственная, первая.

Рашид услышал, как журчит Кумышкан, — до кишлака рукой подать. Задумавшись, он налетел на камень на дороге, от падения его уберег только посох. Он отвлекся от дум и оглядел знакомый валун, на который однажды уже наткнулся.

Огромный камень лежал как раз на пересечении дорог, и Рашиду вспомнилась давняя присказка: «Налево пойдешь — коня потеряешь, направо — счастье найдешь, вперед пойдешь...» Милое, славное время детских сказок, как быстро ты истаяло, и во взрослой жизни надо самому принимать решение, в какую сторону поворачивать, куда идти и зачем...

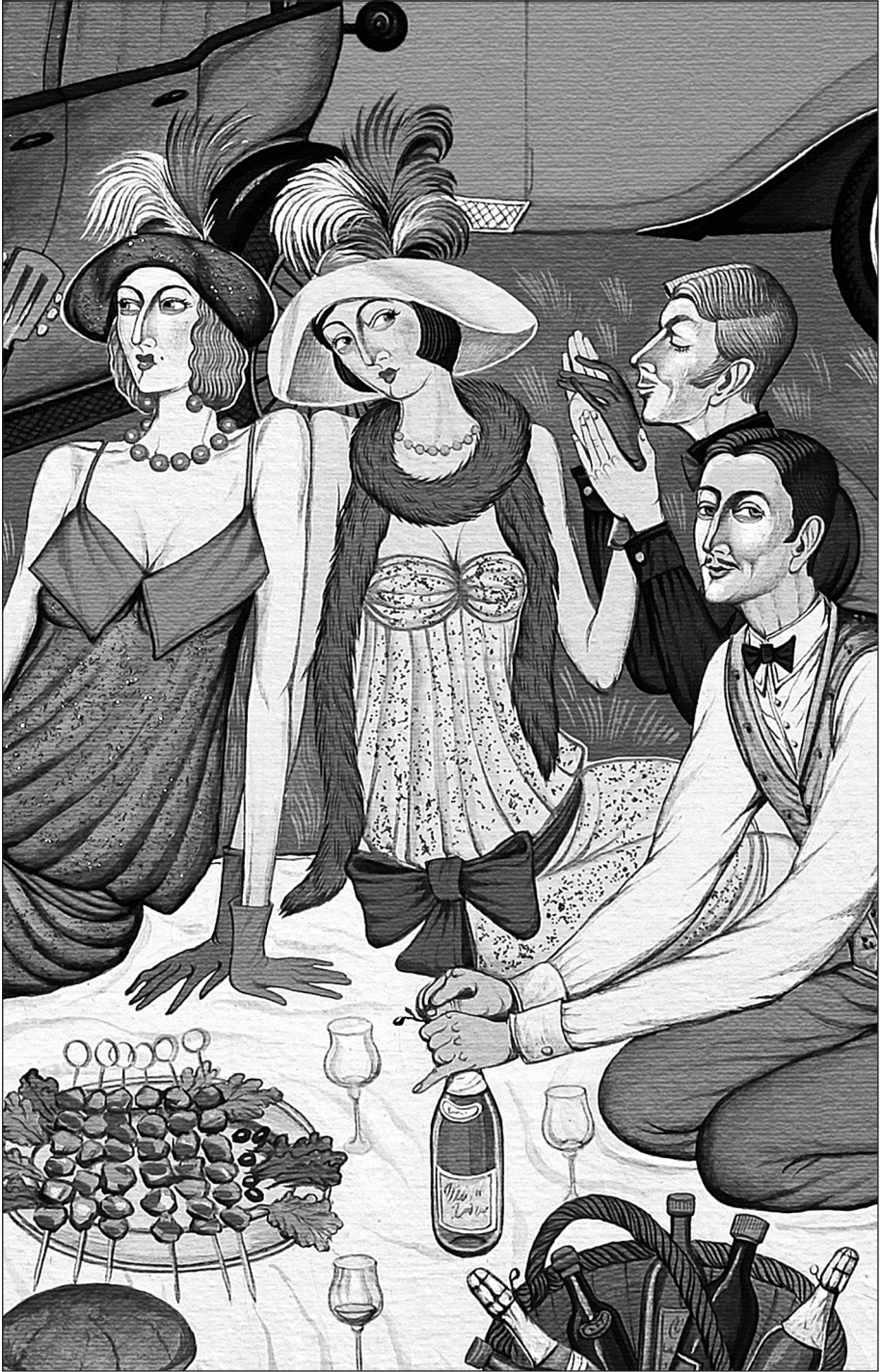
В это время за Кумышканом в вечернюю тишь кишлака и окрестных полей ворвался многократно усиленный динамиками голос: «А ты такой холодный, как айсберг в океане...», неожиданно ярко вспыхнул фонарь на столбе у чайханы, и Рашид, обежав камень вокруг, как в детстве наудачу, прибавил шагу.

Малеевка,
1987



Рассказы





Такая долгая зима

Рассказ

За окнами светало. Огромный ярко-малиновый шар солнца вставал, казалось, рядом — сразу за рекой Илек, по всем приметам суля такой же морозный день, как и вчера.

Дед Козлов на ощупь, осторожно спустился с остывшей за ночь печи, отыскал обрезанные, без голенищ, пимы и, слегка припадая на левую ногу, прошел к окну; так же на ощупь нашел на подоконнике заготовленную, как всегда, с вечера самокрутку.

Вчера он не успел очистить занесенные снегом окна, выходявшие на улицу, а единственное глядевшее во двор окно занесло вновь, и в комнате стояла примятая низким потолком густая темнота.

Еле сдерживая утренний кашель, который пропадал с первой затяжкой сигарки, дед нашарил в кармане стеганых брюк кремь и кресало. Не по возрасту ловким, даже лихим жестом высек яркую искру и прикурил от задымившегося ватного фитилька в старой немецкой гильзе.

Потом, дымя всласть, неторопливо прошел в соседнюю комнату, где рядом с образами в темноте мерно отбивали время ходики. На секунду остановился перед часами и, поправляя поползший с плеч потертый кожух, крепко затянулся. Толстая самокрутка, словно фонариком, высветила выцветшего петушка на циферблате, и дед увидел, что было уже четверть седьмого. «Поздненько я сегодня встал», — подумал он, подтягивая гири со всевозможными довесками.



Вернувшись в переднюю, стараясь особенно не греметь, хотя и знал, что Августина, его бабка, уже не спит, раздул тщательно сбереженный на ночь уголек, наломал кизяку, и вскоре по стенам хаты заплясали отблески огня. Аккуратно долил в чугунок из самодельного ведра воды пополам со льдом, прикрыл крышкой и поставил на огонь. Сделал это просто, безо всякой цели,— не пропадать же зря теплу! Докуривая уже обжигавшую пальцы самокрутку, присел на сундук — когда-то девичье приданое Августины.

Мысли деда Козлова уже унеслись далеко за пределы низкой комнаты, озаряемой огненными бликами разгоравшейся печи, далеко за порог занесенной сугробами двери...

Рассвет, начало нового дня вызывали в нем воспоминания, и то, что другим обычно приходило во снах, деду Козлову являлось в эти утренние часы. Являлось не так уж часто, как и добрые сны, а являясь, стремительно проносилось в памяти, но он успевал не только увидеть, но и услышать шумы, различить чей-то памятный голос, а то и почувствовать запахи давно прошедшей жизни.

Эти праздные утренние минуты, короткие, как и сами воспоминания, были дороги старику, но о них, о своих видениях, возвращениях в юность, молодость, он никому не рассказывал, даже бабке Августине.

Сегодня он видел себя молодым и чубатым; армейская форма сидела на нем ладно, даже выгоревшая гимнастерка не портила вид. Он стоял в строю, держа равнение налево, чувствуя, как волнением наливается тело и мелкой дрожью заходятся коленки.

...Чернявый франтоватый полковник с нафабранными усами объявлял строю, что рядовой четвертого пехотного полка Козлов первым открывает список награжденных в новом полку: Георгий четвертой степени.

Он стоял перед низкорослым полковником, досадуя, что своим аршинным ростом причиняет неудобство начальству, прикалывающему Георгий...

«Несерьезный же я был»,— подумал дед Козлов вслед пронесшемуся видению из весны 1915 года, а вслух неожиданно сказал: «Пора!» — и стал неторопливо одеваться.

Наружная дверь открывалась в сенцы.

— Опять по крышу замело,— обращаясь неизвестно к кому, сказал дед, орудуя легкой деревянной лопатой.

Первые квадраты плотно спрессованного снега он складывал прямо в сени. Очистив подходы к двери, дед откопал окно в прихожей и поспешил, прямо через огороды, выручать соседей.

Каждый год он говорил им, чтобы переставили двери. При нынешних снежных зимах разве можно, чтобы дверь отворялась наружу? Да кто же переставит?

Вот если бы Сулейман вернулся с войны... Но он не вернется, похоронка на него пришла еще в сорок четвертом... А других соседей, живших через плетень: Балтабая, Саида, Егора, только на фронт отправили — и «черные письма» пришли сразу, следом, даже первой весточки земляки отписать не успели.

Знал дед, что туркестанцы стояли насмерть под Москвой в сорок первом. «Да, не пощадила война наш квартал — прямое попадание», — часто с грустью повторял дед Козлов.

Пока он откапывал соседей, поселок потихоньку просыпался. Прямо из-под снега потянулись к морозному небу хилые струйки дыма, лишь у сухорукого Кадырбая, заведующего фермой, дым шел густой, жирный, под стать самому плутоватому хозяину. Да, ему о кизяке горевать не приходилось.

Вернувшись домой к завтраку, дед долго и тщательно, с притопами, словно давая знать о себе Августине, обметал валенки, стряхнул кожух, даже лохматый трех вытрепал. Едва он переступил порог, в дверь просунулась детская головка и, сверкая большущими темными глазами на худом, бледном личике, мальчик спросил:

— Бабай, ут барма?¹

— Бар, бар², — ответил дед, помогая приоткрыть дверь.

Пожалуй, отворить ее нараспашку у мальчишки не хватало силенок. Бабка Августина наложила в протянутое детское ведерко с полустершимся довоенным зайчиком несколько угольков, затем отсыпала в карман большого, не по росту пальтеца горсть тыквенных семечек, горячих, прямо с печи, и, погладив по давно не стриженной непокрытой головке, тяжело вздохнула.

Когда за Ахадом хлопнула дверь в сенях, старик со старухой переглянулись. Ахад, родившийся через неделю после ухода отца на фронт, вырос незаметно и удивительно напоминал деду своего

¹ Дедушка, огонек есть? (тат.)

² Есть, есть. (тат.)



отца, Саида, который работал вместе с дедом в кузнице колхоза «Третий Интернационал».

В этом степном поселке у железной дороги, на стыке России с Азией, дед Козлов жил давно. С той самой поры, как здесь же закончили подчистую с его высокоблагородием Дутовым, с тех пор, как полковой фельдшер Исаак Абрамович сказал: «Отвоевались вы, красный конник Козлов, с такой ногой покой и покой нужен...»

Через год женился на Августине, так и не дождавшейся своего Лариона с германской. Помыкались с Августиной по чужим углам, пока хату не купили в мусульманском квартале.

Все соседи до одного оказались татары да казахи, только позже, перед самой войной, Егор Панченко, водолей, заправлявший на станции паровозы, рядом отстроился.

В маленьком местечке люди живут открыто: и беда наружу, и радость не под замком. Дружно жил Козлов с соседями, даже говорить на их языках выучился. «Чистый бусурман»,— шутила Августина, когда он с приезжими, аульными казахами, лошадей ковать сговаривался.

На родине, на далекой сибирской реке Витим, Козлова, даже молодым, за спокойный рассудительный нрав иначе чем Игнатием Степановичем не величали. А как надел солдатскую шинель, которую столько лет снимать не пришлось, пристало — Козлов, и в обществе словно сговорились: Козлов да Козлов, а уже лет десять — дедушка Козлов...

— Бедная Фарида... пошли господь ей здравия... трое малют... — Дед Козлов поставил на чисто выскобленную столешницу консервную банку с крупной голубоватой солью.— Говорил ей, нехай Ахадка поживет у нас, слухать не стала...

Бабка Августина придвинула к деду табурет, принесла миску с картошкой в мундире, достав с полки початый каравай темноватого хлеба, завернутого в чистую холстину, положила его перед дедом.

— И я, отец, о мальчонке просила, да Фарида в слезы, говорит: «Что бы Саид сказал?..» — тихо произнесла Августина и, перекрестив лоб, взяла обжигающую пальцы картофелину. За завтраком они больше не говорили.

Поев, дед Козлов стал сбрасывать с запечья валенки, вскоре высились уже целая горка их: детские, взрослые; серые, черные, белые; поновее и такие, что, казалось, место им одно — свалка. Разматывая просмоленную дратву, дед подумал: «Не хватит... надобно в воскресенье на базар наведаться...»

Смолоду, когда его еще Игнатием Степановичем величали, прослыл он мастером на все руки: и охотник, и рыбак, и делянки земли у леса отвоевывал; сеял и пахал, и ко всякому ремеслу приучен был.

Жизнь мяла и трепала деда Козлова, бросив в четырнадцатом из одного конца России в другой, даже на чужбине помыкался, в страшном немецком плену, где только умелые руки да сметка выжить и помогли.

Два года плена, где он и «шпрехать» выучился, где зашибли ему ногу, чтобы не сбежал, были кошмарным воспоминанием и для видавшего виды Козлова.

Знал Козлов от бывалых солдат, что такое плен немецкий, и, не будь в беспамятстве, не дался бы живьем. Не миловали в плену русского солдата, а его, с тремя Георгиями, подавно — так и не смолкало: «Козлоф... Козлоф...»

Околел бы в германском плену от голода, холода, вшей и тифа, если бы не призвание что-то делать, делать умело, даже на краю жизни. Может, одного его из тысячи, хворого и хромого, взяли работником в имение. Немецкие печи, утермарки, класть наловчился так, что печники здешние диву давались, диковинные цветы под стеклом растил, а уж валенки чинить — родное русское ремесло...

Скоро эти дырявые в пятках, подносившиеся в подошве валенки заимеют коричневые задники из мягкой кожи; на подошвы лягут голенища уже совсем непригодных пар, и ровная строчка воощеной смоленой драгты накрепко прихватит их: носи на здоровье!

Дверь в комнату распахнулась, и по полу потянуло холодом. На пороге, выпутываясь из маминого платка, стояла школьница Алима, дочь Сулеймана.

— Что же ты, коза, вчера не приходила? Готовые,— встретил ее дед, подавая с печи уже не раз латанные валенки.— Как же в школу ходила?

— У мамы денег вчера не было,— ответила девочка, протягивая смятую бумажку.

Дед перекинулся взглядом с Августиной и вдруг рассмеялся:

— Ну и память, Алима, у твоей матери, она сразу и рассчиталась, когда в починку принесла.

Девочка повеселела.

— Ой, как хорошо, а то мне еще тетрадки купить нужно.

Вслед за Алимой вышел из хаты и дед. Растревожила душу старику Сулейманова дочка. «У, треклятая!» — старик в бессильной злобе плюнул в сторону, откуда второй раз на его жизни приходила война.



К обеду мороз подобрел, утих северок, гнавший низкую колкую поземку. Солнце светило по-весеннему улыбочиво, только улыбки той на тепло еще не хватало. «В суровые години зимы не добреют»,— вспомнилась деду старая пословица.

«Середина марта на дворе, а как заявила зимушка в октябре, так прощевать и не собирается»,— думал дед, выводя на воздух любимицу Голландку. Столь необычное для здешних мест имя корова имела потому, что действительно была голландской породы. «Разноцветная»,— называли пеструшку дети, привыкшие к своим одномастным Буренкам да Зорькам.

Покупать корову дед Козлов ездил в канун войны за двести верст в Оренбург. На скотном базаре и выторговал красавицу и умницу. В Германии, где скот держали только хороших пород, голландские коровы ценились, там они и приглянулись ему. Неделю пёхом добирались с базара домой. За дорогу и признала разноцветная деда хозяином.

Голландка ткнулась влажной слюнявой мордой в остатки стога, сметанного дедом в небольшую копёшку, лениво жевнула и, развернувшись к деду, грустно посмотрела, словно спрашивая: «Чем, деда, кормить будешь, если весна еще задержится?»

Дед, как бы успокаивая ее, погладил раздутые лоснящиеся бока,— Голландка была стельной.

Бабка Августина вынесла золу из печи и, высыпав на задах, тоже подошла к корове. Пеструшка радостно ткнулась ей в подол, но, не найдя картофельных очисток, равнодушно махнула хвостом.

Дед волоком вывез в старом корыте навоз и подстилку к большой куче на огородах. Укладывая поаккуратнее, чтобы по весне куры не растащили, огляделся.

Казалось, совсем недавно в каждом дворе были не только корова и пяток баранов, но и лошадь, а то и верблюд. В татарских дворах — непременно еще и пуховые козы. Известные мастерицы пуховых платков жили в этом квартале. Сейчас лишь во дворе Кадырбая у развороченного стога стояла корова с бычком и бродили рядом две черные овцы.

Сухорукий Кадырбай, единственный в поселке имевший двух жен и живший двумя домами, происходил из малочисленного, но знатного, почитаемого среди казахов рода — ходжа, откуда выходили священнослужители. Это обстоятельство и позволяло ему до войны жить праздно и безбедно. Числился он скотником на ферме, но работой себя не утруждал, как же, белая кость! Он всегда был зван первым на все

свадьбы, крестины, именины, поминки, чего в мирной жизни было с избытком. Гостил он подолгу и в дальних аулах, откуда часто приезжал с подарком: то баранчиком, то телком. И людское горе ему удачей обернулось. Забрали всех мужиков на фронт, а его назначили заведовать фермой: на безрыбье и рак рыба. Плутоватый ходжа всегда был неприятен деду, но особенно ненавистным стал с прошлого года.

День Победы совпал с Курбан-гаитом, мусульманским праздником, и женщины решили помянуть павших джигитов — забить бычка.

Собрали по крохам деньги, но на базаре дед не смог выторговать им приличную скотину. Добрый двухгодовалый бычок был у Кадырбая, но он из своих соседок последние копейки вытянул — почище, чем на базаре. А на поминки заявился первым, пообедался мясом за вдовьи гроши.

Пять лет войны выветрили даже запах скотины в пустых сараях, а иные сараи, из двойного плетня, обмазанные толстым слоем кизяка, давно сгорели в ненасытных печах в долгие зимы.

Чтобы держать скотину, в доме нужен мужчина. Все короткое лето дед с рассветом впрягал Голландку в телегу и отправлялся за Илек косить в зарослях тальника сено. Вечером небольшая копёшка раскладывалась во дворе на просушку. Знал дед за рекой и тихие рыбные озера с линиями и карасями. Хитрые дедовы верши из гибкой осенней лозы редко бывали пустыми. А уж когда начиналась грибная и ягодная пора, дед по очереди брал соседскую ребятню в заповедные места.

Из Сулейманова дома вышла Алима, до школы она собралась привезти воды. На санках, которые дед с Саидом до войны ковали почти для каждого двора, Алима установила битый молочный бидон с крышкой, большую кастрюлю и ведро. За водой ходили далеко, на станционную колонку.

В поселке было три колодца, но все они находились на другом краю села. Колодцы были копаны артельно, в складчину, на паях с каждого двора, и ходить на чужое как-то не принято было.

До второй смены, в которой училась Алима, было еще много времени, но за водой выстраивались длиннющие очереди, и детвора, приходившая по воду, затевала в ожидании всякие игры: каталась на санках с огромных гор шлака, играла в снежки...

Алима, два дня просидевшая дома без валенок, торопилась увидеться с подружками, пощеголять аккуратно подшитыми, словно поновевшими валенками. Ходил на станцию за водой и дед Козлов, но он выбирал другое время — рано поутру...



Алима, увидев во дворе деда, помахала рукой и побежала по крепкому насту, вслед ей еще долго гремели в санках бидон и ведро.

Из Егоровой хаты вышли Катерина с Фаридой и тоже с санками потянулись к станции. Там они заменили мужиков, убиравших шлак за паровозами. Тяжелая для баб работа, но железная дорога паек определила, уголька иногда подбрасывала, а то и пяток старых шпал давала. Возвращаясь со смены, они везли домой воду и ведерко-другое непрогоревшего шлака.

«Молодец Катерина, если бы не она, худо пришлось бы Фариде», — подумал вслед женщинам дед Козлов.

Катерина, Егора-водолея вдова, с трудом выбила место шлаковщицы для Фариды, — от желающих отбою не было. Совсем потеряла голову Фариды, получив похоронку на Саида, да и как не потерять: грудной Ахад на руках, двое других, чуть постарше, тоже еще под стол пешком ходят.

Катерина взяла Фариду напарницей на носилки. Всю тяжесть в работе, как могла, старалась брать на себя. Да и после работы Катерина частенько пропадала на дворе Фариды. Молоденькую и неопытную подкараулило горе, как тут не помочь, опустятся руки — пропадет, пойдут по миру сироты.

Еще долго управлялся старик с делами по двору, а мысли его кружили по соседним дворам, вспоминал их хозяев, таких крепких и ладных мужиков. Какие планы сообща строили! Один Сулейман уцелел под Москвой, и поди ж ты — смерть и его не пощадила, одного-единственного, последнего, которого весь квартал ожидал.

Опершись на вилы, дед Козлов долго стоял посреди заснеженного двора, уже прихватило инеем богатую седую бороду, а он все стоял.

Мысли его были в том далеком много раз клятом дне.

Повестки им не приносили. Утром ворвался в квартал на взмыленном коне военком Бектемир и, круто осадив его у плетня Балтабая, крикнул:

— Война... В два часа всем мужчинам быть у военкомата в полной готовности...

Первым, раньше женщин, взвыл Кадырбай. Бектемир замахнулся на него плетью:

— Тебя это не касается, сами управимся.— Военком приподнял гнедого на дыбы.— Что приуныли, джигиты, и я с вами...— и, с места одолев высокий плетень, поскакал скликать свою дружину.

Лихой человек был Бектемир, да будет земля ему пухом.

Неожиданно потянуло влажным ветром, налетели тучи, и в какой-нибудь час снова запуржило, замело. Короткий зимний день до срока угас на глазах.

Дед вновь принялся за валенки, но сегодня дело не спорилось. Бабка, за долгие годы привыкшая улавливать настроение деда, молча готовила вечерять. За ужином они перекинулись лишь парой незначительных фраз. Не шел позже деду и сон.

События того давнего летнего дня возвращались сценами, забытым словом, чьим-то жестом, но в этих воспоминаниях чего-то не хватало, видимо, оттого все и возвращалось; и вдруг дед вспомнил, почти физически ощутил, какой это был очень душный жаркий день, 22 июня...

Первым, это дед помнил точно, прибежал Балтабай, он совсем не говорил по-русски, да и по-казахски не больно охоч до разговоров был колхозный конюх.

Потом, словно сговорившись, один за другим пришли все удивившие на фронт. Августина достала из потаенного местечка бутылку самогона, который сберегала на всякий случай, поставила на стол, что нашлось в доме, и дед с каждым выпил на прощанье, каждому сказал напутственное слово.

А что дед немца бил и Георгиев имел, знали все. И просьба у всех была одна — о доме, семье, детях, которых оставляли аскеры¹.

За окном неистовствовала вьюга (беш кунак, как называли казахи последние яростные визиты зимы), но в занесенном снегом доме было тихо. Давно перестала ворочаться Августина, и дед слышал ее не по возрасту чистое ровное дыхание, а сон к нему все не шел.

Дед несуетно, придиричиво ворошил в памяти последние шесть лет жизни, с такими долгими холодными зимами: выполнил ли он наказ джигитов, отдавших долг Отечеству сполна, не обошел ли вниманием чью-нибудь семью? Все ли сделал, что было в силах, чтобы облегчить тяготы и лишения, выпавшие на долю женщин и детей?

Ловил себя на том, что часто отчаивался сам: «Хромый и хворый дед, в доме немощная старуха, что можешь ты в такое лихолетье, когда беда заглянула в каждый из двенадцати дворов квартала, по какой-то нелепой случайности, несправедливости обойдя именно двор Кадырбая?..»

¹ Аскер — воин, солдат (казахск.)



Почему-то особенно глубокое отчаяние настигало его по вечерам, когда на какую-то минуту он освобождался от дел, но дед старался отогнать малодушные мысли, снова брался за привычное дело, а то говорил бабке: «Собери-ка, мать, чего-нибудь, схожу погостую».

Дед надевал чистую гимнастерку, выменянную бабкой Августиной у солдат с проходящих составов на самосад, бережно цеплял всех своих Георгиев.

Бабка то наливала крынку молока, то накладывала стаканчик ежевичного или земляничного варенья, то заворачивала сушеную рыбу, а то и шматочек сала, и непременно — целый мешочек крупных жареных семечек. Странно, но в войну удивительно хорошо рос подсолнух.

Бабка никогда не ворчала, что дед часто и надолго оставляет ее по вечерам, она понимала: так надо. Никогда не спрашивала с вечера, к кому он идет, но всегда безошибочно отгадывала. Да разве было большой тайной, кому сегодня хуже всех?

И до войны компанейский дед любил ходить по гостям, уж больно люб был ему казахский чай — крутой, со сливками. Давно уже перевелся хороший чай, да и сливки тоже, но когда в гости приходил дед Козлов, каким-то образом находилась щепотка настоящего духовитого чая. И это всегда необычайно трогало старика.

Разговор в то время был один — о войне. Дед, бывалый солдат, разъяснял сообщения Информбюро и, надо отдать должное, был большим дипломатом. Трудная это дипломатия — держать ответ на вопросы, где всегда присутствовал самый главный — когда? Но надо было найти ответ, чтобы выше поднялись придавленные горем и нуждой плечи, чтобы улыбнулись без времени постаревшие лица, чтобы крепла надежда на близкую победу, на лучшую жизнь, на счастливую долю детей.

А еще он рассказывал о Германщине, где месяцами кроме ржавой протухшей селедки ничего не видел. О сырых ветреных зимах за колючей проволокой; о поместьях, где коровы похожи на Голландку, а свиньи иной породы, без сала; о цветах, что растут зимой в рамках под стеклом; о земле, скудной, не чета нашей — русской...

А больше всего дед любил ходить в гости с письмом Сулеймана. Сулейман был мужик грамотный, партийный, механиком в МТС работал, здорово в тракторах да жатках разбирался.

Письма он писал домой и деду Козлову. Писал толково: о себе, друзьях, о том, как врага бьют, и всегда они полны были верой

в победу. В его треугольниках со штампом полевой почты дед и черпал силы в дни отчаяния.

Сулейман писал, чтобы не горевал дед, вот вернется, их двое будет мужиков, а двое уже сила. Писал, что тот колодец, который перед войной миром решили выкопать, и место уже определили, они вдвоем осият. Все беспокоился, как они зимой да весной по распутью мучаются с этой водой. Обещал непременно захватить из Неметчины метров двадцать цепи для колодца, так как знал, что сейчас там, в тылу, и ржавого гвоздя не найти.

«Ах, Сулейман... Сулейман...» Горячая слеза покатила из бессонных глаз деда Козлова и пропала в прокуренной бороде.

Похоронка на Сулеймана как взрывом накрыла весь квартал, подкосила своей чудовищной несправедливостью, — ведь уже был виден конец проклятой войне и правда наша верх брала...

В тот день впервые дед Козлов, почитавший Бога, совершил святотатство: не выдержал, плюнул в лик Николе Угоднику, которому столько молебнов отслужил, чтобы жив остался, вернулся сосед Сулейман.

С такими грустными думами и заснул дед Козлов.

А наутро увидел — пришла пора зиме сдавать свои полномочия: теплый ветер-лизун метался по заснеженным дворам и сугробам, и они оседали прямо на глазах. С самого утра стар и млад, способные держать в руках лопату, очищали крыши домов. Промедли денек — и мазанная глиной крыша, словно промокашка, вберет в себя снежную влагу и обрушится. Случалось и такое.

Весь день дед не расставался с лопатой, вырыл в снегу глубокие траншеи и вывел их на зады, в огороды. Оставшуюся копёшку сена сложил на крышу сарая, чтобы не подмочило, не разнесло по двору талой водой.

Вывел гулять Голландку, потом достал из погреба опустевшие за зиму кадушки из-под капусты, наполнил их снегом и выставил на ветру — отбить запах.

К вечеру в дом Козловых потянулись люди. Несли в починку весеннюю обувь, все больше сапоги, а кто и с куском старой резиновой камеры приходил, просил высокие калоши на валенки изготовить — и это умел дед.

Весна, словно наверстывая упущенное, катилась стремительно, и днем, и ночью очищая свои владения от снежных остатков лютой зимы.



Отелилась Голландка. Одномастную, красноватого оттенка телочку со звездой на лбу называли Ягодкой.

Тронулся Илек. Ожидалось, что широко разольется, много нынче воды с гор и оврагов в него набежит, значит, быть колхозу и с сеном, и с хлебом.

С каждым днем солнышко пригревало все сильнее, и во дворах, еще пару недель назад пустынных, показались люди — немощные старики и старухи, которых дед Козлов не видел с прошлой осени, и неугомонная ребягтя, неожиданно вытянувшаяся за долгую зиму.

Ручьи, лужи, залитые талой водой огороды по утрам оттаивали от звенящей ледяной корки, и в воздухе стоял удивительный запах пробуждавшейся земли.

Иногда дед Козлов среди дня усаживался на просохшей завалинке, снимал линялый заячий трюх и, подставив весеннему солнышку желтую лысину или резко осунувшееся за зиму бородатое лицо, казалось, дремал. Но это было не так. Дед думал, и длинная, тягучая неотступная мысль не давала ему покоя. Он прикидывал и так, и эдак, и в минуты, когда дед мысленно убеждался, что осуществить задуманное никак невозможно, неожиданно говорил вслух: «Стар уже я... помру, видно, скоро».

Так длилось уже несколько дней подряд, и бабка Августина видела, как на глазах тает погрустневший дед.

Днем дед частенько бывал на пустыре среди квартала, где когда-то решили откопать колодец, он и воду отвел с пустыря в лощину, куда со всего квартала золу да мусор сбрасывали.

«Если бы вернулся в прошлом победном году Сулейман, по этой весне мы бы и начали...» — думал дед Козлов.

Мысли о колодце не оставляли его ни днем, ни ночью, и старик вконец извелся. Не мог смириться с мыслью, что не откопать ему уже почти двадцатиметровой глубины колодец, годы не те и здоровье не на такие дела, да и деньгами не одолеть — сколько одного тёсу нужно на такой глубокий сруб!

Наступал день, и думы одолевали его вновь, опять он топтался на пустыре. Дед почему-то чувствовал себя виноватым перед всеми бабами квартала, ведь всю войну обещал им: «Вернется Сулейман — будет вам колодец!»

«А может, кто и недобрый словом помянет теперь Сулеймана, что обманул их надежды?» — от этой мысли как ознобом прохватило старика.

Если б хоть деньги в достатке были, но дед, казалось, перебрал все возможные варианты, и, как ни крути, не сбиралась и треть нужной

суммы. О паях дед не думал — где же бабам денег взять, и так концы с концами еле сводят. Разве вот только Кадырбай раскошелится, но в это дед не верил. И все же пошел к ненавистному ходже.

Битый час кружил дед Козлов у двора Кадырбая, уже и волкодавы приметили старика, а он все не решался войти, уж больно мерзок был ему хозяин собак.

Хоть Кадырбай и побаивался деда Козлова, — знал, каким уважением пользуется тот не только в поселке, но и в степных аулах у кипчаков и адаев, а денег все же не дал ни на колодец, ни взаймы.

Говорил, что двум сыновьям свадьбу будет делать, и по такому случаю большой той¹ закатит, пусть, мол, знают все щедрость Кадырбая!

Не поднимая головы, забыв надеть кожаный картуз, плелся дед через пустырь со двора Кадырбая. Бабка Августина выводила на солнышко Голландку с Ягодкой, но дед молча прошел мимо нее к завалинке.

Долго сидел дед, не замечая, что здорово напекло голову и сам он весь взопрел. И от обеда, предложенного бабкой Августиной, отказался...

Решение пришло неожиданно, и от невероятной мысли деда словно сдуло с завалинки.

— Как же, как же продать-то тебя, милая? — шептал дед, поспешая к корове. — Седьмой годок ведь ты у нас, кормилица, поилица, красавица наша, радость наша, — продолжал дед, поглаживая нагретую солнышком спину Голландки.

«Как же я Августине скажу?» — думал дед, снова возвращаясь на завалинку.

День пролетел незаметно, но сказать бабке о своем решении дед так и не отважился.

Ночью он долго ворочался, кряхтел, поглядывая в темноту, где лежала бабка Августина. Старик знал, что и она не спит.

— Мать, а мать... я того, решил продать Голландку, — выдавил с трудом из себя дед.

Бабка ничего не ответила, только уловил он краем уха, как зашлась она в беззвучном плаче.

— Будя, будя, мать... всякому ведь я ее не продам...

*Ташкент,
май 1972*

¹ Той — свадьба, гуляние (казахск.)

Чигатай, тупик 2

Рассказ

В городе сносили и строили, строили и сносили... Исчезали кривые улицы почти библейской древности, горбатые пыльные тупики и переулки; исчезали целые кварталы-махалли с высокими глинобитными дувалами скрытых от глаз подворий.

Уходило прошлое навсегда, навечно. Уходило тихо и шумно, с радостью и печалью.

И оттого, что рушилось все вокруг, становилась беспомощной чья-то память, державшая на примете, как маяк, какую-нибудь чинару, которой один Аллах ведаёт сколько лет.

Бегут годы. Вон и тебе уже за семьдесят, а она, могучая мать-чинара, украшение и гордость махалли, какой была на твоей памяти — самой высокой в округе, с дарящей прохладу раскидистой кроной,— такой и осталась. А если огрубела, потрескалась кора неохватного ствола да вокруг дерева вздыбилась холмом почва, упрятавшая громадные корневища в выжженной солнцем земле,— так ведь и ты уже не юноша чернобровый с тополиным станом.

Время-хозяин на всем ставит свое тавро, никто и ничто не остается без его меты. Но как ни меняет время облик всего сущего, у старой памяти ориентиров много. Если подняться вверх по Чигатаю — узкой, извивающейся, как пустынная змея, улице, на которой едва две арбы разминутся, да и то если ездоки с уважением отнесутся друг

к другу,— выйдешь к былым складам горторга, который по привычке называют караван-сараем. Давным-давно отшумел свое караван-сарай, считай, с тех пор, как последних лазутчиков Джунаидхана выловили в нем, а за пыльными глухими складами с подслеповатыми окнами так и остался — караван-сарай.

С этой улицы, с любого ее конца, в глубине запутанных улочек-лабиринтов можно было увидеть два минарета. Один, что повыше, выглядел молодцом: высок, прям, строен. Многие, кто помоложе, из поколения атеистов, особенно праздный туристский люд, принимали минарет за трубу какой-нибудь хилой котельни или фабрики, но когда десять лет назад на самой его верхотуре свили гнездо аисты, каждому стало очевидно, что никакая это не труба и что выстроена башня совсем для других целей.

«Чтобы не путалось Богово с мирским»,— сказал в ту весну кто-то из седобородых, у кого и дел-то осталось на земле что занимать красный угол в чайхане. Минарет стоял заколоченный, никому не мешал, и о том далеком времени, когда по его крутым ступеням в последний раз поднимался муэдзин призывать правоверных на утренний намаз, помнили только старая чинара да несколько стариков, коротавших остаток дней в чайхане.

Другой минарет, видимо, и в лучшие свои годы был попроще и ростом не вышел, да и кладка его из кирпича-сырца была без затей, не радовала глаз. То ли устав от времени, то ли по какой иной причине наклонился он, и довольно заметно, в сторону овражка, где бежала узкая торопливая речушка — сай. Иные, демонстрируя свою образованность, называли минарет падающей башней и упоминали какой-то далекий итальянский городок. В махалле же минарет называли просто — Кривой Мухаммад Ходжа.

Поговаривали, что минарет, построенный на деньги кривого ростовщика Мухаммада, человека скупого и вздорного, хоть и совершившего хадж в Мекку, наклонился сразу же после Курбан-байрама. Глядящий в сай минарет был словно людским укором ростовщику, обманувшему мастеровых при расчете. Каких только денег ни сулил ходжа, чтобы выправили минарет, но охотников почему-то не нашлось. Молва успела стать легендой, и следов ходжи давно не найти, а минарет все падает и никак не упадет.

А рядом, за шербатым дувалом, обдавая пылью прохожих, нарушая все правила ГАИ, неслись по Чигатаю серебристые рефрижераторы с местной минеральной водой, а то, сверкая лаком и вызывая



восторг махаллинской ребятни, бесшумно лавировал по петляющей улице вишневый «икарус», возивший футбольную команду, известную всем своими взлетами и падениями.

Где-нибудь на улице, ежедневно меняя место наблюдения, таился сонный на вид толстый лейтенант ГАИ. Он как из-под земли появлялся перед лихачами-шоферами, считавшими себя непревзойденными ловкачами, и, лениво поигрывая жезлом, загораживая собою треть дороги, громогласно объявлял: «На улице Чигатай движение одностороннее! Штраф плати!»

Вот так тесно сплеталось на этой улице старое и новое, вчерашнее и сегодняшнее, прошлое и будущее, уже витавшее над махаллей...

Борис Михайлович Краснов появился в махалле в самом конце пятидесятых, теперь уже далеких годов. Тогда его и по отчеству еще не величали, а звали просто Борей или Борисом.

В осеннее утро, окрашенное терявшими листву чинарами, опаздывая, как ему казалось, к месту назначения, стремительно несся он вверх по Чигатаю, на ходу впитывая в себя контрасты не по-осеннему жаркой улицы. Его цепкий молодой глаз, привыкший к мягким, теплым российским тонам, приметил в разгоравшемся оранжевом свете близкого солнца и чинару, и минареты, и многое другое...

Первые впечатления, восторг новизны, неизведанное и оттого прекрасное чувство перемен в жизни, в краю новом, необычном, навсегда запали в сердце молодого инженера. Было-то ему тогда неполных двадцать два года от роду. Оттого, наверное, много позже — когда уже работал в другом районе огромной столицы, — если случилось оказаться в старом городе, он вдруг ощущал какой-то душевный подъем, как в те давние молодые годы, и каждый раз его обдавало теплом и надеждой на перемены к лучшему.

На работе его приняли по-товарищески сердечно. Тогда, впервые поднимаясь вверх по Чигатаю и разыскивая нужный тупик, Краснов удивлялся: да может ли быть среди этих глухих осыпающихся дувалов какая-либо служебная контора? И закрадывалось сомнение — уж не напутал ли он с адресом?

Монтажное управление, вернее, здание, в котором оно располагалось, оказалось и впрямь необычным, как необычно было для него все вокруг в этом южном краю.

Уже через час после того, как он появился во дворе, сплошь укрытом от солнца виноградником, отчего на земле лежала пестрая, как маскхалат, тень, Краснов получил в свое распоряжение отдельный

кабинет. Оглядывая высокие расписные потолки, чем-то напоминавшие Китай, но с изящной арабской вязью на темных балках, он не переставал удивляться: «Шахерезада... Шахерезада, да и только».

И полетели дни и недели. Где-то далеко, там, откуда приехал Краснов, уже давно убрали огороды, пустые поля с потемневшим жнивьем прихватывались по утрам густыми заморозками, и все чаще и чаще лили нудные обложные дожди.

А во дворе их управления с прогнувшихся лоз свисали тяжелые виноградные гроздья, и солнце сквозь пожухлую листву, словно порядком подустав за бесконечное лето, светило мягко, покойно, и казалось, конца этому теплу и благодати никогда не будет...

«Надо же... теплынь... Сахара...» — частенько думал Краснов и вспоминал попавших по распределению в более суровые края товарищей, которые уже облачились в плащи и пальто, ходят в шапках и свитерах, и много всяких других забот, наверное, свалилось на них в преддверии суровой зимы. А тут все еще разгуливают в пиджаках.

Сто рублей, положенный ему оклад, конечно, не студенческая стипендия, но все же... Краснов продолжал жить скромной, выверенной студенческими годами жизнью и потому с удивлением вдруг обнаружил, что вырос из своих куцых пиджаков, как-то неожиданно увидел изношенность любимых рубашек, а уж об обуви и говорить не приходилось. Может, такое прозрение произошло оттого, что начальник производственного отдела — а был он не намного старше Бориса — являлся на работу в таких ослепительно белых сорочках и начищенных туфлях, что Краснов, глядя на свои стоптанные сандалеты и брюки, плохо державшие стрелки, насмешливо думал о себе: «Чучело огородное, а не инженер».

И все же он принадлежал к поколению предвоенных лет, поколению, может, и не крепкому телом, как нынешние акселераты, но крепкому духом, целеустремленностью, для которого моральные ценности значили куда больше накрахмаленных рубашек. И он с завидным упрямством провинциала впитывал в себя все, что мог дать ему столичный город. С энергией, вызывавшей уважение, Краснов восполнял зияющие пробелы в своем культурном образовании. В записной книжке четким, несколько размашистым почерком у него были записаны названия опер и балетов, драматических спектаклей, которые непременно надо посмотреть. Здесь же значились адреса почти всех музеев: этнографического, краеведческого, музея природы, атеизма, прикладного искусства и других, о существовании которых многие



горожане и не подозревали. Выставочные и лекционные залы, библиотеки, кинотеатры — всему нашлось место в этой старой, студенческих дней, книжке.

Жил он в ту пору на Чиланзаре, в общежитии. Преимущественно одноэтажный город тех времен раскинулся на огромной территории, словно тогда уже предвидел свой бурный рост и заранее застолбил себе место.

Каждодневная утренняя поездка на троллейбусе до Хадры казалась ему путешествием в неведомые края. Он часто стоял у огромного пыльного окна в конце салона и сквозь свои неторопливые мысли, обрывочные думы слышал, как музыку, ленивый голос кондуктора: «Беш-Агач... Караташ... Алмазар...»

Каждое название в этом городе заключало в себе не только музыку, но и тайну... Самарканд-Дарбаза... Домрабад... Ахмад Даниш...

Он выходил на Хадре и пешком спускался к Чукурсаю, чтобы, минуя знаменитый базар, отмеченный во всех туристских проспектах, выйти к Чигатаю.

Он шел по остывшим за ночь тротуарам, ощущая под тонким слоем асфальта булыжное мощение, еще сохранившееся в прилегающих ко дворам проездах.

Арыки поутру казались полноводнее и журчали веселее. Справа, из распахнутых высоких ворот парка, веяло утренней свежестью. За решетчатой оградой, оплетенной цветущей лоницерой, виднелись присыпанные красноватым песком безлюдные аллеи. Борис уже знал, что среди вавилонского многоязычия города в этом парке чаще всего звучала татарская речь. Татары давно облюбовали себе этот скромный парк и отмечали в нем старые и новые праздники.

На базаре он не задерживался. Покупал две пышные горячие лепешки, прямо из тандыра, еще на одну серебряную монетку брал к ним кисть винограда, пару персиков или истекавших соком груш, но чаще всего «кандиль» — яблоки с нежным девичьим румянцем.

Тут же на базаре, в одной из многочисленных чайхан, полупустых поутру, он завтракал, выпивал традиционный на востоке чайник зеленого чая. Из интереса Краснов заходил то в одну, то в другую чайхану и повсюду встречал почти одинаковые, в алых розах металлических подносы, на которые он клал лепешки и вымытые фрукты.

Но он быстро разобрался, что при кажущейся одинаковости чайханы очень отличаются друг от друга. В одних, воровато оглядываясь, понижая голос до шепота, сидели как на иголках за нетронутым

чайником чая оптовики-перекупщики, рядившиеся с растерявшимися от оглушающей суеты города дехканами. В других восседали важные, громогласные бритоголовые мясники. День им предстоял нелегкий: и огромными двенадцатикилограммовыми топорами намашутся, и туши многопудовые ворочать придется — только успевай! А среди дня два подростка, племянники чайханщика, понесут из чайханы в мясные ряды подносы с лучшими чайниками и пиалами без единой щербинки. Мясники испокон веков на базаре — торговая элита!

Обнаружил Краснов и чайхану, где звучала громкая речь казахов, — казахские земли с запада вплотную подступали к городу.

На работе он сразу пришелся ко двору, потому что имел редкую по тем временам специальность — инженер по антикоррозийным покрытиям. Документы в институт он подавал, как и большинство парней, на отделение гражданского строительства, но на собеседовании оказался представитель вновь организованного факультета. Краснова он особенно не уговаривал, сказал только: «Десять процентов ежегодно производимого металла съедает коррозия». Это и определило выбор юношей профессии.

Большая химия только зарождалась в этих краях, и защиту огромных шатрообразных газгольдеров, строительство сернокислотных и электролитных цехов, завода фосфорных солей вело монтажное управление, затерянное в каком-то из тупиков Чигатая.

К зиме главный инженер стал все чаще брать Краснова на объекты в близлежащие промышленные города: Чирчик, Алмалык, Ангрен, Ахангаран, постоянно держал его при себе на крупных совещаниях у заказчика или в министерстве.

Нужен он стал скоро и начальнику производственного отдела, и девушкам из лаборатории, постоянно консультировавшимся у него. Даже плутоватый кладовщик Мергияс-ака, не доверявший никому, информацию о свойствах новых красок, эмалей, растворителей, эпоксидных смол и порошкообразных наполнителей старался получить не в лаборатории, а непременно у Краснова. В прохладе огне- и взрывоопасных складов, оглядывая заставленные полки и стеллажи, Мергияс-ака говорил: «Все знает, ничего не путает Краснов. Молодец, учился, дурака не валял, как некоторые», — и почему-то зло косился в сторону конторы. А поостыв, добавлял: «Ин-жи-нир, хорош инжи-нир!» И как-то неожиданно для Краснова стали величать его Борисом Михайловичем, Борисом-ака.



Однажды в начале зимы, в туманное и сырое утро, Краснов торопился на работу. За пазухой недавно купленного нового пальто у него лежали две горячие лепешки. Чайхана, в которой он, как обычно, хотел позавтракать, оказалась закрытой, и Борис решил попить чаю с вахтером: у того на плите зимой всегда кипел чайник.

Он шел по мокрому Чигатаю, ощущая тепло и запах свежих лепешек, и так велико было искушение откусить кусочек, что он невольно замедлил шаг. И тут вдруг его окликнули:

— Товарищ инженир, доброе утро! День сырой, зайдите в чайхану, выпейте пиалу чая.

В проеме распахнутой двери стоял рослый мужчина в меховой безрукавке и широким жестом приглашал войти.

За дверью Борис увидел ярко горевшую лампочку и часть стены, завешенную тяжелым темно-красным ковром. Оттуда на Краснова дохнуло теплом, древесным углем и типично восточным запахом множества ковров. Эту чайхану на Чигатае, неподалеку от управления, Краснов приметил давно и уже знал, что она махаллинская, а это совсем не то, что базарная. Доступ сюда имеют обычно лишь завсегдатаи и местные жители.

Борис секунду раздумывал, но улыбка не сбегала с лица чайханщика, жест был искривлен и щедр, и он вошел.

С тех пор Краснов частенько бывал здесь, но с особым настроением заглядывал именно поутру, поздней осенью и зимой...

...В сутеми слякотного или морозного утра, когда скудно отапливаемый мангалами старый город нехотя просыпался, Краснов, приподняв короткий воротник пальто, спешил, как обычно, через базар. Лепешечник, за спиной которого жарко исходил паром тандыр, уже как старому знакомому протягивал ему две с любовью отобранные лепешки, и он, не сбавляя темпа, обгонял какие-то неожиданно возникавшие из светлевшей тьмы согнутые, закутанные фигуры, слыша вокруг себя почему-то приглушенный, не свойственный базару говор. Странно, даже арбакеш, чей голос перекрывает в полдень многоязычный гомон, поутру был удивительно тих.

Восток... Загадка...

Всегда, в любой день, еще издали, едва свернув с Сагбана, он видел светившиеся окна махаллинской чайханы. Вытирал взмокший от быстрой ходьбы лоб, вынимал у порога из-за пазухи лепешки и решительно распахивал дверь. Обычно в это время посетителей не было. На его приветствие Махсум-ака, проводивший последнюю

инвентаризацию чайников или возившийся с самоваром, отвечал бодро и с какой-то беззаботной веселостью: «Э, салам алейкум, Борис-инжинир, мархамат, заходи скорей».

От огромных медных самоваров, потускневших, с зеленоватым отливом, разливалось тепло. В отсутствие посетителей горела одна лампочка напротив двери, и поэтому уходившие в темноту стены казались завешенными черными коврами, только вдруг проезжавшая мимо машина была в окна ярким лучом фар, и на миг стена озарялась кроваво-красным...

Чуть позже, когда он уже пил чай с наватом и парвардой — дешевыми восточными сладостями — и вел оживленный разговор с Махсумом-ака, объявлялся второй посетитель. Обычно это был кто-нибудь из соседнего дома. По-домашнему кутаясь в длинный, до пят, стеганный чапан, он велеречиво и церемонно обменивался любезностями с чайханщиком, а заметив в глубине зала Краснова, так же любезно обращался и к нему: «Доброе утро, товарищ инжинир...»

«Инжинир»... Так и закрепилось за ним в махалле это прозвище, и произносилось оно так, словно кладовщик Мергияс-ака специально прорепетировал со всеми жителями квартала. Звание «инженер» в те годы еще было почитаемым, и, что говорить, Борису Михайловичу такое обращение нравилось.

Может быть, быстро упрочившееся уважение сослуживцев и доброе расположение махаллинского люда явились причиной того, что однажды в обеденный перерыв здесь, в этой чайхане, он принял неожиданное для себя решение: «Остаюсь... пушу корни на узбекской земле... женюсь...»

Мергияс-ака, составивший ему в тот день компанию, заметил, как изменился в лице «инжинир», и торопливо спросил: «Что случилось, Борис-ака?»

Краснов, на миг побледневший от охватившего его волнения, с улыбкой обвел глазами зал, словно заново увидел все вокруг, и весело ошарашил кладовщика:

— Жениться решил, вот что, Мергияс-ака...

А ведь до этого момента и мысли такой в голову ему не приходило. Работа по распределению казалась необходимостью — не более, а там — большие стройки Сибири, Дальнего Востока... Краснов не был исключением из правила, думал: вот отработаю положенное, наберусь опыта и подамся в края, о которых мечтал с друзьями в долгие студенческие ночи. И вдруг... «остаюсь».



«Женюсь» вовсе не означало, что он решил завтра же бежать в загс,— нет. Просто под «остаюсь» он подразумевал: «всерьез, надолго, с семьей, домом... с детьми».

Конечно, девушка у него была. Жила в том степном, насквозь продуваемом ветрами, жесткой поземкой городе, где Краснов окончил институт и где теперь доучивалась она. Туда, в домик на окраине, окруженный чахлыми акациями, шли его письма, и иногда он мысленно называл ее — моя невеста.

Принятое решение внешне, казалось, не отразилось на нем, но круто перевернуло всю его жизнь. Он вдруг понял, что до сих пор видел происходящее как бы снаружи, глазами приезжего, а сейчас вглядывается и изнутри, что ли, примеряя все к будущей своей жизни.

Невесту о своем решении он не известил, только пригласил в гости на зимние каникулы. Волновался перед встречей, думал: понравится ли ей «его» город, который он не переставал открывать для себя, и делился открытиями в каждом письме. Он даже привел ее в «свою» махаллинскую чайхану, о которой ей было писано и переписано.

Однако его восторгов она особенно не разделяла, хотя запах арбузов в зимней чайхане вызывал у нее умиление (запасливый чайханщик на зиму закатывал их под айван сотни три). В какой-то миг Краснов почувствовал, что она равнодушна к его Урде и Чорсу, к древним чинарам и застывшим под тонким ледком хаузам.

Но это был такой краткий миг, лишь на доли секунды он ощутил, что она не понимает его... Все тут же забылось и перебилося чем-то иным, милым и трогательным. Теперь он уже не помнит, жест или слово, а может, ее улыбка отвлекли его от нерадостных мыслей. В молодости всем кажется, что избранницы смотрят на мир нашими глазами. Позже, в семейной жизни, натываясь на глухую стену непонимания, он с грустью вспоминал чайхану своего прошлого, даже зимой пахнувшую арбузами.

Она уехала в холод, метель, к чахлым акациям, чтобы через два года вернуться к нему навсегда. Краснов продолжал работать и забегать по утрам в чайхану. Даже положенные отпуска не использовал, довольствовался компенсацией. К тому же и работы было много. В свободные дни он часами пропадал в книжных магазинах, часто ходил на концерты, потому что гастролеры жаловали этот теплый, уже названием своим навевавший тайну и ожидание город.

Жил он все там же, в общежитии, хотя в махалле ему предлагали за небольшую плату отдельную комнату. Но он отказался — не хотел

лишать себя прелести каждодневного путешествия. Иногда Краснов немного изменял свой пеший маршрут: с Хадры сворачивал влево, спускался к площади Чорсу и опять, минуя базар, выходил к себе на Чигатай. Он быстро усвоил, что суэта, торопливость на Востоке не в чести, и старался никуда не спешить без причины. С обостренным вниманием вглядывался он в окружающее, подмечая то, что ранее ускользало от его взора. С наслаждением впитывал в себя древний город: его краски, шумы, его пыль, зной, многоязычие, завезенную приезжими суету и исконную степенность. И часто, подтверждая однажды принятое под настроение решение, мысленно говорил себе: «Да, мне здесь жить...»

По утрам на пути к управлению Краснов раскланивался с множеством людей; прижав ладонь к сердцу, осветив лицо улыбкой, ему отвечали тем же. Только бледные немощные старики, бухарские евреи, достаивали его лишь кивком головы.

И трудно было ему по молодости понять, от гордыни ли это или от немощи, когда с трудом дается каждый жест. А может, с высоты библейского возраста они считали, что жест достойнее слова? Ему нравились эти молчаливые старики. В белых чесучовых костюмах, оставшихся, наверное, еще с бойких нэпмановских времен, поры их молодости и удач, встречались они Краснову только по весне и в долгие теплые дни осени. От слякоти, стужи, жары они прятались и уберегались за высокими дувалами.

Пробегая утром мимо птичьего базара, Борис часто встречал их в петушином ряду. Покупали они только живую птицу, и обращались с ней словно маги или гипнотизеры. Еще минуту назад хорохорившийся красавец-петух горланил на весь базар — и вдруг под слабыми руками старика, ощупывающего его бока, затихал, смирялся. Странно, но каждый из этих стариков всегда покупал птицу одного оперения: или огненно-рыжих петухов, или белых хохлаток, или рябых цыплят первой осени... По оперению петухов, которых несли в связке головами вниз, отчего птицы вели себя удивительно смиренно, он и различал старцев-евреев, от возраста ставших почти на одно лицо.

Чем лучше он узнавал город, тем сильнее привлекала его чайхана в махалле. Все неписанные законы ее за один вечер мог бы объяснить ему Мергияс-ака, но Борис до всего хотел дойти сам. С тех пор как Краснов сменил в производственном отделе начальника-щеголя, он частенько задерживался вечерами на работе. Возвращаясь, заходил в чайхану и обычно играл партию-другую в шахматы. Между



ходами внимательно оглядывал многолюдный зал и через распахнутые настежь окна видел, что к вечеру заполняются айваны и во дворе. Он слышал, как снаружи гремели ведрами и шумно расплескивали воду,— это добровольные помощники Махсума-ака поливали арычной водой двор и обдавали из шлангов деревья, и, как после дождя, пахло землей и садом.

«Клуб, чисто мужское заведение»,— часто думал в тишине вечера Краснов. Приходило на память прочитанное об английских клубах. Но общими здесь и там могли быть разве что давность традиций и исключительно мужской состав. Английский клуб был закрытым, только для избранных, а чайхана была доступна каждому. Более всего ценились здесь остроумие, общительность, доброта, участие в жизни махалли. Краснов заметил, что директор таксопарка чаще других поливал двор и деревья, потому что делал это ловчее всех: и пыль не поднимал, и грязь не развозил, и после него долго еще лежал на земле влажный узор, нанесенный простым шлангом. Знал он и то, что директор завозил на зиму в чайхану уголь и дрова и на краску для ремонта не скупился, но чтобы к нему из-за этого было какое-то особое отношение, Краснов не замечал.

...Позже, когда Борис сам стал начальником управления и продолжал подниматься все выше по служебной лестнице, он тоже немало сделал для этой чайханы, но отношение к нему оставалось таким же ровным, как и вначале. И всегда называли его здесь «инженир», вкладывая в это слово раз и навсегда заложенную меру уважения...

Заканчивая играть в шахматы, когда на город уже ложились дымные сумерки, Борис Михайлович иногда замечал, как в чайхане появлялись дети. Они молча отыскивали кого надо и, что-то шепнув, бесшумно исчезали.

И Краснов представлял, как когда-нибудь он будет так же ходить вечерами в махаллинскую чайхану, играть в шахматы или нарды, или просто сидеть на открытой веранде с чайником чая, и за ним, приглашая его на ужин, будут прибегать сын или дочь...

Он и многих детей уже знал, потому что работников управления часто приглашали на праздники, свадьбы, торжества в махалле.

В тесных двориках, похожих на японские, от бывших садов остались лишь орешина или урючина, яблонька или одинокий тутовник, и в центре непременно крохотные клумбы с цветами. В этих домах окнами во двор, с балаханой на втором этаже, текла скрытая от глаз ровная жизнь.

Отсутствием пышности, простотой привлекала его и чайхана в махалле. Здесь никому не было дела до его куцых пиджаков и стоптанных башмаков. Здесь признали в нем его самого...

Много позже, когда время у него было расписано по минутам и он редко бывал в чайхане, ему почему-то вспоминались стихийно возникавшие вечерами компании: директор школы, билетер из кинотеатра, управляющий банком, мастер, украсивший резьбой потолок всей махалли, усатый инспектор ГАИ, директор таксопарка, кладовщик Мергияс-ака, молчаливый мясник, слесарь с авиазавода и немногословные старики, коротавшие свои дни здесь. И с высоты житейского опыта Борис Михайлович понимал, что такое широкое и разностороннее общение возможно было только в рамках чайханы. Может, все это вспоминалось ему потому, что он видел, как неожиданно и стремительно люди стали объединяться в компании, следуя совсем иным принципам...

Нравился ему и неписанный кодекс поведения: например, в чайхану не заходили выпив и не распивали там в открытую. Борис Михайлович видел несколько раз, как взрослые солидные люди, можно сказать, хозяева махалли, перед тем как подадут плов, тайком сливали водку в чайник и обносили пиалой, словно чаем, сидящих за дастарханом. Казалось бы, чего проще: ставь бутылку в центре, стаканов достаточно, шуми, провозглашай тосты — кто посмеет что сказать? Никто. Но правила, усвоенные сызмала, срабатывали — нельзя, ибо, уступив соблазну однажды, начнешь вскоре крушить традиции до основания.

И молодежь вела себя здесь степенно. Однажды Краснов стал свидетелем того, как двое юношей, не городских, видимо, случайно забредших с базара, получили урок, который едва ли когда забудут.

В чистой, опрятной чайхане у стен на коврах были расстелены еще и курпачи — узкие стеганые одеяла, и один из парней с удовольствием растянулся на мягкой курпаче. Другой присел рядом, они продолжали что-то оживленно обсуждать, оглашая чайхану молодым громким смехом, не обращая внимания на окружающих. Сидели они у стены, никому вроде не мешали, но Махсум-ака, казалось бы, безучастно перебиравший четки, незаметно для окружающих прошел к молодым людям и что-то мягко, вполголоса сказал. Двух слов оказалось достаточно, чтобы краской стыда залило лица вмиг вскочивших парней.

«Уважай других — будут уважать тебя» — такой рукописный плакат на узбекском языке висел за спиной Махсума-ака у самовара.



Время летело, и уже по воскресеньям Краснов водил гулять в детский парк сынишку, еще спотыкавшегося Павлика, и казалось, что жизнь не сулила ему крутых перемен: вроде все устоялось, определилось и на работе, и в семейной жизни. Но вдруг весной, в конце апреля, когда розово отцветал миндаль, на сонный город обрушилась страшная беда — землетрясение.

Уже на третий день его вызвали в райком партии и объявили, что в старом городе организуются два строительных управления и начальником одного из них назначают его, Краснова. Борис Михайлович пытался отказаться, ссылаясь на молодость, на то, что он инженер не общестроительный, но его вежливо осадили: это партийное поручение, а если хотите — приказ.

Старый город почти не пострадал. Эпицентр удара стихии пришелся на густонаселенный район Кашгарки и центральную часть. Уже через две недели мощные бульдозеры, переданные в дар из соседней Чимкентской области Казахстана, вели снос на Кашгарке, и управление Краснова принималось за первые котлованы под фундаменты нового жилого массива.

С тех пор Краснов сносил и строил, строил и сносил...

В тяжелую годину в сложных обстоятельствах проверяются на прочность и выносливость характеры людей, проверяются на главном — в деле, работе.

На планерках, летучках, совещаниях в тресте и горкоме партии Борис Михайлович видел многих таких же молодых инженеров, возглавивших новые строительные организации. С некоторыми он работал в контакте; о работе других знал по результатам; об удаче, смелости, новаторстве третьих слышал на коллегиях и партактивах. Борис Михайлович жалел, когда сходили с дистанции способные коллеги — не все выдерживали. Наверное, им мнилось: конца-края этой работе не будет. Оказалось, что мало быть талантливым инженером и организатором, надо быть еще двужильным, чтобы, когда необходимо, работать за двоих, за троих.

Борис Михайлович строил: дома и школы, магазины и детсады, целые кварталы. И дело приносило ему радость. А вот дома... Он все чаще ощущал, как медленно, но неотвратимо уходит тепло из его очага, какие глухие стены непонимания вырастают в семье. Жена не понимала и, главное, понимать не хотела, почему он уходит в седьмом часу и возвращается к полуночи, хотя знала, что у мужа порой на «Волге» за день шоферы сменялись: один не выдерживал.

Супруга постоянно приводила ему в пример мужчин, для которых семья важнее всего, рассказывала, как они помогают своим женам, ссылаясь при этом на статьи в газетах и журналах, выступления по телевидению, где высокообразованная эмансипированная половина человечества в последние годы дружно ополчилась на мужской пол, обвиняя его в лени, отсутствии должного внимания к своим благоверным.

«Другие... другой... они», — не сходило с ее уст. А Борис Михайлович, слушая, думал о своем, потому что знал множество друзей, занимавшихся настоящим мужским делом, которых нечем заменить, сколько там ни говори о равноправии. Всегда будут находиться люди, работающие на пределе своих возможностей, понимающие это, но сознательно на это идущие. Потому что это и есть настоящая мужская доля, как понимал ее Краснов, — именно такая, а не мытье посуды на кухне, даже если ты очень любишь свою жену и хочешь ей помочь.

«А может, те, сошедшие с дистанции до срока, потому и сломались, что их кто-то не понял, не поддержал вовремя — друзья, начальство, собственная жена?» — не раз задумывался Борис Михайлович. Тяжело было на работе, еще труднее дома, но Краснова радовало, что он оказался нужным городу, почти двухтысячелетняя история которого обошлась без него. К новейшей истории его Борис Михайлович был теперь причастен, и основательно.

Он радовался, что быстро исчезали армейские палатки, целые палаточные городки, освобождались общежития, уходили в небытие коммуналки и люди расселялись по отдельным квартирам, навсегда сохранив благодарность к тем, кто в тяжелые дни принял их. Радовался, когда получали квартиры строители, прибывшие со всех концов страны на узбекский хашар. Звуки карнаев, этих восточных фанфар, так часто победно трубивших в те годы, остались в памяти Краснова волнующей музыкой — музыкой победы.

В «своей» махалле Краснов бывал теперь редко: незадолго до землетрясения он получил квартиру и съехал из комнаты, которую снимал с семьей неподалеку от управления на Чигатае.

Порою, когда Борис Михайлович с товарищами и коллегами из других городов и республик отмечал какие-то успехи, важные для них даты, например, годовщину организации управления или сдачу первого дома, первого квартала, массива, он приглашал друзей в «свою» чайхану, хотя были в городе и более просторные чайханы и шикарные рестораны. Он знал, что в «своей» чайхане его друзья встретят достойно, да и плов Махсум-ака готовил отменно.



Жил теперь Краснов в новом квартале Чиланзара, чайхан рядом не было вовсе, а вместо них понастроили множество пивбаров. Да если бы даже и наткнулся он на милую ему чайхану, скоротать вечер, как прежде, у него бы не получилось. Возвращаясь домой в сумерках, он всегда вспоминал старые времена, когда после работы играл в шахматы и мечтал о будущей жизни.

Давно уже Борис Михайлович проводил строителей, приехавших восстанавливать жаркий Ташкент. Уезжая, многие оставили в дар городу свою технику, и Краснов, став начальником нового строительного треста, получил ее в наследство. Ему же пришлось формировать стройпоезд «Узбекистан», когда подобная беда обрушилась на далекий дагестанский город Махачкалу. Ничего не пожалел тогда Борис Михайлович: отправил на его восстановление передовых строителей, лучшие бригады, главного инженера Махмудова, с которым никогда не расставался, новейшую технику отгрузил, понимая, что за добро платят добром.

И, наверное, остались бы в памяти Краснова старый город и махаллинская чайхана только как воспоминание о молодости, о поре возмужания, если бы однажды на его стол не легла тонкая папка с надписью «Чигатай, тупик 2».

Борис Михайлович только-только принял дела после назначения его управляющим «Градостроя». Прежний управляющий, к которому все относились с большим уважением, погиб в автомобильной катастрофе, и назначение стало для Краснова неожиданностью, потому что имелись и более подходящие, на его взгляд, кандидатуры. Но он не привык отказываться от работы... А работы, как всегда, было непочатый край.

Обыкновенная папка с обычными предварительными данными, где по улицам расписано, что и когда будет сноситься и застраиваться. Такой план на несколько лет вперед всегда предоставляет «Градострою» архитектурно-планировочное управление города.

«Чигатай, тупик 2»... И перед глазами Краснова тут же встал поворот с Сагбана, куда на огромное зеркало ГАИ выплескивалась кручено-верченая улица Чигатай. Во втором тупике на самом углу стояла махаллинская чайхана. Это Борис Михайлович помнил, и не заглядывая в развернутый план сноса...

Каждый день Борис Михайлович раскрывал папку, и в четких линиях плана оживала перед ним махалля, намеченная под снос. Сносилось все подчистую: и Кривой Мухаммад Ходжа, и минарет,

державшийся молодцом, и чайхана, и дом Ахмаджана-байвачи, в котором располагалось монтажное управление. И даже гордость махалли, вековая чинара, оказывалась на месте первого подъезда нового четырехэтажного дома, а значит, шла под пилу и топор.

Он несколько раз приезжал в свою чайхану и под разными предлогами обходил махаллю. Заходил и в управление, бывший особняк местного богача.

«Как же можно такой дом пустить на слом?» — думал Краснов, оглядывая барские хоромы в два этажа. Дом стоял на возвышении, чуть в стороне от шумного Чигатая, в тупичке. На фронтоне здания на резном ганче стояла дата — «1911 г.»... Построенный из светло-желтого кирпича дом, где до сих пор не меняли паркет и оконные стекла, во время землетрясения не дал ни одной трещины — в этом Краснов убедился сам. Снести такой дом — большая проблема. Танками нужно крушить, взрывать. А зачем? Разве нельзя его в будущем приспособить под какое-нибудь учреждение?

Дом представлял и архитектурный интерес — это Борис Михайлович понял только сейчас, обретя многолетний опыт строителя: он видел в нем удачную попытку соединить европейский стиль с восточным, с учетом местного климата. И многое ведь удалось воплотить: Краснов помнил прохладные комнаты, обилие в них света и воздуха. В свое время это был единственный среди глухих дувалов дом, выходивший окнами на улицу.

Ох, как хотелось, наверное, Ахмаджану-байваче, бывшему его владельцу, чей след затерялся в дымных кофейнях Стамбула, казаться среди своих компаньонов передовым, прогрессивным... Вот и выстроил дом так...

Окна-то на улицу были, но на них висели спускавшиеся изнутри жалюзи из гибкой стали, которые служили до сих пор. На всей металлической фурнитуре дома и литье стоял неожиданный оттиск: «Одесса, г. Леммань». Да, неблизкой была поставка. Возвращаясь из махалли в чайхану, Борис Михайлович подолгу беседовал с Махсумом-ака, тот уже не работал и пополнил ряды стариков, сидевших в красном углу чайханы. Краснов слушал неторопливую речь Махсума-ака, видел, как входил участковый милиционер и, что-то решив, уходил довольный. Иногда их разговор перебивали: обращались к Махсуму-ака по поводу будущей переписи или встречи с депутатом, или спрашивали, у кого в ближайшие дни будет свадьба. И Борис Михайлович лишний раз убеждался, какую огромную роль в жизни квартала играет чайхана.



Только обнаружив на столе папку с планом предстоявшего сноса «своей» махалли, Краснов открыл для себя, что мало сохранить черты города, важно не нарушать лучшее из уклада жизни, складывавшегося веками.

Он знал, что все жители махалли получают ордера на получение квартир в домах, которые поднимутся здесь, и вернутся через год-два на свои места в прекрасные благоустроенные квартиры, но старые связи, конечно, будут нарушены, потому что не будет традиционного места общения.

А разве не ради общения строятся у нас многочисленные кафе, Дома культуры в каждом районе, а любой завод или фабрика непременно возводят еще и собственный Дворец, хотя все они в полной мере тоже не стали тем, чем хотелось. И вот опробованное и целесообразное так легко и бездумно пускается под снос. Борис Михайлович и раньше видел, но как-то не придавал особого значения тому, что исчезают эти неказистые на вид старинные чайханы, имеющие свою родословную. Уходят старики, люди иного уклада жизни, уходит и то, что сопутствовало им в жизни, считал он. И хотя Краснов знал новейшие, отстроенные после землетрясения чайханы, но их можно было пересчитать по пальцам одной руки, да и поднялись-то они скорее как дань моде: если Азия, юг, жара — значит, должна быть чайхана. Иначе какая же восточная экзотика?

Одна чайхана — красавица, вся из мрамора, в чеканке, текинских коврах, по-европейски стерильная, была построена в центре города на потребу интуристам. Была она всегда битком набита посетителями, и чтобы войти, надо было выстоять очередь, а что это за чайхана, когда надо дожидаться места... Знал он и несколько других, в разных концах города, называемых почему-то «чайханами почетных стариков». А ведь почетный старик на каждой улице свой... Старики уходили, оставляя посетителям мудрое спокойствие и неспешное величие мысли.

Все это хранили старые чайханы. А кто сохранит их? И Краснов, несмотря на загруженность, стал наезжать в «свою» махаллю.

С каждой поездкой в папке, в разделе сноса и застройки, делались все новые наброски, схемы, расчеты... А на титульном листе размашистым почерком он написал: «Новое нужно строить так, чтобы оно не вызывало грусти и сожаления о прошлом».

*Коктебель,
июнь 1978*

Станция моего детства

Автобиографический рассказ

Моя малая родина — Мартук, районный центр, расположенный при железной дороге Москва — Ташкент. Находится он в семидесяти километрах от Актюбинска на восток и в двухстах километрах на запад к Оренбургу, некогда первой столицы Казахстана, поистине города восточного в ту пору. Еще до середины шестидесятих годов Оренбург наполовину состоял из татар, много там проживало и проживает до сих пор казахов. Не могу не упомянуть для молодого поколения, что в царской России после Казани Оренбург был вторым культурным центром мусульман. Здесь издавалась ежедневная газета «Время» на татарском языке, которая распространялась по всей России. Действовало несколько крупных театров, широко известных в мусульманском мире духовных центров, медресе, мечетей, самая красивая из них построена на деньги казахских купцов. Издавалось с десятков журналов, печатались книги. В Оренбурге проживало около дюжины именитых в России казахских и татарских миллионеров, были здесь крупные торговые дома, банки.

Все это сошло на нет после революции, а в семидесятые годах прошлого столетия, когда нашли оренбургский газ, сюда хлынули сотни тысяч переселенцев из России, и город навсегда потерял свой восточный, мусульманский колорит. Родом



из Оренбурга и мои родители. В годы революций, раскулачивания многие татары бежали в соседний Казахстан. Позже, в двадцатые годы, от голода сюда бежали тысячами, целыми деревнями поволжские татары. Сюда, в степь, их толкало только одно — здесь жил единый по вере народ. В лихие годы это чрезвычайно важный фактор.

В пору моего детства, вплоть до 1957 года, ходили паровозы, которые останавливались каждые двадцать пять километров, красавцы-локомотивы должны были чистить топки и заправляться водой. Обязательно надо сказать несколько слов и о самих станциях. Дорога, построенная в начале двадцатого века, замечательна своими архитектурными и инженерными решениями. Особенно замечательны станции — Актюбинск, Кандагач, Казалинск, Джусалы, Кызыл-Орда, Туркестан, Арысь. Кроме удивительных по красоте и изяществу пассажирских вокзалов, строились депо, десятки грузовых пакгаузов, пожарных центров, водонапорных сооружений, пристанционных зданий для жизни и быта железнодорожников. Были построены добротнейшие здания из кирпича и камня: поликлиники, больницы, гимназии, здания для дворянских собраний, ставшие позже повсеместно Дворцами железнодорожников. Особняки для технической интеллигенции и служащих и удобные, в два-три этажа, дома для рабочих. Почти все эти здания сохранились и служат людям до сих пор.

Все эти полторы тысячи километров с инфраструктурой, достойной восхищения, были построены двумя строительными батальонами. Жаль, красивейшее здание актюбинского вокзала было снесено в семидесятые годы, и на его месте построили уродливый трехэтажный сарай, в котором и зимой, и летом стоит ледяной холод, пробирающий до костей.

Железнодорожники и в царское время, и долгое время в СССР были элитой рабочего класса, сама же железная дорога — государством в государстве. Она имела собственные школы, клиники, высшие учебные заведения, связь, торговую сеть, свое снабжение, свои заводы и фабрики, культурные и спортивные сооружения и многое, многое другое. До 1960-х годов в СССР существовало только два профессиональных праздника — День железнодорожника и День шахтера. Всем этим железная дорога обязана одному человеку — Лазарю Моисеевичу Кагановичу, выдающемуся организатору технической мощи СССР.

Кстати, опять же на заметку молодым, знаменитое московское метро тоже его детище, и оно долго носило имя своего создателя, а в суровое сталинское время просто так имена не давались.

Железная дорога изменила край. Появились сотни, тысячи поселков вдоль дороги, включая и мой родной Мартук. Паровозы требовали воды каждые двадцать пять километров, и в голых, зачастую безводных местах русские геологи провели огромную работу, нашли источники снабжения водой, рассчитанные на столетия. Были построены сотни, тысячи водокачек, протянуты к станциям тысячи километров водопровода, работающего до сих пор. Наша мартукская станция снабжалась водой из красивейшего озера рядом с аулом Кумсай, что находится в семи-восьми километрах от поселка. Водокачка, как мы ее называли, строение в густом лесу у озера, оказалась сложнейшим инженерным сооружением и служила почти век, даже когда отпала нужда поить паровозы. Объект, как говорят сейчас, имел стратегическое значение и был обнесен вокруг в три ряда, с большим интервалом, высокой колючей проволокой. Вход в зону был строго воспрещен.

Водокачку с царских времен обслуживала одна и та же семья Качановых, дети которых учились с нами в одной школе в Мартуке. Как мы им завидовали! И было отчего. Как рассказывал мне мой одноклассник Петя Качанов — какие лини, сазаны, карпы, лещи, красноперки, голавли попадались им в верши или сети! Каких — пудовых! — сомов ловили они на закидушки, каких пяти-семикилограммовых щук вытаскивали удочкой — не пересказать! Мне приходилось видеть эти уловы. Рыбой многодетная семья Качановых рассчитывалась за постой своих детей-школьников у наших соседей Козловых. Помню, мама тоже покупала у них рыбу, казалось, что вкуснее рыбы линия ничего на свете нет. А какую землянику, малину, ежевику, костянику собирали они в своем заповедном раю! Какой удивительной красоты лилии приносили они учителям в день последнего звонка и первого сентября — роскошь королевская, всю жизнь стоит перед глазами.

Все сломали, разграбили, растащили, сожгли в горбачевское безвременье. Навсегда затерялся в необъятной России след надежных тружеников Качановых, отдавших водокачке, Отечеству восемьдесят лет служения. Они напоминают мне таможенника Луспекаева из кинофильма «Белое солнце пустыни».



Когда лет в пять-шесть я попал на станцию, она показалась мне волшебным замком, утопавшим в роскошном саду. Вокруг здания были разбиты клумбы. Тогда же, впервые в жизни, я увидел цветочные часы и живой календарь из цветов — это потрясло мое воображение. После пыльного, вросшего окнами маза-нок в землю убогого поселка станция показалась земным раем. У каждого торца здания имелись водонапорные колонки, кото-рыми разрешалось пользоваться всем жителям Мартука. В дни стирок хозяйки с ведрами на коромыслах тянулись к станции — говорили, что мягкая, шелковая вода с озер сэкономила дорогое и редкое в ту пору мыло. А на перроне сиял медью отполирован-ный за десятки лет руками дежурных станционный колокол — как приятен был его звон, отправлявший поезда в не знакомые мне города с волнующими названиями: Ташкент, Наманган, Джалал-Абад, Ургенч, Алма-Ата — тысяча и одна ночь, Шахе-резада и только!

В мои детские годы главным кормильцем маленьких местечек были базар и станция.

Помнится, год-полтора, не больше, Мартук переживал какой-то ренессанс, забытый нэп — на станции милиция не гоня-ла жителей, приходивших к поездам торговать молоком, сметаной, творогом, варенцом, казахским катыком, шубатом, сливоч-ным маслом, сбитым вручную дома. Выносили к поездам яйца, соленья, грибы. Осенью арбузы, дыни, летом — малину и еже-вику, собранную за Илеком.

Более основательные хозяева торговали жареными и от-варными курами и утками, а зимой — тушками гусей, рыбой, приобретенной у тех же Качановых с водокачки. С огурцами, помидорами, капустой, зеленью выходил на вокзал известный огородник Карташов из Кумся, он там работал главным агроно-мом. Бедные шли к поездам с жареными семечками подсолнухов и тыкв. Они же торговали аппетитной толченой картошкой, по-литой сверху подсолнечным маслом ручной выжимки с золоти-сто поджаренным луком. Предлагали и домашний квас. Иногда они же торговали пирожками с картошкой, капустой, щавелем.

В торговле пирожками с мясом, беляшами доминировали мои родственники Валиевы и Мамлеевы. Местные мастерицы выно-сили к поездам горячую выпечку — поезда в ту пору ходили ми-нута в минуту, по ним сверяли часы. А какие у них были ватрушки

с белым и красным творогом, пироги с повидлом и джемом! Повидло и джемы тогда всегда имелись в сельпо в больших, почти ведерных, банках из нержавеющей стали. Банки из-под них потом служили в хозяйстве ведрами. Не меньшим успехом у пассажиров пользовались свежесдобитые домашние караваи, с которыми приходили к поездам хохлушки в расшитых крестиком нарядных блузках, хлеб у них всегда был покрыт чистыми рушниками.

Один бывалый казах в гимнастерке с орденскими колодками даже наладился жарить шашлык к приходу поездов, и к нему всегда выстраивалась очередь. Иногда рядом пристраивался солидный акакал в чистом камзоле, вельветовом или бархатном, он приносил большой бурдюк, или даже два, кумыса и пять-шесть деревянных чаш-тустаганов, из которых, как он уверял, кумыс всегда вкуснее. Вот эта пара всегда реализовывала свой товар до последней палочки, до последней пиалы, но на станцию ходила редко, видимо, и с мясом, и с кумысом были проблемы.

Немки в белых фартучках приходили к поездам с копченым салом и окороком, домашней колбасой, ливерной и мясной. Немцы умудрялись коптить свинину дома и быстро научили этому русских и украинцев, тоже державших свиней. До немцев, как говорили старики, в Мартуке никогда не коптили свинину, не делали колбас. Немцы вообще оказали огромное влияние на быт и культуру Мартука. Это с их почина появились водонапорные колонки в каждом дворе, стеклянные террасы и веранды, паровое отопление, цветы возле дома и палисадники. Жаль, они поголовно уехали в Германию, о них всегда вспоминают тепло, жалеют, что их нет, когда надо починить машину, сделать паровое отопление, покрыть крышу, построить баню.

Чеченцы, сосланные в Мартук, тоже изредка, в августе, появлялись на перроне. Приходили женщины в длинных платьях, непременно в платках, они торговали только молодой вареной кукурузой. До чеченцев в наших краях кукурузу не выращивали. У них она была особая, элитная, двухметровая. Высушенные стебли кукурузы использовали на строительстве или топили ими зимой печи. Молодую кукурузу чеченцы варили, а из сухих початков делали муку для кукурузного хлеба и мамалыги, но, кроме молочной кукурузы, иное у местных не пользовалось успехом.

Ходили на вокзал не только со съестным, каждый нес все, что мог продать. Не всегда продавали за деньги, шел товарообмен,



нынче называемый бартером. В ту пору на поездах в Среднюю Азию и на юг Казахстана на постоянное житье тянулась беднота со всей России. Хотя в спальнях вагонов из красного дерева, оставшихся со времен царской империи, ехали люди с достатком. В Мартуке любили скорый поезд из Москвы. Мы, мальцы, с удивлением разглядывали пассажиров в шелковых полосатых пижамах, дам в роскошных халатах или с накинутыми на плечах пальто с чернобурками. Запомнилось, что эти пассажиры никогда не торговались, или мартукские цены им казались дешевыми, или они быстро понимали, как бедствует народ на этих забытых богом полустанках. Скорее всего, и то и другое, богатые того времени еще не считали свой народ быдлом, не презирали его, воспитание и совесть не позволяли.

Моя мама круглый год ходила к поездам с оренбургскими платками, вязанными из шерсти и пуха перчатками, носками, шарфами. Военные, которых было много среди пассажиров, охотно покупали именно белые пуховые перчатки и длинные шарфы, наверное, это были молодые офицеры, что любили пофорсить.

В Мартуке у небольшой кожевенной артели жил человек по фамилии Трушкин, владевший редкой для села профессией — он был керамист-виртуоз. Лепил из глины кувшины, миски, жбаны, тарелки, большие бадьи. Делал забавные детские игрушки, свистульки. Мы, ребятня, часто ходили к его дому, заморожено смотрели на гончарный круг и ловкие руки мастера. Он тоже иногда появлялся у поездов со своим товаром. Мы больше всего радовались, если ему удавалось что-то продать. Покупали те, кто выскакивал из вагона без посуды, купленную миску тут же до краев заполняли толченой картошкой или простоквашей.

В ту пору вагонов-ресторанов в составах не было, и в дорогу брали с собой пяти-шестилитровые медные чайники. Тогда их выпускали тысячами, и они были обязательным атрибутом каждой семьи, а на станциях везде были кубовые, где бесплатно разливали в несколько кранов кипяченую воду. В кубовой на нашей станции, сколько помню, работал мужик по фамилии Корнеев, он никогда не давал местным кипятку, даже своим, станционным. Видимо, такая жесткая инструкция была, ведь топили в кубовой углем, а его на всех не напасешься.

Поезда стояли не меньше получаса, и на перроне всю шел торг: кто покупал, кто обменивался. Но пассажиры не раз

обманывали местных, людей доверчивых, запуганных. Помню, мама купила два куска мыла. Оно оказалось брусками кирпича, только на сантиметр облепленными настоящим мылом. Однажды соседи Сафаргалиевы готовились к свадьбе и купили для приготовления домашней бражки десять-двенадцать килограммов сахара в мешочке. В поселке сахар давали только по паевым книжкам, да и то в ограниченном количестве. Как радовались наши соседи, что так выгодно выменяли своих потрошенных гусей на сахар у солидного пассажира! Но продавец оказался ловким аферистом. В мешочке с сахаром находился еще один мешочек с речным песком, сахара набралось чуть больше килограмма. Как они горевали — не высказать!

Увы, как бы ни осторожничали мои бедные земляки, их все равно часто обманывали. Помню, только однажды, прямо на вокзале, какая-то афера была раскрыта, и тут уж били негодяя долго и больно, и даже вокзальный милиционер Великданов, издали наблюдавший за самосудом, вмешиваться не стал.

Было в Мартуке и еще одно место, помогавшее выживать моим землякам — базар. Таким оно было и для моей семьи, ждавшей воскресенья как праздника, ибо только на базаре можно было заработать копейку, продать мамины вязаные вещи или выменять их на продукты, в конце концов, занять денег у кого-то более удачливого в базарный день. Базар располагался рядом с церковью, построенной первыми столыпинскими переселенцами в 1907 году. Там уже почти пятьдесят лет находится стадион, отстроенный запомнившимся добрыми делами секретарем райкома Салином-ага Шинтасовым, он прожил почти девяносто лет и умер уже в новом веке — пусть земля будет ему пухом. Мартучане будут помнить его долго.

В ту пору в Мартуке имелось два постоянных двора, куда съезжались люди из русских поселков: Казанки, Нагорного, Веренки, Белой Хатки, Полтавки, Красного Яра и из казахских аулов: Кумсая, Жанатана, Аксы, Жамансу, Танабергена. Мусульмане облюбовали дом хромого Максума на Советской, а православные — ближе к церкви, на постоялом дворе у Шалаевых. С субботнего дня до понедельника жизнь там была ключом — ставились ведерные самовары, топились печи во дворе и дома, в которых варилась и жарилась всякая еда. Пока готовили обед, мужчины и бабы спешили в сельскую баню, а уж потом ходили



по гостям к родным и знакомым или направлялись к детям-школьникам, стоявшим на постое по всему Мартуку, а к вечеру накрывали общие столы у себя на подворьях. Мы, ребятня, тоже с интересом ждали базарных дней. Кололи на подворьях горы щепы, растапливали ею огромные медные самовары и смотрели за ними, бегали в магазин за водкой, вообще, были там на подхвате. Особо шустрым всегда доставались копейка на кино, бесплатный обед. Кусок хлеба нашего детства имел высокую цену. Мне, знавшему постоялый двор хромого Максума-абы, приходившегося нам дальней родней, не хуже своего двора, запомнились эти веселые суетливые вечера с песнями, плясками, а порою и драками. До сих пор стоит перед глазами коновязь, этакая, по-современному говоря, стоянка для скакунов. Каких только я не повидал там красавцев аргамаков!

Иногда после базара, особенно если это совпадало с советскими праздниками, или с Курбан-байрамом, устраивались байги — скачки. Мы, мальчишки, конечно, знали всех известных наездников из всех аулов, особенно нам нравился злой, уже далеко не молодой всадник Кенес-агай из Кумсая, он часто выигрывал байгу. Призом всегда служил баран или бычок, которого общество покупало в складчину. Торговали лошадьми и на базаре. Конь в жизни казаха, в жизни всех тюркских народов всегда имел какой-то сакральный смысл, играл важную роль.

Но вернемся к нашему базару. Если на станции продавали съестное с пылу с жару, тут такого не было, обедали после торгов приезжие или в чайной, или у себя на постоянных дворах. Торговали тут картошкой, тыквой и живностью: курами, гусями, поросятами, баранами, телками. Живность имела на базаре свой угол. Много торговали зерном, мукой, просом, особо почитаемым казахами злаком. Я думаю, казахи обязаны своим здоровьем именно мясу и жареному просу, а также измельченному из него лакомству — талкану. В пору своей юности я как-то заметил, что среди казахов вообще нет лысых, людей в очках, а зубы у них всегда блестели, как ныне на рекламе зубной пасты «Колгейт». Сейчас, из-за плохой экологии, и казахи не выдержали — полысели, носят очки, и с зубов исчезла белизна.

Как бы заманчиво я ни описал торговлю на станции, базаре — ясно, что там продавали последнее. Те же пирожки и пышки шли на свой стол, только если оказались не проданными, потеряли

свежесть и вид, и уже неудобно было выносить их к следующему поезду. В доме нужна была каждая копейка, купить уголь, дрова, кизяк у аульных казахов, сено для коровенки, керосин для лампы и керогаза, примуса. Нужны были деньги одеть, обуть детвору, купить чай, сахар, заплатить налоги. Кстати, те, кто учился после седьмого класса, платили и за обучение в школе, а деньги можно было добыть только на базаре. Безработица, отсутствие любой, даже грязной, тяжелой работы было уделом сельского населения, да и в городе сельских жителей в ту пору никто не ждал.

На базар к нам съезжались и сходились не только жители Мартука и окрестных сел, но и приезжали из Актюбинска, Яйсана, Акбулака, добирались сюда даже из Оренбурга. Людей издалека манили продукты, вокруг Мартука были крепкие русские села. Горожане вряд ли приезжали сюда с деньгами, за деньги и в городе продукты водились. Сюда приезжали поменять старую одежду, обувь, посуду, отрез на платье или костюм на муку, сало, гуся, курицу. Наверное, не продав у себя на базаре свой товар, они пытались сбыть его в глубинке, в Мартуке, и это всегда им удавалось, к обоюдному удовольствию и продавцов, и покупателей. И тем, и другим некуда было отступать, одних ждала голодная семья, других голые, босые дети.

Наезжали, особенно по теплу, и продавцы совсем экзотичных товаров. Художники в шляпах и беретах предлагали написанные на загрунтованной клеенке картины: томных красавиц у балконного окна, сказочные замки у живописного озера с непрменной грустящей принцессой в ажурной беседке, лебедей в пруду парами и в одиночку, резвящихся на фоне тех же дворцов. И, что странно, в голодном, холодном Мартуке у развалов художников всегда толпился народ, и больше всего — женщины. В ту пору девять из десяти из них были вдовами. Подолгу зачарованно вглядывались они в лица томных красавиц, в другую, непонятную, но притягательную и никак не достигаемую ими жизнь. И ведь покупали эти картины на последние гроши! Но чаще меняли на шмат сала, ведро картошки, несколько килограммов муки или банку подсолнечного масла. У меня нет слов, чтобы описать степень бедности военного и послевоенного села. Но я попытаюсь показать ее на примере базара и жизни, быта своих земляков-мартучан. Позже, уже став писателем, я как-то отметил в своем дневнике — бедность не имеет дна, предела. На базаре



некто, заезжий продавец, предлагал рис... в рюмках, да-да, в водочных рюмках, граммов на тридцать-сорок. Приобрести целый стакан стоило больших денег, на такое никто и не замахивался.

Помню, рассказывая о свадьбе в русской части села, с гордостью поминали пьяного Петра Шульгу, словно он величайший кутила и мот. То ли свадьба оказалась по душе Петру, то ли молодые любы, то ли самогон крепок — вошел он в кураж и среди гуляния, когда подарки молодоженам уже были вручены, объявил: еще полпуда муки дарствую молодым! Щедрый подарок был принят под гром аплодисментов, и кто-то, от волнения и восхищения, назвал Петра за широкий жест Шахом, с тех пор его в Мартуке иначе не называли. Кстати, сам Шах, шепотной по натуре, часто бывал не в ладах с супругой. И когда он шел по поселку, понуро склонив голову, к дому матери с мешком муки на плечах, в котором было не больше пуда, сельчане говорили — опять Петя в развод подался. Но, к счастью, все как-то быстро налаживалось, и Шах уже веселее, вприпрыжку, возвращался к жене с тем же мешком на сутулой спине. Как видите — бриллианты не делили. Разве такое можно придумать, забыть? Мы так жили. Кстати, для нового поколения — пуд всего лишь шестнадцать килограммов.

Хочу добавить из личного. Однажды моих родителей пригласили на свадьбу, а в доме не было не только ни гроша, но даже щепотки чая или кусочка сахара. Не нашлось в доме и ни одной новой вещи, что могла послужить подарком молодоженам, таким же беднякам. Тогда родители отобрали из праздничных тарелок, которые ставили только гостям, две без единой щербинки и царапины, с тем и пошли на свадьбу.

Зимы в ту пору случались снежными, вьюжными, а морозы стояли всегда за двадцать, хотя и тридцать не было редкостью, неожиданностью. Пурга иногда мела неделями, и тогда беда стучалась в каждый дом не только в Мартуке, но и в поселках, аулах. Дороги заметало до макушек телеграфных столбов, а это — два-три метра, сегодня подобное и представить трудно, и о базаре не могло быть и речи. Ничего ни продать, ни поменять, ни взять в долг у удачливых. В эти дни самые отчаянные, как моя мама, несмотря на появившиеся жесточайшие запреты торговли на станции и на данные ею подписки не появляться там, бежала к поездом, пыталась продать хоть пару варежек и щегольской шарфик военным, а платками она рисковала редко. Слишком

неподъемной была бы потеря. Ведь в платке была доля и хозяев пуха из аула, который отдали ей в кредит, доверяли матери, знали, что Гульсум всегда рассчитывается честно.

Но милиционеры на станции были начеку, отбирали товар и пинками тяжелых сапог гнали несчастных женщин с вокзала, наиболее строптивых даже запирали в какую-нибудь холодную комнату при станции и составляли протокол, который еще и штрафом заканчивался. Грозили в следующий раз отдать под суд или выселить из поселка, хотя сложно представить себе более горестное место, чем послевоенный Мартук. Как лютовали власть и милиция на станции, когда торговлю там объявили спекуляцией! Люди в форме сапогами пинали ведра с яйцами, переворачивали тазы с продуктами, выливали на землю молоко, сметану, бросали в грязь все съестное — чему радовалась лишь шпана, отиравшаяся рядом. Кто пытался защитить свое добро — были биты жестоко, умело, не задумываясь. Запомнилось одно — обижали всех, но никогда не трогали, не били, не задирали чеченцев. В их печальных глазах, даже у женщин, у детей, не говоря уже о мужчинах, они видели моментальный отпор, непредсказуемый, вплоть до смертельного. Чеченцы — единственный знакомый мне народ, при всем уважении ко всем остальным, который выше жизни ценит честь, достоинство и не терпит унижения, оскорбления.

Если в детстве мы не слышали слово «инфляция», то зато хорошо знали, что такое конфискация, экспроприация, спекуляция (непонятно, чем могли «спекулировать» мои земляки?), понятия, следственный эксперимент, превентивное задержание, очная ставка. Понимали, что НКВД важнее и страшнее милиции. Сделали для себя неприятное открытие, что ордена, которые мы считали мериллом высшей доблести и особой заслугой перед Отечеством, ничего не значили даже для милиционера Великданова со станции. Сам видел однажды, как, грязно выругавшись, он сапогом опрокинул в пыль жаровню с готовыми шашлыками у орденоносца-казаха, а когда тот попытался защитить остатки баранины в тазике, прикрытом марлей, ударил сапогом прямо в грудь, густо увешанную орденами колонками.

В те годы на станции день и ночь кипела жизнь, происходили важные для села события. Если в Мартуке останавливались все проходившие мимо поезда, и пассажирские, и грузовые,



и все паровозы чистили здесь свои топки, то, наверное, нетрудно представить себе, какие эвересты, монбланы шлака выросли по обе стороны станции. Ведь поезда начали ходить регулярно с 1905 года, а мы с вами ведем разговор о 1950-х годах. Если нечетные поезда, шедшие из Ташкента в Москву, чистили топки на пустыре за станцией, где далеко в степи одиноко стояло только здание МТС довоенной постройки, то поезда, приходившие из Москвы, освобождались от шлака на территории поселка, рядом с краснокирпичным двухэтажным домом, где жили железнодорожники. Дом этот нам, мальчишкам, казался огромным, и понятие «небоскреб», которое мы знали по Маяковскому, ассоциировалось нами именно с этим строением. А горы шлака за срок пять лет работы дороги высились над этим домом так высоко, что нам казалось, что вершины его прячутся в облаках.

Круглые сутки после поездов женщины сгребали шлак из междупутья на носилки и сносили его на эти горы. Когда кочегары чистили топки, то возле паровозов уже крутились мальчишки, старики, женщины с ведрами и кочергами, они высматривали не прогоревшие куски угля, выпавшие из чрева паровоза. Как только последний вагон проходил над кучей, все бросались в колею выхватить эти желанные горящие куски угля. Конечно, такие куски выпадали не часто, и это считалось большой удачей. В основном собирали шлак, не прогоревший до конца уголь, он тоже годился в печь, но его нужно было гораздо больше. Кто опоздал к поезду, те ковырялись в отвалах, куда сносили уже перебранное после поездов. Горы шлака напоминали вулкан, внутри них всегда тлел огонь, и жар от него был сильно ощутим, особенно в холодное время.

В ту пору из России в теплые края, в Среднюю Азию, постоянно перемещался всякий люд. Крыши всех поездов были усыпаны шпаной, от крепких мужчин до десятилетних мальцов в рванье, в их разговорах города Ташкент, Чимкент, Тюлькубас, Наманган, Самарканд, Туркестан — звучали как рай. Время было суровое, строгое, и на таких пассажиров устраивались серьезные облавы, их отлавливали, сгоняли с поездов, и они иногда неделями прятались в этих отвалах шлака. Там наверху были свои тайные тропы, ниши, пещеры, чем выше, тем страшнее и таинственнее. Туда и милиция-то не решалась подниматься, боялись провалиться в кратер вулкана, случалось и такое.

Лет с десяти начал ходить на станцию за шлаком и я, хотя мама долго противилась этому, понимая, что станция — опасное место, не только из-за шпаны, тянувшейся на юг, но и из-за станционных ребят, считавших вокзал своей вотчиной и при каждом случае обижавших малолетних ребят из поселка. Но жизнь заставляла идти на риск. Сегодня трудно себе представить, что внутри землянок от холода в углах комнат от потолка до пола висели ледяные сталактиты, так промерзало за зиму наше жилье. Оттого мы на всю жизнь запомнили слова: голод-холод.

Однажды, когда я перебирал шлак на отвалах, рядом со мной появились четверо парней разного возраста, самому младшему — лет пятнадцать-шестнадцать, а старшему уже за двадцать. Не местные, видимо, их согнали с крыш московского поезда, который прошел нашу станцию с утра. Я, конечно, испугался, хотя кроме латанного-перелатанного цыганами ведра и самодельных санок у меня ничего не было. Одежда моя не подходила им ни по росту, ни по качеству — одеты они были гораздо лучше мартукских ребят, прямо щеголи какие-то. «Далеко магазин?» — спросили они, и я показал им кочергой вдаль, где рядом с сельсоветом под зеленой крышей находился наш «Сельмаг». «А где милиция?» — переспросили они. «Там же, рядом», — объяснил я.

Мой ответ почему-то сильно огорчил их. Тогда один из них, в шапке-кубанке из серого каракуля, вдруг вполне дружелюбно попросил меня: «Выручай, малец, сбегай в магазин. Купи нам пожрать: хлеба, колбасы, консервов, пару бутылок водки, следующий поезд будет только к ночи, да и курева не забудь». Видя, что я сник, они спросили: «Не хочешь нас выручить?» Я ответил: «Хочу, но у меня нет ни копейки». Тогда они весело засмеялись, и опять же тот, в кубанке, достал из голенища щегольских хромовых сапог желтое кожаное портмоне и сказал, продолжая улыбаться: «Мы сразу поняли, что ты не богач, держи белохвостую, думаю, хватит», — и протянул мне хрустящую сторублевку, где на просвет с одной стороны виделся Кремль, а с другой — Ленин. Это были новые, пореформенные деньги, после 1947 года, и у мамы однажды была такая красивая денежка. Правда, слово «белохвостая» я услышал тогда впервые. Только через четыре года, когда буду учиться в Актюбинске, услышу снова от местных блатных ребят, как и они назовут сторублевку белохвостой. И я сразу вспомню ту давнюю встречу.



Я осторожно взял белохвостую, но кто-то из ребят вдруг сказал: «Сергея, добавь еще денег, не хватит». И тот щеголь, видимо, старший в компании, сунул мне в руки еще тридцать рублей. Я было рванулся с горы, но меня учтиво придержали: «Возьми санки, малец, в руках не унесешь, да и в глаза бросаться будет». С санками я и понесся в магазин. Продавец сельмага, Нюра Кожемякина, слыла в Мартуке модницей, не раз заказывала у матери вязаные вещи, и она, узнав меня, строго спросила: «Откуда деньги?» Я честно обо всем рассказал. «Как же ты донесешь такое добро?» — спросила она участливо, выставив весь заказ на прилавок, и, не дождавшись ответа, упаковала все мои покупки в коробку из-под вермишели, сама вынесла на крыльцо и уложила в санки. Встретили меня радостно, похвалили, отломали кусок колбасы с хлебом, предложили выпить, но от водки я отказался. Когда я попытался вернуть сдачу, они великодушно разрешили оставить ее себе, на кино, чему я радовался несколько недель.

В 1960 году, когда жизнь в наших краях в связи с освоением целины наладилась, дежурный по станции Кужелев первым в Мартуке отлил из шлака пристанционных эверестов шлакоблочный дом — это была революция в строительстве поселка. За два года от паровозного шлака не осталось ни грамма, все смел строительный бум, и теперь только старожилы, вроде меня, помнят о былых огромных огнедышащих горах на станции. Но, чтобы навсегда уйти со станции в Мартуке, мне придется рассказать еще один случай, который и спустя пятьдесят семь лет время от времени мне снится.

Случилось это год спустя после встречи с проезжими уркаганами на станционных отвалах шлака. За год я стал на станции бывалым человеком, обрел опыт, сноровку, и мама уже привыкла, что после уроков я всегда крутился у паровозов и без добычи редко возвращался домой. Только-только отпраздновали новый 1952 год, и у нас начались школьные каникулы. Стоял погожий зимний день, градусов восемнадцать-двадцать, ни ветерка, светило солнце, и я решил часа на два сбегать на станцию за углем, потому что в дни каникул давали дневной сеанс, и в тот день шел цветной фильм «Большой вальс».

По дороге мне повстречался одноклассник Диас Искандеров, чей отец погиб под Москвой, как и мой. Диас редко бывал

на станции, видимо, дома не разрешали, или он побаивался станционных ребят. Но в последние месяцы он часто видел, с какой добычей я возвращался домой, так что уговаривать его долго не пришлось. Главным аргументом послужило предложение продать пару ведер добытого михайловского угля хромому Максиму с постоянного двора, тот всегда покупал особый, тлеющий без дыма уголь для своих трехведерных самоваров.

Когда мы пришли на станцию, на первом пути в сторону Актюбинска стоял грузовой состав. Видимо, он прибыл уже давно, потому что машинист паровоза и его помощник стояли у тендера без привычных инструментов в руках — большой масленки и молотка на длинной ручке. Значит, они закончили осмотр, обстучали все важные элементы локомотива и смазали ходовые части, буксы. Машинист как раз обратился к кочегару: «Сергей, стоять нам еще долго, мы пойдем на вокзал пообедаем, а ты тут за главного». Видимо, по радиции они получили сообщение, что навстречу идет литерный поезд с особо важным грузом, и ему освобождали перегон, давали зеленую улицу на нашей станции. Мы, мальцы, не хуже железнодорожников ориентировались в правилах движения, в специальной терминологии. Кочегар, в поте лица очищавший топливные люки, забитые шлаком, что-то буркнул в ответ им в спину.

Мы быстро оценили ситуацию, такой случай, когда у паровоза остается один кочегар, бывает раз в год и считается удачей. Дело в том, что и машинист, и его помощник — белая кость на паровозе, они всегда гоняли ребят от локомотива подальше, могли и подзатыльник дать, и пинка под зад особо настырным. А кочегар, которому за короткую остановку нужно было вычистить топку с обеих сторон, заправить тендер водой, да еще накидать угля из открытого всем ветрам огромного тендера поближе к кабине, чтобы на ходу забрасывать его в топку, едва не валился с ног от усталости. Адская работа — то на ветру, на морозе на открытом тендере, то у жаркой печи метать пудовой лопатой уголь в ненасытную печь, то шуровать забитые шлаком топки. В ту пору слово «кочегар», фраза «работать, как кочегар» имели смысл особо тяжелой, рабской работы, губительной для здоровья. В кочегары шли молодые люди из деревни, из-за безработицы, безысходности, из-за возможности обрести постоянный заработок, уголь в общежитии или комнату в коммуналке — власть знала,



чем приманивать бедноту. Эти деревенские ребята понимали пацанов, крутившихся возле паровоза. Не раз бывало, особенно зимой, кочегар, перед самым отправлением, видя занятость своих коллег, сбрасывал ребятам с тендера два-три куса угля в сугроб.

Как только машинист с помощником отошли подальше, я тут же нырнул под состав и поднялся на паровоз с другой стороны, чтобы не видел работавший кочегар. Я хотел узнать, успел ли он заправить паровоз водой, и есть ли в тендере кусковой уголь, желательно михайловский — для самоваров. К моей радости, водой еще не заправили, и весь тендер был полон нужного нам угля. Обрадованный, я спустился к Диасу, и мы вдвоем подошли к кочегару, поздоровавшись, я спросил: «Можно, мы заправим паровоз водой?». Кочегар вытер пот со лба, внимательно осмотрел нас — а вы сможете? «Обижаешь, Серега, — ответил я лихо, — нам все доверяют, ни разу не перелили, мы ведь вдвоем. Я наверху, а товарищ внизу. Буду глядеть в оба», — добавил я для основательности. И впрямь, зазевайся, не перекрой воду вовремя, зальет весь паровоз водой, и через пять минут на морозе он будет весь ледяной, и отбивать лед придется только кочегару.

— Ну, если вдвоем, то добро, заправляйте, — ответил повелевший кочегар.

Конечно, наверх полез я, Диас еще никогда не бывал на паровозе, побаивался. Прежде чем забраться наверх, мы навели длинный хобот высокой колонки над люком тендера, а наверху я его еще поправил по центру, и только потом дал отмашку Диасу, чтобы отвинтил колесо крана, и вода, обдав меня запахом озера, тины, рыбы, полилась в чрево паровоза. Вода виднелась на самом доньшке, и я знал, что нужно пятнадцать-двадцать минут, чтобы заполнить тендер доверху. Визуально было хорошо видно, как вода поднимается.

Вода водой, а задача была — добыть уголь, а он, желанный, сажево-черный, бархатистый, лежал рядом, только протяни руку. Сверху я видел, что кочегар все еще скребет топку справа по ходу состава, поэтому стал сбрасывать большие куски угля в снег между путями на другую сторону. Время от времени я поглядывал вниз и на Диаса, и на кочегара Серегу, и продолжал сбрасывать и сбрасывать. Такая удача мне не выпадала никогда, мы могли теперь продать и десять ведер угля, и домой отнести.

Радость прибавляла мне силы, я даже что-то насвистывал и безголосо напевал. Вода, тем временем, наполняла тендер.

Когда кочегар перешел чистить топку слева, я стал сбрасывать уголь прямо под ноги Диасу, жестами объясняя, чтобы он присыпал его снегом. Вот-вот должны были вернуться машинист с помощником. В общем, минут за двадцать я набросал по обе стороны колеи довольно-таки много угля. А тут и вода подошла под горлышко, и мы успели перекрыть кран вовремя, о чем тут же доложили Сереге. Кочегар поблагодарил нас и сам забрался на паровоз, проверил и сбросил огромный валун угля ведер на десять, я бы его и с места не сдвинул. От такого куска на паровозе одна морока, замучаешься его кувалдой в тендере дробить, а для нас — несказанное богатство.

Мы с Диасом, счастливые донельзя, улыбающиеся от неслыханной удачи, перешли под составом на междупутье и стали присыпать снегом тот уголь, что я сбросил в самом начале. Машинист, заняв место слева, сразу мог его увидеть, а, значит, не поздоровилось бы нашему доброму Сереге. Пока мы присыпали уголь на междупутье снегом, вернулся машинист, я увидел его в привычном окошке. Локомотив начал разводить пары, и нас, стоявших возле первого вагона, обдавало словно облаком, но мы его не замечали. Наши фантазии унесли нас со станции, мысленно мы покупали цветные карандаши, рыболовные крючки и настоящую капроновую леску. Диас замахнулся даже на перочинный ножик — денег от хромого Максума должно было хватить на все. Богатая добыча лежала у наших ног слева и справа и даже за спиной.

Но тут, непонятно откуда, появилась ватага станционных ребят, не меньше десятка. Они были на год-два постарше нас с Диасом, а главному, двоичнику из 6 «Б» по кличке Фаддей, исполнилось уже четырнадцать. Конечно, они знали нас, а мы их, кроме двух дошколят, одетых в рвань не по росту. Наверное, кто-то из них увидел из окна на втором этаже, как я долго сбрасывал с паровоза уголь. Ощущая пятикратное преимущество, они шумно накинулись на нас, особенно усердствовал Фаддей, подражая блатным, он сыпал жаргонными словечками, смачно ругался, в общем, запугивал страшно.

Суть претензий была предельно проста, особенно в устах косноязычного Фаддея: станция наша, а, значит, и уголь наш,



убирайтесь, пока санки не отняли и не надавали как следует. Настроены они были агрессивно, даже поделиться не предложили, как часто бывало в подобных ситуациях. Наш случай был не первый на станции, только сегодня Фаддей впервые вывел новую юную поросль из краснокирпичного дома на охоту за чужаками, и явно желал утвердиться в лидерах. Хотя их было больше, у нас имелось преимущество, у каждого в руках была железная кочерга, которую мы держали наготове.

Когда Фаддей уж очень стал наседать на меня, я толкнул его кочергой в грудь, и он, не ожидавший отпора, упал на путь, что резко поубавило ему пыла. «Наш уголь, наш уголь», — орала дружно станционные, и меня вдруг осенило. Я сказал, как можно тверже и туманнее: «Фаддей, наш уголь или ваш, ты не нам доказывай, понял?». «Кому же?» — опешили разом станционные. «Вот сейчас вернутся Султан с Хамидом, они за братьями старшими пошли и за большими санками, им, чеченам, и скажете, что вы хозяева угля и станции, а теперь валите отсюда, пока целы».

В этот момент кто-то из колеи наклонился над большим куском угля, и тут произошло неожиданное. Тишайший Диас, побивавшийся станционных, поддал тому такого пинка, что тот упал к ногам Фаддея. Тут нападавшие заметно дрогнули, не имея чеченской поддержки, мы, татарчата, вряд ли могли вести себя столь нагло на их территории. Но уйти просто так Фаддею гордость не позволяла, боялся уронить авторитет среди мелюзги, он демонстративно рвался в блатной мир. Фаддей лихорадочно думал, как он объяснит станционным корешам из красного дома, что не сумел отнять богатую добычу у двух малолеток из поселка.

Так мы и стояли напротив друг друга — я с Диасом на междупутье, станционные в колее главного пути. Наш паровоз все больше и больше выпускал пар, и мы все время от времени тонули в этом густом облаке, но никто не обращал на это внимания. Весь интерес с обеих сторон сошелся на угле. Конечно, добудь мы малость угля, ведерка два, мы бы не сопротивлялись, и они, наверное, так бы не злобствовались. Но такую добычу никто не хотел уступать, ни мы, ни они.

А в это время литерный поезд, на высокой скорости шедший на проход через Мартук, миновал входной семафор и, видя скопление на путях, отчаянно гудел во всю мощь своих труб.

Но никто из тринадцати ребят ничего вокруг не видел и не слышал, у всех в глазах — только уголь. Мне кажется, насыпь сегодня высоченную гору шоколадок, сникерсов, жевательной резинки и прочего добра, которое волнует детвору, все равно нашелся бы один равнодушный, озирающийся по сторонам. А тогда от угля дети не могли оторваться ни на секунду, такова была ему цена.

Скорый налетел с размаху — четверых насмерть сразу, нескольких выбросило из колеи без единой царапины, Фаддею отрезало обе ноги, а один мальчик по фамилии Касперов остался цел, ухватившись за решетку паровоза, которая сбрасывает с путей небольшие предметы. Диаса поезд не задел, меня зацепило какой-то выступающей частью паровоза, и, хотя я был в шапке, чуть выше виска у меня вырвало кусок кожи с волосами размером с маленькую монетку, и я долго хромал на левую ногу. Наверное, сильно ударился о стоящий состав, когда меня отбросило от летящего паровоза.

Когда я очнулся, Диаса рядом не было, со станции и из краснокирпичного дома с плачем бежали женщины. Я потихоньку переполз под составом, нашел свои санки и ведро и, обливаясь слезами, хромая поплелся домой. Кому досталась большая добыча, остается только гадать. Эта история имела тягостное продолжение только для меня. Меня хотели исключить из пионеров как расхитителя социалистического добра, и даже из школы. Но нашлись во власти здравые люди, и ретивых учителей быстро одернули. На станцию я, конечно, дорогу забыл.

В год моего 65-летия я случайно узнал, что тот мальчик Касперов, чудом оставшийся жив, стал профессором, академиком, ректором авиационного института в Новосибирске. Поистине, судьбы людские и пути Господни неисповедимы.

*о. Корфу, Греция,
2007*



Звездное небо детства

Автобиографический рассказ

В начале 1980-х годов, когда у меня уже выходили книги в Москве, одна из них попала на рецензию к писателю Штильмарку, человеку трагической судьбы. Он отсидел в сталинских лагерях двадцать пять лет от звонка до звонка и позже был сослан на поселение в Казахстан. В одном из моих рассказов этой книги упоминался Мартук и соседний Ак-Булак. В Ак-Булаке, как оказалось, мой рецензент отбывал ссылку. Он был рад, что место его ссылки для меня стало предметом литературы. В 1999 году в журнале «Огни Казани» на татарском языке вышел мой ретро-роман «Ранняя печаль», и я вдруг получил полное благодарности письмо от одной очень старой читательницы. Оказывается, ее отец, духовное лицо, в тридцатые годы был сослан... в Мартук. Они писали отцу в Мартук годами, раз в год снаряжали туда посылку, а раз в два года, по специальному разрешению, навещали его. По ее словам, Мартук был для них святым местом, как Мекка, не меньше, и они всегда молились за благополучие его жителей.

Я далек от мысли, что Мартук — святое место, хочу, пользуясь примерами, обратить ваше внимание на то, что я, частное лицо, уже дважды лично столкнулся с людьми, чьи судьбы связаны с Мартуком из-за того, что он в чьих-то тайных реестрах был определен местом ссылки. Сегодня я понимаю, отчего у нас в захолустье кроме



милиции находилось и отделение НКВД, прародителя КГБ, причем в заметно расширенном составе. Кстати, его сотрудники вместе с милицией тоже жестоко разгоняли базар на станции.

Я упомянул о ссыльных в Мартуке, о которых ни тогда, ни теперь, запоздало, не говорили и не говорят, видимо, не такие уж сверхважные персоны высылались к нам. Разумеется, и они, ссыльные, о себе не распространялись, чтобы не осложнять и без того тягостную жизнь. Но даже тогда, в детстве, я понимал, а точнее, чувствовал, что люди сильно отличаются друг от друга. Теперь-то я знаю, что причин для этого много: происхождение, образование, культура, интеллект, в ту пору я и слов таких не только не понимал, но и не слышал. Но то, что такие люди есть, хорошо усвоил, потому и помню до сих пор, и высоко оцениваю их значение для Мартука задним числом, через столько лет.

В шесть лет я случайно выпил яд — каустическую соду, ее отчим использовал для выделки шкур. Но на мое счастье, в другой комнате нашей землянки находился киевский врач Драпей, сосланный за что-то в нашу тьмутаракань. Он любил заходить к нам на чай, и мама всегда держала специально для него небольшую заначку заварки. С чаем и сахаром в доме бывали частые перебои. На мой крик врач выскочил раньше матери и, мгновенно оценив ситуацию, заставил меня выпить молоко, стоявшее рядом на столе. Опоздай он на минуту-две, и я не писал бы воспоминания о нем. Сейчас, видя на экране человека в пенсне, с кожаным чемоданчиком в руках и стетоскопом на груди, я сразу вспоминаю врача Драпея, он спас в Мартуке не одного меня. Об этом человеке долгие годы ходили в Мартуке легенды, но новое поколение узнает о нем только из этих скупых строк. Да будет земля вам пухом, дорогой доктор Драпей!

В школе у нас преподавал математику учитель Николай Иванович Мишин, седой, полноватый, с пышными усами и бакенбардами мужчина. Он, как и доктор Драпей, сразу выделялся из общей массы жителей Мартука. Всегда аккуратно одетый, учтивый, он и к нам, детям-озорникам, относился тепло и обращался: «Любезный, подойдите ко мне, пожалуйста». Жена его тоже была учительницей, а сестра, Екатерина Ивановна, заведовала детской библиотекой. Одна только эта семья сделала бесконечно много для Мартука. В школе устраивались неслыханные нигде вокруг, кроме Мартука, олимпиады, а на дополнительные занятия по математике приходили по сорок учеников, и отнюдь не отстающие, наоборот, те, кого влекли точные науки.

Наверное, с тех послевоенных лет до горбачевских реформ мартукская школа считалась одной из лучших в области, и в вузы поступали до девяноста процентов ее выпускников, решивших продолжить образование. Я не увлекался математикой, да и школу оставил после семилетки. Но хорошо помню перемены в библиотеке, то, как нас встречала сестра Мишина Екатерина Ивановна, как долго любезно беседовала она с каждым заморышем, обогревала словом, вниманием, вселяла надежду, отыскивая в нас хоть какие-то крупинцы таланта.

Для многих из нас Мишины стали лоцманами в жизни, а от Драпея потянулась дорога в актюбинский мединститут. Екатерина Ивановна сама прекрасно рисовала и создала в библиотеке, в двух тесных комнатках, изокружок. Скоро рисунками учеников были увешаны все стены и коридоры библиотеки, позже им нашлось место и на стенах школы. Рисовали акварелью, цветными карандашами, углем, но мне запомнились тончайшие, ювелирные рисунки птиц и животных, сделанные пером и цветной тушью на ватмане мальчиком с соседней улицы Вальтером Диком. Много позже он сумел через Прибалтику эмигрировать в Германию и там стал известным художником-анималистом. Об этом я узнал от своего закадычного друга детства Сигизмунда Вуккерта, чья семья тоже уехала на Запад.

В январе 2007 года я приехал из Парижа в Мюнхен с супругой Ириной посмотреть известнейший в Европе музей современного искусства, а еще больше для того, чтобы побродить по улицам моего горячо любимого поэта Федора Ивановича Тютчева, которого самозабвенно обожал, боготворил в юности. В Мюнхене Тютчев прожил больше двадцати лет, там у него были две яркие, глубокие любовные истории, которые подарили нам восхитительную тончайшую лирику. Немцы поставили Тютчеву прекрасный памятник. В день отъезда из Мюнхена я увидел афишу выставки художника Дика с портретом вальяжного господина, в котором без труда узнал босоногого Вальтера. Конечно, вспомнил нашу библиотеку, Екатерину Ивановну, без которой, наверное, не было бы художника Вальтера Дика. Очень жаль, что не встретились с ним, было бы о чем поговорить. Тешу себя надеждой, что еще загляну в Мюнхен к земляку и подарю ему каталог собственной коллекции живописи, в которой, к сожалению, нет картин Вальтера Дика. И еще подарил бы ему свой роман «Ранняя печаль», где есть большая глава, посвященная мартукским немцам.

Что касается Мишиных, я не раз слышал о них — «политические». Что это могло означать, я не могу представить даже сейчас,



даже с высоты своего возраста и опыта, житейского и писательского. С этой семьей нельзя было отождествить никакую крамольную мысль — ни политическую, ни связанную с моралью, не говоря уж об уголовных преступлениях. Вся жизнь Мишиных, протекавшая под надзором НКВД, прошла перед глазами всего Мартука — и людей более праведных, добрых, отзывчивых, бесребреников, живших только заботами юных граждан нищего поселка, я больше никогда не встречал. Долго, до самой смерти Мишиных в Мартуке, я интересовался их судьбой, знаю, где их могилы на огромном русском кладбище, мне не надо долго искать. Там покоится много моих друзей. Первым ушел почти пятьдесят лет назад юный Толя Чипигин, за ним Володя Колосов, Юра Урясов, Славик Афанасьев, Леня Грицай, Боря Палий, Саша Варюта — я называю только очень близких мне людей, а сколько там соседей, знакомых... Путь всем вам мартукская земля будет пухом, я часто вспоминаю вас.

Мне везло на учителей, и я еще раз встретил таких же, как в школе, доброжелательных людей. Теперь это были мои преподаватели в железнодорожном техникуме в Актюбинске. Почти весь его преподавательский состав того времени состоял из профессоров, доцентов, кандидатов наук, ученых из Ленинграда. Конечно, они были сосланными и не делали из этого тайны, к тому же уже прошел XX съезд партии. Они дали нам не только знания, но и привили культуру. Низкий поклон вам, учителя мои: Фома Иванович Грачев, профессор Семен Абрамович Глузман, профессор Волков, профессор Башкирцев, Михаил Матвеевич Панов, Борис Николаевич Гуштин — я никогда вас не забывал.

На учителей везло не только мне, но и всему Мартуку. Учительница немецкого языка Алиса Арнольдовна, одна воспитывавшая сына Марка, создала в школе театр кукол. Я не оговорился, не кружок, а настоящий театр, с полноценными спектаклями по известным сказкам, чаще всего немецким. Наверное, этот навык был у нее в прошлой жизни, столь отточены, выверены были сцены, реплики, так тщательно продуманы декорации, выставлено освещение, изготовлены сами куклы. Такое с налету, от одного только желания что-то создать, не получается, сужу об этом теперь как театрал со стажем.

В студию Алиса Арнольдовна набирала только тех, кто хорошо учился. Как резко подскочила успеваемость в школе! Кукольное дело требовало внимания, аккуратности, терпения, сноровки, ловкости и, конечно, артистизма — оказывается, рядом с нами в каждом классе,

с первого по десятый, учились такие талантливые мальчики и девочки! Театр давал спектакли не только в школе, но и в кинозале Дома культуры, кукольников привлекали с постановками даже в дни выборов — а к этому тогда относились серьезно, иначе вмиг можно было лишиться работы и партбилета. Народ валом валил на спектакли, а родители гордились своими детьми-артистами. Когда рассказываю об этом сегодняшним мартукским школьникам — не верят, что подобное могло быть у них в поселке пятьдесят лет назад. Было, было, только и люди, и дети были другими.

Я рассказал лишь о нескольких ссыльных, занесенных жестоким временем в наш Мартук, да и то мимолетными штрихами. Подробнее не смог — мал тогда был, а услышать о них от взрослых не довелось. И опасно было, и своих забот хватало, ведь всегда, сколько себя помню, жизнь в наших краях определялась по гамбургскому счету — выжить! Да и сейчас так.

Но это не вся правда. Сегодня, с высоты житейского опыта, возраста, понимаешь, что, может быть, главная беда — потеря памяти о достойных людях, которые вместо тебя, за тебя пытались изменить мир вокруг, судьбу твоих детей — объясняется просто равнодушием, душевной эрозией, переходящей в откровенный цинизм. Мишины? А что они сделали? Работали в школе? Выдавали книги в библиотеке, кружки организовывали для детей, кукольные представления давали — так они за это деньги получали. Доктор Драпей? А этот, говорят, полторы ставки получал, большие, я вам скажу, деньжищи. Щедрой души человек? Безотказный? Ночь не ночь, пурга, дождь — мог в аул поехать? Так это врачу по клятве какой-то римской положено, работа такая, сам выбирал.

Много ссыльных было в нашем Мартуке, я встречал их на базаре, миновать который нельзя было никому — без базара не выжить. Встречал их на станции, в очередях за хлебом, в которых стояли с вечера с перекличками до самого утра, когда подвозили на подводах хлеб с пекарни. Встречал их у реки, когда собирал на зиму сушняк. Конечно, все они чем-то занимались, добывали свой хлеб насущный, как, например, керамист-виртуоз Трушкин. Именно тогда у нас появились районная газета и типография, организовал их тоже ссыльный — Кисловский, его сын Эдик учился классом старше меня.

Безусловно, каждый из них, кто меньше, кто больше, повлиял на жизнь и культуру нашего села. Вот сегодня, в XXI веке, запла-ти миллион долларов, чтобы в Мартуке через час собрался духовой



оркестр, проводить в последний путь достойного человека — не получится. Тогда же, после войны, без оркестра вообще не хоронили. А на парадах по случаю 1 Мая, 7 Ноября — снимки сохранились — идет такой внушительный оркестр, какой нынче вряд ли и в городе соберешь. А летом в парке по воскресеньям, часов с пяти до самых танцев, тоже играл духовой оркестр. И его репертуару, как я сегодня понимаю, позавидовал бы профессиональный коллектив. И ведь кто-то дирижировал этим оркестром, писал ноты, репетировал, были владельцы дорогих инструментов!

Смешно даже предположить, что музыкальные инструменты являлись собственностью нашего бедного районного Дома культуры. В подтверждение скажу, что с тринадцати лет, когда я начал околачиваться возле нашей танцплощадки в парке, половина пластинок, под которые танцевала молодежь, была из нашего дома. Конечно, оркестрантами были ссыльные, с которыми, в силу возраста, я не мог тогда общаться.

Оттого, наверное, что были такие музыканты и инструменты, уже в пятидесятые в Мартуке откроется музыкальная школа. Как говорила моя мама — на пустом месте вырастает только чертополох.

Ссыльные были разными людьми. О судьбе еще одного из них лет десять назад мне рассказал одноклассник Рахим Халиков, ныне директор одной из двух больших русских школ в Мартуке. Отец Халикова — участник войны, инвалид, еще совсем недавно тогда вернулся из Берлина и работал экспедитором на почте, рядом со своей хибаркой. Возил на станцию и доставлял с поездов корреспонденцию. На задворках большого почтового двора (тогда пользовались только гужевым транспортом, в том числе верблюдом) располагались сеновалы, конюшни, сараи, всякие склады.

В один прекрасный день Рахим обнаружил там свежеврытую землянку, точнее, просторную яму, куда вели аккуратно вырезанные в земле ступени. Стояло лето, и крыша отсутствовала: либо жилец знал, что здесь долго не задержится, либо не успел устроить. Мужчина, увидев Рахима, ловко поднялся и, улыбаясь, спросил с заметным немецким акцентом: «Мальчик, у тебя есть друзья?» Рахим, поняв, что предстоит какая-то работа, ответил: «Я могу вмиг собрать трех-четырех ребят». Немец сказал с неизменной, как потом оказалось, улыбкой: «Предлагаю вам выгодное сотрудничество. Вы наложите десятка два сусликов, а я вам приготовлю из них прекрасный обед, вы даже не представляете, как они вкусны и полезны».

Почувствовав, что Рахим не совсем понял суть предлагаемой затеи, хозяин ямы спросил: разве вы не ловили суслов? Получив отрицательный ответ, немец немного расстроился, но тут же весело предложил: «Я научу вас, это проще простого. Вы наливаете в норку воды из ведра, и через полминуты он, испуганный, выползает наружу, даже не сопротивляется. Вы его в мешок — и ко мне. Через час после охоты гарантирую вам роскошный обед», — и он показал рукой на стоявший внизу примус и большую кастрюлю.

Голодному мальчишке из многодетной семьи предложение показалось столь привлекательным, что он тут же побежал скликать свою дружину. Через дорогу от почты располагалась метеостанция, обнесенная обвисшим забором из колючей проволоки, а вокруг нее резвились суслики. На заповедную территорию никто не покушался, о чем гласило строгое предупреждение: особо охраняемая зона. Сусликов тут хватало не на один обед, если быть удачливыми.

Все получилось действительно просто и быстро. Через час они заявили с добычей на званный обед. Немец, не сомневавшийся в удаче ребят, уже распалил примус, на котором закипала большая кастрюля, а сам вырезал непонятные палочки из лозы, припасенной в углу землянки. Получив сумку с добычей, он достал из своего головного убора узкую металлическую пластинку, остро заточенную с одной стороны, и стал на глазах у ребят ловко свежевать тушки. Делал только один длинный быстрый разрез по брюшку и выворачивал шкурку, словно снимал шубу. Фантастическое зрелище, рассказывал мне Рахим. Освободив тушку от внутренностей, обитатель землянки обмывал ее в ведре и тут же опускал в кипящую кастрюлю. Когда немец минут за десять справился с добычей, он научил ребят правильно растягивать шкурки для просушки. Вот для чего он заготовил палочки разной длины!

Рахим знал, что «Живсырье» принимало шкурки и тут же рассчитывалось деньгами, но среди мальчишек из семей мусульманских не было принято заниматься этим промыслом. В Мартуке только две молдавские семьи из самых бедных охотились на суслов. Но голод заставил ребят переступить запрет.

Рахим с друзьями барствовал ровно две недели. Каждый день сдавали шкурки, у них завелись деньги на кино, а главное, тайный от родителей сытнейший обед от немца, с которым они сдружились. Правда, рассказывал мне Рахим, когда он впервые увидел спецнож, подумал, что немец — шпион, и сильно испугался, но голод поборол



страх. Только через много лет Рахим узнал, что это был хирургический скальпель, в другой жизни их благодетель, наверное, был врачом. В один прекрасный день, когда они вновь заявили с богатым уловом в землянку, там уже никого не было, не осталось ни примуса, ни волшебной кастрюли. Через неделю один мальчик, которому они рассказали о своей тайне, признался, что видел, как двое в штатском заводили этого немца в здание НКВД именно в тот день, когда они потеряли и обед, и заработки.

При встрече со мною в последний раз Рахим вдруг ни с того ни с сего спросил меня с грустью: «Ты помнишь моего немца? Что-то он часто стал мне сниться последнее время. Жаль, человек не должен пропадать бесследно, не должен». Он думал о чем-то своем, наткнувшись на прошлое...

Пожалуй, тут уместна будет еще одна история, о ссыльных народах и мальчике Рубине.

В одном классе со мною учился Коля Грабовский. Были у него брат Юрген, позже при странных обстоятельствах утонувший в Чудном озере, и младшая сестренка Ольга, которая, повзрослев, вышла замуж за Сашку Гельвиха, часовых дел мастера. Рос Коля без отца, как и многие в ту пору, безотцовщина стала как бы нормой. Но в 1959 году отец Коли Грабовского неожиданно объявился, и тогда я от матери узнал историю соседа Гюнтера Грабовского.

В войну, когда немцев поголовно выселили из Поволжья и Краснодарского края к нам в Казахстан и в Западную Сибирь, они объявились в Мартуке. Грабовский-старший работал грузчиком на элеваторе. Годы холодные, голодные, трое детей, такую ораву и в мирное время прокормить непросто. И вот однажды вечером зимой 1943 года мою мать и соседку Науша-апа Бектемирову вызывают в землянку к Грабовским понятами. Сосед только вернулся с работы, а за ним вошли двое из НКВД с понятами и заставили хозяина дома вывернуть содержимое карманов в ладони моей матери.

Мать со слезами на глазах рассказывала, что в обоих карманах ватника не набралось даже двух полных ладошек пшеницы. За эту горсть сорной пшеницы соседу-немцу дали пятнадцать лет, и отбыл он их в Сибири на лесоповале день в день. Эта история много лет не шла у меня из головы. Ну, ладно, война, думаю я, сгоряча дали на всю катушку, но почему же после войны не пересмотрели столь суровый приговор? Ведь у него дома осталось трое детей! Поистине, низвели жизнь человека до жизни раба, от которого требовалось одно — дармовая работа.

Грабовского, наверное, и после пятнадцати лет не хотели выпустить из тюрьмы, уж очень честны, безотказны немцы в работе. Много позже во время одного из визитов в Мартук я узнал, что большое семейство Грабовских уехало в Германию. Тогда я сделал в дневнике такую запись: «Пусть Родина, которую они так трудно и запоздало приобрели, будет к ним добра и милостива, не в пример нашей — слишком мало хорошего они видели в СССР. Пусть никто, нигде и никогда не заплатит за горсть сорной пшеницы такую цену, какую заплатил отец моего одноклассника Гюнтер Грабовский».

Шумные и скандальные истории часто случались с чеченцами — этих не могли запугать ни работники спецкомендатуры, ни люди из НКВД. Они не позволяли унижать собственное достоинство, и ни один чин при нагоне не рисковал принимать чеченца в кабинете один на один, хотя тех на входе обыскивали самым тщательным образом. Говорят, в ту пору со стола начальства исчезли все тяжелые предметы: бюсты генералиссимуса из бронзы или мрамора, а также и бюсты железного Феликса, тяжелые письменные приборы каслинского литья из чугуна, особо модные в те годы, и даже графины с водой. Другое дело немцы — тихий, законопослушный народ, они не доставляли особых хлопот спецкомендатуре.

Но однажды произошло ЧП, перед которым померкли все лихие выходы горцев. Говорят, историей немецкого парня по имени Рубин занимались в Москве высшие чины НКВД и военной разведки. Рубин в ту пору учился не то в восьмом, не то в девятом классе и жил на другом краю села, поэтому мне не приходилось сталкиваться с ним, знал только, что он жил с матерью, и мать его работала в школе истопницей и уборщицей...

Немцы в те годы не имели права без разрешения комендатуры покидать место жительства, не имели и документов, что также лишало их возможности передвижения. Тем удивительнее был слух, что пропавший два месяца назад немецкий мальчик — школьник по имени Рубин, задержан на западной границе при попытке ее перейти. Его вернули домой, к матери, что с него взять — несовершеннолетний.

На педсовете Рубин упрямо твердил учителям, что хотел вернуться на свою Родину, хотя те дружно уверяли, что его Родина — СССР: здесь он родился, здесь появились на свет его родители и даже прадеды, только здесь ему гарантированы великой сталинской Конституцией права на труд, свободу, бесплатное образование, здравоохранение,



жилье и прочие блага. Но, видимо, Рубин уже тогда понимал, какие свободы ждут его в родном Отечестве.

Окончив школу, Рубин снова бежал, но на этот раз его застрелили при переходе границы, и мать ездила на похороны, а чуть позже и вовсе переехала в те края присматривать за могилой единственного сына, больше у нее никого не было — муж погиб в Челябинске в трудовых лагерях.

В школе провели собрание, гневно осудили поступок бывшего ученика — видимо, откуда-то поступило указание. Но между собой ребята говорили другое: жаль Рубина, он же школьник, а не шпион, какие тайны мог вывезти из Мартука — о нищем колхозе «Третий Интернационал», что ли? И пусть бы он жил там, где хотел, мы ведь граждане самой свободной страны...

Так просто и ясно — задолго до Хельсинкских соглашений и принятия Декларации прав человека, еще пятьдесят пять лет назад мыслили мартукские мальчишки.

Сегодня, на закате жизни, нет дня, чтобы не припомнилось мне что-то из детства, юности. Большой грузинский поэт Карло Каладзе в одном стихотворении сказал: «Помню только детство, остальное не мое». Чтобы понять, оценить эту строку, как минимум надо прожить жизнь. Вспоминаются друзья, родители, соседи, учителя, Илек, станция, озера, школьные походы, тюльпанные поля по весне, парк, мартукские девушки, школа. Вспоминаются вьюги, метели, снегопад, убранные огороды, бахчи — это понятно и дорого каждому.

Но есть одно природное явление, которое я стал вспоминать все чаще и чаще, особенно путешествуя вдали от Мартука. Оказывается, Всевышний одарил Мартук еще одной удивительной красотой, которой лишены многие страны и даже те места, которые принято считать жемчужинами природы. Летом, в июле — начале августа, у нас в Мартуке такое высокое звездное небо, такие бархатные сажево-черные ночи, что протяни руку — не увидишь. А небо усыпано миллионами, миллиардами ярчайших звезд! Какой в Мартуке звездопад! Не пересказать! Словно золотые яблоки, звезды не спеша сыплются и сыплются с небес, радуя глаз и душу — можно успеть десять раз загадать желание. Возвращаясь с танцев, мы не могли оторвать глаз от неба, то и дело то там, то здесь слышался радостный девичий вскрик — смотри, смотри, еще одна звезда полетела, загадай желание, загадай желание!

Я тоже был в восторге от летнего звездопада, бархатных ночей, но не думал, что такая красота предназначена только нам, мартучанам.

Поверьте, проверьте — в чужих краях нет бархатных ночей, такого густо усыпанного звездами неба, о звездопаде и говорить не приходится. Во многих странах нет даже любезных нашей душе долгих сумерек, день кончается мгновенно, словно лампочку выключили. Я был в Израиле и сразу понял, почему наши оттуда уезжают. Там нет сумерек, нет времен года — можно умереть с тоски. Там, на чужбине, в красивых странах, мне всегда снится мартукский звездопад, но желаний я уже не загадываю.

Не могу в этом повествовании не сказать хотя бы несколько слов о любимом Илеке. Многие годы, приезжая в Мартук, даже зимой после кладбища мы едем с братьями поклониться Илеку. И я, уже в который раз охваченный волнением, говорю им: убежден, что тысячи и тысячи мартучан, по разным причинам оказавшихся вдали от малой родины, для которых Илек — река детства, вспоминают его со слезами на глазах. Оказывается, так оно и есть.

Несколько лет назад я встретился в Мартуке с приехавшими из Германии земляками. Поспешил к ним узнать о своих друзьях, соседях, одноклассниках. И один из них дрогнувшим голосом сказал: «Соскучился по Илеку, слов нет, чтобы высказать, замучили сны о реке. Наши все вспоминают Илек». И я тут же вспомнил мальчика с рыбьей фамилией — Генку Фиша, самого заядлого рыбака в нашем детстве, и попросил передать ему привет.

То, что я хочу рассказать о реке, сегодня может показаться фантастикой, как и многое в моих воспоминаниях, но поверьте, Илек был таким...

В 1952 году я учился в четвертом классе и летом оказался в пионерлагере, как всегда, у поселка Жанатан на берегу Илека (там с 1956 года ежегодно стали проводить День песен). Однажды в воскресенье к физруку Михаилу Кирилловичу Тимошенко приехал на полutorке его друг Петривний с двумя мужиками. У них был бредень. Михаил Кириллович попросил меня и Людвиг Саломатина собрать еще десяток мальчишек и поучаствовать в рыбалке с бреднем. Мы, разумеется, с радостью согласились.

Пока я с Людвигом собирал команду, мужики растянули бредень и определили место, откуда начнут тянуть. Бредень по краям, как знамя, укрепили на крепком длинном древке, его и тянули по двое мужиков с каждого берега, находясь в воде. А мы, ребятня, с шумом, криками, хлопаньем палками по воде гнали впереди рыбу по обоим берегам, барахтаясь в реке. Нехитрое, в общем, занятие. По тому времени, оказывается, незаконное, браконьерское.



В первый раз тянули не более пятидесяти — шестидесяти метров, мужикам показалось, что в мотню бредня попали тяжелые коряги, и они вытянули его на первой же отмели. Как только появились из воды края бредня, усыпанные запутавшейся рыбой, раздался восторженный крик мальчишек — появившаяся мотня была полностью забита шевелящейся рыбой. За первый заход выловили более сорока щук, да каких! Такие отродясь не попадали на наши удочки, по три-четыре килограмма каждая, а некоторые, как хищные торпеды, тянули и на семь, и на восемь килограммов.

Рыбы оказалось так много, что после щук ее перестали считать и сортировать. Попались невиданные голавли, с огромную чугунную сковороду, толстенные лещи, о существовании их в Илеке мы и не предполагали. Много оказалось черных как коряга ленивых сомов, они не дергались, как остальные рыбы, а только шевелили длинными усами. Один сом, сказал Михаил Кириллович, тянул на целый пуд. Выделялись красавцы сазаны с отливавшей золотом чешуей и ярко-красными плавниками, заканчивавшимися настоящей острой пилочкой. Теперь нам стало понятно, почему сазаны всегда обрывали наши лески, они ее отрезали одним движением. Больше всего вытянули крупных жирных подустов и плотвы. Немало затянуло в бредень красноперок, красноглазок, даже осторожные налимы и раки оказались в ловушке.

Всех налимов, крупных сомов и половину красивых сазанов Михаил Кириллович тут же отделил на песке — это детишкам, побалуем их свежей рыбой впервые за лето. Рыбу размером с ладошку тут же возвратили в реку. У меня до сих пор стоит перед глазами щедрый улов, разбросанный на золотом берегу Илека, невосполнимое теперь уже богатство реки нашего детства.

*о. Корфу, Греция,
2007*

Друзья моей юности

Автобиографический рассказ

Мартук в давние годы был интересен не только мартучанам, он привлекал и горожан. В семидесятые годы, когда в парке играл оркестр Чиркиных, слух о нем дошел до Актюбинска, и стало модным наезжать к нам на танцы из города. Но я хочу рассказать о другом времени, о том, как мои друзья-горожане встречали Новый, 1958 год в Мартуке в доме у Генки Лымаря, что находился у самого кирпичного завода. Произошло это ровно пятьдесят лет назад, в ту пору я был студентом железнодорожного техникума. Конечно, я рассказывал мартукским о своих новых друзьях, а городским — о приятелях, которые ждали меня каждую субботу. И они, с моих слов, заочно уже знали друг друга.

На Новый год мы ждали в гости с Урала Рафика Муртазина, двоюродного брата Роберта Тлеумухамедова, лидера нашей городской компании. Роберт с родителями переехал в 1956 году из Магнитогорска в Актюбинск, на историческую родину отца. Бертай-ага Тлеумухамедов окончил Ленинградский университет, стал юристом, работал председателем коллегии адвокатов, прокурором, занимал заметные посты в Актюбинске. Мать Роберта, татарка, преподавала в школе литературу. Роберт был их единственным сыном, и они сильно его баловали. В 1956 году мы оба поступили в техникум и оказались в одной группе.



Сказать о Роберте, что он особенный, другой — это ничего не сказать. Он был белой вороной не только в техникуме, но и в городе. Могу смело утверждать, что он стал первым стилигой в нашем городе, а точнее, приехал сложившимся стилигой из Магнитогорска. На зависть другим объявившимся в городе стилигам он прекрасно одевался, имел продуманный гардероб вплоть до кашне, перчаток, носков, имевших большое значение в новой моде. Не то, что мы — новые его последователи, у которых были только модная ковбойка и набриолиненный кок, или только одни спешно зауженные брюки. Он приехал в Казахстан перворазрядником и по боксу, и по баскетболу. Роберт любил Магнитогорск, рассказывал о нем часами, и город представлял перед нами как Чикаго или Нью-Орлеан, где везде играет джаз.

Я не знаю чем, но я привлек его внимание, мы стали общаться. И я, конечно, сразу подпал под его влияние. Это он втянул меня в бокс, увлек музыкой, обозначил горизонты какой-то другой интересной жизни. Это у него я впервые увидел магнитофон, кучу пластинок, которые он называл «моя фонотека» и очень бережно относился к каждой из них, имевшей собственную историю. От него я услышал впервые имена Армстронга, Фрэнка Синатры, Элвиса Пресли, Джонни Холидея, Эллы Фицджеральд, Гленна Миллера, Дюка Эллингтона, Джоржа Гершвина, Бенни Гудмана, Каунта Бейси, Дези Гилеспи. Его дом на Почтовой, 72 стал для нас клубом. Летом 1957 года он был в гостях у родственников в Москве, и фестиваль молодежи прошел у него на глазах. В дни фестиваля он сошелся в столице с московскими стилигами, удачно прибарахлился и пополнил свою коллекцию пластинок. Представляете, уже в 1957 году я слушал у него дома в Актюбинске музыку, которая и в Москве не всякому была доступна.

Недавно параллельно с фильмом Валерия Тодоровского «Стилиги» была выпущена книга «Стилиги». Издатели отыскали на постсоветском пространстве оставшихся в живых стилиг. Стилижничество с 1956 по 1960 год было предметом острых идеологических споров в обществе. В число героев «Стилиг» попал и ваш покорный слуга, и я упомянул в книге других актюбинских стилиг и, конечно, Роберта.

Новый год — особенный праздник, и лавировать между компаниями означало рвать себя на части. И тогда меня осенила мысль — отметить Новый год в Мартуке вместе с горожанами. С идеей я ознакомил Саню Вуккерта, заводилу нашей компании, тому предложение понравилось. В мартукскую компанию, кроме меня и Вуккерта, входили Володя Колосов, Рашат Гайфулин, Витя Будко, Боря Палий.

Должен был гулять с нами и Фима Беренштейн, но его пригласили в город. Гена Лымарь попал в компанию потому, что уговорил родителей уйти в гости к родственникам на два дня, у него была чудесная мать, она многое сделала для того вечера. Попал в компанию и Слава Афанасьев, он младше нас, но его всегда тянуло к нам. Позже он часто, выпив, говорил: вы пригласили меня на кабальных условиях. «Кабальные условия» состояли в том, что он должен был следить за радиолой, менять пластинки и обязывался быть на подхвате: подать, сбегать, убрать. В отношении Славика имелась еще одна «коруыстная» цель. Его мама работала поваром в вокзальном ресторане, куда мы позже водили приезжих девушек на ананасы с шампанским. Она тоже приготовила много интересных блюд для новогоднего стола. Одно дело — готовить дома, другое — на профессиональной плите в ресторане.

А компания, включая городских, получилась не маленькая. Со мной из города приехали трое: Роберт, Рафик и Юрочка Лаптев, сразу покоривший мартукских красавиц. Наверное, самым запоминающимся из застолья оказалось... шампанское, я нашел его в городе. Красное «Цимлянское» в... пол-литровых красочных бутылках. Оно на всю жизнь стало символом того Нового года.

Лет пятнадцать спустя Валя Комарова, вспоминая тот вечер, волнуясь, спросила меня: «А помнишь, мы тогда пили красное шампанское? Мне никто не верит, что бывает такое, да еще в пол-литровых бутылках. Хитрован Вуккерт тут же назвал его шампанским на двоих».

Как такое забыть! Такое не забывается никогда, потому что случается только раз в жизни, хотя мы в то время думали иначе.

Из города мы приехали поездом и с вокзала сразу двинулись в школу на новогодний бал, нас там уже поджидали. Пластинки Роберта оказались новогодним подарком и для мартукских старшеклассников, они вызвали фурор. Впервые в актовом зале школы звучали знаменитые биг-бенды, впервые — Элвис Пресли, Элла Фицджеральд, Джонни Холидей. Пока мы танцевали, развлекали гостей, знакомили их с местными девушками и своими друзьями, в доме Лымаря его мама вместе с мамой Славика и некоторыми девушками накрывали столы. Минут за сорок до Нового года шумной компанией мы явились на окраину Мартука, где нас уже нетерпеливо поджидали. Вечер сразу набрал темп, в молодости быстро сходятся. Городские парни, оказавшись в центре внимания, были в ударе — шутили, пели, танцевали, Рафик играл на гитаре. В ту пору никто не жаловался



на аппетит, но на столе всего хватало с избытком: жареный гусь и курица, свиные ребрышки — Вуккеры накануне забили огромного хряка, любимый всеми нами холодец, зельц из того же кабана, домашние колбасы, жареная рыба, доставленная Петей Качановым с водокачки у Кумся. Так что новогодний вечер начался, как и задумали — весело, с шутливыми тостами, розыгрышами, с танцами. Всем хотелось танцевать, ведь была такая музыка! Танец в ту пору означал уединение, а не массовку, и уже определились пары, тянувшиеся друг к другу. Странно, на этом вечере присутствовала только одна сложившаяся пара. А остальным представлялся шанс, да еще какой — Вуккерт удалось пригласить самых известных мартукских красавиц.

Зеленоглазая смуглянка Тома Солохо захватила на вечер цыганскую шаль и колоду карт. Гадание ее тоже запомнилось на всю жизнь, и не мне одному. К ней даже выстроилась очередь, всем хотелось узнать свою судьбу, мы стояли на пороге взрослой жизни и вот-вот должны были разлететься из родных мест. Но странно, почти всем выпадала похожая судьба: дальние дороги, казенные дома, неразделенная любовь и ранняя печаль. Вуккерт, заметив, как погрустнели девушки и его друзья, шутя, отобрал карты у Тамары и сказал, переводя все в розыгрыш: «Вы, мадам, не умеете гадать, лучше спойте нам», — и протянул ей гитару, мы все знали, что она замечательно поет. Но прекрасная цыганка не поддержала игры и грустно, со слезами на глазах сказала: «Я не виновата, что вам выпадают такие карты, я не вольна над вашими судьбами, карты редко врут».

Прошли годы, и всем стало ясно, что красавица Солохо, которую я больше никогда не видел, умела гадать. Все так и вышло: дальние дороги, чужие города, казенные дома, несбывшиеся мечты, разбитая любовь и печаль, разлитая по всей жизни — и ранняя, и поздняя. Но это ясно теперь, когда жизнь на излете, а многих уже давно нет...

Случились на вечере и неожиданные курьезы. Слава Афанасьев серьезно нарушил «контракт» и был отлучен от радиолы, к его неопишуемой радости. Славик быстро захмелел и стал через раз ставить «Караван» Эллингтона, уж очень понравилась ему мелодия, которую он слышал впервые. В общем, покайфовал от души. Славик Афанасьев, ставший известным зубным техником, всю жизнь прожил на широкую ногу, никогда не имел проблем с деньгами, но они не принесли ему счастья.

Неожиданно в разгар застолья у девушек возник жгучий интерес к персоне Бориса Палия. Поистине, женщина — вечная тайна,

непредсказуемая, не знаешь — как, чем вызвать ее интерес. Боре в тот вечер это удалось с лихвой. На столах, по нашим меркам, имелось все, чего только душа пожелает. Мама Славика, конечно, расстаралась, но и наши девушки вместе с хозяйкой дома тоже много чего напекли, нажарили, натушили. Отсутствием аппетита не страдал никто, кроме обиженного Славика. Несмотря на горящие глаза и накалявшиеся страсти, все вокруг уплетали за обе щеки, но девушкам, даже на этом активном фоне, бросился в глаза аппетит нашего друга Бори. Девушки затеяли азартную игру, соперничество — они любезно, с улыбкой стали наперебой обращаться к нему: «Боря, Боренька, пожалуйста, съешь это, попробуй то, это я пекла», — и протягивали то аппетитное ребрышко, то куриную ножку, то грудку гуся или утки. Кто-то подкладывал ему, глядя ласково в глаза, блинчики, фаршированные мясом, кто-то подсовывал домашние соленья для аппетита, иная спешила подлить рюмочку, не дожидаясь очередного тоста. Короче, сияющий Боря затмил всех, оказался в центре внимания.

Вуккерт, знавший аппетиты Палия, даже ехидно заметил: «Не думал, что порок так легко возводится в добродетель», — но его никто не слышал.

Спас ситуацию Рашат Гайфулин. Он вынес на большом блюде из вокзального ресторана, откуда была и большая часть посуды, плов, посыпанный рубиновыми зернышками граната. Рашат чуть ли не силой вернул девушек на свои места, приговаривая при этом: «Плов ждатель не любит, плов едят горячим, баранина быстро остывает». Чего-чего, а плова, да такого аппетитного, никто не ожидал, для каждого Рашат припас по замечательной косточке. В комнате запахло восточными приправами, в рисе мелькали какие-то черные зернышки, и Рашат небрежно давал пояснения — это барбарис, это зра, это дашнабадские гранаты, и мы вмиг перенеслись на Восток. Я тут же включил на всю мощность соответствующее моменту популярное в ту пору «Арабское танго» знаменитого Батыра Закирова. Забегая вперед, скажу: я не предполагал в ту минуту, что лет через семь-восемь мне доведется общаться с Батыром Закировым накоротке, а позже наши сыновья будут учиться в одном классе.

Так закончилась получасовая слава Палия, и виной тому — плов. Это был звездный час Бориса, его окружал такой гарем! Всю жизнь, попадая на богатые застолья, я мысленно говорил себе: вот сюда бы Борю! Особенно часто я стал повторять эту фразу, когда открылись границы, и на морских курортах Испании, Италии, Греции, в Китае



и на Лазурном берегу, где я отдыхал с супругой, нам предлагались щедрые, порою фантастические шведские столы. Шутливая фраза стала семейной, и моя Ирина, никогда не видевшая Паляя, иногда в восторге от роскоши столов, опережала меня: вот сюда бы Борю! Бори нет уже почти десять лет, и эта фраза оборвалась с его смертью.

Но вернемся к Боре Паляю. Он — мой одноклассник, как и многие в этом повествовании. Боря отличался упорством, а если точнее, какой-то неистовой упертостью. Жили мы на одном краю села, усадьба их семьи выходила огородами в степь, прямо на мусульманское кладбище. У них был большой дом, огромный двор, переходивший в необъятные огороды, и даже сад. Двор был полон птицы: кур, индюков, гусей. Держали они и свиней, в загоне всегда хрюкали три-четыре кабана, а рядом с сеновалом вместе с баранами стояли две коровы. Наверное, для того, чтобы содержать столько скота и птицы, его отец всю жизнь и работал грузчиком на элеваторе. Сколько помню, у них всегда во дворе на цепи бегали огромные волкодавы, даже в калитку не войдешь, оттого никто из нас никогда не бывал у Бори дома, а что видели — только через забор. Прямолинейный Вуккерт не раз по-большевистски говорил о Паляях: последние в СССР куркули, пора раскулачивать! Такие шутки бывали у нашего лидера, понимай как хочешь.

Боря останется в памяти мартучан как выдающийся спортсмен, страстный поклонник и пропагандист спорта. Лет до сорока пяти он играл в футбол на соревнованиях и страшно обижался, если его пытались заменить. В лыжных гонках он участвовал вместе с молодыми до пятидесяти лет. Всерьез, профессионально, бегал, прыгал, стрелял, играл в волейбол, баскетбол, гонял на велосипеде. Он и в пятьдесят был силен, как в юности, а телом крепок, как боксер. Кого он только не втянул в спорт, говорят, у него и теща делала зарядку! Боря вел здоровый образ жизни, пил редко, хотя аппетит не утратил, помню его по своему юбилею, который я отмечал и с земляками. Любимой темой у него стал разговор о долголетию, о здоровье. Боря вполне мог читать лекции на эту тему и в качестве примера демонстрировать самого себя. Он мог бы на глазах большой аудитории по сотне раз отжаться или подтянуться на турнике или кольцах, сделать сотни приседаний и даже продемонстрировать шпагат. Он не сомневался, что проживет до ста лет.

У меня есть знакомые олигархи, не говоря уже о простых мультимиллионерах, но поверьте, даже среди этих баловней судьбы

я не встречал ни одного, столь озабоченного здоровьем, долголетием, как Палий. Боря с его упрямством одолел заочно единственный в стране Институт профсоюзов в Ленинграде. Получил редчайшую профессию, редчайший диплом. Я убежден, что девяносто девять процентов руководства профсоюзов республики, области не имели столь вожеленного диплома. Профсоюзам принадлежало все: квартиры, путевки, лечение, заграничные поездки — Боря правильно выбрал институт. Но, имея такой диплом, исхитрился всю жизнь проработать завскладом на элеваторе, а пост этот он занял задолго до поступления в институт. Вот где тайна — почему?

Перед отъездом Вуккерта в Германию я срочно приехал в Мартук попрощаться со своим другом детства. Мы обходили с ним памятные нам места и возле парка наткнулись на Борю. Боря тут же принялся показывать бицепсы, торс, спрашивать меня — перестал ли я пользоваться лифтом по прошлому его совету? Стал настоятельно советовать мне качать пресс, что было абсолютно верно. Вуккерт, понимая, что Боря забирает драгоценное время прощания, утром он уже уезжал, с грустной улыбкой мудреца перебил: «Боря, дорогой, отстань от гостя, я знаю точно, он не пресс качает, а мозги. Пойми, Боря, человек с головы кормится». Утром, когда мы прощались у калитки, словно продолжая вчерашний разговор, он одарил меня еще одной сентенцией: «Береги, дорогой друг, голову, с головы кормишься».

Замечательная мысль, я ее часто повторяю другим. И все-таки мы Борю любили, он был верный товарищ, не интриган, на него можно было положиться в любой потасовке — не дрогнет, не победит. А главное, он всегда хотел перемен, другой жизни и, как мог, стремился к этому. Он тоже уезжал из Мартука, работал до армии с Витей Будко в Рудном, не прижился там, как и Витя, вернулся домой, обзавелся семьей, как говорили у нас — бросил якорь. Женился на Лиде Епифановой, она работала в парикмахерской.

Вспоминая Роберта, мы говорили о стилягах. Если в городе еще можно было спорить, кто был первым стилягой, а кто вторым, то в Мартуке эта тема закрыта. Первыми были мы с Витей Будко, а третьим приобщился к нам Боря. Сколько нападок, насмешек, издевательств, официальной неприязни от властей пришлось нам выдерживать — не высказать! Казалось, вся работа местного комсомола была сконцентрирована на нас. Боря был невысок, коренаст, плечист и имел ноги кавалериста. Другой вряд ли бы отважился надеть узкие брюки или длинные остроносые туфли, снова вернувшиеся в моду через



пятьдесят лет, ноги у него действительно были колесом. Но Борю это не смущало, он был стоек, ему нравилась новая мода. У него была роскошная зеленая велюровая шляпа, и очень ему шел светлый китайский плащ с погонами, который он носил с ярким красным шарфом. А еще Боря заразительно смеялся, его смех слышался за два квартала.

У Бори был старший брат Леня, он заслуживает особого внимания. Не зная об их родстве, вы вряд ли подумали бы, что они братья. Леня был высок, строен, широкоплеч, с тонкими чертами киногероя, красавец, брутален, как говорят нынче, настоящий мачо. Сегодня Леня не сходил бы с обложек самых знаменитых глянцевого журналов и стал лицом какой-нибудь парфюмерной фирмы, например «Живанши», «Ив Сен Лоран» или любимого мною «Герлена».

Судя по фамилии, Палий принадлежали к казакам, которых советская власть уничтожила как сословие, и они, конечно, не упоминали нигде о своих казачьих корнях. Появились они в наших краях в столыпинскую реформу. Ясно помню деда Пантелеймона Палия, которому было далеко за восемьдесят, вот он и был родоначальником рода Палий на казахской земле. Отец Бори, 1911 года рождения, участник войны, родился уже в Мартуке.

К чему я затеял экскурс в историю, в казачье прошлое семьи Палий? Объясню — это, на мой взгляд, самая неожиданная страница в моем повествовании. Дед Палий, познавший в молодости казачью жизнь, передал в генах только одному внуку, Лене, что-то неистребимо казачье. Судите сами.

Представьте себе 1958 год, уже прошло четыре года освоения целины, трижды был невиданный урожай. Появились работа, достаток, кругом строились, даже стилисты собственные в Мартуке появились. Удивительное, переломное время. Я вижу как на экране нашу танцплощадку в парке. Ни в одном фильме, ни одному режиссеру не удалось передать тот невообразимый колорит времени, смешение всего и вся. В ту пору еще никуда не делись блатные со своей униформой — с невероятной шириной брюками клеш, распахнутыми на груди рубашками апаш, непременно тельняшками под ними. Встречались юноши, молодые мужчины в жарких двубортных костюмах из бостона, удлиненных, по-ганстерски приталенных. Щеголяла молодежь и в скрипучих хромочах, за голенищами которых порою таилась финка, по-местному — пика. Много было ребят в вельветовых куртках на молнии, парней в широченных сатиновых шароварах на казачий манер. И все до одного — непременно в головных уборах:

кепках, фуражках, шляпах, кубанках, тюбетейках, картузах, особым шиком почитались форменные фуражки военных, особенно морские и летные. Это я только о мужских гардеробах, а каким разнообразием фасонов, стилей отличалась девичья, женская половина танцплощадки — не перечить. Женские фантазии во все времена безмерны, особенно при бедности. Не зря говорят в народе: голь на выдумку хитра. Очень колоритно выглядела женская обувь: и шпильки, и танкетки, и босоножки, и лаковые довоенные лодочки, доставшиеся от бабушек, и кожаные чупаки с небольшим каблукочком — теперь их называют балетками, тогда их шили местные сапожники. Преобладали ситцевые юбки невероятных расцветок: юбки-клеш, юбки-солнце, цыганского кроя, венгерского — ситец в те годы стоил копейки, а портних, белошвеек в Мартуке всегда хватало.

Леня приходил к концу танцев и всегда крепко подшафе, исключений не помню. Ни буфет на вокзале, ни чайную у мельницы, ни ресторан напротив Парамоновых, ни «Тихую гавань» у почты Леня не любил и не посещал — как все Палии, он был скуповат. Дома ему вряд ли позволяли так напиться, выходило одно — он уже успел проведать какую-то вдову, гнавшую самогон.

Наверное, вы чувствуете, как я откладываю и откладываю встречу с Ленией на танцах. Потерпите, она того стоит. Появлялся Леня на танцплощадке всегда неожиданно, когда легендарная билетерша Сания-апа Музафарова, помнившая безошибочно, кто пришел на танцы по билету, а кто попал сюда, одолев высокий забор, и никогда не церемонившаяся даже с самыми крутыми блатными, покидала свой пост. Не думаю, что Леня специально поджидал ее ухода на темных аллеях парка, но получалось так всегда. Он появлялся в сиявших лаком скрипучих хромовых сапогах, сшитых непревзойденным мартукским сапожником Петерсом, в которые были заправлены синего цвета галифе из тонкого довоенного сукна, скроенные самим знаменитым Порублевым. Галифе тоже не простые, а самые щегольские, с максимальной шириной в ляжках, да еще обшитые на задку тончайшей кожей, которую Лене раздобыл Гимай-абы, работавший на кожзаводе. На галифе, опережая нынешнюю моду лет на пятьдесят, Леня надевал навывпуск алую шелковую косоворотку с перламутровыми пуговицами, подпоясанную узким кавказским ремешком с накладками из серебряных пластин по всей длине. Ремешок, бросавшийся в глаза красотой и изяществом, Леня получил в подарок от чеченцев, строившихся рядом, он всю неделю после работы подвозил им глину



для самана. Поверх косоворотки, несмотря на жару, он надевал при-таленный шерстяной пиджак в полоску вполне модного кроя. В довершение всего на голове была лихо заломлена настоящая казачья фуражка с красным околышем, а из-под лакового козырька выбивался чуб. Ну, ни дать ни взять — вылитый Григорий Мелехов, хотя «Тихий Дон» тогда был только в романном варианте.

Пошатываясь, Леня продирался сквозь танцующих к дальней ограде, где скромно подпирали забор девушки-перестарки, хотя вряд ли какой из них было за двадцать пять. Нам, молодым волчатам, они казались старухами, молодость вообще жестока ко всему. На бледном лице лихого казака горели огнем, страстью очень выразительные глаза. Но мы-то хорошо знали, что этот взгляд выражал только одно — презрение к мужскому полу. Его взгляд говорил: ничтожества, сброд, хамло, рвань, босяки — смотрите, учитесь, как надо одеваться, какую одежду должен носить настоящий мужчина. Иногда он натыкался на нашу компанию, останавливался на миг, оглядывая нас всех поочередно, включая Борю, что-то беззвучно бормотал — Марсель Марсо, которому еще только предстояло стать знаменитым мимом. Но мы понимали Леню без слов — чучела огородные, обезьяны, шуты гороховые, пороть вас надо, правильно делают, что стригут ваши набриолиненные коки и режут ваши дурацкие штаны. В эти минуты мы ясно представляли, какие жаркие бои происходят в доме у кладбища, и гордились Борей, отстаивавшим и свои, и наши права на моду.

Леня остро чувствовал, что остается один или два танца, и быстро оглядывал ястребиным взором из-под лакового козырька казачьей фуражки затихших девчонок у забора, делавших вид, что не замечают казака-охотника. Каким бы он пьяным ни был, Леня всегда выбирал лучшую на тот вечер. Мы, конечно, с любопытством наблюдали за ним, всегда готовые прийти ему на помощь. Но Леня ни к кому не задирался, да и в Мартуке считалось дурным тоном обижать пьяных. На любой танец, какой бы ни звучал в конце: танго, вальс, линда, Леня шел приглашать. Вот тут режиссеру надо включать камеру. Леня молча подходил к выбранной жертве, делал, покачиваясь, какой-то немислимый реверанс, очень похожий на те, что делали мушкетеры, размахивая шляпами в глубоком поклоне у ног возлюбленных, а затем протягивал руку, не сближаясь. Наверное, Леня в эти минуты был убежден, что он дает нам, мартукским варварам, еще и уроки хорошего тона. Странно, что никогда ни одна девушка не отказывала ему.

Леня далеко и высоко откидывал левую руку, как в аргентинском танго, и с зажатой в своей руке ладонью партнерши начинал танец-марш.

Сейчас есть знаменитый клип с десятью танцами из известных фильмов, есть там и знакомый всем танец Траволты с Умой Турман из «Криминального чтива», думаю, попади танец Паляя с любой из партнерш в этот цикл, они смотрелись бы не хуже, чем кинозвезды, уверяю вас. Медленно-медленно, несмотря на любой ритм, он вкрадчиво семенил с партнершей наискосок через всю танцплощадку, и все пары невольно расступались перед ним. Если они кого-то задевали, Леня неожиданно вежливо говорил: «Пардон», — на моей памяти ни от кого на танцах я не слышал извинений, — и продолжал дрейфовать, пока не натыкался на забор. Затем разворачивался и отправлялся в обратную дорогу тем же путем, тем же макаром. Завораживающее зрелище! Порою Леня сильно кренился, как подбитый дредноут, казалось, вот-вот рухнет, но такого никогда не случалось. Если оставались два танца, он и второй танцевал с той же девушкой, ничего не говорил, не шутил, не шептал на ушко, не соблазнял. Но всегда уходил с танцев со своей партнершей под ручку. Волшебник — сказал однажды завороженно наблюдавший за ними Вуккерт. Боря в эти минуты никогда не танцевал, стоял бледный, сжав кулаки, только тихо шептал: «Позор... Какой позор... Убью!» Чем не казачьи страсти, гены есть гены.

Заканчивая страницы о братьях Паляях, обязан вернуться к Боре. Я намеренно ввел вас в заблуждение, сказав, что Боря оставил после себя тайну — почему он, имея высшее образование, всю жизнь проработал на элеваторе в скромной должности. Нет никакой тайны, я знаю — почему. Эту тайну я сберег для высокой, достойной концовки рассказа о своем друге, легендарном Боре Палие.

По степени прямоты суждений, критическому отношению к власти, системе Боря вряд ли сильно отличался от Вуккерта, которого я здесь много раз упоминал. Боря не родился в шелковой сорочке с золотой соской во рту, ничего ему не досталось в жизни на блюдечке с голубой каемочкой. За все, что он достиг, Боря заплатил трудом, упорством, всего он добился сам. Не было у него ни толкачей, ни покровителей, да и подличать, подхалимничать, угождать он не умел.

Конечно, еще студентом Боря приглядывался к профсоюзам, к тем, с кем ему предстояло работать. Он никогда не обобщал, не делал политических выводов, скорее из-за врожденной осторожности, чем от трусости. Но еще тогда я понял с его слов, что профсоюзы прогнили



гораздо раньше и глубже, чем партия. Это сегодня стало понятно всем, что власть обслуживает только саму себя, блюдет только свои интересы. Но Боря понял это сам, и раньше других. Кумовство, блат, казнокрадство, корысть, личная выгода, протекция своему — только этим была занята верхушка профсоюзов на любом уровне. Там и намек на защиту интересов рабочего класса, трудового люда, интеллигенции не просматривалось, Боря изучил их вблизи, как под микроскопом. Особенно он огорчился, увидев жизнь коллег изнутри. На заочном отделении учились, в основном, функционеры, уже стоявшие во главе профсоюзов на разных уровнях, диплом им нужен был, чтобы не потерять сытную кормушку. Как они шикавали во время сессии в Ленинграде, рассказывал Боря, в каких роскошных гостиницах жили, какие траты себе позволяли, какие гулянки закатывали!

Я часто вспоминаю Василия Шандыбина, депутата российской Думы, простого слесаря, яркого трибуна. Шандыбин говорил что думал, предлагал то, что нужно государству, народу. Власти такой депутат оказался не нужен, и они быстро лишили его мандата. Российская Дума, как говорят в народе, факт вообще уникальный, половина депутатов — миллионеры и миллиардеры, и рвутся они туда по одной причине: спрятаться от закона, чтобы сохранить и приумножить свой ворованный капитал или продвигать нужные им законы. Вот таким шандыбиным мне и видится Боря в профсоюзах, если бы ему там нашлось место. Но место ему не светило ни при каких обстоятельствах, он трезво оценивал ситуацию. Помню, он сказал мне однажды — не хочу лезть в грязь, мараться. Может быть, не по-бойцовски, зато открыто и честно.

Несколько личных рассуждений о профсоюзах. Уже скоро двадцать лет как на постсоветском пространстве появились новые государства, и ни в одном из них нет настоящих профсоюзов. Если бы тот институт, что окончил Боря, действительно был Институтом Профсоюзов и готовил кадры, занятые главным — отношениями труда и капитала, для чего и существуют профсоюзы, то его выпускники сегодня были бы на вес золота. Архиважная профессия для каждого государства. Теперь запоздало становится ясно, что и профсоюзы, и их институты оказались фальшью, фикцией. Все надо строить сначала.

*Москва,
2008*

Ананасы В шампанском

Автобиографический рассказ

Вспоминая о Мартуке, нельзя не упомянуть о его женщинах, девушках — ведь все в мире держится на любви, без любви все рассыпается. Поэтому я и напомним о девушках, женщинах, мартукских красавицах 50-х, 60-х, 70-х годов, тех, кого я хорошо знал, тех, кто врезался мне в память на всю жизнь. Хотя лично ко мне, как вы поймете, они не имели никакого отношения.

Лет пятнадцать назад эталоном женской красоты называли фотомодель немку Клаудиу Шиффер. О ней я тут же сказал: «У нас в Мартуке таких блондинок, похожих на Шиффер, бега-ло трое или четверо». Старожилы Мартука помнят, что в 50-х в парикмахерской работали сестры Тиссен, как две капли похожие на Шиффер. Они уехали в ФРГ давно, в начале 60-х, у них в Германии отыскался влиятельный родственник, не то политик, не то банкир. На одной из этих сестер перед самым отъездом женился Вальдемар Вуккерт, старший брат моего дружка Сани Вуккерта, которого в Мартуке знали по кличке Шпак. Помню, мы подначивали Вальдемара — женись, жаль, если такая красавица достанется какому-то буржую. Остальных «Шиффер» по фамилии не помню, но они возникают у меня перед глазами всякий раз, когда вижу знаменитую модель. Все эти девочки учились с нами в школе, жили неподалеку.



Когда я, заядлый киноман, смотрю старые фильмы с участием Греты Гарбо, Глории Свенсон, Ингрид Бергман, Лорен Бэкол, я сразу вспоминаю Ирочку Варкентин, что жила на Ленинской, неподалеку от почты. Удивительно благородной красотой, стройной фигурой, культурой поведения, врожденной элегантностью отличалась эта девочка из простой немецкой семьи. Отец у нее работал механиком в колхозе, она училась двумя классами старше меня. Я не был в нее влюблен, как и во многих других, о ком пойдет речь ниже, просто мне нравились красивые девушки, женщины. Мне доставляло удовольствие следить за жизнью людей, которые мне нравились, словно я чувствовал, что когда-нибудь чужие судьбы станут материалом для моих книг. Я не делал это специально, просто у меня такая память — запоминать сердцем, а если точнее, мое равнодушие к людям. Ирина чуть ли не с седьмого класса стала встречаться с мальчиком с нашей улицы Сашей Петривним, своим одноклассником. Они поступили вместе в институт, кажется, в Саратове, окончили его, поженились. Казалось, в их жизни все было ясно и четко до гробовой доски. Но... лет через пятнадцать я случайно узнал, что они развелись. Грустно, печально до слез. Родители Ирины уехали в Германию, Петривние тоже покинули Мартук, и след прекрасной Ирочки Варкентин затерялся для меня навсегда.

Рассказывая о любовных историях мартучан, мне хочется напомнить о состоявшихся и не состоявшихся парах, о том, кто в кого был влюблен в мое время. Меня те давние истории, случившиеся более пятидесяти лет назад, волнуют до сих пор, потому что это моя жизнь и жизнь дорогих моему сердцу людей.

На том месте, где сейчас стоит дом моего брата Равиля, некогда высился особняк наших соседей Панченко. Жили там одни женщины, мать и три дочери, отец их погиб на фронте. Младшая из сестер, Валентина, старше меня на два-три года, тоже выросла писаной красавицей. Из-за Валентины у нашего дома столько видных парней перебивало — не счесть. Приезжали на велосипедах ее одноклассники: Толя Пономаренко, Толик Крапивко, тот, что позже станет директором РТС, Алик Ефремов. Эта компания часто приходила с гитарой, а Толик Пономаренко прихватывал иногда аккордеон. И мы, соседи, радовались бесплатному концерту, играл Толик замечательно и пел от души. Добивались ее благосклонности и крутые парни: Юра Курдулян, живший на другом

краю села, и Альберт Штайгер, которого чаще называли Алик, но у него была и кличка — Штель, легендарная личность в Мартуке. Красавец, отчаянной храбрости парень, талантливый футболист. Только он, Алик Штайгер, со своим братом Андреасом и Андреем Вуккертом, был ровней дерзким чеченцам. Мы, мальцы, очень гордились, что самые крутые чеченцы, Аламат, Султан, Ибрагим и наши, Алик Штайгер со своими друзьями, жили в нашем мусульманском квартале. Я не раз и не два носил Валентине записки от ребят и гордился тем, что оказался доверенным лицом у крутых парней. Но никому из мартучан сердце моей красавицы-соседки не досталось — она вышла за военного и живет ныне в Белоруссии.

Вспоминается связанный с Валею Панченко еще один случай. Редко какая девушка и в позапрошлом-то веке могла похвалиться, что из-за нее дрались на дуэли, но, Валя, наверное, запомнила с десятков серьезных драк, а дрались из-за нее парни один круче другого, слабакам оставалось любить мою соседку издали. Если дуэли и встречались в судьбах красавиц, то настоящие побоища, наверное, происходили у одной на миллион, а у Вали и такой прецедент имеется. Она уже училась в девятом классе, когда на нашу станцию в конце ноября прибыли на практику ребята из железнодорожного училища, одновременно целый курс женихов. Не знаю, где мог увидеть мою соседку вожак прибывших парней, но он влюбился в нее сразу. И я его понимаю — Валию надо было видеть. А за Валею в ту зиму приударял наш Алик Штайгер, знаменитый сорвиголова Штель, чьи записки я носил Вале с удовольствием. Убежден, курсанта предупреждали, грозили, может, и стычка какая уже была, но парень оказался под стать самому Штайгеру. Наверное, курсант не отступился из-за того, что чувствовал расположение Вали. Я видел пару раз, как среди дня он провожал ее из школы, помню, я прошипел ей вслед громко — у, предательница! И в такой форме выражался местный патриотизм.

В один из субботних вечеров произошло настоящее побоище, Куликовской битвой потом называли ее пацаны. Произошла битва там, где сейчас находится стадион, а по воскресеньям там всегда много лет был базар. Практиканты были чуть взрослее, битые, сплоченные, но наших оказалось больше, хотя многие из них в самом начале позорно бежали. И Штайгеру с дружкой пришлось биться с городскими в меньшинстве, и биться всерьез. Говорили,



что Штель мог тогда вызвать на подмогу чеченцев, но ему гордыня не позволила, да и повод был частный, из-за девушки, чеченцы могли и не понять.

Досталось крепко и тем и другим. О побоище мы узнали утром в школе и в первую же перемену побежали в больницу. Все кабинеты, коридоры, холлы больницы оказались заполнены ранеными. Их тут дружно зашивали, бинтовали, штопали, накладывали шины, делали уколы. Бойцовский пыл пропал с обеих сторон, травмы, переломы выглядели серьезными, к тому же здесь, в клинике, уже крутились два следователя из города. В одном углу я увидел соседа Толю Крицкого с перебинтованной головой и огромным фингалом под глазом, он кому-то громко говорил: «И на черта мне сдалась эта красавица Панчуха!»

Кончилось все скорым судом. Я помню тот суд, помню переполненный зал, помню судью Акимова, высокого, вальяжного, седовласого, внешне он походил на английского судью из фильмов. Больше всех запомнился мне вожак курсантов, на фоне своих и чужих он держался достойнее всех. Вины своей он не отрицал, ни на кого не валил, снисхождения у суда не просил. С его лица не сходила голливудская улыбка, и он часто поправлял свой безукоризненный пробор, казалось, прическа волновала его больше всего. Я видел его ищущий взгляд, пронзавший зал насквозь — он искал глазами Валентину. Он не знал, что ее в эти дни не выпускали из дома, даже в школу запретили ходить. Я впервые видел вожака курсантов без громоздкого бушлата и шапки, он был высок, плечист, и на его лице не читалось ни страха, ни тревоги, такими в наши дни были герои кино. И только тут, на суде, я признал, что он — достойная пара моей прекрасной соседке. Уж прости меня, дорогой Штель. Парню дали десять лет. Уверен, что Валю он больше никогда не видел, и она вряд ли ему писала.

Теперь-то я понимаю, отчего появилось выражение — трагическая любовь. Трагичнее не придумаешь.

Я никогда после школы Валентину не видел, но часто вспоминаю ее, в романе «Ранняя печаль» есть посвященные ей страницы. Уверен — она и не догадывается, что ее помнит соседский мальчишка, что есть книги, где о ней вспоминают с теплом и грустью.

Интересными личностями были и ее старшие сестры, Нина и Катя, первые модницы Мартука послевоенного времени. Они старше меня на десять-двенадцать лет, и детали их жизни,

их поклонники мне четко не запомнились. Хотя я хорошо помню, как отравилась Нина в 1950 году, помню ее похороны, помню бабюшку, отпевавшего ее на дому. Отравилась она из-за какой-то любовной истории, в ту пору все отношения воспринимались на большом серьезе. Лет в восемнадцать, когда я стану заглядывать в журналы мод, сразу вспомню, что так одевались старшие сестры Вали. Шляпки с вуалетками я видел не только в кино, но и на своих соседках. Носили они узкие юбки и туфли на шпильках. Когда они вечером проходили мимо нашей калитки в кино или на танцы, за ними оставался тонкий шлейф волнующих меня духов. Мы, ребятня, всегда с восторгом смотрели им вслед. Это от тети Кати я впервые услышал слово «ридикюль». Она всю жизнь проработала бухгалтером в местной артели, недавно отметила восьмидесятилетие, жива и здорова, живет у внука в Актюбинске. В повести «Знакомство по брачному объявлению» есть забавные сцены, связанные с ней, там не придумана ни одна строка.

Наверное, следует сказать о первой любви моих друзей детства. Толик Чипигин любил Веру Пайзюк, Володя Колосов — Валю Плис, Саня Вуккерт — Валю Губареву, Вася Тутов — Галю Пономаренко, Саня Бектимиров — Розу Сулейменову, Лермонт Берденов, чей отец — Убын-агай, танкист-орденоносец, участвовавший в знаменитом танковом сражении в Прохоровке и вернувшийся живым, любил Иру Заваритько. Мелис Валиев — Лизу Емельянову, Толик Твердохлеб — Лизу Лащенко, Савик Парамонов — Свету Клейменову. Пожалуй, о последней паре следует рассказать подробнее. Славик — из семьи старожилов поселка, он — младший брат легендарного футболиста красавца Валеры Парамонова. В лето 1961 года Валерий Парамонов, Рашат Гайфулин, Витя Будко, Борис Палий и я встречались каждый день. Роман Славика со Светой Клейменовой начался в школе. Оба они уехали в Москву, поступили, она — во ВГИК учиться на актрису, а он — на инженерный факультет. Были они красивой, голливудской парой, в их счастье верили многие. Но Москва развела их жизненные пути. Жаль. Позже Светлана с мужем приезжала в Мартук, но ее избранник не приглянулся моим землякам, и мне тоже. Все говорили дружно — нашла на кого Славика променять. Актерская судьба у Светы не сложилась. Снялась она лишь в одном фильме, в эпизодической роли. Этот фильм в Мартуке показывали три дня подряд, чего не случалось ни с одной картиной, и все три дня зал



был полон. Я тоже этот фильм смотрел дважды — все-таки своя, мартукская, первая киноактриса в истории села! К сожалению, она до сих пор остается нашей единственной актрисой. Для Славика разрыв со Светой оказался большой трагедией, он забросил институт, но в Мартук от гордыни не вернулся. Мать Славика, Мария Ивановна, работала в книжном магазине и всегда сберегала к моему приезду редкие книги, они целы по сей день. Жаль, Парамоновых тоже не осталось в Мартуке. Была в знаменитой семье и Люда Парамонова, она училась в одном классе с моим младшим братом Рафаэлем. Она окончила институт в Алма-Ата, там же вышла замуж за прекрасного парня Алика Козинского. В семидесятые они вернулись в Мартук, и Алик на танцах пел запавшую мне в сердце бесхитростную песенку «Платье в синенький горошек». Исполнял Алик всегда только одну эту песенку, видимо, в его жизни она что-то значила. Странно, но обаятельный Алик Козинский, с которым я был мало знаком, снится мне много лет подряд, и во сне он исполняет ту свою единственную песню. Только недавно я понял, что Алик своей грустной мелодией символизирует для меня давнюю благополучную, счастливую жизнь, он, как маяк из прошлого, шлет сигналы из золотого времени моего Мартука.

Раз уж коснулся старожилов, хочется отметить фамилии Ермоланских, Козыревских, Глуховых, Бектимировых, Жангалиевых, Тимировых, Ахметовых, Дарбаевых, Низамутдиновых, Баязитовых, Акимовых, Антиповых, Турбаевых. Турбаевых тоже не осталось в Мартуке, только прекрасный некрополь на Танабергене, построенный в память о родителях сыном Нурланом Зарлыковичем, моим другом, напоминает об этой семье.

Ловлю себя всегда на том, что мартукские фамилии, любые — казахские, украинские, русские, татарские, еврейские, молдавские, чеченские — звучат для меня как музыка. Когда я слышу или читаю знакомые с детства имена, я невольно мысленно говорю себе: о, такая фамилия была у нас в Мартуке, может, кто-то из родственников? Но земляки встречаются и объявляются редко, мир велик, а наш Мартук — крошечный и ужимается, словно шагреневая кожа, год от года. Вот вспомнил, что за нашей соседкой Лидой Губаревой ухаживал некий Женя Ковун, злой парень, но какая дивная фамилия! Разве забудешь! Встречались в Мартуке и фамилии редкие — Дуля, например. Рябоконь — очень мне нравилась, он был директором маслозавода, запомнилась и Булох, большая бедная семья

скромного чиновника из собеса. К этой фамилии так и просится — фон Булох. Были у Мартука и свои Пушкин, Скрипка, Небаба, Скворода и даже Паульс с Герингом. Если говорить об исторических личностях, то надо сказать, что Джохар Дудаев, первый президент Ичкерии, окончил в нашем Яйсане училище механизации. Теперь я понимаю, фамилии Хорунжий, Хижняк, Закаморный, Цихмистро, Калюжный, как и Палий,— исконно казачьи. Даже одни фамилии — это история Мартука. Упомянув про первую любовь своих школьных друзей, упустил своего друга, одноклассника, ныне директора школы Р. Халикова, в детстве он был влюблен в Розу Хамидулину. Надо отметить, что его жена, с которой он давно отменил серебряную свадьбу, была не только красавица, но и мастерица на все руки, многие татарские семьи хотели заполучить ее в невестки, и я рад, что полюбила она моего друга и что они счастливы в этом браке. Мне нравится бывать у них дома.

Наверное, у многих созрел вопрос: а в кого же был влюблен сам автор? Об этом подробно сказано в романе «Ранняя печаль».

Заканчивая главу о прекрасной половине Мартука, я подумал, как было бы хорошо проиллюстрировать эти страницы фотографиями Ирины Варкентин, Нали Ермоланской, Вали Антиповой, Гали Пономаренко, Томы Солохо, Аллы Шалаевой, Верочки Пайзюк, Вали Глуховой, Вали Комаровой, Светы Пинчук и многих других. Как хорошо было бы иметь их фотографии в моих альбомах, которые я делаю для мартукского музея. Остается только надеяться, что их портреты все-таки когда-нибудь дойдут до меня и останутся в музейных альбомах для истории. Они заслуживают этого.

Никак не могу закончить главу из-за нахлынувших воспоминаний и образов моих героинь, что стоят у меня перед глазами. Я вижу их юными, молодыми, прекрасными, и у них все еще впереди, даже у тех, кого с нами давно уже нет. Я никогда не боялся старости, меня не смущают ни собственные седины, ни морщины, ни отяжелевшая фигура, ни потерянные навсегда легкость походки и ловкость движений. Меня пугает и волнует старость моих друзей, особенно женщин, которых я знал, кого природа щедро одарила красотой. Хочется крикнуть кому-то наверх, властному над нашими судьбами — пожалуйста, пожалейте их, не уродуйте их старостью и немощью! Но безжалостное время не щадит никого, красавиц в особенности. Я очень люблю поэзию и однажды наткнулся на самую печальную строку, печальней не сыскать:



И девушки, которых мы любили,
Уже старухи.

Жалко до боли, до слез. Храни вас Всевышний!

Летом 1961 года к нам на практику приехали студентки мединститута, и, разумеется, вечером они появились на танцах. В ту пору на практику после института к нам направлялось много молодежи, и, конечно, новые парни, новые девушки вызывали жгучий интерес у местных. Студентки пришли на танцы втроем, и одна из них приглянулась нашему другу Рашату Гайфулину. Несмотря на молодость, Рашат уже работал директором заготовконторы. Я до сих пор помню имя этой девушки — Валя Аникаева. У Рашата завязался бурный роман, и даже после окончания ее практики он часто ездил к ней в Актюбинск.

Много-много лет спустя, незадолго до его смерти, когда алкоголь загнал Рашата на дно жизни, он успел все-таки прочитать в рукописи мой роман «Ранняя печаль». Возвращая роман, признался с горечью: «Жаль, я не женился на Вале, наверное, у меня сложилась бы иная судьба, Лиза сломала мне жизнь».

Лиза, настырная, хваткая татарская девушка из города, штурмом брала нашего друга. Каждую неделю приезжала в Мартук, задаривала его подарками и в конце концов женила его на себе. Лиза оказалась махровой карьеристкой, вступила в партию, прорвалась в партшколу, стала ярой общественницей, где уж тут найти время для дома. Так семья и распалась. Наверное, справедливо будет сказать и о пьянстве. Все трое братьев Гайфулиных: Тимур, Рашат, Мушан — очень рано ушли из жизни из-за водки.

Но вернемся в тот счастливый вечер.

Рашат, очень шустрый парень, попросил меня и Витю Будко все танцы посвятить новеньким, чтобы никто другой не сумел вклиниться. Парней в жениховском возрасте в ту пору было немало, а Валя выглядела очень милой. В жизни, в судьбе случай играет огромную роль, не выгляди ее Рашат в тот вечер, Валя вполне могла стать невестой какого-нибудь мартукского парня. Какими бы мы ни казались себе опытными, уверенными, но городские девочки, без пяти минут врачи, тоже знали себе цену, и особенного контакта у нас не получалось. Под настойчивые взгляды Рашата мы стали брать девушек измором, не отходили

от них ни на шаг. Танцы подходили к концу, ничего не клеилось, хотя нам с Витей было все равно, подружки Вали нас не волновали, мы старались для друга, поняли, что Рашата зацепило крепко. Мы видели, что и проводы домой из парка окажутся неудачными, вряд ли Валя осталась бы наедине с Рашатом. Одно становилось нам ясным, что нужно как-то продлить вечер, может, потом Валентина заметит влюбленность нашего друга. Мы уже израсходовали все наши дежурные шутки, выдали все комплименты, на которые были способны, но веселья, улыбок на лицах девушек не видели. И тут с последним аккордом прощального вальса меня осенило, я поправил свой модный галстук и интригуяще предложил: «А как вы посмотрите на то, что мы вас пригласим на ананасы с шампанским? Время-то детское, да и ваш приезд на практику не мешало бы отметить». И впервые за вечер мы увидели улыбки на лицах студенток, они посмотрели на нас с интересом и любопытством. Такого поворота событий по инициативе провинциальных ухажеров девушки не ожидали. Одна даже, волнуясь, переспросила: на ананасы с шампанским? И процитировала с удовольствием:

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
 Ананасы в шампанском — это пульс вечеров!
 В группе девушек нервных, в остром обществе дамском
 Я трагедию жизни претворю в грезефарс...

Она словно предугадывала трагическую судьбу Рашата.

В ту пору молодежь увлекалась поэзией, и король поэтов Игорь Северянин им, конечно, был знаком. Мои друзья, сразу понявшие мой маневр, подтвердили уверенно:

— Да, да, на «Абрау-Дюрсо» и дивные заморские ананасы.

— Интересно-интересно, где вы тут найдете ананасы, их и в городе-то нет,— зашебетали девушки разом.

И мы поняли — наша взяла! Воспрянувший духом Рашат, готовый расцеловать меня, сияя, обратился ко мне:

— Пожалуйста, распорядись насчет шампанского, а мы с компанией подойдем не спеша к накрытому столу.

Шампанское с ананасами в то лето было нашим коронным трюком, мы его на многих приезжих девушках опробовали, и я понесся прямо по путям, что проходили рядом с парком, на станцию.



Вот тут — самое главное, забытое. На нашей станции много лет, до семидесятых годов, был прекрасный двухзальный рестораник, небольшой, но очень уютный. Он был построен вместе с железной дорогой в начале века. Тогда поезда из-за заправки паровозов водой и чистки топок стояли на станции подолгу, и пассажиры могли пообедать в нашем ресторане. Вот какая забота о пассажирах была в Мартуке еще сто лет назад. Наверное, старожилы помнят роскошный буфет красного дерева во всю стену в первом зале, дубовый прилавок, очень напоминающий барную стойку, и несколько дубовых столов с тяжелыми стульями. Второй, чуть меньший зал, с раздаточным окошком в кухню, был еще уютней, на стенах висели два больших натюрморта маслом в тяжелых палисандровых рамах. Меня до сих пор мучает вопрос: куда делись эти картины? Я бежал на станцию и молил Аллаха, чтобы в этот день не продавали бочковое пиво. В такие дни в ресторане творилось столпотворение, пиво завозили не часто. Пиво лишило бы эффекта нашу затею, не исключено, что, увидев мартукских забулдыг, девушки могли развернуться и уйти.

К счастью, зал был пуст, Ася, толстенькая буфетчица в крахмальном кокошнике, зная нас, оживилась: «А где друзья твои, девушки?» — спросила весело, она была родственницей Вити Будко и обожала курчавого племянника, первого стилиста Мартука. Я быстро объяснил Асе ситуацию, выдал тайну Рашата и предложил себя ей в помощь, время торопило. Дело в том, что вьетнамские ананасы были в больших жестяных банках, и чтобы открыть их, требовались сила и сноровка. Ася быстро заразилась нашей авантюрой, выставила мне две банки ананасов и дала ключ для вскрытия, а сама направилась в подвал, где на льду хранилось шампанское «Абрау-Дюрсо», не пользовавшееся спросом у моих земляков. Пока она протерла бутылки, достала из буфета хрустальные бокалы для шампанского, узкие и высокие, я успел открыть ананасы. Ловкая Ася быстро перелила сок в хрустальный кувшин, а крупные сочные золотые ломти ананаса выложила на большое фарфоровое блюдо. Все это мы вдвоем отнесли во второй зал, куда случайные посетители никогда не заглядывали, и прикрыли застекленную цветным витражом высокую дверь. К приходу компании наш стол выглядел роскошно, Ася даже пожертвовала нам букет цветов, что стоял у нее на буфете. Главное, на столе были шампанское и ананасы. Конечно, заключительная сцена в гоголевском

«Ревизоре» замечательна, но надо было видеть лица наших очаровательных спутниц, когда Витя вальяжным жестом распахнул витражную дверь и объявил с пафосом мажордома: «Прошу, шампанское и ананасы ждут вас!» Мы мгновенно выросли в глазах девушек, а ведь еще полчаса назад были готовы смириться с поражением. С тех пор я понял, женщины — всегда тайна.

Тут напрашивается для рассказа еще один случай, который произошел тоже на танцах в Актюбинске, во Дворце железнодорожников. Пришли мы в тот день вдвоем с Аликом Поповым, легендарным молодым человеком, который недавно, спустя пятьдесят лет, попал в книгу «Стиляги СССР», а в моих произведениях он — частый герой, и особенно ярко представлен в повести «Седовласый с розой в петлице». Алик бывал в Мартуке, играл в футбол с моими друзьями. Сейчас Алик, Олег Федорович — подполковник КГБ в отставке, пенсионер. В тот вечер нам приглянулись две новенькие подружки, но, видимо, не только у нас оказался такой зоркий глаз, приглашали их нарасхват. К концу вечера мы чувствуем, что девушки могут уйти с другими, и тут Алик, к моему изумлению, тихо заявляет: «Зачем вам, хорошим девочкам, эти дылды, братаны-бандюганы Шашурины? Пойдемте с нами», — и таинственным шепотом добавляет: «Вас ждут тихо-покой, синий свет, иконы, подарки...»

Я чуть не упал от неожиданности — куда пойдём, и что означает «тихо-покой», синий свет, да еще иконы, подарки? Но сказано это было завораживающе, заманчиво и таило тайну, и девушки заметно дрогнули. Наверное, их более всего заинтриговало слово «подарки». Короче, мы пошли их провожать. На улице метель, холод, и одна из девушек говорит: «Алик, хочется покоя и синего света, подарков обещанных...». Очаровательный Алик не смутился, засмеялся и, разведя руками, сказал: самому хочется! Разошлись в тот вечер без обиды, мы проводили их до общежития культпросветучилища.

Встретились мы с теми подружками снова на танцах через две недели, но с нами были уже другие девушки. Такого обмана, коварства прежние спутницы нам простить не могли и рассказали братьям Шашуриным, что мы наплели им в тот вечер, наверное, в фантазиях себе не отказывали. Через полчаса нам с Аликом уже донесли, что Шашурята, такая у них была кликуха, ребята



гораздо старше нас, рвут и мечут, и советовали не попадаться им на глаза. Танцплощадка во Дворце железнодорожников занимала просторный холл, и мы старались танцевать в разных с ними концах зала. Наверное, нам пришлось бы бегать долго, если бы в бегах не наткнулись на моего родственника Исмаил-бека, самого авторитетного парня с Татарки. Тот вмиг поставил Шашуриных на место. Вот чем закончились фантазии Алика — «тихо-покой, синий свет, иконы, подарки».

P. S. Впервые этот рассказ был опубликован в актюбинской газете «Эврика». На другой день в кабинете главного редактора Виктора Гербера раздается телефонный звонок. Волнующимся голосом человек на другом конце провода говорит: «Спасибо за рассказ, тем парнем, который получил десять лет за драку из-за Вали Панченко, был я...»

Гербер тут же включил магнитофон и спросил: хотите что-нибудь добавить? Такие звонки героев публикации через пятьдесят пять лет — редкая журналистская удача. Но собеседник тяжело вздохнул и, вдруг заплакав навзрыд, положил трубку. Поистине, судьбы людские и пути Господни неисповедимы.

*Москва,
2008*

Одноклассник

Рассказ

Старый, обшарпанный самолет с яркими надписями на боку, еще не остыв с дороги, нервно подрагивал, а к нему уже торопливо катили трап. Неделин сошел первым.

«Ничего не изменилось»,— грустно и удивленно подумал он, оглядывая заросшее бурьяном и спорышом летное поле. Город еще не успел добраться окраинами до аэропорта, и его приземистое двухэтажное здание, увенчанное, словно Адмиралтейство, шпилем, уходившим в выцветшее от жары безоблачное небо, одиноко желтело вдали. Оставляя следы на плохо уложенном плавящемся асфальте, Неделин заспешил в тень. В людном и задымленном зале аэропорта, напоминавшем железнодорожные вокзалы, он приткнулся в ожидании багажа у лестницы, ведущей на второй этаж. Прикуривая от сигареты пожилого казаха в стеганом халате, с удивлением подумал, что никогда здесь раньше не бывал.

Аэропорт в те давние годы, когда Неделин был помоложе, казался ему чем-то нереальным, фантастически далеким. В числе его знакомых не было тех, кто пользовался услугами авиации, и расположен был аэровокзал, по меркам того времени, за тридевять земель в тридевятом царстве, и вела туда единственная приличная в городе асфальтированная дорога. По этой-то дороге, оказавшейся не столь дальней, Неделин возвращался теперь домой.



Густая и довольно широкая лесополоса тянулась вдоль дороги до самого города, и от деревьев веяло прохладой. Он даже попросил шофера ехать помедленнее.

Город изменился мало, но Неделина это не обрадовало, скорее огорчило. В тех краях, откуда он вернулся, новые города росли быстро, да и старые преображались на глазах.

«Черед нашего, наверное, еще не наступил»,— решил Неделин.

Проехав изменившуюся все же центральную часть города, миновав стеклянный куб нового универмага, машина свернула на Татарку, где вырос Неделин.

К побелевшим от жаркого солнца шиферным крышам тянулись поджарые карагачи. Родная Почтовая пылила по-прежнему, а обочины хранили следы весенней распутицы.

Дом тетки Алевтины Неделин не узнал: высокий свежеекрашенный забор, новая застекленная веранда и выросшие под застреху посаженные им когда-то тополя преобразили дом, в котором он воспитывался с трех лет.

— Слава!.. Вернулся!..— только и успела сказать тетка Алевтина и залилась слезами.

Потом, суетясь, поставила во дворе знакомый самовар с чуть помятым боком, и пока он, извергая из трубы острые языки пламени, закипал, показывала то колонку и новый сарай, то холодильник и зеркальный шкаф, то брейтовской породы кабанчика в летнем закутке, то пуховые подушки и стеганые одеяла, по-казахски горкой сложенные у стены.

Чтобы остановить ее, Неделин распаковал чемодан и с волнением стал доставать свои подарки, купленные по совету продавщиц в магазинах, торгующих в Приморье японскими товарами: чайный сервиз, на восточный манер с пиалами, яркие халаты, отрезки на платье и сияющий никелем транзистор с расписной шкалой.

— Это вам, чтоб скучно не было,— сказал он и по глазам понял, что угодил.

За столом счастливая тетка Алевтина, накинувшая на плечи подаренную черную шаль в алых розах, не сводила глаз с высокого улыбчивого светловолосого парня, узнавая и не узнавая племянника. Девять лет назад она проводила в армию долговязого парнишку с запавшими голубыми глазами, остриженного наголо,

отчего его шишковатая голова на тонкой шее казалась нелепой и смешной. А теперь вон какой красавец...

— Если бы отец мог видеть тебя...

Тетка Алевтина взглянула на стену. С потрескавшейся фотографии улыбался молодой парень в лихо примятой кепочке.

— А я уже старше своего отца, — грустно сказал Неделин.

Тетке не терпелось узнать, насовсем вернулся племянник или в отпуск, а может, дела какие попутной дорогой привели? Но спрашивать не стала — успеется.

Неделин служил в инженерных войсках: строил железные дороги, мосты, подъездные пути, административные и служебно-технические здания. А как вышел срок службы, его ударную комсомольскую бригаду начальник строительства упробил остаться. И вот уже седьмой год Неделин жил на колесах строительно-монтажного поезда, строил дороги в Приморье, даже на Сахалине побывал. Здесь же, на колесах, и курсы дорожных мастеров закончил.

За все девять лет ему так и не удалось побывать в отпуске — всегда находились неотложные дела, пусковые объекты. Не мог Неделин отказывать: раз надо — значит, надо! А надо было всегда.

Нынешний год для Вячеслава Дмитриевича, а в СМП его, несмотря на молодость, иначе не называли, был особенным, и по этой причине ему и в отпуске не отказали.

Десять лет назад он получил школьный аттестат. Особой сентиментальностью Неделин не отличался, но школу свою помнил и любил, и память о дружном 10 «В» была ему дорога. На выпускном вечере, волнующем и трогательном событии в жизни семнадцатилетних, Сашенька Садчикова вдруг предложила: «Ребята, давайте встретимся в этом зале через пять лет...» Предложение было принято с поправкой: собраться через десять. Кто-то принес лист ватмана, и каждый написал то ли шутивное, то ли серьезное обязательство явиться в школу к 17 часам московского времени ровно через десять лет. Хранить обязательство доверили своему комсору — Славе Неделину.

Свернутый в трубочку листок этот комсорг берег: сначала в армии, позже — кочуя по стройкам. Неделин часто разворачивал лист и поэтому знал, где чье обязательство.

Первое, занимавшее чуть больше места, чем остальные, принадлежало Юре Лаптеву: твердый росчерк пера оставил



заверение, что будущий майор авиации явится непременно. Петя Мандрица обещал вернуться учителем и гарантировал через десять лет хлеб-соль у порога школы. Дольше всего Вячеслав Дмитриевич задерживал взгляд в нижнем левом углу ватмана. Изящные, слегка заваливающиеся влево строки на французском языке принадлежали перу Верочки Осадчей. Чтобы перевести их, Слава воспользовался словарем, — французский язык Осадчей был гордостью 10 «В». Она написала: «Если не помешают зарубежные гастроли или международный конкурс, буду счастлива приветствовать 10 «В». Верочка Осадчая готовила себя к большой сцене, и в ее успехе мало кто сомневался.

Неделин еще до призыва в армию знал, что она поступила в консерваторию. Позже сведений о ней Слава не имел, хотя всегда ожидал услышать о Верочке по радио или прочитав в газете. На втором году службы в армии сосед по койке заметил, что В. Осадчая уже вполне могла стать В. Петровой или В. Сидоровой, и добавил: «Пропавшее дело по девичьей фамилии разыскивать хорошенькую девушку».

«Пропавшее», — согласился тогда Неделин. И вот ему предоставлялась возможность увидеть своих одноклассников: Колю Климанова, Валерика Полянского, Людочку Журавлеву и, если посчастливится, ее, — остававшуюся для него всегда Верочкой Осадчей...

Настал день, назначенный восторженной Садчиковой. Вячеслав Дмитриевич с утра несколько раз разворачивал уже тронутый желтизной лист и за каждой подписью старался представить однокашника. За шутливыми обязательствами скрывались мечты, желания, планы... Вечером, стараясь быть точным, Неделин поспешил на встречу.

Пошел он старым маршрутом, переулками. Трехэтажная красного кирпича школа раньше казалась огромным зданием и возникла далеко впереди, пока он, петляя задворками, выбирался к ней. Сейчас ее скрывали невзрачные крупнопанельные дома с осыпавшейся штукатуркой. Да и сама она, зажатая с боков одноликими четырехэтажками, словно потеснилась, ужалась и как бы присела на высокий каменный цоколь.

Подойдя к парадному, Неделин удивился: на стене висела вывеска с другим номером, и школа носила чье-то имя, неизвестное ему. Раньше их сорок пятая была ведомственной, железнодорожной, и может, потому всегда выглядела нарядной, ухоженной.

У подъезда с хлебом-солью не встречал Мандрица, и в школьном дворе было безлюдно. Вячеслав Дмитриевич еще раз посмотрел на табличку и распахнул треснувшую парадную дверь.

В вестибюле все было по-старому: справа, за узорной решеткой, находилась раздевалка, широкая деревянная лестница вела на второй этаж. Перекладывая из руки в руку трубочку ватмана, перевязанную для торжественности ленточкой, Неделин поднялся на второй этаж.

Зала как такового в школе не было, и все школьные торжества проводились на площадке второго этажа, от которой расходились широкие коридоры с классными аудиториями.

Ближе к окнам площадка имела подмости; сдвинутые в центр эстрады пюпитры белели забытыми нотными листами. И весь зал, как называли во времена Неделина это место, хранил следы большого бала. Не были убраны разноцветные бумажные гирлянды, кругом было рассыпано конфетти, а на стекле большого окна за колонной осталась размашистая надпись: «Прощай, школа!»

«Все как и десять лет назад», — думал Неделин, обходя классные комнаты, в некоторых задерживаясь чуть дольше. В одной из аудиторий он наткнулся на уборщицу, протиравшую полы.

— Вам кого? — равнодушно спросила она.

Неделин объяснил, что когда-то учился здесь и вот решил заглянуть, много лет прошло с тех пор, и неизвестно, когда еще представится случай. Женщина понимающе улыбнулась, как бы разрешая этим осмотр школы.

Дверь учительской была приоткрыта, и Неделин, уже без страха и волнения, как в былые годы, заглянул в кабинет. За столом, спиной к нему, сидела седая женщина. Учительский слух тонок, и она оглянулась. Неделин сразу же узнал в ней преподавательницу литературы и, обрадовавшись, сказал:

— Здравствуйте, Лидия Георгиевна!

Она привстала со стула и, поправляя сползшие на нос очки, ответила:

— Здравствуйте, молодой человек, проходите...

Вячеслав Дмитриевич сел в предложенное кресло, тревожно скрипнувшее под ним.

— Ну-с, я слушаю вас...

Неделин смутился и забормотал что-то невразумительное.



Теперь она оглядела его внимательнее и засмеялась, слегка откинув крупную голову назад и поправляя тяжелые волосы с густой проседью.

— Я-то мастера из ремстройконторы поджидаю, подумала: ну и фронт появился,— и продолжала,— так вы, значит, учились у нас, простите старую, не признала, будьте добры, напомните о себе, о своем классе...

Вячеслав Дмитриевич принялся вспоминать события, факты, связывавшие в прошлом 10 «В» и учительницу литературы. Но в ее жизни было очень много десятых «В», к тому же Неделин не мог припомнить ничего особенно выдающегося. Да и сам Слава Неделин не был учеником многообещающим, любимцем, надеждой школы, тем, кто надолго остается в памяти педагогов. Так они продолжали разговор, не находя желанных точек соприкосновения.

Долгий летний день клонился к закату, в распахнутом окне школьный сад растворялся в сгущающихся сумерках. Потеряв всякую надежду дождаться мастера, Лидия Георгиевна начала складывать бумаги в потертый портфель.

Огорченный Вячеслав Дмитриевич уже собирался распрощаться, как вдруг она спросила:

— Не с вами ли училась девочка, пианистка, что всегда играла на вечерах? Такая милая, славная, мы все от нее многого ожидали. Вот только фамилию ее я тоже запомнила...

— Осадчая?

— Да, да... Что-то не сложилась судьба у нее. Года два назад слышала, что она в нашем ювелирном магазине работает.

— Не может быть!..— невольно вырвалось у Неделина.

— В жизни всякое бывает,— сказала, вздохнув, старая учительница.

Огорченный несостоявшейся встречей и неожиданным сообщением, Неделин распрощался с Лидией Георгиевной.

Пройдя высокую арку в ограде, Вячеслав Дмитриевич оглянулся: в сумерках в обманчивом свете единственного фонаря, горевшего у входа на спортивную площадку, школа выглядела совсем такой, как прежде.

«Забыли, ну, конечно, забыли,— думал с обидой Вячеслав Дмитриевич.— Как же так, из тридцати двух человек никто не явился. Ведь живет же кто-то в городе! А Верочка? Не пришла сознательно? Потому что не оправдала чьих-то надежд? Какая чепуха! Ведь

и я приехал встретиться, а не хвалиться: смотрите, какой я молодой орденосец, к тому же депутатский мандат имею. Для меня дороги все: состоявшиеся и несостоявшиеся! Может, наша встреча, наш совет, поддержка кому-то необходимы как воздух».

С такими мыслями расстроенный Неделин возвращался домой. На веранде и во дворе ярко горел свет.

Раздвижной стол, накрытый цветной скатертью, был сервирован. Тетка Алевтина с соседкой пили чай.

— А где же друзья-приятели? — встретила тетка вопросом.— Мы вот с Филипповной решили, что вернешься не один, и стол накрыли, садись, рассказывай,— и, развязав алую ленту, показала пожелтевший лист Филипповне,— смотри, кума, чего они надумали, и, молодцы, уговор соблюли...

Неделину не хотелось огорчать старушек, и он сказал, что в воскресенье решили отметить встречу в ресторане.

«Она здесь... здесь...— преследовала его неотвязная мысль.— Вот и хорошо, у нее и узнаю об остальных»,— решил Вячеслав Дмитриевич.

Решить-то решил, но что касается исполнения... Все-таки это была Верочка Осадчая. И что означает фраза «не сложилась судьба»? В роли сочувствующего, советчика Неделин себя не представлял, даже прожитые годы, какой-то житейский опыт в данном случае не годились. За долгие минувшие годы Вячеслав Дмитриевич убедился, что время ничего не изменило в его отношении к ней. Неделин был бы гораздо спокойнее, если бы встретил Верочку признанной на сцене и счастливой в жизни, к этому он был готов. Неясная, обтекаемая формулировка «не сложилась» таила неопределенность и перевернула устоявшееся с годами представление о ее жизни. Может, ей было трудно, невмоготу? Болезнь, несчастье, профессиональная травма?

Ювелирный магазин располагался в невзрачном тупике. Низкое одноэтажное здание с изъеденной ржавчиной давно не крашенной крышей никак не соответствовало солидной, писанной золотом вывеске. Битый час вышагивал Вячеслав Дмитриевич по пыльному переулку, даже поймал на себе настороженный взгляд какой-то старушки, прежде чем решился войти.

Зарешеченные окна сеяли скудный свет, и бледные неоновые лампы, горевшие вдоль стен, были призваны разгонять тьму среди бела дня.



В тесноте магазинчика узкий застекленный прилавок в форме буквы «Г» оставлял посетителям совсем немного места.

Неделин прошел к прилавку и склонился над стеклом.

— Я слушаю вас,— обратились к нему, как только за одинокой покупательницей захлопнулась дверь.

— Здравствуй, Вера...— пытаюсь унять волнение, сказал Вячеслав Дмитриевич.

— Неделя?... Славик? — от неожиданности она даже отступила назад, смутилась, но лишь на мгновение.— Каким ветром в родные края? Насовсем, проездом? — спрашивала она равнодушно, словно видела его только вчера.

Неделин понимал ее показное равнодушие и даже уловил в глазах неожиданный агрессивный блеск, как бы предупреждавший: «Никаких вопросов, я этого не люблю...»

— В отпуск, решил тетку проведать...

Молодая пара, впорхнувшая в магазин, попросила показать обручальные кольца и прервала их разговор. Пока Вера подбирала кольца, Неделин украдкой разглядывал ее. Странно, но, спроси кто-нибудь, какая она, он бы не смог сказать... Отчетливо помнил только ее лицо. Сейчас за прилавком стояла молодая статная женщина, от того девичьего лица прежними остались лишь глаза. Всем своим видом она словно старалась показать окружающим: у меня все благополучно, я счастливая... красивая... Но Неделина трудно было ввести в заблуждение, он-то хорошо знал Веру, помнил, какое место в ее жизни занимала музыка. Знал он и ее независимый, гордый характер, и на иную реакцию не рассчитывал.

Перебиваемый покупателями разговор продолжался, но Вячеслав Дмитриевич чувствовал, что она тяготится неожиданным визитом. Неделин, словно не замечая ее настроения, терпеливо дожидался маленьких перерывов в работе. Уйти просто так, не узнав ничего о ней, он не мог.

Наступило время обеденного перерыва, и Вячеслав Дмитриевич вызвался проводить Веру домой. По дороге она спросила, один ли Неделин приехал или с семьей.

— Не успел обзавестись,— рассмеявшись, сказал Вячеслав Дмитриевич.

Ответ его, как показалось Неделину, почему-то смутил Веру, она, кажется, даже покраснела. Может, оттого, что Неделин

не задавал никаких вопросов, а может, потому, что помнила его простым и бесхитростным, надежным товарищем, Верочка повеселела.

— До завтра,— сказала она у калитки,— приходи вечером... если захочешь...

Дом Осадчих был известен в городе, скорее не столько дом, сколько сад. Разбил его в тридцатые годы отец Верочки, тогда еще молодой врач, украинец. С годами он и дом выстроил. В скудном на зелень краю мало кто верил в чудачества бородатого доктора, но сад, потребовавший столько трудов и затрат, расцвел, и до войны Василия Яковлевича казахи иначе как садоводом не называли.

В доме под цинковой крышей, что прятался среди сада и имел крытую оранжерею, Неделин никогда не бывал. Хотя, пожалуй, вспоминал его чаще родного.

Теперь же он стал приходить сюда ежедневно. Долгие летние вечера они проводили в саду или в большой гостиной. Не раз, пока Верочка готовила чай, Вячеслав Дмитриевич, минуя зачехленный концертный рояль, подходил к окнам, выходящим в оранжерею. В простенке в застекленной рамке висела фотография их 10 «В». Иногда неожиданно рядом оказывалась Верочка, и они подолгу вглядывались в лица одноклассников,— а может, только в самих себя?

Так получалось, что говорил один Неделин: о службе в армии и работе в СМП, о дорогах и мостах, полустанках и разъездах, что успел возвести в Приморье и на Сахалине, о товарищах и необычном житье на колесах. Вскоре Верочка знала почти все о его наставниках и учениках, друзьях и соседях. За эти дни перед ней прошла его жизнь последних десяти лет; она узнала о нем все, если не считать, что Неделин не сказал ей об ордене, полученном в год золотого юбилея страны, да еще о депутатском мандате, что носил с прошлой весны.

Неделина радовало, что Верочка проявляет искренний интерес к его жизни, казавшейся ему самому будничной и ничем особо не примечательной. Радовало и то, что его ожидали, и если случалось, что она задерживалась в магазине, то Наталья Осиповна, мать Верочки, говорила шутя, что ей велено развлекать гостя и ни в коем случае не отпускать. Но иногда, казалось, беспричинно, Верочка уходила в себя, замыкалась, и тогда, не включая света, они молча сумерничали в просторной гостиной...



В один из таких вечеров Верочка сказала:

— Почему ты не спрашиваешь, что случилось со мной, почему я не состоялась?

Вячеслав Дмитриевич пересел к ней на диван.

— Для меня важно, что ты жива, здорова, я рад тебя видеть...

— Спасибо, Неделин. Никогда бы не подумала, что именно ты будешь меня утешать, и мне это будет приятно. Если б ты знал, как я устала. Конечно, какое будущее прочили, а финал — прилавок. Я чувствую себя улиткой, ежом, только выпускать колючки еще не научилась. Когда домой вернулась, дала зарок, что никогда больше не сяду за рояль. Хотела убрать его с глаз долой, отдать кому-нибудь, да разве мама позволит, рояль старинный, память об отце. Так и стоит пятый год...

Даже знай Неделин поближе жизнь людей искусства, где таких примеров тьма, исповедь Верочки все равно бы тронула его, ведь он любил ее... Тронула бы еще потому, что Верочка никого в случившемся не винила, не пыталась оправдываться. «Людей, не сумевших распорядиться собственным талантом, множество, я одна из них», — просто говорила она.

Успех пришел к ней еще в консерватории — стала лауреатом международного конкурса в Будапеште. Замужество, которое, казалось, открывало такие перспективы, выбило ее из колеи. Труд, непрерывный, каждодневный, так необходимый для пианистки высокого класса, был предан забвению. К тому же, старевший дирижер вскоре оставил ее. Вместо того чтобы окончить консерваторию, Верочка начала гастролировать со всевозможными ансамблями и оркестрами, но быстро поняла, как это далеко от настоящего искусства, и впервые она растерялась, ведь иной работы не знала, к иной жизни не готовилась. Путь в настоящее искусство, казалось ей, был закрыт для нее навсегда. Неожиданно умер отец, мать осталась одна, и это послужило поводом вернуться в отчий дом. Тогда-то она и дала обет, что никогда больше не сядет за рояль.

Несколько раз Вячеслав Дмитриевич пытался прервать Веру, — он видел, что ей трудно и больно вспоминать, но все же дал ей выговориться до конца.

— Вот теперь ты все обо мне знаешь, — заключила она.

Долгий, за два года, отпуск его подходил к концу. С Сахалина, где находился стройпоезд, пришла телеграмма. Просили бригадира приехать.

Исповедь Верочки словно сняла запрет с темы, и теперь разговор все чаще касался ее судьбы. Вячеслав Дмитриевич настойчиво убеждал Веру, что ее нынешнее отношение к музыке — неблагоприятное. Ну, ладно, не стала она исполнительницей, но есть же другие возможности быть рядом с музыкой — учить детей в школе, вести самодеятельность.

— Вот у нас в СМП новый вагон-клуб, построенный по специальному заказу в ГДР, и пианино есть, да человека толкового нет, приезжай к нам,— сказал как-то раз Неделин.

— Тебя что, командировали найти заведующую клубом? — отшутилась Верочка.

— А как же,— в тон ей ответил Неделин,— где нам еще найти человека, которого десять лет учили в музыкальной школе, три года в консерватории, а он не поделился с другими и толикой полученных знаний, решил рядом с бриллиантами век коротать...

Каждый раз после встречи с Верой Вячеслав Дмитриевич радовался даже незначительным, трудно уловимым на первый взгляд переменам в ее настроении. Улитка все чаще покидала прибежище.

В давней школьной жизни не то из робости, не то из врожденной скромности Неделин никогда не говорил Вере о своих чувствах, не догадывались об этом и другие. Уже одно сочетание: Осадчая — Неделин — 10 «В» показалось бы абсурдным. Не лучше чувствовал себя Неделин и спустя десять лет.

«У человека душевный кризис, он потихоньку возвращается в жизнь из плена ложных представлений, а тут я со своими чувствами. А если когда-нибудь упрекнет, что воспользовался моментом?» И второй месяц Неделин был при ней в роли врачевателя, и боялся неожиданным взглядом, словом выдать свое чувство.

Часто вечерами Неделин с Верочкой приводили в порядок запущенный после смерти Василия Яковлевича сад. Вспоминали старые добрые времена, школьные шутки, и смех ее звучал чаще и звонче.

Теплая ночь опустилась на сад незаметно, кое-где сквозь густую крону деревьев проглядывали высокие летние звезды. Верочка и Неделин сидели на спиленной орешине. Он держал ее руки и говорил, порой замолкая надолго.

События прошлых лет, о которых он вспоминал без всякой последовательности, вставали перед ней как в тумане, где общее



видно, а детали растворились. Иногда ей казалось, что этот рассказ вовсе не о ней, но в его память врезались так четко и ясно вещи, которым в той давней жизни она не придавала никакого значения... Иногда он порывисто вскакивал и говорил: «Ты... ты ничего не знаешь!» Долгие годы он берег слова для нее, память его хранила события, слова — все, что относилось к ней, и он спешил рассказать, словно это снимало боль и грусть за те безвозвратно утерянными днями далекие.

— Помнишь, в десятом классе был новогодний вечер с почтой? В тот день у тебя был номер тринадцать, как всегда, ты получила много записок, а я никак не решался передать свою записку, написанную дома. В ней было одно слово, которое никогда, ни до, ни после, я не смел тебе сказать. Ты стояла с девочками у окна. На тебе было темно-вишневое платье с большим черным кружевным воротничком. И волосы ты уложила совсем по-другому, не как всегда. Ты была такая загадочная и неприступная. Почтальонша протянула записку, ты прочла ее, пожала плечами, потом засмеялась и показала девочкам, и вы все захохотали. Я не слышал разговора, но смех ваш... Я все время помнил, как ты смеялась...

И перед Верой, как из тумана, всплывал тот далекий зимний вечер в их сорок пятой железнодорожной школе. Первое вечернее платье... Перед глазами закружились в медленном вальсе лица давно забытых одноклассников. Зарешеченное окно за колонной — ее любимое место на вечерах, рядом с нею подружки Светланка Резникова и Ниночка Новова, листок из тетрадки в клетку, где печатными буквами было написано лишь одно слово: «ЛЮБЛЮ».

— В ту же зиму ты придумала разъезжаться после танцев домой в складчину на черном «мерседесе». Так ты называла старые ЗИМы... Забава могла продлиться и дольше, но нашлись последователи, и ты потеряла интерес к собственной затее. А жаль, ведь маршрут сложился так, что в конце пути в машине оставались только ты и я. В разгар танцев вас наперебой приглашали мальчишки из второй и одиннадцатой школ, и я боялся, что поездка не состоится, но вы с девчонками были молодцы, уговор соблюдали честно. Уверенные юноши уже составляли маршрут вечерней прогулки, когда вы с очаровательной улыбкой объявляли: «Спасибо, но нас ждет машина. Какая машина? Обыкновенная, черная. Семиместный «мерседес».

Маленькие кокетки, видимо, расстраивать чьи-то планы вам доставляло большое удовольствие. С последним аккордом прощального вальса наша компания вмиг оказывалась на первом этаже у раздевалки. А улыбающийся Лёничка держал наготове наши пальто, по этой части он был фантастически расторопен. Застегиваясь на ходу, мы бежали вниз по улице, к базару, на стоянку такси. Одним из чудес той далекой зимы было то, что старенький ЗИМ непременно дожидался на стоянке. Салон шумно забивался до предела, и машина, слегка притормаживая, катилась вниз, до перекрестка главной улицы. В тесноте наши лица почти касались, я слышал твое дыхание... А в машине стояло невообразимое веселье.

Автомобиль останавливался у депо, и вслед за Ниной выходил Алик. Прежде чем закрыть дверцу, кто-нибудь невинным голосом обязательно спрашивал:

— Попов, и давно вы съехали на эту улицу, кажется, еще на прошлой неделе вы проживали на Орджоникидзе?

Алик потихоньку грозил кулаком.

За хлебозаводом мы оставались одни, ты перебиралась на заднее сидение, расстегивала верхние пуговицы шубки, а лохматую шапку, сбившуюся на затылок, и не думала поправлять. Я смотрел на твое разгоряченное лицо и видел в глазах отблески продолжавшегося бала, ты все еще была там.

Старый ЗИМ подъезжал к переезду, скрипучий шлагбаум был начеку: исполняя мое желание, преграждал дорогу. Шофер выходил из машины, открывал капот, что-то подтягивал или уходил в сторожку у путей, переезд перекрывался в это время надолго.

Ты сидела, раскинув руки по спинке сиденья, головы наши лежали на мягких подушках, пахло кожей и теплом. Мы были так близки и так далеки... Откинута рука, выронившая перчатку, почти касалась моего лица. Устало тащился промерзший в степи состав, старая машина, подрагивая работавшим мотором, стояла у полосатого шлагбаума. Я был рядом, но для тебя это ничего не значило. Мысли уносили тебя в мир твоих бесконечных фантазий. Никогда я не решался потревожить тебя в такие минуты. Как бы случайно я касался лицом, губами твоей руки, но ты не замечала. Скрипя, поднимался шлагбаум, и мы трогались. Подъезжая, я придумывал причину, чтобы выйти вместе с тобой. Но ты всегда торопливо прощалась. Иногда говорила что-нибудь приятное, но я знал, что слова эти из тех грез, которые я прервал.



...Запах пряных листьев и духота ночи вдруг исчезли, и Верочка ясно ощутила дух мягкой, чуть влажной кожи внутри огромного «мерседеса». Она пыталась увидеть забившегося в угол машины мальчишку, но там было темно. Мелькали лица, жесты, улыбки одноклассников, но его не было. Как она хотела вырвать из темноты хоть одно его слово, один его жест, ощутить на руке прикосновение пылающего лица, но, увы, лишь те давние грезы, о которых он говорил, вставали перед глазами, и слезы невольно покатались по щекам...

Он обошел орешину, встал у нее за спиной. Продолжая говорить, тихо гладил ее волосы. Она откинулась, ощущая тепло и надежность его тела, но слезы почему-то катились и катились из глаз. Она не вытирала их, только боялась — вдруг он коснется ее лица. Почему она плакала? Она и сама не знала: может, оттого, что не сложилась у нее семейная жизнь, может, потому, что те девичьи грезы были как раз о такой любви, а оказалось, все было рядом, только поверни голову, протяни руку...

Третья телеграмма уже требовала возвращения Неделина. «Как я скажу ей, что завтра улетаю?» — думал Вячеслав Дмитриевич.

На звонок у калитки, как ни странно, никто не вышел. Неделин позвонил еще... Калитка оказалась не запертой, и Вячеслав Дмитриевич пошел по дорожке сада к дому. Из раскрытых дверей зала лилась музыка.

Окна гостиной, выходящие в оранжерею, были широко распахнуты, и низкое закатное солнце роняло последние лучи на откинутую крышку концертного «Бехштейна».

*Ташкент,
январь 1974*

Монолог Арбенина

Рассказ

Маленький городишко, где прошла моя школьная юность, затерялся в западных степях Казахстана, теперь, через пятьдесят лет, нет смысла таить его название, да и из героев этой истории мало кто остался в Актюбинске. События, о которых собираюсь вам поведать, произошли давно, я еще учился в школе.

Летом пронесся слух: в городскую газету назначен новый редактор, и прибывает он не то из Тамбова, не то из Тулы.

В сентябре в нашем 10 «А» появился новый ученик. Высокий, худой, длинноногий. В серых, чуть навывкате глазах было то, чего еще в нас не было: гордость, достоинство, собственная значимость, что ли...

В переключке он откликнулся на фамилию Бучкин.

«А, редакторский сынок», — мелькнула мысль.

Валентину, так звали новичка, понадобился лишь месяц, чтобы стать своим в классе.

Мне, пожалуй, в жизни не приходилось встречать человека, чье влияние, вкусы, привычки так действовали бы на окружающих. У педагогов есть термин — благотворное влияние. Валентин Бучкин благотворно влиял на нашу школу. Он преобразил скучные школьные вечера. Валентин писал стихи и не делал из этого тайны.



По одному ему известному признаку он отыскивал в школе и других пишущих стихи...

К таким литературным школьным вечерам выпускалась на дефицитном ватмане литературная газета, с подмостков звучали стихи, под фортепьяно читались рассказы Куприна, Чехова, Бунина...

Как удалось Валентину привлечь Тамару Давыдычеву из параллельного класса аккомпанировать чтецу, оставалось величайшей загадкой и оценивалось как подвиг.

Тамара, первая школьная красавица, оканчивала музыкальную школу. Нарядная, кокетливая, даже внешне не похожая на угловатых одноклассниц, она словно временно, проездом остановилась в нашем провинциальном городке. И эта девочка, неприступная и недосягаемая, рядом с которой немели острословы и робели забияки, неделями подбирала музыку к рассказам Бунина...

Достать пригласительный билет на вечера в нашу сорок четвертую железнодорожную школу стало проблемой. Школу охватила литературная горячка, в коридорах говорили о прозе и поэзии, обменивались книгами. Библиотекарша, сияя, чуть ли не каждую неделю проводила диспуты.

В декабре, когда в городке уже всю хозяйничала зима, весь класс, все двадцать два ученика, были приглашены Валентином на день рождения.

Все начинания Бучкина оказывались чем-то вроде эпидемии, избежать которую было невозможно. Наш класс закружило в водовороте всяких вечеринок: праздников, дней рождения. Словом, мы не упускали любую возможность бывать вместе.

Все наши встречи кончались литературными чтениями. Валентин обычно говорил, что у нас традиция такая выработалась.

В перерыве между танцами вновь расставляли в зале стулья, гасился свет под абажуром, и если в доме находилась новомодная штучка, называемая торшером, включали его где-нибудь в углу. В мягком полумраке зала Валентин начинал читать свои стихи.

Белая накрахмаленная сорочка, темный бант галстука-бабочки, густые волосы, которые он поправлял часто порывистыми движениями, сразу привлекали внимание маленькой аудитории. Я сидел, охваченный как бы групповым гипнозом, иногда слыша за спиной или сбоку чей-то восторженный шепоток: «Правда, он похож на молодого Блока?».

На все наши встречи и вечера я ходил ради Ниночки Нововой. Отыскав, где она сидит, я мог, ничем не рискуя, смотреть на нее.

На ее лице с удивительной быстротой выражение грусти, печали сменялось радостным сиянием глаз, и неожиданный свет улыбки преображал до неузнаваемости знакомое лицо.

Краем уха я тоже ловил слова чтеца, но во мне они не вызывали и толики ее чувства.

Встречались мы довольно часто, и скоро наши поэты выдохлись, творческое вдохновение не поспевало за спросом.

Выход был найден. На одном из вечеров Валентин читал уж очень хорошие стихи.

— Во дает! — сказал я Юрке Ковальчуку. В ответ Ковальчук снисходительно глянул на меня и, наклонившись, зашептал: «Болван, это же Пастернак!».

Уже на следующей встрече чуть ли не полкласса читали стихи, а Женька Парницын умудрился прочесть целую главу из «Песни о Гайавате», замучил всех, чуть в сон не вогнал. Выучить стихотворение, как я понял, было еще полбеды, главное, чтобы оно оказалось малоизвестным (для присутствующих) и не выпадало из общего направления избранной нами поэзии.

Читать читали, да вот беда — название и автора не объявляли. И для меня окончательно все перепуталось, я уже не знал, что написали наши, а что — настоящие поэты. Попав впросак еще пару раз, я извлек урок и больше восторга никому не выказывал.

Плюнул бы я на эти вечеринки, при моей тогдашней гордости, если бы не Нина, не единственная возможность смотреть на нее во все глаза в полумраке зала, когда она целиком жила поэзией.

Я старался по хозяйственной части: расставлял стулья, менял пластинки во время танцев, при этом учитывая вкусы Нововой. Что, как мне кажется, было замечено и принято благосклонно.

Нина жила в одном из трех домов, называвшихся в городе небоскребами. Четырехэтажные тридцатишестиквартирные дома, построенные в годы первых пятилеток из красного кирпича, были единственными в городе «высотными» зданиями. Проводив живших в «небоскребах», мы в одиночку расходились по безлюдным сонным улицам. Возвращаясь светлыми морозными ночами домой, я мысленно строил планы, говорил сам себе — вот увидите, в один прекрасный день я прочту дюжину стихотворений, а то и целую поэму. Вот только бы мне найти такого поэта!

Наш город располагал пятью библиотеками, не считая школьной. Самыми активными читателями вдруг стали мои



одноклассники. К библиотеке я подбирался окольными путями, имея наготове легенду, почему я очутился в этих краях, на случай, если встречу кого из 10 «А». Первым делом я переходил от окна к окну, каждый раз обнаруживая то долговязую фигуру Ковальчука, то легкую, изящную Светы Резниковой. Словом, чтобы отыскать из пяти библиотек одну, свободную от нашествия 10 «А», мне приходилось обойти и вторую, и третью. В четвертой или пятой, затратив на это половину воскресенья, я лихорадочно шарил по полкам, заглядывая почти в каждый поэтический сборник: тонкий и толстый, с надеждой вынимал из собраний сочинений тома, полные рифмованных строчек, но мне все казалось: не то, не то. Порою я физически ощущал, что эти страницы уже перелистаны ловкими пальцами Наиля Сафина или замусолены небрежным Лайкиным, который ходил в библиотеку всегда вместе с красавцем Ленечкой Спесивцевым. Иногда на полях я встречал аккуратную галочку, и не было на свете сил, способных переубедить меня, что сделали это не мои одноклассники.

В низеньких, заставленных до потолка стеллажами библиотеках жарко топились печи, и уже через час, обливаясь потом, я утирал рукавом бесшумного свитера разгоряченное лицо и все искал, искал. Звонко медного колокольчика, предупреждавшего о закрытии библиотеки, раздавался всегда неожиданно.

Одергивая куцый свитер, опустив смущенное лицо, я проходил мимо любопытной заведующей, в прихожей хватал с опустевшей вешалки поношенное пальтишко и пулей вылетал на стылый двор.

Уже и долгая зима повернула на весну, и в воздухе потянуло запахами талого снега. Оседали на глазах от неожиданных теплых ветров сугробы, и в полдень с обогретых железных крыш звенела капель. Когда я глядел на сугробы, мне казалось, что вот так же и я оседаю в глазах Ниночки все ниже и ниже. Без особого энтузиазма я продолжал ходить из библиотеки в библиотеку.

Однажды, проведя среди книг день и выписав два-три стихотворения, которые тотчас же были забракованы, я собрался уходить. Возвращая взятые книги на полку, невольно потянулся к тому же Лермонтова.

Первая же, случайно открытая страница начиналась: «Послушай, Нина!».

Раз десять, а может, и больше прочел я монолог Арбенина, не вставая с места.

Тогда я еще не слышал прекрасной мелодии к «Маскараду», а вокруг меня в тесной и жарко натопленной библиотеке звучала музыка. «Нашел, нашел»,— хотелось кричать, плясать, но не было сил даже встать. Приглянувшаяся мне страничка из «Маскарада» была что надо. Как раз то, что хотел сказать Нововой.

На уроках, поглядывая в сторону Нины, я мысленно произносил монолог.

Перехватив взгляд Ковальчука, я думал: это, брат, тебе — не твои хромые вирши, за нами классика!

До Восьмого марта, когда я собирался его прочесть, оставалось еще немало дней, и в монологе, так часто произносимом, выпали несколько строк и появились новые, более близкие к нашей рядовой, а не графской жизни. Я даже позабыл об Арбенине, не покидавшем меня все дни. И, помню, сказал, обрадовавшись: «Вы уж извините, Евгений Александрович, у вас свои дела, у меня свои». С этого дня я свыкся с мыслью, что это мое стихотворение — ну, не то чтобы я его написал, а вообще мое.

Восьмое марта решили отмечать в складчину на квартире у Галочки Старченко на Панфилова, 15. Кстати, этот дом прекрасно сохранился и сегодня, спустя полвека.

И вот день мой настал. Накануне всю ночь снился Арбенин, требовавший вернуть строки на место.

...В тот не по-мартовски холодный снежный вечер звучали удивительные стихи.

Украдкой я поглядывал на Нину, занявшую единственное кресло у входа в зал. Свет из соседней комнаты в дверном проеме освещал часть ее лица, иногда она наклонялась чуть вперед и возникала вся, словно на экране.

И вдруг я увидел глаза Ковальчука. Он так смотрел на Нину... Я знал, кому будут адресованы строки, и решил при этом не присутствовать. Вот Ковальчук поправил бабочку, нервно прошелся пальцами по виску. Протискиваясь между стульями, направляясь к двери, у которой сидела Нина, я почувствовал, как осуждающе смотрят на меня со всех сторон, вслед неслось чье-то шиканье. Такого кощунства еще никто себе не позволял. Но мне уже было все равно. Намереваясь сделать последний шаг, я увидел глаза Нины. «Что ты делаешь?» — словно спрашивала она. Я невольно задержался и, наклонившись, тронул ее руку, лежавшую на подлокотнике высокого кресла.



— «Послушай, Нина! — вырвалось у меня, и со страху я отступил в полумрак зала,— я смешон, конечно...»

Остановить меня было невозможно.

Всю свою боль, отчаяние, любовь вкладывал я в лермонтовские строки...

Сидевшие полукругом одноклассники перестали для меня существовать. Я видел лишь застывшую в кресле Нину, и все слова были для нее одной. И вдруг с последней строкой слова иссякли так же неожиданно, как и появились. Тронуться с места, одним шагом покинуть молчавший зал не было сил. Так я и продолжал стоять, виновато склонив голову, в двух шагах от Нины, когда раздался щелчок выключателя и с потолка хлынул яркий свет. Больше читать стихи уже никто не решился. Нина сидела покрасневшая, а глаза, кажется, даже повлажнели. И вдруг, когда Нина, по-прежнему не замечая никого вокруг, поднялась мне навстречу, свет в зале погас, и зазвучало «Арабское танго» Батыра Закирова. Она положила мне обе руки на плечи и, приблизив взволнованное лицо, тихо прошептала: «Я так счастлива, спасибо, милый...».

*Мартук,
1981, 2008*

СОДЕРЖАНИЕ

ТОМ ШЕСТОЙ

Ранняя печаль

Ранняя печаль. Роман.....	13
Налево пойдешь — коня потеряешь. Повесть	329
Такая долгая зима. Рассказ.....	445
Чигатай, тупик 2. Рассказ	458
Станция моего детства. Рассказ.....	475
Звездное небо детства. Рассказ.....	495
Друзья моей юности. Рассказ	507
Ананасы в шампанском. Рассказ	519
Одноклассник. Рассказ	531
Монолог Арбенина. Рассказ.....	545

Литературно-художественное издание

Мир-Хайдаров Рауль Мирсаидович

Собрание сочинений в шести томах

Том шестой

Казань. Издательство «Kazan-Казань». 2011

Редактор

Ю. А. Балашов

Художественное оформление:

Г. Л. Эйдинов

Техническое редактирование и компьютерная верстка:

А. Р. Ермолаева, Р. М. Шарафутдинов, С. А. Саакян

Корректор *Л. З. Саямова*

Собрание сочинений оформлено картинками из личной коллекции
Рауля Мир-Хайдарова.

На обложках использованы картины

Айдара Шириязданова.

В оформлении книг использованы картины

Сергея Широкова.

С оригинал-макета подписано в печать 05.12.2011. Формат 70x100 ¹/₁₆.

Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman. Печать офсетная.

П. л. 34,5. Усл. печ. л. 44,85. Тираж 2000. Заказ ????

Издательство «Kazan-Казань». 420066, Казань, ул. Чистопольская, 5

Филиал ОАО «Татмедиа» Полиграфическо-издательский комплекс

«Идел-Пресс»

420066, Казань, ул. Декабристов, 2